

СТО ЛЕТ СИОНИЗМА

О ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЕ

РЕЧИ,
СТАТЬИ,
ВОСПО-
МИНАНИЯ



Владимир (Зеэв)
ЖАБОТИНСКИЙ

СТО ЛЕТ СИОНИЗМА

Владимир (Зеэв) ЖАБОТИНСКИЙ

О ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЕ

Речи, статьи, воспоминания

МИНСК



2004

УДК 94(569.4)(093.3)

ББК 63.3(5Изр)

Ж 12

Серия основана в 2002 г.

Редактор-составитель Ф. Дектор

**Издание осуществлено при спонсорской поддержке
Фонда Михаила Черного.**

Жаботинский В.

Ж 12 О железной стене: Речи, статьи, воспоминания / В. Жаботинский. — Мн.: ООО «МЕТ», 2004. — 560 с. — (Сто лет сионизма).

ISBN 985-436-490-9.

Владимир (Зеэв) Жаботинский по праву считается одним из отцов современного сионизма. Его идеи оказали революционное воздействие на национальное самосознание еврейского народа, их влияние ощущает и современный Израиль.

В настоящий сборник вошли избранные статьи и речи В. Жаботинского, в том числе и переведенные с иврита (писал он в основном по-русски), а также воспоминания о борьбе за создание еврейского легиона «Слово о полку» и автобиографическая «Повесть моих дней», русский перевод которой увидел свет в 1985 г. в издательстве «Библиотека-Алия».

Книга вызовет несомненный интерес у всех, кто интересуется историей Государства Израиль, и поможет оценить нравственный и гражданский подвиг одного из выдающихся сынов еврейского народа, негшибаемого борца, яркого общественного и политического деятеля и, наконец, просто талантливого человека Владимира Евгеньевича Жаботинского.

УДК 94(569.4)(093.3)

ББК 63.3(5Изр)

- © «Библиотека-Алия», И. Недава. Владимир (Зеэв) Жаботинский. Повесть моих дней, перевод, 1985
- © «Gesharim» and Misdar Z. Zhabotinsky, перевод отдельных произведений, 1991
- © Дектор Ф., составление, 2004
- © Оформление. ООО «МЕТ», 2004

ISBN 985-436-490-9

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ

Владимир (Зеэв) Жаботинский (1880—1940) — одна из самых ярких фигур в сионизме. Его личность и оригинальное мировоззрение подчас вызывали споры, но даже самые непримиримые противники воздавали должное его исключительным качествам, его идейности, его талантам, литературному и ораторскому. Когда он умер, один из его противников¹ так оплакал его кончину: «Разбилась многострунная арфа». След его деятельного присутствия заметен в еврейском мире по сей день, и некоторые его идеи восторжествовали в Государстве Израиль, а это лучший ему памятник. Жаботинский считал себя приверженцем политического сионизма, последователем Герцля. Историческое значение его деятельности заключается в том, что он внес в сионизм новую струю: он воскресил идею еврейской военной силы, идею, которая была вытравлена из исторического сознания нашего народа со времен Бар-Кохбы. Он порвал с традицией самозамыкания в библейском общечеловеческом идеале, глубоко укоренившейся в сердце народа: «не воинством и не силою, но Духом Моим...» Неудивительно, что Жаботинский восстановил против себя многих представителей консервативных кругов, он был передовым бойцом, идущим перед армией, он первым зажег светильник, осветивший путь многим.

Жаботинский был сыном русского еврейства. Он почерпнул много из его духовного наследия, и многие его исключительные качества стали важными нитями в сложной ткани души Жаботинского. Однако он вовсе не был типичным представителем еврейства черты оседлости. С рождения

¹ Шнеур Залман Рубашов (Шазар), один из лидеров рабочего движения в Эрец-Исраэль, впоследствии третий президент Государства Израиль.

он был свободен от галутных пут, стесняющих дух, от комплекса неполноценности и раболепства, являющихся следствием борьбы за выживание.

Не только сознательно, но и в силу своего семейного происхождения Жаботинский был тесно связан со своим народом. Тот, кто пытался приписать Жаботинскому склонность к ассимиляции, стремясь его примером подтвердить теорию о пришествии «со стороны» вождя и избавителя Израиля, игнорирует основные факты его биографии. Мать Жаботинского педантично соблюдала религиозные предписания («мицвот»), отец посещал синагогу, и он сам сначала усвоил идиш, на котором говорили его родные, и уже в детстве начал изучать иврит.

И это не все: по свидетельству Жаботинского, с момента, когда его мировоззрение определилось, он чувствовал себя «получужаком» в России и сделался безразличен к ней. Он не любил русский климат, его стужи и туманы, и в той же мере неприязненно относился к русскому общественному климату. Он не любил русской литературы с душевной путаницей ее творцов, их самобичеванием и копанием в себе. Много лет спустя, за несколько месяцев до смерти, Жаботинский, клеймя злоумышления советской власти против еврейского возрождения, писал, что, «зная половину Пушкина наизусть, я готов отдать всю модернистскую русскую поэзию лишь за семь букв квадратного еврейского шрифта». Жаботинский не преувеличивал, он просто выражал свои истинные сокровенные думы.

Но иным было его отношение к Одессе, городу, где он родился. Он не уставал воспевать ее, ибо любил ее нежной любовью, любовью, «что вовек не проходила и не пройдет». В его автобиографическом романе «Пятеро» Одесса — такая же «героиня» повествования, как сама еврейская семья Милгромов.

И действительно, в глазах Жаботинского Одесса, которая стояла на берегу Черного моря, не была частью России. Она была драгоценным вкраплением Средиземноморья, она принадлежала ему географически и психологически, и в прозрачных небесах над нею сияние и волшебные краски сплетались, чтобы выткать веселую и легкую ткань жизни.

Три года (1898—1901) Жаботинский учился на юридическом факультете Римского университета. Италия пригласила его по духу: «Если у меня есть духовная родина, — писал он в автобиографии, — то это скорее Италия, чем Россия». В этот

период началась его бурная журналистская карьера. Он стал регулярно печатать в газете «Одесские новости» свои фельетоны под псевдонимом Альталена.

Изучая историю Италии, Жаботинский глубоко воспринял ту ее главу, которая рассказывает о национально-освободительном движении. Это оказалось прологом к его сионизму. Знакомясь с трудами итальянских мыслителей и борцов (особенно ценил он Гарибальди), Жаботинский выработал принципы собственного либерализма, который принял форму «мечты о порядке и справедливости без насилия, всечеловеческого идеала, вытканного из милосердия, терпения, веры в то, что добро и счастье заложены в человеке».

Весной 1903 года произошел решающий перелом в его жизни: он стал сионистом. Тому способствовали различные факторы, и в немалой мере изучение произведений Пинскера и Ахад га-Ама, но все остальное перевесил «экзистенциальный» фактор: «грозная стихия погромов» обрушилась на еврейство России. Когда евреи Одессы стали опасаться надвигающегося погрома, Жаботинский присоединился к подпольной организации самообороны, и, когда разразился Кишиневский погром, его отправили в «город резни»¹ раздавать одежду пострадавшим. Он был потрясен до глубины души зрелищем кишиневских зверств. Под впечатлением этого события он перевел на русский язык поэму Бялика «Сказание о погроме» и, выступая в местечках черты оседлости, обычно начинал свою речь чтением этой поэмы.

Отдаваясь делу организации еврейской самообороны, Жаботинский видел, что она не может быть подлинным историческим ответом, избавляющим его народ от хронических бедствий. Самооборона была делом момента, тогда как практическое и историческое решение заключалось в полной ликвидации рассеяния и возвращении в Сион. На клочке пергамента одной из разорванных книг Торы, который затерялся между развалин разрушенной синагоги в Кишиневе, остались лишь слова «в чужой земле» («Я стал пришельцем в чужой земле»; Исход 2:22). Жаботинский воспринял этот эпизод как символический.

¹ Так назвал Бялик свою поэму о Кишиневском погроме. В переводе Жаботинского эта поэма называется «Сказание о погроме».

Сионизм Жаботинского основывался на «чуждости» евреев всем странам, в которых они жили в диаспоре, и единственным решением, вытекающим из этого положения, был новый и всеобъемлющий «Исход».

В том же году Жаботинский впервые принял участие в работе Сионистского конгресса (шестого по счету). Главным впечатлением, вынесенным им из нескольких дней блуждания по залам и коридорам здания, где происходил Базельский конгресс, был образ Т. Герцля, личности, проникнутой царственным величием, «человека-князя», излучавшего веру и чувство избранности.

Вместе с тем, среди делегатов конгресса Жаботинский чувствовал себя «чужаком». Не то чтобы он не был демократом, не то чтобы он порывался возражать против системы выборов делегатов и не то чтобы конгресс, явившийся творением Герцля, не был дорог ему. Но с того момента, когда он попал в общество делегатов, он почувствовал, что в отношении основных сионистских принципов его от них отделяла пропасть. Он нес в себе революционную идею, тогда как они в своем большинстве были склонны продолжать традицию палестинофильства («Ховевей Цион»), которая освящает «день малых дел» в создании поселений в Эрец-Исраэль. Его идеологические часы спешили, словно потому, что времени оставалось в обрез.

Жаботинский говорил о формировании «нового национального еврейского типа», способного вести наступательную войну против самого галута и всего, что тот олицетворяет.

1904—1914 годы прошли для Жаботинского под знаком многогранной и плодотворной деятельности среди еврейства России. Хотя не все были согласны с его взглядами, еврейское общество в России считало его своим «баловнем». Популярен он был необычайно. Публицистический дар и ораторская мощь Жаботинского достигли в этот период наивысшего расцвета. Его статьи и в общероссийской, и в еврейской прессе вызвали многочисленные отклики, и залы, в которых звучали его речи, во всех городах и местечках черты оседлости были забиты до отказа. Блестящий пропагандист сионистского движения, он всколыхнул сердца еврейской молодежи, и в ряды сионистской организации влились десятки тысяч молодых людей, увидевших в сионизме свой идеал.

Остро и с большим искусством Жаботинский полемизировал с социалистическим Бундом и ассимиляторскими кругами.

В 1906 году Жаботинский был одним из главных докладчиков на Гельсингфорсской конференции (совещание проводилось в столице Финляндии, чтобы ускользнуть от бдительного ока царского режима) и одним из редакторов принятой на ней программы. На первый взгляд, эта его деятельность отклонялась от «монистической» линии, которую он начертал себе, то есть может показаться, что он был увлечен потоком внутрирусской борьбы и выступил на фронте, который отнюдь не был сионистским. В частности, таким как бы «отклонением» было выставление им своей кандидатуры на выборах в 3-ю Думу в 1907 году: борьба, которая завершилась в нескольких турах поражением. Но Жаботинский отвергал обвинение в отклонении от сионизма. Он объяснял, что его целью было не завоевание для русского еврейства позиций внутри России, но отыскание той архимедовой точки, опираясь на которую можно было бы развернуть великое движение исхода евреев в Эрец-Исраэль с большим размахом и в организованной форме. Хотя одной из его целей было достижение для евреев России «национальных прав», его намерение заключалось не в этом, а в создании эффективного инструмента для контроля за массовым выездом. Он никогда не верил в то, что у евреев есть будущее в галуте, и полагал, что все попытки овладеть позициями в самой России следует предпринимать лишь из тактических соображений, лишь в качестве текущей меры.

В 1910 году Жаботинский блестяще перевел на русский язык стихи Бялика и таким образом позволил еврейскому и русскому читателю познакомиться с творчеством гения новой ивритской литературы. Эти переводы высоко оценил Максим Горький. Некоторые русские писатели сожалели, что сионизм «похитил» Жаботинского у русской литературы, где ему могло бы принадлежать почетное место, но Жаботинский продолжал пребывать в еврейском «назорействе». Своим переводом он лишь стремился возвеличить иврит среди чужих языков. Жаботинский многое сделал для введения иврита в качестве языка преподавания в еврейских школах на всей территории России.

В годы, предшествующие первой мировой войне, Владимир Жаботинский прилагал усилия, направленные на воплощение в жизнь идеи создания Еврейского университета в Эрец-Исраэль. Этому требовали интересы десятков тысяч еврейских студентов, которые безуспешно обивали пороги высших учебных заведений России, пытаясь преодолеть «процентную норму».

В 1907 году Жаботинский женился на Иоанне Гальперинной, ставшей верной спутницей на его тернистом и бурном пути еврейского и сионистского лидера. («Вся жизнь моя — цикл стихов, и в них царишь лишь ты одна» — из мадригала, сочиненного им в ее честь.) В 1910 году в Одессе у них родился единственный сын — Эри-Теодор.

В 1909—1910 годах Жаботинский провел несколько месяцев в Константинополе, занимаясь руководством сионистскими изданиями и определяя тактику сионистской пропаганды. И в этот непродолжительный период ему предоставилась возможность познакомиться вблизи с Оттоманской империей, от которой зависела судьба Эрец-Исраэль и успех сионистского дела на этой земле. Он знал, разумеется, о сизифовом труде Герцля, который стучался в ворота султанского дворца в свое время, чтобы в обмен на финансовую помощь получить от турецкого властителя «чартер», т. е. официальную грамоту, привилегию, разрешающую осуществление еврейского заселения Эрец-Исраэль; как известно, его попытки не увенчались успехом. Жаботинского, который, подобно многим сионистам, возлагал надежды на новых турецких правителей — «младотурок», очень скоро постигло разочарование. После контактов с несколькими новыми турецкими руководителями он убедился в том, что и от них не дождешься никакого добра и никакой милости. Никогда эта больная держава не согласится на осуществление целей сионизма.

Жаботинский предвидел недалекий распад Оттоманской империи: не может быть, чтобы треть населения одной голой силой управляла многочисленными национальными меньшинствами в течение продолжительного времени. К тому же Жаботинский был уверен в том, что Турции ради собственного блага следует снять с себя бремя народностей, живущих среди турок, и сократиться до естественных границ, ограничившись Анатолийским полуостровом.

Наконец настал час сионизма. В 1914 году разразилась первая мировая война, и в октябре 1914 года Турция вступила в войну на стороне Германии против государств Антанты. Жаботинский в это время объезжал страны Западной Европы и Северной Африки в качестве военного корреспондента одной русской московской газеты. Однажды, почти как новое озарение, ему пришла в голову мысль, что сионистское движение должно стать союзником Великобритании, чтобы посредством вооруженной борьбы освободить Эрец-Исраэль от турецкого владычества.

Ныне, ретроспективно, трудно постигнуть всю новизну этой идеи. Когда Жаботинский выступил с этим предложением, многие спрашивали: «Что ему, еврею, за дело до создания еврейской военной части? Не вытекает ли из сущности истории еврейского народа в многовековом рассеянии занятие нейтральной позиции в любой войне между народами? Да и помимо этого учреждение еврейского легиона в рамках британской армии не поставит ли под угрозу само существование еврейского ишува в Эрец-Исраэль, который находится под турецким управлением?» Лидеры сионизма пытались отвлечь Жаботинского от его «сумасбродной» программы, а когда им не удалось сломить его «упрямство», они принялись клеймить его как предателя и поносить на всех перекрестках. Они не поколебались объявить ему войну, бойкотировали его и отлучили от общества. Летом 1915 года Жаботинский посетил Россию последний раз в своей жизни и дух его омрачился еще больше. Даже в Одессе он столкнулся с неприязнью и отчуждением. Менахем Усышкин, авторитетный руководитель русских сионистов, однажды, встретив на улице мать Жаботинского, грубо бросил ей: «Вашего сына надо вздернуть на виселицу». Это причинило боль Жаботинскому, но когда он, выразив матери свое сожаление, спросил ее, не отказаться ли ему от своей деятельности, то получил ответ, которым гордился до конца дней: «Если ты уверен, что ты прав, не сдавайся!»

Жаботинский избрал Лондон в качестве центра своей деятельности по созданию легиона, и в течение двух с половиной лет бился за его формирование с безграничным упорством. Он вел свою борьбу в одиночку. Среди сионистских деятелей того времени только один человек — доктор

Хаим Вейцман — сочувствовал идее легиона, но и его поддержка, по многим причинам, была ограниченной. Жаботинский прошел через испытания, которые сломили бы любого другого. Жизнь его превратилась в кошмар, но он не отступил, и в эти дни отчаяния и разочарований он разрабатывал принцип «науки терпения». Главным в этой «науке» было то, что каждое поражение следовало рассматривать как еще один шаг на пути к победе: «Поражение — не поражение; “нет” — не ответ; обожди — и начни сызнова».

И действительно, «наука терпения» привела Жаботинского к успеху: в августе 1917 года английское правительство дало согласие на создание еврейского легиона, и уже летом 1918 года Жаботинский, вместе с другими солдатами 38-го Королевского стрелкового батальона, участвовал в военных тренировках возле Умм-а-Шарта в Заиорданье.

Несмотря на все усилия Владимира Жаботинского обеспечить еврейским подразделениям дальнейшее существование в качестве части гарнизона британской армии в Эрец-Исраэль и после войны, ему не удалось добиться этого. Легион был расформирован. Жаботинский поселился в Эрец-Исраэль и сразу же столкнулся с антисемитским и антисионистским духом, которым веяло от британских административных учреждений, не примирившихся с Декларацией Бальфура. Проанализировав происходящее, Жаботинский воззвал к британским властям и к Правлению Сионистской организации. Он подверг резкой критике первого Верховного комиссара Эрец-Исраэль, Герберта Сэмюэла, который, несмотря на свое еврейское происхождение и симпатии к сионизму, проводил «либеральную» политику в отношении арабов, опасаясь, что его заподозрят в пристрастии. Тем самым он способствовал сплочению арабского националистического движения, которое сразу же развернуло злонамеренную кампанию против еврейского населения.

Жаботинский предупреждал об опасности возможных погромов, но многие деятели еврейского ишува считали, что он сгущает краски в своих предсказаниях бедствий. В 1919 году Эрец-Исраэль посетил выдающийся судья и руководитель сионистов в Соединенных Штатах Луи Брандайс, и когда Жаботинский поделился с ним своими опасениями, тот сказал ему: «Вы преувеличиваете, сударь, это не царская Рос-

сия, это территория, занятая англичанами, и здесь погромов не будет». Жаботинский ответил ему не без иронии: «Сударь, мы, выходя из России, охотничьи собаки, мы чуем кровь издалека».

На Песах 1920 года начались арабские беспорядки. Жаботинский был назначен главой отрядов самообороны и мобилизовал в ее ряды около 800 молодых людей. Вследствие этой акции Жаботинский и девятнадцать его бойцов были арестованы и предстали перед британским военным судом. Жаботинский как зачинщик был приговорен к пятнадцати годам лишения свободы и каторжным работам. Так началась новая глава в его жизни. Он был первым «узником Сиона», арестованным во времена британского мандата, и содержался в крепости Акко.

Сам Жаботинский принял приговор со стоическим спокойствием и призывал еврейскую молодежь извлечь из этого урок: каждое национально-освободительное движение неотвратимо идет дорогой тюрем! Еврейская общественность в Эрец-Исраэль не примирилась с несправедливостью и в конце концов заставила англичан уступить: через три месяца еврейские заключенные были выпущены на свободу.

Престиж Жаботинского в сионистском лагере резко повысился, и в 1921 году его ввели в Правление Всемирной сионистской организации в результате соглашения, заключенного между ним и президентом организации доктором Вейцманом по поводу политических мер, которые надлежало предпринять. Однако с самого начала между ними обнаружились разногласия и в ходе сотрудничества возникли трения. Они двигались по разным орбитам и находились на противоположных полюсах вследствие различий темпераментов и представлений о темпах, диктуемых их несхожими сионистскими убеждениями. Доктор Вейцман был умеренным политиком, и в глазах Жаботинского его политический путь» был путем просителя-ходатая. Он руководствовался принципом: «Политика — искусство возможного». Жаботинский видел в этой политике наследие Галута и обозначил ее выражением «импрессионизм», подразумевая суетливость в соединении с неспособностью к действию, источником которых было неверие в силы народа. По его мнению, это был присяжный оптимизм, в котором крылось нечто от самообмана,

«все образуется». Недаром в первые двадцать лет широкое распространение получил как бы пароль сионизма: «положение дел удовлетворительное» (satisfactory).

Жаботинский был уверен, что он видел народившееся явление в реальном свете. Он опасался, что в Эрец-Исраэль происходят и нагромождаются прецеденты, которые угрожают в какой-то мере самому существованию «еврейского национального очага». Он не щадил усилий, уговаривая своих коллег по Правлению предпринять необходимые действия, чтобы предотвратить упадок движения. Но тщетно. Опубликование Белой книги в 1922 году и запрет евреям селиться восточнее Иордана были в его глазах предзнаменованиями бедствий. Он отчетливо и болезненно осознавал провалы в деятельности Сионистской организации. И потому отказался в дальнейшем присутствовать на заседаниях Правления и вышел в отставку в январе 1923 года.

Выйдя из состава Правления ВСО, Жаботинский намеревался уйти в частную жизнь. Анализируя свою прошлую общественную деятельность, Жаботинский с грустью пришел к выводу, что либо он не пригоден для борьбы на общественном поприще в Израиле, либо само поколение еще неспособно принять его «исключительные» идеи. Во всяком случае, Жаботинский пытался, никого не обвиняя, оставить политическое поприще и начать зондировать почву в поисках источников средств к существованию. На первый взгляд казалось, что ему будет нетрудно прокормить себя и семью журналистским трудом, и, казалось бы, Париж был особенно подходящим местом для его новой деятельности. В конце 1923 года этот город был центром русской эмиграции, поскольку большая часть «старой» интеллигенции осела именно там, покинув Россию после октябрьской революции. Жаботинскому было легко войти в эмигрантскую прессу русской колонии, но такая мысль даже не пришла ему в голову. В годы своего пребывания в Париже Жаботинский свел личное знакомство с некоторыми лидерами русской эмиграции, но никогда не пытался сойтись с ними ближе. К русским делам он продолжал оставаться совершенно равнодушным. Уже в юные годы, примкнув к сионистскому движению, он «перешел Рубикон» и сжег за собой все мосты, ведущие в страну своего рождения. Его мало занимала судьба России. В его

многочисленных статьях найдется не много строк, посвященных советской России. Советский режим был неприемлем для него ни в каком отношении, и «красный» опыт погасил в его душе последние слабые искры симпатии к социализму и к социалистическому учению о равенстве, которым он отдал дань в дни своей молодости. Отношение к России и ее строю было прямым следствием его монистического мировоззрения. Он довольствовался сионистским идеалом и не испытывал потребности в «сопутствующих» идеалах. Напротив, он безоговорочно отвергал «широту еврейского сердца», которая выражалась в стремлении внести лепту также в «гуманизм» и «универсализм» чужих народов. Он был убежден в том, что всякий взгляд, украдкой брошенный в сторону чужого мира, должен в конце концов привести к раздвоению личности еврея-сиониста и к утечке энергии, которая целиком необходима для осуществления идеи национального возрождения. Художественно этот тезис воплотился в образе одного из героев его повести «Пятеро» Марко. Вот символический эпизод. Однажды ночью в Петербурге, на исходе зимы юноша-еврей переходил по льду Неву и услышал душераздирающий женский вопль. Ему показалось, что женщина тонет и зовет на помощь. Переполненный жалостью и стремлением спасти, Марко сорвался с места с ответным криком: «Я иду!» Он бежал изо всех сил, но подтаявший лед обломился под ним, и он провалился под воду. Тело его не было выброшено рекой на берег; он бесследно исчез. Впоследствии выяснилось, что отчаянные крики раздавались вовсе не со стороны реки. Кричала на берегу женщина, которую бил смертным боем ее благоверный. Хотя драка была нешуточной, они оба прогоняли, пуская в ход кулаки, всякого «чужого», пытавшегося разнять их. «Бестолковый Божий дурак бежал не туда...»

В конце 1923 года Жаботинский вошел в редакцию сионистского еженедельника «Рассвет», издававшегося на русском языке в Берлине (некоторое время спустя еженедельник переместился в Париж и стал выходить в свет под редакцией Жаботинского). Он предпринял лекционное турне по Латвии, собирая деньги с целью улучшить финансовое положение журнала. В результате этой поездки в его жизни снова произошла перемена. Жаботинский был вынужден покинуть свою «башню из слоновой кости». Группа молодых

активистов в Риге очаровала его. Он увидел в них человеческий материал, из которого можно было вылепить новый национальный еврейский тип. Они стали основой Бейтара¹, движения молодых ревизионистов, которое Жаботинский впоследствии считал своим лучшим творением.

В апреле 1925 года в Париже сионисты-ревизионисты оформили свое движение как партию и в своей программе четко сформулировали воспринятые ими основные положения Жаботинского. Суть была в том, что предстояло произвести «ревизию» путей сионизма, то есть пересмотр его облика.

Вскоре новая партия расправила крылья, и число присоединившихся к ней сионистов во всем мире росло, в особенности в Восточной Европе и внутри Эрец-Исраэль. На 14-м сионистском конгрессе (1925), в котором партия участвовала впервые, она была представлена лишь одним делегатом, на 15-м конгрессе (1927) — 10 делегатами, на 16-м конгрессе (1929) — 21, а на 17-м конгрессе (1932) — 52. Линией водораздела послужили еврейские погромы 1929 года — один из самых тяжелых кризисов сионизма за всю его историю. Полагают, что в 1931 году ревизионисты были близки к тому, чтобы овладеть Сионистской организацией. 17-й конгресс был одним из наиболее бурных из всех конгрессов, и на нем Жаботинский потребовал принять декларацию о том, что цель сионизма — подготовительная работа по созданию еврейского государства с еврейским большинством на территории Эрец-Исраэль по обе стороны Иордана. Доктор Вейцман отмежевался от этих «максималистских принципов», но он не был переизбран президентом движения и, оставляя свой пост, сам договорился о передаче его главе оппозиции, своему великому противнику Жаботинскому. Однако из-за колебаний «гражданских кругов» и неустанной борьбы сионистского рабочего движения ревизионисты в последнюю минуту не были допущены к руководству движением. Жаботинский на глазах у делегатов порвал свой делегатский мандат. С этого

¹ Бейтар — 1) крепость в Иудее, при защите которой погиб Бар-Кохба — вождь антиримского восстания (132—135 гг. н. э.), еврей, чье имя стало символом мужества и самоотверженности; 2) аббревиатура: Брит Йосев Трумпельдор — Союз имени Иосифа Трумпельдора (*иврит*).

момента он стремился лишь к одному: выйти из международной Сионистской организации и основать новую Сионистскую организацию.

Но осуществление этого решения растянулось на четыре года из-за резко обострившихся отношений между рабочим движением и ревизионистами в Эрец-Исраэль, вследствие чего образовалась реальная угроза братоубийственной войны. Рабочие партии и Гистадрут осуществляли гегемонию, и право членов Бейтара на выезд в страну было сильно урезано. В 1933 году, когда был убит один из руководителей рабочего движения Хаим Арлозоров, вокруг движения Жаботинского создалась зловещая атмосфера «кровавого навета». Ревизионистов обвиняли в убийстве Арлозорова. Разжигание ненависти и распространение впоследствии оказавшегося ложным обвинения дали результаты. (На выборах делегатов конгресса в 1933 году рабочая партия получила 42% голосов, тогда как на предыдущем конгрессе она располагала 29%, а ревизионисты потерпели жестокое поражение, и их доля снизилась с 21% до 14%!)

В 1935 году Жаботинский основал новую сионистскую организацию. С обновленными силами он приступил к многогранной деятельности по осуществлению своей программы. В области внешних отношений он провозгласил «политику союзов» с целью обеспечения поддержки со стороны таких государств, как Польша, Румыния и Чехословакия, на территории которых было сосредоточено большое еврейское население и которые были заинтересованы по самой природе вещей в еврейской эмиграции, дабы облегчить тяжелое экономическое положение своих народов. Жаботинский заручился поддержкой этих государств для оказания давления на Великобританию, государство-мандаторий, и открытия настежь ворот в Эрец-Исраэль перед еврейскими иммигрантами.

В 1936 году Жаботинский провозгласил программу «эвакуации» евреев Польши; он агитировал за организованную и упорядоченную эвакуацию евреев в массовом масштабе в Эрец-Исраэль на государственной основе. Выдвигая этот план, он руководствовался чувством, которое преследовало его в течение многих лет, что не сегодня-завтра разразится катастрофа. Уже в 1898 году (он был тогда юношей, которому не исполнилось еще 18 лет) Жаботинскому явилось страшное

видение Варфоломеевской ночи в Европе. Его призыв вызвал бурю негодования в среде еврейской общественности. Некоторые сионистские круги даже не удержались от обвинения Жаботинского в антисемитизме!..

В 30-х годах началась нелегальная иммиграция евреев в Эрец-Исраэль. На этом этапе она была организована эмиссарами ревизионистской партии. Плыли они на жалких суденышках (не нашлось достаточно средств, чтобы арендовать суда, достойные этого названия). Они плыли по Средиземному морю, уклоняясь от встречи с британскими сторожевыми судами, и высаживали на берега родины молодых людей, у которых не было будущего в Европе. В 1937 году Жаботинский был назначен командующим подпольной национальной военной организации (Эцел), которая предпринимала «ответные действия», реагируя на арабский террор против евреев Эрец-Исраэль. В принципе он не был сторонником подпольной деятельности в Израиле. Он верил в силу политического давления и в необходимость формирования еврейской армии открыто. Но после казни Шломо Бен-Иосефа, члена Бейтара, который решил отомстить за жертвы террора, Жаботинский счел оправданным существование Эцела в качестве гарантии стабильности политического климата в подмандатной Палестине.

Тем временем на международной политической арене начались события огромного значения. В сентябре 1939 года разразилась вторая мировая война, и евреи Восточной Европы оказались в западне. Все мечты Жаботинского созвать «Сейм Сиона» (парламент помощи евреям, находящимся в бедственном положении), чтобы принять программу эвакуации и всеобъемлющей политической борьбы с целью проложить путь в Сион, развеялись как дым. Казалось, мир его рухнул. И все же Жаботинский стремился увидеть луч света в воцарившейся тьме. В его душе пробудились воспоминания о днях первой мировой войны, и он собирался возобновить сотрудничество сионистского движения с Великобританией. Он стремился создать еврейскую армию численностью в 100 000 человек, которая, сражаясь плечом к плечу с союзниками, приняла бы участие в разгроме нацистской Германии, в награду за что еврейский народ обрел бы суверенные права на Эрец-Исраэль.

Жаботинский начал свою последнюю кампанию в Соединенных Штатах. Однако тяжелая болезнь не позволила развернуть ее. Еще в 1935 году у него началось сердечное заболевание. Быть может, последние месяцы его жизни в Нью-Йорке были самыми печальными за всю его жизнь. Он жил по большей части в одиночестве, вдалеке от членов своей семьи. Его жена осталась в Лондоне, ибо гражданское пароходное сообщение между Англией и Америкой было почти прекращено, а сын его, Эри, сидел в тюрьме в Акко, куда его бросили за деятельность по переброске нелегальных иммигрантов в Эрец-Исраэль. Средства его были скудными, он не располагал источниками для финансирования широкой пропагандистской кампании в Соединенных Штатах, где в этот период безраздельно царил дух изоляционизма и нежелания быть вовлеченными в войну в Европе.

Во время посещения им летнего лагеря Бейтара, неподалеку от Нью-Йорка, с ним случился сердечный удар, и он скончался 4 августа 1940 года. В своем завещании Жаботинский писал, что его останки могут быть перенесены в независимое Еврейское государство лишь по постановлению его правительства. В том, что еврейское государство будет создано через несколько лет, у него не было сомнения.

Лишь в 1964 году его предсмертная воля была выполнена и прах Жаботинского был захоронен в Иерусалиме, рядом с могилой основателя политического сионизма Т. Герцля, по чьим стопам он шел всю свою жизнь.

Было бы заблуждением увидеть в богатой событиями повести жизни Зезва Жаботинского трагедию. Исторический деятель, чьи идеи осуществились и пустили глубокие корни в народе, деятель, который оставил неизгладимый след в истории своего народа, не трагическая, а героическая личность.

Иосиф НЕДАВА

ЕВРЕИ И РОССИЯ

Из сборника «Фельетоны»

О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

I **РЕЧЬ К УЧИТЕЛЯМ**

Что есть национальное воспитание?

Было время, когда еврейская молодежь не только не рвалась к просвещению так усердно, как теперь, но когда отдельным лицам приходилось напрягать все усилия, чтобы приручить еврейскую массу к просвещению. Эта масса боялась просвещения и выставляла против него фанатический предрассудок преувеличенной самобытности — отчасти религиозной, отчасти национальной. Ясно, что людям, желавшим спасти эту массу от невежества, пришлось напасть на предрассудок. И они это исполнили. Они внушали массе, что надо быть прежде всего человеком, что наука равно хороша для всех, что несть эллин и несть иудей и так далее. Эта проповедь менее чем в полвека произвела в еврейской массе коренную перемену, совершила огромный переворот: насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, настолько они теперь жаждут его, так что не хватает ни школ, ни учителей, ни пособий: и по распространенности этой жажды знания среди беднейших слоев — мы, российские евреи, может быть, являемся первой народностью в мире.

Но теперь эпоха уже настала другая, и другие нужны для нее слова и дороги. Любовь к гуманитарному просвещению уже вызвана раз и навсегда и не только не может ослабеть, но будет все распространяться в ширину и глубину среди еврейских масс. Стараясь пробудить эту любовь, просветителям прежней эпохи, конечно, не было никакой нужды настаивать

на национальном оттенке воспитания, потому что он сам собой разумелся: ведь тогда только о том пока и можно было мечтать, чтобы внести в слишком узкое национальное и религиозное воспитание гуманитарную струю. Но теперь, когда это достигнуто, и достигнуто блестяще, повторилось то явление, которое всегда сопутствует успеху какой угодно идеи, даже самой полезной, самой благородной: добежав до цели, мы с разбегу пронеслись дальше. Цель была — создать еврея, который, оставаясь евреем, мог бы жить общечеловеческой жизнью: мы теперь сплошь прониклись жаждой культуры, но так же сплошь забыли о том, что надо оставаться евреями. Или, вернее, не забыли (есть веские причины, мешающие забыть), но наполовину *перестали* быть евреями, потому что перестали дорожить своей еврейской сущностью и начали тяготиться ею: и именно в том, что, с одной стороны, мы *не можем* забыть о своем еврействе, а с другой, — тяготимся им, — и скрыта главная горечь нашего положения: и из этого положения необходимо выйти. Чтобы выйти из него, есть, может быть, разные средства, но только *одно* из них в наших руках: это средство — сделать так, чтобы мы перестали тяготиться своим еврейством и научились дорожить им.

Таким образом, задача еврейского народного просвещения в настоящее время является диаметрально противоположной задаче прежней эпохи. Тогдашним девизом было: «стремитесь к общечеловеческому!» — ибо стремление к национальному (тогда выражались — «религиозному») уже имелось в обилии. Теперешним должно быть: «стремитесь к национальному!», ибо стремление к общечеловеческому уже имеется. В результате оба противоположных девиза ведут к одной цели, как оба радиуса диаметра к одному центру: к созданию еврея-гуманиста. Но, ведя к той же цели, новый девиз, однако, требует коренной перемены, полного перемещения центра тяжести воспитательной системы. Во дни оны центром тяжести еврейского воспитания надо было сделать гуманитарный элемент, чтобы скорей выжить дух нетерпимости и узости; но теперь центром всей системы воспитания еврейской молодежи должен стать национальный элемент, ибо надо выжить дух самопрезрения и возродить дух самосознания.

Вот реформа, необходимая ныне: надо перевернуть душу преподавания, произвести революцию в самом принципе системы.

Нельзя больше так жить, как мы живем: мы жалуемся на то, что нас презирают, а сами себя почти презираем. И это не мудрено, если подумать, что еврей, воспитанный по-нынешнему, знает о еврействе, то есть о самом себе, только то, что видит вокруг, то есть картину, не могущую польстить чувству национального достоинства. Если бы ему была известна колоссальная летопись еврейского величия и еврейского скитания, он мог бы почувствовать, сколько благородных сил кроется в этом маленьком и непобедимом племени, и ощутил бы гордость, и приучился бы радоваться при мысли, что он еврей: и тогда все неприятности еврейского существования показались бы ему гораздо легче, потому что терпеть неприятности за нечто любимое гораздо легче, нежели за нечто ненавистное или почти ненавистное. Но еврей, воспитанный по-теперешнему, совершенно не знает величавой перспективы еврейской истории, а знает только сегодняшний момент и свой уголок — Пружаны или Голту — и ни в этом моменте, ни в этом уголке нет, конечно, ничего величавого, а есть зато много забитого и приниженного. По этому образцу он знакомится с еврейством и вне этого образца ничего не знает о еврействе: и у него создается очень жалкое и тяжелое представление об этом еврействе, ему неприятно, что он тоже еврей, и иногда, ложась спать, он тайком думает: ах, если бы завтра утром оказалось, что все это был дурной сон, что я — не еврей! Но «завтра» приходит, и он просыпается евреем, и тащит за собой, почти с проклятиями, свое еврейство, как каледонский каторжник ядро. При каждом испытании судьбы он морщится и горько спрашивает: «Да во имя чего же, наконец, все это? Разве я еврей? Что такое еврей? Где-то там во Франции, в Марокко, в Румынии есть люди, которых тоже называют этим именем: разве я им брат? Я даже не знаю, сколько их, как им живется, о чем они мечтают, я не имею о них понятия, — а должен быть евреем...» И его охватывает злоба против этого имени, и он начинает употреблять его как ругательное: и окружающие за-

мечают все это и говорят друг другу: да как же нам не презирать его, если он сам презирает и свое племя настолько, что ничего о нем не знает, и себя самого настолько, что рушается своим собственным именем?

Мы, евреи нынешнего переходного времени, вырастаем как бы на границе двух миров. По сю сторону — еврейство, по ту сторону — русская культура. Именно русская культура, а не русский народ: народа мы почти не видим, почти не прикасаемся — даже у самых «ассимилированных» из нас почти никогда не бывает близких знакомств среди русского населения. Мы узнаем русский народ по его культуре — главным образом, по его писателям, то есть по лучшим, высшим, чистейшим проявлениям русского духа. И именно потому, что быта русского мы не знаем, не знаем русской обыденщины и обывательщины, — представление о русском народе создается у нас *только* по его гениям и вождям, и картина, конечно, получается сказочно прекрасная. Не знаю, многие ли из нас любят Россию, но многие, слишком многие из нас, детей еврейского интеллигентного круга, безумно и унижительно влюблены в русскую культуру, а через нее в весь русский мир, о котором только по этой культуре и судят. И эта влюбленность вполне естественна, потому что мир еврейский, мир по сю сторону границы не мог в их душе соперничать с обаянием «той стороны». Ибо еврейство мы, наоборот, узнаем с раннего детства не в высших его проявлениях, а именно в его обыденщине и обывательщине. Мы живем среди этого гетто и видим на каждом шагу его уродливую измелечалость, созданную веками гнета, и оно так непривлекательно, некрасиво... А того, что поистине у нас высоко и величаво, еврейской культуры — ее мы не видим. Дети простонародья кое-как еще видят ее в хедере, но там она дается в такой нелепой форме и обстановке, что полюбить ее невыносимо. Дети же среднего круга и того лишены. Сплошь и рядом нет у них даже отдаленного понятия об истории еврейского народа. Они не знают о его исторической роли просветителя народов белой расы, о его несокрушимой духовной силе, которая не поддавалась никаким гонениям: они знают о еврействе только то, что видят и слышат. А что они видят? Видят они запуганного человека, видят, как его отовсюду гонят и всюду оскорбляют,

и он не смеет огрызнуться. А что они слышат? Разве слышат они когда-нибудь слово «еврей», произнесенное тоном гордости и достоинства? Разве родители говорят им: помни, что ты еврей, и держи выше голову? — Никогда. Дети нашего народа слышат от своих родителей слово «еврей» только с оттенками приниженности и боязни. Отпуская сына из дому на улицу, мать говорит ему: « Помни, что ты еврей, и иди сторонкой, чтобы никого не толкнуть... » Отдавая в школу, мать говорит ему: « Помни, что ты еврей, и будь тише воды, ниже травы... » Так поневоле связывается у него имя «еврей» с представлением о доле раба, и ни о чем больше. Он не знает еврея — он знает жида; не знает Израиля, а только Сруля: не знает гордого сирийского коня, каким был наш народ когда-то, а знает только жалкую нынешнюю «клячу». Роковым образом он узнает еврейский мир только по его изнанке — и русский мир только по его лицевой стороне. И он вырастает влюбленным во все русское унижительной любовью свинопаса к царевне. Все его сердце, его симпатии все на той стороне: но ведь он все-таки еврей по крови, и об этом никто не хочет забыть: и он несет на себе свое проклятое еврейство, как безобразный прыщ, как уродливый горб, от которого нельзя избавиться, и каждая минута его жизни отравлена этой пропастью между тем, чем бы хотелось ему быть, и что он есть на самом деле...

«Отравлена?», — усомнятся многие, а про себя подумают, что чересчур уже сильно это сказано. Ибо они сами все это испытали, и было оно, действительно, весьма неприятно в иные минуты: но ведь вот они, слава Богу, живы и здоровы, едят и ходят, и ведут свои дела: значит, не так уж оно все опасно, чтобы стоило кричать об отраве. А я думаю, что здесь именно отравка, отравка всего организма. Она не приводит нас к самоубийству, потому что она затяжная, изо дня в день. Мы с нею свыкаемся, как свыкается человек со своей хромотою.

Я видел однажды хромую девочку, которая была очень весела, и, глядя на нее, я подумал: эта девочка уже свыклась и ничуть не страдает от своего недостатка. Но тогда я уловил взор ее матери, устремленный на нее, и мне стало страшно больно. Я понял, что мать лучше меня читала в душе этого ре-

бенка и видела ясно, как на самом дне этой души, даже в минуту хохота и резвости, таилась и теплилась какая-то искорка обиды за свое убожество. И мать понимала, что никогда не погаснет та искорка и девочка пронесет ее с собою через всю жизнь и как бы она звонко ни хохотала, как бы шибко ни выучилась бегать, все-таки вечно будет она чувствовать себя на крохотный волосок ниже других, потому что они — как все люди, а у нее хромая нога. Так будет насквозь отравлена вся ее жизнь, и никогда не узнает она ни в чем полного счастья в той мере, в какой оно доступно другим людям, потому что она ниже их. Мать это понимала, и во взоре ее был траур по этой девочке.

Если есть у нас чуткие матери, то и они должны тосковать о нашей судьбе, потому что драма хромой девочки, резвящейся рядом с другими детьми и все-таки хромой, есть драма еврея, влюбленного в чуждую культуру и все-таки еврея. Со стороны покажется, будто он рад и весел и забыл о своем уродстве; но кто умеет заглянуть в глубь души, тот и в самые счастливые минуты найдет на дне ее вечно болезненную точку обиды. Он может свыкнуться со своим горбом, но не может забыть. И потому вся жизнь его отравлена, и никогда и ни в чем он не будет переживать ее так же свободно и полновесно, как другие, ибо вечно, самому себе наперекор, будет себя чувствовать на волосок ниже других...

Я вспоминаю один случай. Мы в одном городе Юга ждали как-то погрома. Я был в числе дозорных и обходил с двумя товарищами базары — понаблюдать, не начинается ли где-нибудь беда. При этом, проходя среди русской толпы, мы инстинктивно старались придавать себе «русское» выражение лица и говорить с московским акцентом. Мне кажется, что не из трусости и даже не из каких-либо особенных конспиративных соображений, а чисто по инстинкту: мы бессознательно чувствовали, что теперь удобнее стусевать наше еврейство и не привлекать внимания. На одном из базаров, где было много народу, мне бросился в глаза старый еврей, в пейсах и долгополом кафтане. Он пробирался среди толпы осторожно, и по лицу его чувствовалось, что он понимает опасность и боится. Но мне при взгляде на него пришло в голову, что он хоть и боится, а не

делает и не может сделать попытки затушевать свои еврейские признаки. Он знает, что внешность его бросается в глаза и привлекает внимание враждебной толпы, но ему даже не могло прийти в голову, что следовало бы не казаться евреем. Он от малых лет сроднился с мыслью, что он — еврей и *должен* быть евреем, и теперь не мог бы даже вообразить, как это он да станет непохож на еврея, хотя бы и в минуту крайней опасности. Оттого он, который боялся, чувствовал себя в эту минуту внутренне свободнее нас, которые, может быть, не боялись в простом смысле этого слова, но все-таки инстинктивно прятали то, что он выставлял напоказ. Ибо мы от малых лет сроднились с мыслью, что мы, правда, евреи, но *не должны* быть евреями. Он — Божию милостью еврей: мы — осужденные на вечное еврейство.

Я, вероятно, очень бледно и невразумительно рассказал все эти переживания, потому что говорю по отдаленным воспоминаниям. Для нас (я говорю о людях моего политического лагеря) уже давно прошла пора, когда мы так чувствовали. Мы подошли к еврейству и вгляделись в него, и нашли в нем столько величия и красоты, что под их обаянием душа выпрямилась, подняла голову и ощутила до глубины всю гордость сознания: «я еврей». Так же невольно, как мы прежде смотрели на ту сторону униженно влюбленными глазами, так же невольно смотрим мы теперь и на «ту», и на все другие стороны глазами равного на равного — даже, быть может, глазами высшего на младшего. Мы переродились, потому что прежде мы терпели свое еврейство поневоле, а теперь мы им горды, мы ему радуемся, как радуется женщина своей красотой.

На Западе есть поговорка: *aus der Not eine Tugend*. Порусски это значит: возводить необходимость в добродетель, в заслугу. Эта поговорка насмешливая, но в основе ее лежит верно подмеченный психологический факт: человеку становится легче, если он *aus der Not* сделает себе *eine Tugend*, — если тем, за что его преследуют, сам он будет гордиться, а не гнушаться. И если мы хотим, чтобы нашим детям было легче, если хотим избавить их от той драмы хромого, которую пережили сами, то мы должны воспитать их так, чтобы сознание своего племени было для них не неволей,

а радостью и гордостью. Но для этого надо с первых лет очаровать их той величавой красотой, которую мы, их старшие братья, узнали так поздно, уже в мучительном переломе юности. Надо поверх нашей мизерной обыденщины, поверх согбенной спины жалкого Сруля показать им Израиля, его царственный дух во всем его могуществе, его трагическую историю во всем ее грандиозном великолепии. Только это исцелит нашу душу.

Мы должны честно вдуматься во все это, ибо так больше жить нельзя. Мы стоим перед огромною задачей, потому что почти ежедневно прибывают новые рекруты культуры из нашего племени, и мы должны спасти их от той внутренней горечи, которую так обильно и сытно испытали сами. Мы должны дать подрастающим поколениям гуманитарную культуру, но мы должны прежде всего гарантировать еврею мир с самим собою и уважение к самому себе. Мы прежде всего должны дать ему летопись нашей народности, чтобы он хорошо вник в то, как она жила с первых дней пути своего, сколько мощи проявила, сколько послужила братьям-иноплеменникам: чтобы он мог радостно улыбнуться, приосаниться и полюбить ее. Но эта летопись огромна, обширнее истории всякого другого народа, потому что древнее и потому что вторая половина ее разбита на отдельные поэмы скитания во многих чужбинах. Он должен узнать всю эту книгу книг, должен узнать о настоящем быте своих соплеменников иного подданства столько же, сколько о прошлом величии Иерусалима, чтобы чувствовать истинное братство. Он должен знать и прошлое, и нынешнее духовное творчество нашего племени, и не должны родные писатели оставаться для него неизвестными именами. Все это не может быть изучено между прочим: весь этот огромный материал требует огромного внимания: оттого ему должна быть отведена главная роль, ради него должно слегка потесниться, если нужно, все прочее, а не наоборот: наука об еврействе должна стать для нас центром науки.

Наша главная болезнь — самопрезрение, наша главная нужда — развить самоуважение: значит, основой нашего народного воспитания должно быть отныне самопознание. Так воспитывается на земле всякий здоровый народ, всякая нормальная личность.

Вам часто, вероятно, говорят, что быть сторонником национализации воспитания значит быть сионистом, и я знаю, что многих этот довод пугает. Но это ошибка. Здесь спор идет не между сионистом и несионистом: спор гораздо глубже. На одной стороне стоят те, кто, сознательно или бессознательно, потеряли надежду или желание сохранить еврейство неприкосновенным и ведут его к исчезновению со сцены; на другой те, которые ко дню будущего международного братства хотят сбереечь живым и того брата, имя которому Израиль, и сберегут его — во что бы то ни стало.

Дело не в споре партии и партии: здесь спорят между собою тенденция жизни и тенденция смерти.

Этим решается и вопрос о «древне»-еврейском языке. Сегодня и здесь я не намерен говорить о нем, как о языке преподавания: это вопрос совсем особый, очень сложный и спорный. Я рассматриваю сейчас еврейский язык лишь как *предмет* преподавания и хочу в этом смысле определить его место и роль. Мне кажется возможным сделать это в немногих строках, ибо после всего, что выше сказано, сам собою напрашивается вывод: несомненно, что при таком перенесении воспитательного центра тяжести на самопознавание — еврейский язык совершенно неизбежно и естественно становится *главным орудием* воспитания.

Когда человек интересуется французской литературой, он прежде всего изучает французский язык, а не полагается на переводы. Но мы ведь не просто «интересуемся», для нас это не есть вопрос любознательности — для нас вопрос идет об исцелении и перерождении исковерканной еврейской души, и еврейская культура стала для нас прибежищем единственного спасения. На ее изучении должны мы построить всю нашу новую систему воспитания, и начать волей-неволей придется с того наречия, на котором записаны все творения израильского духа. Наш язык — это порог, мимо которого нет доступа в школу национального воспитания, а проникнуть в эту школу стало для нас вопросом жизни или смерти.

Нас упрекают в мечтательстве и романтизме, нам говорят, будто мы ведем свою национальную проповедь из какой-то эстетической прихоти — потому, что нам *нравится* еврейская культура и еврейский язык. Да, не спорю, нравится,

но не в том дело. Если бы еврейская культура была еще ни-же клевет Лютостанского¹, если бы еврейский язык был хуже скрипа немазаной телеги, то и тогда возвращение к *этой* культуре через посредство *этого* языка было бы для нас совершенно непреодолимой реальной потребностью, от неудовлетворения которой мы реально страдаем, — было бы властной исторической необходимостью. Нас национализирует сама история, и тех, кто ей противится, она тоже рано или поздно повлечет за собою. Но они поплетутся тогда за нею в хвосте, как связанные пленники за колесницей покорителя. Благо тому, кто вовремя поймет ее дух и пойдет в первых рядах ее победоносного течения.

И первым из первых должен пойти тот, в чьей власти душа народа — народный учитель.

1903

II

РЕЧЬ В ОБЩЕСТВЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В ОДЕССЕ

Как относиться к идее ассимиляции еврейства? Все зависит от обстоятельств, от эпохи и потребностей, выдвигаемых эпохой. Есть моменты, когда ассимиляция представляется безусловно желательной, когда она есть необходимый этап прогресса. Это можно видеть даже на примере отдельного человека. Представьте себе ребенка с задатками живописца. В будущем, конечно, желательно, чтобы живописец был вполне индивидуален, вполне самобытен в своем творчестве. Но начинать с самобытного творчества нельзя: воспитание художника по необходимости начинается с усвоения чужого опыта, с подражания чужим образцам — словом, с «ассимиляции». Только по завершении этого этапа возможно здоровое развитие своеобразных начал, заложенных в натуре художника. Это самое применимо и к целому народу

¹ Лютостанский Ипполит — автор книг, содержащих невежественную клевету на еврейскую религию и культуру.

в тот момент, когда он впервые (или после большого перерыва) выступает на поприще гражданской самодеятельности. Как ни сильны, даже как ни ценны были бы его специфические, индивидуальные, «национальные» отличия, как бы пышно ни предстояло им развиться в будущем, — начать он должен все-таки с подражания готовым образцам, с копирования, с «ассимиляции». Эту стадию прошел и такой огромный, самостоятельный народ, как русские: было время, когда даже дворянские барышни, вроде пушкинской Татьяны, умели писать только по-французски.

С еврейями в России повторилось то же самое. Когда изменившиеся условия жизни вызвали распад патриархального гетто и детям его пришлось вмешаться волей-неволей в окружающую сутолоку, им прежде всего необходимо было овладеть тем орудием борьбы за существование, которое называется современной культурой. Это естественным образом заставило нарождавшуюся еврейскую интеллигенцию с жадностью наброситься на языки окружающей среды. При этом ею руководило далеко не стремление порвать с еврейством, а напротив — в основе тогдашнего «ассимиляционного» течения лежали ясные и определенные побуждения национального интереса. Яркий памятник того настроения нарисован Левандой в романе «Горячее время». Герой этого романа — «просветитель», действующий в Вильне, в эпоху непосредственно перед 1863 годом, когда на Литве начиналась борьба двух культур — русской и польской. Свой выбор он останавливает на первой, не из внутренних симпатий (обе ему чужды), а из холодного расчета: этот шаг, по его мнению, более соответствует интересам еврейства как третьей нации, очутившейся между двух станов. Правильно ли решил герой Леванды этот вопрос или нет — дело не в том; но важно установить, что ассимиляция в ту эпоху была и объективно, и в глазах ее деятелей не отречением от еврейского народа, а напротив — первым шагом еврейской национальной самодеятельности, первой ступенью к обновлению и возрождению нации.

В эту эпоху возникло общество распространения просвещения. Заслуги его пред еврейством огромны — именно потому, что создатели его поняли основную нужду эпохи и при-

шли ей на помощь. Основной нуждой эпохи было — открыть еврею доступ к европейской культуре, внушить ему любовь и интерес к этой культуре. Это и стало задачей общества. Никакой другой задачи у него тогда и быть не могло. Смешно было бы в то время (общество учреждено было в 60-х годах) потребовать, чтобы оно «насаждало» еврейскую культуру: еврейская культура тогда и без того насаждалась, хотя нерационально, хотя наперекор всем правилам педагогики и даже гигиены, но в таком обильном количестве, что не нуждалась ни в каких поощрениях извне. Наоборот, к европейской культуре и ее ближайшему проводнику — русскому языку — существовало еще пренебрежительное и враждебное отношение, и приходилось с великим трудом добиваться, чтобы рядом с национальными элементами воспитания уделялось хоть какое-нибудь место общеобразовательным предметам. Такова была эпоха, такова была ее нужда, и такова должна была быть ее основная идея, воплотившаяся в «обществе просвещения».

Но с тех пор прошло полвека, и многое, слишком многое резко изменилось как вне, так и внутри еврейства. Главным образом внутри. Если взять верхний и даже средний слой теперешнего российского еврейства и сравнить его с поколением шестидесятых годов, нам представится картина совершенно обратная. Смешно теперь «насаждать» жажду к просвещению: она у евреев так сильна, напор в гимназию, в университет, в институты так ретив, что в этом отношении никакие «общества» ничего прибавить не могут. Русский язык распространен так основательно, что черта оседлости считается одним из лучших районов русского книжного сбыта. Публичные библиотеки, лекции, театры посещаются евреями с беспримерным рвением. При этих условиях делать и дальше из идеи «просвещения» боевой лозунг значило бы ломиться в открытую дверь. Если что теперь нуждается в заботливом «насаждении», то это, в силу диалектической игры судеб, *еврейская культура, еврейские начала* в воспитании подрастающих поколений. Ибо от этих начал остались одни лохмотья.

Доказывать, что это правда, что национальный элемент воспитания у высших и средних классов еврейства давно уже в загоне, — значило бы тоже ломиться в открытую дверь.

Кто не знает, кто не видит? И не со вчерашнего дня это началось. Поэт Гордон, один из лучших деятелей просветительной эпохи, еще в 1862 г. воспевавший — на языке библии — преимущества русского языка, уже в начале 70-х гг. с горестным разочарованием заметил, что его последователи и ученики в своем усердии забежали слишком далеко. «Братья мои, просветители, стали пренебрегать старой матерью, — написал он тогда в стихотворении «Для кого я тружусь?», — они провозглашают: покиньте этот дряхлый язык, и пусть каждый сольется с наречием своей страны... А сыновья наши? Они с детства становятся нам чужды. Вот они подвигаются вперед, с каждым годом, и кто знает предел? И кто знает доколе? Быть может, до черты, откуда нет возврата»... Так на глазах еще у первых поколений «просветителей» совершилась метаморфоза: первоначальная идея — усвоить чужое, чтобы затем с новой силой развивать свое — выродилась в стремление ликвидировать свое и бесследно раствориться в чужом; ассимиляция из фактора национального прогресса стала фактором национального распада. А ведь со дня, когда вождь того поколения «просветителей» написал эти горькие слова разочарования, прошло 40 лет, и процесс распада проник еще гораздо глубже. И должно же, наконец, еврейство дать себе отчет: желает или не желает оно продолжать линию распада?

«Сыновья наши с каждым днем уходят — быть может, к той черте, откуда нет возврата»... Горькое пророчество давно стало правдой. На еврейской ниве почти не осталось интеллигентных работников: наша интеллигенция в громадном большинстве ушла. Можно различным образом понимать нужду еврейского народа, различным образом представлять себе идеал его будущности, начиная с сионизма и кончая полной денационализацией; но и для первой, и для последней цели надо, прежде всего, *работать* с народом и для народа. Прежде так понимали свою задачу и ассимиляторы: они жили с народом, волновались его заботами, трудились для него и, проповедуя свой идеал, все же стояли обеими ногами на реальной почве еврейства. А теперешние — просто уходят в сторону, просто бросают на произвол судьбы: пропадайте, мол, сами, как знаете. И масса, покинутая в своем тупике, в лабиринте своего бедствия, бьется, мечется и не видит исхода; ей

нужны просвещенные вожди, так нужны, так необходимы, как никакому другому народу на свете, — а между тем ее просвещенные дети служат всем народам на свете, только не ей. Нет работников ни для какого еврейского дела, от большого до самого малого, старые устают и сходят со сцены, а новых не видно. И мы знаем стариков, поседевших на службе ассимиляции, которые со скорбным недоумением смотрят на эту надвигающуюся пустоту и горько спрашивают себя: — Для *этого* мы работали? Для того, чтобы из ассимиляции родился индифферентизм?!

Думаю, что на этот горький вопрос правда жизни откликается горьким ответом: да, вы для этого работали. Ибо для того, чтобы из подрастающих поколений выходили работники для еврейства, надо преданность еврейству положить в центр и основу их воспитания. Окружающий мир слишком прекрасен, приволен и богат по сравнению с неприглядностью и бедностью еврейского существования: и для того, чтобы эта красота не сманила человека, не соблазнила его отвернуться от родной лачуги, нужно развить в его душе прочные, нерасторжимые идеальные связи. Этих связей не создать одними словесами. Чтобы сковать такие связи, надо распахнуть пред подрастающим поколением все то великое и красивое, что есть в еврейской сокровищнице, ввести в нее, провести по всем ее углам, растолковать ценность каждой жемчужины, научить дорожить и гордиться. Красоте, манящей извне, надо противопоставить собственную красоту, чтобы не выпускать на житейскую улицу санюлотов, убежденных в нищете и никчемности своего народа и спасающихся, куда глаза глядят. Углубление в национальные ценности еврейства должно стать главным, основным, преобладающим элементом еврейского воспитания. Это необходимо не для того, чтобы потешить националистов. Это необходимо для того, чтобы удержать на еврейской ниве ее разбегающихся пахарей, чтобы еврейская масса не осталась без руководителей, еврейское дело без работников, «народ Книги» — страшная ирония судьбы — без интеллигенции!

«Уходят за черту, откуда нет возврата»... Почему уходят? Почему уходят, особенно в последнее время, такими густыми массами, с такой циничной легкостью, без намека на

колебания, на сожаления, выбрасывая балласт еврейства, словно ненужный песок, по первому требованию невзгоды? Почему? Кто виноват? Кто довел до этой черты?.. Мне пришлось недавно писать об этом новом «бытовом явлении» еврейской современности, и после того я получил несколько писем от молодых людей, перешагнувших туда, «откуда нет возврата». Письма были разные, были и грубые, и циничные, и грустные, но во всех, без исключения, на первом плане стоял один и тот же довод: что нам еврейство? Мы о нем ничего не знаем, нас никто не учил понимать и любить его: ничего удивительного, если мы ушли. И они совершенно правы. Ничего удивительного. Что мы посеяли, то и пожали...

1910

В ТРАУРНЫЕ ДНИ

... Вот уже сколько прошло погромов, а я никак не могу себя пропитать внутренним интересом к событиям этого рода. Конечно, я не умаляю их разрушительной силы, не обесцениваю человеческого горя, что они приносят, но внутреннего интереса не могу в себе вызвать. Как я ни стараюсь себя расшевелить, мне все кажется, что над нами совершается большая кровавая бессмыслица, по поводу которой можно плакать, кто еще не разучился, но не стоит и не о чем размышлять. Я писал об этом недавно — в погромах есть ведра крови и пуды человеческого мяса, но нет в них для еврейского сознания того сокрытого урока — *mussar Elohim*, который возвысил бы их до степени трагедии. В трагедии обязательно должна содержаться некая неведомая правда, новое слово, которое познается в этих муках и открывает народу новые пути. А что и кому из нас открыли эти погромы, кого из нас и чему могли научить? Только кишиневская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость. Но остальные погромы свелись просто к огромной, животной и бессмысленной уголовщине — больше ничего.

Мы истекаем кровью и не знаем, во имя чего и какие выводы сделать из наших страданий. В октябре 1905 г. нас громили разные слои русского общества и народа, но мы и раньше знали, что мы окружены врагами; к этому знанию ни октябрь, ни Белосток ничего не прибавили. В Седлеце нас громили официально, по-видимому, без участия общественных элементов, — но ведь даже хасиды Седлеца давно знают цену пану уряднику. Так меняется обстановка погромов, список участников и форма ран, но по существу остается одно и то же — остается вещее слово Бялика: «нет смысла в вашей смерти»...

Когда мне рассказывают подробности погромов, мое внимание помимо воли отрывается и ускользает на другие пути. Мне хочется уяснить себе вопрос: хорошо, допустим, что я дослушаю до конца и буду знать, где, как и кого они убили, но ведь не в этом дело, а вот как быть дальше, что можно сделать против погромов?

Самооборона — вряд ли об этом можно говорить серьезно. Она не принесла нам в итоге никакой пользы: вначале страх перед нею действительно предотвратил несколько погромов, но теперь, когда *те* ее испытали на деле и сравнили количество убитых евреев и погромщиков, кто с ней считается?

Итоги самообороны надо подводить по общим результатам, и эти итоги ясно говорят: когда *им* угодно, они устраивают погром и убивают столько евреев, сколько им нужно, а самооборона тут ни при чем. Конечно, в самообороне есть утешение. Но ее практический итог равен нулю и нулем останется, и пора спокойно признать это вслух, чтобы люди даром не надеялись.

Некоторые господа в последнее время придумали новое средство — антипогромную пропаганду. Одна моя знакомая девочка уверяет, что белок ловят очень просто: надо к ней подойти на полшага расстояния и насыпать ей соли на хвост, и готово — белка в плену. Я всегда об этом вспоминаю, когда мне говорят об антипогромной агитации. Старая песня, давно знакомая иллюзия — эти люди будут печатать статьи и брошюры, устраивать лекции, и они думают, что

русские станут их читать или слушать. Еще бы, держите карман. Я помню жалкий восторг евреев, когда в 1905 г. в «Сыне Отечества» появилась большая и скверная статья «Трагедия шестимиллионного народа». Им казалось, что вся Россия читает и умиляется. А на самом деле только евреи одни и расхватали этот знаменитый номер газеты, памятник нашей глупости, и на русских она никакого впечатления не произвела просто потому, что у каждого есть свои заботы и ему не до чужих, особенно в наше время. Еще ярче выказалась наша глупость, когда после октября в Петербурге устроили от имени Союза союзов «русский» митинг протеста и приложили все старания, чтобы евреи сидели дома, а русские пришли: оказалось, конечно, что русские остались дома, а ораторам пришлось ломать комедию перед сплошной еврейской публикой, призывая ее протестовать от благородного русского сердца. И это вполне понятно — русские не пришли вовсе не по злобе, а из самого законного равнодушия, потому что каждый человек, в особенности серьезный и дельный человек, естественно уделяет внимание *своим* насущным интересам и не обязан его уделять интересам других.

Я знаю, теперь эта идея многих увлекает, и образовались даже нарочитые книгоиздательства для печатания классических апологий, над которыми сами евреи зевают, а неевреям, без сомнения, даже и зевать не приходится. Образовались также в разных местах досужие комиссии, которые рассылают такую словесность направо и налево, по случайным адресам, или даже при газетах... Сыпьте, сыпьте белке соль на хвост! Получит еврей брошюрку — позевает, но прочтет; получит русский — посмотрит: а, это про евреев? — и отложит в сторону. У него своих хлопот довольно. Что — он, по-вашему, обязан досконально знать и про армян, и про чукчей?

Все эти верующие господа думают, что если русская масса охотно читает юдофобскую литературу, она столь же охотно будет читать и юдофильскую. Большая и наивная ошибка. Прежде всего надо помнить о тех элементах, которые в данном случае стоят на первом плане — о черной сотне в простейшем смысле, которая хочет погрома ради грабежа и обещанной мзды: им не нужна даже погромная литература,

а пронять их еще антипогромной проповедью — ведь это была бы совсем уж глупая мечта. Наши проповедники, несомненно, имеют в виду другую часть массы — среднюю, обывательски-честную, ту самую, которую действительно почти так же легко будет в надлежащую минуту послать на баррикады, как и на погром. Но эта масса и есть именно та, которая психологически не может заняться чтением брошюр о еврейских добродетелях. Погромную брошюру она жадно читает по той самой причине, почему она жадно читает и летучий листок революционеров — если он, конечно, изложен понятным языком: здесь ей говорят о причинах *ее* собственных страданий, указывают ей средства к облегчению *ее* собственных бед. Разница только в том, что погромная брошюра во всем винит жида, революционный листок — урядника, но и здесь, и там ей прежде всего говорят не о жиде и не об урядниках, а о *ней* самой, об *ее* кровных интересах. Совершенно другое дело — антипогромная литература. В самом ее назначении коренится абсолютная невозможность ее успеха: она вся посвящена доказательству именно того, что к страданиям русской массы жид нисколько не причастен, что не он виноват, не в нем причина — словом, что ей, русской массе, от еврея ни тепло, ни холодно... Но тогда с какой же стати будет она тратить время на чтение о том, от чего ей ни тепло, ни холодно? Массовому человеку чтение дается нелегко: он не умеет «пробегать» строки, он вчитывается и вникает. И именно поэтому он берет в руки только ту книжку, о которой ему доподлинно известно, что тут — верно или неверно, другой вопрос — объяснены причины его нужды и горя. Не может он, органически не может и по совести даже не обязан интересоваться какими-то евреями, как таковыми. С того самого момента, как они перестают быть причиной его бед, они для него теряют всякий интерес. Сказать ему, что в этой брошюре доказывается невинность евреев, значит сказать ему, что эта брошюра до него не касается. Русская масса глотает и будет глотать погромную литературу, потому что это литература о ней, и не будет читать антипогромных брошюр, потому что это литература о евреях.

Моя знакомая девочка — очень наивная девочка. Она не соображает, что прежде чем насыпать белке соли на хвост, надо подойти к белке, а в этом и вся загвоздка.

...Я прекрасно понимаю те добрые побуждения, которые заставляют разных господ измышлять все эти проекты спасения, но ничего из этого не выйдет. Спасения нет. Не злая воля подстрекателей, не темнота народной толпы, но сама объективная сила вещей, имя которой чужбина, обратилась ныне против нашего народа, и мы бессильны и беспомощны. Молодежь наша будет честно защищаться, но лавина разгрома с хохотом погребет эти хрупкие дружины и даже не замедлит своего хода. Кратеры голуса разверзлись, буря сорвалась с цепи, и чужбина сотворит над нами все, что ей будет угодно. Вы будете корчиться от бешенства и поднимать яркие знамена борьбы, вы напряжете все силы духа, чтобы найти тропинку спасения, и сами себе поверите на миг, будто нашли ее, — но я не верю и гнушаюсь утешать себя сказками, и говорю вам со спокойным холодом в каждом атоме моего существа: нет спасения, вы в чужой земле, и до конца свершится над вами воля чужбины!

Один еврей-журналист воспользовался недавно Белостоком, чтобы сунуть мне в душу свои пальцы и пощупать там, какова моя «погромная философия». И нашел, что я равнодушен к еврейскому горю. Я ему не ответил — я слишком хорошо понимаю настроение людей этого типа, чтобы гневаться на них за несправедливость или обиду. Здесь было повторение старой еврейской истории — человек отдал лучшие соки своей жизни на то, чтобы распахать чужую ниву, и в последнюю минуту хозяева убили его братьев и трупами их удобрили свое поле: и человек пошатнулся от оскорбления, и судорожно хватается за соломинки, и злится на всех людей за каждое слово правды, и хочет непременно что-то такое кропотливо и мелочно доказать или опровергнуть — даже нельзя понять, что именно. Я не стал ему отвечать, да и нечего мне было ему ответить: у меня нет никакой погромной философии...

У меня нет погромной философии. Я не из тех, которым она необходима, чтоб было чем заштопать прорехи, было за что ухватиться, когда чужой ураган опрокинет их вместе с их истуканами. Я ничему не учусь на погромах нашего народа, и ничего мне сказать не могут они такого, чего бы я раньше не знал. И я не ищу понапрасну лекарственной травы против отдельных нарывов голуса, потому что я в нее не

верю. У меня нет ни погромной философии, ни погромной медицины. Я люблю мой народ и Палестину: это моя вера, это ремесло моей жизни, и ничего мне на свете больше не нужно. И когда разражается гром и рабские души мечутся с жалобным воем и ищут пластыря для скорой помощи, я стискиваю зубы, собираю мои силы и делаю дальше работу моего ремесла. Я хочу торговать шекелями среди погрома, я клею голубую марку на список убитых: в этом моя гордость. Вы сунули пальцы в мою душу и не нащупали в ней ничего, кроме равнодушия — видно, толстая кожа стала на ваших пальцах от чуждой работы. Но что бы ни творилось у меня на душе, — никогда не приду я на страшное пожарище моего народа с заплаканным носовым платком в руках и ни его, ни себя не оскверню надругательством жалких утешений. У меня нет лекарств от погрома — у меня есть моя вера и мое ремесло: не из погромов я вынес эту веру и не ради погрома я оставляю даже на час это ремесло. Вера моя говорит, что пробьет день, когда мой народ будет велик и независим, и Палестина будет сверкать всеми лучами своей радужной природы от его сыновнего рабочего пота. Ремесло мое — ремесло одного из каменщиков на постройке нового храма для моего самодержавного Бога, имя которому — еврейский народ. Когда молния режет насквозь черное небо чужбины, я велю моему сердцу не биться и глазам не глядеть: я беру и кладу очередной кирпич, и в этом мой единственный отклик на грохот разрушения.

1906

ЕВРЕЙСКАЯ КРАМОЛА

Наше движение пробивает себе дорогу в атмосфере непонимания и клеветы. Кто близко видел жизнь разных партий и следил за их враждою, знает, что ни против одной из них не пушено в ход столько ненависти, сколько против нас. Сделано все, чтобы нас изолировать. Свежий человек из среднего круга, примкнувший к нашему лагерю, замечает, как понемногу от него ускользают старые связи, падает

общественное признание, вместо уважения в глазах окружающих мелькают искорки пренебрежительного недоумения. С поражающей быстротой создается вокруг него — за пределами партийной жизни — холод одиночества.

В этом нет ничего странного. Так было и всегда будет. Когда на улице праздник, люди требуют, чтобы все были в брачных одеждах: среди еврейской интеллигенции до сих пор еще держится вера, что праздник относится и к нашей улице; и когда между ними проходит человек с траурной повязкой на руке и с кличем: «не верьте!» — они раздраженно отворачиваются. Это вполне естественно, роптать против этого бесполезно. Навстречу недружелюбию, навстречу злобе и клевете надо нести нашу горькую правду без прикрас и без смягчений.

Я хочу начать сегодня с самого горького зерна этой горькой правды, и не только потому, что оно горше всех остальных, но еще больше потому, что в этом вопросе главный корень упрямой ненависти, которой окружено наше движение. Флаг надо поднимать сразу над тем местом, куда направлен самый жестокий натиск противника. Это — вопрос о еврейской роли в русских событиях.

Почти уже десять лет, как люди нашего лагеря ведут настойчивую проповедь осторожного и сдержанного отношения к этой роли. Может быть, эта проповедь была ошибкой с их стороны, потому что она тактически много нам повредила, а практически не принесла результата: все, в ком только было достаточно задору, все побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю. Раз оно так случилось, значит и не могло быть иначе, и наша проповедь осуждена была на бесплодие, и было бы расчетливее совсем не тратить нашей силы на этот спор. В *этом* смысле мы, быть может, сделали действительно ошибку, но только в *этом*. Есть и другой смысл — смысл исторической правды, которая не всегда вовремя проникает в сознание людей, но всегда остается правдой. Эта правда была за нами. И теперь, когда накоплен еврейством России неслыханный, чудовищно-богатый опыт, когда пережито все, что можно было пережить на быстром пути между верхом восторга и пропастью отчаяния, теперь мы подводим итог и спрашиваем: кто был прав?

Нам до сих пор стараются втолковать, что дело России есть общее дело, как будто против этого кто-нибудь спорил. Суть спора в том, что на общее дело надо и расходовать сообща, а сообща — значит пропорционально. Затраты каждой общественной группы должны быть точно соразмерены и с ее интересами, и с ее силами. Больше должен тратить на общее дело тот, кто получит бóльшую выгоду от его осуществления; больше должен тратить тот, у кого силы и средств больше. Пропорциональное представительство в революции! Наша еврейская затрата на дело обновления России не была соразмерна ни с нашими интересами, ни с нашим значением, ни с нашими силами. Даже в моменты наибольшего опьянения надеждами не было в рядах еврейской армии ни одного глупца настолько бессовестного, чтобы ждать от успеха борьбы полного ответа на еврейский вопрос, — ни одного, кто в глубине души не понимал бы, что в обновленной России нам придется жить с теми же соседями, а психология соседей в этом отношении еще нигде и никогда не перерождалась от политической реформы, и суть неравенства не меняется от замены казенного гнета общественным непризнанием. Это все понимали. Все понимали, что нам обновление России даст меньше, непомерно меньше, — и все же мы заплатили больше, непомерно, безумно больше того, что могли заплатить, и того, что стоило заплатить. В течение пятнадцати лет мы собственной волей систематически вносили на алтарь общего дела удесятеренную живую подать, — а когда взошел посев, судьба взыскала с нас уже помимо нашей воли неслыханную доплату... Кто же был прав? Или все это теперь окупится? Или не разумнее было бы для раздавленного и опустошенного племени уступить переднее место в бою сильнейшим? И если даже поверить, что от этого, по чужой косности, ход событий растянулся бы на более долгие годы, — кто решится сказать, что не лучше было бы для нашего народа встретить обновление позже, но не за такую цену?

Наши политические плясуны в ответ на все это кричат о психологии лавочника, о мелочных расчетах, достойных мещанской глуши. Да. Над народным достоянием и благом честный человек должен стоять на страже скупой и расчетливой,

как лавочник над своею кровной кассой. Семь раз отмерь и один раз отрежь — это правило мещанина, но политическая партия совершает низкое и нечестное дело, если она хоть на мгновение забывает об этом правиле. Звать массу на трудный подвиг, не взвесив раньше до золотника, во что это ей обойдется, не разорит ли ее непомерное бремя и стоит ли вся игра свеч, — это значит быть в худшем случае предателем, в лучшем случае — болтуном. Но тут есть и другая сторона расчета. Наши затраты не окупятся для нас, но окупятся ли они хоть для общего дела? Правда ли то, что еврейская энергия облегчила и ускорила восход русской свободы?

За каждым из нас должно быть признано право на исходе определенного периода истории, в такие дни затишья, как нынешние, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то дурное, что произошло от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать. Попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо, без всяких апелляций к чувству. Речь идет о подсчете, об итоге, и я хочу действовать, как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель — получить, насколько это в его силах, правильный баланс.

Хотя бы представление так формулирует роль, сыгранную в освободительном движении евреями:

Революции не было. Надо было вызвать ее. И это взяли на себя евреи. Они — легковоспламеняющийся материал, они — грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России. И так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным по белому и считается большой истиной. Но я, счетовод, над этой затратой еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумье и не знаю, окупилась и окупится ли она.

О, бесспорно, это заманчивая задача: быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 150-миллионном народе, поднять красное знамя на Литве так высоко, чтоб увидал и Тамбов, и Саратов, и Кострома, — чтоб увидали и сказали друг другу: «Пойдем за ним». И, конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело

от еврейских революционеров: знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы?

Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны, Кострома, бесспорно, вводилась в искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызывать у нее, Костромы, соблазнительной мысли: значит, можно и у нас попробовать тем же манером? В то же время отдельные евреи добирались и до самой Костромы и лично старались там претворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело, конечно, к пробуждению политического сознания. Но... А с другой стороны?

Я вспоминаю потемкинские дни в одесском порту. Огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что через несколько часов она же будет лизать ликер с булыжника мостовой и жечь пакгаузы. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычайно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все, что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец, с открытым славянским лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собой штурмом на город. И ораторов, действительно, слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» — с большими круглыми глазами, с большими ушами и нечистым *p*. И в толпе всякий раз, со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? Именно замечание, а не возглас, не окрик; в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы — это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, чтобы оратор был *свой* от головы до ног, чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей повадки его веяло родным — древней, степью, Русью.

Тут были ведь не спропагандированные люди, которых можно взять резонами, — тут была масса, не подготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу, надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа, нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не покоробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь этого сродства не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но без увлечения; чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль: жида пошли — ну, значит, все это, видимо, их только, жидов, и касается. Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз о нем главным образом радеют чужие. И больше ничего. Да и этого было довольно: расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награбленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город, оставив порт и босячество на волю судьбы.

Я далек от того, чтобы медленный рост политического сознания в русских массах объяснять всецело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь в одном: подымать народную новь может только свой. У чужого — если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются, — у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака и особенно чужаков, если их много, и инстинктивно сторонится.

А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девяносто и кричат народу: берегись, это еврейское дело! И народ им верит или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине. Когда невольно становились страдания русского народа и вот-вот готов был прорваться его гнев, — кто сосчитает, сколько раз в такие моменты реакция спасала себя искусной игрою на этой слабой струнке стихийного существа — на недоверии к революции, предводимой инородцами?

Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры несколько не ответственны за то, как освещала реакция их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты. И говорю, что если,

с одной стороны, еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то, с другой стороны, преизобилие евреев в рядах крамолы давало реакции ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отрицать это значило бы лгать самим себе. И пусть не думают, что это был слабый или недействительный фактор затемнения! В 1863 году реакция сыграла такую же спекуляцию на польском повстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне.

И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России, но он же способствовал и затемнению этого сознания. Он давал топливо для революции и пищу для реакции. Что же было сильнее: первое или второе? Иными словами: ускорила или замедлила еврейская крамола наступление всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков, и женщин, и детей, которой нас заставили заплатить, под ножами предателей, за крушение старого строя? Не выгодней ли было для народа подождать еще несколько лет — ведь и без евреев, наконец, не погибла бы Россия, — но дешевле заплатить за свободу?

Пусть, положа руку на сердце, отвечает, кто может, — я не могу, потому что не знаю ответа.

Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась «по собственной воле еврейского народа», и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовнею все модные фразы о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров — значит,

такова была атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так, я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию.

Но на пользу ли народу пошла эта революция? Не знаю. Воля народа не во всякий отдельный момент ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет, — а на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит...

Только там, где на себя самого и ни на кого больше должен рассчитывать народ, — только там воля народа всегда ко благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги: мы строили и скрепляли народное единство и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное неверие в чужую помощь и скажут: «Благо тем, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства».

Мы — партия национального зодчества — никогда не хотели играть вслепую, и в этом вся разница между нами и другими. Мы всегда знали, что работа на поле, где не мы хозяева, есть игра с завязанными глазами и ничем иным не может быть, и мы протестовали против вовлечения народной массы в эту безумную авантюру. И теперь, после новых и решающих опытов, мы с полным сознанием остаемся на старой позиции. Мы честно и дружно пойдем с освободительным движением, ибо вне свободы немислимо национальное сплочение, но самая сила вещей отвела евреям место во вторых рядах, и мы оставляем первые шеренги представителям нации большинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию *вести*: мы *присоединяемся* — это все, что объективно под силу нашему народу. В этой земле не нам принадлежит созидательная роль, и мы отказываемся от всяких притязаний на творчество чужой истории.

Поле нашего творчества внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в неизвестную темноту, на добрую волю союзников, которых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников — или сам за себя, или нет спасения. Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай *свои* силы, измерь *свою* волю, и тогда — или иди за нами, или да свершится над тобою судьба побежденных.

1906

ВАШ НОВЫЙ ГОД

(Письмо на родину)

Между Одессой и Петербургом ходит скорый поезд. В полдень ему дают третий звонок на перроне одесского вокзала, а приходит он в столицу на вторые сутки в девять утра: обратно он выходит вечером и прибывает в Одессу около шести часов после обеда. Если вы сосчитаете, то увидите, что по дороге туда он встречает первую полночь около Бердичева, а вторую — несколько дальше Двинска; на обратном пути первая полночь у него приблизительно в Луге, а вторая — где-то не доезжая Ровно. По обе стороны его полотно расстилается многоземельная, но тесная страна — черта еврейской оседлости.

Я встретил первое января 1904 года в вагоне близ станции Луга. Первое января 1905 года — в вагоне за Двинском. Первое января 1906 года — в вагоне около Бердичева. Первое января 1907 года — в вагоне где-то не доезжая Ровно. Я немного устал.

В этот раз я никуда не поехал и никуда не пошел. Люди Вены ждут первой январской полночи на площади у собора св. Стефана, веселятся и шумят: но я никуда не пошел. Я устал, я слишком много шума переслышал за эти четыре года.

У меня горела на столе моя лампа и в печке рдели угольки, у меня был чай, диван, книги, опущенные занавесы и тепло в комнате. Это было, вероятно, то самое, что люди зовут

мещанским уютom. Ну и пусть. Я заработал свое право один раз дожидаться новогодней полночи в ласке домашнего тепла. Иногда надо жить, как все живут. Если носишь постоянно не такие галоши, как у всех, то наконец душа не вытерпит. Перетянутым нервам лучшее лекарство — шаблон. И, кроме того, после такой жизни именно шаблон представляет все очарование новизны.

Добрый австрийский Бог понял меня и устроил все как полагается в книжках для хорошего зимнего вечера в укромном уголке: на улице гудел ветер, выла от времени до времени проволока трамвая, а дома было тихо, все ушли, печка не дымила и лампа не коптила, ветчина и масло попались хорошие. Завтра я нахлобучу шапку, подыму воротник и пойду своей дорогой по жесткому ветру, но один вечер можно провести в мягко-нагретой ванне своего собственного, беззлобного, безмятежного эгоизма.

Так я сидел и праздновал сам не знаю что. Люди Вены праздновали свой Новый год: вы отстали от них на тринадцать дней (говоря вообще, для вас это совсем немного) и празднуете свой Новый год на две недели позже. Мне все равно, я люблю все народы на свете и праздники всех народов: когда они ликуют о своих годовщинах и мне случится быть неподалеку, я просто рад тому, что людям весело, и праздную в душе их веселый час — если только нет у меня в тот самый день собственных траурных поминок.

Так я сидел и омывал запыленную душу покоем и воспоминаниями о далеких людях и пробежавших днях, об умирающем годе и обо всей грустной аллее лет, рожденных и ушедших за мою память. Где я в последний раз пил в эту полночь шампанское и желал соседям несбыточных вещей? А, это было у вас, в вашем городе, в то милое наивное время пять лет назад. Помните ли вы, как было все тогда по-другому? Город ваш был тогда веселым и красивым городом, братоубийство еще не обезобразило его улиц и не обратило в пустыри, по которым, озираючись, прошмыгивают редкие тени. Сами вы ждали каждый день чего-то великого и радостного. Как дети перед елкой, вы много суетились и волновались. Внутренний огонь ваш нарастал, что день, то жарче, и не было такой мелочи, для которой у вас не хватило бы пы-

лу и о которой вы не спорили бы с увлечением и страстью. Все вам казалось страшно важным, все играло роль в вашей жизни. Новая книжка толстого журнала была событием. Удачная статья производила впечатление большой политической победы. Не в тон сказанное слово называлось изменой. Пять лет ссылки на поселение считались драконовской жестокостью. Когда по улице проходил актер, художник или писатель, вы толкали друг друга в бок и шептались: смотри, кто идет!

Теперь не то. Захолустный небывальщина, которого легко было удивить, переродился. Не знаю, стал ли он умней и лучше, но он навидался видов — навидался таких вещей, которые, быть может, из десяти поколений одному показывает история. Так же, как это было нетрудно в те времена, трудно теперь овладеть его пресыщенным вниманием, разбудить его исчерпанный энтузиазм, задеть за одну из немногих еще не лопнувших у него струн. Максим Горький мог бы теперь свободно показаться в фойе театра, это не собрало бы толпы. Коренные римляне редко ходят глазеть на нового папу или на приезжего заграничного монарха, они это предоставляют новоселам города: им самим уже неинтересно, они за тридцать веков видали и царей, и пап куда большего калибра, вообще видали события, пред которыми все величие первосвященников и королей подобно свечке под лучами солнца. На это немного похожа теперь ваша психология. Когда теперь оглядываешься на те еще недавние годы, кажется, что пред тобою детски счастливая молоденькая девушка с ясными глазами, нарядная в своем незатейливом ситцевом платьице, и хочется сказать: «Какое простенькое время».

Просто жилось и верилось тогда, и простые пожелания к Новому году делали мы друг другу в невозвратимые вечера юношеских надежд. Я еще помню, чего я пожелал своим соседям в тот последний канун, я им сказал: не пожелаю вам ни счастья, ни здоровья; ничего. У меня для вас нет сегодня пожеланий. Но между нами только что невидимо явился некто новый, годом зовут его люди, и не вам, а ему я хочу принести свое пожелание. Я ему желаю запечатлеть четыре цифры своего имени на вечные времена в памяти России и человечества: я ему желаю свершить великое. Оттого я не

пожелаю вам, людям, ни счастья, ни здоровья, ничего. Ибо счастье людей помеха величию года. Чтобы стать великим, он должен перешагнуть через ваше счастье. И сколько бы ни было между вами тех, кому суждено схоронить свое счастье и самую жизнь под стопами победоносного года, и как бы они близки ни были моему сердцу — да свершится.

Я разучился теперь говорить такие слова. Мне все чаще кажется, что я вообще разучился говорить с вами. Если бы я сидел сегодня за вашим столом, я бы не стал пить ваше вино и не сказал бы вам ни одного слова.

Я молчал бы с вами не потому, что не верю больше в «великое». Напротив, я не сомневаюсь в его неизбежности. Но душа моя холодна.

Я молчал бы оттого, что мне чуждо ваше завтра, чужда ваша вера и чужды вы сами. Вы — единственные на свете, чьих праздников я не делю. Ни одна ваша радость не задевает меня, ваши горести кажутся мне мелкими, ваши надежды жалкими и вся жизнь ваша ничтожною. Когда вы плачете о своих увечьях, мне противно, потому что вы разменяли на полушки большую трагедию. Надо играть ее со стиснутыми зубами, с бледными лицами, сухими глазами: вы ее ведете в тоне плаксивой жалобы, и мне тяжело смотреть на ваше надругательство. Когда же вы радуетесь или надеетесь, непреодолимая волна отвращения подымается к моему горлу, потому что я вижу, за какие гроши вы продаете свою радость, на какие мелкие крючки можно поймать вашу надежду. Я думал, что вам больше цена.

Оттого одно только мог бы я сказать вам сегодня, будь я сегодня с вами: мне вам нечего желать, потому что мне безразличен ваш завтрашний день. Для меня существует только *мое* завтра, только *моя* заря, в которую верю всем трепетом моего существа, и ничего мне больше не нужно. Не могу я сказать: желаю вам счастья в наступившем году, — это было бы неискренно. Ибо если вам на минуту покажется, будто вы счастливы, я надену траур и приду на ваш праздник, осмею ваше легковерие, вышучу ваши тосты, прокаркаю над вами злую правду и отравлю каждую каплю вашего благодушества. Это единственное, что меня еще связывает с вами: я хочу колоть правдою ваши глаза, опрокидывать ваши

карточные домики, тушить ваши волшебные фонари с пес-
трыми картинками, чтобы вы ясно видели пред собою глу-
хую стену и вокруг себя унылую безнадежность: и сколько
станет моей силы, я вам не дам ни на день забыться, я вам не
дам тешить себя и мечтать.

Больше мне с вами не о чем говорить: все остальное, чем
вы живете, не интересует меня, только насильно могу я сосре-
доточить свои мысли на ваших вещах и делах, лишенных для
меня всякой ценности, — и это мне с каждым днем становит-
ся труднее. С каждым днем растет отдаление между мною
и вашим миром: я уже с трудом различаю, что у вас там копо-
шится, и скоро, может быть, совсем перестану различать.

Я не служу и не хочу служить ничему из всего того, что
вам дорого. У вас там есть свои идеалы: я их очень ценю,
но в руках у вас они смешны и бесплодны; поэтому я издева-
юсь над ними и над вами и буду бороться с ними и с вами,
для торжества моей веры, всеми путями и всеми орудиями,
во что бы то ни стало.

Я когда-то сильно чувствовал красоту свободного, не-
рядового человека, «человека без ярлыка», человека без
должности на земле, беспристрастного к своим и чужим,
идушего путями собственной воли через головы ближних
и дальних. Я и теперь в этом вижу красоту. Но за себя я от
нее отказался. В моем народе был жестокий, но глубокий
обычай: когда женщина отдавалась мужу, она срезала воло-
сы. Как общий обряд, это дико. Но воистину бывает такая
степень любви, когда хочется отдать все, даже свою красо-
ту. Может быть, и я бы мог летать по вольной воле, звенеть
красивыми песнями и купаться в недорогом треске ваших
рукоплесканий. Но не хочу. Я срезал волосы, потому что я
люблю мою веру. Я люблю мою веру, в ней я счастлив, как
вы никогда не были и не будете счастливы, и ничего мне
больше не нужно.

Поздравляйте друг друга с Новым годом, если вам это не
надоело. Я не вижу для вас разницы между вчерашним и ны-
нешним днем и не имею для вас ничего, ни доброго, ни ху-
дого слова.

Вена, 1 января 1908 г.

О «ЕВРЕЯХ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

В «Свободных мыслях» была помещена статья г. Чуковского о евреях в русской литературе; потом появилась на ту же тему статья г. Тана, больше похожая на лирическое письмо, чем на статью. Последнее обстоятельство дает и мне повод высказаться по этому вопросу. Будь это спор, я бы не принял участия в нем... Другое дело обмен личными настроениями, по лирическому примеру г. Тана, и я прошу позволения последовать этому примеру.

Кое в чем наши личные настроения сходны. Меня весьма тронуло, например, что г. Тан пишет всеми буквами черным по белому: «мы, евреи». Это нововведение: насколько знаю, это в русской печати второй случай. Обыкновенно еврейские сотрудники русских газет пишут о евреях не «мы», а «они»: местоимение первого лица приберегается для более эффектных случаев, например: «мы, русские», или «наш брат русак» (я сам читал). Растрогало меня и то, что г. Тан отказывается считаться с пресловутым доводом, будто не следует «в такое время» задавать «такой вопрос». Мы с г. Таном прекрасно знаем, что дело тут не в задавании вопроса, а в упоминании лишней раз слова «еврей», чего многие терпеть не могут: в этом смысле «такое время» было и год, и два, и пять лет, и пятнадцать лет тому назад. Но вслух, конечно, приводятся самые благородные мотивы — что не надо, мол, «играть в руку». Выеденного яйца не стоят эти благородные мотивы. Из-за них не было еврейскому публицисту никакой возможности поговорить с евреями, читающими по-русски, об их делах или об их недостатках — например, о множестве рабских привычек, развившихся в нашей психологии за время обрушения нашей интеллигенции. Эта интеллигенция не читала ни «Восхода», ни древнееврейских и жаргонных газет, а читала больше всего провинциальную прессу черты оседлости — которую, кроме нее, почти никто не читал, в которой, кроме нее, почти никто не писал и которая в общем не печатала ни одного слова о еврейских делах. Порою хотелось рвать на себе волосы от бешенства, и знаете ли, теперь тоже нередко хочется. Лучше бы тысячу раз «сыграть на руку» черным людям, которые от этого не стали бы чернее, чем так наглухо за-

переть все пути к среднему еврейскому интеллигенту, чем так упорно приучать его к забвению о себе самом и о долге самокритики, чем так обидно воспитывать в нем унижительное невнимание к себе и своему делу...

По существу предмета наши настроения зато вряд ли совпадают. Обсуждать, хороши или плохи евреи в чужих литературах, я не стану — это было бы уже спором, от которого я отказался. Замечу только, что дело совсем не в том, чувствует ли себя г. Тан, как сам утверждает, неразрывно привязанным к русской литературе или не чувствует. Г. Чуковский отнюдь и не собирался оторвать его или других от русской литературы: он только задал себе вопрос, велика ли польза русской литературе от этих неразрывных привязанностей, и пришел *sine ira et studio* к печальным выводам. Чтобы не прятать даже мимоходом своего мнения, прибавлю, что я с г. Чуковским совершенно согласен: прошу г. Тана не принять это с моей стороны за щелчок по его адресу — я его, г. Тана, кроме газетных статей, право, не читал и судить не могу; но вообще нахожу, что евреи пока ничего не дали русской литературе, а дадут ли много впредь — не ведаю. Однако не сомневаюсь, что против г. Чуковского был уже в печати, как водится, выдвинут длинный список «еврейских замечательных людей», блистательное доказательство наших великих заслуг перед отечеством и человечеством. «Рассвет» остроумно заметил, что в этих случаях докапываются чуть ли не до девиц, окончивших гимназию с золотой медалью. Таковых, слава Богу, немало, и честь Израиля нетрудно спасти, ибо мы люди маленькие и малым довольны. За границей наши онемеченные или офранцузенные братья чувствуют себя на вершинах радости, когда кого-нибудь из них в кои веки примут в высшем туземном обществе: они делают важные лица и говорят многозначительно: ого! А у нас однажды г. Горнфельд, я помню, печатно выразил свой восторг по поводу того, что «в одном рассказе Елпатьевского больше интереса к евреям, чем во всех сочинениях Успенского», — из чего явствует прогресс гуманности и благого просвещения. После этого почему же не удовлетвориться гордым сознанием, что нашего такого-то печатают в лучших журналах — так сказать, принимают в высшем туземном обществе? При малом честолюбии и на запятках уютно...

Если г. Тану или другим уютно в русской литературе, то вольному воля. Я, например, не только не стал бы их манить назад, но даже не выражу сомнения, точно ли так им уютно, как они рассказывают. Напротив, признаю и не сомневаюсь. Но я это иначе объясняю, иначе освещаю. Г. Тан объясняет свои родственные чувства к русской литературе, между прочим, и тем, что деды его захватили жаргон, проходя через Ахен, а ему, г. Тану, какое дело до Ахена? Это резон, но я советовал бы г. Тану употреблять его пореже и с осторожностью: ибо мы на своем пути прошли не только через Ахен, но и через Вильну, Киев, Одессу, отчасти через Петербург и Москву, и если мы начнем так небрежно отмахиваться от попутных городов, то нам с г. Таном могут со стороны предьявить вопрос: — Что это такое? *Cuius regio, eius religio*? Где переночевали, там и присягнули, а выйдя вон — наплевали? Эх вы, патриоты каждого полустанка...

Я бы лично этого окрика не хотел и потому предпочитаю не плевать на Ахен и не лобызать торцов Петербурга. Свои гражданские обязанности несую там, где я приписан и ем хлеб, и несую их корректно; в сердце же к себе я чужих людей не пускаю: в том, какой я город люблю и к какому городу равнодушен, никому давать отчета не желаю и принципиально демонстрирую совершенно одинаковое благорасположение к Ахену и Москве. Будь у меня всамделишный свой город, я бы тогда стал говорить о любви: и это, быть может, была бы такая любовь, какую сорок тысяч людей на запятках любить не в силах. Но при нынешнем моем положении воздаю кесарево кесареву, а божию держу про себя. Исповедую лояльный космополитизм, и ни на сантиметр больше.

Самый же вопрос о жаргоне я беру не с точки зрения Ахена, да и вопрос о том, в какую литературу идти еврейскому писателю, беру не с точки зрения жаргона. С жаргоном я считаюсь потому, что на нем фактически говорит народ, и, следовательно, для того, чтобы работать в народе и с народом, надо работать и на жаргоне. Это ясно, как дважды два четыре, и совершенно при этом не важно, где, когда и из чьих рук мы подобрали это наречие. Но вопросом о языке еще не решается вопрос о том, куда идти, в какую литературу. Часть евреев (по переписи 1897 года три

процента, теперь, должно быть, больше) вырастает, не владея жаргоном, и некоторым из этого числа очень трудно потом овладеть. Это большая помеха для работы в еврейском переулке, это заставляет писать по-русски, но писать по-русски еще само по себе не значит уйти из еврейской литературы.

В наше сложное время «национальность» литературного произведения далеко еще не определяется языком, на котором оно написано. Это ясно в особенности по отношению к публицистике. «Рассвет» издается на русском языке, но ведь никто не отнесет его к русской печати. Так же точно к еврейской, а не к русской литературе относятся наши бытописатели О. Рабинович и Бен-Ами или поэт Фруг, хотя их произведения написаны по-русски. Решающим моментом является тут не язык и, с другой стороны, даже не происхождение автора, и даже не сюжет: решающим моментом является *настроение* автора — для кого он пишет, к кому обращается, чьи духовные запросы имеет в виду, создавая свое произведение. Шутник может спросить, не относится ли в таком случае погромная прокламация «К жидам г. Гомеля» тоже к вертограду еврейской литературы: но если не оперировать курьезами и брать вопрос серьезно, то «национальность» литературного произведения в таких спорных случаях устанавливается, так сказать, по адресу. Если пишете для евреев, то много ли, мало ли вас прочтут, но вы остаетесь в пределах или хоть на окраинах еврейской литературы. Можно поэтому не знать жаргона и все-таки не дезертировать, а служить, по мере сил и данных, своему народу, говорить к нему и писать для него. Дело тут не в языке, а в охоте.

Я прекрасно понимаю, что нелегко требовать этой охоты от писателя, знающего по-русски. Он может писать для русской публики, это гораздо заманчивее — и аудитория неизмеримо больше, и жизнь шире, многообразнее, богаче. Искушение слишком велико. Оторваться от этого простора и сосредоточить свои мысли на переживаниях еврейства — это жертва, для некоторых и большая жертва. Из малороссов, одаренных сценическим талантом, большинство пока уходит на велокорусские подмости, и причина та же: аудитория

шире и культурнее, репертуар лучше, общественное признание куда серьезнее... Одного заметного столичного публициста недавно убедили стать во главе органа, посвященного еврейским интересам; и он через месяц ухватился за первый повод и ушел, высказавшись так: «У меня все время было такое чувство, точно я из громадного зала попал в чулан...»

Не виню совершенно ни его, ни ему подобных: но, с другой стороны, нечем тут и гордиться. Человеческая мысль очень лукава и умеет раскрасить в багрец и золото какой угодно поступок; и в этих случаях она подсказывает уходящим из чулана красивые речи о том, что широкое лучше узкого, общечеловеческое (русское называется общечеловеческим) важнее национального, интересы ста миллионов с лишним важнее интересов пяти миллионов и так далее. Но все это пустые слова перед тем фактом, что наш народ остается без интеллигенции и некому направлять его жизнь. Оттого я сказал, что иначе все это освещаю, в иную меру оцениваю и могу вам назвать совершенно искренне, в какую именно меру. В грош я это оцениваю, эти раззолоченные узоры на халате дезертира, эти пошлости на тему об узком, широком и общечеловеческом, потому что это неправда. Если человек уходит из чулана в большой зал, значит, он пошел по линии своей выгоды, и больше ничего. Не поймите меня банально, я не говорю о денежной выгоде; но идти по линии своей выгоды значит идти туда, где человеку легче удовлетворить свои аппетиты и запросы, где атмосфера тоньше, среда культурнее, резонанс шире, подмостки прочнее и вообще все пышнее и богаче. Только потому они и уходят, и ничего нет в этом возвышенного, ибо всякий средний человек предпочитает Рим деревне и согласен даже быть в Риме сто пятнадцатым, лишь бы ходить по мрамору, а не по деревенской улице. Может быть, в том-то и дело, что только средние люди так рассуждают, и потому Бялик и Перец у нас, а в русской литературе подвизается г. Тан и еще не помню кто; но оттого народу не легче, если у него остаются генералы и нет офицеров и дезертирство остается дезертирством. Я этим никого не ругаю, я человек трезвый и не вижу в дезертирстве никакого позора, а простой благоразумный расчет: на этом посту мне, интеллигенту, тяжело и тесно, а там мне будет легче и привольнее — вот я и пе-

реселяюсь. Вольному воля. Мало что в чулане осталась толпа без вождей и без помощи — ведь никто не обязан быть непременно хорошим товарищем. Счастливой дороги. Но не рядите расчета в принципиальные тряпки, не ссылайтесь на возвышенные соображения, которых не было и не могло быть у людей, что покинули нас в такой неслыханной бездне и перетанцевали на ту сторону к богатому соседу. Нас вы этими притчами не обманете: мы хорошо знаем, в чем дело, знаем, что мы теперь культурно нищи, наша хата безотраднa, в нашем переулке душно и нечем нам наградить своего поэта; мы знаем себе цену... но и вам тоже!

Опять-таки настаиваю на прежнем: мой набросок получил оттенок беседы с г. Таном, и г. Тан может принять все это на свой счет, а мне бы не хотелось. Ей-богу, я в точности не знаю, перекочевал ли он или нет, говорю не о нем и вообще не о ком-нибудь, а так. Обмениваюсь личными настроениями. И раз это личное настроение, то хочу вам указать еще одну его деталь: *нашу* окаменелую, сгущенную, холодно бешеную решимость удержаться на посту, откуда сбежали другие, и служить еврейскому делу чем удастся, головой и руками, и зубами, правдой и неправдой, честью и мезтью, во что бы то ни стало. Вы ушли к богатому соседу — мы повернем спину его красоте и ласке: вы поклонились его ценностям и оставили в запустении нашу каплицу — мы стиснем зубы и крикнем всему миру в лицо из глубины нашего сердца, что один малыш, болтающий по-древнееврейски, нам дороже всего того, чем живут ваши хозяева от Ахена до Москвы. Мы преувеличиваем свою ненависть, чтобы она помогала нашей любви, мы натянем струны до последнего предела, потому что нас мало и нам надо работать каждому за десятерых, потому что вы сбежали и за вами еще другие сбегут по той же дороге. Надо же кому-нибудь оставаться. Когда на той стороне вы как-нибудь вспомните о покинутом родном переулке и на минуту, может быть, слабая боль пройдет по вашему сердцу, — не беспокойтесь и не огорчайтесь, великодушные братья: если не надорвемся, мы постараемся отработать и за вас.

I

ДЕЗЕРТИРЫ И ХОЗЯЕВА

Из всей обстановки любопытного случая, разыгравшегося на чтении новой драмы г. Шолома Аша, и из всех разговоров, которые затем последовали, неопровержимо вытекает одна неприятная правда: что г. Чириков высказал коллективные мысли. Об этих щекотливых предметах наши соседи, по-видимому, уже давно шушукаются. Мы найдем, конечно, утешителей, которые станут божиться, по обыкновению, что г-да Чириков и Арабажин совершенно одиноки в своем образе мыслей; при этом случае кстати вспомнить, что г. Чириков не особенно талантлив, и даже его пьесу «Евреи» не пощадят, а г-на Арабажина, который мало известен, и совсем низведут до нуля; и получится, как всегда, что только нули осмеливаются ворчать против евреев, а «лучшая часть интеллигенции неизменно стоит за нас». Что и требовалось доказать. Но неприятная правда все-таки в том, что г. Чириков высказал общие мысли, и это в его лице русская интеллигенция начинает показывать коготки. Насколько талантлив г. Чириков, предоставляю судить тем счастливым, которые читали этого писателя: я, кроме «Евреев», никаких плодов его пера не вкушал. Но если правду говорят, что г. Чириков и по таланту, и по всем другим качествам посредственность, то тем характернее этот выпад.

Тут перед нами, очевидно, человек как все, то есть самый ценный тип для изучения массовой психологии: в свое время, когда надвигалась весна и «все» были добродушно настроены, он от чистого сердца написал юдофильскую пьесу, а теперь, когда «все» начали морщиться, он опять-таки от чистого сердца запротестовал против нашествия кашерных блюд на

¹ «Инцидент», наделавший в свое время много шума, заключался в том, что два прогрессивных писателя — г-да Чириков и Арабажин — высказали в одном кружке взгляды, которые потом были в печати истолкованы как протест против наплыва евреев в русскую литературу.

стол русской литературы. Тогда действовал без умысла и теперь инстинктивно отражает свою среду. И столь же симптоматично выступление г. Арабажина. Большая публика, особенно еврейская, совсем его не знает, и потому надо ей сказать, что это один из тех людей, которые всю жизнь ужасно заботятся, как бы не подмарать и не подмочить свою передовую репутацию. В этой заботе чуть ли не главный момент их политической психологии. В свое время г. Арабажин редактировал «Северный курьер», выступивший в защиту евреев после скандала с «Контрабандистами». Теперь он, хотя с оговорками, осторожно, кончиком мизинца, поддержал г. Чирикова в том смысле, что вот, действительно, есть и такое мнение, и хотя мое дело сторона, а вы, евреи, все-таки приутихните. «До сих пор вы имели дело только с отбросами общества, теперь будете иметь дело с настоящей русской интеллигенцией», предсказывает г. Арабажин. И будьте уверены — раз г. Арабажин об этом говорит, значит об этом уже *можно* говорить: отлучение от передового лагеря не последует. Люди этой категории выступают только тогда, когда чувствуют за собою молчаливый мандат многих. Конечно, г-да Чириков и Арабажин люди не крупные, но ведь никогда первачи не бывают застрельщиками и никогда не только генералы, но и вообще большие люди не бегут перед полком, отправляющимся в поход. Впереди бежит, обыкновенно, городское отрочество и вообще элементы менее ценные и зато более подвижные, а настоящая серьезная сила идет сзади и, быть может, не сейчас.

В данном случае даже очень вероятно, что не сейчас. Политический момент все-таки неудобен для открытого разрыва между русской передовой интеллигенцией и евреями. Главные органы передовой печати постараются замять всю эту историю (они упорно молчат о ней), а потом и в еврейской среде подымут голос утешители, оправившиеся от ошеломления, и запоют старую песню, что все обстоит благополучно, — старую песню, приниженную, льстивую, неискреннюю, — старую песню, на которую не стоит отвечать, ибо авторы ее лгут и сами знают, что лгут и что никто им не верит. А под шумок этих успокоительных заверений будет делаться тихое, незаметное дело: все те отрасли русской умственной жизни, которые теперь «заполнены» евреями, начнут потихоньку

избавляться от этого услужливого, дешевого, но непопулярного элемента. Лозунг «judenrein!» проникнет понемногу и в передовую прессу, и в издательства, и в передовой театр: для этого совсем не потребуется, чтобы во главе учреждений стали антисемиты — напротив, найдутся и еврейские редакторы или антрепренеры, даже некрещеные, которые, считаясь с настроением потребителя, сами позаботятся об уменьшении процента евреев. Создадутся вполне приличные литературные общества, куда евреям будет затруднен доступ, конечно, в самой благородной форме, без подчеркиваний, без явного антисемитизма. Вообще до антисемитизма, в грубом смысле этого слова, у передовой интеллигенции дело еще не скоро дойдет, а просто захочется ей пока побыть наедине с собою, без постоянного еврейского свидетеля, который слишком акклиматизировался, чувствует себя чересчур по-домашнему, во все вмешивается, всюду подает голос...

Что этот процесс вытеснения евреев из последних убежищ некогда неудержимо начнется, можно предсказать без всякой робости. Лично я предсказываю это не только без всякой робости, но и без всякого сожаления. Реальной потери для еврейства тут не предвидится, кроме той, что несколько сот душ из еврейского умственного пролетариата останутся без заработков. Но что значат несколько сот душ при нашей повальной нищете? А больше ничего, кроме хлеба для нескольких сот душ, эта еврейская эмиграция в русскую литературу, прессу и театр нам не давала. Популяризация наших Игреков и Имяреков не принесла нам никакой пользы, кроме разве той, что расшатала в русской публике предрассудок о поголовной талантливости евреев. Популяризация Шолом-Аша привела только к тому, что он (а за ним и другие жаргонисты) стал писать не для нас, а для них. Да достаточно характерен и тот мелкий факт, что на первую читку новой пьесы г. Ш. Аша приглашаются рецензенты всех русских газет и ни одной души от еврейских изданий. В этом вся писательская психология нашего поэта, пригретого на русском рынке. А меньше всего дала нам эта эмиграция на русский рынок в смысле политическом. Передовые газеты, содержимые на еврейские деньги и переполненные сотрудниками-евреями, до сих пор, несмотря на все наши вопли, игнорируют еврей-

ские нужды и молчат в ответ на юдофобскую травлю. Очевидно, даже при обилии евреев свято соблюдается принцип — не портить русских газет еврейскими темами, и сами еврейские сотрудники и редакторы ничего против этого правила не имеют. Обидно, конечно, если в награду за такое бескорыстное самозабвение им теперь начнут постепенно указывать на дверь. Но что теряет еврейство, если в русской печати не будет этих людей, которые пальцем о палец не ударили в его защиту в эту эпоху неслыханной травли? Ничего не теряет, ни одного заступника, ни одного учителя.

Мы, настаивавшие всегда на концентрации национальных сил, требовавшие, чтобы каждая капля еврейского пота падала на *еврейские* нивы, — мы только со стороны можем следить за развитием этого конфликта между нашими дезертирами и их хозяевами, — со стороны, как зрители, в лучшем случае безучастно, в худшем случае с горькой усмешкой. Щелчок, полученный дезертирами, нас не трогает, и когда он разовьется даже в целый град заушений, — а это будет, — нам тоже останется только пожать плечами, ибо что еврейскому народу в людях, высшая гордость которых была в том, что они, за ничтожными исключениями, махнули на него рукою?

Мы не видим повода горевать. Не видим и повода изумляться. Во всем этом нет для нас ничего нового. Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства, и жизнь доказала нашу правоту. Теперь евреи ринулись делать русскую литературу, прессу и театр, и мы с самого начала с математической точностью предсказывали и на этом поприще крах. Он разыграется не в одну неделю, годы потребуются для того, чтобы передовая русская интеллигенция окончательно отмахнулась от услуг еврейского верноподданного, и много за эти годы горечи наглостается последний: мы наперед знаем все унижительные мытарства, какие ждут его на этой наклонной плоскости, конец которой в сорном ящике, и по человечеству и по кровному братству больно нам за него. Но не нужен он ни нам, ни кому другому на свете, вся его жизнь — недоразумение, вся его работа — пустое место, и на все приключения его трагикомедии есть у нас один только отзыв: туда и дорога.

II

АСЕМИТИЗМ

Некоторые органы большой передовой прессы Петербурга решили, очевидно, совсем замолчать случай с г-дами Чириковым и Арабажиным. Это можно было предвидеть заранее. В эпоху ассимиляции немецких евреев кто-то пустил в обращение следующую формулу: лучший способ проявить юдофильство, это — не говорить ни слова ни о евреях, ни об их противниках. Лучший ли, не знаю, но, несомненно, удобнейший способ. В нравы и традиции русской печати ввела его почтенная и заслуженная московская газета, декан и образец русского прогрессизма. Эта газета выдвинулась в эпоху самой отчаянной травли еврейского племени и стойко молчала в течение 25 лет на сию щекотливую тему: не обмолвилась ни одним звуком ни о евреях, ни об их литературных гонителях. Пример не остался без подражателей, и с тех пор замалчивание считается высшим шиком прогрессивного юдофильства. Такой шик задают теперь «Наша газета» и «Речь» по поводу чириковского приключения. Как раз в тех кругах, которые весьма близки обоим редакциям, об этом случае говорят очень много, а обе газеты молчат и, несомненно, думают, что у них это выходит очень эффектно и многозначительно: сама, дескать, истина молчит нашими устами?

С последним я вполне согласен и даже попытаюсь разобратся в таинственном содержании этого многозначительного безмолвия. В самом деле, о чем молчит истина устами почтенных органов? Что знаменует их немота в этом случае?

Но тогда надо начать с другой догадки: что знаменует самый случай, каков его общественный смысл? Московские газеты дают бесхитростный и грубоватый ответ: культурный антисемитизм. Кто-то как-то предсказывал, что вместо д-ра Дубровина восстанет у нас когда нибудь д-р Люэгер, и это будет куда пострашнее; и вот московские газеты полагают, что момент уже близок, и гг. Чириков и Арабажин возвестили скорое пришествие нового д-ра Дубровина, в исправленном и очищенном издании.

Вряд ли оно так. Прежде всего надо заступиться за гг. Чирикова и Арабажина: когда они уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то они оба совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень *distingué* помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в антисемиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. Я помню, как одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Надсона. Когда г. Чуковский констатировал тот неопровержимый факт, что евреи, подвизающиеся в русской изящной литературе, ничего стоящего ей не дали, очень недалеко было от того, чтобы и г. Чуковского ославили антисемитом. То же самое теперь с г. Чириковым. Хороши или плохи русские бытовые пьесы последних лет, я судить не берусь: но г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко прочувствовать их может только русский, для которого Вишневы Сад есть реальное впечатление детства, а не еврей. Если бы г. Чириков сказал: «Я не поляк», никто бы в этом не увидел ничего похожего на полонофобию. Только евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего именно евреи, потому что, в конце концов, создается такое впечатление, будто и самое имя «еврей» есть непечатное слово, которое надо пореже произносить...

Кого особенно несправедливо обижают, это г. Арабажина. Если оставить в стороне его выпады в печати против сионизма, которые не стоят внимания прежде всего потому, что г. Арабажин в этом вопросе не компетентен, то именно он уж совсем ничего греховного не сказал. Он и вообще (судя даже по тем пересказам, против которых он печатно протестует, и тем более по его собственной передаче) не выразил в этом споре никаких собственных взглядов. Он только констатировал, что настроение, звучавшее в словах г. Чирикова, свойственно не одному лишь последнему, а имеет или может иметь сторонников в кругах, прикосновенных к русской литературе и русскому театру. Г. Арабажин сделал даже оговорку, что лично он этого настроения не разделяет, но что оно все-таки

есть, и он считает долгом обратить на это серьезное внимание товарищей-евреев. Может быть, все это было высказано им и г. Чириковым в более мешковатой форме (нельзя же забывать, что спор был в частной товарищеской компании, где половина собравшихся друг с другом на ты), но по существу ничего антисемитского, реакционного и по всем прочим статьям преступного эти нашумевшие речи не содержали. Одно только в них было: *симптоматическое*.

Именно с этим всего неохотнее согласятся юдофилы-замалчиватели. С их точки зрения уж лучше записать гг. Чирикова и Арабажина в список отлученных от прогресса, чем признать, что в речах этих писателей звучал смягченный отголосок некоего общего настроения, пробивающего себе дорогу в среднем кругу передовой русской интеллигенции. Спорить тут невозможно, документальных доказательств не добудешь — наличие такого настроения можно установить пока только на ощупь, и не всякий захочет признаться, что уловил в других или в самом себе нечто подобное. Но если быть искренним, то ведь ни для кого не тайна, что это так. Из всех бесчисленных толков, вызванных чириковским инцидентом, явственно звучал один общий мотив: «это» не новость, об «этом» уже давно и много поговаривают. Есть, конечно, люди, которые в таких случаях нарочно затыкают уши — и не только себе, но и другим, в том числе и заинтересованной стороне: и пойдет эта заинтересованная сторона доверчиво дальше по старому пути, не слыша надвигающегося грома, и потом будет захвачена врасплох. Это считается шиком прогрессивного образа мыслей, и ничего не поделаешь с людьми, которым такая тактика по вкусу. Я и не намерен их переубеждать. Пусть притворяются оглохшими и незрячими. А все-таки назревает какое-то облачко и невнятно доносится далекий, еще слабый, но уже неприветливый гул...

Повторяю — то, что назревает в некотором слое русской интеллигенции, не есть еще антисемитизм. Антисемитизм очень крепкое слово, а крепкими словами зря не следует играть. Антисемитизм предполагает активную вражду, наступательные намерения. Разовьются ли эти чувства когда-нибудь в русской интеллигенции, предсказать нелегко: но пока до них еще, во всяком случае, далеко. То, чем веет

теперь, чем так сильно пахнуло из-за завесы, чуть-чуть приподнятой гг. Чириковым и Арабажиным, то не антисемитизм, а нечто отличное от него, хотя родственное и, быть может, служащее предтечей антисемитизму. Это *асемитизм*. В России это слово мало известно, зато за границей, где куда лучше знают толк в разных оттенках жидоморства, оно давно в ходу. Это не борьба, не травля, не атака: это — безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разное проявляется. В сфере литературно-художественной, с которой у нас «началось», оно приняло бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше пойдем друг друга.

Если хотите, не вижу в этом еще невнятном веянии ничего нового. Ново только, что об этих вещах начинают говорить: прежде считалось, что «эти вещи» сами собою понятны, вслух о них не болтали и просто осуществляли асемитизм на практике. И не со вчерашнего дня, а искони. Ибо что есть двадцатипятилетнее величавое молчание «Русских Ведомостей»? Что есть теперешнее молчание передовых органов? Вот уже пять лет прошло с кишиневского погрома: за это время Россию наводнили книжками и листками, проповедующими племенную резню, десятки уличных газет разносят по всем углам зажженную паклю ненависти к евреям: чуть ли не вся идеология реакционного движения сводится к этой ненависти, и, казалось бы, уже хоть потому, если не из рыцарской потребности заступиться за угнетенного, полагалось русской передовой печати бороться против этой пропаганды. Русская передовая печать ничего в этом смысле не сделала. Да простится мне резкое слово: больше вбитых гвоздей я нашел в мертвых глазницах одной из жертв погрома в Белостоке, чем статей об этом погроме в русской передовой печати. Были постановления каких-то съездов, чтобы газеты энергично боролись с юдофобской пропагандой, и тоже не помогло. Не помогло даже изобилие сотрудников-евреев: знаю по горькому опыту, что самое страстное желание поднять голос в защиту своей

народности разбивалось за кулисами даже самых смелых и боевых органов обо что-то неуловимое и неосязаемое. Много интересного можно было бы рассказать на эту тему... Да к чему? Кто этого не знает? Теперь образовалось несколько издательств для борьбы с антисемитизмом: оставим в стороне вопрос, много ли могут они сделать: но любопытно то, что их руководители очень близко стоят к влиятельной передовой печати и хорошо понимают, что статья в распространенной газете гораздо полезнее брошюры, которая Бог весть еще попадет ли в настоящие руки. И, однако, они вынуждены возиться с этими брошюрами и не смеют мечтать о борьбе с пропагандой погрома через оппозиционную прессу. Почему?

Как-то я прямо задал этот вопрос руководителям одной редакции и выжал после множества уклонений такой ответ: нас читает интеллигенция, а она в таких поучениях не нуждается. Было это в 1906 году. Хорошо. Но теперь у нас 1909 г. Что-то новое начинает прокрадываться в русскую интеллигентскую психологию. Если и правда, что тогда русская интеллигенция была иммунизирована от юдофобских предрассудков, то хватит ли у кого-нибудь отваги ручаться, что иммунитет сохранился и ныне?

О да, очень многозначительно это безмолвие. Советую очень глубоко вдуматься в него читателям обеих национальностей. Твердой рукой подписываюсь под словами г. Арабажина: здесь есть предостережение и вам, и нам. Предостережение тем более серьезное, что поветрие, первые симптомы которого теперь нас так переполошили, далеко не такая новость на нашей улице, как это может показаться наивному, — ибо зародыши той *асемитической* тенденции, на которую так бесхитростно вслух указали гг. Чириков и Арабажин, давно молчаливо таились во всей тактике русской интеллигенции по одному из самых трагических вопросов российской жизни.

III

МЕДВЕДЬ ИЗ БЕРЛОГИ

«Ныне отпускаеши», могут сказать г-да Чириков и Арабажин: подходит, кажется, момент, когда небо исполнит, наконец, заветное желание этих двух писателей — их оставят в покое. *Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan — der Mohr kann gehen.* Не потому, чтобы инцидент был исчерпан: напротив, инцидент только начинает завариваться по-настоящему, и, если не будет войны или чего-нибудь другого очень сенсационного, не скоро еще уляжется в газетах эта любопытная история. Но дело в том, что г-да Чириков, Арабажин, Аш, другой Аш и вообще все участники той знаменитой беседы вдруг отошли на второй план — их заслонили более крупные фигуры. На сцену выступили г-да Струве и Милюков и, как свойственно крупным фигурам, сразу взяли быка за рога и поставили точку над *i*. Пока перессорившиеся между собой совозлежатели мирной трапезы, отныне бессмертной в летописях еврейского дезертирства, обидчиво препирались на разных языках о том, какое кто слово сказал и какого не сказал, г-да Струве и Милюков просто перешагнули через это скаредное крохокопательство и перенесли вопрос на единственно стоящую почву. Они поняли, что дело совсем не в том, проштрафился или не проштрафился тот или другой маленький человек в ночь на такое-то число в частной квартире такого-то, — а важно установить только один момент: что тут было — случайная шальная пуля, залетевшая неведомо откуда, или первый, пусть и преждевременный, выстрел из сильного и уже недалекого от перехода в боевое настрояние лагеря?

Мнение по этому вопросу г. Струве — не новость. В разгаре выборов во вторую Думу он заявил одному интервьюеру, что настоящий антисемитизм — интеллигентский — еще впереди. Было это напечатано в газете «Русь» и, конечно, не удостоилось ни перепечатки, ни комментария в других передовых органах. Теперь г. Струве иными словами повторяет ту же мысль. Скрывать русское «национальное лицо» — «безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть». А в чем оно состоит? Это — не раса, не цвет кожи и т.д., это

есть «нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это — духовные притяжения и отталкивания... Они живут и трепещут в душе». И в том числе — «сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях (!) русского населения фактически очень велика». Конечно, в области государственной с этими «отталкиваниями» считаться не следует, т.е. равноправие все-таки нужно дать. «Но государственная справедливость не требует от нас национального безразличия. Притяжения и отталкивания принадлежат нам, они наше собственное достояние, в котором мы вольны... И я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы отказываться от этого достояния в угоду кому-либо и чему-либо»... «Я полагаю, евреям полезно увидеть открытое национальное лицо той части русского, конституционно и демократически настроенного общества, которая этим лицом обладает и им дорожит. И, наоборот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства». Все это напечатано в газете «Слово» от 10 и 12 марта и ни в каких пояснениях и подчеркиваниях не нуждается. Но г. Милюков все-таки нашел, что маслом каши не испортишь, и не то с сокрушением, не то с иронией подливает (в «Речи» от 11 марта) свою толику масла: «Г-н Ж. может торжествовать: он выманил медведя из берлоги... добился того, что молчание кончилось, и то страшное и грозное, что прогрессивная печать и интеллигенция старались скрыть от евреев, наконец обрисовалось в своих настоящих размерах».

Впрочем, это еще сказано полуиронически, и в конце статьи идут, конечно, заверения, что означенное настроение у русской интеллигенции скоро пройдет. Но зато без всякой иронии и совершенно всерьез делается следующее, вполне новое и очень пикантное разоблачение: «Я тоже думаю, что старой русской интеллигенции, святой и чистой в своем блаженном неведении, наступил конец в России с началом новой политической жизни. Я тоже уверен, что многие жизненные утопии, созданные этой интеллигенцией на почве той старой святости, скоро отомрут, чтобы уже не возрождаться больше. Но я уверен также и в том, что наивный «асемитизм» и «антисемитизм», предъявляющий нам свои нацио-

нальные права на существование, есть тоже один из последних пережитков (!) нашей блаженной интеллигентской невинности». Вот это, в самом деле, ново. «Пережитком» называется нечто такое, что уцелело со старых времен. Значит, и у старой русской интеллигенции, святой и чистой и пр., тоже имелись антиеврейские «отталкивания»? Значит, медведь-то давно сидел в берлоге? Любопытно. Вслух еще в этом никто не признавался, особенно никто столь авторитетный. А еще любопытнее то, что присутствие медведя в берлоге не мешает г. Милюкову аттестовать ту старую русскую интеллигенцию «святой и чистой», а «наивный асемитизм или антисемитизм» числится у него в списке настроений, созданных «на почве той старой святости». Очень у г. Милюкова мягкое отношение к медведю в берлоге. Это уже не в первый раз: мы еще помним его надгробную статью о Иоллосе, в которой даже верноподданные еврею из «Свободы и Равенства» усмотрели неосторожное обращение со словом «жид». Очевидно, в некоторых русских интеллигентах еще весьма живы пережитки старой чистоты и святости...

Итак, медведь выглянул из берлоги. Торжествует ли г. Ж., это мы оставим в стороне. По-моему, торжествовать ему нечего: к статье Струве сделано примечание, что она была написана и сдана до появления в «Слове» других статей на чириковскую тему. Никто медведя нарочно не выманивал, а сам он, по-видимому, учуял в воздухе нечто родное и по собственной инициативе решил подать сочувственно голос. И эта собственная инициатива — еще один любопытный штрих для характеристики настроения. И вызывать не надо — сами откликаются!

После этого блестящего выхода первачей мы считаем окончательно выясненным основной вопрос, в котором для нас сосредоточен весь общественный смысл инцидента: вопрос о симптоматичности. Кому не противно, пусть и дальше разорется на клятвенные заверения, что «ничего подобного нет». Г. Винавер в той же «Речи» от 13 марта все-таки предлагает и на будущее время еврейские услуги, согретые взаимной любовью, «именно любовью». На здоровье. Ласковый теленок двух маток сосет. Предоставляем г. Винаверу и прочим ласковым людям прожить мафусаиловы годы

в этой курьезной позиции, когда они, заглядывая пану в очи, умильно говорят: «А все-таки вы нас любите!» — а г-да Струве и Милюков отвечают: — «Мм... не очень». Для нас спор в этой части исчерпан. Да в сущности, и для возражателей наших, особенно из евреев, дело так же ясно, как и для нас. Все они про себя знают и с глазу на глаз сознаются, что медведь давно начал ворочаться в берлоге и, того и гляди, высунет морду. Лицемерием, неискренностью, малодушием и искательством пропитана их ласковая декламация, и оттого она так непроходимо бездарна, и нет в ней даже пафоса умелой лжи. Люди сами себе не верят и почти вслух говорят, что не верят, и им никто не верит. Что же с вами спорить? Ступайте себе с миром дальше и повторяйте in's Blaue свои казенные слова.

Гораздо искреннее те публицисты из «Новой Руси» и «Нашей газеты», которые простодушно спрашивают: «Своевременно ли? Не лучше ли раньше вместе решить общегосударственную задачу?» Это мы понимаем. Это, по крайней мере, практическая постановка вопроса. И нельзя не согласиться, что правда, действительно, несвоевременна — с русской точки зрения. Ибо одно из двух: раз медведь выглянул, надо или бороться с ним, или признать его полноправным гостем. Бороться? Это значило бы открыть свои газеты для систематической защиты еврейского равноправия, для систематического отпора на юдофобскую травлю. Мерси боку — только этого, в самом деле, и недоставало почтенным газетам, на которых и так стопудовым бременем тяготеет подозрение в недостаточном «асемитизме». А признать медведя тоже неудобно. Гораздо удобнее было бы сохранить до поры до времени старую иллюзию, что в «святом и чистом» климате этой прекрасной страны зоологический вид *ursus judaeophagus intellectualis* вообще не водится...

Но это с русской точки зрения, да еще с точки зрения еврейской прислуги русского чертога. Мы благодарим за любезное приглашение идейно приютиться в той же людской и через ее стекла выглядывать на Божий свет, благодарим за столь лестное мнение о нашей готовности к собачьему замозабвению, — но честь эту решительно от себя

отклоняем. Мы прекрасно понимаем, что для вас удобнее сохранить блаженное неведение до дня, когда будет решена общегосударственная задача, — потому что оно вас ни к чему не обязывает и сохраняет к вашим услугам всю полноту усердия и расторопности верноподданного Израиля: а когда общегосударственная задача будет решена и медведя, наконец, выпустят на волю, — тогда вы-то ровно ничего не потеряете. Но мы? Нам тоже полезно не видеть и не слышать? Нам тоже полезно удариться в славянофильство и грезить, что хорошо нам знакомый зоологический экземпляр, вдоволь посвирепствовавший в самых культурных заграницах, — только здесь, только в этой обетованной стране, только у этого богоизбранного русского народа почему-то не родится? Нам тоже выгодно будет, если, одураченные этой грезой, мы доверчиво разоружимся, распустим свою моральную самооборону, заложим и перезаложим в ваших ломбардах все свои ценности, — и *тогда* в один прекрасный день вы с душевным прискорбием объявите нам, что медведя не устерегли и он, к глубокому вашему сожалению, вырвался из берлоги? Нет, милостивые государи, не *тогда*, а *теперь* должны вы выложить на стол все, что у вас за душою; и кто бы ни выболтал нам эту правду, — ваши илоты, как это было до сих пор, или ваши дураки, как это случилось недавно, или ваши разумники, как это происходит в последнем фазисе, — мы ставим и будем ставить каждое лыко в строку и кричим глупому старому еврею, что зажмурил глаза и идет, улыбаясь до ушей, приложиться к панской ручке: помни о берлоге!

Много характерного проглянуло в этой истории, но всего характернее этот резон о несвоевременности. Никогда еще эксплуатация народа народом не заявляла о себе с таким невинным цинизмом...

...Ко мне постучался презренный еврей...

Пушкин

И пошло! В учебнике сказано, что тихая стоячая вода может остыть иногда ниже нуля, не замерзая: но достаточно бросить в нее камень, чтобы она мгновенно покрылась льдом. Это часто наблюдается и в делах человеческих. Теперь имеем случай любоваться этим занимательным явлением природы по милости инцидента с «национальным лицом». На днях еще за стыд и срам считалось русскому интеллигенту выговорить этакое слово без презрительной гримасы, а теперь даже такая заскорузлая, стерилизованная невинность, как «Наша газета», через номер усердно склоняет и спрягает «национальные» словеса. И оказывается, что они, видите ли, всегда дорожили национальными моментами, всегда понимали, что правильное национальное чувство есть вещь безупречно-прогрессивная, и чуть ли не за то, главным образом, и серчали на русское начальство, что оно унижает национальное величие! Поистине трогательное открытие. Кто подозревал о присутствии такой контрабанды под спудом, а особенно в «Нашей газете», в этом классическом образчике русско-интеллигентской передовитости, в этом бесполом органе строго выдержанного направленчества без направления, в этом щепетильно отгороженном и чистенько подметенном пустом месте, на котором группа тщательно подобранных бесцветностей, не моргая, при всем честном народе смотрит тебе в пуп? Такая была идеальная тихая и стоячая вода, но, видно, крепко прохватило ее окружающей температурой; попал в нее камень, да еще брошенный неумной и, может быть, нетрезвой рукою, — и пошло!

Многих из нас это ошеломило — потому что мы плохие наблюдатели. Конечно, тот тонкий слой, который носит имя передовой русской интеллигенции и задает искони тон в печати, до последнего времени просто не интересовался своей великорусской национальностью, как здоровый человек не интересуется своим здоровьем, особенно когда у него других

хлопот полон рот: хата не топлена и сквозь крышу небо плачет. Сытый кашей каши не просит, особенно когда у самого сапоги просят каши. Но мы, по еврейской нашей склонности подчеркивать и размалевывать, а еще больше по надобности оправдать ассимиляцию, прицепили к этой особенности русского интеллигента бесконечный хвост распространительных толкований. Из настроения, обусловленного только национальной сытостью великоросса, мы сделали чуть ли не элементарную черту его характера: мы шумели на разные лады, что именно русские, не в пример немцу и всякому другому бусурману, органически на «это» не способны, что им от роду присуще некое вселенское начало и отменно теплые чувства по всем направлениям, без различия веры и племени. И, как всегда, мы самих себя гипнотизировали своим шумом и победоносно пролетали мимо самых ярких фактов, не устаивая на них оглянуться. Даже мимо погромов попробовали сторяча проскакать без оглядки, свалив всю беду на подстрекателей сверху и «отбросы общества» снизу, как будто оглушительный успех подстрекателей сам по себе не характерен для данной среды или как будто отбросы не характерны для выделяющего их организма. Но был еще факт, мимо которого мы пробежали с зажмуренными глазами; и даже не мимо него, а насквозь, проникая внутрь и ничего не замечая, глядя и не видя, смакуя и не чувствуя дегтя, анализируя тонкости и не натываясь на оглоблю. Этот факт — русская литература, та самая, что со времен еще Радищева славилась свободой и милостью к падшим призывала, та самая, что так сильно проникнута идеями подвига и служения, та самая, которая устами своих лучших ни одного доброго слова не сказала о племенах, угнетенных под русскую державой, и руками своих первых пальцем о палец не ударила в их защиту, та самая, которая зато руками своих лучших и устами своих первых щедро обделила ударами и обидами все народы от Амура до Днепра, и нас больше и горше всех.

На днях праздновали юбилей Гоголя, и немало евреев использовали, конечно, этот случай, чтобы лишний раз «поплясать на чужой свадьбе». Должно быть, в некоторых еврейских училищах черти устроили и еще устроят после каникул гоголевские торжества, учитель русского языка скажет

прочувствованное слово, учитель физики покажет в волшебном фонаре картинки из «Тараса Бульбы», а потом ученики или ученицы, картавя, пропоют перед бюстом: «Николаю Васильевичу сла-а-ва». И девяти десятым из устроителей и участников не придет в голову задуматься, какова, с нравственной точки зрения, ценность этого обряда целования ладони, отпечаток которой горит на еврейской щеке: не придет в голову, какой посев компромисса, бесхарактерности, самоунижения забрасывается в сознание отрочества этим хоровым поклоном в ноги единственному из первоклассных художников мира, воспевшему, в полном смысле этого слова, всеми красками своей палитры, всеми звуками своей гаммы и со всем подъемом увлеченной своей души воспевшему еврейский погром.

Стоило бы, может быть, в честь юбилея тут переписать слишком забытые несколько страниц из того же «Тараса Бульбы». Ничего подобного по жестокости не знает ни одна из больших литератур. Это даже нельзя назвать ненавистью или сочувствием казацкой расправе над жидами: это хуже, это какое-то беззаботное, ясное веселье, не омраченное даже полумыслью о том, что смешные дрыгающие в воздухе ноги — ноги живых людей, какое-то изумительно цельное, неразложимое презрение к низшей расе, не снисходящее до вражды. Стоило бы процитировать, да не хочется. Все равно, кому нужно усердствовать, тех не остановишь. Нет такой хитрой преграды, чтобы под нею не прополз кабцан, которому дали входной билет погреться у людей на солнышке. И не хочется еще потому, что нет никакой причины останавливаться на одном Гоголе, делать выписки из него и не делать выписок из его братьев по этой великодушной литературе. Чем он хуже их, и чем они лучше?

Веселая картина получится, если взять и на память, не выискивая, не докапываясь, просто, как говорят репортеры, *au hazard* подсчитать ласку, что мы видели в разные времена от разных великанов русского художества. Для Пушкина понятие «еврей» тесно связано с понятием «шпион» (это в заметке о встрече с Кюхельбекером). В «Скупом рыцаре» выведен еврей-ростовщик, расписанный всеми красками низости, еврей, подстрекающий сына отравить папашу — а яд

купить у другого еврейчика, аптекаря Товия. У Некрасова «жиды» на бирже уговаривают проворовавшегося русского купца: «нам вы продайте пай, деньги пошлите в Америку», а сам пусть бежит в Англию:

«На катере —
К насей финансовой матери.
И поживайте, как *царр!*»
Так говорили жиды —
Слог я исправил для ясности...

У Тургенева есть рассказ «Жид», неправдоподобный до наивности: читая, видишь ясно, что автор нигде ничего подобного не подсмотрел и не мог подсмотреть, а выдумал, как выдумывал сказки о призраках, — и *что* выдумал, и с каким чувством нарисовал и раскрасил! Старый жид, конечно, шпион, а кроме того, продает еще офицерам свою дочку. Зато дочь, конечно, красавица. Это понятно. Нельзя же совсем обездолить несчастное племя. Надо ж ему хоть товар оставить, которым он мог бы торговать.

По Достоевскому — от жидов придет гибель России. Это, казалось бы, давало жидам известное право на внимание; однако ни одного цельного еврейского образа у Достоевского нет, насколько сейчас могу припомнить. Но если правда, что битый рад, когда бьют и соседа, то мы можем утешиться, припоминая польские типы Достоевского, особенно в «Карамазовых» и в «Игроке». «Полячок» — это обязательно нечто подлое, льстивое, трусливое, вместе с тем спесивое и наглое: и даже те затаенные в польской душе надежды, к которым самый заклятый враг должен отнестись с уважением, о которых сам Бюлов, защищая враждебный полякам закон, говорил недавно в рейхстаге с шапкой в руках, — корбит и вспоминать, какой желчной слюною облиты эти надежды разгромленного народа у тонкого, многострадального автора «Карамазовых».

Чехов? Еврейские критики ужасно любят цитировать из «Моей жизни» мимоходом оброненную фразу, что библиотека провинциального городишки пустовала бы, если бы не девушки «и молодые евреи». Это глубоко трогает еврейских критиков, это им очень льстит, они в этом видят

явную агитацию за беспроцентное допущение евреев к образованию. Добрый мы народ, и самая добрая наша черта это — что и малым довольны... По существу же был Чехов наблюдатель, не ведавший ни жалости, ни гнева и не любивший ничего, кроме увядающей красоты «вишневого сада»; поэтому еврейские фигуры, изредка попадающиеся в «Степи», «Перекасти-поле», «Иванове», написаны с обычным для этого художника правдивым безразличием. И с таким же правдивым безразличием нарисовал Чехов своего Иванова, одного из несчетных Ивановых, составляющих фонд русской интеллигенции, и с таким же правдивым безразличием засвидетельствовал, что Иванов, когда в дурном настроении, вполне способен обругать свою крещеную жену жидовкой. Но Чехов сам был во многих отношениях Ивановым, русским интеллигентом до мозга костей, и случилось и ему однажды выругаться по адресу жидовки. Тогда он написал свою «Тину». Это анекдот еще более нелепый и неправдоподобный, чем тургеневский «Жид», настолько пошлый по сюжету, что и двух строк не хочется посвятить его передаче. Где это Чехову приснилось? Зачем это написано? Так. Прорвало Иванова, одного из несчетных Ивановых земли русской.

Кого еще назвать? Лескова? Н. Вагнера (Кот-Мурлыка)? Из одних имен можно было бы составить длинное стихотворение, как у того французского поэта:

Jeannette, Nine,
Alice, Aline,
Léda, Julie —
Et j'en oublie...

Ничего в противовес этому списку не может назвать русская литература. Никогда ни один из ее крупных художников не поднял голоса в защиту правды, растоптанной на нашей спине. Даже в публицистике не на что указать, кроме одной статейки Шедрина и одной статейки Чичерина. В беллетристике нечем похвастать, кроме сладенького, нестерпимо-бездарного мачтетовского «Жида», да еще где-то за порогом искусства красуется шедевр г. Чирикова. Те из нас, которые малым довольны, восторгаются еще «Судным днем» Короленко, ибо там доказано, что иной хохлацкий шинкарь еще прижимистее

шинкаря-еврея. Лестно. Если за это полагается мерси, то у Лескова есть гораздо более обстоятельные рассказы на тему о том, что хотя жид и мошенник, но румын еще того хуже, а русский помещик, купец и мужичок тоже не промах по части вороватости... Но ничего настоящего, ничего такого, что если не по силе, то хоть по настроению, по проникновению в еврейскую душу могло бы стать рядом с «Натаном Мудрым» или с Шейлоком, русская литература не дала. Да и зачем такие высокие образцы: рядом у поляков есть Элиза Ожешко, есть знаменитый Янкель из «Пана Тадеуша», написанный Мицкевичем в то самое время, когда Пушкин малевал своего жида Соломона из «Скупого рыцаря»...

Не сомневаюсь: как всегда, найдется где-нибудь газетный пошляк, который во всем этом увидит ненависть к русской литературе. Если это случится, я возражать не буду — надоело спорить с пошляками, возиться с людьми внутренне недобросовестными, которые давно сами знают о своем банкротстве и еще все-таки зазывают бедную публику с ее нищенскими сбережениями к своему подгнившему прилавку. Между прочим, русскую литературу я очень ценю, включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература — далеко не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности — этому условию удовлетворяет. Но вместе с тем надо помнить, что философию народа, его настоящую, коренную философию выражают не философы и публицисты, а художники, и в данном вопросе характер этой философии для всякого, кто не слеп и не глух, ясен без малейшей двусмысленности. Может быть, мало на свете народов, в душе которых таятся такие глубокие зародыши национальной исключительности. Мы проглядели, что родоначальная страница русской классической драмы — «Горе от ума» — насквозь пропитана обостренным националистическим чувством, до краев полна протестом во имя национальной самобытности, выходками против французско-нижегородской ассимиляции, проповедью «премудрого незнания иноземцев». Мы проглядели, что Пушкин в разгаре таланта написал потрясающее по энергии и силе стихотворение «Клеветникам России», где трепещет подлинный нерв того настроения, которое в Англии теперь называют джингоизмом. Мы проглядели, что в пресловутом

и нас захватившем культе «святой и чистой» русской интеллигенции, которая-де лучше всех заграничных и супротив которой немцы и французы просто мещане, — что во всем этом славословии о себе самих, решительно вздорном и курьезном, гулко звучала нота национального самообожания. И когда началось освободительное движение и со всех трибун понеслась декламация о том, что «мы» обгоним Европу, что Франция реакционна, Америка буржуазна, Англия аристократична, а вот именно «мы», во всеоружии нашей неграмотности, призваны утереть им нос и показать настоящее политическое зодчество, — наша близорукость и тут оплошала, мы и тут не поняли, что пред нами взрыв непомерно вздутого национального самолюбия, туманящий глаза, мешающий школьникам учиться уму-разуму у Европы, у Америки, у Австралии, у Японии, у всех, потому что все их обогнали.

Я говорю только о зародышах. Они еще надолго останутся зародышами. Несмотря на все призывы Струве, великорусскому национализму еще некуда и не во что развиваться, кроме как по черносотенной тропинке, по которой серьезная часть интеллигенции, должно быть, не пойдет. В национальном смысле у великоросса ни в чем нет недостатка, а напротив — в колоссальных доходах, которые приносит ему его национальная культура, большую роль играют инородческие подати, особенно еврейская. Кто сочтет, в какой мере хотя бы нынешние модные книгоиздательства обязаны своим ростом руссифицированному инородческому потребителю, и в первую очередь еврею? Русскому национализму не за что бороться — никто русского поля не занял, а напротив: русская культура, бессознательно опираясь на казенное насилие, расположилась на чужих полях и пьет их материальные и нравственные соки. Для развития зародышей нет еще почвы, и она явится только в тот момент, когда среди народностей России подыметесь национальное движение всерьез и борьба против руссификации проявится не на словах, как теперь, а в фактическом разрыве с великорусскою культурой. Мы тогда увидим, кто наши могучие соседи и есть ли у них национальная струнка, и тогда, может быть, лучше поймем некоторые забытые страницы из Некрасова, Пушкина и Гоголя.

1909

НАШЕ БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Недавно по поводу одной моей газетной статьи я удостоился получить несколько писем от молодых людей, обиженных замечанием, что еврейские дезертиры, принимающие христианскую веру ради выгод, засоряют ту христианскую общину, к которой приписываются. Молодые люди находят, что это напраслина. Во-первых, они не дезертиры: «разве переход из иудейского вероисповедания в другое обуславливает собою переход в другую национальность?» Во-вторых, они ничего не засоряют. «Разве окропленный водою священник водрузил нас тем на ниве своей общины? Нет, он нас только вписал в метрическую книгу. Что ж мы засоряем?» А в другом письме идут еще дальше: если дезертир даже «водружается» на чужой ниве, то он ее не только не «засоряет», а даже напротив — украшает: в доказательство цитируется несколько имен из книги Когута «Знаменитые евреи и еврейки». Вообще же молодые люди находят, что писать о них не деликатно: «существует круг таких явлений, которые являются делом личной совести и куда человек интеллигентный не должен залезать руками».

Это пишет одна сторона. А вот любопытный отклик с другой стороны: письмо одного популярного хулигана. Оно напечатано в «Земщине» и гласит:

«В главной палате русского народного союза имени Михаила Архангела почти ежедневно получают письма от евреев на мое имя с просьбой: «Будьте мне крестным отцом — хочу креститься». Письма рву, взглянув на подпись жида, но на завтра новое. Сегодня получил такое: «Ваше высокопревосходительство! Я еврей г. Винницы. Желая принять православие, имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство стать моим крестным отцом. Бер Закс. 17 сентября 1910 г. Винница. Почтовая ул., д. Шерра». — Вступать в какую бы то ни было переписку с жидками не намерен, посему, в целях сберечь время и бумагу тем, которые пожелали бы последовать примеру Закса, считаю нужным уяснить мою принципиальную точку зрения на этот вопрос и полагаю, что жидкам она будет ясна из следующей телеграммы, посланной мною в ответ юркому Заксу: «Винница, Почтовая ул., д. Шерра. Беру Заксу.

Для евреев крещение — вид гешефта: окончивший гимназию крестится, дабы попасть в университет, купец, чтобы устроиться вне черты оседлости, и так далее. Отказываюсь быть пособником неблагоприятных поступков, предпочитая еврея некрещеного выкрестившемуся из-за побуждений, чуждых душевным запросам, а наличности таковых у евреев не имеется».

Конечно, мнение этого лица не может служить этическим мериллом; привожу его не как аргумент, а просто для характеристики настроений. Что и говорить, с пощечиной Полишинеля можно не считаться. Но да будет позволено напомнить по этому поводу старую басню Федра. Там изображен умирающий лев, к которому приходят разные звери, и каждый норовит его как-нибудь обидеть. И лев все терпит: но когда напоследок явился *asinus*, *asini*, второго склонения, и тоже лягнул в больное место, лев не выдержал и заплакал, сказав: «Твой пинок, о срам природы, усугубляет для меня горечь смерти». А уж на что лев — гордый зверь. Очевидно, во времена Федра еще полагали, что такой пинок — это уже самое последнее дело, предел надругательства. Но мы теперь умные, и предрассудки давно ликвидированы.

Предрассудки до того начисто ликвидированы, душа человека превращена в такое идеально гладкое, зеркально лысое пустое место, что сплошь и рядом чувствуешь себя беспомощным и безответным пред этой абсолютною плешью, где не осталось ничего со вчерашнего дня — ни одного раз навсегда вбитого гвоздя, ни одной глубоко вросшей былинки, ни традиций, ни аксиом, ни простой брезгливости, даже ничего похожего на доску с надписью: «Здесь воспрещается». И когда вы пытаетесь напомнить, что все-таки должно же быть на свете нечто воспрещенное, нечто такое, от чего сама собой отдергивается рука, вас огорошивают вопросом: А почему нельзя? И вы вдруг постигаете, растерянный, что, в сущности, ответа у вас нет. Ибо есть вещи, которые доказать невозможно. И, как назло, жизнь так глупо устроена, что именно те щекотливые вещи, которые невозможно доказать, — именно они делают разницу между человеком порядочным и человеком покладистым.

Кто скитался за последние годы по так называемой «еврейской улице», тому хорошо знаком этот убийственный вопрос: «А почему нельзя?» Стал он раздаваться недавно. Прежде было совсем другое время: прежде, в эпоху подъема и до него, было всем ясно само собою, что на человеке лежит некий долг и что не все ему дозволено: каждый понимал этот долг по-своему, но атмосфера некоторой нравственной дисциплины ощущалась повсюду, на каких угодно общественных задворках. И если кому уж приходилось нарушить эту дисциплину, сделать что-нибудь такое, чего совесть не позволяла, то он старался стусеваться, а не выступал гоголем на площади и не спрашивал: А почему бы нет? Но прошел подъем, и все это изменилось. Нравственная дисциплина лопнула, и значительная часть молодежи пустилась в погоню за своей долей, грациозно прыгая через какие угодно препятствия. При этом они держат голову гордо и высоко, пишут письма в редакцию и требуют: одно из двух — или докажи им, осязательно, как дважды два, почему нельзя перепрыгивать через некоторые препятствия, или сними шапку, расшаркайся и признай их полноправными джентльменами.

Конечно, для себя, для своей души, каждый из нас хорошо знает, «почему нельзя». Когда мы себя об этом спрашиваем, то оглядываемся назад, и нашему духовному взору открывается картина, которая лучше всякого ответа. Перед нами расстилается необозримая равнина двухтысячелетнего мученичества: и на этой равнине, в любой стране, в любую эпоху видим мы одно и то же зрелище: кучка бедных, бородатых, горбоносых людей сгрудилась в кружок под ударами, что сыплются отовсюду, и цепко держится нервными руками за какую-то святыню. Эта двадцативековая самооборона, молчаливая, непрерывная, обыденная, есть величайший из национальных подвигов мира, пред которым ничтожны даже греко-персидские войны, даже история Четырех Лесных Кантонов, даже восстановление Италии. Сами враги наши снимают шапку пред величием этого грандиозного упорства. В конце концов, люди забыли все наши заслуги, забыли, кто им дал единого Бога и идею социальной правды: нас они считают изолгавшимся племенем, в душе которого ничего не осталось, кроме коллекции уловок и уверток, наподобие

связки отмычек у вора: и если перед чем-нибудь еще преклоняется даже злейший из клеветников, если в чем-нибудь еще видит, не может не видеть символ и последний остаток великой, исполинской нравственной мощи, — это только в уцелевшей, ни на миг доселе не дрогнувшей способности страдать без конца за некое древнее знамя. В этом упорстве наша высокая аристократичность, наш царский титул, наше единственное право смотреть сверху вниз. И теперь, над могилами несметного ряда мученических поколений, разорвать этот круг, распустить самооборону, выдать старое знамя старьевщикам? Что же нам останется? Как это мыслимо? Как это возможно?! Так ощущаем мы, еще не ликвидировавшие пред-рассудков. Но ведь это ощущение, а не доказательство.

Не знаю, как другие, которые умнее меня, но я должен сознаться, что не все могу доказать. В 1907 г. пришел ко мне (было это в Одессе) один юноша, когда-то мой протеже, и изложил мне обычный в те дни план устройства личной жизни: он напишет банкиру такому-то письмо с требованием дать столько-то тысяч, а если не даст, то его подстрелят. Я возмутился, заволновался, стал его отговаривать, а он меня срезал вопросом:

— А почему нельзя? Докажите!

И со своей стороны изложил мне свои аргументы. Он голодает, мать голодает... А банкир богат. И так далее — эту аргументацию все мы слышали, и у всех она жива еще в памяти. И сколько мы с ним ни спорили, верх оставался за ним, потому что по логике он был логичен, — а все-таки есть вещи, которые не доказываются.

Другие молодые люди пошли дальше. Они увидели, всмотревшись поглубже, что если «можно» экспроприировать у банкира, то «почему нельзя» у лавочницы предместья? Богатство — понятие относительное и гибкое. Богат для меня тот, кто в данную минуту богаче меня: если у лавочницы в кассе лежит 80 копеек выручки, а я голоден, она для меня богачка, и я имею полное право... А потом другие пошли еще дальше. Почему я для этого непременно должен быть голоден в грубом смысле слова, физически голоден? А если желудок мой полон, но душа голодна, если мне тоже хочется прифрантиться, сходить в театр, покататься с ба-

рышнями, то почему я должен страдать, за что должна увядать без блеска и радости моя молодость, когда один удачный налет может распахнуть предо мною всю полноту жизни? И опять приходилось разводить руками и молчать, не находя ответа. Потому что неприменима таблица умножения в социальных отношениях. Те молодые люди, что в памятную эпоху налетов срамили и топтали наше народное доброе имя, что хуже черной сотни с ее резинами терзали и разоряли нашу нищую массу, были, по большей части, ловкие диалектики и по таблице умножения очень искусно доказывали свою высшую правоту. Но в то же время нестерпимый чад гнусной, неслыханной деморализации разливался от них вокруг, и было ясно, что, наперекор всякой диалектике, все-таки есть вещи недозволенные, и должна быть в человеке внутренняя брезгливость, которая без слов, непосредственно подсказывала бы ему, «почему нельзя». Этическое познается не рассуждениями, а ощупью, и в ком этого таланта ошупи нет, тот калека.

Бывают, конечно, калеки разной степени. Из примеров, которые приведены только что, не следует заключать, что я ставлю дезертиров на одну доску с кем-либо из перечисленных героев. Понятно, нет. Но, с другой стороны, я не награжден от Бога и той снисходительностью, которая считает переход в чужую веру ради голой выгоды за нечто невинное. Думаю, что этот акт ясно и непреложно говорит о нравственной глухоте субъекта. И в особенности тогда, когда он совершается в наших здешних условиях, над поверженным и израненным телом затравленного, окруженного повсюду врагами и беззащитного российского еврейства.

В эпоху студенческих волнений был однажды такой случай. Десять студентов посадили в одну небольшую камеру: им было там невыносимо тесно, душно и грязно. Одного из них пристав знал, так как игрывал в карты с его отцом: он вызвал этого студента и предложил перевести его в камеру вестового.

— И вам будет удобнее, и товарищам все-таки легче, — сказал любезный пристав.

Но студент отказался. Собственно говоря, почему было ему не согласиться? Ведь от него за то никаких «услуг» не требовали и товарищам его отказ никакой видимой пользы не

принес — напротив, если бы один выбыл, все же стало бы просторнее. Но студент отказался, потому что у него было этическое чутье. Он понял или, вероятнее, просто почувствовал, что его переход на привилегированное положение, когда товарищи по беде остаются в яме, посеял бы в атмосфере какую-то неуловимую, невесомую деморализацию, которая гораздо ядовитее спертого воздуха. То был маленький случай, и беда была сравнительно маленькая. Теперь мы стоим перед великим национальным горем, в глубокой яме копошатся не десять человек, а шесть миллионов, целая Португалия, две Норвегии, и вопрос о том, есть ли у нас это чутье невесомых преград, разрастается до размеров огромной национальной трагедии. Перед лицом этой трагедии человек, которому дано перо в руки, не имеет права считаться с личными переживаниями отдельных дезертиров. Он должен напомнить во всеуслышание старую истину, через которую вы слишком цинично преступили: что именно талант внутренней безгливости, именно чутье невесомых святынь и преград, создает то, что мы называем порядочностью, *sittlicher Ernst*: и у кого в такую тяжелую эпоху медленной пытки, затяжного погрома не оказывается в наличии этого чутья, тот должен сам понять себе цену и не удивляться, если другие называют ее вслух.

Хочется говорить об этом как можно более сдержанно, и оттого главным образом приходится настаивать на невесомых моментах. Ведь с той стороны это — главный довод: «живя согласно со строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла». Хочется напомнить людям, что если даже допустить, будто и в самом деле «никому не сделано зла», это еще само по себе далеко не отворяет двери в ту комнату, где у Бога помещены джентльмены, — люди, которым можно доверять, люди, с которыми можно вместе страдать и которые не вылезут в окошко... Но, в конце концов, этот вечный припев каждого дезертира, что он «никому не сделал зла», тоже неправда.

Когда люди еще верили в Государственную Думу, в одном городе черты оседлости была выставлена кандидатура бывшего еврея, популярного местного деятеля. Национали-

сты были против этого, и один из них сказал меткое слово: «Вам нужен в Думе человек, который отстаивал бы ваше равноправие. Так не посылайте в Думу человека, который сам является живым доказательством того, что можно великолепно обойтись и без равноправия».

Сейчас выборов нет, и больше о таких кандидатурах не слышно, и все эти безобидные молодые люди, которые «никому не делают зла», идут представлять о нас не в Думу, а на самое торжище жизни. Но тем глубже политическое влияние этого массового представительства, и мы, остающиеся в яме, еще учтем его плоды на своей шкуре. Ибо никогда еще мы не выпускали в мир с такой легкостью такого множества живых доказательств, что можно при желании обойтись и без равноправия. В Германии, например, уже давно знают, что «ренегатство, оказывая губительнейшее нравственное влияние, кроме того, еще тормозит борьбу германского еврейства за фактическое осуществление его политических и гражданских прав. Теперь, когда немецкое еврейство ведет упорную борьбу за свои конституционные права, ренегаты, добиваясь этих прав при помощи «Taufzettel», наносят общему делу еврейства непоправимый ущерб» (резолуция съезда германских еврейских деятелей в 1910 г.). Тем хуже положение в России. На глазах у врагов и равнодушных наша молодежь с такой легкостью меняет религию, что у зрителя возможен только один вывод: раз это так легко и просто, то, очевидно, те, которые этого не проделывают, далеко не так страшно угнетены, и особенно о них беспокоиться нечего. Этот вывод естественно складывается и оседает не только у врагов, но, что гораздо важнее, у равнодушных, т.е. именно в том кругу, от которого зависит дать перевес друзьям или врагам. Как, какими доводами бороться тут за отмену еврейского бесправия, за создание выхода из ямы, когда нам ответят: позвольте, но ведь выход уже есть, и, очевидно, вполне для вас приемлемый! Как, какими словами отстаивать эмансипацию общины, из которой сотнями дезертирует ее «цвет», ее молодая интеллигенция, и самым фактом своего массового бегства кричит на всю Россию: монастырь оставлен на вымирание, стоит ли о нем еще думать!

В конце концов все это выливается в подстрекательство к новому гнету. Светская власть, может быть, и не особенно рада этому новому устремлению строптивного племени и склонна его рассматривать (не без основания), как новый массовый «обход закона», новую «еврейскую уловку», по беззастенчивому цинизму превосходящую все прежние. Но ведь есть в России и духовная власть, очень влиятельная, в иные периоды даже всемогущая. Духовенство господствующей церкви нигде и никогда не оставалось безучастным к приросту своей паствы: призванное блюсти интерес церкви, оно всегда и всюду смотрело на такой прирост как на явление положительное и не особенно допытывалось о причинах и внутренних побуждениях, справедливо рассуждая, что, каковы бы ни были эти побуждения, во втором поколении от них не останется ни следа, а останется только чистый прирост... Так рассуждала и по сей день рассуждает господствующая церковь всюду на Западе и на Востоке. Как отнесется она в России к этому еще небывалому урожаю неопитов, предсказать не берусь. Но очень боюсь, что мы даем в могущественные, очень могущественные и принципиально враждебные нам руки сильнейший довод в пользу не только сохранения, но и усиления висящего над нами гнета.

Зато молодые люди нас утешают, что «выход из религии не есть выход из национальности». Нация наша, значит, и впредь будет почтена их присутствием. Лестно. Но тут опять сказывается нечуткое резонерство, неспособность ощутить то важное, что невесомо. Говоря вообще, это — совершенно справедливый принцип: национальность сама по себе, а религия сама по себе. В дни свободы, когда мы еще мечтали о созыве «национального собрания», многие даже среди сионистов и националистов провозглашали, что «членом еврейской национальной общины является каждое лицо, признающее свою принадлежность к еврейской национальности, без различия вероисповедания». Но — нашим мечтам тогда рисовалась совершенно другая картина, чем то, что видим теперь. Нам рисовался большой праздник свободы, когда еврейский народ на радостях амнистировал бы старых дезертиров за старый грех, а впредь уже крещения могли бы происходить только по убеждению. Это было бы совсем, совсем другое дело. Перемена веры из внут-

ренного убеждения в превосходстве новой религии — это к чести человека, а не к стыду... Но когда *эти* сегодняшние молодые люди, только что ради голой выгоды с легкостью вальса увильнувшие от той круговой поруки, которой только и может нация держаться, милостиво предлагают и впредь числиться по нашему национальному списку — то уж это с их стороны любезность чрезмерная и излишняя. Нет уж, молодые люди, скатертью дорога, а нам в утешение останется умное слово Герцля: «Мы теряем тех, в лице которых мы ничего не теряем».

«Выход из еврейской религии не обуславливает выхода из еврейской национальности»... Если эти молодые люди искренно так думают, то они горько обманываются. До сих пор уходившие из нашей религии уходили и из нашей национальности. И больше того: в Европе существует формула: «дед ассимилятор, отец крещен, сын антисемит». Это вполне естественно. У «отца» еще все таки что-то теплое осталось в душе от воспоминаний детства, связанных с субботой, или хоть от слез матери в тот день, когда он пошел к священнику. Но уж у его сына не может быть ничего, кроме глухой досады на всех евреев за то, что его еще все-таки иногда поругивают Judenbub'ом. Забыть о еврействе ему не дадут, любить еврейство он не может — остается одно: ненавидеть, и это одно с неизбежностью, в той или иной степени, повторится и в России. Еврейский народ не новичок в этом вопросе — он уже привык, глядя вдогонку уходящему дезертиру, горестно думать о том, что, может быть, ровно через одно поколение новый камень с улицы ударится в его окошко. Кто знает, еще, может быть, их дети некогда будут выселять из Киева наших детей.

Множество софизмов пушено теперь по улице, чтобы оправдать эту вакханалию бегства, и все софизмы гнилые и неискренние. Самый ходкий тот, что, мол, крестятся вовсе не «для голой выгоды», а ради науки. Это болтовня. Науку юридическую, философскую, историческую и т.п. можно получить в публичной библиотеке, и еще бесплатно. А науку медицинскую или инженерную можно получить за границей, в крайнем случае голодая, как голодают тысячи наших юношей и девушек в разных Бернах и Женевах, предпочитающие

мучиться, но не креститься. Крестятся ради диплома, т.е. ради выгоды, ради того, чтобы вести потом сравнительно привольную жизнь адвоката, инженера или врача, а не быть вынужденным (о ужас!) пасть, например, до приказчика. Я понимаю, что страшно больно бросить посередине раз намеченное русло жизни, ликвидировать мечты: но если люди не чувствуют, что дезертирство — это еще страшнее, еще больнее, если изо всех тяжелых перспектив им представляется наиболее приемлемой именно та, которая для здорового чутья должна казаться самой ужасной — отступничество, то какое подыщешь имя, кроме нравственной глухоты? Да, наконец, разве только ради университета крестятся в наше просвещенное время? Больно перечислять в печати, пред чужими людьми, из-за каких пустяков это проделывается на каждом шагу... Ибо зачем терпеть даже малое неудобство, когда есть такой легкий выход, понимаете ли, такой *легкий*?! Эта легкость, необыкновенная, беспрецедентная, еще неслыханная в еврейской истории — это и есть главная особенность теперешней эпидемии, придающая последней совершенно своеобразный характер полного паралича высших этических центров. Где-то в яме копошатся шесть миллионов, голодают, стонут, рвут на себе волосы; сто тысяч ежегодно берут в руки посох, пробираются через границу, иногда без паспорта, под выстрелами, — едут на край света бороться за кусок хлеба, и все это для них оказывается легче, чем отступничество! Дураки — они еще не поняли, что отступничество-то легче всего...

При всем том эти молодые люди находят, что, пуская корни на новой ниве, они оную ничуть не «засоряют». Это дело вкуса, судить об этом, в конце концов, могут только сами новые единоверцы наших беглецов. Что-то, однако, не слышно, чтобы неопиты из евреев где-либо, в какой бы то ни было христианской общине слыли украшением. Еврейству, впрочем, все равно, как и где акклиматизируются те, которые от него уходят. Но что не «все равно» — это самый факт, что нам, сидящим в яме, назначена премия за отступничество и что в этом растлевающем сознании вырастает наша молодежь. В конце концов, ничего мудреного, если в ее душе развивается такая готовность к дезертирству по пер-

вому востребованию жизни. Она с детства знает — и ей не дают ни на минуту забыть, — что все запретное станет дозволенным, если только согласишься, с ложью в душе, поклониться чужим алтарям. Это сознание расшатывает характеры, ослабляет задерживающие центры, вытравливает нравственную брезгливость. А что может наша молодежь противопоставить этому соблазну? Из современного еврейского воспитания выброшено все, что могло бы закрепить в ее душе положительные связи с еврейством. Чуда нет, если в результате остается голая, плешивая, пустая душа. Пусть это иным покажется жестокостью, но, мне думается, лучше было бы российскому еврейству остаться совсем заперти, без выхода, чем иметь перед собою *этот один выход*, эту развращающую перспективу уплаты наличными за самое отвратительное из лицемерий. Одно время долго держался слух, будто этих молодых людей так и не примут в университет. Сознаюсь, я бы очень мало этим огорчился. И еще менее огорчился бы, если бы это стало правилом, распространяющимся на все области полноправия. Ибо личная судьба нескольких «юрких Заксов» интересует нас, как прошлогодний снег: но для народа нашего, для подрастающих детей наших не было ли бы здоровее, если бы во мраке нашего бытия перестали мерцать эти тридцать серебрянников равноправия, покупаемые таким путем...

1910

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ШКОЛЫ

Почитать передовые газеты — выходит так, будто в законопроекте о всеобщем обязательном обучении, который теперь обсуждается в Государственной Думе, одно большое горе: земства и городские самоуправления отстранены от заведования проектируемой начальной школы. Если бы не эта беда, то со всем остальным, сделав маленькие поправки, можно было бы примириться. Так выходит по газетам, особенно по столичным. Несомненно, что устранение земств и городских дум — большая беда: хотя, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что при нынешних порядках

возможны такие составы земских управ и городских муниципалитетов, которые, пожалуй, куда свирепее самого свирепого столоначальника. Но дело в том, что и при передаче школ в самое полное и безграничное ведение местных самоуправлений — этот законопроект остался бы абсолютно неприемлем без малого для двух третей населения России, т.е. для той его части, которая не принадлежит к великорусской народности. Ибо вопрос о всеобщей школе есть прежде всего вопрос о языке преподавания.

У «нас» об этом всегда забывают. Либералы-то «мы» либералы, радикалы-то «мы» радикалы, а в некоторых важных отношениях «наше» мирозерцание вполне направляется и диктуется начальством. Начальство принципиально не признает разницы между понятиями «русское» и «российское», и «мы» тоже в конце концов игнорируем эту разницу. Между тем она очень почтенна: «русское» означает свойственное одной из народностей, населяющих Империю, а «российское» означает свойственное всей России. Конечно, русская народность — величайшая в государстве, богатейшая по культурной силе — по крайней мере, в количественном отношении: она своим трудом и талантом создала это громадное государство, и она при каких угодно политических реформах, в силу своего удельного веса, останется здесь «первой среди равных». Но — среди равных, а это у «нас» даже радикалы забывают. Забывают, пользуясь тем, что вековое казенное насилие культурно обесплодило почти все эти национальные меньшинства, задушило в корне их творческие попытки и заставило — или отказаться от просвещения, или искать его в чужом источнике. В конце концов, это забвение, это замалчивание самой наличности гигантского иноязычного большинства незаметно и (надеюсь) бессознательно превращается у «нас» в косвенное содействие казенной руссификации. Создается такое впечатление, словно все уже обрусели, а те, которые еще не успели, только о том и мечтают, чтобы обрусеть: следовательно, давайте им помогать в этом похвальном стремлении и насаждать русскую культуру в качестве всероссийской. А инородцы удовольствуются театрами для простонародья — конечно, в такое время, когда сцена не занята под «серьезные» спектакли.

Между тем в действительности это все обстоит далеко не так. Большая публика мало знакома даже с элементарной арифметикой государства — с официальной статистикой населения. А не мешало бы знать. В 1897 году правительством была произведена всероссийская однодневная перепись, результаты которой были официально опубликованы лет 5—6 тому назад. По этой переписи население России в отношении родного языка распределяется следующим образом:

Великороссы	43,30	проц. всего населения
Украинцы	17,41	— " —
Поляки	6,17	— " —
Белорусы	4,57	— " —
Евреи	3,94	— " —
Киргизы	3,18	— " —
Татары	2,91	— " —
Немцы	1,40	— " —
Литовцы	1,29	— " —
Латыши	1,12	— " —
Башкиры	1,12	— " —
Грузины	1,05	— " —
Армяне	0,91	— " —
Молдаване	0,87	— " —
Мордва	0,79	— " —
Эсты	0,78	— " —

Остальные народности, насчитывающие меньше миллиона членов, опускаю для краткости. Надо иметь в виду, что под этими скромными на вид процентами скрываются громадные абсолютные цифры. Украинцев, например, 22 с половиной миллиона — на 4 миллиона больше, чем, например, испанцев в Испании. «Каких-нибудь» литовцев — 1 658 000: в Норвегии в то же время насчитывалось немногим больше 2 миллионов населения, а между тем норвежская культура поставляет модных писателей на весь цивилизованный мир. Иными словами, все это крупные народы, которые при других условиях могли бы создать свою самобытную культуру, прославить имя свое и, в конце концов, принести общему отечеству России несметно больше пользы, чем теперь, когда они прозябают почти все на задворках, в качестве бесплатного

приложения к великорусской народности. При этом следует отметить еще одно обстоятельство: количество великороссов в переписи, несомненно, преувеличено, так как на русском языке говорит — особенно в городах Малороссии, западного края, юга, Поволжья, северного Кавказа — множество руссифицированных инородцев, которые, однако, признают себя членами других национальностей и при первой возможности воспитали бы своих детей на другом языке. Таких элементов особенно много среди украинцев, а также евреев и армян. Несомненно, были крупные ошибки в пользу великорусского элемента и при переписи в сельских местностях Поволжья, где мордва, черемисы и чуваша сильно перемешаны с русскими. Не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать наверняка, что действительное количество великороссов в России вряд ли многим выше одной трети всего ее населения. Это приблизительно то же место, которое занимают немцы в Австрии.

Конечно, дело не в одних цифрах, дело главным образом в психологии: есть ли у всех этих народностей воля к национальной жизни или они, быть может, уже примирились с перспективой растворения в котле чужой культуры? У «нас» часто уверяют, будто уже примирились: особенно настойчиво утверждают это по отношению к украинцам и белорусам. Какие, мол, они украинцы, какие белорусы! Они сами только о том и мечтают, как бы скорее разучиться говорить по-мужичьи и перейти к господской речи. Сюда обыкновенно пришпиливается «филологическая» справка о том, что украинский (а тем более белорусский) язык не язык даже, а просто наречие, один из говоров великорусского. Эта филологическая справка есть простая болтовня: испанский и итальянский, норвежский и датский, немецкий и голландский языки еще ближе друг к другу, чем русский и украинский, а все-таки это особые языки с особыми культурами, потому что самостоятельность языка определяется не филологами, а сознанием народов. Впрочем, и с филологической стороны дело обстоит не так плохо: в 1905 году Петербургская академия наук в ответ на запрос комитета министров составила докладную записку, где обстоятельно доказывалось, что украинский язык сам по себе, а русский сам по себе и что замена первого вторым в на-

родных школах Малороссии привела к понижению культурного уровня. Но помимо всего этого, самостоятельное развитие украинской культуры есть факт непреложный и, так сказать, официальный — в двух шагах отсюда, в Галиции. Нечего уже говорить о литературе, театре и печати; но на этом языке — несмотря на все стеснения и препятствия со стороны шляхты, хозяйничающей в крае, — там ведется и преподавание в народных школах и в нескольких гимназиях: в львовском университете на этом языке читаются некоторые лекции, и на очереди стоит вопрос об учреждении специально-русского университета: наконец, на этом языке обязаны судить и рядить судьи и чиновники в восточной Галиции. Всему этому из России помешать нельзя, и потому вопрос о том, «может» ли и «должен» ли украинский язык создать особую культуру, есть вопрос праздный. Какие там разговоры, какое там «может» или «должен», когда есть налицо?

Вопрос же о том, есть ли у многочисленных народностей России воля к национально-самобытной жизни, решается тоже не рассуждениями, а фактами, опытом жизни. Ясный ответ дает недавно вышедшая книга «Формы национального движения в современных государствах». Там в ряде отдельных очерков, написанных такими специалистами, как проф. Грушевский, Л. Крживицкий, С. Дубнов, член Думы Булат, прив.-доц. Авалов, Л. Штернберг, изображено настроение главнейших народностей европейской и азиатской России в эпоху освободительного движения. Выводы получаются очень любопытные. Оказывается, при первом ветерке свободы все они, без исключения, потребовали эмансипации от чуждой им русской культуры и права на свою национальную школу. Вот несколько примеров. В сентябре 1906 года епархиальный съезд духовенства (!) Подольской губернии возбудил перед синодом ходатайство о введении в начальных школах губернии преподавания всех предметов на украинском языке, а также о введении обязательного изучения украинского языка, истории и литературы в каменец-подольской духовной семинарии. Полтавская городская дума постановила вести в школе имени Котляревского преподавание на украинском языке. Во множестве сельских школ эта реформа была введена «явочным порядком» — не только на крамольном левом берегу Днепра,

но и в благонамеренной правобережной Украине, напр., в Брацлавском уезде. Съезд белорусских учителей, собравшийся в мае 1907 года, постановил о необходимости вести все преподавание в начальных школах на белорусском языке. Вслед за этим образовалась «Белорусская национальная хэура» — союз учащихся в Глуховском учительском институте (Черниговской губ.); союз тоже ставит своей целью национализацию школы. Автор статьи, г. А.Новина, сообщает: «Нам известен ряд школ — конечно, частных, где обучение детей ведется по-белорусски (в Могилевской, Минской и Виленской губ.). Спрос на учителей для таких школ растет». У евреев требование национальной школы с преподаванием всех предметов на еврейском языке выставлено было всеми, без исключения, еврейскими партиями: и сионистами, и Бундом, и даже петербургской обруселой буржуазией. У литовцев в борьба за родной язык осложнялась борьбой за родной алфавит: до 1904 было запрещено печатать литовские книги иначе, как русскими буквами. Однако «литовские родители считали и считают своей обязанностью хоть тайно обучать своих детей, по крайней мере, чтению на литовском языке». В дни свободы началась в сельских школах повальная замена чужих учителей литовскими. Возникли разного рода культурно-просветительные общества. Одно из них, «Светило», основало ряд школ, где преподавание велось на литовском языке: другое, «Свет», с 18 отделениями, 10 библиотеками, организовало театральную группу и тоже учреждало школы. В 1905 году образовался «союз учителей литовцев», требовавший национализации всех школ Литвы и возрождения виленского университета, но уже не в качестве польского, а литовского. Латыши требовали латышского языка в школе, суде и самоуправлении, латышского городского театра в Риге (частные театры у этого в высшей степени культурного народа есть в изобилии), даже латышских надписей на улицах, трамваях и т.д. У армян «под влиянием новых условий жизни и новых идейных факторов национальная идея не только не ослабевает, но приобретает более широкий и ясный характер». Некоторые остатки национальной школы у армян еще сохранились, благодаря церковной автономии, так что в этом отношении им в 1905—1906 гг.

пришлось требовать не реформы, а только упрочения и развития существовавшего порядка. У калмыков и башкир в 1907 году возникли «учительские союзы» с национально-культурной программой. Буряты «категорически требуют введения родного языка в школе, суде и самоуправлении»: они же учреждают издательство учебников и переводных книг. В апреле 1904 г. состоялся в Чите с разрешения губернатора съезд бурят и тунгусов Забайкалья, выработавший проект реформы управления краем, а в том числе всеобщего обязательного обучения на монгольском языке. Якуты учредили в Якутске национальный театр, где ставились «не только драмы, но даже оперы» и т.д.

Всех не перечислишь, да и не нужно. Все ведь это смела реакция, уничтожила большую часть драгоценных культурных ростков. Но приведенные факты остаются фактами и непреложно доказывают одно: воля к национально-самобытной жизни есть. Около 60 процентов населения России не хотят великорусской школы, ибо хотят учиться на своих языках и творить свои культуры. Россия им дорога как идея общности, взаимной защиты, круговой поруки; она им рисуется в перспективе будущего прекрасным человеческим садом, где самые разнообразные культурные цветки мирно распускаются один подле другого, каждый в своем своеобразии, соперничая друг с другом красотой и ароматом, а не кулаком и обухом. Вне этого идеала для них нет просвещения и нет прогресса, а есть только грубое насилие, заgrimированное (да еще неудачно) под цвета просвещения и прогресса.

Законопроект предусматривает какое-то двухлетнее обучение на «местном» языке с тем, однако, чтобы с третьего года все преподавалось по-русски; но и эта «льгота» предусмотрена только для уездов с нерусским большинством, причем, конечно, украинцы и белорусы будут любезно зачислены в состав «русского большинства». Кроме того, предстоит, очевидно, отбор «местных» языков, причем некоторые будут просто признаны несуществующими: украинского языка не существует, белорусского тоже, молдавского в Бессарабии тоже, финских наречий на Волге и на севере тоже, а об еврейском языке и говорить нечего: «обретается в нетях» и не имеет никакой культурной реальности. Несколько щедрее

оказываются, судя по телеграммам, октябристы: они собираются голосовать за четырехлетнюю, а не двухлетнюю отсрочку принудительной руссификации. Но и октябристы не согласны признать школьными языками такие, как украинский или еврейский, 22 500 000 малороссов, 6 миллионов белорусов, 6 миллионов евреев, 3 миллиона поволжских и севернороссийских финнов и прочая «м е л к о т а» обрекаются на национальное исчезновение.

Конечно, в самом горьком положении окажутся при этом порядке евреи. Этот народ живет главным образом среди поляков, украинцев, белорусов, литовцев, эстов, латышей и молдаван и меньше всего соприкасается с великороссами. Как же будет решена его судьба? В какие школы будут гнать его детей? Из проекта это неясно. Во всяком случае, раз преподавание на еврейском языке исключено, а посещение школы обязательно, остается одно из двух: или школы местного большинства — польские, литовские, латышские, эстонские, немецкие, — или русская школа. В том и в другом случае горемычному племени уготовляется в недалеком будущем перспектива, одновременно курьезная и трагическая. Что значит обучение в школах местного большинства, это мы видим в Австрии, где часть евреев воспитывается по-немецки, часть по-польски, часть по-чешски, часть по-итальянски, все они друг от друга отрезаны, друг друга не понимают, не могут объединиться ни для отпора против антисемитизма, ни для борьбы за действительное осуществление бумажного равноправия и, в результате, представляя собою народ в миллион с четвертью индивидуумов, не играют в Австрии никакой политической роли, тогда как словинцы, итальянцы, хорваты, которых гораздо меньше, имеют в руках прочную долю влияния на государственные дела и извлекают из этого влияния реальные выгоды. Тем хуже будет в России, где равноправия не только на бумаге, но и в перспективе нет и где евреям, как свет и воздух, необходимы единство, солидарность, организация. Вместо этого им, кажется, предоставлено будет распределиться по нациям: рижские будут числиться латышами, ковенские литовцами, ломжинские поляками, а мы, южане, значит, будем великороссы. А там, даст Бог, лет че-

рез 20, разовьются у нас и соответствующие национальные чувства. Мы, южные великороссы моисеева закона, будем гордо смотреть сверху вниз на ковенских литвинов иудейского вероисповедания и будем их корить:

— Что у вас за культура? Ерунда, а не культура. «Наша» лучше!

А «литвин» скажет:

— Врешь, «наша» куда лучше!

В Австрии эта картинка встречается сплошь и рядом. Худшие шовинисты-подстрекатели, наиболее резко призывающие венских немцев душить чеха, — это евреи из редакции «Neue Freie Presse». Зато в австрийском рейхсрате три четверти немецких депутатов — непримиримые антисемиты, а в Вене двадцать лет господствуют христианские социалисты.

Еще приятнее другая альтернатива: если нас заставят учиться только по-русски. Уже и теперь евреи во многих городах черты оседлости, где великорусского населения нет, являются единственными, так сказать, представителями русской культуры, т.е., говоря точнее, единолично руссифицируют край. Вильна, например, руссифицирована только еврейской интеллигенцией: и что-то незаметно, чтобы за эту услугу евреев очень любили тамошние великороссы, — а зато поляки и литовцы открыто ставят евреям этот подвиг в большую вину. То же самое в Малороссии. Украинская печать вообще и прогрессивна, и демократична, но когда речь заходит о руссификаторской роли еврейской интеллигенции, эта печать выходит из себя и положительно сбивается на антисемитские ноты. И хуже всего то, что не знаешь, какими словами протестовать. Ибо ведь действительно правда, что города Украины, где великороссов можно по пальцам перечесть, и вполтину бы не носили того характера, который носят теперь, если бы еврейская интеллигенция не так усердно шла навстречу администрации в смысле насаждения русского языка. Прикрепощение евреев к русской школе зафиксировывает этот порядок вещей и делает еврейское население окончательно ненавистным в глазах самых демократических элементов местного большинства...

Из всего сказанного следует ясный вывод: всеобщее обязательное обучение, если оно не производится для каждой группы населения на том языке, который группа эта

признает языком своей национальной культуры, не имеет ничего общего ни с просвещением, ни с прогрессом. Ярko и отчетливо заявил это однажды в Думе польский депутат: лучше никакой школы, чем такая. Нет ни одного здорового народа, который не присоединился бы к этим словам.

1910

О ЯЗЫКАХ И ПРОЧЕМ

П.Б. Струве в январской книжке «Русской Мысли» (1911) затронул интересный и важный вопрос. Жаль только, что затронул мимоходом и аподиктически разрешил на 4 страничках. Этот спор об этнической природе государства российского, о том, считать или не считать малороссов и белорусов за особые нации, о том, быть ли России «национальным государством» или же пути ее ведут к так называемому Nationalitätenstaat, — спор этот заслуживает самого серьезного, самого, если позволено так выразиться, увесистого обсуждения. И я глубоко убежден, что постепенно он и станет во всей серьезной российской публицистике предметом такого именно обсуждения. Ибо вопрос о национальностях есть для России кардинальный вопрос ее будущности, более важный, более основной, чем все другие политические и даже социальные проблемы, включая хотя бы саму аграрную реформу. Пишу эти слова и, конечно, знаю, что лишь очень немногие с ними согласятся. И тем не менее, — оно все же так. Было время, когда и в Австрии думали, будто национальная проблема есть второстепенная мелочь, скромно отходящая на задний план, как только на сцену выступают «настоящие» интересы, особенно экономические. А жизнь доказала, что все бытие государства, точно вокруг оси, обречено вращаться вокруг проблемы национальностей, и под конец даже социал-демократия стала давать основательные трещины как раз по швам национальных разделений. От судьбы не ушла Австрия, от судьбы не уйдут и ее соседи.

Я тоже не имею в виду братья за «увесистое» рассмотрение вопроса, затронутого П.Б. Струве. Но хочу сделать несколько беглых замечаний по поводу одной из деталей этого

вопроса: о том, куда зачислить малороссов и белорусов. Вряд ли, впрочем, уместно тут слово «деталь»: это не деталь, а центр тяжести всего спора. В самом деле: если малороссов и белорусов зачислить, как хочет П.Б. Струве, в состав единой русской нации, то нация эта возрастает до 65 процентов всего населения Империи, т.е. до громадного большинства в две трети; и тогда, пожалуй, картина действительно недалека от «национального государства». Наоборот, если малороссов и белорусов считать за особые народности, то господствующая национальность сама оказывается в меньшинстве (43 проц.) против остального населения, а сообразно тому изменяются и все виды на будущее. Поэтому смело можно сказать, что разрешение спора о национальном характере России почти всецело зависит от позиции, которую займет тридцатимиллионный украинский народ. Согласится он обрусеть — Россия пойдет по одной дороге, не согласится — она волей-неволей пойдет по другому пути. Прекрасно поняли это правые в Государственной Думе. Когда решался вопрос о языках инородческой школы, они, смеху ради, голосовали даже за каких-то «шайтанов» и «казанских греков»; они даже не подняли рук против еврейского языка, очевидно, желая сделать весь законопроект ненавистным и неприемлемым для начальства: но когда речь зашла об украинском языке, они отбросили и паясничество, и хитроумные расчеты и просто подняли руки против, ибо почуяли, что тут самое опасное место, решительный шаг, при котором ни шутки шутить, ни лукаво мудрствовать не приходится.

Возражение П.Б. Струве вызвано следующими моими строками, напечатанными в той же «Русской Мысли»:

«На этих страницах П.Б. Струве неоднократно высказывал, что считает Россию государством национально-русским. В этом очерке не место спорить о таком сложном вопросе; но считаю нужным кратко оговорить, что стою на резко противоположной точке зрения. Примыкаю к тем, которые не закрывают глаз на статистику и помнят, что народность, язык которой называется русским, составляет, по несомненно преувеличенным данным переписи 1897 г., всего 43 процента населения Империи. Это много, но этого недостаточно для того, чтобы остальные, «инородцы», добровольно согласились

на роль бесплатного приложения к великорусской народности. Относясь с глубочайшим уважением к этой народности и к ее могучей культуре, желая с ней жить и дальше в тесной близости духовного обмена, они, однако, полагают, что естественной вотчиной этой культуры являются пределы этнографической Великороссии, и если теперь оно не так, то причина, главным образом, в вековом насилии и несправии. Мы, «инородцы», предвидим только одну из двух возможностей: или в России никогда не будет свободы и права, или каждый из нас сознательно использует свободу и право прежде всего для развития своей самобытной национальной личности и для эмансипации от чужой культуры. Или Россия пойдет по пути национальной децентрализации, или в ней немислимо будет ни одно из оснований демократии, начиная со всеобщего избирательного права. Для России прогресс и Nationalitätenstaat — синонимы, и всякая попытка перескочить через эту истину, утвердить в государстве прочный порядок наперекор воле и сознанию трех пятых населения кончится крахом. Так полагают “инородческие” националисты, и не только они: а кто прав, ответит будущее».

«Изумительно прежде всего, — отвечает П.Б.Струве, — в какой мере политическая или иная тенденция способна слепить глаза и скрывать от зрения самые внушительные и непререкаемые объективные факты. Какая-то упорная традиция, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенденцией, скрывает от некоторых людей огромный исторический факт: *существование русской нации и русской культуры*. Именно русской, а не великорусской. Ставя в один ряд этнографические «термины» — «великорусский», «малорусский», «белорусский», автор забывает, что есть еще термин «русский» и что «русский» не есть какая-то отвлеченная «средняя» из тех трех «терминов», а живая культурная сила, великая, развивающаяся и растущая национальная стихия, творимая нация (nation in the making, как говорят о себе американцы)».

Прежде всего замечу, что П.Б. Струве не прав, полагая, будто я забываю о термине «русский». Напротив. Я даже совершенно согласен с г. Струве в том, что русская нация и культура «не есть какая-то отвлеченная средняя» из великороссов,

малороссов и белорусов. Конечно, не есть. Русским языком называется у людей язык одного только великорусского племени: ни украинского, ни белорусского языка этот термин не охватывает. А русской национальной культурой называется культура, созданная на этом языке. На языке великороссов и только великороссов, а не на каком-то отвлеченном «среднем» из трех языков. Ибо такого среднего и на свете нет. Следовательно, русская культура есть национальная культура великорусского племени. Малороссов и белорусов можно заставить присоединиться к ней или можно даже мечтать, что они к ней все добровольно присоединятся; но это будет именно присоединение к *чужой* (хотя бы и родственной) культуре, созданной *не на природном* языке присоединяющихся национальностей. Термины «русская культура» и «великорусская культура», взятые в чистом своем значении, совершенно совпадают, ибо русский язык и русская культура ни для кого, кроме великороссов, не являются природными. Я лично всегда охотнее употребляю термин «русский» вместо «великоросс»: если в данном случае отступил от этой привычки, то только во избежание неясности, так как знал, что есть — повторю выражение П.Б. Струве — «какая-то упорная традиция» совершенно неточно смешивать под словом «русский» в одну кучу три народа, отличных друг от друга по языку, по истории, по темпераменту, по физическому типу, по внутренней индивидуальности, по быту и общественному строю.

Есть «какая-то упорная традиция, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенденцией», уверять самих себя и всех добрых людей, будто русская нация есть не «живая культурная сила», реальная, осязаемая и отграниченная, а именно «какая-то отвлеченная средняя», некая метафизическая сущность, сочетающая в своем единстве три различных начала. Это, конечно, чистейшая фантазия. Но, мне кажется, если кто заслуживает упрека в таком фантазировании, то уж никак не те, для кого русская нация сама по себе, и украинская или белорусская — тоже сама по себе, — а скорее те, которые не признают тождества «русской» культуры с «великорусской» и непременно хотят придать первому термину какое-то более широкое значение...

Правда, сами украинские публицисты часто употребляют слово «русский» в другом значении, чисто этнографическом, и в этом смысле причисляют к «русскому племени» и украинскую народность. Если не ошибаюсь, такая формулировка родства между великороссами, малороссами и белорусами освящена еще авторитетом Костомарова. В одной статье одного украинского националиста она была выражена так: «Я — славянин по расе, русский по племени, украинец по национальности». Сомневаюсь, имеет ли эта сложная классификация какую-либо ценность с точки зрения этнологии; но во всяком случае за пределы этнологии и этнографии ее значение не простирается. Специфическую культуру создают не «расы» и не «племена» (да и вообще эти термины так неопределенны и расплывчаты, что теперь ими надо пользоваться только с величайшей осторожностью); культуры создаются *национальностями*, и каждая из национальностей ревниво бережет свою культуру и противится, когда сосед ей навязывает свою, хотя бы сосед этот числился ей двоюродным братом «по расе» и единоутробным «по племени». Хорваты и словинцы — и тесные соседи, и близкая родня по расе, племени, вере и т.д., и даже языки их куда ближе друг другу, чем русский с украинским; однако это две разные национальности с двумя разными культурами. Венгерские словаки — ближайшая родня чехам, настолько близкая, что словацкое население соседней Моравии считает своим национальным языком чешский: но словаки Венгрии считают себя словаками, ревниво берегут отличия в своем диалекте, охраняют свою литературную речь от чешских оборотов и, насколько это мыслимо при мерзостях мадьярского режима, творят свою словацкую, а не чешскую культуру. Ибо для этого творчества ни этнология, ни даже филология не указ. Для него указ — национальное сознание. Кто «украинец по национальности», для того все остальное родство по племени, по расе и т.д. может иметь только побочное значение: при выборе культуры решающий голос принадлежит не «расе», не «племени», а осознанной национальности.

Еще одна оговорка. Обыкновенно, когда хотят доказать, что русская культура есть продукт тройственного взаимодействия, а не одних великороссов, на сцену вытаскивается Го-

голь, а иногда, в последнее время, и Короленко. Вот, дескать, малороссы, участвовавшие в создании «общерусской» литературы. Убедительность этого доказательства под большим сомнением. Величайший венгерский поэт Шандор Петефи назывался в сущности Александр Петрович и был сыном словака; но никто в этом не видит доказательства, что мадьярская литература будто бы есть «общевенгерская». У немцев тоже был крупный поэт, даже с проблесками гениальности, по имени Шамиссо, а по происхождению француз: разве поэтому немецкая литература стала немецко-французской? Разве она стала из-за Гейне немецко-еврейской? Общий фон, общий характер данной культуры не изменяется оттого, что случайно жизнь забросит в ее ряды человека другой крови, хотя бы даже гениального. Он или целиком ассимилируется с окружающим фоном, как Петефи или Шамиссо, или только наполовину, как Гоголь, на чьих произведениях лежит сильнейшая печать украинского темперамента, или совсем не ассимилируется и остается бобылем, непризнанным изгоем, как Гейне, — но национальный характер данной культуры остается неприкосновенным, и инородные пятна только выделяют и подчеркивают ее основной цвет, подобно тому, как черные «мушки» оттеняют белизну кожи. Десять Гоголей и сто Короленко не сделают русскую литературу «общерусской»: она остается русской, т.е. великорусской, а рядом с нею украинская народность, пробиваясь сквозь строй великих трудностей, создает *свою* литературу на *своем* языке.

Я написал, что если русская культура играет теперь неестественную роль культуры всероссийской, то «причина, главным образом, в вековом насилии и несправедливости». П.Б. Струве с этим не согласен. Русская, мол, культура преобладает и в Киеве, и в Могилеве, и в Тифлисе, и в Ташкенте «вовсе не потому, что там обязательно тянут в участок расписаться в почтении перед русской культурой, а потому, что эта культура действительно есть внутренне властный факт самой реальной жизни всех частей Империи, кроме Царства Польского и Финляндии». Тут уж П.Б. Струве, безусловно, несправедлив к нашему благопопечительному российскому начальству. Как же можно отрицать его великие, неискоренимые из нашей памяти заслуги по части насаждения русской культуры за

пределами Великороссии? П.Б. Струве с легким сердцем констатирует, что теперь в Киеве «нельзя быть участником культурной жизни, не зная русского языка», и думает, будто «участок» тут ни при чем, а между тем это великая ошибка. Напротив, все дело в участке и в его многовековом усердии. Вот как рассказывает об этом усердии известный украинский историк, проф. М.Грушевский: «Покончив с политической особенностью Украины, правительство не удовлетворилось этим: оно решило стереть и уничтожить также и проявления ее национальной жизни, и даже особенности украинского национального типа. Начиная с Петра I для украинских изданий вводится цензура, имевшая целью привести их к единообразию в языке с изданиями великорусскими. Руссифицируются украинские школы. Вводится великорусское произношение в богослужении. Всякие проявления украинского патриотизма ревностно преследуются и подавляются».

Но зачем заглядывать так глубоко в старину! Вот перед нами новейшее время: с половины прошлого столетия замечается в России подъем украинского движения — и тотчас же начинается сверху ревностная борьба против «хохломании» и «сепаратизма». В 1863 г. министр Валуев провозглашает: «Не было, нет и быть не может украинского языка», а в 1876 г. издан был указ, просто-напросто воспретивший украинскую культуру. Отныне разрешалось печатать по-украински только беллетристику да стихи и разыгрывать пьесы в театре; что касается до газет, журналов, серьезных книг и статей, лекций, проповедей и т.п., — все это было воспрещено, а об украинской школе и говорить нечего. Что же удивительного, если на этом поле, начисто опустошенном и распаханном усилиями урядника, с такой легкостью и вне всякой конкуренции взошли посевы той культуры, которую урядник, по крайней мере, терпел? И ничуть ее пышный расцвет в Киеве не доказывает, что дело исключительно в ее собственной мощи, что она и без помощи урядника все равно заглушила бы все соседние ростки и воцарилась единодержавно. Напротив, П.Б. Струве сам не будет спорить против того, что если бы вместо указа о воспрещении украинской культуры явился в 1876 г. указ о разрешении вести на украинском языке преподавание в школах и гимназиях, то уважаемому

публицисту вряд ли пришлось бы теперь так победоносно констатировать, что в Киеве без русского языка нельзя быть культурным человеком.

Что в Киеве, то было и повсюду. Всюду на окраинах русская культура появилась только после того, как земский ярыжка расчистил ей дорогу, затоптав сапожищами всех ее конкурентов. На Литве с 1863 года были запрещены польские спектакли, польские газеты и даже польские вывески, а литовцам запретили печатать литовским алфавитом что бы то ни было, даже молитвенники. Воспрещены были спектакли на еврейском жаргоне (еврейских актеров заставляли играть «по-немецки»), и до начала этого века не разрешали ни одной газеты на жаргоне. То же или почти то же происходило на Кавказе, и только потому П.Б. Струве имеет ныне возможность записать и Тифлис в перечень городов, завоеванных русской культурой. Точнее, куда точнее было бы сказать: «Завоеванных урядником для русской культуры». Это, конечно, не мешает нам всем высоко ценить и даже любить русскую культуру, которая многому хорошему нас научила и много высокого дала. Но зачем игнорировать историю и уверять, будто все обошлось без кулака и будто успехи русского языка на окраинах доказывают внутреннее бессилие инородческих культур? Ничего эти успехи не доказывают кроме той старой истины, что подкованными каблучищами можно втоптать в землю даже самый жизнеспособный цветок.

Дальше следует у г. Струве аргумент, который странно даже слышать из уст такого вдумчивого, совсем не шаблонного писателя и мыслителя: «Постановка в один ряд с русской культурой других, ей равноценных, создание в стране *множества культур*, так сказать, *одного роста*, поглотит массу средств и сил, которые при других условиях пошли бы не на национальное размножение культур, а на подъем культуры вообще». Такое «размножение культур» будет «колоссальной растратой исторической энергии населения Российской Империи». Это, да простит глубокоуважаемый автор, песня старая, петая, перепетая — и отпетая. Теперь от нее даже непрощаемые социал-демократы отказались. Самое лучшее, самое прекрасное в мировой культуре — это именно ее многообразие. Каждая историческая нация внесла в нее свои

особые, неподражаемо-своеобразные вклады, и в этом бесчисленном множестве *форм*, а не в количестве *результатов* и заключается главное богатство человеческой цивилизации. Если бы маленький двухмиллионный народ, населяющий Норвегию, послушался во время оно советов г. Струве и, вместо того чтобы «тратить» силы на создание собственной культуры, записался в немцы, — то в учебнике немецкой словесности числилось бы несколькими именами больше, но за то не было бы на свете того совершенно своеобразного, особенно благоухающего, индивидуально ценного божьего букета, который называется норвежской литературой. Да и нельзя никак противопоставлять «размножение культур» «подъему культуры вообще». Ибо с равным правом (а по-моему с большим) можно сказать, что «культуры вообще» нет, что это абстракция, ибо конкретно существуют (если, конечно, не считать машин и прочей мертвой утвари) только отдельные культуры отдельных наций. И это значит, что отдельная личность, участвующая в создании культуры, будь это поэт, философ, ученый или политик, может наилучше развить и использовать свои творческие силы, наиполнейшим образом *sich ausleben* только в родной среде, в родной обстановке и атмосфере, где все хотя не осязаемо, но ощутимо пропитано родными соками. В чужой обстановке значительная часть творческих сил уходит на преодоление какого-то естественного трения, хотя бы иногда неосязаемого, и потому результаты такого творчества меньше и беднее. С этой точки зрения стоит (даже в интересах «подъема культуры вообще») потратить много сил и много лет на создание особой бурятской или якутской культуры, чтобы создать обстановку, в которой потом бурятские и якутские таланты разовьются лучше, полнее и с большею пользой для человечества, чем развились бы в «общерусской» среде, созданной и пропитанной влиянием других наций. Раздробление сил, «растрата энергии» тут с лихвою будут возмещены впоследствии интенсификацией творчества в отдельных национальных коллективах. Если тут есть «обособление», то это обособление законное, необходимое: так «обособляется» художник, когда затворяется в своем кабинете, убранном по его вкусу, никого к себе не впускает — и пишет прекрасное произведение на радость и пользу всем людям.

Но все это зады, которыми прилично было заниматься лет пять или шесть тому назад, когда «мы» все были еще очень наивны и верили, будто национальный вопрос выдуман злоумышленниками. Теперь, слава Богу, известно и признано, что право каждой народности на самобытную культуру определяется и доказывается не теориями, а ее собственной волей к национальному бытию. Наличие этой воли показали и малороссы, и белорусы, и все остальные, несчетные и несметные народы Российского государства; а остальное доделает время.

1911

УРОК ЮБИЛЕЯ ШЕВЧЕНКО

Удивительно, до чего люди непоследовательны. Когда мы произносим А, то по большей части и не думаем о том, что надо же в таком случае произнести и Б. Подходим к общественному факту так, как будто он изолирован, вырван из жизни и за собою никаких последствий не влечет. Вот теперь мы чествуем память Шевченко или, по крайней мере, откликаемся на чествование. Но при этом — никаких выводов. Не только у слушающих и у читающих, но иногда у самих пишущих незаметно, чтобы они хорошо вдумались, к чему обязывает признание этого юбилея. Ведь одно из двух: или Шевченко есть культурное недоразумение, филологический курьез и раритет, и тогда нет никакого смысла устраивать ему юбилей; или Шевченко есть закономерное и характерное явление развивающейся жизни, симптом чего-то грядущего, и тогда каждому из нас необходимо, сказав А, произнести и Б, т.е., признав этот юбилей, определить свое отношение к тому огромному явлению, о неизбежности которого пророчествует нам этот юбилей. А об этом, кажется, мало кто думает.

Может быть, объясняется это тем, что внутренне еще многие, многие из нас и впрямь потихоньку считают Шевченко за филологический курьез. Что греха таить, многие так рассуждают. Им это кажется причудой, капризом: знал человек прекрасно по-русски, мог писать те же самые стихи на «общем» языке, а вот заупрямился и писал по-хохлацки.

Другие идут еще дальше и спрашивают: да разве есть какая-нибудь серьезная разница между обоими языками? Одно упрямство, одно мелочное цепляние за отдельные буквы. Что за причуда — писать непременно так: «Думы мои, думы мои, лыхо мини з вами! Чому стали на папери сумными рядами?» — Когда можно было с таким же успехом написать вот как:

Ах вы, думы мои, думы,
Ах, беда мне с вами!
Что стоите на бумаге
Грустными рядами?

Один господин недавно взял при мне в руки томик стихов Олеся и стал доказывать наглядно, что стихи эти можно читать сразу по-русски и выйдет почти все в полном порядке: и размер не изменится, и почти все рифмы сохранятся. Может быть, он и был прав: я его не дослушал до конца и, пока он декламировал на московский лад: «Ой, на що ж малу дитину доручала ти степам?» — я задумался о другом. Я вспомнил, что Шевченко писал что-то такое и по-русски. Литераторы из газеты «Киевлянин» ставят ему это в великую заслугу и стыдят теперешних мазепинцев: видите, он не то, что вы, он «не чуждался общерусского языка!» Допустим: но зато странным образом «общерусский» язык чуждался украинского поэта, и не склеилось у него ничего путного на этом языке. И Шевченко не единичное явление. В 40-х годах жил в Риме большой поэт Белли: о нем, кажется, есть где-то упоминание у Гоголя. Он писал главным образом на римском диалекте. Римский диалект, не в пример другим местным наречиям Италии, почти совершенно совпадает с итальянским языком: если бы не скучно было для читателя, я бы взялся исчерпать *все* различие ровно в пятнадцати строчках. Но Белли писал на диалекте великолепные вещи, а на итальянском языке — вещи совершенно бездарные. Его сонеты на *romanesco* изумительны, его итальянские элегии водянисты, риторичны и позабыты. Также, очевидно, крепко заупрямился человек: так заупрямился, что и сам Бог его покидал, как только он в своем творческом порыве переступал через какую-то едва заметную

межу — и Белли, по сю сторону межи большой поэт милостию Божией, по ту сторону внезапно превращался в жалкого писаку...

Родной язык! Нужна вся наша российская наивность, неопытность, социальная необразованность, вся наша пигасовщина, весь грубоэмпирический площадной практицизм, исповедуемый нами по отношению ко многим священным вопросам духа, чтобы так делать большие глаза и недоумевать, зачем это нормальному человеку, при полном уме и здоровой памяти, непременно упираться и настаивать на том, что говорится «світ», а не «свет». Дурь, причуда! Мадыры сколько лет ведут борьбу за мадырскую команду в венгерской армии, а всего-то язык команды состоит ровным счетом из 70 слов. Из-за 70 слов падают министерства, откладываются важнейшие реформы, трещит по шву реки Лейты политическая карта Европы. В венгерском парламенте, среди четырехсот с лишком мадыр, сидят сорок депутатов из Кроаии и свято хранят свое право говорить с трибуны по хорватски, т.е. на языке, которого никто, кроме них, не понимает и употребление которого в парламенте поэтому, казалось бы, не только бесполезно, но даже вредно для самого хорватского дела. Эти же хорваты подняли бунт, когда венгерское начальство попыталось занести в некоторых правительственных учреждениях Загреба, рядом с хорватскими вывесками, также и мадырские: были уличные демонстрации, столкновения с войсками, лилась кровь... Дурь, причуда! — говорим мы, мы, захолустные обыватели захолустной страны, мы, с высоты нашего политического ума и опыта. А не гораздо ли правильнее было бы взглянуть на дело с другой стороны и понять, что с фактами не спорят? Ведь тут пред нами целый ряд ярких фактов, то массовых, то еще более характерных, индивидуальных. Вот беснуются чуть ли не целые народы из-за семидесяти слов или десяти вывесок на чужом языке: вот большие поэты, мгновенно теряющие дар Божий, как только попытаются сделать внутри себя маленький, крохотный, невинный подлог: сказать «свет» вместо «світ», «buona sera» вместо «böna sera». Это все факты, непреложные явления жизни, которые не изменятся оттого, что мы будем их порицать или одобрять. Не порицать и не одобрять

их надо, не ставить двойки или пятерки мировому порядку и его проявлениям, а скромненько учиться у них уму-разуму: брать жизнь такую, какой она есть в основе своей, и на этой основе строить наше мировоззрение.

Мимо факта шевченковского юбилея мы проходим с почтительным поклоном, и нам даже не приходит в голову, что это — факт исключительной симптоматической важности, пред лицом которого, если бы мы были разумны, опытни и предусмотрительны, следовало бы пересмотреть некоторые существенные элементы нашего мировоззрения. Что такое Шевченко? Одно из двух. Или надо смотреть на него как на курьезную игру природы, нечто вроде безрукого художника или акробата с одной ногою, нечто вроде редкостного допотопного экспоната в археологическом музее. Или надо смотреть на него как на яркий симптом национально-культурной жизнеспособности украинства, и тогда надо открыть пошире глаза и хорошо всмотреться в выводы, которые отсюда проистекают. Мы сами здесь на юге так усердно и так наивно насаждали в городах обрусительные начала, наша печать столько хлопотала здесь о русском театре и распространении русской книги, что мы под конец совершенно потеряли из виду настоящую, осязательную, арифметическую действительность, как она «выглядит» за пределами нашего куриного кругозора. За этими городами колышется сплошное, почти тридцатимиллионное украинское море. Загляните когда-нибудь не только в центр его, в какой-нибудь Миргородский или Васильковский уезд: загляните в его окраины, в Харьковскую или Воронежскую губернию, у самой межи, за которой начинается великорусская речь, — и вы поразитесь, до чего нетронутым и беспримесным осталось это сплошное украинское море. Есть на этой меже села, где по сю сторону речки живут «хохлы», по ту сторону — «кацапы». Живут испокон веков рядом и не смешиваются. Каждая сторона говорит по-своему, одевается по-своему, хранит особый свой обычай; женятся только на своих; чуждаются друг друга, не понимают и не ищут взаимного понимания. Съездил бы туда П.Б. Струве, автор теории о «национальных отталкиваниях», прежде чем говорить о единой трансцендентной «общерусской» сущности. Такого выразительного «отталкивания» нет, говорят, даже на

польско-литовской или польско-белорусской этнографической границе. Знал свой народ украинский поэт, когда читал мораль неразумным дивчатам:

Кохайтесь, любитеся,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужи люде...

Я не разделяю теории П.Б. Струве и не думаю, чтобы «отталкивания» принадлежали к необходимым и нормальным жизнепроявлениям национальности: во всяком случае полагаю, что легализировать (в научном смысле) эти «отталкивания» следовало бы только с большими и суровыми оговорками. Я не считаю ни нормальным, ни вечным явлением тот антагонизм между великороссом и малороссом, который окристаллизован в простонародных кличках «хохол» и особенно «кацап»: уверен, напротив, что при улучшении внешних условий не только украинство, но и вообще все народности России прекрасно уживутся с великороссами на почве равенства и взаимного признания: даже верю, что большую и благотворную роль в этом сыграет именно великорусская демократическая интеллигенция — и недавно, в одной киевской лекции, подчеркнул эту веру настолько резко, что встретил даже несочувствие со стороны некоторых украинских слушателей. Но нельзя отрицать, что «отталкивание» от инородца есть один из признаков присутствия национального инстинкта, особенно там, где национальная индивидуальность, из-за внешнего гнета, ни в чем ином, ни в чем положительном выразиться не может. В таких случаях «отталкивание», наблюдаемое на этнографических границах, остается поневоле лучшим доказательством того, что угнетенная народность стихийно противится перелицовке своего естества, что истинные пути ее нормального развития тянутся в другом направлении. Таково стихийное настроение всякой большой и однородной массы; таково и стихийное настроение тридцатимиллионного украинского простонародия, сколько бы ни лжесвидетельствовали о противном разные эксперты из национальных оборотней. Эксперты этого рода столько же компетентны в оценке национальных чувств того народа, от которого они

отстали, сколько компетентен дезертир в оценке патриотизма и боевого духа той армии, из которой он сбежал. Украинский народ сохранил в неприкосновенности то, что есть главная, непобедимая опора национальной души: деревню. Народу, корни которого прочно и густо впились на громадном пространстве в сплошную родную землю, нечего бояться за свою племенную душу, что бы там ни проделывалось в городах над бедными побегамися его культуры, над его языком и его поэтами. Мужик все вынесет, все переживет, всех переспорит и медленно, шаг за шагом, но неуклонно и непобедимо со всех сторон втиснется в города, и то, что теперь считается мужицким говором, будет в них через два поколения языком газет, театров, вывесок — и еще больше.

Вот что значит юбилей Шевченко для всякого, кто умеет последовательно мыслить и заглядывать в завтрашний день. Мы, к сожалению, этими талантами не богаты. Украинское движение, растущее у нас под носом, считается у нас чем-то вроде спорта: мы его игнорируем, игнорировали до этого юбилея и будем, вероятно, игнорировать и после юбилея. Не то слепота самодовольства, не то косность человеческой мысли руководит нашими действиями, и в результате мы допускаем грубую, непростительную политическую ошибку: вместо того, чтобы движение, громадное по своим последствиям, развивалось при поддержке влиятельнейших кругов передового общества и привыкало видеть в них свою опору, своих естественных союзников, — мы заставляем его пробиваться своими одиночными силами, тормозим его успехи замалчиванием и невниманием, раздражаем и толкаем в оппозицию к либеральному и радикальному обществу. Роста движения это не остановит, но исковеркать этот рост, направить его по самому нежелательному руслу — вот что нетрудно, и вот чего следовало бы остерегаться. Самые тяжелые последствия для будущих отношений на огромном этом юге России могут отсюда родиться, если мы вовремя не спохватимся, не поймем и не учтем всей громадности того массового феномена, о котором напоминает нам юбилей Шевченко, и не сообразуем с ним всей нашей позиции, все нашей тактики в делах местных и государственных.

Выскажу одно соображение, которое давно у меня сложилось и подкреплено изучением западноевропейского опыта, но в ответ на которое читатель, должно быть, пожмет плечами. Наш юг стал излюбленной ареной черносотенства, и подвизается у нас оно, особенно в городах и местечках, с солидным успехом. И до сих пор мы себе не дали отчета, можно ли бороться против этого явления, и если можно, то как, каким оружием. А между тем вопрос этот имел бы право на всяческое наше внимание, потому что при нынешних настроениях не впрок нашему краю ни городское самоуправление, ни даже право посылать депутатов в Государственную Думу. Депутаты юга — главная опора реакции, и так было еще до изменения избирательного закона, до третьей Думы. Чем же можно бороться против этого настроения мещанских масс юга? Чистый, отвлеченный либерализм какой угодно марки им недоступен: мещанство не идет за либералами, если те не догадаются дать ему в придачу еще нечто. На социалистическую пропаганду мещанство органически не способно откликнуться: экономические идеалы этой среды всегда неизбежно реакционны и вращаются в лучшем случае вокруг средневековых идеалов цехового строя, в худшем — это мы видим в Вене, в Варшаве, на последнем ремесленном съезде — вокруг хозяйственного и правового вытеснения инородцев. Единственный идеальный лозунг, который в данных условиях способен поднять городские мещанские массы, очистить и облагородить их мировоззрение, — это лозунг национальный. Если они идут теперь за правыми, то ведь не потому, что правые проповедуют бараний рог и ежовые рукавицы, а только потому, что правые сумели задеть в них националистическую струнку. Но не струнку творческого, положительного национализма, а струнку «отталкиваний» от инородца. И никакие на свете яркие знамена не отвлекут наше южное мещанство от лозунгов ненависти, кроме одного знамени: собственного национального протеста. Я не компетентен судить о том, насколько готова какая-нибудь Слободка-Романовка к восприятию украинского национального сознания: утверждаю только одно: выжить оттуда союзников удастся или украинскому движению, или никому. Повторяю: все это так далеко от сегодняшнего положения вещей, что читатель, я знаю, пожмет плечами и скажет: гадания,

фантазии. Я же думаю, что гадают и фантазируют те, которые видят только то, что торчит на переднем плане, и не заглядывают ни в статистику, ни в историю, ни в опыт мудрого Запада. Поживем — увидим. А, может быть, если не изменится вовремя наша тактика, то и почувствуем...

Когда приходится, по долгу службы, чествовать юбилей Шевченко, мы стыдливо рассказываем друг другу, что покойник, видите ли, был «народный» поэт, пел о горестях простого бедного люда, и в этом, видите ли, вся его ценность. Нет-с, не в этом. «Народничество» Шевченко есть дело десятое, и если бы он все это написал по-русски, то не имел бы ни в чьих глазах того огромного значения, какое со всех сторон придают ему теперь. Шевченко есть *национальный* поэт, и в этом его сила. Он национальный поэт и в субъективном смысле, т.е. поэт-националист, даже со всеми недостатками националиста, со взрывами дикой вражды к поляку, к еврею, к другим соседям... Но еще важнее то, что он — национальный поэт по своему объективному значению. Он дал и своему народу, и всему миру яркое, незыблемое доказательство, что украинская душа способна к самым высшим полетам самобытного культурного творчества. За то его так любят одни, и за то его так боятся другие, и эта любовь, и этот страх были бы ничуть не меньше, если бы Шевченко был в свое время не народником, а аристократом в стиле Гете или Пушкина. Можно выбросить все демократические нотки из его произведений (да цензура долго так и делала) — и Шевченко останется тем, чем создала его природа: ослепительным прецедентом, не позволяющим украинству отклониться от пути национального ренессанса. Это значение хорошо уразумели реакционеры, когда подняли накануне юбилея такой визг о сепаратизме, государственной измене и близости столпотворения. До столпотворения и прочих ужасов далеко, но что правда, то правда: чествовать Шевченко просто как талантливого российского литератора № такой-то нельзя, чествовать его — значит признать все то, что связано с этим именем. Чествовать Шевченко — значит понять и признать, что нет и не может быть единой культуры в стране, где живет сто и больше народов: понять, признать, потесниться и дать законное место могучему собрату, второму по силе в этой империи.

1911

ЧЕТЫРЕ СЫНА

По еврейскому обряду полагается, рассказывая в пасхальный вечер об исходе из Египта, применяться к психологии четырех типов детей. Один — умный, другой — нахал, третий — простака, а четвертый — «такой, что даже спросить не умеет». И надо ответить каждому по порядку, каждому по его вкусу и по мере его понимания.

Умный мальчик пытливо морщит выпуклый лоб, всматривается большими глазами и хочет понять, в чем было дело. Почему его предков сначала любили в Египте, приняли с раскрытыми объятиями, а потом начали притеснять и мучить: и так странно — притеснять притесняли, мучить мучили, мальчиков в воду бросали, а выпустить ни за что не хотели.

— Как это понять, папа? — спрашивает умный.

— Видишь ли, сын мой, философия исхода из Египта заключается в двух фразах, которые записаны в Вечной книге. Эти две фразы — как альфа и омега в азбуке, начало и конец благополучия твоих прадедов в Египте; и еще можно сравнить их с двумя полюсами, между которыми проходит ось, а вокруг этой оси вращается весь еврейский вопрос в Египте. И не в одном Египте. Когда вырастешь и будешь читать много книг, ясно тебе станет, что во всех скитаниях твоего народа, в каждом этапе есть и эта альфа, и эта омега; что каждый этап с того же начинается и тем же кончается, чем начался и кончился в Египте; и что полюсы, между которыми судьба швыряет твое племя, с той незапамятной поры не изменились и не передвинулись.

Что же это за две фразы? Одну ты найдешь в книге Бытия, где рассказывается, как Иосиф представил фараону своих братьев и что им перед этим советовал. Умный и хитрый человек был Иосиф, истинный сын отца своего Якова, того самого, который так ловко обошел и собственного родителя, и брата, и тестя, что антисемиты — об этом ты в свое время узнаешь — называют его «первым жидом на земле». Ты, кстати, этого не стыдись, потому что умел Яков и хитрить, умел и бороться — с самим Богом боролся лицом к лицу всю ночь до зари и остался непобежденным: умел

и любить, и четырнадцать лет служил батраком за любимую женщину. Был это удалой человек, на все руки мастер, и купец, и боец, и рыцарь, и судья, хищный и благородный, осторожный и отважный, расчетливый и сердечный — настоящий человек, широкий, с великими доблестями и недостатками, с душой, как семицветная радуга или как арфа, на которой все струны. Жизнь его была и осталась самой увлекательной поэмой, какая только рассказана была на земле, и ты читай ее почаще и учись из нее уму-разуму. Учись и любить, учись и бороться, учись и хитрить, ибо земля есть волчье царство, где нужно владеть всеми орудиями защиты и натиска.

Сын его Иосиф был тоже умен и хитер. Знал он хорошо все дела египетские, знал, чего египтянам недостает, а особенно хорошо знал душу фараона и его людей. И вот дал он своим братьям, которые просились в Египет, такой совет: скажите, что вы скотоводы. И прибавил фразу, которую ты, сын мой, затверди на память, ибо в ней скрыта главная мудрость нашего народного скитания: *«Ибо мерзость для египтян всякий пастух»*.

Вторую фразу ты найдешь в книге Исхода. Прошло уже много лет, одни говорят — 400, другие меньше, но, во всяком случае, давно умер и Иосиф, и братья его, и все то поколение, и тот фараон, который знал Иосифа. Воцарился новый царь и нашел, что потомки Иосифа чересчур сильно расплодились. Тогда и произнес он вторую фразу, которую надо тебе затвердить на память, ибо с тех пор и поныне замыкается этой фразой каждый привал, каждая передышка твоего народа на пути его скитаний, и как только прозвучит эта фраза, приходится ему опять укладывать пожитки в дорожную торбу. *«Давайте ухитримся против него, чтобы он не умножился»*, — сказал новый фараон.

Из этих двух фраз, сын мой, складывается, в сущности, вся философия наших кочеваний. Ты спросишь: как так? Зачем велел Иосиф своим братьям назваться скотоводами, если скотоводы — мерзость в глазах египтян? А в том-то и дело. Заниматься пастушеским делом египтяне считали непристойным, но скота-то у них было много, и творог они

ели с удовольствием. Потому и нужны были им скотоводы. Сам фараон, когда услышал то, что сказали ему сыновья старого Якова по мудрому совету Иосифа, очень обрадовался и тотчас распорядился назначить их смотрителями царских табунов и стад. И вообще, должно быть, не малая радость была в Египте, что вот нашлись хорошие люди, которые за нас сделают то, чего мы сами делать не любим...

Что же произошло за те годы, что отделяют эпоху первой фразы от эпохи второй? Почему вдруг стали так обременительны потомки ханаанских скотоводов? Неужели решено было во всем Египте не держать более скота? Напротив. Скота было много, и египтяне очень им дорожили: одной из самых чувствительных казней оказался для них, по преданию, падеж скота. В чем же дело? Ты не понимаешь? Сын мой, если бы ты знал историю наших новых скитаний, ты бы легко догадался, в чем причина охлаждения. — Очевидно, египтяне сами за это время привыкли к скотоводству. Сначала стеснялись и гнушались, а потом научились у евреев же, начали делать па первых порах робкие, единичные попытки, а потом приободрились, вошли во вкус занятия — и в один прекрасный день вдруг нашли, что теперь евреев слишком много, и можно бы уже и без них смело обойтись. Конечно, не сразу: массового ухода фараон не хотел допустить, ибо тогда все-таки еще могла бы остаться без присмотра известная часть отечественной скотины. Но помаленьку, полегоньку, через постепенное вымирание — это дело другое, перспектива приятная и не грозящая никакими неудобствами, ибо тем временем коренное население окончательно приберет к своим рукам всю захваченную чужаками отрасль отечественного хозяйства. И вот, «давайте ухитримся»...

Так, сын мой, с тех пор и пошло. Будешь ты потом изучать историю наших скитаний по белому свету и увидишь, что всюду было то же самое. Начиналось с того, что «мерзость для египтян всякий пастух», и потому опальные профессии охотно предоставляли нам.

У египтян был своеобразный вкус, и им не нравилось именно скотоводство. А, например, у европейских народов был вкус другой, и им долго не нравилась торговля. Быдло

пахало землю, а знатные господа пили вино и разбойничали по большим дорогам, грабя проезжих купцов. Грабить купца считалось вполне приличным, но быть купцом считалось очень неприличным. Эта была «мерзость для египтян». И эту «мерзость» отмежевали нам, да еще как охотно. Давали привилегии, защищали от дворян и черни; от времени до времени грабили нас и жгли, но потом опять задабривали привилегиями. Один ученый немец Зомбарт, хорошо изучивший все это дело, утверждает, что вместе с евреями шел по Европе из страны в страну всякий хозяйственный прогресс, что они, собственно, дали миру ту международную торговлю, без которой величайшие столицы земли по сей день остались бы грязными захолустьями, они развили кредит и банковое дело, они снарядили Колумба на открытие Америки. И пока они все это делали и, зарабатывая для себя тысячи, клали десятки миллионов в ненасытную утробу фараоновых карманов, — европейцы приглядывались, учились, стали пробовать и свои силы, привыкли, приободрились, вошли во вкус «мерзости» — и, конечно, вдруг увидели, что евреев развелось что-то слишком много. «Давайте ухитримся»... Когда мальчик научился грамоте, гувернера выбрасывают на улицу. Так это и повторялось с твоими предками в каждой стране. Примут, окажут покровительство, возьмут, что надо, а потом начнут «ухищряться, чтобы он не умножился...»

Ты не думай, сын мой, что слово «мерзость» надо понимать в буквальном смысле. Часто египтяне чуждаются пастушества не потому, что оно мерзко в их глазах, а потому, что руки у них коротки или страшно обжечься. Тогда они очень бывают рады, если найдется пришелец, у которого руки подлиннее и пальцы не боятся ожога, — и станет таскать для них каштаны из огня. Так бывало, например, при некоторых революциях. В 1848 году в Вене первую революционную речь произнес еврей Фишгоф: а в Берлине тогдашний король издавал прокламации, где уверял, что все это евреи бунтуют, и когда хоронили убитых, то, действительно, много работы по отпеванию выпало на долю тамошнего раввина. Зато и ласковы были с нами тогда египтяне. А потом — вымерло то по-

коление египтян, и дети его снова нашли, что слишком много осталось потомства от Иосифа, так недавно обжигавшего для них пальцы горячими каштанами...

«Так было, так есть, так будет».

Второй мальчик — «нахал» — сидит, развалясь, заложив ногу за ногу, иронически скалит зубы и спрашивает:

— Что это у *вас* за курьезные какие-то обычаи и воспоминания? Пора бы давно забыть старые глупости!

Расскажите ему, в ответ на насмешку, что были уже такие, как он, были и в старом Египте. Скалили зубы на все надежды своего племени и предпочитали лгнуть к стороне фараона. Об одном из них уцелела память и в Библии. Юноша Моисей заступился за еврея, которого бил египтянин, и убил того египтянина, а другой еврей это видел и вознегодовал на Моисея. Можно ли поднять руку на хозяина? И на завтра он или другой из его породы начал показывать зубы Моисею. «Кто тебя поставил начальником и судьёю над нами?» А потом еще кто-то из этой породы донес фараону, что явился такой опасный фантазер и занимается перевоспитанием еврейской воли. В те времена мир был устроен просто, общественного мнения не существовало, и потому доносчик обратился прямо во дворец; будь это в наше время, он, вероятно, как человек приличный, избрал бы другие пути, постарался бы очернить Моисея не перед личным, а перед коллективным фараоном — перед просвещенным обществом Египта. Про убийство насильника он, как человек приличный, умолчал бы, но обрушился бы на ту психологию, которая побудила Моисея обратить внимание, из всего множества насилий, несомненно чинимых ежедневно в Египте, только на эту расправу египтянина с евреем. Мало ли вообще было рабов в Египте? Зачем такой человек, как Моисей, тратит свои силы на эмансипацию какой-то горсти пастухов, а не на преобразование и обновление всего Египта? И куда это он их зовет? Господи! Да разве не грех оторваться от этой богатой страны, где есть в изобилии всякая всячина, и хлеб, и горшки с мясом, и лук, и чеснок, и много папирусов, исписанных мудрыми иероглифами, тогда как родичи Моисея — бедняки без собственности

и культуры? «Что это у вас за выдумки?» — иронически спрашивал тот человек у Моисея и Аарона, развалясь, заложив ногу за ногу и оскалив зубы.

«Притупи ему зубы», — советует относительно этого сына ритуал пасхальной вечери. Но я сомневаюсь, чтобы можно было притупить ему зубы. Он слишком хорошо вооружен, ибо ведь нет ничего более непобедимого, чем равнодушие. Ничем вы его не прошибете: раз он уже научился говорить о своем народе: «у вас» — пиши пропало. Он вас высмеет, а материалу для насмешки у него сколько угодно. Над побежденными нетрудно издеваться, особенно когда издевающийся — свой человек и знает все раны и прорехи. Шишек на лбу у нас много, спина порядком сгорбилась, от векового перепугу руки трясутся; скарб наш убог и сделан по старой моде... есть над чем посмеяться при желании, уничижительно сравнивая нашу скудость с богатством Египта. Правда, сынок этот и сам-то Египту приходится седьмой водой на киселе; но ведь известно, что с наибольшим презрением к бедному родичу барина относится не сам барин, а его лакей. Оскалит на вас зубы, и ничем вы их не притупите.

Да и не надо вам притуплять зубы этого сына. Пусть идет своей дорогой с крепкими зубами. Бедняга, они ему еще понадобятся там, в стане ликующих, куда его тянет. Твердые орехи придется ему там разгрызать: из них самый твердый — орех презрения. И много, много раз придется ему молча глотать пинки в ответ на любовные признания и плевки, в ответ на лесть, — и смиряться, и стискивать зубы. И в конце жизненного пути, когда он увидит, что весь этот путь был притворством и ложью перед людьми и собственной душою, и если сама душа и поверила этой лжи, то люди ни на минуту не поверили, — тогда бросится, быть может, в отчаянии беглый сын ваш лицом вниз и будет ломать руки, рвать на себе волосы и грызть землю — теми самыми зубами, что теперь оскалены насмешкой над вашими святынями. Пусть сохранит свои зубы, они ему еще понадобятся и для фальшивых улыбок, и для скрежета бессильной злобы...

А третий мальчик — простака. Глаза у него честные, ясные, прямые. Он не из тех, которые допытываются, доведываются, копаются в противоречиях. Мир для него прост и не-

пререкаем: он любит верить и благоговеть ясной верой примитивного человека. В таком роде был простаком и Самсон: любил драться, любил и шутить, и острить, и загадки загадывать, и проказничать, и вкусно поесть, и сладко выпить, а доверчив был до того, что после трех обманов опять уснул на груди у Далилы. У сегодняшнего сына-простака нет, конечно, той полнокровной жизнерадостности, что была у Самсона — времена не те, — но основа типа та же самая — бесхитростная, прямодушная доверчивость.

— Папа! — спрашивает он и кладет локти на стол, прижимается грудью, вытягивает шею и весь тянется к вам, словно к источнику в день жажды, и уже заранее верит во все, что скажут ему, ибо хочет верить: — Папа! Когда станет лучше?

И вы расскажите ему просто и тихо про все, что делается теперь в великой, необъятной диаспоре. Расскажите ему, как в тысяче мест тысячами рук строится вновь рассыпанная храмина бессмертного племени. Расскажите ему, как постепенно снова на наших глазах срастается распыленная донне народная воля, как снова из обломков складывается настоящий народ, настойчивый, эгоистичный, исключительный, как все здоровые нации. Расскажите ему, как рушатся одна за другою последние кафедры, с которых еще недавно раздавалась проповедь национального самоубийства. Расскажите про еврейскую молодежь университетов Берлина, Вены, про этих сыновей онемеченных коммерциепратов, про то, как они гордо носят на груди еврейские цвета:

Белый — как снег в этом крае печали

Синий — как вы, о влекущие дали

Желтый — как наш позор.

Расскажите, как повсюду с каждым днем растет гордость, уважение к собственной самобытности и горькая ненависть к ренегатству: как научились и парижский драматург, избалованный успехами, и нищий шинкарь в галицийском местечке, дрожащий перед паном, кричать в лицо всему свету: я еврей! Расскажите про то, какие дивные поэты пишут теперь на нашем языке, и как прекрасен и могуч этот язык, и что за великое счастье для народа — обладать таким языком. И еще расскажите ему, как бойко и весело щебечут на этом языке дети

палестинского колониста, и как шаг за шагом, по малому камушку, с великим трудом, сквозь строй тысячи препятствий, начиная с жгучего солнца и кончая пулей бедуина, воздвигается там и растет нечто новое, точка опоры для самых грандиозных замыслов и пророчеств. Расскажите простой и верующей душе все это и многое другое. Он возьмет ваши слова полными пригоршнями и бережно сложит их в открытом сердце, и с той минуты одним борцом больше станет в нашем полку.

Четвертый мальчик не умеет спрашивать. Сидит на вечере чинно, делает, что полагается, и не приходит ему в голову расспрашивать, как и что, отчего и почему. Ритуал велит не ждать его вопроса и рассказать ему все по собственному почину. Я в этом не согласен с ритуалом. Ценная вещь — любознательность: но есть иногда высшая мудрость, высшее чутье и в том, что человек берет нечто из прошлого, как должное, и не любопытствует ни о причинах, ни о следствиях. Таковую мудрость надо беречь и не спугивать ее лишними словами.

Такою мудростью мудр бывает серый, массовый человек. Это — тот невзрачный горемыка, что тачает сапоги, шьет платья, разносит яйца, скупает старые вещи, переписывает свитки завета, торгует в мелких лавчонках, бегаёт на посылках, тянет все те полунадорванные лямки, от которых его еще не прогнали, крихтит, а по пятницам вечером исполняет дома молитвы. Это он, знаменитый Бонця Молчальник из сказки Лейбуша Переца, несет на своем горбу все бремя диаспоры, поставляя из своей среды человеческое мясо и для эмиграции, и для погромов: он агонизирует и не умирает, гибнет и не погибает, и творит исконный обряд, как творили деды, почти машинально, почти равнодушно, с той подсознательной верой, которая, быть может, в глазах Божьих прочнее всякого экстаза. Он, этот серый массовый молчальник, «не умеющий спросить», он есть ядро вечного народа и главный носитель его бессмертия.

Ритуал велит рассказать этому сыну про все то, о чем он не спрашивает. А по-моему, пусть и отец промолчит и молча поцелует в лоб этого сына — самого верного из хранителей той святыни, о которой молчат его уста.

ВМЕСТО АПОЛОГИИ

Если вникнуть как следует во вкус ритуального обвинения, возникает ощущение очень тяжелое, для впечатлительного человека нестерпимое. Вы вдумайтесь: ведь это про нас — про меня, вас, вашу мать! Каждый из нас, говоря с иноверцем, должен, значит, помнить, что тот, быть может, в эту самую минуту ежится и думает: «А кто тебя знает, не хлебнул ли когда-нибудь и ты из ритуальной рюмочки?» Попробуйте во все это вникнуть! В сущности, ведь это ужаснее, чем все остальное, что мы переносим в этой тюрьме. Я себе представляю, что впечатлительный человек, вдумавшись в это обвинение как следует, во всю глубину, может сойти с ума от обиды и отчаяния или, по крайней мере, должен рыдать и рвать на себе волосы...

Человек менее слабонервный, но зато наивный, должен выбежать на улицу, хватать там прохожих за полу или за пуговицу и доказывать им, пока не охрипнет горло, что это клевета, что мы ни в чем подобном не виноваты. Наконец, человек слепорожденный (среди нас таких очень много) поступит иначе. Он себя успокоит обычными успокоительными фразами: что в такую нелепость никто в сущности не верит; что сами обвинители в нее не верят: что это просто политический маневр; что вся благоразумная часть христианского населения (а таковая, конечно, в подавляющем большинстве) слушать не желает подобной клеветы, даже возмущена ею; что, словом, все обстоит благополучно и на Шипке спокойно.

Я не принадлежу ни к впечатлительным, которые охают, ни к наивным, которые оправдываются, ни к слепорожденным, которые не видят, что у них под носом происходит. Особенно резко должен отмежеваться от последней категории. Конечно, очень удобно и очень приятно воображать, будто все твои враги просто мошенники и сознательные обманщики: но такое упрощенное понимание неприятельской психологии всегда в конечном итоге приводит к величайшим поражениям. Ибо оно неправильно и несправедливо. Среди наших врагов далеко не все лыком шиты и далеко не все сознательные лжецы. Очень советую одноплеменникам моим не заблуждаться на этот счет. Среди правых есть и вполне искренние

люди. Эти люди совершенно искренно верят, что евреи действительно употребляют в пищу кровь христианских младенцев; по крайней мере, что среди евреев есть такая секта. Эти люди могут также совершенно искренно думать, что убийство Ющинского в этом смысле подозрительно и что надо его расследовать с особенной тщательностью, иначе богатые евреи подкупят отечественную Фемиду, и дело будет замазано. Они совершенно искренно считают евреев богатыми, а отечественную Фемиду покладистой. Поэтому отделаться от них будет не так легко и не так просто, как это думают многие из нас. Вообще все это дело гораздо сложнее.

Оно особенно сложно потому, что вера в ритуальные убийства распространена не только среди правых. В нейтральной, беспартийной массе, даже интеллигентной, тоже далеко еще не искоренилось это подозрение. Смешно и глупо замалчивать это обстоятельство. Мало ли раз всякий из нас, кому только приходилось встречаться с христианами, слышал от самых милых людей откровенные признания в этом сомнении? Конечно, милые люди выражают это сомнение не в такой грубой форме. Они обыкновенно говорят так: «Конечно, мы не сомневаемся, вы и ваши близкие об этом не знаете. Но... может быть, ваши раввины знают? Мало ли таких древних религий, в которых высшие таинства известны только немногим посвященным?». Другие еще добрее, они идут еще дальше по пути уступок и ставят вопрос так: «Может быть, это какая-нибудь особенная секта? Можете ли вы поручиться, что знаете наперечет все секты в лоне еврейства и все тайны каждой секты? Вот и у нас есть изуверы — хлысты и скопцы — разве мы за них в ответе? Зачем же вам так волноваться и огулом отрицать то, что все-таки, быть может, имеется в действительности?» Так говорят многие, очень многие из самых милых наших соседей; причем я их называю милыми без всякой иронии, а серьезно. Есть вполне порядочные, совершенно благожелательные люди, которые, однако, высказываются именно в этом смысле. Кто скажет, будто таких нет, тому я просто отвечу, что он говорит неправду. Они есть, и всякий из нас имел случай их видеть и слышать. А сколько таких, которые не высказывают вслух, но думают то же или еще хуже? И больше спрошу: где гарантия, что это

подозрение так цепко держится только в беспартийной, нейтральной среде? Неужели для того, чтобы стать кадетом, надо раньше искоренить в себе все предрассудки, даже взрошенные веками? Неужели в рядах трудовиков нет места человеку, который подписывается под всей партийной программой, но все-таки еще не может, положив руку на сердце, поручиться, что в Талмуде, который знать он не обязан, нет параграфа о ритуальном убийстве? Не хочу вести это рассуждение дальше налево, только напомним, что главный материал, из которого строятся или должны бы строиться русские левые партии, это — или крестьянство, или фабричные, вчера вышедшие из деревни. Наши слепорожденные горько ошибаются, и суждено им еще горько разочароваться.

Ошибаются во многом и наивные — те, что по всякому поводу становятся в позу и начинают защитительную речь. Их доводы так же однообразны, как обвинения противной стороны. Одно и то же из века в век. Сначала доказывается, что еврейская вера воспрещает употребление крови: затем идет доказательство, что самые знаменитые ритуальные процессы всегда кончались торжеством истины, оправданием невиновных и посрамлением клеветников. И толпа этих доводов не слушает, и никто в толпе с ними не считается. На перечень оправдательных приговоров отвечают: жида подкупили суд. На перечень текстов, запрещающих употребление крови, отвечают: значит, есть еще один текст, который разрешает, и его-то вы нам не хотите процитировать. Вся аргументация пропадает даром, как вода в дырявой бочке. Я не вообще отрицаю полезность документальной защиты, но она полезна только в свое время и на своем месте. Место ей — на суде, место ей — в настоящем парламенте, но только в настоящем, где происходит действительно серьезное рассмотрение серьезных вопросов. Когда вместо парламента имеется митинг, чтобы не сказать хуже, — митинг, где с трибуны несутся ругательства, оскорбления, призывы «бей», где резонов никто не слушает и документами никто не интересуется, — тогда защитительное красноречие не имеет никакой ценности и никакого смысла. Двести раввинов (в который раз) печатно побожились, что евреи не пьют крови младенцев, — и никто этого не заметил, даже

черносотенная пресса не огрызнулась как следует: просто прошла мимо, не оглянувшись. То же самое впечатление произвели и произведут все бывшие и будущие речи на эту тему еврейских депутатов. С документами и доводами считаются там, где собрались люди с намерением спокойно и беспристрастно исследовать. В атмосфере свалки, бешенства, битья чем попало — все оправдательные словеса неуместны.

Может быть, даже вредны. Вот уже несколько лет, как евреи в России плотно сидят на скамье подсудимых. Это не их вина. Но вот что бесспорно, вот их вина: они себя держат как подсудимые. Мы все время и во все горло оправдываемся. Мы божимся, что мы совсем не революционеры, не уклоняемся от воинской повинности и не продавали Россию японцам. Выскочил Азеф — мы начинаем божиться, что мы не виноваты, что мы совсем не такие, как он. Выскочил Богров — и опять нас за шиворот тащат на скамью подсудимых, и опять мы входим в навязанную роль и начинаем оправдываться. Вместо того, чтобы повернуть обвинителям спину, ибо не в чем и не перед кем нам извиняться, мы опять божимся, что мы тут ни при чем, и для пущей убедительности начинаем усердно отплевываться от памяти Богрова, хотя над этим — каков бы он ни был — несчастным юношей, в час изумительной его кончины, и без нас достаточно надругались те десять хамов из выгребной ямы киевского черносотенства. Теперь подняли гвалт о ритуальном убийстве — и вот уже мы опять вошли в роль подсудимых, мы прижимаем руки к сердцу, перебираем дрожащими пальцами старые кипы оправдательных документов, которыми никто не интересуется, и божимся на все стороны, что мы этого питья не потребляем, отродясь ни капельки во рту не бывало, разрази меня Бог на этом месте... Доколе? Скажите, друзья мои, неужели вам эта канитель еще не надоела? И не время ли, в ответ на все эти и на все будущие обвинения, попреки, заподозривания, оговоры и доносы, просто скрестить руки на груди и громко, отчетливо, холодно и спокойно, в качестве единственного аргумента, который понятен и доступен этой публике, заявить: уберите вы все к черту? Кто мы такие, чтобы пред ними оправдываться, кто они такие, чтобы нас допрашивать? Какой смысл во всей этой комедии суда над целым народом, где приговор заранее

известен? С какой радости нам по доброй воле участвовать в этой комедии, освящать гнусную процедуру издевательства нашими защитительными речами? Наша защита бесполезна и безнадежна, враги не поверят, равнодушные не вслушаются. Апологии отжили свой век.

Наша привычка постоянно и усердно отчитываться перед всяким сбродом принесла нам уже огромный вред и принесет еще больший. Население привыкло к этому, привыкло слышать из наших уст жалобный тон обвиняемого. Положение, которое создалось в результате, трагически подтверждает известную поговорку: *qui s'excuse s'accuse*. Мы сами приучили соседей к мысли, что за всякого проворовавшегося еврея можно тащить к ответу целый древний народ, который законодательствовал уже в те времена, когда соседи еще и до лаптя не успели додуматься. Каждое обвинение вызывает среди нас такой переполох, что люди невольно думают: как они всего боятся! Видно, совесть нечиста. Именно потому, что мы согласны в любую минуту вытянуть руки по швам и принести присягу, развивается в населении неискоренимый взгляд на нас, как на какое-то специально вороватое племя. Мы думаем, будто наша постоянная готовность безропотно подвергнуться обыску и выворотить карманы в конце концов убедит человечество в нашем благородстве: вот мы, мол, какие джентльмены — нам нечего прятать! Но это грубая ошибка. Настоящие джентльмены — это те, которые никому и ни за что не позволяют обыскивать свою квартиру, свои карманы и свою душу. Только поднадзорные готовы к обыску во всякий час. И мы себя ставим именно в такое положение, не считаясь с самой ужасной опасностью: а что, если нам подбросят краденую вещь?

До сих пор ритуальные убийства подбрасывались нам почти всегда неумелыми, топорными руками. Но я считаю вполне возможным, чтобы и в этой области сказался однажды общий технический прогресс нашего времени. Может найтись виртуоз, который так умно и тщательно разработает план, учет и предусмотрит все неожиданности, что эффект получится самый ослепительный. В этом предположении нет ничего невероятного. Среди антисемитов теперь есть очень культурные люди, а с другой стороны — очень богатые

и могущественные люди, которым доступны самые верные средства фальсификации. Не так трудно теперь найти и еврейчика-лжесвидетеля: этого добра и в прежние времена было немало, а теперь особенно. В результате могут пред нами в один прекрасный день разыграть такую правдоподобную комедию ритуального убийства, что самый честный, самый беспристрастный судья поколеблется. Что же мы скажем тогда — мы, которые чуть не всю свою оборону строим на том, что судьи нас по большей части оправдывали? Но я считаю возможным, даже вполне вероятным и другой, гораздо более ужасный случай. Еврейство сильно изнервничалось; кажется, мы один из первых народов по количеству душевнобольных. В той атмосфере травли, которую создает вокруг нас басня о ритуальном убое, могут в конце концов у нас родиться и маньяки, помешавшиеся на этой басне. Если не ошибаюсь, в Падуе в XVI веке был такой случай: еврей Давид Морпурго впал в безумие и стал кричать, чтобы к нему привели 3-летнюю дочь соседа-католика — он ее зарежет и окропит ее кровью опреснок. Раввины связали его и выдали властям: по счастью, безумие его оказалось очевидным, и дело не кончилось погромом. Но за 400 лет наши нервы сильно расшатались, и теперь не будет чудом, если явится более утонченный маньяк, который кричать не станет, а просто возьмет и сделает. Я считаю странным счастьем, что этого до сих пор не случилось. Не забудьте, среди какого кошмара мы живем, под каким ужасом воспитывается наша молодежь. Мы уже видели таких, которые помешались на революции, на терроре, на экспроприациях; в эпидемии самоубийств есть несомненная примесь психического расстройства; недавнее половое поветрие тоже выдвинуло заметный элемент явных маньяков. И вот, если разразится такая беда, что мы скажем, какие тексты вытащим? Будем ждать реабилитации своего народного имени от суда и экспертов: если они признают, что это сумасшедший, то наша честь спасена: а если маньяк попадется вроде Джека-потрошителя, трезвый и уравновешенный во всем, кроме своей мании, и покажется экспертам здоровым, тогда мы, значит, признаем себя обесчещенными навек? Ибо таков будет неотвратимый вывод из нашей мании — реагировать на каж-

дый попрек, принимать всенародно ответственность за каждый проступок еврея, оправдываться перед кем попало — в том числе и черт знает перед кем.

Я считаю эту систему ложной до самого корня. Нас не любят не потому, что на нас возведены всяческие обвинения: на нас возводят обвинения потому, что не любят. Оттого этих обвинений так много, они так разнообразны и так противоречивы. Сегодня нам кричат, что мы эксплуатируем бедных, завтра кричат, что мы сеем социализм, ведем бедных против эксплуататоров. Одна польская газета на днях уверяла, что евреи расчленили Польшу и отдали ее России, а 100 русских газет уверяют, что евреи хотят расчленить Россию и восстановить Польшу. Итальянцы уверяют, что нападки на них во всей европейской прессе — дело евреев, а турецкая оппозиция утверждает, что на захват Триполи подбили Италию евреи. Что же, на весь этот визг и лай со всех сторон надо откликаться, божиться, уверять, присягать? Немыслимо и бесполезно. Если даже опровергнем одно, родится другое. Человеческая злоба и глупость неистощимы. С оправданиями можно выступать только в редкие, исключительно важные моменты, когда есть полная уверенность, что сидящий пред тобою ареопаг действительно имеет справедливые намерения и надлежащую компетенцию. Но делать из апологии систему для каждого дня, выносить ее на улицы, на трибуну митинга, хотя бы и именуемого парламентом, на летучие столбцы газеты — это значит унижать себя до равенства с лающей псарней.

Нам не в чем извиняться. Мы народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из первых условий равноправия требуем признать за нами право иметь своих мерзавцев, точно так же, как имеют их и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так мало при нынешних условиях. У других народов тоже много этого добра, а зато еще есть и казнокрады, и погромщики, и истязатели, — и, однако, ничего, соседи живут и не стесняются. Нравимся мы или не нравимся, это нам, в конце концов, совершенно безразлично. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было; но если они хотят непременно верить, что «есть такая секта» —

пожалуйста, пусть верят, сколько влезет. Какое нам дело, с какой стати нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам? Нисколько: ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо, и совершенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже тогда, когда есть в чем оправдываться. С какой же радости лезть на скамью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, и знаем цену ей, себе, им? Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим.

1911

СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ

Газеты одного крупного города черты оседлости, описывая тамошнюю попытку публичного чествования памяти Комиссаржевской, устроенную литературно-артистическим клубом, отметили, что русской публики на торжестве было мало, а зато было очень много публики еврейской. Это действительно любопытное явление; мне давно хотелось его отметить и побеседовать на эту тему, но не решался. Ни для кого не тайна, что литературные клубы в черте оседлости вообще на девять десятых посещаются евреями; огромное большинство членов — тоже евреи. Арийский элемент представлен обычно десятком-другим отдельных любителей слова и музыки; пусть это талантливые и симпатичные люди, но их мало. Остальная, массовая часть членов и посетителей состоит из евреев.

Читатель, вероятно, тут заспорит и скажет: «Позвольте, что же в этом дурного — напротив. Очень хорошо, что евреи так отзывчивы, так интересуются — это делает им честь»... Честь или не честь, это другой вопрос; но займемся пока не евреями, а русскими. Где они? Отчего не приходят? Почему они так мало отзывчивы, почему они не интересуются, почему они не хотят «делать себе честь»?

Странно: ведь арийская интеллигенция велика и обильна. Несомненно, есть же в том городе достаточно образованной русской публики, чтобы заполнить три таких зала, особенно, если присчитать учащуюся молодежь. Отчего же *эти* не ходят? Вот, оказывается, и в Петербурге их не было на вечере памяти Комиссаржевской. Петербург в этом отношении особенно характерен. Город русский, евреи там вряд ли составят и две сотых населения. Там тоже было, а может, и теперь есть, литературное общество аналогичного типа, «объединяющее все национальности». И на рефератах этого общества очи видели ту же знакомую картину: 10—15 репрезентативных христиан из радикальной литературы, а в публике почти исключительно евреи. Что за притча? Где русская интеллигенция? Смешно ведь даже спрашивать, есть ли она в столице, интересуется ли делами культуры. Это ведь *она* создает русскую культуру, *она* создала все, что было ценного в русской литературе, *она* создала и Комиссаржевскую. В чем же дело?

Лучшим ответом на вопрос было бы узнать мнение самих отсутствующих — мнение тех самых русских интеллигентов, которые культуру-то создают, а на рефераты и вечера известного рода упорно не ходят. Но мне их взгляд совершенно неизвестен. Зато приходилось часто говорить об этом «странном» явлении с их, так сказать, заместителями — с еврейскими ассимиляторами. Многие из них вообще не желают говорить на эту тему. Они не замечают. Но некоторые все же разговорились и разоткровенничались. У меня получилось от этой откровенности странное впечатление. Они мне говорили известные старые вещи: что евреи — прекрасный фермент, что их миссия — будить всюду интерес к идее и культуре, что они — авангард, увлекающий за собой неповоротливых домохозяев, и пр. Я, как известно, грешник, считаю национальность альфой и омегой своей веры, дорожу ею больше, чем прогрессом, и т.д. Но, признаюсь, я совершенно не способен проникнуться этим взглядом на еврея, как на соль земли, без которой остальные вахлаки совсем бы закисли. Для меня совершенно ясно, что не только элины в древности, но и многие народы в настоящее время, например, англичане и немцы, куда талантливее евреев во всем, решительно во всем, начиная с литературы и кончая банкирскими конторами. Я в этом не вижу никакой

обиды для евреев, потому что не смотрю на них, как на народ, который всю жизнь держит перед кем-то экзамен и должен непременно получать все пятерки. Право народа на самобытность и равенство не нуждается ни в каких оправданиях. Конечно, раз мы тут по Европе околачиваемся столько веков, мы, естественно, принесли ей много пользы, обогатили ее жизнь: иначе и быть не могло — ведь и мы же не лыком шиты, и если занимаем среди исторических наций не первое место, то и не последнее. Но смешно пересаливать. Не будь евреев, культурный мир тоже бы теперь не в лаптях ходил. В частности, русский народ свою литературу создал без всякой помощи евреев, так же, как и французский, и английский, и итальянский. Да будет позволено спросить: если бы в Петербурге и Одессе совсем не было евреев, неужели там и здесь так-таки никогда не возникли бы литературные клубы? Мое скромное мнение таково: не только возникли бы, но и процветали бы не меньше теперешнего, только публика была бы в них — русская.

Здесь я должен привести мнение одного известного журналиста, родом из евреев. Прошу читателя не принять эту ссылку за литературный прием: это был настоящий разговор с настоящим известным журналистом еврейского происхождения. Он живет в русском городе, русскими интересами, вращается почти исключительно в русском обществе, следовательно, знает ту самую публику, которая «не ходит»: кроме того, сам пользуется репутацией умного, образованного и хладнокровного человека. Я всегда знал его за ассимилятора; впрочем, он не отрицал того, что еврейство национализируется, но не сочувствовал этому процессу. Речь зашла о том самом «странном» явлении: что «они» «не ходят». Совершенно ручаюсь за точную передачу мысли моего собеседника.

— Я вот что здесь наблюдаю уже не в первый раз, — сказал он. — Возникает какое-нибудь общество или, скажем, литературный орган; основатели его — русские люди с именами. (Это не всегда бывает так, но я нарочно беру только те именно случаи, когда основатели — русские). Когда дело наладится и машина пущена в ход, первое время все идет нормально. Русская публика интересуется, участвует, посещает,

читает и сама пишет. Но со второго или третьего месяца начинается наплыв евреев. Основатели радушно их принимают, даже очень рады — знаете, нет ведь ничего добродушнее и искреннее хорошего русского интеллигента; он, право, по большей части и не замечает, кто вы такой. Через несколько недель — ваша аудитория полна евреев. И тогда вы начинаете замечать странную вещь: по мере того, как прибывают евреи, убывают русские. Не только в смысле процента, но абсолютно. Где их прежде было 100, там их остается 20. Уходят. Не ругаются, не сердятся, не жалуются, вообще ничего не говорят, а просто отстраняются. Спросишь их: почему? Сами не умеют объяснить. Да, да, вы правы, надо будет опять записаться, просто, знаете ли, вылетело из головы... Иногда я в этом чувствую привкус сознательной юдофобии; но, право, гораздо чаще ничего подобного не могу нащупать. А вижу только разительное падение интереса к делу именно с того момента, как им так ревностно заинтересовались евреи. Оно с этого мгновения как бы стало для русской публики чужим, ее туда уже больше не тянет, ей там больше не уютно и не занятно, хотя сюжеты прений или статей остались те же. Это повторяется и с обществами, и с газетами, — быть может, и с партиями — и, говорю вам, не в первый раз. Чем это объяснить, я не знаю; но нельзя отрицать, что есть какое-то невидимое «отталкивание». И вот мой вывод: хорошо это или печально, но Россия должна будет пройти через полосу национального размежевания точно так же, как проходит через нее Австрия. Придется взять эту линию и евреям, отмежеваться в обоих смыслах: политически и культурно. Я, конечно, исключаю тот десяток-другой евреев, которые для еврейства — отрезанные ломти, давно ушли, завязали новые связи и пустили корни в чужой среде. Но еврейское общество в целом должно будет отграничить себя от русского и в политике и в культуре. Этим оно окажет большую услугу и себе и русским: оно им даст, наконец, возможность организовать внутри себя, по-своему, без посторонних примесей, которые в таком количестве для них, очевидно, неприемлемы...

За точную передачу мысли, как уже сказано, я ручаюсь. Ручаться за правильность наблюдения и вывода, конечно, не мое дело. Я не знаю ни той публики, ни ее настроений.

Но позволю себе напомнить тем, для которых эти щекотливые вопросы поневоле должны быть интересны, что «странное» явление все-таки должно иметь свою причину. И до тех пор, пока жива на свете логика, эта причина может быть только одна из двух. Она или в русской интеллигенции, или в еврейской. Или первая органически неспособна интересоваться, откликаться, реагировать и т.д., и только евреи, эти единственные ангелы-хранители русской культуры в Петербурге и на окраинах, еще спасают положение, держат знамя и прочее, и тогда остается только изумляться, откуда у этого равнодушного русского племени взялось столько творческого подъема, чтобы создать без всякой еврейской помощи Толстого или Комиссаржевскую. Или — их к евреям просто «не тянет», и когда они видят, что на их собственном празднике танцует слишком много евреев, то даже лучшие из них предпочитают праздновать у себя дома: и если это так, то евреям и дальше придется нести на себе лестную роль единственных музыкантов на чужой свадьбе — с которой хозяева ушли.

1912

НА ЛОЖНОМ ПУТИ

Заметка о «странном явлении» вызвала оживленный газетный спор, но спор этот, к сожалению, пошел по нелепой линии. Получилось такое впечатление, точно я в своей заметке спрашивал русских: почему вы, добрые люди, не ходите в собрания? Не потому ли, что вам не хочется якшаться с евреями? И вот, несколько почтенных русских сограждан удостоверили, что они, напротив, очень рады якшаться с евреями, да только как-то все не случалось, — и несколько почтенных еврейских коллег тоже откровенно признались, что настоящая русская интеллигенция чрезвычайно любит еврейскую. Очень приятно, прочел с удовольствием. Но зачем это все было написано — не знаю. Я этого вопроса не ставил. Отчасти потому, что нет смысла наивничать и спрашивать «любишь ли ты меня?» там, где каждый ребенок на улице знает всю правду. А главным образом потому, что как

раз я меньше всего этим вопросом интересуюсь. По-моему, он никакого отношения не имеет даже к спору о том, надо ли «размежеваться». Журналист еврейского происхождения, о котором я в той статье рассказывал, действительно дошел до мысли о необходимости «размежевания» только потому, что заметил со стороны русских явное нежелание «якшаться». Но на то он ассимилятор. Для людей моего лагеря суть дела совершенно не в том, как относятся к евреям остальные народности. Если бы нас любили, обожали, звали в объятия, мы бы так же непреклонно требовали «размежевания». Ибо мы думаем, что миссия каждой нации — создать свою особую культуру: и мы думаем, что это достижимо только путем любовного размежевания. Какое нам дело с этой точки зрения до любви или антипатии соседей? Если они евреев не любят, мы об этом очень жалеем: если полюбят, будем очень рады и будем платить взаимностью: но наше отношение к ассимиляции от этого не зависит. Мы не желаем, чтобы евреи стали русскими, даже если русская интеллигенция начнет скопом ходить на вечера литературного клуба.

Моя заметка имела в виду совершенно другую цель. Интересует меня не отношение христиан к еврейской ассимиляции, а самочувствие еврейских ассимиляторов. Я считаю их позицию в основе и по существу ложной и стараюсь проследить и отметить те случаи, когда эта внутренняя ложь обнаруживается особенно выпукло, когда сама жизнь, так сказать, демонстрирует против ассимиляции. Такой случай, по-моему, теперь налицо, когда ассимилированные евреи в огромном городе вынуждены фигурировать в роли единственных носителей русской культуры — «единственных музыкантов на чужой свадьбе, с которой хозяева ушли». На эту ситуацию я хотел обратить внимание самих «музыкантов», предложить им обдумать ее и сделать выводы. Так как дискуссия вместо того направилась по совершенно постороннему фарватеру, то позволю себе вернуться к сути вопроса и сделать эти выводы так, как я их понимаю.

Совершенно неопровержимо установленным я считаю тот факт, что ассимилированные евреи в нашем городе действительно очутились в роли единственных публичных носителей и насаждателей русской культуры. Этого никто во

всей дискуссии даже не пробовал отрицать, ибо это слишком яркая очевидность. Обсуждая и оценивая эту любопытную ситуацию, я прежде всего нахожу ее в высочайшей степени комичной.

Почему она комична — я доказать не умею. Смешное не доказывается, анекдот не требует аргументации. Комизм ощущается непосредственно, и basta. И я утверждаю, что этот комизм положения, когда евреям в полном одиночестве приходится чувствовать Пушкина и Комиссаржевскую, ощущается решительно всеми, прежде всего самими «музыкантами». Я часто встречаюсь со своими противниками, но не встретил еще ни одного, который не чувствовал бы этого комизма. Иначе нельзя объяснить и переполоха, который вызвала именно эта моя заметка. Мне случалось уже писать, например, и о том, что много рядовых либеральных христиан в глубине души верят в ритуальную сказку; это похуже, опаснее, чем нехождение на «четверги», и, однако, никто из ассимиляторов так не взволновался, как на сей раз. На сей раз было такое впечатление, словно людей вдруг обнажили, указали пальцем как раз на ту мозоль, за которую им в душе особенно неловко, и вот они изо всей силы стараются прикрыть ее чем попало. Очевидно, каждый в душе чувствует, что «ассимиляция», «слияние» с окружающей средой обязательно требует «рецепции», согласия окружающей среды: для того, чтобы обрусение не было унижительным, необходима тут же наличность большой русской толпы, в которой евреи могли бы рассыпаться, разместиться, растаять — и притом с ее хотя бы молчаливого согласия. Тогда бы в этой массе действительно все перемешалось; рядом с тремя русскими ораторами мог бы тогда выступить четвертым и еврей и тоже сказать «мы, русские» или «наша русская литература» — и это стерлось бы, утонуло бы в общем впечатлении. Но когда русской толпы нет и никак ее не заманишь и не притянешь, и на празднествах русской культуры в полумиллионном городе одни евреи, совершенно лишенные русского прикрытия, бьют в барабан и кричат «ура» во славу «нашей литературы», — то эта ситуация комична, потому что комична. Лет пять тому назад польская печать горячо обсуждала вопрос, ехать ли в Прагу на всеславянский съезд: наконец все согла-

сились, что надо ехать — Роман Дмовский согласился, Сенкевич согласился, графы Тышкевичи, князя Радзивиллы и прочие лидеры и магнаты согласились. Один только Станислав Кемпнер (тот самый, которого Немоевский называл потом «Шая Кемпнер») долго еще упирался и настаивал, что «мы, поляки», не должны ехать в Прагу, ибо это братание с остальными славянами может повредить «нашим» польским интересам. Может быть, я неточно помню все имена, но случай этот был. И вся Польша хохотала над этим сверхполяком и была права, потому что это было комично. Ассимиляция по природе своей требует незаметности, *наглядной* возможности утонуть в громаде ассимилирующего тела; где девять русских, там еврей еще кое-как может быть «десятым русским»; но когда пропорция обратная или того хуже — весь, как говорится по-еврейски, «миньян» состоит из великороссов еврейского происхождения, то это есть явление высочайшего и глубочайшего социального комизма.

Конечно, когда обнаруживается социальный комизм какой-нибудь ситуации, разные люди по-разному на это реагируют. Одни, у которых более плоская душа и более толстая кожа на ланитах, продолжают выступать гоголем; о таких нечего разговаривать, так как это элемент, лишенный всякой культурной ценности. Но есть и в ассимилированном лагере люди более тонкой организации. Для таких увидеть себя в ситуации, полной такого органического комизма, есть болезненный удар в ту самую точку сердца, где хранится у человека его лучшее богатство — его гордость. Для таких людей комизм превращается в трагизм. Я уверен, переполох, вызванный в стане ассимиляторов дискуссией по поводу «странного явления», объясняется еще и тем, что лучшие, наиболее чуткие и вдумчивые люди этого стана почувствовали не простую неловкость от комического положения, но и настоящую боль, укол в самое чувствительное место, и им на минуту стало жутко от мысли: а что, если все это правда? А быть может, я и сам давно все это подозревал, только не решался формулировать? И на минуту почудилось им, что, быть может, вся работа их жизни действительно прошла по ложной колее и завела их вместе с их паствой, куда не надо... — Но, конечно, даже чуткий человек, если он уже затратил несколько десятков лет на

данной черте, в конце концов прогонит черные мысли и даст себя успокоить обычными словесами. Остается только маленькая трещина в душе — и если она осталась, я очень рад: этого я добивался.

Но патологичность ситуации не только в ее комизме и даже не в трагическом привкусе этого комизма. Еще хуже другое. Хотя мы здесь «шумим, братец, шумим», а настоящие русские молчат, но тем не менее для всего мира ясно глубокое несоответствие между шумом и ценностью. Ни один серьезный зритель не сомневается, что хоть шумят на русских культурных праздниках евреи, а все-таки истинной, стихийно-нерушимой опорой и источником русской культуры служат не те, которые шумят, а те, которые молчат. Если судить по шуму, то выходит, будто русские 1-го разряда, активные русские — это и есть ассимилированные евреи, тогда как люди настоящего русского происхождения — это как выражается Отто Бауэр, *Hintersassen der Nation*, русские 2-го сорта. Между тем ясно и неопровержимо, что это в сущности как раз наоборот. Именно с момента, когда еврей объявляет себя русским, он становится гражданином 2-го класса.

Я, националист, ни за что не признаю себя в России гражданином 2-го разряда. Я считаю себя принципиально таким же хозяином в этом государстве, как и русский; я желаю говорить, учиться, писать, судиться, управляться на моем национальном языке, ни к кому не намерен подлаживаться и приспособляться и требую, напротив, чтобы государство приспособлялось к моим национальным домогательствам точно так же, как оно должно приспособиться к домогательствам русских, украинцев, поляков, татар и т.д., гармонизировав эти все требования в общем «народосоюзном» строе. Покуда я так смотрю на свое место в России, я не выше других и не ниже других, мы все граждане одного ранга. Но если я захочу пролезть непременно в русские, то дело сразу меняется. Тут я попадаю в положение неопфита. Чужая национальная сущность, чужая психика и ею пропитанная культура не могут быть по-настоящему усвоены даже за срок целого поколения, даже за срок нескольких поколений. Сохраняется акцент в речи, и точно так же сохраняется особый «акцент» души. Могут ли эти оттенки совершенно исчез-

нуть впоследствии, через много-много лет, это вопрос другой, которого я здесь не касаюсь; но покуда они есть, до тех пор я обречен числиться не настоящим, неполным русским, кандидатом в русские, подмастерьем русско-культурного цеха. Меня могут любить или не любить, это к делу не относится: но совершенно ясно, что источник и оплот русской культуры не в неофите, а в той массе, с которой он еще только старается слиться. Когда людям понадобится настоящее русское творчество, они оттолкнут изделие неофита и скажут: может быть, это подделано очень мило, может быть, это и лучше, чем настоящее русское, — но извините, нам нужно не это, а настоящее русское. Это и значит быть русскими 2-го разряда. Надо различать понятия: россиянин и русский. Россияне мы все от Амура до Днепра, русские только треть в этой массе. Еврей может быть россиянином первого ранга, но *русским* — только второго. Так на него в этой роли смотрят другие, и так на себя невольно смотрит он сам.

Здесь я не буду вновь поднимать спор о том, многим или малым обязана русская, немецкая, французская и пр. литературы ассимилированным евреям, достаточно ли усвоили эти писатели из евреев соответствующий национальный «дух» и т.д. Спорить об этом трудно потому, что это вопрос чутья, ошупи, и еврейские судьи тут совершенно не компетентны. Сколько бы ни божился еврейский критик, что Гейне — подлинный немец по духу, вопрос этим не будет решен. Но я интересуюсь этим вопросом больше с политической стороны. Здесь дело яснее, здесь мы не бродим в потемках эстетических оценок, а имеем пред собой массовые факты. И эти факты ясно говорят, что ассимилированный еврей при первом серьезном испытании всегда и всюду оказывается таким же плохим «ассимилятором», как и плохим евреем. Он объявляет себя немцем, покуда господствуют немцы, и старается делать так, чтобы по виду его нельзя было отличить от настоящего немца. Но как только господство переходит к другой национальности, моментально обнаруживается различие: настоящие немцы остаются немцами, выдерживают борьбу и несут на себе все жертвы, между тем как тевтоны израильского происхождения с поразительной быстротой начинают отрясать прах немецкий и присоединяться к национальности

нового хозяина. Я уже несколько раз вскользь упоминал об этих поразительных превращениях, но стоит еще раз на них остановиться, и подробно, ибо они гораздо яснее всех прочих доводов показывают истинную внутреннюю прочность еврейской ассимиляции.

В 40-х годах прошлого столетия Австрия, включавшая тогда и Венгрию, была почти сплошь онемечена. По крайней мере, так должно было показаться туристу, который посетил бы *города* империи. Только на юго-западе, в итальянских провинциях, он нашел бы сильную итальянскую культуру — и то с большими немецкими заплатами: но Будапешт весь говорил по-немецки, мадьярская речь едва слышалась на задворках; в Праге и думать забыли о том, что где-то на свете есть чешская речь: и даже в Галиции немецкая речь на улицах, в официальных учреждениях, в университетах и на вывесках соперничала с польской, и большей частью победоносно соперничала. Словом, картина онемечения *городской* Австрии была полная. Где-то в деревне прозябали чешские, словинские, русинские мужики, но с ними никому и в голову не приходило считаться: казалось совершенно ясным, ясным прежде всего для них самих, что их речь — мужицкая речь, для культурных целей непригодная, и для каждого порядочного человека просвещение — синоним германизации. Некоторые сомнения вызывали упрямые итальянцы, беспокойные мадьяры и крамольные поляки, но благоразумные люди надеялись, что и эти злоумышленники сами поймут свою ошибку. Ведь человечество должно сближаться, а не разделяться: это проповедывал еще мудрый император Иосиф II, начертавший в одном декрете: «Нет лучшего средства приучить граждан ко взаимной между собой любви, как дав им единый общий язык». И в доказательство сослался на Российскую Империю. Но прав он был в том отношении, что внешняя культурная физиономия Австрии в его время и десятки лет после него была очень похожа на тогдашнюю или теперешнюю культурную физиономию России: и там, как тут, господствовали почти нераздельно язык и культура главного хозяина; и там, как тут, совершенно или почти совершенно забыли о существовании других народностей.

В этой обстановке началось пробуждение австрийского еврейства. Выйдя из гетто, сняв халаты, подрезав пейсы, его передовые сыны осмотрелись вокруг и увидели, что все приличное общество говорит по-немецки. Они тоже заговорили по-немецки; это им далось даже легче, благодаря жаргону, чем соседям. В Праге, во Львове, в Будапеште евреи начали считать себя немцами, были очень довольны таким повышением в чине и думали, что на этом можно и успокоиться.

Но вот они стали замечать, что, например, в г. Праге начинает твориться что-то странное. Какие-то оригиналы вдруг затеяли говорить по-мужицки, и не только у себя дома, но и на улице, и в театре, да нарочно так, чтобы все слышали. Сначала это смешно, потом начинает раздражать. Тем более, что эти оригиналы выдвигают еще в придачу какие-то претензии. «Мы, чехи, в этом крае большинство, — заявляют они, — а потому Прага должна быть наша, в судах и школах и даже в университете должен господствовать наш язык, а немецкому достаточно места в Вене.» Слыша такие вздорные речи, немцы пожимают плечами: как смеют мечтать о таких вещах эти санкюлоты, у которых даже литературы еще нет? А они отвечают: у нас есть Ганка, Палацкий, Краледворская рукопись; начало есть, а продолжение будет. Немцы сначала отшучивались, а потом стали сердиться и отвечать возгласом: долой чехов!

И тут евреи попали в щекотливое положение. Раз они записались в немцы, то надо было показать себя хорошими немцами. А так как еще к тому же настоящие немцы немного косились на них и не вполне им еще доверяли, то надо было особенно постараться — так сказать, перекричать самого заправского немца. Кроме того, их и в самом деле раздражали претензии некультурного чеха. Как так? Значит, в Праге будет, например, в городском театре не немецкая, а чешская драма? В обществе придется вести светский разговор не по-немецки, а по-чешски? Этим бедным людям с таким трудом дался немецкий язык, столько пришлось попотеть над устранением предательского акцента — и что же, все это на смарку? Начинать сначала учиться по-новому? Нет, не бывать тому! И вот, наравне с немцами и еще громче немцев начали евреи подпевать: долой чехов! Прага «наша», немецкая!

Но чехи не испугались ни немцев, ни евреев. Шаг за шагом, день за днем, напоздали из деревни в Прагу чешские муравьи, постепенно проникали во все щели и по крохам строили свою культуру. У них появились газеты, книжки, потом книги, потом целая литература, потом гимназия, потом университет. И вдруг, в один прекрасный день, немцы моисеева закона не узнали своей Праги. От немецкого всевластия остались одни огрызки. В городской думе ни одного немца, на улицах и в театре чешская речь, придешь в магазин — не желают тебе отвечать по-немецки, а если ты сам купец — изволь говорить с покупателем по-чешски, а то наденет шапку и уйдет в соседнюю лавку — к чеху. А в газетах, даже самых либеральных, очень недвусмысленно пишут, что евреям следовало бы поостеречься насчет немецкого рвения, потому что, ежели немцам мы его прощаем, то уж евреям не простим. И... евреи начали понемножку переписываться из немцев в чехи. Появились чехи моисеева закона. Сначала мало, потом больше, а теперь большинство. Но так как настоящие чехи кричат: «долой немцев», а еврей старается быть совсем как настоящий чех и даже еще лучше, то дети или младшие братья тех, что кричали когда-то «долой чехов!» — тоже кричат вместе с новыми хозяевами: — Долой немца!

То же самое было в Галиции. Известно, до какого раболепства дошел теперь на польской службе галицийский ассимилятор, знаменитый «Мошко». Он и туда, он и сюда, он за польщизну душу готов положить, он за польскую культуру согласен раздавить и русин, и евреев, а уж немцев, притесняющих «его братьев» в Познани, он ненавидит выше всякой меры. Но хотите знать историю этого польского энтузиазма? Ярким образчиком ее был покойный депутат Эмиль Бык, член польского коло и ярый полонизатор, умерший в 1906 г. Не далее, как в 1873 г. он еще состоял всей душой в немцах, разъезжал по Галиции и агитировал, чтобы все евреи записались в немецкую партию. Но потом, хорошенько осмотревшись и увидев, куда ветер дует, он «перестал быть» немцем и «сделался» поляком с той же легкостью, с какой человек из маклера становится сватом, и с тех пор не было у поляков в Галиции более верного лакея и у немцев более грозного врага. И эту эволюцию проделало все старшее поколение ассимиля-

торов. Когда-то они состояли в немцах и ворчали на поляков: теперь они состоят в поляках и стараются делать все так, как делают настоящие поляки. Но настоящие поляки боятся теперь в Галиции не немца, а нового врага. На сцену все решительнее выдвигается новый претендент: русины. Их в Галиции 3 миллиона, а в восточной половине они составляют огромное большинство; Львов лежит в Восточной Галиции, а потому они заявляют на него самые категорические притязания. Это не Лемберг, говорят они, и не Львув, а Львив, столица австрийской Украины: город этот должен быть наш, в судах, в участке, в университете должен господствовать украинский язык, а для польского довольно места и в Кракове. Иными словами, повторяется история с Прагой... И духовные братья Эмиля Быка, с недалёковидностью, типичной для всех ренегатов, во все горло подхватывают лозунг «долой гайдамаков!» — забывая, что через 30 лет эти «гайдамаки» неизбежно будут полными господами Восточной Галиции... Впрочем, что за беда? Мошко тогда перевернется в третью национальность.

Я теперь не спорю о том, хорошо это или дурно с нравственной точки зрения. Настаиваю только на одном: это *факты*, и эти факты неопровержимо доказывают одно: когда еврей воспринимает чужую культуру, превращается в немца, чеха или поляка, то каков бы ни был его энтузиазм, нельзя полагаться на глубину и прочность этого превращения. Ассимилированный еврей не выдерживает первого натиска, отдает «воспринятую» культуру без всякого сопротивления, как только убедится, что ее господство прошло и хозяйское место переходит в другие руки. Он не может служить опорой для этой культуры: с каким бы он пылом о ней ни говорил, неглубокость и непрочность корней, которыми она связана с его душой, обнаруживается при первом серьезном испытании. К этому выводу приходят все авторитетные наблюдатели национальных отношений, самые серьезные, самые спокойные, как проф. Раухберг в своем капитальном труде о Богемии¹, как М. Hainisch в своей обстоятельной статистико-экономической монографии о перспективах

¹ Prof. H. Rauchberg, Der nationale Besitzstand in Böhmen. I, стр. 673.

австрийского развития¹. И даже социал-демократ Шпрингер, говоря о венгерских евреях, которые тоже 60 лет тому назад «были немцами», а теперь на каждом шагу поют гимны «нашей мадьярской культуре», — ставит им уничтожающий прогноз: «Они останутся мадьярами, куда венгерским государством правят мадьяры, — ни минуты дольше»². Но настоящие мадьяры, и потеряв владычество над инородцами, все же останутся мадьярами — и в этом, а не в шуме скажется различие между мадьярами первого и второго сорта...

Всем тем из стана ассимиляторов, которые не утратили еще прямого взгляда на вещи и самостоятельности мышления, я задаю вопрос: где доказательство, что здешние евреи сделаны из лучшей глины, чем евреи Будапешта, Лемберга, Праги? Те ведь тоже не были сознательными лицемерами, субъективно они были искренни и тогда, когда обожали все немецкое, и теперь, когда обожают чешскую или мадьярскую культуру. Следовательно, дело не в субъективном энтузиазме, который вовсе не доказывает глубины чувства, а дело в каких-то объективных моментах, которые создают действительную, кровную связь между человеком и его культурой, рожденной *его* предками и *его* братьями из *его* национальной души. У евреев ближнего запада этих моментов при испытании не оказалось. Почему мы забываем о том, что и нам, по-видимому, грозит точно такое же испытание? Главная масса евреев живет среди украинцев, поляков, белорусов, литовцев: эти народы начинают теперь подымать головы так же точно, как 60 лет тому назад начали делать это чехи. Это происходит у нас на глазах, пройти мимо этого явления может только близорукий. Не то же иметь нам линию поведения не только на сегодняшний, но и на завтрашний день. Ведь одно из двух: или Россия останется в полицейских тисках, или все эти народности используют политическую свободу прежде всего для того, чтобы сделать из России большую Австрию: хотим мы этого или не хотим, это будет, и ни Струве, ни мы с вами не «уговорим» ни тридцатимиллионную массу малороссов, ни даже маленький литовский народ. Как

¹ Dr. M. Hainisch, Die Zukunft der Deutsch-Österreicher, стр. 31.

² R. Springer, Die Krise des Dualismus.

же мы определим свою позицию к этому моменту? Какова будет наша роль в этой будущей России, где сто народов вокруг нас будут развиваться самобытно, создавая свои национальные ценности на своих языках? Останемся ли мы тогда в роли, на которую намеки есть уже и теперь — в роли единственных носителей руссификации на окраинах? Или пойдём по пути австрийских ассимиляторов, меняя национальность при каждом перемещении политических сил? Или, быть может, выберем третью дорогу, предоставим русским быть русскими, полякам поляками, а сами воздвигнем свои маяки?

Я прекрасно понимаю, что «ассимилятор» есть, чаще всего, продукт ассимиляции, и переделать себя он в известном возрасте уже не может. Он привык жить русской культурой, ему другая недоступна, и ему некуда уйти. Не обречь же себя на духовный голод. Это я понимаю. От каждого отдельного человека нельзя требовать личных жертв, да еще таких длительных, на всю жизнь. Речь идет пока не о личном поведении того или иного еврейского интеллигента. Речь идет о политической ориентации. Мы не только лично живем, но мы и прокладываем линии для будущего. Если мы попали в тупик и известной части нашего поколения уже нет из него выхода, то ведь остается долг — направить завтрашние поколения по другой колее. Созидание национальной культуры, борьба за ее гегемонию в еврейской душе — это задача и для того из нас, кому лично уже не суждено пить из ее родников. Пусть он строит для своего сына, пусть чертит план жизни для более счастливых. И главное, пусть громко признает, что его путь был ложный путь, и станет на пороге западни, куда сам попал, — станет на пороге, не пуская других.

1912

ЕВРЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Поздно теперь ставить вопрос о том, «должны» или не «должны» были евреи принимать участие в революции. Точнее было бы сказать: «в революционной борьбе с самодержавием», — так как в понятие революции, кроме этого негативного момента, входит еще и другой, творческий, созидательный. Этот второй момент российского переворота еще не вполне выступил на сцену, и, когда он выступит, легко может оказаться, что евреи в нем никакой или почти никакой роли не сыграли. Между тем здесь-то им, пожалуй, и следовало бы проявить особенную энергию — главным образом в выработке и создании новых форм для сожительства разнородных национальностей. Но сегодня речь не об этом моменте, а о первом — о революции в обывательском значении слова. Тут уж, конечно, не о чем хлопотать: «должны» или не «должны» были евреи вмешаться в нее, — они фактически приняли в ней огромное участие, и, значит, так было необходимо, а иначе быть не могло. *Damit Punktum.*

Но за каждым из нас должно быть признано право, на исходе определенного периода революции, в такие дни затишья, как нынешнее, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то дурное, что произошло для нас от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать. Я попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо, без всяких апелляций к чувству. Речь идет о подсчете, об итоге, и я хочу действовать, как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель — получить, насколько это в его силах, правильный баланс.

Один выигрыш от революции для меня вне всяких сомнений. Я о нем писал уже несколько раз. Это — выигрыш моральный. Роль нашей молодежи в огромных событиях российского переворота создала, особенно в Европе, совершенно новое мнение о нашем народе. Этим нельзя пренебрегать. Мы, сионисты, всегда издевались над попытками апологии и были правы, ибо апология, как цель, унижительна, смешна и бесполезна. Личность и народ должны действовать ради своих интересов, а не ради доброго мнения соседей.

И лучший способ реабилитировать себя в глазах других, это — идти своей дорогой, ни на кого не оглядываясь. Такой реабилитацией нельзя не дорожить. Куда бы ни пошла дальше линия нашей национальной самодеятельности, — нам пригодится то, что племена земли не считают нас больше народом трусов. Великую или малую пользу принесет нам эта перемена в общем представлении — другой вопрос, ответить на который можно было бы лишь гадательно, а я гадать не хочу. Но пренебрегать нельзя. В этом отношении наша роль в революции уже окупилась.

Есть еще и другая сторона в этой моральной пользе — сторона субъективная, подъем боевого духа в самом еврействе. Нечего таить: ведь не только во взгляде других на наш народ совершилась перемена — перемена совершилась и в нас. Еврей сегодня уже не похож на еврея 25 или даже 10 лет тому назад. Конечно, смешно было бы думать, что русская революция создала этот подъем. Он создан ходом еврейской жизни, который привел к пробуждению национальной самодеятельности, активно-исторического творчества. Но русская революция была школой для этого нового духа. Она приучила еврея «к огню», как выражаются военные, и эта выучка нам еще не раз и не раз понадобится в будущем. В *этом* отношении наша роль в революции тоже не прошла для нас без пользы. Я не повторю, что и здесь она вполне «окупилась» — это, пожалуй, было бы чересчур, потому что и без такой выучки — слишком дорогой выучки! — развилась и выросла бы активная энергия народа в силу внутренних процессов его собственного роста. Можно было дешевле заплатить и приобрести то же самое. Но если мы переплатили, то все же приобрели. Честный бухгалтер должен записать и малую прибыль.

Честный бухгалтер должен записать и убытки. Здесь я должен задуматься. Мы подходим к трудному казусу политического счетоводства: что нам дала и что нам даст наша роль в революции в смысле реальных выгод? Реальные выгоды — это, в данном случае, права. Я, допустим, не сомневаюсь, что *революция* в конце концов нам их даст, но не о том вопрос. Вопрос о *нашем* участии, о *наших* затратах на революцию. Окупятся ли они? И даже больше спрошу:

оправдается ли этот великий расход еврейского народа, — будет ли доказано, что эти затраты действительно были *необходимы* для получения полных прав в обновленной России?

Сложный вопрос. Я выше сказал, что раз евреи приняли участие в революции, значит, так было необходимо. Но я имел в виду другую необходимость — внутреннюю. Видно, таково было настроение народа, что из него *должен был* выделиться известный процент революционеров. Но была ли объективная, так сказать, «деловая» необходимость, в том простом смысле, что, не будь евреев-революционеров, мы не получили бы никогда равноправия?

Многие так именно и полагают. Я не могу присоединиться к этому мнению. Я, конечно, не ручаюсь за то, что в этом случае — не будь наших революционеров — нам обязательно дали бы права. Может быть, и не дали бы. Но ведь киргизы бесспорно получают все права, которых им не хватает, хотя и духу их не было в революции. Значит, евреи на особом положении. Не спорю. Но тогда я не вижу реального смысла именно в *этом* средстве завоевать себе полноправие. Одно из двух: или Россия, настоящая народная Россия, хочет нашего равенства или не хочет. Если хочет, то дала бы его нам и без учета наших заслуг по революционному делу. Если не хочет, то не можем же мы ее заставить. Наша революция бессильна против парламента России — в этом никто не сомневается.

Или то, чего нам иначе не хотели бы дать, будет нам дано именно в благодарность за наши заслуги? Наши революционеры почти все исторические материалисты. Странно было бы услышать из их уст, что благодарность или память о заслугах может явиться реальным фактором в истории...

Но, конечно, в этом еще не весь вопрос. Если бы даже и была полная уверенность, что революция все равно даст нам права и без всяких заслуг, — то ведь самой революции не было. Надо было вызвать ее. И эту роль взяли на себя евреи. Они — легко воспламеняющийся материал, они — грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России. И так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным по белому

и считается большой истиной. Но я счетовод и над этой затратой еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумье и не знаю, окупилась и окупится ли она.

О, бесспорно, это прекрасная задача: быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 130-миллионном народе, поднять красное знамя на Литве так высоко, чтобы увидал и Тамбов, и Саратов, и Кострома, — чтоб увидали и сказали друг другу: «Пойдем за ним». И, конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело от еврейских революционеров: знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы?

Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны, Кострома, бесспорно, вводилась в искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызывать у нее, Костромы, соблазнительной мысли: значит, можно и нашего околоточного... таким же манером? — В то же время отдельные евреи добивались и до самой Костромы и лично старались там претворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело, конечно, к пробуждению политического сознания. Но... А другая сторона?

Я вспоминаю потемкинские дни в одесском порту. Огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что через несколько часов она же будет лизать ликер с булыжника мостовой и жечь пакгаузы. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все, что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец, с хорошим открытым лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собой штурмом на город и повесить Дмитрия Нейдгардта на фонаре у Строганова моста. И ораторов действительно слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» — с большими круглыми глазами, с большими ушами и нечистым *p*. И в толпе всякий раз,

со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? — Именно замечание, а не возглас, не окрик; в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы — это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, чтобы оратор был *свой* от головы до ног, чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей повадки его веяло родным — деревней, степью, Русью.

Тут были ведь не спропагандированные люди, которых можно взять резонами, — тут была масса, неподготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу, надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа, нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не покоробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь именно этого не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но без увлечения: чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль: жида пошла — ну, значит, все это, видимо, их только, жидов, и касается. Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз о нем главным образом радеют чужие. И больше ничего. Да и этого было довольно: расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награбленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город, оставив порт и босячество на волю судьбы.

Я далек от того, чтобы медленный рост революционного настроения в русских массах объяснять всецело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь в одном: подымать народную новь может только свой. У чужого — если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются, — у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака и особенно чужаков, если их много, и инстинктивно сторонится.

А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девяносто и кричат народу: берегись, это еврейское дело! И народ им верит или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине.

Когда неспособность становились страдания русского народа и вот-вот готов был прорваться его гнев, — кто сосчитает, сколько раз в такие моменты самодержавие спасало себя искусной игрой на этой слабой струнке стихийного существа — на недоверии к революции, предводимой инородцами?

Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры несколько не ответственны за то, как освещало самодержавие их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты. И я говорю, что если, с одной стороны, еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то, с другой стороны, преизобилие евреев в рядах крамолы давало самодержавию ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отрицать это значило бы лгать самим себе. И пусть не думают, что это был слабый или недействительный фактор затемнения! В 1863 году самодержавие сыграло такую же спекуляцию на польском повстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне.

И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России, но он же способствовал и затемнению этого сознания. Что же было сильнее: первое или второе? Иными словами: ускорила или замедлила еврейская крамола наступление всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков и женщин, и детей, которой нас заставили заплатить, под ножами предателей, за крушение самодержавия? Не выгодней ли было для народа подождать еще несколько лет — ведь и без евреев, наконец, не погибла бы Россия, — но дешевле заплатить за свободу?

Пусть, положа руку на сердце, отвечает, кто может, — я не могу, потому что не знаю ответа.

Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась «по собственной воле еврейского народа», и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовней все модные вопли о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая.

У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров — значит, такова была атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так, я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию.

Но на пользу ли народу пошла эта революция? Не знаю. Воля народа не всегда ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет, — а на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит...

Только там, где на себя самого и ни на кого больше не должен рассчитывать народ, — только там воля народа всегда к благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги: мы строили и скрепляли народное единство, и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное недоверие к чужакам и скажут благодарно, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства.

АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Видный русский социалист-революционер, бывший морской министр в правительстве Керенского Вл. Лебедев несколько месяцев тому назад нелегально побывал в Сов. России; благополучно вернувшись из своей рискованной поездки, он в «Воле России» делится впечатлениями о виденном и слышанном. Специальный очерк посвящает Вл. Лебедев антисемитизму в Сов. России. Вдумчивый наблюдатель, безукоризненный в своем отношении к еврейству, Вл. Лебедев зарисовывает характерные картинки обывательского антисемитизма.

На рабочем собрании, — перед отъездом в.... — в ожидании докладчика по китайскому вопросу:

— Слышали, слышали?

— Что слышали?

— В Палестине-то...

— Что?

— Как что? Не читали разве?

— ?

— Погром, батенька! Самый настоящий погром. Арабы евреев бьют. Это тебе не Москва...

Помолчав немного:

— Дураки сионисты, а еще евреи! — поверили на слово... И кому? — англичанам...

— Да, это тебе не Москва...

Что звучало в диалоге совслужащих? Торжество ли по поводу погрома евреев? Или удовлетворение? Ведь бьют сионистов. Гордость ли оттого, что в Москве погрома быть не может? Или сожаление о том, что Палестина не в Москве?

Коротенький диалог был богат, насыщен тонами. Как понять эти тона, ударения, музыку диалога? В нем умещалось целое исследование на жгучую тему.

Истинный смысл музыки был понятен только собеседникам... Радость или сожаление?

В газетах тройная радость:

бьют сионистов,

бьют арабы,

бьют «у англичан».

Не понимает ли население эту правительственную радость как антисемитскую радость?..

Или вот другая сценка.

Сидит в «пивнушке» полупьяный прогоревший «частник», заказывает гармонисту то «Интернационал», то фокстрот, то камаринского, то, наконец, популярные «Бублички». Когда дошла очередь до пресловутого куплета

И в ночь ненастную меня несчастную,
Торговку частную, ты пожалей...,

пьяный требовал, чтобы гармонист пел его в иной вариации:

..... меня несчастного
Торговца частного.....

— Говорят тебе, торговца частного. Ну, какая я торговка? Доказывать тебе, что ли?..

— Бывший частник, — шепнул мне приятель.

— Разорили, жида проклятые, — промолвил частник, когда замолкли последние звуки собранной гармонии.

Промолвил и оглянулся...

Источники этой злобы многочисленны. В Москве до 200 000 евреев, все пришлый элемент. А возьмите, говорил Лебедеву его приятель, телефонную книжку и посмотрите, сколько в ней Певзнеров, Левиных, Рабиновичей и прочих, как говорят советские антисемиты, гишпанских фамилий. Телефон — это свидетельство: или достатка, или хорошего служебного положения. Списки служащих наркоминдела, внешторга, ВСНХ, управлений трестов пестрят еврейскими фамилиями. Конечно, евреи переполнили также и Соловецкие острова, сибирскую и другие ссылки и дома заключения, но этого население не видит. Как не видит оно вымирающих ремесленников — евреев белорусских и украинских местечек. Печать старательно замалчивает бедственное положение евреев в бывшей черте оседлости. Москвич понятия даже не имеет о том, что еврею вообще живется так же плохо, как и всем остальным.

В Ленинграде зоркий глаз Вл. Лебедева замечает другие «мелочи», бьющие по нервам русского обывателя: переименование улиц именами покойных большевистских вождей еврейского происхождения.

Урицкий, Володарский, Нахимсон... Три имени сопровождают вас в Петербурге повсюду. Они нагло лезут в глаза. Они назойливо звучат в ушах. Урицкий, Володарский, Нахимсон... Три ничтожества!

И надо же им было родиться евреями...

Вы на изумительнейшей площади города, перед Зимним дворцом, и площадь эта — площадь Урицкого.

Таврический дворец — какая страница истории! — дворец Урицкого.

Таврический сад — сад Урицкого...

Лигово — Урицкое...

Литейный проспект — проспект Володарского...

Шестая часть столицы — район Володарского!

Смоленское, за Александро-Невской лаврой, — село Володарское...

Сергеево — Володарское...

Шлиссельбургское шоссе — проспект села Володарского...

И неподалеку от Александро-Невской лавры, у Невской заставы, бронзовый Володарский-оратор произносит речь... Здесь он был «убит социалистами-революционерами».

Владимирский проспект — проспект Нахимсона...

Владимирская площадь — площадь Нахимсона...

И собор Владимирской Богоматери — собор Нахимсона, — так острят ленинградцы.

Теперь их имена только — «бациллтрегеры». Бациллтрегеры — носители бацилл бытового большевистского антисемитизма. Урицкий, Володарский, Нахимсон...

И все же собеседники Вл. Лебедева не верят в еврейские погромы при перемене политического строя России:

— А громить не будут, Иван Яковлевич? — спросил я.

— Что вы, Семен Лукич, что вы... Мы и в царское время боролись против погрома и черной сотни. А кому же их теперь громить? И зачем? То все — прошлое.

— И я так думаю, Иван Яковлевич. Навеки прошлое.

ЧЕРНАЯ СОТНЯ

Фельетон

Еврейская печать, насколько я знаю, считает долгом относиться к большевикам с великой осторожностью. Их очень редко порицают; и даже когда порицают, то не во весь голос, а — как сказано в былине про Соловья Разбойника — в полсвиста. Причины тому разные: во-первых — корректное отношение советской власти к равноправию евреев, а также страх, что если большевики рассердятся, то выместят это на единомышленниках или на родственниках, или на однофамильцах пишущего; а также некоторое уважение к партии, которая, как-никак, стоит за права трудовой бедноты.

Я этого отношения к большевикам не разделяю. За признание равноправности граждан независимо от веры и племени никакой благодарности не полагается, как не полагается ее за проведение телефонов, за поливку улиц и вообще за употребление носового платка. То, что большевики на каждого еврея в России, особенно на каждого сиониста, смотрят как на заложника и вымещают на нем свою злобу, как только их кто-нибудь обидит за рубежом, — это, по-видимому, правда. Но есть старая истина: поддаваться вымогательству значит поощрять вымогательство: если хотите отбить у шантажиста охоту к его ремеслу, лучшее средство — послать его сами знаете куда. Сентиментальные люди на это не решаются: сердце болит за однофамильцев, которые без вины пострададут. Я не сентиментален: опыт и арифметика доказывают, что невинных жертв накопится, в конце концов, гораздо больше, если дать укрепиться шантажу: и сердце мое, как ни стыдно в этом признаться, считается с арифметикой.

Еще меньше действует на вашего покорного слугу третий довод: «все-таки это партия, стоящая за некую социальную правду». Каждая партия стоит за некую — в ее глазах — социальную правду. Дело не в идеалах, а в программе действия. Я имел честь вырасти и воспитаться в традициях и русского, и еврейского освободительного движения девяностых и девятисотых годов. Мы стояли за свободу печати, слова, союзов и собраний; за всеобщее, равное, прямое и тай-

ное избирательное право; за равенство граждан без различия происхождения не только национального, но и классового. Все это было в наших глазах свято; в моих осталось свято и по сей день. Власть, которая не признает этих принципов, есть власть реакционная, черная сотня, какие бы у нее там ни были идеалы. В искоренении этой черной сотни я не обязан активно участвовать по той же причине, почему не вмешиваюсь в дела Мексики: мое «отечество» не там. Но искоренению этому, когда оно произойдет, буду очень рад и буду считать его большим шагом вперед по пути прогресса политического и социального. А пока, в ожидании этого события, могу говорить о большевиках не только без благоговения, но и просто без уважения.

Поэтому спокойно сел писать эту заметку, хотя я в советских делах не начетчик. Знаю о том, что делается в России, главным образом по рассказам людей, оттуда спасшихся: правда, таких людей я перевидал много. Чтобы серьезно трактовать вопрос, этого мало: но я решительно не вижу, почему черную сотню обязательно полагается трактовать серьезно. Мера моего интереса к этой партии вполне исчерпывается формой фельетона: так и озаглавлена сегодняшняя заметка.

От М.А. Осоргина я слышал раз меткое слово: «С 1905 года в России ничего замечательного не произошло». Это не только парадокс: в этой фразе есть существенная правда. Конечно, в России за последнее десятилетие произошло много больших и трагических событий. Но все эти события были копией таких же событий, происходивших уже много раз в других странах. Ничего по существу нового, никакого урока миру — вроде того, чем был 1789 год, — в этих происшествиях не было, и потому в высшем, «делающем эпоху» смысле ничего «замечательного» не случилось. Но большевики уверяют, что нечто новое произошло, а именно: не только переход политической власти в другие руки, но и заложение нового социального строя. А их противники утверждают, что это неправда, что по существу никаких признаков нового социального строя нет; внесен только беспорядок в старый социальный строй, что уже не раз бывало на свете, — а «замечательного» ничего не произошло. В этом споре я —

насколько могу судить по моим скудным источникам — присоединяюсь к последнему мнению: в России произошла большая конфискация имуществ, но социальной революции никакой не было.

Конечно, мои источники скудны. Но все-таки не советовал бы их недооценивать. Не проходит месяца, чтобы мы здесь не встречались с людьми, только что вырвавшимися из России. По большей части это люди нормальные, средней толковости и средней наблюдательности. Я бы даже не назвал их настроение односторонним: напротив, они любят и похвалить большевиков — например, за хороший (особенно в столицах) полицейский порядок, и вообще за административную расторопность. Конечно, они все жалуются на политический гнет — но тут я их сам сейчас же останавливаю, ибо эта сторона дела всем известна, и большевики ее сами не оспаривают. Задаю же я этим собеседникам всегда одни и те же вопросы: о чертах социального строя. Есть ли хотя бы зародыши, хотя бы проблески такого производства, которое можно было бы — без риторики — назвать социалистическим?

Мне скажут: вы ломитесь в открытую дверь, ответ заранее ясен — большевики сами признали, что социализма пока нет, сами создали нэп и неонэп, сами говорят о государственном капитализме. — Но беда та, что из ответов моих собеседников получается всегда картина, непохожая даже на «государственный» капитализм. Она гораздо больше похожа просто на капитализм, только на очень старинный — на первую, средневековую эпоху зарождения буржуазного государства, когда власть и хотела, и боялась развития частного предпринимательства: одной рукой поощряла промышленника, а другой грабила его, как только он немного обрстет шерсткой. Вот общее впечатление от скопившихся у меня в памяти свидетельских показаний. «Государственный» контроль национализированных предприятий — поскольку они взаправду нечто производят — все больше сбивает на фикцию. Действительный характер носит он только в тех отраслях, с которыми справлялась и старая власть — например, железные дороги. На фабриках и заводах «государство» — такая же комедия, как (цитирую одного из собеседников) «сюзеренитет турецкого

султана в Египте при английской оккупации». Исключений мало, и с каждым годом становится меньше. Предприятия, поскольку они действительно живут, живут и движутся личным интересом предпринимателя. Новые предприятия возникают почти исключительно на капиталистической основе, под очень прозрачной маской словесной «государственности». То же самое, и еще ярче, во внутренней торговле. То же самое, с неудержимой «наглостью», начинает проступать наружу и в последней, бронированной отрасли — во внешней торговле. Есть богатые? Есть, — «только они стараются не покупать дорогой мебели, чтобы не бросаться в глаза» (типичная черта из истории средневековой буржуазии). Есть нищие? Конечно, есть. Есть ли бытовое понятие «барин» и «простонародье»? Конечно, есть. Как относится — вне политической жизни — «простонародье» к «барину»? Снизу вверх, «как при царе Горохе». И т. д.

Очень трудно допустить, чтобы все эти десятки очевидцев проглядели главное и, наоборот, подметили то, чего нет. Я старый журналист: знаю по опыту, что десять очевидцев, если их толком выспросить, дадут гораздо более верную картину, чем триста газетных вырезок — особенно вырезок из поднадзорной печати, с которой считаться вообще нельзя. Но еще характернее ответов и рассказов был для меня самый облик, самый тип этих выходцев из советской России. Конечно, все это «бывшая» буржуазия — и любопытно, что она осталась буржуазией в полном смысле этого слова. Те же вкусы, те же мысли, те же привычки, те же интересы, что были и раньше. Чувствуется, конечно, что люди вырвались из страны, где опасно было сказать слово или даже «купить мебель»: но чтобы люди приехали из страны, где жизнь пропитана другой социальной атмосферой, — этого совершенно не чувствуется. Более того: я видел ясный отпечаток новой социальной среды на еврейской молодежи, прожившей 3—5 лет в Палестине: здесь, во Франции, на каждом шагу встречаешь русских беженцев, особенно из христиан, которые внутренне разбуржуазились — не в смысле убеждений, а в смысле психологии. Ибо эти люди действительно прожили несколько лет в обстановке пролетарского быта. Из России каждый день приезжают люди — кто навсегда, а кто и на время, — которые явно и несомненно

до вчерашнего дня жили там в типично буржуазной бытовой обстановке. И они — особенно те, которые собираются ехать обратно — успокоительно клянутся, что этот буржуазный быт все больше консолидируется.

Еще любопытнее их дети. Я встречал молодежь 18—20 лет, значит, такую, почти вся сознательная жизнь которой прошла в советской атмосфере. Но единственная существенная разница между этой молодежью и той, какая была в России до войны, — это то, что теперешние еще слабее знакомы с гимназическим курсом. Вкусы, мысли, мечты, интересы у них те же, что были, типично буржуазные: особенно, по моим наблюдениям, у девушек — и гораздо правильнее было бы сказать о них: у барышень. Иногда эти барышни или их братья сообщают вам: «А вот кузен у нас большевик». В самом тоне сообщения чувствуется, что это редкость, нечто незаурядное: вроде как в наше время говорил нам почтенный портной, не то с гордостью, не то с недоумением: «Третий сын у меня пошел совсем в сторону — он в рисовальном училище».

Один заграничный почитатель советской власти, когда я это ему сказал, возразил мне, что «по дезертирам нельзя судить о духе армии, из которой они бежали». Он даже добавил, что эта цитата из какой-то моей старой статьи. Возможно. Но ведь я этих беглецов и не расспрашивал о «духе», какой царит среди самих большевиков: и если они бы стали божиться, что дух этот идет на убыль, я бы сам усомнился в их компетентности. Когда приходилось на иорданском фронте допрашивать турецких дезертиров, мы их никогда не расспрашивали о «духе войск», а расспрашивали о фактах: как кормят, как обращаются? Но чаще всего не приходилось и спрашивать, ибо ответ был сам собой ясен: дезертиры были отощавшие, бросались на похлебку с жадностью, платье в лохмотьях, и у некоторых были выбиты передние зубы. Беженец приносит с собой атмосферу. В данном случае тоже.

Повторяю: это не трактат о большевизме, а фельетон о впечатлениях не особенно заинтересованного чужака. Но впечатление мое настолько ярко, что я готов стоять за него горою. «Ничего замечательного не произошло». Даже государственного социализма на деле никакого нет. Поскольку Россия работает, она работает фактически на старых нача-

лах. Советская Россия есть такая же буржуазная страна, какой была Россия до 1917 года: страна с буржуазным характером производства торговли и быта, но под управлением олигархии — как прежде. Разница только в том, что буржуазный характер хозяйства еще не легализирован, и поэтому нажившихся купцов официально грабят (это делалось в Моравии в 16 веке, а в Марокко еще недавно, до прихода французов), а заграничная торговля разрешается только на началах монополии (это было и в Европе 400 лет тому назад). Все остальное, по-видимому, риторика.

Отмечаю эти выводы без удовольствия. Существующий социальный строй не вызывает у меня никакого энтузиазма; за сохранение его я бы пальцем о палец не ударил; а разделение людей на бар и простецов мне и совсем ненавистно. Но мне никогда не верилось, чтобы переворот во всех этих отношениях можно было осуществить насильственно, при помощи черносотенных приемов действия. Так и оказалось, и полезно будет людям заучить этот урок наизусть.

Что касается до «духа», то тут автор сих строк даже для фельетона некомпетентен. Но одно должен сказать: вот уже больше года, как чувствуется на верхах коммунистической партии некая «мобилизация православных». В прошлом году неудобным оказался г. Троцкий; в этом году — г.г. Зиновьев, Каменев, Сокольников. Все евреи. Конечно, можно «утешаться» тем, что среди гонителей г. Троцкого главную роль играли те же г.г. Каменев и Зиновьев, а теперь на скамье подсудимых сидит и православная г-жа Крупская. Но эти мелочи не меняют основного тона событий: как только большой скандал и отлучение — главным отлученным оказывается еврей. Во главе ортодоксов теперь уже явно стоят православные — г. Бухарин, г. Сталин. Очень любопытно. Многие давно предсказывали наступление момента, когда большевизм, движение типично русское, родившееся в мозгу типичного русского сектанта Ленина, начнет освобождаться от своей — в широком смысле — евсекции. Похоже на то, что момент наступил. Будем ждать его развития с улыбкой равнодушного любопытства.

Всего этого я бы не написал в «Рассвете» (что нам до них за дело?), если бы советская власть сама не лезла из кожи вон, чтобы «заинтересовать» даже такое нейтральное движение,

как сионизм. Ссылки сионистов в России продолжаются. Около года тому назад в нашем «Дневнике» высказано было мнение — довольно распространенное, — что виновниками облавы являются не сами большевики, а только их еврейская прислуга из (специальной) евсекции. Но приходится пересмотреть это утешение. Прислуга прислугой; но когда хозяевам уже сто раз жаловались на похождения челяди и все-таки поход продолжается, то, по-видимому, не в псаре только дело. Сионистскому обществу, быть может, придется поставить на очередь вопрос об отношении ко всей черной сотне, управляющей ныне Россией. Евсекция — мелочь; душат еврейскую молодежь большевики.

СИОНИЗМ И КОММУНИЗМ

КРИТИКИ СИОНИЗМА

В последнее время¹ появилось несколько статей, направленных прямо или косвенно против сионизма. Некоторые из них произвели впечатление. Я попытаюсь рассмотреть следующие: «Двадцативековая трагедия» А.С. Изгоева («Образование», 1903, № 10), «Об антисионизме» Каутского («Восход», 1903, № 27), «О сионизме» И. Бикермана («Русское Богатство», 1902, № 7) и две заметки С.Н. Южакова в №№ 9 и 11 «Русского Богатства» за 1903 г. в отделе «Политика». Было еще несколько опытов критики сионизма, вроде брошюр г. Полякова («Сионизм и евреи»), г. Куперника («Еврейское царство») и т.п., но их можно обойти молчанием, ввиду их незначительности.

Было бы лучше всего разобрать вышеназванные статьи сразу: выбрать из них общие главные возражения и дать на них сильный ответ. К сожалению, такая группировка совершенно невозможна, потому что между этими критиками сионизма нет единогласия; двое из них, правда, стоят на одной и той же научной точке зрения, но и они часто противоречат друг другу в основных пунктах вопроса. Каутский пишет: «Евреи *перестали существовать как нация*, невысказанная без определенной территории» (стр. 23). Г. Изгоев говорит... «И, однако, еврейство — *нация*». Он даже прибавляет: «*такая же нация, как французы, немцы, англичане*» (стр. 56). Г. Бикерман много раз называет мысль о создании еврейского автономного убежища (где бы то ни было) утопией, ненаучной химерой (например, стр. 68); г. Южаков пишет: «Колонизация Уганды во всяком случае *не* кажется химеричною и недоступною, хотя и сопряжена с массой трудностей...» (№ 9, стр. 166). Речь идет, понятно, не о простой колонизации (ибо кто же

¹ Написано в конце 1903 г.

спорит против того, что простая колонизация возможна), а о проекте автономной колонии, т.е. именно о том, что г. Бикерман считает несбыточной мечтой, — и о чем, между тем, г. Изгоев говорит так: «Сионизм, как стремление к рациональной, планомерной земледельческой колонизации евреями такой местности, которая могла бы служить для них «правоохраненным убежищем», — реальное, осуществимое дело, заслуживающее сочувствия и поддержки» (стр. 67). Причем любопытно, что в глазах г. Изгоева даже «сионизм как мечта о восстановлении иудейского царства в Палестине» есть хотя и утопия, но «безвредная» утопия, между тем, как в статье г. Бикермана доказывается, что сионизм, как его ни понимай, вреден и никакого «сочувствия» и никакой «поддержки» не заслуживает. «Сионизм есть явление реакционное!» — утверждает автор на странице 69...

Тот же г. Бикерман говорит: «Но мы считаем своим долгом раскрыть ложь, заключающуюся в другом словечке, пущенном в ход этим словообильным сионистом (т.е. Нордау). Это слово — *Judennoth*... — не те обычные страдания, составляющие, вероятно, неизбежный удел человеческого рода, а другие, исключительные страдания, преследующие евреев не как людей, а только как евреев и от которых они могли бы избавиться, если бы не были евреями» (стр. 57). Г. Бикерман отрицает этот *Judennoth* и настаивает, что еврей данного класса страдает столько же, сколько и коренной житель из того же класса, не больше и не меньше. Следовательно, если класс перестанет страдать, тем самым перестанет страдать и еврей. А г. Изгоев говорит, что даже «при полном устранении общественного строя, основанного на конкуренции и меркантилизме», — все-таки «потребуется еще годы духовной работы для искоренения остатков предрассудков», вызывающих вражду к евреям, а значит, и специально еврейское горе. Каутский идет еще дальше. По его мнению, для устранения враждебности к евреям недостаточно ни падения капиталистического строя, ни культурной борьбы с предрассудками («чувствований человека нельзя изменить путем увещаний», стр. 24); враждебность будет устранена «только тем и тогда, когда еврейские слои населения перестанут быть чужими, сольются с общей массой населения». Ясно, что если для блага еврейства недостаточно того, чего вполне до-

статочно для блага других народов, а нужны еще особые меры, то значит, у еврейства, по мнению Изгоева и Каутского, кроме общечеловеческих страданий, есть еще и свое специальное горе — то самое, которое отрицает г. Бикерман. В то же время г. Бикерман совсем не разделяет мнения Каутского, что евреям необходимо ассимилироваться. Он говорит: «Сохранение и развитие *еврейского народа*, сохранение и развитие *его культуры*, сохранение и развитие того, что есть в ней лучшего, — такова задача» (стр. 68). Даже больше: по мнению г. Бикермана, еврей-ассимиляторы «существуют лишь в больном воображении охранителей» (стр. 41). Не является поклонником ассимиляции и г. Изгоев, по крайней мере, если понимать ассимиляцию по Каутскому — «слияние с общей массой населения». Ведь слиться с общей массой населения данного места значит принять ее национальность. А г. Изгоев говорит: «Еврей может примкнуть духовно только ко всему человечеству, как целому, возвышающемуся над всеми национальностями. Еврей, освободившийся от талмудической культуры, по духовному существу своему всегда неизбежно будет космополитом, международником» (стр. 66). Последнее утверждение немного рискованно, если принять во внимание, что Герцль, Нордау и огромное большинство сионистов, бесспорно освободившись от талмудической культуры, стали не космополитами, а сионистами: но не в этом дело, а в том, что и быть космополитом не значит духовно «слиться с общей массой населения» данного места, и даже совсем напротив...

Критики сионизма, так сказать, не сталкивались между собою. У них у самих — разногласия по самым основным вопросам: о том, представляет ли еврейство нацию или нет; о том, нужна или не нужна ассимиляция; о том, возможно или невозможно создание еврейского правоохраненного убежища; о том, есть ли сионизм вообще явление вредное, — и даже о том, существует ли *Judennoth* или не существует. Собственно говоря, при наличии таких противоречий можно было бы и не спорить против наших критиков, а спокойно и безучастно любоваться на то, как они друг друга побивают. Но я все-таки предпочитаю рассмотреть их доводы и представить свои возражения: и так как, очевидно, отвечать разом на такую разноголосицу немислимо, я буду говорить о каждой статье особо. Начну с Каутского.

Каутский говорит, главным образом, об антисемитизме; разбирать его взгляд на этот феномен я не буду, так как не антисемитизм является предметом этой беседы. В данном случае нас занимает путь, указываемый Каутским: ассимиляция. Об этом идеале мы и будем говорить, и тут нам не мало поможет небольшая брошюра того же автора под заглавием: «Национальность нашего времени» [СПб. 1903]. В конце этой брошюры (стр. 41—43) Каутский высказывает довольно определенные взгляды на будущее отдельных национальностей. Они, по его мнению, вообще стремятся к полному слиянию между собою, даже к замене национальных языков одним каким-нибудь универсальным. «Национальные языки, — говорит он на стр. 43, — будут все более и более ограничиваться областью домашнего употребления и здесь, наконец, займут такое же положение, как какая-нибудь старинная фамильная мебель, которую ценят и тщательно сохраняют, но не придают ей никакого практического значения». Никакого практического значения: то есть, очевидно, даже в сношениях между собою люди одной и той же страны будут, по мнению Каутского, пользоваться не национальным языком, а универсальным, — ибо Каутский не может не понимать, что язык, на котором говорят между собою люди данной местности, тем самым получает большое «практическое значение». Волапюка г. Каутский не признает, об эсперанто не упоминает, а думает, что универсальным языком явится какой-нибудь из существующих. Например, английский. Два коренных неаполитанца в беседе между собою будут говорить на языке Шекспира; к итальянскому каждый из них прибегнет только тогда, когда на досуге захочется поиграть звучными словами. Так рисуется Каутскому будущее.

О будущем, конечно, трудно спорить: никто не может поручиться, что верно угадает. Но все-таки логика властна и над будущим: постараемся же рассуждать логически и посмотрим, совпадут ли наши выводы с предсказаниями Каутского. Расово-национальные¹ особенности создаются под влиянием многих факторов — в том числе, конечно, климата,

¹ «В современной науке, по крайней мере, нет точного определения понятий: раса и нация, и одинаково можно сказать: литовская раса и литовская нация» (Г.В. Плеханов).

почвы и флоры той страны, где данное племя впервые развилось. Каутский настолько признает это, что даже психологию евреев выводит из того факта, что Палестина — горная страна [статья в «Восходе», стр. 23], причем отмечает, что отпечатки этого горного происхождения сохраняются и в чужой земле, т.е. даже в новой почвенно-климатической среде и в новых социальных условиях. Так сильна расовая закваска, полученная от матери-природы, даже когда племя уже давно перенесено под другое небо: пока старая кровь передается по наследству без инородных примесей или с малой примесью, до тех пор племя сохраняет свою старую индивидуальность. Конечно, эта индивидуальность уже исковеркана, и с каждым поколением под давлением новых почвенно-климатических влияний она будет все более уклоняться от основного типа: но все-таки и под чужим небом вы через много поколений отличите в чистокровном потомке черты его прадедов. Тем более сохранятся эти особенности, если данное племя всегда будет жить в той самой стране, на почве которой оно развилось. Это — прямой вывод из положения, что племенные особенности создаются суммой естественных факторов.

Я совершенно не касаюсь вопроса о том, как сложились ныне существующие национальности и сколько различных расовых ингредиентов вошло в каждую из них: я беру их такими, какими я их застаю при моем появлении на свет, и задаю себе вопрос: что с ними будет? Что вероятнее: то ли, что обитатели Апеннинского полуострова и впредь из рода в род будут жить на этом полуострове, или то, что они все переберутся на другое место? И на это, по-моему, невозможен другой ответ, кроме того, что первое предположение вероятнее, так как не предвидится никакой причины, которая принудила бы жителей Италии к такому массовому переселению. В настоящее время, как известно, итальянцы часто эмигрируют, ища работы за морем, в то время, как на полуострове и в Сицилии есть огромные пустыри латифундии, пригодные для внутренней колонизации. Но ведь эмиграция — только маленький процент населения; да и та является следствием нужды, голода и беспорядка. Каутский верит, что нужда и голод будут некогда совершенно упразднены, и я скромно разделяю эту веру. Но тогда исчезнет причина для эмиграции даже маленькой доли населения. Следовательно,

это население станет на своем полуострове еще более оседлым, чем теперь. Смешанные браки если и будут наблюдаться, то лишь в узкой пограничной полосе: главная масса нации сохранит свою расовую «чистоту». И то же самое совершенно бесспорно предвидится и для России, и для Франции, и для Скандинавии: нет никаких причин, которые побуждали бы население каждой из этих стран отрываться от родной почвы — и чем дальше, тем еще меньше будет этих причин, потому что единственные ныне побуждения к эмиграции — нужда и социальная неурядица — при социалистическом строе общества предполагаются устраненными. Шведы останутся в Швеции и грузины в Грузии; первые будут по-прежнему, из рода в род, подвергаться почвенно-климатическим влияниям своей Швеции, а вторые — своей Грузии. Покорение природы человеческой техникой здесь ни при чем: техника создает чудеса, будет, пожалуй, регулировать дождь и ведро, но ведь климат Стокгольма все-таки будет всегда отличаться от климата Тифлиса, и флора второго — от флоры первого. При всяких чудесах техники Великороссия все-таки останется равниной, а Англия все-таки будет приморской страной, и, значит, из рода в род будет продолжаться непрерывное влияние неодинаковых естественных условий на оседлое население как той, так и другой области. То есть англичанин сохранит свою английскую племенную индивидуальность, а великоросс — свою. Но если каждый сохранит свою национальность, то сохранит и национальный язык; потому что язык, естественно возникший у данного племени и развившийся в данной местности, должен, несомненно, ближе и точнее соответствовать всем изгибам психики населения, чем какой бы то ни было другой язык; и, следовательно, нет никакой научной возможности предположить, что национальный язык, исторически развившийся в тесной параллельности со всей психикой населения, вдруг начнет естественно вымирать, уступая место совершенно чужому наречию, только потому, что на этом чужом наречии легче вести дела с иностранцами. Любопытно при этом заметить еще следующее: Каутский видит явный признак близкого торжества универсального языка в том, что уже и теперь конкуренция капиталистических стран делает необходимым знание чужих языков: «Кто больше знает языков,

у того больше шансов одержать верх над конкурентами, говорящими только на одном своем языке» (брошюра, стр. 42). Странно слышать такие доводы в устах Каутского. Ведь именно ему, как социал-демократу, должно быть ясно, что промышленные сношения между разными странами не всегда будут вестись на почве индивидуальной конкуренции. В том грядущем, за которое ратует Каутский и в которое скромно верю и я, международный обмен продуктов, конечно, не прекратится, но производить его будут не частные торгаши, как теперь, а особые официальные учреждения. Теперь тысячи лиц ради наживы ведут торговые сношения с границей: тогда эти сношения будут, очевидно, сосредоточены, для каждой области, в специальном бюро с ограниченным штатом служащих. Следовательно, только этим служащим (рассуждая строго по Каутскому) и понадобится знание языков. Количество частных лиц, имеющих деловые сношения с иностранцами, сократится до минимума, — тогда как сношения между земляками-согражданами, при тогдашнем строе общества, станут, напротив, гораздо теснее и многообразнее, чем теперь. Каким образом при таких условиях общежития начнет вымирать язык земляков, с которыми каждый человек именно тогда будет связан тысячами уз, — и воцарится взамен того языка универсальный, хотя именно тогда производственные отношения вовсе не будут требовать этого, — непостижимо...

Я, конечно, не сомневаюсь в том, что будущее приведет к самому тесному сближению между различными странами и народностями, как не сомневаюсь в том, что когда-нибудь, и даже скоро, люди по взаимному уговору признают какой-нибудь язык международным. Но не «универсальным». Это будет язык для международных сношений, и только. Внутренняя жизнь каждой нации будет по-прежнему выражаться при посредстве ее национального языка, и язык этот будет самобытно развиваться и богатеть по мере духовного развития нации. И точно так же, как с национальным языком, будет с национальной психикой. Не смешиваясь браками с чужою расой, да еще к тому же живя постоянно в одной почвенно-климатической среде, впитывая из рода в род ее влияние, каждая народность естественно сохранит и будет самобытно развивать и углублять свою индивидуальную

психику, внося национальный оттенок во все проявления своего творчества. Не к слиянию национальностей ведет естественный процесс, а к обеспечению за каждой из них полной самобытности. Исчезнет война, упразднится таможня, но никогда не сгладятся индивидуальные различия, врожденные расе и вечно питаемые различиями в почве и климате и несколько не препятствующие ни дружному прогрессу, ни взаимному уважению наций.

Но мало того, что сохранение национальных особенностей представляется, со строго позитивной точки зрения, совершенно *неизбежным*: следует помнить и о том, что оно также в высшей степени *желательно*. Мы называем богатой и счастливой природу той страны, где растет и пальма, и кедр, и вишня, и дуб, где есть и горы, и леса, и озера: напротив, бедною и скупую считаем мы природу тех стран, где растительность однообразна и ландшафт один и тот же всюду. Никогда никто не видел идеала в однообразии: напротив, мы и инстинктивно, и сознательно всегда предпочитаем всевозможное многообразие разновидностей, гармонически, но самобытно живущих и развивающихся друг подле друга. Человек не может быть исключением из этого идеала. Если бы национальных различий не существовало, то в интересах всего человечества *il faudrait les inventer* их надо было бы изобрести, чтобы дух человеческий мог проявляться во всяческом многообразии оттенков. Есть уже не новый, но очень подходящий в этом случае пример: представьте себе человечество в виде огромного оркестра, в котором каждая народность как бы играет на своем особом инструменте. Возьмите из оркестра всех скрипачей, отберите у них скрипки и рассадите их по чужим группам — одного к виолончелистам, другого к трубачам и так далее: и допустим даже, что каждый из них играет на новом инструменте так же хорошо, как на скрипке. И количество музыкантов осталось то же, и таланты те же — но исчез один инструмент, и оркестр в убытке. Если только мы понимаем прогресс как стремление к наибольшей полноте, сложности и богатству жизненных проявлений, а не наоборот — к наибольшей скудости и однообразию, то мы должны дорожить неприкосновенностью национальных индивидуальностей не менее, чем дорожим неприкосновенностью отдельной человеческой личности; и если никакой

жертвы не жалко для исправления социальных неустroйств, угнетающих личность, то не жаль никакой жертвы и в борьбе за то, что может обеспечить национальной индивидуальности законную неприкосновенность.

Тут я могу непосредственно перейти к г. Южакову, у которого прорываются такие фразы: «Тот, кто желает служить делу правды и совести, делу принципов, должен тщательно оберегать себя от всякого общения с национализмом» (ноябрьская книжка, стр. 144). Впрочем, после всего сказанного нет необходимости пространно спорить против этой точки зрения: мы встретимся с нею у остальных разбираемых критиков, а собственных оригинальных доводов г. Южаков не выставляет. Г. Южаков слишком честный человек, чтобы притворяться, будто ему непонятна разница между национализмом угнетенной народности, отстаивающей свою самобытность, и национализмом народности угнетающей, навязывающей свою физиономию другим, — между самообороной и насилем. Отвращение г. Южакова происходит, конечно, не оттого, что он отождествляет наш национализм с национализмом пруссаков в Познани. Излишне доказывать г. Южакову, что те хотят подавить чужую индивидуальность, мы же хотим отстоять свою: он сам это понимает, но твердо считает, что национальная индивидуальность не нужна, что если она исчезнет, то и жалеть не о чем, что бороться за ее сохранение — значит тратить силы на пустяки, а тратить силы на пустяки — значит отнимать их у настоящего, полезного дела; и оттого г. Южаков сторонится от национализма и других приглашает сторониться. Повторяю, — после всего, что я сказал выше, незачем мне отдельно возражать против этой точки зрения. Но все-таки не хочется как-то молчать, когда читаешь такие выражения: «Идеалы чести и совести, принципы солидарности и братства, главным врагом которых является национализм, в том числе и сионизм» (стр. 144)...

Часто бывает, что человек, возненавидя разврат, переносит свою ненависть на половое влечение вообще и провозглашает, что любовь противна «идеалам чести и совести»; часто человек, наблюдавший много злоупотреблений свободой, становится противником свободы вообще и объявляет ее врагом «принципов солидарности и братства»; и когда сталкиваешься с такими людьми, становится тяжело за

узость человеческую. Здесь то же самое. Г. Южаков навиделся уродливых извращений национализма и поэтому не может допустить, что «импульс» национального самосохранения действительно существует и что это очень важный, полезный и могучий двигатель. Для него это фанаберия, каприз, а упорствовать в этом капризе значит идти наперекор чести и совести. Наше стремление добиться тех же прав, какими пользуются другие народы, и не ради того, чтобы потом вести грабительские войны, а ради того, чтобы спокойно жить по нашему племенному духовному укладу, в мире и дружном сотрудничестве с остальными народами, — это противно совести и чести. Не надо возражать на такие слова, потому что это, несомненно, бранные слова; и в ответ на них мы должны только еще тверже и настойчивее повторить, что сохранение национальностей в *интересах всего человечества* есть честная и важная задача, и никакой жертвы не жалко для ее осуществления.

Этот же идеал мы противопоставим и идеалу г. Изгоева, потому что, в сущности, основная точка зрения у г. Изгоева и у г. Южакова одна и та же, хотя первый приглашает нас отречься от всякой национальности и стать «космополитами, международниками», а второй просто без всяких объяснений рекомендует обрусеть (*сознать* полную «солидарность и достоинства, и интересов совести всех культурных сил человечества вообще, *России в частности и в особенности*»: фраза эта, находящаяся в ноябрьской книжке на стр. 145, немножко непонятна, но единственное, что в ней ясно, — это призыв к обрусению). Однако не подлежит сомнению, что и г. Южаков ничуть не шовинист и зовет нас к обрусению не из патриотического пыла, а из убеждения в том, что французам ли прежде онемечиться или немцам прежде офранцузиться, разница — не важна, лишь бы меньше стало хоть одной национальностью: все равно в конце концов будем космополитами без всяких племенных особенностей. На этот взгляд, общий у г. Южакова с Изгоевым, и с Каутским, выше дан уже ответ: и все сознание скромности моих сил не может мне помешать совершенно ясно видеть, что надежды почтенных публицистов на будущее исчезновение племенных разновидностей не имеют под собою, как я попытался выяснить, никакой научной почвы и никакого нравственного базиса, а напро-

тив, с поразительной наглядностью противоречат и данным этнологии, и ходу исторического процесса, и идеальным интересам человечества.

Но в статье г. Изгоева, кроме космополитического призыва, есть и другие частности, которые нельзя оставить без ответа. Одобряя сионизм территориалистический, извиняя, ввиду «безвредности», сионизм палестинский, он безповоротно осуждает культурный сионизм. «Сионизм, как романтическая мечта о воскресении древнееврейской культуры — реакционная и вредная утопия». Прежде всего, тут есть неточность: с нашей стороны имеется в виду не «древнееврейская культура», а просто еврейская, ибо мы верим, что в духовном творчестве евреев, от пророков до наших дней, проявлялись одни и те же основные идеалы, конечно, изменяя форму и точки приложения сообразно потребностям места и времени: и, следовательно, мы желаем не «воскресения древнееврейской культуры», а широкого развития культуры новоеврейской, находящейся в тесной преемственной связи со старой, древней и древнейшей. Лечить захворавшего взрослого человека вовсе не значит «воскрешать» того младенца, которым этот человек был в дни своего детства. Думаю, что против исправления этой неточности ничего не будет иметь и сам г. Изгоев, и его строгое отношение к еврейской культуре вызывается не тем, что она будто бы «древняя», а тем, что в самой этой культуре, как таковой, г. Изгоев не находит никаких положительных ценностей. Есть все основания предполагать, что г. Изгоев вполне в этом отношении разделяет точку зрения Каутского, выразившуюся в словах: «Глубокие и смелые мыслители из евреев постоянно воспринимали мировоззрение своего времени. Последнее бывало возможно только тогда, когда они окончательно порывали с традициями еврейства и становились на почве общеевропейского культурного развития» (статья в «Восходе», стр. 25). Если бы г. Изгоев не считал традиций еврейства также несовместимыми с передовым мировоззрением, он не назвал бы идею «воскресения» еврейской культуры реакционной и вредной утопией. Но что же именно в таком случае понимают г.г. Изгоев и Каутский под еврейскими традициями и культурой? Каутский об этом не говорит, зато у г. Изгоева есть хотя косвенный, но вполне определенный ответ на этот вопрос. «Ассимиляция, —

говорит он на стр. 65, — состоит из двух актов: одного отрицательного отказа от обособляющих черт, и другого положительного — принятия того, с чем ассимилируешься. Что касается первого, отрицательного акта, то несомненно, что весь ход истории сурово и непреклонно уничтожает еврейскую «обособленность»... Евреи, втянутые в водоворот современной жизни, теряют свою специфическую одежду, внешний облик (??), мало-помалу отступают от законов о «ритуальной чистоте», отказываются вовсе от них, отказываются даже от субботы»... И вот — говорится на следующей странице — такой «еврей, освободившийся от талмудической культуры, по духовному существу своему всегда неизбежно будет космополитом, международником», то есть уже духовно не евреем. Иначе говоря, весь духовный багаж еврея, как такового, сводится к лапсердаку, тrefу и субботе; кто носит пиджак, ест ветчину и пишет в день субботний, в том уже не осталось духовно ничего еврейского; следовательно, вот в чем заключается еврейская культура, еврейские традиции: сумма внешних талмудических обрядностей, и больше ничего. После этого нисколько не странно, что «воскресение» такой культуры представляется делом реакционным и вредным.

При всем уважении к почтенному одесскому публицисту, я должен сказать, что во всем этом явно сквозит очень недостаточное знакомство с вопросом. Только при этом условии можно было упустить из виду тот наглядный факт, на который я уже указывал, что сплошь и рядом еврей-интеллигент, заменивший ермолку цилиндром, фаршированную шуку — икрой и даже субботний отдых, по необходимости, воскресным, все-таки признает себя не космополитом, а евреем, и из этих именно интеллигентов, а не из ортодоксов, и состоит главное по качеству ядро еврейского национализма. Достаточно было бы даже из вторых рук ознакомиться хотя бы с личностью и учением Ахад га-Ама, чтобы увидеть воочию, действительно ли еврей, за вычетом талмудической обрядности и даже *религиозной веры*, перестает быть и считать себя евреем. Прямо неловко перед читателями серьезно доказывать, что в еврействе есть кое-что и кроме устава о кошерности; но чья же вина, что приходится настаивать и на таких азбучных истинах. Мы не можем не сказать г.г. Изгоеву и Каутскому: со-

берите прежде подробные справки о том, что такое еврейская культура и традиции. Я уже и не говорю о том, что писали по этому вопросу наши соплеменники, такие как Лацарус, как покойный Дармстетер, или благорасположенные к нам иноподдцы, как Ренан или Генри Джордж; я укажу, контраста ради, на книгу, выпущенную недавно писателем, который, хотя и соблюдает известную корректность тона, ничуть не скрывает своей антипатии к еврейству и его идеалам. Это «Esprit juif» Мориса Мюрэ, появившийся также и на русском языке, в неудачном переводе и под неудачным заглавием «Еврейский ум» (СПБ, 1903). Автор отмечает некоторые основные мотивы в учении пророков и старается доказать, что эти мотивы, через много столетий, проявились и в писаниях Спинозы, Гейне, Брандеса, Нордау, и в учении Маркса, и в деятельности Дизраэли-Биконсфильда. А мотивы эти, по мнению Мюрэ, следующие: мятежная ненависть ко всякому догмату, заставляющая евреев подвергать разрушительной критике все, освященное традицией; мечта о всемирном братстве («космополитический идеал пророков», по выражению Мюрэ), мечта, во имя которой евреи являются принципиальными противниками войны, и т.п.; наконец, стремление установить царство Божие на земле, в противность «арийскому» идеалу царства Божия в загробном мире — и, как следствие этого стремления, склонность к социальным преобразованиям. Все эти мотивы глубоко несимпатичны автору, и он с огорчением констатирует, что они приобрели теперь широкую популярность и в арийских массах. Я, конечно, далек от того, чтобы возводить г. Мюрэ в авторитет, но нельзя не отметить, как и друзья, и враги наши всегда констатируют в нашем почти сорокавековом духовном творчестве постоянное присутствие одних и тех же основных идеалов, проникнутых принципами братства и социальной справедливости. Надо не уметь читать или не желать прочесть, чтобы не узнать этой правды; надо закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы в самой жизни на каждом шагу не замечать слишком ясных подтверждений этой правды. И это все игнорируется, а «культуру» нашу видят исключительно в разделении посуды на мясную и молочную. Седьмичный и юбилейный годы, принцип субботнего отдыха, социальная проповедь Аммоса, мечты Исаяи о мире всех народов, наконец, самый культ книги,

благодаря которому до недавнего времени наши мужчины в Литве были поголовно грамотны по-еврейски, когда и в Западной Европе массы еще не умели читать ни по-какому, — таковы, казалось бы, наши «традиции». И если нам даже скажут, что не одни евреи, но передовые элементы всех народов теперь ратуют за участь бедных и за распространение знания, то мы ответим: следовательно, эти исконные традиции еврейского племени во всяком случае не зловредны и не враждебны прогрессу? Но теперь нам заявляют, что прежде, чем воспринять передовое мировоззрение, мы должны порвать с еврейскими традициями, потому что еврейские традиции выражаются в обязательном ношении нагрудника с кисточками...

Только не изучив, не продумав, не углубившись, и можно делать такие заявления. И тут я отмечу вообще одно характерное явление. Наши критики, особенно г. Каутский и г. Изгоев, несомненно, не признают феномена без причины. Столкнувшись с каким-нибудь историческим фактом, они не успокоятся, пока не откроют тех условий, которые вызвали его и даже необходимо должны были вызвать. Если притом факт этот не единичный, а повторный или, тем более, непрерывно-длительный, г-да Изгоев и Каутский никогда не усомнятся, что причина, обусловившая его, есть важная и могущественная причина, — и признают неучем всякого, кто допустит, что подобный исторический факт возник просто «так», без особенной надобности, а мог бы при тех же условиях и не возникнуть. Но как только дело коснется еврейского народа, картина меняется. Перед глазами такой яркий феномен, как почти двадцативековая борьба небольшого безземельного племени за свою национальную обособленность, борьба, в которой все выгоды, какие только можно придумать, были, бесспорно, всецело на стороне отступничества — и, тем не менее, отступничество не состоялось. Это — поражающе-длительный исторический факт, и казалось бы, что именно г-да Изгоев и Каутский, как исторические материалисты, должны были бы тут сказать себе: очевидно, тут действует какой-то могущественный фактор группового самосохранения, и с этим фактором нельзя не считаться. Вместо того наши критики здесь, очевидно, те-

ряют свой обычный компас, и не то вовсе игнорируют феномен, который мыслимо игнорировать, не то прямо относятся к нему так, как будто эта двухтысячелетняя мученическая самооборона не имела под собой никакого солидного императива и была чуть ли не плодом недоразумения, человеческой глупости, а теперь люди поуменьли и должны увидеть, что не из-за чего бороться... Г-да Каутский и Изгоев не могут не понимать, что такая точка зрения не только не напоминает о той строгой научности, которая обыкновенно отличает их школу, но просто лежит ниже уровня всякого научного мышления.

Это очень характерно. Дело в том, что вопрос о национальностях еще не разработан научно, особенно с точки зрения исторического материализма. Я не утверждаю, но не удивлюсь, если окажется, что с этой точки зрения — без крупных поправок (элементы которых, впрочем, уже имеются у Энгельса) он не может быть разработан. Во всяком случае, писатели, безошибочно орудующие в области, которая уже исследована и объяснена основателем их школы, совершенно теряются перед вопросами, которые основатель обошел молчанием. И если самостоятельная научная разработка этих вопросов не под силу таким солидным ученым, как Каутский, и таким серьезным публицистам, как г. Изгоев, то еще менее под силу оказалась она г. Бикерману, который, конечно, не может быть признан ни солидным ученым, ни серьезным публицистом. К г. Бикерману я и перейду.

Г-н. Бикерман выдвигает против сионизма следующие возражения:

История доказывает, что государство не может быть создано искусственным образом.

Сионизм зовет еврейские массы на путь наибольшего сопротивления, тогда как известно, что массы всегда стихийно движутся только по пути наименьшего сопротивления.

Сионизм есть движение чисто отрицательное, вызванное только антисемитизмом.

Сионизм есть движение реакционное и вредное.

Осуществление сионизма погубило бы еврейство как таковое.

Разберемся отдельно в каждом из этих возражений.

«Всемирная история, — говорит г. Бикерман на стр. 29, — не знает¹ случая, когда бы какая-либо группа людей — род, племя, народ, орда — вздумала бы в одно прекрасное утро создать государство, а вздумав, создала бы его. И в древние, и в новые времена государства являлись *результатом* деятельности человеческих масс, но никогда не служили *целью* этой деятельности». И в подтверждение г. Бикерман приводит эмиграцию «отцов-странников» в Новый свет, из которой потом возникли Соединенные Штаты, и великое переселение народов: ни «отцы-странники», ни варвары не думали, по мнению г. Бикермана, о создании новых государств, а просто шли в поисках удовлетворения своим насущным потребностям по пути наименьшего сопротивления, если их поселения потом развились в государства, это произошло само собою, а не по сознательно предначертанному плану...

Проще всего было бы ответить на это г. Бикерману, что прошлое не всегда может служить критерием для будущего. Можно было бы указать ему, например, на то, что в прошлом не только большие государства, но и отдельные города являлись *результатом* человеческой деятельности, а не *целью*. Движимые своими потребностями по пути наименьшего сопротивления, люди оседали в данном месте, строили себе землянки или шалаши, и через несколько столетий вырастал город. На этом основании двести лет тому назад г. Бикерман легко мог бы выступить с уверением, что «история не знает случая, когда бы человек вздумал в одно прекрасное утро создать город, и вздумав, создал бы его». Тем не менее Петр Великий вздумал создать посреди болота город и создал его; а в наше время, как известно, в Северной Америке такие «искусственные» города возникают сплошь и рядом, по произволу промышленных компаний и даже отдельных богачей. И далее можно было бы указать г. Бикерману, что, например, и союзы или сообщества между отдельными гражданами являлись некогда *результатом*, а не *целью* человеческой де-

¹ А негритянская республика Либерия, созданная американскими филантропами, ныне насчитывающая несколько миллионов свободных черных граждан (эмигрировавших из Сев. Америки) и официально державами признанная за самостоятельное государство?

См. Паперин «Либерия» («Евр. жизнь», сентябрь 1904 г.).

тельности. Любая популярная книжка по социологии напомнит г. Бикерману о том, как бессознательно побуждаемые общностью интересов отдельные индивиды инстинктивно оказывали друг другу поддержку против тех граждан, интересы которых были враждебны их интересам, и из этой естественной взаимопомощи мало-помалу, без всякого уговору, развились прототипы нынешних трестов, синдикатов, профессиональных и даже партийных союзов. А теперь эти союзы возникают так: «несколько человек, вздумав в одно прекрасное утро» создать общество хотя бы N-ских врачей, созывают «учредительное собрание», вырабатывают устав, посылают его на утверждение, и затем, если в N-ске достаточно врачей, общество будет процветать, несмотря на то, что оно создано искусственно и явилось не результатом, а сознательной целью. И далее можно было бы обратить внимание г. Бикермана вообще на то, что во всех областях прежние «результаты» мало-помалу становятся «целями». На то человечество и умнеет, чтобы пользоваться прежними опытами. Первая плотина возникла, без сомнения, случайно: обвал загородил поток — и вода разлилась; человек заметил это и на следующий раз уже сам нарочно запрудил реку. По преданию, изобретение пороха явилось невольным «результатом» того, что монах Бертольд Шварц невинно толок в ступе серу, селитру и уголь: а теперь изобретатели годами работают с сознательной «целью» найти X-лучи или создать граммофон, и это им удастся. Нельзя же требовать у людей, чтобы они ничего не замечали и ничему не научались. Пусть первые массовые эмигранты даже не подозревали, что из их переселения получится новое самостоятельное государство, ведь *мы*-то уже знаем, что у первых эмигрантов получилось государство, и если теперь и мы хотим эмигрировать, то не можем же мы не рассчитывать или хоть не надеяться, что и наше переселение приведет к тому же «результату»; и неужели только потому, что мы, наученные чужим опытом, ожидаем этого «результата» и активно готовимся к нему, нас должна постигнуть неудача? В этом нет логики.

Но, собственно говоря, все эти доводы понадобились бы только тогда, если бы сама по себе философия истории г. Бикермана выдерживала критику, если бы, действительно, существовала *принципиальная* разница между сионизмом

и другими, уже бывшими массовыми переселениями, приведшими к возникновению новых государств. В сионизме заключаются два основных принципа: во-первых, массовое выселение на одну и ту же территорию, во-вторых, автономия, т.е. гарантия самоуправления. Эти же два принципа неизменно присутствовали и до сих пор во всех исторических массовых переселениях, из которых потом возникли государства. «Отцы-странники», переселяясь в 1620 году в Северную Америку, не на то, конечно, шли туда, чтобы подпасть там под власть дикарей-туземцев. Они имели в виду очень основательную гарантию самоуправления — свои ружья и ножи. То же самое можно сказать и о великом переселении народов: подвигаясь в Европу, гунны меньше всего имели в виду стать там чужими подданными, а, напротив, полагались на свои мечи, как на полную гарантию автономии. Ни одно массовое переселение в те времена не совершалось и не могло совершиться без этой естественно-предполагаемой гарантии самоуправления. Сионизм, выставляя тот же принцип, не вносит ничего нового. Он только заменяет старинную кулачную форму гарантии формой договорной, и это строго соответствует характеру нашего времени. Все вообще кулачные формы гарантии понемногу вымирают и заменяются договорами. Дуэль, т.е. кулачная гарантия неприкосновенности индивида, и война, то есть кулачная гарантия неприкосновенности агрегата, постепенно уступают свое значение договорному учреждению третейского суда. Гунны, переселяясь в Европу, гарантировали себе автономию, и мы, переселяясь в Палестину, должны ее гарантировать; но их гарантия, сообразно духу того времени, заключалась в кулачном праве, а наша, сообразно духу нашего времени, должна выразиться в договорной форме чартера. Это так же естественно и так же мало изменяет сущность дела, как то, например, что гунны переселялись на конях или в кибитках, а мы поедем на винтовом пароходе.

Столь же основательно и другое историко-философское соображение г. Бикермана — что «сионизм предполагает движение в сторону наибольшего сопротивления» (стр. 35). «Люди... везде и всегда действовали под давлением своих повседневных (?) потребностей и нужд, и... их действия, как действия всякой силы в природе, направлялись в сторону наименьшего сопротивления» (стр. 29). И, говоря так, г. Бикер-

ман утверждает, что путь наименьшего сопротивления в данном случае есть борьба за свои права здесь, на месте прописки, ибо гораздо легче и проще добиться благополучия там, где уже обжился, чем ехать ради этого за море, на Бог весть какие труды. И тут же рядом г. Бикерман так объясняет причину эмиграции «отцов-странников»: «Пуритане искали свободы совести и спокойствия. То и другое можно было в то время найти лишь за океаном, и они переплыли океан» (стр. 29). Странно: ведь по г. Бикерману им легче и проще было бы остаться на старых местах и бороться за свои права, чем ехать за море к краснокожим, — и, собственно говоря, г. Бикерман должен признать их образ действий за явное уклонение от пути наименьшего сопротивления. Еще строже должен отнестись г. Бикерман к факту двухтысячелетнего сохранения еврейской народности... Евреев били, гнали и подвергали неумеренным поборам за то, что они были евреи; ясно, что их «повседневные потребности и нужды» систематически страдали из-за их принадлежности к еврейству. Где же был путь наименьшего сопротивления для выхода из этого положения? С точки зрения г. Бикермана нельзя не ответить: в отступничестве. Теперь, правда, и выкреста считают евреем: но, например, в Испании выкрестов поощряли и охотно женили на испанках. Это было проще и легче всего: перестать быть евреями, и «повседневные потребности и нужды» были бы удовлетворены. Вместо того мы видим, что евреи всем жертвуют и не сдаются. Г-н Бикерман не может, если он последователен, не констатировать и здесь упорного и систематического уклонения от пути наименьшего сопротивления. Иначе — как он объяснит себе эту загадку? Что касается нас, то мы объясняем ее себе очень просто. Массы направляются к удовлетворению своих властных потребностей всегда по пути наименьшего сопротивления, и совлечь их с этого пути немислимо, — но, очевидно, не г. Бикерману дано знать, какие потребности для масс суть наиболее властные и какой путь является для них путем наименьшего сопротивления. Если евреи столько веков страдают за свое еврейство, значит, в них есть какая-то властная потребность охранять свое еврейство, и отказ от этой потребности был бы для них неизмеримо труднее, чем отказ от свободного удовлетворения своих «повседневных нужд». И если пуритане, очутившись в положении, подобном

положению евреев, сразу почувствовали, что в данном случае путем наименьшего сопротивления для них является не борьба на месте, а массовая эмиграция, — то евреям, которые больше пуритан пострадали и больше успели извериться в возможность когда-нибудь жить по-человечески в голусе, и подавно путь исхода не может не представиться, как субъективно, так и объективно, путем наименьшего сопротивления.

Уже одно это доказывает, насколько неосновательно третье возражение г. Бикермана, — будто бы сионизм есть движение чисто отрицательное, вызванное только антисемитизмом, и «сионистская идея явилась на свет Божий или как результат оскорбленного самолюбия, или как результат панического страха, охватившего людей в то время, как над их головой разразился громовой удар» (стр. 62). Много раз гремел над евреями гром, и если бы им нужно было *только* избавиться от грома, то они сто раз успели бы укрыться от него в сторону бикермановского «наименьшего» сопротивления, т.е. путем отречения от того, за что их громили. Когда человека изо дня в день бьют за то, что он, скажем, носит бороду, то ему проще всего — сбрить эту бороду; и если он так поступит, это будет, несомненно, чисто отрицательный шаг, вызванный исключительно гонениями; но если человек, несмотря ни на какие муки, все-таки не жертвует бородой и в конце концов уходит прочь от насиженного угла, то не ясно ли, что ему важнее всего сберечь бороду, а не бежать от побоев, ибо для спасения от побоев есть более простое средство — срезать бороду. Если бы все дело для нас было в антисемитизме, мы звали бы к тому, что проще всего — к отречению от «семитизма». Это и было бы чистое бегство, совершенно отрицательное движение, порожденное только гонениями. Но если мы, вместо отречения, призываем друг друга к такому делу, которое всем кажется очень трудным, а кое-кому даже неисполнимым, — то не ясно ли, что мы не столько спасаемся от гонений, сколько спасаем «бороду», охраняем и сберегаем нечто *положительное*; что мы не просто бежим, куда глаза глядят, только потому, что нас хотят бить, но несем с собой что-то нам дорогое, какой-то цветок, который хотим снова посадить в родную землю, выхолить и вырастить. Исполнимо ли это желание или нет, — но не видеть его, не понимать, что

именно этот положительный императив есть основной импульс сионизма, и сводит всю теорию последнего к боязни грома, когда для спасения от грома простейшим средством был бы не сионизм, а отступничество, — все это возможно только при условии безнадежной поверхности.

«Между сионизмом и антисемитизмом существует родство по духу, — говорит г. Бикерман на стр. 41—42, — в основных своих посланках сионизм есть возведенный в принцип антисемитизм... Макс Нордау говорит, что антисемитизм будет существовать в самом отдаленном будущем, ибо он находится в тесной связи с основными свойствами человеческого мышления и чувствования»... Любопытно, между прочим, что Каутский в этом случае согласен с Нордау, ибо утверждает, что антисемитизм исчезнет только тогда, когда исчезнут «семиты», и Каутский, таким образом, тоже оказывается, по г. Бикерману, в духовном родстве с Дрюмоном. Но это в скобках. Суть же в том, что г. Бикерман очень ошибается, если думает, что ссылка на антисемитизм есть *основная посылка* сионизма. Ничего подобного. Наше движение еще очень молодо и ждет еще своего научного теоретика, — но мы все прекрасно понимаем, что в схеме теоретического обоснования сионизма и антисемитизм, и *Judennoth* будут играть только самую скромную роль. Можно предвидеть, что схема эта будет приблизительно такова: каждая расово-национальная группа естественно стремится к полной самобытности всех форм и приемов своей хозяйственной жизнедеятельности; поэтому перспектива ассимиляции вызывает в этой группе отпор, борьбу за национальное самосохранение; этот импульс национального самосохранения, после потери *естественного* изолирующего средства — национальной территории, заставил еврейство *искусственно* оградить себя от слияния с другими народами стеной религиозного догмата; теперь, когда новые социально-экономические условия разрушили гетто и ворвавшаяся в него культура бесспорно осудила догмат на гибель, так что *искусственная* стена, ограждавшая еврейство от растворения в чужой среде, пала, — импульс национального самосохранения побуждает еврейство стремиться к восстановлению *естественного* изолирующего средства, т.е. автономной рациональной территории, чтобы обеспечить навсегда еврейской национальной

индивидуальности полную всестороннюю свободу самобытной социально-хозяйственной жизнедеятельности. Антисемитизм в этой схеме явится только второстепенной подробностью¹. Макс Нордау никогда не был и не собирался быть теоретиком сионизма и даже не посвятил этому движению пока ни одной крупной работы. Нордау — агитатор сионизма, а как довод для сионистической агитации антисемитизм, особенно «возведенный в принцип», конечно, весьма удобен и полезен. Нет сомнения, что антисемитизм сильно содействует пробуждению национального чувства; но «пробудить» не значит «создать». Роль антисемитизма, как я уже заметил однажды печатно, это — роль блохи, от укушения которой спящий может проснуться, но если он, проснувшись, принимается за творческое дело, то не ради нечистого насекомого, а ради того инстинкта жизни и работы, который в нем от роду заложен...

Не стану отвечать особо на четвертый довод г. Бикермана — о реакционном характере сионизма, так как об этом уже говорил выше; но нельзя не отметить, что тут автор пускается прямо в какую-то очень странную игру словами и понятиями. Сионизм есть *охранение*, говорит он, и потому сионистическая пропаганда «неизбежно реакционна» (стр. 40, 69). Г. Бикерман, кажется, заведовал одной общественной библиотекой. Он ее, несомненно, «охраняет» и не позволит взять из нее без отдачи ни одного тома. Следует ли из этого, что его деятельность реакционна? Нисколько. Хорошую вещь и надо «охранять», особенно когда ей грозит опасность. Лучшие люди России «охраняли» долгое время земство и суд присяжных. Г. Бикерман просто хотел поспекулировать словом «охранение», пользуясь тем, что оно в русской печати получило особую прискорбную известность. Еще менее красива другая попытка такой же спекуляции, которую мы находим на стр. 65: «Ничего нет дешевле, как стать сионистом. Для этого достаточно сказать себе: я — сионист — и заплатить 40 копеек. Никакой борьбы выдержать не приходится, *никаким* (??) преследованиям тебя не подвергают. Явный признак, что сио-

¹ Более подробно эта схема развита в брошюре автора: «Эволюция голуса», а также в предисловии к брошюре Шпрингера. — Synopticus'a «Государство и нация». (Издатели).

низм — сам по себе, а жизнь — сама по себе». Что это такое? Г. Бикерман не мог не знать, что за границей «нет ничего дешево», как записаться в какую угодно партию: «достаточно сказать себе» и т.д., и за это тоже не подвергают никаким преследованиям. Явный признак, что за границей все партии сами по себе, а жизнь — сама по себе?.. Что это такое, легкость мысли или недобросовестность?

И тут бросаются в глаза некоторые странности. «Народ, тратя свои силы на создание нового государства, неминуемо отстал бы в культурном развитии. Тут мы уже имеем дело... с истиной, подтверждаемой всей историей человечества» (стр. 53). «Нам предлагают... уйти, чтобы начать на новом месте счет мучающихся поколений сначала, чтобы лишь столетия спустя дойти до того положения, в котором мы находимся теперь!» (стр. 46). Как же так? Все грамотные люди знают, что именно те народы, которые создали новые государства, например североамериканские и австралийские переселенцы, колоссально шагнули вперед за самое короткое время и далеко обогнали «в культурном отношении» старую Европу. Опять-таки в любой книжке по социологии г. Бикерман нашел бы и подробности этого феномена, и его объяснение. Допускаю охотно, что г. Бикерман действительно знаком со «всей историей человека», раз он на нее «всю» ссылается, то в таком случае подобные выводы из этой «всей» истории еще раз неопровержимо говорят о самой легкомысленной поверхности. И тут нельзя кстати не вспомнить тех страниц (57—59), где г. Бикерман отрицает Judennoth. Я, к счастью, не обязан возражать на эту часть статьи, потому что Judennoth, на мой взгляд, не составляет краеугольного момента в обосновании сионизма. Но когда прочтешь это удивительное место, где с цифрами в руках доказывається, что евреи вовсе не угнетенный народ, а, напротив, весьма благоденствующий народ, то невольно хочется повторить вопрос: да что же это такое, наконец, — просто словеса или нечто похуже?

К той же категории отношу и последний довод г. Бикермана: что осуществление сионизма погубило бы еврейство. Вот образчик этого «пилпула»: «Ведет ли сионизм к сохранению еврейской расы и еврейской культуры? И на этот вопрос я отвечаю: из всех путей, ведущих к исчезновению того и другого, путь в Сион наиболее короткий. И это мое утверждение

подкрепляется каждой страницей всемирной истории... Разве не показывает вся история, что именно в том огромном котле, в котором выварились государства, исчезали племена и сливались в одну массу различные расы... Где же теоретики сионизма нам доказали, что на почве Палестины, куда они нас зовут, процесс государственного строительства не будет сопровождаться тем же смешением племен?» (стр. 51—52). Опять словеса, опять верхоглядство. Когда на одной и той же территории сошлись для «государственного строительства» и англы, и саксы, тогда получилась, действительно, смешанная раса англо-саксов. Но осуществление сионизма должно по схеме сионистов заключаться не в том, что «государственным строительством» в Палестине займутся евреи плюс еще какие-то другие народности, а в том, что *евреям* удастся добиться уступки Палестины *евреям* же для создания там *еврейского* государства. Никто не придет нам помогать (придут, пожалуй, мешать, — но уже это особый вопрос), и не с кем будет нам смешиваться. Разве с туземными арабами? Смею уверить г. Бикермана, что эта горсть арабов обнаружит тогда ровно столько же охоты к слиянию с нами, сколько мы теперь к слиянию с господствующими нациями голуса...

Пробежав этот обзор нескольких опытов прямой или косвенной критики нашего движения, читатель, конечно, заметил, что из всех оппонентов один только г. Бикерман нападает на нас с таким шумным апломбом полномочного ревизора от науки — причем даже минутами совершенно невольно вспоминается соответствующая комедия Гоголя. Это послужит мне оправданием, если против моей воли в последней части обзора у меня вырвались, быть может, несколько резкие выражения. Они, во всяком случае, не могут быть отнесены к остальным критикам: последние, во-первых, не чета г. Бикерману, — а во-вторых, гораздо скромнее. Сознывая, очевидно, что настоящей научной разработки вопросов о национальности пока еще нет, они без апломба и треска излагают свою отсебятину, не браня при этом инакомыслящих неучами и не призывая в свидетели «всю» историю. В них не видно желаний взвалить непременно всю ответственность за их собственные домыслы на плечи «науки». Это почтительное отношение к последней делает им, сравнительно, честь. Но не делает им, к сожалению, чести их несдержанное и невдумчи-

вое отношение к еврейскому национальному движению. Мы не можем требовать от них сочувствия; но презрительно третировать столь крупное течение, критиковать его запросто, между делом, «домашними средствами», упразднить его одним кляксом пера — это, прежде всего, не доказывает глубокого и серьезного взгляда на вопрос. Где налицо имеются, как никак, десятки тысяч людей с определенным практическим идеалом, там можно соглашаться или нет, содействовать или бороться, но только поверхностный ум может отделаться пожиманием плеч или воплями о реакционности движения, и всего менее уместно в этих случаях слово «утопия» — жалкое слово из словаря трусов, повторять которое неприлично серьезному человеку. Многие, что полвека назад еще называли утопией, теперь завоевывает мир. Господа Каутский, Изгоев и Южаков не могут не знать этого. Именно потому, что я совсем не считаю их людьми поверхностными, я настаиваю, что этим своим легким отношением к сионизму они, прежде всего, высказывают недостаточное уважение к самим себе.

И поэтому надо в заключение сказать, что если наши критики впоследствии глубже и вдумчивее отнесутся к нашему движению, они в гораздо большей степени окажут услугу самим себе, нежели нам. Что касается нас, то всякое выражение сочувствия со стороны — нам весьма приятно и дорого; но не следует думать, будто сионизм бредет по своему пути с протянутой рукой, выпрашивая у посторонних подачку сочувствия. Мы, прежде всего, помним, что не симпатии посторонних людей спасут нас, а наша самостоятельность. Ту поддержку общественного мнения, которая необходима для осуществления нашей задачи, мы не выклянчим, а завоеваем этой самостоятельностью. Поэтому доброе слово постороннего не может привести нас в восторг, и неодобрение постороннего не способно смутить нашу решимость. Мы идем по нашей дороге потому, что непреодолимый внутренний императив так велит, и сила этого императива ручается нам за его жизненность и ценность. И глубоко в то же время сознавая себя честными друзьями братства и прогресса, мы не должны оглядываться ни направо, ни налево и не станем дожидаться похвалы ни от чужих, ни от тех, которые хотят быть чужими. Родина Гарибальди, возрождаясь, отказалась от посторонней помощи; она провозгласила принцип «L'Italia tará de sé» —

Италия сама себе поможет — и сим победила. Этот завет должны помнить и мы. Обучая наших детей говорить на языке Торы, мы пользуемся при обучении только языком Торы: в этом заключается образцовый метод. Возрождение нашего народа совершится по тому же способу, как и возрождение нашего языка: иврит бе-иврит...

АКТИВИЗМ

I

Активизм — это именно то, чего не хватает сионистскому движению. В течение последних лет оно превратилось, особенно в России, в организацию, которая не перестает заниматься дискуссиями и чрезмерным копанием в мелочах. Что бы ни случилось, оно видит свою единственную обязанность в том, чтобы определить свою собственную позицию по отношению к новому явлению или событию и тем самым успокоиться на некоторое время. Но и с определением своей позиции оно всегда приходит с опозданием. Целых пять лет еврейский мир был взбудоражен «войной языков», а движение продолжало хранить молчание. Делая вид, что вообще не замечает распространившейся дискуссии и не придает никакого значения ее важности, движение удовлетворилось пустыми заумными фразами. В конце концов, благодаря лишь оппозиции, которой удалось поставить на утверждение комитета некоторые решения проблемы языков, были предприняты все средства для того, чтобы, не дай Бог, не выйти за пределы чисто теоретической «позиции», и вопреки воле комитета до сих пор не создана ни одна школа, не издан ни один учебник. Но еще более удручает то, что мы наблюдаем в вопросе отношений между поляками и евреями. Наше руководство с самого начала совершенно замалчивало весь этот конфликт — «активно замалчивало», поскольку не разрешало ни писать о нем, ни касаться его с трибуны русского конгресса. Затем, слава Богу, наконец-то разрешили писать о нем, но не более того. Никаких действий, никакой добровольческой активности, никакой программы самообороны. И за это жестоко заплатились. Можно привести целый ряд

подобных фактов. И напротив, крайне трудно, или почти невозможно, найти хотя бы один факт, свидетельствующий об иной ситуации. Единственное исключение — Эрец-Исраэль (Палестина). Там, на месте, каким-то образом было сделано кое-что существенное — да и то только после упорной борьбы. Но, помимо Эрец-Исраэль, нам просто не давали возможности заниматься какой-либо общественно-политической деятельностью. Движение, которое насчитывает тысячи евреев, в рядах которого находятся торговцы, учителя, ремесленники, юношество — все элементы, необходимые для активной деятельности, это движение принуждают заниматься одним лишь критиканством. Но постепенно критиканство надоело и исчерпало себя. В тех случаях, когда дело касалось критики на еврейскую действительность, критика превращалась в психоз, когда же критика шла со стороны других еврейских течений, то принимала характер ссор. И вот прошло уже десять лет, а нас все еще продолжают воспитывать в том же духе.

К нашему счастью, эта болезнь и подобный метод воспитания принципиального безделья не получили отклика в нашем всемирном движении. На конгрессах господствовали организации стран центральной Европы, привыкшие к здоровой деятельности в своих странах. Но когда началась война и весь мир разделился на два лагеря, то принцип бездеятельности взял верх именно в той части мира, с которой были связаны наши лучшие шансы и надежды. В четырех странах Антанты единственная сильная сионистская группа — российская, которая ныне ратует за «политически-дипломатическую деятельность». Вполне естественно, что эта деятельность почти равна нулю. И если, на наше счастье, все еще можно сказать «почти», то в этом личная заслуга одного человека¹ из Манчестера. Благодаря ему была подготовлена почва в некоторых влиятельных кругах Англии. Если бы не он, то положение в Англии было бы такое же, как и в других странах Антанты: состояние полного бездействия. В качестве

¹ Имеется в виду Хаим Вайцман, помогавший Жаботинскому установить контакты с людьми, которые могли способствовать положительному решению вопроса о создании еврейского легиона. (Прим. ред.)

доказательства тому, как действует движение в странах Антанты, можно привести несколько примеров. Не так давно я провел два месяца в России и встречался там со многими русскими политическими деятелями. Никто не может поручиться, будет ли после войны у этих политических деятелей прямое влияние на вопросы международной политики. Напрасно искал я в их политической психологии что-либо, отдаленно напоминающее контакт с сионистскими функционерами. Несмотря на то, что живут они в том же городе, по соседству с нашим руководством, большинство политиков просто ничего не слышали о сионизме, продолжает ли он существовать, намеревается ли выдвинуть какие-либо требования. А если что-нибудь и слышали, то, во всяком случае, не от наших функционеров, а из русской прессы, в которой на эту тему писал Амфитеатров.

Один из этих политиков спросил меня: «У вас, конечно же, есть книга, в которой указаны все ваши требования, итоги поселенческой деятельности, финансовое положение и тому подобное. Я бы хотел прочитать ее». Я немного замаялся, но в конце концов ответил, что такой книги на русском языке нет... Но нам ведь известно, что подобной книги не существует ни на французском, ни на английском, ни на каком другом языке (я не говорю о брошюрах, с помощью которых сейчас ничего и никому невозможно доказать). До сих пор нет ни приличной монографии, ни веского меморандума, которые можно было бы предложить человеку, привыкшему к чтению политической литературы. А собственно говоря, к чему все это? Кому мы предложим такую книгу, если мы ни с кем не ведем переговоры? Во Франции о нас не знают и смотрят на нас с удивлением, лишь только слышат слово «сионизм», или, в лучшем случае, нас принимают за что-то вроде «Армии спасения» или приверженцев эсперанто или вегетарианства. Та же ситуация в Италии.

Но печальнее всего не то, что мы бездействуем, а то, что не существует вообще никаких планов, даже целей нет. Наше руководство довольствуется той мерой деятельности, которую они сами разрабатывают, и раздражается, когда другие не испытывают подобного удовлетворения. В последний период некоторые группы выдвинули три-четыре основных требования, которые должны были внести живительную

струю в аппарат, переставший функционировать. Эти требования следующие: создание коалиционного руководства (с участием оппозиции, так называемой политической оппозиции); создание дипломатических представительств во Франции и Италии; опубликование на французском языке «Бело-голубой книги».

Люди, которые пришли к нам недавно, вообще не могли понять, как можно в такой час не согласиться на столь важные основные требования. Но у нас они наткнулись на бурю гнева и резкое сопротивление. Наше руководство довольно, и посему мы тоже должны быть довольны.

Речь не идет только об отсутствии талантливых людей, в данном случае имеет место какой-то патологический страх перед всякого рода действием, что-то вроде отвращения перед созидательным шагом, каким бы ничтожно маленьким он не был. Нужно быть слепым, чтобы не видеть в этом болезни. Я не воспринимаю ее как болезнь органическую, скорее это не что иное, как результат влияния определенного воспитания, оставившего глубокий след. И сейчас, в этот исторический момент, который может никогда в жизни больше не повторится, в этой болезни есть нечто катастрофическое. Мне часто кажется, что она уже принесла нам несчастье, что уже поздно исправлять нанесенный ущерб, что мы уже не в состоянии угнаться за событиями. И все же, пока есть у нас единицы, которые еще не погублены сознанием собственного бессилия, они должны бороться. И я надеюсь, что они будут бороться во имя того, что столь трагическим образом не достает нам — за активность.

II

Что же касается тех немногих искренних людей, следящих за событиями в Эрец-Исраэль с самого начала войны и не желающих допустить, чтобы их водили за нос, то им совершенно ясно, что сейчас происходит.

Турецкое правительство использовало войну и отмену капитуляций для того, чтобы начать кампанию против сионизма и поселенческой деятельности. Эта «кампания» продолжалась три месяца и по четкому плану ее организаторов

должна была завершиться погромом. Но в последний момент турки были вынуждены воздержаться от погромов и весь этот «поход» пришел к концу. Они были вынуждены поступить подобным образом, потому что в это дело вмешалась Америка, которая оказала серьезное дипломатическое давление на Берлин и Константинополь. Вмешательство Америки было не случайным и не само собой разумеющимся. Оно произошло по двум причинам. Первая причина — посол Моргентау, который всегда считался «хорошим правителем» в глазах поселенцев, с самого начала чувствовал большую опасность. И все же до его дворца в Константинополе не дошло и сотой доли того, что в действительности происходило в Эрец-Исраэль. Посему важную роль сыграл второй фактор, приведший к вмешательству Америки — Александрийский комитет, постоянно находившийся в контакте с американскими должностными лицами, которые собирали сведения о положении в Эрец-Исраэль. Александрийский комитет довел до сведения американской и европейской прессы некоторые шаги, предпринятые турецкими властями, не давая им возможности скрыть их от общественного мнения. И наконец, когда в его руки попал напечатанный черным по белому манифест о погроме, комитет обратился к президенту Вильсону с просьбой о помощи. «Не для того, чтобы защитить жизни и имущество наших близких, просим мы вашей помощи, — было сказано в телеграмме, — а ради высшего принципа, во имя которого они трудятся». Через две недели после этого призыва Джамаль-паша получил из Константинополя соответствующий совет и прибыл в Тель-Авив, чтобы восстановить мир. И ненавистным гонениям пришел конец.

В качестве благодарности за столь важную роль, которую сыграл Александрийский комитет в этом деле, его не перестают обвинять во всяческих грехах и преследуют бессовестными оскорблениями. В комитет входили люди рассудительные, старожилы Эрец-Исраэль, опытные функционеры и преданные друзья Турции. Все они находились в том возрасте, когда убеждения меняются только лишь вследствие острой необходимости момента и важности событий. Александрийский комитет не сделал ни одного неверного шага. Он действовал осторожно и только на основании действительно хорошо проверенных фактов. И даже если бы он сде-

лал сто неверных шагов, обвинять его было бы просто бессовестно, особенно учитывая тот факт, что обвинения эти были со стороны тех людей, которые в то страшное время спокойно сидели в своих уютных домах, читали телеграммы из Александрии и высказывали свое мнение вместо того, чтобы прибыть в Александрию через Румынию и Салоники — путешествие, которое можно совершить за 18 дней! Почему же эти господа не приехали в Александрию? Мы их там ждали, мы были уверены, что после прочтения первых телеграмм, они сдвинутся наконец с места и приедут к нам. Они приедут, они возьмут в свои руки политическое руководство, они будут следить за сообщениями, составят телеграмму в Америку, они, вооруженные умом и опытом, позаботятся о том, чтобы не было сделано ошибочных шагов. Почему же никто из них не прибыл?

И есть еще одна интонация, которая, к величайшему сожалению, слишком часто и слишком громко слышится в то время, когда говорят о происходящем в Эрец-Исраэль. Ввиду того, что погром в конце концов не произошел и турки были вынуждены приостановить изгнание евреев, поэтому добросердечные люди решили, что все это дело выеденного яйца не стоит.

Кампания против поселенческой деятельности, продуманная кампания, систематичная, целью которой было одним ударом уничтожить все основы ишува — независимое руководство, язык, школу, охрану, прессу, банк, — все это в их глазах выглядит ерундой, так как нас не избивали, а до тех пор, пока нас не бьют, мы не в обиде. Для того чтобы думать и чувствовать таким образом, нужно смотреть на гражданскую жизнь странными глазами, по всей видимости теми особенными глазами, о которых Бялик говорит: «глаза избиваемых рабов». Я признаюсь, что не отношусь к тому сорту людей, которых Господь наделил такими глазами. Я запрещаю не только резать мой народ, но и не желаю, чтобы в него плевали даже самый мизерный плевок. Я запрещаю относиться к моему народу с пренебрежением, к его языку, к его банку и особенно к его идеалам, в частности и в Эрец-Исраэль. Тот, кто делает это, ненавидит меня, и я ненавижу его, безотносительно к каким-либо причинам, по которым можно было бы простить, и несмотря на то, что

в стихотворении Бялика упоминаются гораздо худшие вещи. Я так считаю, и я верю, что так считают многие. Особенно важна такая позиция в Эрец-Исраэль, где мы стоим перед лицом всего мира и требуем наши права. Ни один человек не может защищать свое право до того, как он сам поверит, что право его неуязвимо. Ишув священен в той же степени, как священна Тора. Тот, кто поднял на него руку, — преступник. Мы когда-нибудь еще будем нуждаться в суде народов. Не давайте им привыкнуть к мысли, что если нас бьют слабо, всего лишь носком сапога, то мы не обижаемся, мы привыкли к этому. Все это касается всего Израиля, и особенно Эрец-Исраэль.

Все это написано не с целью пробудить ненависть по отношению к туркам. Мне совершенно безразлично, будем ли мы их любить или ненавидеть. Важно, чтобы глаза наши открылись и мы поняли суть и значение событий, происходивших в Эрец-Исраэль. А мораль проста: под любым турецким правительством у сионизма в Эрец-Исраэль нет надежды. В сущности я не понимаю, почему столь трудно внедрить в наше сознание эту истину. Кто из сионистских функционеров не знает этого? Кто не знает, что с начала 90-х годов «старое» турецкое правительство запрещало евреям-иностранцам оставаться в Эрец-Исраэль более трех месяцев, и до сегодняшнего дня «младотурки» не желают отменить этот запрет? Кто не знает, что вся наша деятельность в Эрец-Исраэль существовала и развивалась только благодаря капитуляциям, которые лишали турецкого чиновника власти над «приезжими»? Началась война, исчезли капитуляции, и все остальное произошло чисто механически. Турки ясно объяснили нам, что они нас не хотят и, следовательно, нам с ними не о чем больше разговаривать. И еще довелось нам услышать такой многозначительный вопрос: «А откуда нам знать, что турки в один прекрасный день не изменят свою точку зрения?» Никто не может поручиться за то, что может произойти в будущем. Кто знает, может быть, в один прекрасный день и румыны предложат нам равноправие, а поляки даже предложат национальные права! В политике не занимаются решением ребусов. Если в течение тридцати трех лет люди бьются головой об стенку и ничего из этого не выходит, значит, есть необходимость искать другие, новые пути. Были

Ховевей-Цион, был Герцль, сейчас прошло уже одиннадцать лет со дня смерти Герцля. Три периода, три поколения сионистов стучались в турецкую дверь: и в дверь «старого» турецкого правительства, и в дверь «младотурков»; всеми способами доказывалось, что Оттоманская империя может только выиграть от сионизма (и это святая правда). И вот результат. Я думаю, что на этом мы можем поставить точку. Хватит!

III

Из того, что было сказано выше, можно сделать два вывода: первый — не в наших интересах, чтобы Эрец-Исраэль продолжала оставаться в руках Турции. Второй — если Турция против нас, нам необходимо искать других союзников и друзей. И ввиду того, что сейчас, в 1915 году, политические дела ведутся только на основе точного и открытого расчета, так, что все видят, кто кому друг и кто кому враг, то и нам придется подписать новый союз в открытую, на глазах всего общественного мнения.

На это наши «пассивисты» отвечают: «По нашему мнению, политический поворот связан с большим риском. Во-первых, война может закончиться таким образом, что Эрец-Исраэль останется в руках турков еще на продолжительный период; во-вторых, турки вообще могут рассердиться и вырвать с корнем все наши поселения».

По поводу риска можно дискутировать двумя способами. Во-первых, нужно выяснить для себя, существует ли реальная опасность. На это можно отвечать пространно. Но вопрос о риске можно, и даже нужно, представить в более широком объеме. Поскольку это поможет четко, хотя и косвенным образом, выявить глубокое противоречие между двумя мировоззрениями, мы поднимем этот вопрос и будем обсуждать его.

Пытаться же отгадать, кто выиграет, — занятие абсолютно лишнее. Но одно нам ясно: если Эрец-Исраэль останется в руках нашего врага, то тогда вдвойне важно, чтобы были у нас в мире друзья и союзники. Нам прекрасно известен неписанный закон по этому поводу: еврею нельзя искать

себе каких-либо союзников за границей. Иначе, раздражение его «хозяина» по отношению к нему только возрастет. Следуя этому многозначительному указанию, польские евреи все время будут продолжать обещать своим «хозяевам», что они не будут добиваться, не дай Бог, какого-либо вмешательства вне Польши. И они никогда и никоим образом не будут действовать заодно с внешними политическими силами. И к чему же привел этот метод? Купили ли мы этой тяжелой ценой хотя бы одного поляка, удостоились ли мы его дружбы? Спасли ли мы таким путем наше население от польской ненависти? Мы добились только одного: поляки полностью прекратили считаться с нами. Едва лишь исчезла угроза, перед которой поляки действительно трепетали, и немедленно евреи в их глазах превратились просто в мелкое насекомое, да к тому же не ядовитое насекомое, которое можно раздавить босыми ногами.

Против этой многозначительной, но обанкротившейся сто раз политики мы выставляем другой принцип: если против нас поднимается враг, мы должны искать себе союзника, и искать его нужно именно среди врагов врага нашего. Если мы поступим таким образом, то ясно, что наш враг усилит свою ненависть. Возможно, если обстоятельства позволят ему, он в первый период даже усилит преследования. Это неизбежно в любой борьбе, в любой момент разжигания страстей. Всегда и везде первый период связан с эскалацией преследований. Нельзя принимать в расчет этот фактор момента, если нет намерения полностью отказаться от политической активности. Но по стопам такой бури приходит черед второго момента: и к этому времени с вами уже начинают считаться.

Именно потому вы враг и союзник врага, именно потому, что вы не позволяете, чтобы они вас топтали, к вам относятся с уважением и считаются с вами. К сильному врагу прислушиваются больше, к слабому — меньше. Но к «безвредному» не прислушиваются вообще. Поэтому самая большая опасность — остаться в одиночестве и беззащитными; в ситуации, когда есть враги, но нет ни единого друга. Тот, кто не понимает эту простую истину в политике, продолжает плестись по старому пути. Мы этого не желаем и не допустим. Мы хотим, и в конце концов добьемся, чтобы всякий, кому взбредет на ум уничтожить ишув, — будь то Дамовский или Тлаат будет

знать, что хотя бы часть еврейского народа всеми своими силами постарается отомстить за его деяния и будет помогать его врагу.

Совершенно понятно, что немедленно припоминают знакомый с давних времен припев: «мы слабые, мы маленькие, мы беспомощные и бессильные; нас можно пальцем растереть, нас никто не боится», и так далее. И этот старый напев выглядит в наших глазах пустой болтовней, выражением праздного скептицизма, ставшего в последнее время основным мотивом галутской критики. И действительно, человек должен был сделать из своего скептицизма увлекательный спорт, чтобы не увидеть, что, несмотря ни на что, еврейство представляет собой некую международную политическую силу и что более всего ценят эту силу именно его враги. И мы подтверждаем, что именно они более близки к истине, чем сочинители песенок о нашем бессилии и ничтожности. Если мы ноль, то вообще не нужно вмешиваться в политику, не нужно погружаться в мечты ни о наших правах, ни о территории; не нужно бороться, нужно просто закрыть лавочку и отослать самих себя домой. Мы работаем, боремся, прокладываем себе дорогу вперед шаг за шагом именно потому, что представляем собой мировую силу. Такую мощь трудно мобилизовать и сконцентрировать, но она существует, и враги наши — поляки, турки и другие — верят в нее. Они только не верят в то, что она будет мобилизована против них. Так давайте же объясним им это раз и навсегда.

Именно в том случае, если сложится так, что Эрец-Исраэль останется в руках турок, решающее значение будет иметь для нас наличие союзников, которых боится Турция. Это единственное средство упрочить наш статус в Эрец-Исраэль, или, что более точно, это то, что останется от нашего статуса там.

Много ли останется от наших позиций в Эрец-Исраэль, никто не может нам гарантировать. Сам я считаю, что Эрец-Исраэль — это не Армения, и уничтожить ишув дело не такое легкое, как думали в первые годы войны генералы «младотурков». Если говорить откровенно, я считаю, что саранча¹ представляет собой гораздо более серьезную опасность, так

¹ В 1915 году сельское хозяйство Эрец-Исраэль пострадало от нашествия саранчи. (Прим. ред.)

как она не считается ни с влиянием евреев Нью-Йорка, Берлина, Вены или Будапешта, ни с дипломатами и конвоем. Но «младотурки» давно считаются со всеми этими факторами. Хотя и нет гарантии тому, что они вновь не попытаются устроить погром в Эрец-Исраэль. И зависеть это будет от того, как поведут себя евреи там.

Не следует из всего этого делать вывод, что ощущение возможной опасности должно связывать нас по рукам и ногам. Что касается нас, то нам, намеревающимся поставить ишув в положение «опасности», — нам ишув не менее дорог, чем «пассивистам». Мы были среди тех, кто сказал «нет»¹ на 6-м конгрессе, мы активно участвовали в борьбе за практическую работу в Эрец-Исраэль, голосовали за новый исполнительный комитет. И сейчас мы должны признать, что в своих усилиях «перегнуть палку в другую сторону» мы чересчур согнули ее. В последние годы исчез из нашего движения политический пафос, и сейчас мы платим за это дорогой ценой.

Нам не хватает политического подъема. Нет смысла, нет интереса и даже необходимости в политической работе, нет никакого плана и нет людей. Те, кто был с Герцлем, находятся за бортом, а у людей, которые «руководят» нами сейчас, обнаружилось слабые политические нервы. Я утверждаю это не только от своего имени, но и от имени многих других: не этого мы ожидали и не этого желали. Мы никогда не рассматривали ишув как самоцель. В наших глазах его основное достоинство заключалось в том, что мы видели в нем одно из сильнейших средств политического сионизма. Мы видели в нем один из путей, по которым можно добиться «чартера» или какой-нибудь замены «чартера»; короче говоря, политическую власть над Эрец-Исраэль. И если бы не это, мы бы и пальцем не пошевелили ради «практической деятельности». Для нас ишув был дорог, как одна из наилучших «выигрышных карт» в политической игре в будущем. И мы не можем дать согласие на то, чтобы ишув внезапно превратился в препятствие в этой решающей политической игре.

¹ Жаботинский говорит о делегатах, отклонивших «план Уганды». (Прим. ред.)

Сейчас стало понятно, чего опасался Герцль, когда отнеся с некоторым недоверием к ограниченному проекту поселений. Как-то раз, в частной беседе, он сказал: «В Торе сказано, что человек, который только что построил себе дом, не годен в солдаты». Герцль опасался, что этот дом превратится в самоцель; его мебель, его обои, постельное белье и все «домашнее», подобранное с такой гармонией, станут в его глазах более ценными, чем сама конечная цель, и, когда придет решающий момент (а решающий момент и опасность — суть синонимы), выяснится, что все «домашнее» превратилось в свинцовый груз, отягощающий наши ноги, и веревку, связывающую наши руки. Нет, на это мы не согласны. Ишув — это средство и только средство, и не более того. Если мы любим его, если нам дороги его зеленеющие сады, золотящиеся поля, его гордые бойцы и рабочие — все это не имеет отношения к сути дела. В наших глазах они — авангард. Иногда авангард должен нести большие потери, мы посылаем ему наше благословение и продолжаем идти своим путем.

Конечно же, будет очень больно думать, что той работе, которую проделали несколько поколений сионизма, грозит опасность. Но когда нам говорят, что «у нас нет никакого морального права» увеличить опасность, позволим себе с этим не согласиться. Этот довод менее всего подходит сионистам. Именно мы всегда обосновывали наши права на том, что не нужно считаться с опасностью. Когда политический сионизм только вышел на политическую сцену, то и тогда европейские ассимиляторы испугались «опасности». Их речи, в конечном счете, не были настолько уж глупыми: «Наши предки, родители и все мы сто лет трудились для того, чтобы достичь и укрепить равноправие, основанное на принципе, что евреи не чужаки, «свои», и нет у них никакой другой родины и нации. А сейчас приходите вы и хотите расшатать саму основу равноправия; вы заявляете, что у евреев есть другая родина и другая нация. Есть ли у вас моральное право подвергать опасности плоды трудов многих поколений?» На это сионисты обычно отвечали: «Да, у нас есть такое право» и, конечно же, были правы, поскольку у них была цель, ради которой стоило жертвовать.

То же самое было в Турции. Турецкие евреи говорили нам, что они живут в мире с турками, к ним относятся не так, как к грекам и болгарам, пытающимся захватить у Турции кусок земли. А сейчас приходите вы и хотите сказать туркам, что вы претендуете на часть турецкой империи. Знаете ли вы, что это значит? Есть ли у вас моральное право подвергать нас опасности? Мы ответили им: «Да, есть» и были правы.

А сейчас наша очередь. Я вновь повторяю: «Я считаю все эти разговоры об опасности на 3/4 пустой болтовней». Турки, возможно, попытаются спровоцировать что-нибудь в гневе, но от попытки до результатов расстояние огромное. Один раз они уже пытались, да ничего не вышло. А когда возникла необходимость и пришлось обратиться за помощью к президенту Вильсону, то трусы говорили, что именно сейчас начнутся настоящие преследования. Но все было наоборот. Только после этого пришел конец страшному периоду гонений. И когда наконец был создан в Александрии легион бойцов Эрец-Исраэль, то и тогда не реализовались самые черные страхи и предположения. Даже сейчас я считаю их бессмысленными на 3/4. Но даже если они и имеют какой-то смысл, мы все равно должны идти своим путем — путем активной политики.

1915

СИОНИЗМ И МОРАЛЬНОЕ ПРАВО

Существует мнение, что у еврейского народа нет «морального права» претендовать на управление в Эрец-Исраэль. Это аморально, поскольку еврейское население Эрец-Исраэль насчитывает всего 100 000 человек, тогда как арабское — 600 000, а это значит — требовать власти меньшинства над большинством. Евреи не имеют права рисковать и вредить себе, настаивая на подобных несправедливых требованиях. Единственное, на что мы имеем право, — это «свободная репатриация и поселенческая деятельность», но не более того.

Давайте внимательно рассмотрим эти доводы. Прежде всего, мы должны уяснить для себя, что «свобода репатриации и поселенческой деятельности», по существу, лишь

пустая фраза, не несущая никакого юридического содержания. Даже если бы эта фраза была занесена формально в решения международной мирной конференции, то и тогда реально она имела бы то же значение и ту же законную силу, что и знаменитый параграф Берлинского договора, по которому евреям Румынии «было обещано» равноправие. В 1878 на конгрессе в Берлине был подписан договор, 44-й параграф которого гласил о том, что Румыния обязуется предоставить равноправие всем нациям в стране, в том числе и евреям.¹

Мы не будем здесь говорить о принципах, зафиксированных в договоре. Вопрос заключается в том, кому будет передана власть фактически. Если власть будет находиться в руках правительства, враждебно относящегося к самой идее еврейского поселения, то такое правительство сможет свести на нет любой параграф и без всяких на то усилий. И для этого не будет необходимости запрещать репатриацию и поселенческую деятельность прямо, что попросту противоречило бы условиям параграфа. Для этой цели существуют тысячи других средств. Так, например, можно, ни словом не упоминая евреев, учредить законы о праве на владение имуществом или о принятии гражданства, или же муниципальные и политические законы для репатриантов, и так далее. Таким образом, можно привести к тому, что поселенческая деятельность сама по себе (так или иначе) натолкнется на железный барьер. В конце концов, с помощью всякого рода «провозглашений» и «административных процедур» можно сделать с тем или иным параграфом все, что душе угодно.

Посему, параграф, касающийся свободной репатриации, не дает никаких гарантий. Отсюда следует, что нам необходимо отказаться от идеи гарантий и привыкать к другой идее, суть которой заключается в том, что судьба поселения в Эрец-Исраэль зависит от доброй воли того или иного правительства. Или же мы должны идти прямо к цели и требовать реальных и истинных гарантий. Наиболее надежная гарантия следующая: предоставить нам власть в виде «чартера» или в любом другом виде.

¹ Обязательство не было выполнено. (Прим. ред.)

Именно этого и требует «Базельская программа». Но люди, подписавшие ее двадцать лет тому назад, вдруг опомнились и решили, что она аморальна. И сейчас они пытаются найти средство, с помощью которого можно одновременно и капитал накопить, и невинность сохранить. Один из них не так давно написал мне: «Я бы предложил такое соглашение, которое являлось бы и справедливым, и даже демократичным: не «чартер» мы должны требовать для себя, а просто автономию для Эрец-Исраэль. Парламент должен избираться всем населением, как еврейским, так и арабским. Избирательное право нужно предоставить всем, кто умеет читать и писать, не взирая на национальность и пол. По этой системе мы получим примерно следующие цифры: еврейское население Эрец-Исраэль составляет всего 100 000 человек, но при этом все взрослые мужчины и женщины умеют читать и писать; таким образом, еврейское население, обладающее правом голоса, составит примерно 40 000 человек. Количество арабов достигает 600 000 человек, но зато почти все женское население не отвечает поставленному условию, то есть половина населения немедленно отпадает; да и среди мужского населения, особенно в селах, не очень-то распространено искусство письма и чтения. А если мы продолжим и пойдем по этому пути, то можно будет ввести и систему образовательного ценза. Эта система существует в Англии и Бельгии. Она основана на том, что люди, скажем, со средним образованием имеют право на два голоса, люди с высшим образованием — на три голоса. Если ввести такую систему, то у нас, евреев, будет абсолютное большинство в первом парламенте. Первый парламент должен быть избран через 10 лет, и в течение этого времени мы сможем как следует укрепить свои позиции и в количественном отношении. Как Вам нравится этот план?»

Я не знаю, как ответить на такой вопрос. Возможно, это действительно премудрый план, но есть в нем слабая сторона, а именно: в глубине его скрыта мысль, суть которой в том, что такое идеалистически-справедливое дело, как передача Эрец-Исраэль в руки гонимого еврейского народа, с тем чтобы он мог создать там свой национальный очаг, такое глубоко этическое дело выглядит настолько аморальным и несправедливым, что его необходимо прикрывать всяческими выдумками.

Характерен и заслуживает внимания и тот факт, что с подобными претензиями на «этичность» приходят только к евреям. Никому и в голову не придет серьезно требовать от Англии отказаться от Египта только лишь потому, что в Египте проживают одиннадцать миллионов арабов и только двадцать тысяч англичан. В Южной Африке есть четыре миллиона «черных» и один миллион «белых» — но у власти находятся «белые». В Индии — двести миллионов индусов (в четыре раза больше количества англичан в Англии), но у власти англичане, хотя их всего приблизительно сто тысяч. В Алжире четыре с половиной миллиона арабов и полмиллиона французов, но власть в руках меньшинства. Кажется, только от евреев требуют быть супер-этичными. Более того, наши моралисты сами вовсе не желают, чтобы в Эрец-Исраэль у власти находились местные арабы. Они хотят, чтобы страной управляла какая-нибудь держава, относящаяся с симпатией к еврейскому поселению и его деятельности. Одни считают, что такой державой может быть Турция, другие предпочитают Англию. Но и тем и другим кажется, что крайне «справедливо» будет, если в Эрец-Исраэль у власти будут англичане или турки, хотя численность их достигает примерно тридцати тысяч. Такая ситуация, как видите, будет справедливой. Но когда евреи требуют права управления в Эрец-Исраэль, то в этом нет справедливости, так как их всего лишь сто тысяч человек.

Что касается Египта, Индии, Алжира и так далее, то этому находятся оправдания, так как управляют ими не те маленькие группы англичан или французов, которые проживают в этих колониях, а весь английский или французский народ; европейские колонисты являются не более чем представителями, власть, как таковая, не принадлежит им лично, а принадлежит сорока пяти миллионам англичан или сорока миллионам французов. Таким образом, справедливость спасена. Это вполне справедливо и, в частности, верно и в нашем случае. Никто не требует, чтобы «чартер» был выдан тем ста тысячам евреям, которым удалось пробраться в Эрец-Исраэль, несмотря на заграждения колючей проволоки, которые ставит перед ними турецкий режим. Эрец-Исраэль нужно передать всему еврейскому народу. А этот народ насчитывает одиннадцать или двенадцать

миллионов человек: то есть фактически в двадцать раз больше, чем те шестьсот тысяч арабов, живущих на сегодняшний день в Эрец-Исраэль. В течение четырех лет еврейский народ может переправить через океан более шестиста тысяч новых репатриантов. А если брать в расчет весь запас его «эмиграции», то есть всю ту массу, которую без боязни ошибиться можно считать потенциальными репатриантами, то мы получим население равное восьми или даже девяти миллионам человек.

Мы требуем Эрец-Исраэль от имени этих масс, а не от имени ишува, существующего на сегодняшний день. И наше стремление — это не добиться «чартера» только для тех поселенцев, которые уже находятся в стране, а для всего еврейского народа. Этот народ в силу совершенства будет управлять поселением на святой земле, будет насаждать на ней культуру, притянет к ней вкладчиков капитала; та горстка нынешних жителей Эрец-Исраэль — как евреев, так и арабов, — по сравнению с этим народом — ничтожное меньшинство.

Иногда евреи производят забавное впечатление, несмотря на то, что лица их выражают честность и сентиментальность. Они любят вздыхать о горькой судьбе своих противников, а иногда даже и врагов. Я знаком с десятками евреев, которые даже сейчас, после всего того, что произошло, испытывают чувство жалости по отношению к бедным полякам за то, что господь Бог поставил их в неловкое положение и навлек на них такое несчастье, как еврейский вопрос. Слава Богу, наши отношения с арабами лучше, чем отношения с поляками. И поэтому мы вздыхаем о их судьбе гораздо чаще и с большим упоением. Несчастный народ — говорим мы — ведь Эрец-Исраэль, в сущности, является частью арабской территории, ведь они живут на этой земле уже много-много лет, и вдруг прибыли мы и желаем стать там хозяевами.

Я смотрю на моральную сторону сложившейся ситуации несколько другими глазами. Племена, говорящие на арабском языке, населяют Сирию, Аравийский полуостров, Йемен, Египет, Триполи, Тунис, Алжир, Марокко и Месопотамию. На территории, площадь которой (без Аравийского полуострова) столь же велика, как и площадь всей Европы (без России), и вполне достаточна, чтобы прокормить миллиард человек, на этой территории проживает всего одна раса — тридцать

пять миллионов человек. С другой стороны, существует еврейский народ, народ, гонимый, лишенный родины, у которого во всем мире нет своего угла. Он стремится в Эрец-Исраэль, потому что нет у него иного дома и в силу того, что все, принесшее славу Эрец-Исраэль в мировой истории, все то величие, которое было и есть в ней, все те сверхчеловеческие функции, которые страна выполняла, все это — плод духовного развития народа Израиля. По сравнению со всей той огромной территорией, заселенной арабскими народами, Эрец-Исраэль составляет всего лишь сотую часть. Я не знаю, можно ли в наше время говорить об этике, когда обсуждают такие вопросы. Но если все-таки можно, позвольте мне спросить, что же такое, в сущности, этика? Основывается ли она на том, что у одного должно быть много, у другого — мало? Основывается ли она на том, что земля, являющаяся основой жизни, в больших количествах сосредоточена в руках одного народа, который даже не в состоянии обрабатывать ее, а другой народ, изгнанный и скитающийся как собака в чужих краях, с великой завистью смотрит из-за забора на заманчивую пустыню? Откуда взялась такого рода этика? И как это вообще можно назвать этикой? Если бы пришли с мечом в руках отбирать Эрец-Исраэль, мы были бы правы перед лицом Бога и людей точно так же, как прав нищий, берущий у богатого. Этика, касающаяся земельных отношений между народами, — это, по сути дела, та же этика, принятая среди людей, о которых сказано в Библии: время от времени есть большой урожай и тогда тот, у которого нет земли, требует свою долю у того, у кого есть земля в избытке. Вместо двух миллионов квадратных километров арабы будут заселять территорию в миллион восемьсот тысяч квадратных километров. И благодаря этому будет на земле существовать еврейское государство, и одна из самых болезненных проблем истории приблизится к своему решению.

Совершенно ясно, что у арабов, живущих на территории Эрец-Исраэль, есть полное право требовать, чтобы их оттуда не изгоняли. Это другое дело. Это вне всяких дискуссий и никто не собирается выгонять их оттуда. В Эрец-Исраэль есть достаточно места. Плотность населения в Эрец-Исраэль на сегодняшний день составляет примерно двадцать душ на квадратный километр. В соседнем Ливане на квадратный

километр приходится семьдесят душ, в Германии — сто двадцать, в Италии — сто двадцать четыре, в Бельгии — двести пятьдесят семь, а в некоторых густозаселенных районах Египта — триста шестьдесят два. Здесь не место заниматься разгадыванием ребусов и подсчитывать, сколько человек могут проживать на одном квадратном километре в Эрец-Исраэль в приемлемых условиях. Но если мы возьмем в качестве примера Ливан, природные условия которого намного хуже условий в Эрец-Исраэль, то и тогда, подсчитав, мы найдем, что в Эрец-Исраэль есть место, по крайней мере, еще пятидесяти жителям на каждый квадратный километр. Отсюда следует, что мы не претендуем на двадцать занятых мест, а на пятьдесят свободных, или на те пустынные и заброшенные места, которые, если только попадут они в наши руки, мы сможем своими трудами, приложив все наши способности, превратить в экономически развитый район и приблизить плотность населения в Эрец-Исраэль к уровню цивилизованных европейских стран. И таким образом решится вопрос о законных интересах ныне проживающего населения Эрец-Исраэль. Если возникнет необходимость в предоставлении гарантий существования их религии, языка, имущества, личных прав и тому подобное, гарантий перед возможным произволом или гонениями с нашей стороны, то мы готовы их предоставить независимо от того, будет ли защита их прав передана в руки особой международной комиссии или же в руки консулов великих держав. Но никакая этика не может признать ни того, что есть у них право вето против еврейского поселения, ни того, что у кучки полудиках людей есть право держать в своих руках территорию, которая может прокормить миллионы, превратить ее в пустыню и закрыть ее ворота.

Я не отношусь к тем людям, которые считают, что в нынешней ситуации наивно, да и излишне высказывать свое мнение в политике о моральной стороне вопроса. Понятно, что сильные мира сего не считаются с моральной стороной, но еврейскому народу нельзя, да и не может он отказаться от своих требований. Мы стоим на своем и требуем от мира, чтобы в наши руки передали землю нашего будущего, во имя всей нашей истории и во имя всех наших страданий. Во имя той бесконечной вины, отягощающей совесть

мира. И странно слышать, что есть люди, непонимающие этого. Но еще более странно, что люди, у которых возникают сомнения по поводу этичности «Базельской программы», почти все — евреи. Мне самому довелось во время войны беседовать о сионизме с политическими деятелями в Англии, Франции, Италии, Греции — и я никогда и ни от кого не слышал таких заявлений. Люди, которые постоянно находятся в контакте с правительственными кругами Англии по вопросам сионизма, и они никогда не сталкивались с подобными отговорками. Здоровый политический разум здорового народа решает просто и ясно: нельзя представить себе поселение без реальной власти; если «этичен» сам факт поселения, то и власть этична; если в отношении таких стран, как Англия, Франция, Италия, у которых помимо колоний есть достаточно своей земли, если для них этично заселять колонии, то тем более это этично в отношении народа, лишенного какой-либо земли вообще. И только со стороны евреев слышатся крики протеста. Отсюда можно сделать вывод, что в данном вопросе речь идет вовсе не о моральном праве, а о страхе перед самой идеей.

1916

«ЛЕГИОН»

(Статья первая)

I

В настоящее время вооруженная охрана Палестины находится всецело в руках гарнизона (включая ирландскую жандармерию), который состоит из нееврейских солдат. Огромные неудобства, вытекающие из этого положения вещей, ясны каждому добросовестному наблюдателю. Резюмируем эти неудобства кратко:

В политическом отношении этот статус *Schutzjuden* принес сионизму неисчислимый вред в глазах общественного мнения Англии. Весь рост антисионистского настроения в Англии за последние четыре года произошел под лозунгом: «Мы не хотим ни платить лишних налогов, ни подвергать опасности сыновей ради еврейских интересов».

В практическом отношении полезность гарнизона, состоящего из неевреев, оказалась для охраны евреев весьма проблематичной. Английским солдатам и офицерам глубоко несимпатична мысль о вооруженном вмешательстве в еврейско-арабский спор. Арабам известно это настроение войск, и потому в арабской среде неискоренимо держится убеждение, будто — если только не трогать англичан — нападения на евреев не встретят серьезного противодействия. Вот почему в 1920 и 1921 годах в Иерусалиме и Яффе произошли трехдневные погромы, несмотря на присутствие в непосредственной близости (очень крупных тогда) британских контингентов. Между тем, весной 1919-го года, в очень опасный момент, когда в соседнем Египте было восстание и почти все британские и индусские батальоны были оттянуты в Египет, спокойствие в Палестине не было нарушено ни разу, ибо в стране тогда стояло 5000 еврейских солдат, о настроении которых у арабов не могло быть никаких сомнений.

Наконец, в моральном отношении статус Schutzjuden унижает нас и роняет наш престиж и в глазах англичан, и в глазах арабов. Англичане, зная из собственной истории, что настоящие колонизаторы никогда не пользовались чужой защитой, приучаются смотреть на евреев, как на элемент, для настоящей колонизации не совсем пригодный, а потому и на всю нашу работу как на предприятие искусственное и тепличное. У арабов же складывается впечатление для нас еще более унижительное. И так как наша главная политическая сила — в нашей моральной потенции, в том уважении к нам и нашему идеалу, какое мы можем внушить внешнему миру, то положение «подзащитных» должно в конечном итоге неизбежно привести к ослаблению наших политических позиций.

То, что за последние два с половиной года в Палестине не было погромов, не опровергает, а скорее подтверждает все вышесказанное. Погромов не было не потому, что арабы стали «бояться»: напротив, гарнизон за эти годы колоссально уменьшился — с 17 тысяч в 1921 г. до 3-х тысяч; не было эксцессов потому, что еврейская иммиграция пала до полной и явной ничтожности. В 1920 и 1921 годах арабы еще боялись, что готовится крупный наплыв еврейских поселенцев, а потому они устроили две резни. Но в 1922 году в Палестину приехало 7254, уехало 3466, итого прибыло 3788. Арабский же

естественный прирост равняется, по подсчету д-ра Руппина, 6-ти тысячам в год. Понятно, что такая еврейская иммиграция даже самых крайних арабских националистов не тревожит. Администрация г. Самюэля предупреждает погромы не защитными своими мерами, а своей антииммиграционной тактикой. Если же иммиграция возрастет, то возрастает и опасность; и английско-ирландско-индусский гарнизон, ныне низведенный до количества около 3 тысяч и настроенный «нейтрально», мало гарантирует от этой опасности. Это, к сожалению, непреложно, как таблица умножения.

II

Все это, в сущности, ясно и представителям так называемого вегетарианского направления. О том, что английская защита не защита, в сионистской среде двух мнений нет. Даже вегетарианцы стоят за организованную, постоянную самооборону.

Это обстоятельство надо иметь в виду при чтении всего дальнейшего нашего изложения. Спор идет не о том, должны или не должны евреи иметь свои вооруженные силы. Спор локализовался только на вопрос: «самооборона» или «легион»?

Сторонники первой видят в ней, во-первых, совершенно достаточное средство для охраны еврейской жизни, труда и имущества. Во-вторых, они находят, что она не будет раздражать арабов, тогда как присутствие еврейских войск было бы для арабов постоянной «провокацией». В-третьих, они считают несправедливым требовать, чтобы в Палестине были еврейские вооруженные силы, но не было бы арабских, — а в самообороне (по их мнению) этого элемента несправедливости нет. В-четвертых, солдатчину они считают нежелательной, так как она отрывает людей на несколько лет от производительной работы и воспитывает в них кастовый милитаристический дух, тогда как при самообороне люди остаются на своих хозяйственных постах и смотрят на себя, как на обыкновенных граждан.

Разберемся.

Если «самооборона» противопоставляется «солдатчине», то очевидно, что имеется в виду нечто совершенно лишенное военного характера. Члены самообороны не могут жить

в лагере или в казармах, а должны жить на частных квартирах. Они не могут посвящать все свое время обучению военной технике — они могут заниматься ею только в часы, свободные от продуктивных занятий. Они не могут быть связаны военной дисциплиной и не могут носить однообразной форменной одежды.

На основании российского и палестинского опыта должен сказать, что защитительная ценность такой самообороны чрезвычайно ничтожна. Военное дело есть вообще трудное искусство; но дело защиты рассыпанного меньшинства еще в десять раз труднее. Правильно поставленная самооборона должна включить следующие отрасли военного знания: строй сомкнутый и в особенности рассыпной; стрельбу из огнестрельных орудий разного сорта; умение владеть холодным оружием, начиная с палки, — так как порох надо пускать в ход только в исключительных случаях; устройство баррикад, траншей и проволочных заграждений; сигнализацию на близком и на дальнем расстоянии; умение делать топографические съемки и чертить планы; элементарную военную тактику; наконец, умение следить за оружием и починять его. Это — минимум, без которого все дело вообще превращается в ребячью игру. Но думать, будто всему этому или хотя бы некоторым частям всего этого можно научиться между прочим, урывками, в минуты досуга, когда человек к тому же устал от работы, — это смешно. Все понимают, что халуц должен еще до приезда обучиться своему ремеслу, пахать или столярничать, ибо импровизированный земледелец или ремесленник не годится. Но ведь ясно, что импровизированный стрелок еще хуже. Более того: он опасен.

Дело не только в самой технике, хотя и она очень сложна. Еще важнее психика человека, у которого в руках очутился опасный инструмент. Оружие действует на новичка опьяняюще — в особенности когда он принадлежит к расе нервной и к этому делу непривычной. Если он — солдат, то его личная психика играет третестепенную роль. Во-первых, солдата уже в течение месяцев приучали обращаться с опасными инструментами, он свыкся, он не так волнуется. Во-вторых, он привык считать себя машиной в руках унтера, унтер в руках поручика и т. д. Поэтому при «солдатчине» есть гарантия, что опасный инструмент будет пущен в ход только

тогда, когда найдет сие необходимым инстанция старшая, опытная и имеющая возможность обозреть всю картину положения вещей, — иными словами, гарантия, что инструменты не «заговорят сами собой». Без унтера, без машинной психики, без муштры и привычки, да еще при наследственной нервности, да еще в обстановке переполоха — такой гарантии нет. А что это значит и к чему может привести, о том предпочтительно не рассказывать.

Столь же опасно отсутствие организации. Нелепо думать, будто обычные у нас формы организации — комитеты, лидеры и пр. — могут обеспечить действительное единство действий в исключительный момент физической опасности, коллективной и личной. Даже в армиях в этом случае полагаются не на сознание солдата, а на его привычку подсознательно, автоматически инстинктивно слушаться человека с таким-то значком на рукаве. Кто бывал в переделках этого рода, знает, что в такие минуты у среднего человека сознательные импульсы неизбежно отступают на второй план, а главную роль играют инстинкты. Иногда это инстинкт — лезть в огонь, чаще — бежать; но и тот и другой плохи, а потому надо противопоставить им новый инстинкт: автоматическую дисциплину. Но этот новый инстинкт не врожденный. Автоматичность военной дисциплины достигается только продолжительной муштровкой, когда человек на долгие месяцы оторван от обыденщины, окружен особой атмосферой и ежедневно подвергается гипнозу этой самой автоматической дисциплины. Только при такой подготовке можно рассчитывать на то, что каждый средний человек пойдет куда надо и сделает что надо, а не натворит нелепых и опасных отсебятин.

В придачу ко всем своим недостаткам, неофициальная самооборона лишена главного достоинства армии: она не имеет почти никакой профилактической ценности. Войско, с его формой, парадами и официальным обаянием, импонирует; если численность его достаточна — и если солдаты настроены твердо, и население в этом не сомневается, — тогда по большей части и не понадобится пускать в ход силу. Но незримая самооборона импонировать не может. Если и удастся ей иногда подавить плохо организованный погром, то главного она сделать не может: предотвратить самую возможность погромов, уничтожить в корне само искушение. Нам

в Палестине нужна не расправа с убийцами и поджигателями — нам нужно спокойствие, такое спокойствие, при котором до расправы и дело не дойдет. Неофициальная самооборона этого дать не может.

Это с практической стороны. Со стороны политической — неофициальная самооборона, как постоянное учреждение, в более или менее правовом государстве *à la longue* невозможна, невозможна ни в форме подпольной организации, ни в форме легального института.

Подпольная самооборона означает: тайный ввоз оружия, конспиративную организацию, тайное обучение в подвалах. Все это — в правовом государстве неизбежно должно привести к столкновениям с правительством. Неизбежно должны последовать обыски, конфискации, аресты и процессы. Когда же дело дойдет до необходимости выступления, официальные войска и официальная полиция в девяти случаях из десяти будут эту же самооборону разгонять — не по злой только воле, а просто потому, что в правовом государстве таким явлениям, как тайные отряды вооруженных штатских граждан, действительно нет места.

Поэтому, если говорить о самообороне серьезно, то надо стремиться к ее целой легализации — и при этом, понятно, к запрещению и искоренению всяких «контрборон». Это была бы единственно правильная постановка дела. Но за этим первым шагом неизбежно должны были бы последовать и другие. Если правительство открыто разрешает существование вооруженной организации, оно принимает на себя большую ответственность. Поэтому организация эта должна будет подчиниться той системе контроля, которая всегда и всюду применяется к постоянным вооруженным силам: это — иерархия, военная дисциплина, награды и наказания, тщательное обучение (при котором ни для какого производительного труда времени не останется) и, наконец, единственные радикальные средства надзора — обязательное общежитие и однообразная одежда. Иными словами, легальная самооборона в правильной постановке и есть еврейский полк. Все остальное — суррогаты, практически бесполезные, политически вредные, юридически немыслимые и во всех отношениях опасные.

Принцип самообороны я ценю высоко; с историческими заслугами этого принципа знаком и вполне согласен с тем, что — где и покуда невозможно образование еврейских войск — нужна хотя бы плохо организованная самооборона. Нужна прежде всего по причинам моральным, для защиты нашей чести. Но в Палестине задача наша не в том, чтобы с честью пасть, а в том, чтобы не пасть ни при каких условиях. Поэтому на вопрос надо смотреть не со стороны подвига, а со стороны практической пользы и добиваться такой формы самоохраны, которая соответствовала бы следующим условиям:

1. Совершенно легальное положение, исключающее всякую опасность войны на два фронта.

2. Полная возможность усовершенствования в технике охранного дела.

3. Экипировка настолько усовершенствованная, чтобы за нею не могла угнаться никакая тайная контрорганизация.

4. Импозантность, которая действовала бы на все население «профилактически».

5. Система дисциплины и контроля, которая гарантировала бы и нас, и соседей от возможной бестактности или нервозности отдельных лиц.

Этим условиям удовлетворяет только одна организация — военная.

1923

«ШААТНЭЗ ЗАПРЕЩЕН ЕВРЕЮ...»

Мысли о монизме Бейтара

I

Что такое Брит Трумпельдор? Чем он отличается от других юношеских сионистских организаций?

Я не намерен порицать другие молодежные организации. Наоборот, у них много достоинств; но я уверен, что они идут по ложному пути, и поэтому надеюсь, что они постепенно распадутся и Брит Трумпельдор, достигнув совершенства, займет их место,

Разница между ними и Бейтаром выражается в трех пунктах.

1. Брит Трумпельдор стремится воспитывать молодежь в герцлинианском духе. Известно, что в последние годы сионизм «разбавлен». Идеал еврейского государства от стремления спасти миллионы страдающих евреев и создать им государство, разрешить проблему «еврейских бед» превратился в стремление дать избранному меньшинству возможность наслаждаться климатом земли Израиля и говорить на иврите. Эта поверхностная концепция сионизма пустила корни в самых важных молодежных организациях. В них проповедуют гротескную и искаженную идею Ахад га-Ама. (Ахад га-Ам горько жаловался мне и другим, что его учение было искажено, что он всегда ратовал за еврейское большинство в Палестине, и он ясно предложил это в статье «Три стадии».) В их рядах распространяют доктрину Мартина Бубера, типичного провинциала, мелкого мыслителя третьего ранга, у которого можно выискать одну идею, не его, не имеющую ценности, из девяти цветастых и закрученных фраз. Эту молодежь учат видеть в сионизме только мечту, которая никогда не осуществится. Брит Трумпельдор учит молодежь верить в большие идеи Герцля и Нордау о государстве, массовой иммиграции, решении еврейской проблемы в смысле политическом, материальном и духовном.

2. Второе различие состоит в том, что Брит Трумпельдор хочет обучить молодежь самообороне. Что это необходимо, нет в среде евреев сомнения, но, к сожалению, и логика отсутствует у евреев. Они представляют себе, что это особое ремесло среди других: но другие ремесла следует изучать, а это приходит само по себе, из энтузиазма и героизма, храбрости, готовности умереть. Это детский подход к вещам, ибо речь идет не о смерти, наоборот, цель — не умереть и не дать другим евреям умереть или даже страдать. И им не овладевают благодаря энтузиазму. Это ремесло, как и всякое другое, но более сложное и бесконечно ответственное. Поэтому ему надо обучаться и тренироваться долго, нужно ему обучаться со спокойной гордостью, глубоко и систематично и, не стесняясь, относиться к этому с желанием и любовью.

3. Но самое главное отличие — третье. Брит Трумпельдор не терпит идеологического суррогата.

II

Шаатнэз — это ткань, сотканная из смешанных волокон: половина лен, половина шерсть; в Торе есть четкий запрет к его употреблению. Есть и причина запрета. В те древние времена мировое хозяйство было разделено на две важные отрасли: обработка земли и выращивание домашнего скота. Между обеими господствовала естественная и неутихающая вражда (нашедшая выражение еще в споре между Каином и Авелем), так как пастуху нужны были большие участки земли. Естественно, что земледелец обычно носил одежду из льна, а пастух из шерсти, по их одежде можно было определить, чем они занимаются. Но человек, носивший одежду из смешанных волокон, был ни тем ни сем, ни друг ни враг. И это Библия считает аморальным. Брит Трумпельдор стремится покончить с душевной раздвоенностью.

Сионизм нынешней молодежи «куцый и разбавленный», и он не может быть ее единственным и господствующим идеалом. Нельзя черпать вдохновение от чего-то половинчатого, и поэтому приходят к поискам другого идеала. И так становятся левыми и пропагандируют социальные реформы и социальные революции, и хотят найти их связь с сионизмом. И сионизм становится ограниченным. Цель спасти еврейский народ — только средство служить другим народам, учить их морали и так далее. И поэтому национальный дом для евреев нужно строить на новых началах, в виде кооператива или по-другому, но без капитализма и без эксплуатации. Все это прекрасно, но что делать, когда оказывается, что это невозможно? Жизнь уже доказала это, ибо строительство Эрец-Исраэль невозможно без частного капитала, а капитал не придет, если его не ждут доходы (которые, согласно марксизму, являются следствием эксплуатации). Вывод неизбежен: раз невозможно условие, невозможно и предприятие. И это уводит от сионизма.

Таков конец всякого идеологического суррогата. Когда начинают открывать, что прежний идеал не хорош и его нужно припудрить и украсить элементами других идеалов, то приходят к признанию, что другие идеалы красивее, величественнее, свежее, и мы начинаем оправдываться и извиняться, подчеркивать второстепенное, пока не приходим

к выводу, что, если второй идеал выше идеи сионизма, нужно стать его последователем без всяких условий, ибо «два идеала» — это абсурд.

И это так: два идеала — абсурд, как два Бога или два разных алтаря в одном храме. Я никого не хочу обидеть, но душа, которая может вместить два идеала и оставаться при этом счастливой, душа ущербная. Цельная душа может быть только монистической. Слово «идеал» по своему смыслу не имеет множественного числа. Здоровая душа, у которой есть один идеал, не может освободить место для второго. Если сионизм — идеал, рядом с ним нет места другим идеалам. Один идеал исключает все другие, как бы прекрасны, чисты и святы они не были. Но при этом он не осуждает другие благородные и прекрасные идеалы. Может быть, социализм действительно вершина справедливости. Я лично в это не верю, но допустим, что это так. Дело не в этом. Когда мы в юности вели борьбу против ассимиляции, мы не сомневались в национальных ценностях других народов, которые ассимиляторы хотели приобрести, в их благородстве, но мы требовали от юношества: не служить другим ценностям, кроме еврейских; и если это трудно, ибо ты влюблен в чужие традиции, ты можешь доказать, здоровая у тебя душа или мелкая, ибо для здоровой души служение идеалу не безделка, а жертва.

Суть движения Бейтар, которое сейчас формируется и находит свое выражение в трудностях, — идеологический монизм. Большинство его членов, если им разрешат поселиться в Палестине, будут рабочими. Они это знают, гордятся этим и готовы к этому. Но они готовы еще к чему-то: всегда помнить, что их долг, связанный с материальной стороной и строительством страны, не должен влиять на их души. Он может быть каменщиком или учителем, инженером или полицейским, но прежде всего он пионер; это звание более высокое, чем рабочий или промышленник, или даже солдат. Пионер может выполнять разные должности, он может менять их, но никогда его не могут привлекать классовые интересы той части общества, к которой он принадлежит. В собственных глазах он всегда останется как бы актером, выполняющим роль, данную ему режиссером в пьесе, названной «Создаем еврей-

ское государство», а имя режиссера — идеал государственности. Сегодня он исполняет свою роль с лопатой в руке, завтра — учитель, затем — легионер. Он исполняет свою роль искренне и с чистой совестью. Но на деле он не учитель, не солдат, не буржуй, не пролетарий. Он все вместе. Он пионер.

1929

КЛАСС

I

Я не вижу существенного различия между коммунизмом и любой разновидностью социализма, опирающегося на классовую идеологию. Отличительная черта социализма характерна и для коммунизма. Суть ее в том, что, согласно ей, класс наемных рабочих, особенно рабочих физического труда, — единственный знаменосец идеи улучшения общества. И путь исправления — в победе этого класса над другими классами общества, что может быть достигнуто только путем так называемой социальной революции насильем, а не путем договора. И поэтому я не вижу ни тени намека на малейшее различие между теорией коммунизма и социализма. Различие между ними только в темпераменте, одни спешат, а другие медлят, и различие это не стоит даже той капли чернил, которые нужно потратить на описание этого различия... И те и другие стремятся к созданию общества, в котором будет господствовать меньшинство, которому должны будут покориться все остальные члены общества. На деле коммунизм всего лишь сокращенное изложение классовой идеи пролетариата, все остальное — лишь попытка компромисса, а компромисс — дело временное. Всякий, кто борется с коммунизмом, борется с идеей классовой борьбы; кто готов принять идею классовой борьбы, принимает коммунизм.

II

Пишущий эти строки не верит в преимущество социалистического режима, то есть в идею национализации средств производства. Я убежден, что социалистический режим, если он будет установлен и утвердится в одной стране или во всем

мире, окажется ужасающим режимом, худшим, чем существующие. Таково мое мнение, хотя многие не согласны с ним; они верят, или по крайней мере питают надежду, что социалистический режим будет иметь больше достоинств, чем недостатков. Не стану спорить с ними. Идея социализма может быть хороша сама по себе, а может и нет, мы не обсуждаем ее достоинства, а только ее классовую теорию, которая гласит, что исправление мира может быть достигнуто только в результате победы пролетариата над всеми другими классами.

Эта теория «реакционна» по своей сути. В мире принято придавать значение звучанию понятий, не вникая в их смысл, и поэтому то, что произошло в России осенью 1917 года, назвали «революцией». И каждый, кто будет бороться с ее последствиями, получит клеймо «контрреволюционера», даже если ратует за свободу слова в России, право выборов и равноправия для всех граждан. Клеймо — это плод путаницы понятий. Смысл слова «революция» имеет смысл технический и идеологический. Первый: любое изменение государственного порядка, совершенное путем массового насилия, — революция. Если один король изгнал другого в Афганистане и захватил его место, и это вылилось в значительное кровопролитие, то нет существенного различия между старым режимом и новым. И это тоже называют революцией, что делать предосудительно, ибо сказано: «не называй имя мое всуе». Подлинный смысл слова «революция» — идеологический. Совершение восстания и его победа еще не все, главное — цели лагеря повстанцев. Слово «революция» означает только такое восстание, которое освобождает, а освобождение без свободы слова, собраний, свободы личности, свободы выборов не может быть полным. Нет освобождения без права каждого гражданина влиять на власти, иметь возможность свалить существующую и заменить ее новой; нет «освобождения» без равноправия для всех граждан, всех рас, всех вероисповеданий, всех классов. В этом идеологический смысл слова «революция»; в противном случае и победу фашистов в Италии можно назвать «революция» (как это делают сами фашисты). И поэтому меньше всего подходит слово революция той гнусности, которая произошла в России: фашисты, нарушив принцип свободы, по крайней мере не ущемили принципа равенства.

Идея классовой борьбы органически связана с реакцией. Она может быть осуществлена только вооруженным путем, реакцией. И нечего вопить, что советские правители России жестокие убийцы, наслаждающиеся картинами тюрем и виселиц. Это глупость и ложь. Большая часть их — дети русской интеллигенции, испытывающей отвращение ко всякому насилию, впитавшие с молоком матери ненависть к подавлению, оно чуждо им и сейчас. Если бы можно было создать и сохранить режим классовой диктатуры без тюрем и убийств в Бутырке! Но это практически невозможно, хотя бы они этого или нет. Ибо нет другой основы для власти одного класса. Он может удержаться, только опираясь на реакцию, все, что не реакция, — яд для его власти, смертельная опасность. Равноправие граждан? Ведь сама идея власти одного класса над другими противоречит ему. Свобода мнений? Но ведь мнение большинства направлено против власти одного класса, ибо он в меньшинстве и никогда не превратится в большинство (особенно сейчас, когда машины все больше заменяют рабочих физического труда). Свобода объединений? Но это означало бы объединение большинства граждан против правящего класса, что недопустимо. Насилие, подавление, все средства реакции — не случайные ошибки режима, не садистские наклонности своры волков; они суть и душа классовой борьбы, и даже в государстве ангелов не смог бы существовать режим классовой диктатуры, но опираясь на реакцию и только благодаря ей он может сохраниться.

III

Все вышесказанное не означает, что стремление решить проблему бедности, ликвидировать ее, привести к ее исчезновению с лица земли — реакционно. Наоборот, это стремление прогрессивное, святое дело. Весь пафос священных писаний вложен в это стремление. Из всех моральных заветов, которые народы мира получили от Израиля, этот, пожалуй, самый значительный, ибо он учит мир ненавидеть бедность, искать пути ее устранения. Но нет ничего общего, никакой связи между этим стремлением и классовым мировоззрением пролетариата. «Бедняк» и «рабочий» — не тождественные понятия. Не все бедняки — рабочие.

И не каждый рабочий — бедняк. Прошли времена Карла Маркса, когда наемный рабочий был символом всяких страданий. Тринадцатичасовой рабочий день, нищенская зарплата, запреты забастовок, объединений, отсутствие защиты со стороны законов. В тех условиях ошибка Маркса была естественной и понятной, ибо он увидел в бедности наемного рабочего символ бедности всего мира и мечтал, спасая рабочего, спасти заодно всех бедняков. Но те времена прошли. В странах экономического прогресса в годы, предшествовавшие нынешнему кризису, положение пролетариата было далеко от бедности. Бедняками были крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы, государственные служащие. Работа чернорабочих, каторжная во времена Карла Маркса, стала в большинстве случаев более легкой, ибо рука стала управлять рычагом, а палец нажимать на кнопку, часы работы в два раза короче часов работы крестьянина или домохозяйки с шестью детьми; защищающие их рабочие профсоюзы владеют значительным капиталом, банками, складами, больницами, библиотеками, клубами; велико их политическое влияние, их законы защищают интересы рабочих, зарплата разрешает им существовать и экономить на случай кризиса.

Я не говорю, что положение рабочих идеально, в нем еще много недостатков, и предстоит борьба за улучшение положения, но заявлять, что наемный рабочий — «символ бедности», — ложь. Из всех бедняков мира наемный рабочий самый защищенный из всех. Если во времена Маркса он был самым подавленным, в наше время он класс привилегированный.

Ложно также утверждать, что каждый, кто против власти класса пролетариата, тот против спасения бедных и ратует за режим голода для бедняков, забывает заповедь «жалости». Все это ложь. Мир всегда стремился бороться с бедностью и не перестанет это делать до конца, пока не исчезнет на земле сама по себе память о голоде и холоде, об отсутствии крова, и, кто знает, может, возрождение еврейского государства будет «социальной лабораторией» для той расы, которая была соавтором идеи социального улучшения и которая покажет миру подлинный пример общества, основанного на справедливости, общества без бедности и бедняков. Нет ничего общего между спасением «бедняков» и требованиями класса про-

летариев. Не каждый пролетарий — бедняк, особенно на земле Израиля, и не все бедняки — рабочие, наоборот, в наше время большинство бедняков не рабочие.

IV

А теперь обратимся к сионизму. Сионизм не может принять идею классовой борьбы. Между ними не может быть никакого компромисса; сионизм должен окончательно отказаться от идеи классовой борьбы в израильском обществе в течение всего периода строительства государства, в противном случае сионизм не может быть осуществлен.

Долг сионизма на деле — расселение на ограниченной территории в ограниченный отрезок времени такого количества евреев, которое составит еврейское большинство в Палестине, не сгоняя с земель нееврейское население страны. В условиях Палестины это означало интенсивную колонизацию. Не знаю, были ли в истории примеры, когда иммигранты сумели заселить такое количество поселенцев на таком маленьком пространстве, уже до этого плотно заселенном. Сионистское поселение, то есть поселение, ведущее к еврейскому большинству, прежде всего поселение интенсивное, это единственная в своем роде колонизация.

Однако и обычная колонизация — процесс, требующий особых условий, противоречащих нормальному порядку в нормальном государстве. Колонизация нарушает порядок во всех сферах общественной жизни. При колонизации нет места подлинному парламентаризму, ибо он означает власть большинства, но большинство еще не успело прибыть в страну. Но особенно сильно отражаются нарушения на национальной экономике.

В нормальных условиях экономика развивается сама по себе естественным путем, создаются новые учреждения, новые формы экономики возникают из существующих. Колонизация нарушает характер «национального» развития. Она вносит нечто новое, множество новых поселенцев относятся к более высокой культуре, у них более высокие запросы, и, чтобы их удовлетворить, государство обязано создавать новые формы экономики, не дожидаясь, когда возникнет «естественная потребность». В результате колонизации экономика будет развиваться искусственно.

Возможно, классовая борьба допустима или даже полезна в нормальном обществе. Но обсуждение этого вопроса не входит в аспекты моей статьи. Одно совершенно ясно: если забастовка происходит в Германии или Италии, или владельцы предприятий объявляют локаут и это может привести к закрытию ста или тысячи фабрик в Германии или Италии, это ничего не изменит ни в Германии, ни в Италии. Но если будут парализованы еврейские фабрики в Тель-Авиве, мы потеряем колонизаторский фактор и это отодвинет или совсем разрушит наши планы на достижение еврейского большинства в Палестине.

Вывод из всего этого: нет места классовой борьбе в период колонизации. Кто стремится к строительству государства, тот должен принять особые условия.

Есть еще одна сторона классовой философии, также ложная в условиях сионистских целей, и это лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Как убежденный либеральный буржуа, более того, как еврей и потомок Исаяи, я верю, что наступит день и все человечество объединится в лик своего Создателя. Эта мечта более возвышенна, чем частичное «объединение» рабочих физического труда, которые хотят подчинить себе все человечество. Я презираю лозунг частичного единения взамен всеобщего.

Внутренняя борьба в сионизме

«ЛЕВЫЕ»

I

Тема эта — грустная тема. Те, которых у нас называют «левыми», могли бы быть лучшими из сионистов. Но сионизм теперь подменен, вместо него перед нами то, что в старину звали палестинофильством, а сейчас принято называть «строительством земли»: термин опасный, ибо задача наша ведь не в том, чтобы «выстроить землю», а в том, чтобы земля эта превратилась постепенно в землю с еврейским большинством. Об этом мы забыли, а потому, в период 1920—1923 гг., радость по поводу того побочного факта, что растет Тель-Авив и Эзрелонская долина, заслоняла в глазах

наших тот основной факт, что за это время процент еврейского населения ничуть не рос. Эта aberrация у «левых» особенно ярко выражена. Поэтому лучшими из сионистов назвать их нельзя. Но они, бесспорно, лучшие из ховевей-цион последнего призыва.

Говорю это без иронии. Здесь я не вдаюсь в спор о том, можно ли считать кооперативный поселок здоровой и устойчивой формой колонизации. Но одно бесспорно: с 1920 по 1923 г. никакая другая форма сельской колонизации была немыслима. Люди приезжали только с востока, и все без денег; деньги можно было черпать только на западе и только в виде общественных фондов. При наших условиях создавать частных собственников нельзя: и принципиально невозможно, и средств бы не хватило. За это время выстроилось около 30 новых поселков, приблизительно с 1500 рабочего населения; обошлось это Керен га-Есоду в 415 000 фунтов. Национальному фонду в 200 000 с лишком. Это не дешево, но даже трети этого количества поселений не удалось бы устроить за такие деньги на началах частного хозяйства. Позволю себе сомневаться, очень ли изменилось это положение и теперь, т.е. легче ли устроить сегодня колонию старого типа, чем «квуцу». Каковы бы ни были органические пороки кооперативного поселка, он, вероятно, еще долго будет преобладать в наших сельскохозяйственных начинаниях просто в силу необходимости, т.е. земледельческая колонизация будет и впредь развиваться главным образом на плечах «левых». До сих пор, считая с конца войны, она, как известно, лежала целиком на их плечах.

В остальных отраслях деятельности они до сих пор тоже шли первыми. В 1921—1923 гг. созданное ими бюро общественных работ выполнило ряд серьезных подрядов: шоссежных, рельсовых и мостовых дорог на сумму больше 300 000 ф., разных зданий на 640 000. Теперь эта последняя сумма, вероятно, удвоилась. Попутно они образовали больницу, ряд просветительных учреждений, банк. К добру или нет, еврейская Палестина сегодня страна рабочих. Когда критики нашей хозяйственной системы уверяют, будто произошло это по недосмотру начальства или в силу «захвата», то критики ошибаются. Произошло это, *во-вторых*, в силу вещей, а *во-первых* — благодаря огромной

активности и жертвостоспособности. В Палестине это признают все классы общества. Вероятно, нет страны, где имя «рабочий» пользовалось бы таким уважением во всех кругах, вплоть до «салона».

Экономически эта гегемония, говорят, признак неправильного роста. Но факт остается фактом: в нашем хове-ционском поколении «левые» оказались лучшими из хове-цион.

II

Пишу слово «левые» в кавычках тоже не для иронии, а скорее — с моей точки зрения — сочувственно. Сионистские рабочие партии усердно пользуются социалистической фразеологией: несомненно, и верят в нее вполне искренно. Но по существу, по всей деятельности, они не социалисты и вообще не левые. Устройство фаланстер, городских или сельских, титуловалось «социализмом» только во дни Фурье. Маркс в свое время жестоко издевался над этим смешением понятий. Социализмом в наше время называется стремление национализировать уже созданное хозяйство; средствами являются борьба, давление, революция. Для создания коммуновидных островков среди буржуазного или просто патриархального моря нужны другие средства, резко непохожие на борьбу, давление и революцию. Главное из этих средств — деньги, которых у рабочих нет и которые поэтому приходится получать от других общественных слоев; причем не путем захвата, каковой в наших условиях немислим, а путем аргументации, в которой единственным годным доводом является общность национального интереса. Тут нет ни следа классово-й борьбы, тут политика национального блока.

Ни на чем этот чисто националистический характер сионистского «левого» движения так ярко не скажется, как на еврейско-арабском конфликте. Главным возбудителем этого конфликта является — опять-таки в силу вещей — не еврейский собственник, а еврейский рабочий. С арабской точки зрения, вся опасность в натиске еврейского труда, а не еврейского капитала. Прежде всего потому, что капиталистов мало, а трудящихся много. Даже неграмотному ясно, что иммиграция купцов и промышленников никогда

не создаст еврейского большинства: только иммиграция рабочих рук может привести к численному перевесу евреев. Но и с чисто экономической точки зрения, объективным носителем конфликта является только рабочий элемент. Между эффенди, продающим землю, и Ротшильдом, ее покупающим, никакого столкновения быть не может. Даже то, что Икс из Лодзи на свои деньги устраивает ткацкую фабрику в Тель-Авиве, не есть еще пока причина для вражды. Конфликт начинается со спора о том, какой будет на фабрике труд — еврейский или арабский. Еще не так давно еврейские рабочие в Палестине даже не пытались маскировать эту истину. Было время, когда официальный лозунг так и гласил: захват трудовых позиций в колониях — захват, означавший в то же время вытеснение с этих позиций нескольких тысяч феллахов. В 1919—1920 гг. был в ходу еще более выразительный лозунг — «авода тегора», т.е. «чистый труд», чистый в смысле национальной однородности: правилом было тогда — не брать работы, если состав рабочих смешанный. Теперь «левые» стали в этом отношении осторожнее, но существо их миссии не изменилось. Еврейские дома строит теперь «бюро общественных работ» — но до войны этот заработок был в руках у арабов. Зелень и яйца поставляют теперь в Тель-Авив и Иерусалим окрестные «квудот», — а еще в 1920 г. это поставляли исключительно арабы. Никакой декламацией, никакой дипломатией (вроде допущения на «свои» работы того или иного процента арабов) замазать эту суть дела нельзя. В национальном смысле конфликт охватывает, конечно, оба национальных лагеря в целом; но на экономическом фронте это есть прежде всего конфликт между еврейским рабочим и арабским рабочим. И в этой борьбе еврейские рабочие действуют не как «левые» и не как социалисты, а как хорошие ховевей-цион — лучшие из ховевей-цион.

III

Хотелось бы сказать «из сионистов», но нельзя. Сионизм от палестинофильства и «землестроительства» отличается размахом, постоянным и ревнивым чутьем перспективы. Именно еврейские рабочие, по мере того, как накапливается

у них то, что Глеб Успенский называл «обстановочкой», легче всех остальных теряют чутье перспективы. В первый раз я столкнулся с этим явлением в 1918 г., во время набора добровольцев для легиона. В Палестине были две рабочие организации — но у одной из них (как раз у той, которая считалась более национальной и менее левой) уже была «обстановочка» в виде нескольких поселков, и потому ее члены почти поголовно отказались идти в армию; у другой еще тогда не было своих фаланстер — и ее члены почти поголовно вошли в солдаты и стойко держались за ружье до последнего момента. Вероятно, была тут и психологическая разница; но в основе различия лежал имущественный ценз, святая, благородная, божественная, какая хотите — но при-тупляющая привычка к ежедневной заботе. Теперь эта забота стала ежечасной — и я не уверен, не стерла ли она и психологических различий. Крученный мы народ вообще, но ничего более странного, более небывалого, чем это зрелище в Палестине, даже в нашем быту мы еще не видели: та психология ближайшего урожая, то пренебрежение к принципам и перспективам, которые у других народов считаются прерогативой мелкого крестьянства — у нас в Палестине оно стало привилегией «левого» крыла. В нем глубже всего пустил корни культ коровы, трактора и бюджета; на него, главным образом, опираются и ссылаются отрицатели политического действия; и, когда возникает речь об отмене выборного начала, о передаче власти богачам, презирающим и сионизм, и демократию, — «левые» люди социалистической фразеологии, часто люди революционной веры, стыдливо утопляют очи в кирпичат-пол и...

Не хочется дописывать. Одно спрошу: доколе? Неужели навсегда? Пусть эта потеря перспективы, эта замена понятия «грядущее» понятием «завтрашний день» — пусть это все объяснимо. Но неужели это неизбежно и неизлечимо? Неужели все они, все поголовно, примирились с этой ролью, и авангард еврейского ренессанса даст нам, в конце концов, только новую разновидность общественной психологии феллаха?

Грустная тема...

ВРАГ РАБОЧИХ

I

С великой неохотой пишу эту заметку, по двум причинам. Первая: это будет объяснение личное, касающееся только меня, не партии, не журнала: местоимение первого лица придется употреблять чаще, чем хотелось бы. Вторая: мне будет глубоко неприятно, если в этих строках увидят попытку объясниться с *лидерами* палестинских рабочих. С большинством из них у меня общего языка нет, ибо нет чековой книжки. На случай, если прочтет эту статью посторонний, полезно прибавить, что личная неподкупность этих лидеров выше всякой тени подозрения: чековая книжка им нужна не для себя, а для партийной «обстановки», для того непомерно раздутого организационного скарба, который грозит распасться, если его не заштопывать еженедельно новыми чеками. Это очень похвальная форма рептильности; в нравственном отношении люди эти праведники, попадут в рай, и права их на место в раю я не оспариваю. Но разговаривать с ними о принципах, когда они открыто и не моргая смотрят только в руки, не намерен.

Объясняться можно только с той массой, которую эти лидеры завели в трясины, где честной еврейской молодежи не место. Среди этой массы поминутно растет возмущение ролью, которую их заставляют играть. К ним я и обращаюсь; статья эта есть ответ на письма из их среды, большей частью полные жалоб на враждебное отношение мое к палестинским рабочим и их предприятиям, «особенно квуцот», — «и эти нападки ваши на самое святое больше всего мешают политическому отрезвлению рабочих». Если бы мое отношение и было враждебным, я все-таки не вижу, почему из-за этого рабочие должны отложить свое политическое отрезвление. Дело не в том, друг или враг говорит, а в том, правду ли он говорит.

Самый же слух о нападках на рабочие учреждения и «особенно на квуцот» происходит от упорного желания читать между строк, вместо того, чтобы читать самые строки. Доказывать, что мелкая частная собственность прочнее всякой другой формы сельского хозяйства, еще не значит нападать на квуцот. Не помню ни одного столбца в парижском «Рассвете», прямо посвященного критике сельскохозяйственной

коммуны. Отсюда не следует, что такого столбца не будет. Критическое отношение к новому социальному эксперименту закономерно и необходимо. Этим занимаются и палестинские рабочие. Самую резкую критику квуцот я читал еще 6 лет тому назад в известной брошюре г. Элизера Иоффе, которая послужила толчком к основанию Нагалаля.

Лично я, между прочим, с этой критикой не согласен; неоднократно писал (в строчках, а не между строчками), что «провал квуцот» считаю недоказанным. Огромное большинство их пока хозяйничает с дефицитом, но и частновладельческие колонии наши в свое время долго болели этим недугом. Это вообще хворь младенческого периода. С 1908 года, когда возникла Седжера, прошло — за вычетом шести «военных лет» — слишком мало времени, чтобы можно было судить об «органических» достоинствах или недостатках такого сложного эксперимента. Так же смотрю я и на другие «органические» недостатки квуцы: не доказаны, ибо срок еще не пришел для подведения итогов. Личный состав в квуцот все еще страдает текучестью: но делать из этого выводы преждевременно. Русский мужик во времена общинного землевладения тоже не имел своего наследственного отрубца — и, однако, не кочевал: с другой стороны, при заселении срединных штатов Сев. Америки «скваттеры» получали наделы в полную собственность — и все-таки тысячами переходили с одного на другой. Иммигрант, по-видимому, вообще страдает излишней подвижностью; это — просто инерция первичного толчка, т.е. миграции. У его внука будет столь же естественна обратная инерция — домоседство. Если квуца разовьется, обрстет удобствами, создаст традиции — не вижу причины, почему ей не родить патриотов. Столь же не проверены и разговоры о том, будто в квуце «не может» процветать семейная жизнь. Когда вместо барака выстроят дом, хотя бы один, и с полусотней квартир, то в этих квартирах могут жить семьи и растить детей с таким же удобством, с каким живут и жили наши собственные семьи в городских квартирах. Все это может не произойти, но может и произойти. Судить о результатах опыта можно будет только через одно поколение — по крайней мере. А теперь — опыт сделан, значит надо дать ему развиваться в возможно благоприятных условиях.

Пишу об этом так длинно только для того, чтобы не было охоты читать между строк; но отнюдь не для того, чтобы снискать благоволение и выдать себя за «сторонника» квучот. Я не сторонник квучот. Если бы замышлял лично стать земледельцем, то предпочел бы «свою» землю в полную и наследственную собственность. Более того: отказываюсь даже произнести обычный комплимент о той «высоте идеализма», какая, мол, нужна, дабы осушать болота не для себя, а для коллектива. Идеализм хасидов из Магдизля (не помню точно имя этого поселка), которые осушают болота «для себя», столь же возвышен. Повторно расписываюсь в еще худшем грехе: басню о том, будто устройство сельскохозяйственных фаланстер есть «созидательный социализм», считаю басней. Никакого социализма — если не играть наивно словами — нет ни в квучот, ни в «га-Машбире», ни в «Солель-Боне», и никакого социализма из них не выйдет. А есть только большое количество хороших людей, которые по той или иной причине желают строить свою жизнь в Палестине именно на этих началах: значит, надо им в этом помочь. Рядом есть много других хороших людей, которые предпочитают строиться на частно-владельческих основах: значит, надо и им в этом помочь; и средства, какие имеются в распоряжении организации, надо соответственно разделить, не считаясь ни с какой риторикой ни «справа», ни «слева». И помогать надо разумно, т.е. только первое время, а не вечно, и через два-три года поддержку надо прекратить в интересах самого предприятия, опять-таки не считаясь ни с какой мелодекламацией. Тем, кто любит подбирать ярлыки, предоставляю самим разобраться в вопросе, значит ли это все или не значит быть врагом рабочих начинаний. Мне ярлык безразличен.

Еще одна оговорка. Экономическая программа ревизионистов, как партии, сводится пока (помимо вопроса о земельной и таможенной реформе) к нейтральности. Многие из нас считают это пробелом: вполне возможно, что они правы и что через некоторое время партия выдвинет определенный план конкретного строительства и будет отстаивать его преимущества по сравнению со всеми остальными. Но и тогда я буду против предложения — «дозволять» только работу по нашему плану и душить все остальные.

Каждый резонный метод колонизации, если за него стоит достаточная группа, имеет право на опыт и на поддержку сионистской организации. Сионистская организация должна быть государственной: этим все сказано.

II

У меня самого ни лично, ни идейно нет никаких «досад» на палестинских рабочих. Напротив. Высшую — пожалуй, единственную — радость моей общественной жизни дали мне именно они: я говорю о палестинском волонтерстве. Энтузиазм, с которым эта молодежь шла в легион, был и остался одним из тех немногих явлений, которые примиряют меня с современной еврейской психологией. Эти люди, прежде всего, шли на огромный риск: если бы мы, «лондонские», пошли в плен, турки бы нас кормили и лечили; если бы попались палестинцы, их бы повесили. Но их старались запугать и другим, более грозным риском: что турки в отместку сожгут колонии в Самарии и Галилее. Наконец, их стыдили латинскими словами: милитаризмом, империализмом... Они все это отмели. Их никто не звал на службу: сионисты им на три четверти мешали, Алленби их открыто не хотел — они *заставили* и Ваад га-Царим, и штаб согласиться на устройство набора в Палестине. И во главе этого движения, и в массе его шли главным образом палестинские рабочие. Бен-Гурион, Бен-Цви, Б. Каценельсон, Явнеэли, Хоз, Свердлов и сотни других носили ту одежду, которая для меня есть символ всего святого и чистого в сионизме, форму еврейского солдата. Многие из них, уже через несколько лет, когда война давно кончилась и у каждого зудели руки бросить ружье и перейти к производительной работе, — все же цепко держались за кокарду, чтобы спасти последнюю ячейку еврейского легиона в Палестине. Эти люди могут меня считать врагом или нет: таким, каковы они были тогда, я по сегодня отдаю честь.

Лично — у меня на них тоже нет «досады». В 1920 г., в тяжелое для девятнадцати моих товарищей и для меня время, палестинские рабочие стояли за нас горой. Через полтора года еврейские Поалей-Цион, движимые рабьей потребностью выслужиться перед советским сбродом, подняли против меня газетную кампанию за договор с М.А. Славинским; так как я дав-

но привык относиться к таким упражнениям в ребяческой благонамеренности со снисхождением взрослого, то охотно простил бы и палестинским рабочим, если бы они присоединились к походу; но люди, следившие за той полемикой (я ее не читал), уверяли меня, что палестинская рабочая пресса не участвовала в этом лае. Если есть у меня поэтому личные моменты, влияющие на отношение к палестинскому рабочему движению, то как раз самые благоприятные. Я когда-то привык смотреть на это движение и на большинство его лидеров как на группу людей высокой государственной сознательности; людей, для которых догма, как бы она им ни была дорога, отступает на задний план перед нуждой возникающего национального общества; людей, которые не дадут себя застрашать никакой риторикой, ни классовой, ни «интернациональной», когда дело идет о жизненных задачах еврейского возрождения. С их хозяйственной концепцией я был не согласен; но это была — так мне казалось — концепция строителей государства, а не сторожей съестного склада.

В этом пункте за последние годы произошло резкое изменение. Еще в 1922 году г. Бен-Гурион сказал на одном съезде, что социализм палестинских рабочих вытекает только из их сионизма: они считают, что никаким иным путем создать еврейскую Палестину невозможно. «Усиление иммиграции, — сказал он, — вот единственная забота, определяющая нашу деятельность. Наша задача не в том, чтобы выстроить ту или иную форму общественности во имя отвлеченных идеалов справедливости, а в том, чтобы найти действительное разрешение сионистской проблемы... В этом смысле мы не социалисты и не коммунисты, а сионисты». Повторить эти слова теперь было бы со стороны рабочего лидера лицемерием. С лета 1924 года, когда только и началась иммиграция крупная и — по пророческому слову Борохова — «стихийная», в Палестину идет буржуазия с небольшими капиталами, с традицией и навыками индивидуального хозяйства. Ни один искренний рабочий не скажет, что диктатура «Мисрада» в Тель-Авиве, борьба против поддержки хасидских поселков или порабощение ремесленников способствуют «усилению» этой иммиграции. Они как бы рассчитаны на то, чтобы затруднить ее развитие, отбить охоту к стране, разорить. Это выродилось в прямую и открытую враждебность.

«Четвертая алия» стала бранным словом. Недостатки нового типа «польских» иммигрантов признают все, но у других общественных кругов ишува есть все-таки дружественное отношение, желание помочь, готовность признать, что, при всех недочетах, эта волна несет с собою огромные и плодотворные возможности. Но в рабочей среде она вызывает одно почти беспримесное раздражение. «Это не есть взгляд колонизатора, это вражда лавочника к конкуренту, — пишут мне из Палестины, — конкурент ненавистен потому, что затмил вчерашнего *бен-яхида*, и это грозит кончиться отвлечением крупной доли бюджетных средств в новое русло». Сомневаюсь, чтобы кто-либо из рабочих лидеров решился оспаривать правильность этого замечания.

Причинами этого явления я отказываюсь интересоваться. Возможно, что пред нами результат процесса тред-юнионизации палестинского рабочего движения, начавшийся с 1921 г., когда была основана общая и беспартийная «Рабочая организация»: обе старые партии, с их как-никак идеологическим пафосом, стерлись и утонули в чисто экономическом устремлении нового целого. Возможно, что эта утеря государственного горизонта во славу группового эгоизма есть неизбежное явление при росте рабочего элемента и связанных с этим ростом забот. Я тут никого не «сужу» и никому не ставлю отметок за добрые или злые намерения. Но результат ясен: движение, которое четыре года тому назад обещало стать стержнем и опорой всей колонизации, превратилось в группу, отстаивающую свои выгоды независимо от интересов колонизации. Вместо государственного отношения к каждой новой силе, прибывающей в страну, вместо заботливого старания найти для этой силы — какова бы она ни была — подходящую почву, вместо готовности потесниться для нового попутчика, — сам собою сложился упрощенный архимедовский лозунг: «не смей трогать, это мое». Вместо колонизатора обнажается «конкурент».

Это все ведет и к моральному измельчанию, иногда к положительным безобразиям. До войны больше 100 000 евреев жило в Палестине, как государство в государстве; свои споры они решали между собою, иногда ходили судиться к консулу, но почти никогда раздоры между ними не принимали площадного характера, чтобы турецкой полиции при-

ходило их разнимать. Теперь уличные сцены с вмешательством «ирландцев» грозят стать в Тель-Авиве бытовым явлением. Создатели этих сцен прекрасно знают, как они отзовутся на нашем политическом престиже. Но что им за дело? Колонизатор стал конкурентом.

Этот паралич политического нерва в рабочем движении есть для постороннего наблюдателя самое тяжелое во всей тяжелой картине. Мы все с детства привыкли смотреть на рабочие партии как на прирожденных борцов против всякой политической кривды. Мы привыкли видеть их во главе каждой честной борьбы, каждого честного протеста. Так оно было еще недавно и в Палестине. Теперь все это изменилось. Рабочее движение отказывается плестись даже в хвосте национального протеста. Оно, в лучшем случае, отмалчивается; в худшем — оно голосует за г. Сэмюэля, печатает статьи и произносит речи в защиту существующего порядка; его лидеры доказывают, что, «собственно говоря», к чему нам земли и что нам за польза от раскрытия дверей страны, когда мы такие бедные, пора вернуться к Хиббат-Цион, когда никто не фантазировал о политических требованиях... — лидеры проповедуют, а масса, как быдло, лишенное смысла и гордости, переизбирает их лидерами.

«Обстановочка» заела. Утучнел Иешурун — и перестал лягаться, даже тогда, когда нужно лягнуть. Создали раздутое хозяйство, вести которое, по-видимому, не хватает собственных сил; целыми днями приходится стоять в очереди у кассы, и касса стала алтарем. На алтаре этом приносится в жертву все остальное. К сионистской экзекутиве применяется одна-единственная мерка — кассовая: платить? Значит, хорошо, и мы не дадим не только сбросить ее, но даже примеркой тревожить не будем. Гвиры? Безответственное агентство? Отмена избирательного принципа? Кастрация конгресса? Все это мелочи, мерка одна: так как у гвиоров есть деньги, то милости просим, и нечего ставить им условия...

Повторяю: может быть, ученые люди докажут мне, что все это неизбежно, что рабочее движение в Палестине объективно должно было получить именно такой, а не иной характер.

Это не мое дело. Я эту тактику называю политическим разворотом, эту психологию — коллективной продажностью. Если *это* истинная, раз-навсегдашняя объективно-неизбежная

физиономия рабочего движения в Палестине, тогда я ему действительно враг и горжусь этим именем. Если же это есть только извращение, гримаса, навязанная бездарными или трусливыми вожаками; если правда, что массе это противно, что ее тянет к государственному диапазону движения, к роли авангарда в политической борьбе, к роли пионера и регулятора в творении палестинского хозяйства, то тогда слово за массой. *Ваших* вождей, слава Богу, не Джойнт назначает; *ваша* программа еще не подчинена «вето» нью-йоркской биржи: все это в ваших собственных руках. Если вас ведут в трясины, вы виноваты. Не хотите? Выход прост и ясен.

«ВОСТОК»

I

Д-р И. Клаузнер дал недавно в «Гашилоахе» отповедь тому течению сионистской мысли, которое силится навязать нам, евреям, какое-то духовное родство с так называемым Востоком. Статью г. Клаузнера я знаю пока только по газетным выдержкам; но выдержки эти приятно было читать и по существу и еще потому, что напечатаны они на «восточном» языке, в «восточном» городе Иерусалиме, и исходят от автора, который известен своим бережным отношением к нашей национальной традиции. Давно пора было высказаться на эту тему; завидуем «Гашилоаху» в том, что он предвосхитил нашу мысль. Востоколюбивое течение в сионизме проповедуется особенно рьяно, если не ошибаемся, на аренах берлинской и пражской; главным проповедником является, говорят, г. Мартин Бубер — но так как я с его литературной деятельностью не знаком, то за эту последнюю подробность ручаться не могу. Содержание востоколюбительства, однако, известно каждому, кто встречался за последние годы с сионистской молодежью из стран, где говорят по-немецки. Это — одна из главных составных частей той духовной пищи, которой там обезличивают молодежь, причастную к сионизму, и отпугивают от сионизма молодежь, которая могла бы стать к нему причастна.

Содержание, вкратце, такое. Мы, евреи, народ восточный по происхождению; несмотря на западные влияния, основа нашей души осталась восточной. Ибо у Востока есть своя особая душа (следует описание этой души; я его несколько раз слышал, но не понял и не помню). Во всяком случае, эта восточная духовность по своим качествам выше души Запада (а по другим авторитетам: является необходимым дополнением к душе Запада). Идя в Палестину, мы возвращаемся в среду народов, которые сохранили восточную психологию в большей или меньшей целостности. Мы поэтому должны и в своем нутре разыскать элементы восточности, засоренные пылью Запада, но все еще живые, и заняться их культивированием. Затем следуют оговорки, ибо и востоколюбые не хотят отказаться от электричества; оговорки о том, что, конечно, мы должны дать Востоку и западную технику, и даже — в строго прочищенном виде — некоторую долю духовной культуры Запада; но все это бахрома, а основа, суть, главное — овосточимся.

Против этой точки зрения с особенным удовольствием выдвигаю противоположную — ту, к которой, если я верно понял выдержки, близок редактор «Гашилоаха»: у нас, евреев, с так называемым «Востоком» ничего общего нет, и славу Богу. Поскольку у необразованных наших масс имеются духовные пережитки, напоминающие «Восток», надо наши массы от них отучить, чем мы и занимаемся в каждой приличной школе и чем особенно усердно и успешно занимается сама жизнь. Идем мы в Палестину, во-первых, для своего национального удобства, а во-вторых, как сказал Нордау, чтобы «раздвинуть пределы Европы до Евфрата»; иными словами, чтобы начисто вымести из Палестины, поскольку речь идет о тамошнем еврействе нынешнем и будущем, все следы «восточной души». Что касается до тамошних арабов, то это их дело; но если мы можем им оказать услугу, то лишь одну: помочь и им избавиться от «Востока».

Поскольку же нам в течение переходного периода или после придется в Палестине жить среди окружения, пропитанного дыханием «Востока», — будь это окружение арабское или староверо-еврейское, все равно — рекомендуется тот жест, который каждый из нас невольно делает, когда проходит в пальто по узким «восточным» улицам Стамбула или

Каира или Иерусалима: запахнуть пальто, чтобы как-нибудь оно не запылилось, и смотреть, куда ставить ногу. Не потому, что мы евреи; и даже не потому, что мы из Европы; а просто потому, что мы цивилизованные люди.

II

Чем отличается «Восток» от Запада? Прежде всего, конечно, не географически. Самый густой и цельный «Восток» сохранился теперь именно в Марокко, а ведь Фец лежит к западу и от Парижа, и от Лондона. Незачем также останавливаться на различии между техническим прогрессом западных стран и технической отсталостью «восточных»: ведь и востоколюбцы наши не согласны отречься от железной дороги в пользу верблюда и не настаивают — по крайней мере не все, — чтобы мы сняли брюки и надели халат. Речь идет о духовной жизни, вернее, — об ее основных императивах. Только в этой области нам и советуют перейти на «восточную» диету: усвоить принципы «восточного» мирозерцания.

В чем заключаются эти «восточные» начала, пока ни в одном учебнике не сказано; а раз в учебнике не сказано, остается каждому толковать эти начала по-своему. Как уже упомянуто, толкование наших собственных востоколюбцев из Берлина и Праги я слышал и не раз, но не понял ни слова; поэтому дам свое, по собственным наблюдениям: не притязая ни на полноту, ни на систематичность — наоборот, буду выхватывать из «восточной» психологии отдельные куски, без системы; но смею думать, что куски эти существенные и показательные.

Психологически Восток (опускаю иногда кавычки для удобства набора, но прошу читателя помнить, что они нужны) отличается от Запада, прежде всего, своим этическим спокойствием. В этом покое, говорят, есть своя красота; возможно — красота есть в каждом цельном состоянии, например, в смерти; но мы тут не говорим об эстетике. Это настроение покоя иногда называют квиэтизмом, иногда фатализмом, иногда другими именами, но его наличности никто не отрицает. Европа ищет, мечется, починяет, разрушает, строит, карабкается; Восток, когда его не толкает или не раздражает Европа, живет в состоянии равновесия. И на Востоке есть огромная разница между богатыми и бедными; есть эксплуатация, о какой Запад

уже сто лет не слышал; но активного движения бедноты против богатства нет; этического протеста против несправедливости распределения благ, протеста в форме определенного общественного натиска нет. Талант восточного простонародья философски удовлетворяться малым вошел в поговорку — так же точно, как принципиальная, неотступная неудовлетворенность обездоленных классов в Европе есть основная черта европейской общественной жизни.

В чисто политической сфере это различие выразилось так: Европа создала парламенты, свободную печать, сотни форм общественного контроля и инициативы: Восток (покуда не стал подражать Европе) остался при деспотизме. Внутренне он остался при деспотизме и там, где есть парламенты. Надо только заглянуть поглубже, под надстройку любой тамошней палаты депутатов, и мы увидим почти безграничную власть шейха над мужиком, мастера над подмастерьем, отца над детьми, мужа над женою — поскольку европейский губернатор не вмешался и не ввел кой-каких ограничений; и в то же время мы увидим почти полное отсутствие осознанного протеста у угнетенной стороны — поскольку не подстрекнул ее к тому, с весьма малым успехом, европейский агитатор.

Затем: религия. Ислам есть, вероятно, очень мудрая и благородная религия; дело не в нем, а в том, что Восток стремится вводить религию во все углы быта. Восток дорожит подлинной печатью Господа Бога на всем: на своде законов, на характере научного исследования, на времяпровождении Ахмеда и Фатимы, на одежде, на кухне и т.д. Запад твердо стал на ту точку зрения, что область религии строго ограничена: это есть внутреннее отношение человека к божеству. Ни в законодательство, ни в философию, ни в науку, ни в диету цивилизованных народов Запада религия не вмешивается: в семейном быту ее влияние сводится к церемониалу праздников, но не определяет ни одной из действенных сторон домашней жизни.

Больше всего это сказывается на положении женщины. Это, по-видимому, самая серьезная и самая трагическая палка в колесах Востока. Многоженство, гарем и чадра не только религия и быт: эти два института влияют на всю общественную атмосферу колоссально. Это не шутка, когда человек вырастает в сознании, что мать его не есть полноценный человек, а только антропид; ее лицо и волосы — неприличие: держать

ее надо взперти, а не то она согрешит; вообще — собственность и забава для мужчины, и не единственная в своем роде; и таковы же его сестры, и такова будет его жена. «Вся беда наша в том, — говорили младотурки еще в 1908 г., — что мы поголовно дети рабынь».

Можно еще продолжить это перечисление «восточных» своеобразий, но не стоит.

III

Тут я предвижу одно возражение: разве Восток всюду таков? И разве он всегда был таков? Турция теперь отменила феску и чадру, раскрыла двери гарема и даже ликвидировала халифат. Египет живет жизнью, полной общественного протеста. В средние века, при всеобщем сне Запада, один только Восток поддерживал традицию свободного научного исследования. И, наоборот, несколько сот лет тому назад Запад представлял именно ту картину, которую теперь вы называете восточной: религия давила быт и мысль, деспотизм не встречал отпора, женщина считалась собственностью и забавой, власть отца и мужа не знала границ... При чем тут Восток? Это просто разные ступени культуры и прогресса.

Таково возражение, которое я предвижу. Но это не возражение: это подтверждение.

Совершенно верно: на самом деле, нет никаких «восточных» и никаких «западных» черт, которые носили бы основной и органический характер. «Восток» и «Запад», с точки зрения эволюционной, пустые слова. Совершенно верно: при Гарун-аль-Рашиде Багдад был, выражаясь сегодняшним языком, пожалуй, «западнее», чем современный ему Рим. Совершенно верно: когда в «восточную» страну проникает влияние цивилизации, то страна теряет те черты, которые считаются «восточными». Это верно — и в этом все дело: то, что у нас принято называть «восточностью», есть просто низшая ступень культуры, в значительной мере неряшливая. Как всякая старина, эта отсталость может показаться живописной, особенно человеку, утомленному суетой и грохотом цивилизации. Так кажутся многим живописными — квиетизм, фатализм, фигуры в чадрах, робко скользящие по улице, резные ок-

на гарема, патриархальная опека шейха и все прочее. Но все это — черты недозрелости; и так как недозрелость эта — запоздалая, ибо мы все рождены от Адама, а теперь 1926 год, то ее надо лечить. Лечить культурой. Тогда не останется ни гарема, ни чадры, ни патриархального шейха, ни фаталистической покорности року — словом, ни одной «восточной» черты. И чем скорее не останется, тем лучше.

Я, конечно, не отрицаю, что и через триста лет, при полном усвоении всех вершущих тогдашней культуры, духовная атмосфера Триполи будет отличаться от духовной атмосферы Англии. Понятно, будет, ибо это разные национальности. Так и сегодня есть различия между духовной атмосферой Англии и Франции: песня общая, голоса, языки и темперамент разные. То же будет и между «Востоком» и «Западом». Итальянцы, французы, немцы, арабы, евреи будут жить одной культурой, составленной из обмена вкладками, который внесут лучшие умы каждого из этих народов; языки и темпераменты останутся разные, будут свои особые оттенки — и только.

IV

Но, если бы «Восток» и «Запад» действительно представляли собою две основные, органически укорененные категории духа, именно тогда пришлось бы особенно твердо настаивать на том, что мы, евреи, принадлежим «Западу» и ничего общего не имеем с «Востоком».

Я знаю, что расовое происхождение наше считается восточным; даже верю в это, хотя многие теперь это оспаривают. Но это не относится к делу. Из 15 миллионов евреев, которые насчитываются в мире теперь, 14 миллионов произошли от отцов, которые переселились на «Запад» около двух тысяч лет тому назад. За этот период Европа прошла всю дорогу от гуннов и тевтонов до Лиги Наций и беспроволочного телеграфа. Достаточно времени, чтобы отвыкнуть от «азиатского» темпа жизни и сродниться с «европейским».

Я также знаю другой факт, более грустный: что у нас, в старообрядческом еврейском быту, есть еще много диких пережитков подлинной «восточности» — ненависть к свободному исследованию, вмешательство религии в быт, женщина

в парике, которой чужой мужчина не подает руки. Но если бы мы на минутку поверили, что эти черты принадлежат к органической сути еврейства, мы бы, вероятно, махнули рукою на идеал увековечения такой сути. На то и была у нас гаскала, чтобы отделить пережитки от сути. И она успела: пережитки вымирают, суть остается.

Суть же эта, по крайней мере наполовину, выражается в том, что Европа морально «наша», в том же смысле, как она для англичан, итальянцев, немцев, французов «ихняя». Мы не только зрители и не только воспитанники европейской цивилизации: мы — ее сотворцы, и притом из важнейших. Что ее этический пафос, создавший все ее освободительные движения, легший в основу ее социальных переворотов, вскормлен нашей Библией — в двух изданиях — это старая истина. Что ее экономический прогресс был бы немислим без международной торговли и без кредита и что пионерами на обоих этих путях были именно мы, — в этом ни один мыслящий человек, еще и до преувеличений Зомбарта, не сомневался. И что, наконец, от «Авицеброна» (у нас он Ибн Габирол: XI век, т.е. еще задолго до первой зари европейского пробуждения!) до Эйнштейна десятки тысяч индивидуальных евреев в разных странах лично делали науку, философию, художество, технику, политику и революцию, одни на высотах мировой славы, как Спиноза или Гейне, или Дизраэли, или Маркс, другие во втором, и третьем, и десятом ряду — и это старая песня. Ее не следует забывать.

Европа наша; мы — из ее главных создателей. За 1800 лет мы ей дали пропорционально не меньше, чем какая угодно другая из великих «западных» наций. Но мы, кроме того, начали строить ее еще задолго до общего начала — еще до того, как начали строить ее афиняне. Ибо главные черты европейской цивилизации: недовольство, «богоборчество», идея прогресса, — вся та пропасть между двумя мировоззрениями, которая выражается в антитезе двух верований: «золотой век» и «Мессия», идеал в прошлом и идеал в грядущем, — эти черты дали Европе мы, еще задолго до того, как отцы наши пришли в Европу: Библию мы принесли с собою в готовом виде.

Может быть, мы больше всякого другого народа имеем право сказать: «западная» культура есть плоть от плоти нашей, кровь от крови, дух от нашего духа. Отказаться от «западничества», сродниться с чем-либо из того, чем характерен «Восток», значило бы для нас отречься от самих себя.

Говорю, конечно, о моральной «Европе». Географическое понятие «Европа» — такая же условная чепуха, как географический «Восток». Цивилизованный еврей эмигрирует в Азию так же точно, как цивилизованный англичанин в Австралию: везет «Европу» с собою в душе и будет продолжать и развивать свою родную, кровную, двух-(и больше!) тысячелетнюю европейскую традицию в Палестине.

И соседям нашим по Азии желаем того же: скорейшей ликвидации «Востока».

ОБ АВАНТЮРИЗМЕ

Язык идиш очень богат, иногда даже сверх меры. Он может иногда вместо одного иностранного слова создать два слова с тройным смыслом, так что трудно дойти до подлинного смысла того, что ты сам произнес. Возьмем, например, слова «приключение» и «авантюра». В Польше под словом «авантюра» подразумевают «скандал», публичную драку. Слово «авантюир» (приключение) я слышал как раз в Бердичеве. Какое из этих двух слов на идише подходит к тому, что я имею в виду. А я имею в виду положительный смысл этого слова, проповедь в пользу авантюризма, защиту того, что ненавидят серьезные люди и о чем мечтает молодежь. Примеры этому мы можем найти в романах Жюль Верна и Александра Дюма-отца. Что кроется за этим понятием? Во-первых, это действия одиночек, и даже всего одного лица на собственный страх и риск, ибо большое количество людей не может участвовать в аванюре часто, а только в редких случаях. Во-вторых, это опасное предприятие, у которого больше шансов на провал, чем на успех. И поэтому каждый серьезный человек считает аванюру глупостью и легкомыслием. Но я намерен защитить право аванюры на существование. Серьезный расчет часто имеет меньше шансов на успех, чем

авантюризм. Пример тому мы видим в истории сионизма в последние годы: он был продуманным, избегал риска, всего, что связано с авантюрой, но что вышло из этого? «Белая книга» Пасфилда. С другой стороны, мы помним времена, когда серьезные люди называли Герцля авантюристом, а до Герцля награждали этой кличкой и других выдающихся людей — Гарибальди, Вашингтона, Колумба. Несомненно, еврей, который грозил донести на Моше из-за убийства надсмотрщика в Египте, тоже говорил ему: «Ты авантюрист». Не просто определить границы, где начинается приключение и кончаются осторожные расчеты. Один мыслитель сказал: «Всякое начало выглядит как авантюра до того, как оно превращается в успех».

Понятие авантюризма было очень расширено, так что в конце концов слово потеряло четкость. Поэтому я не обязуюсь всегда защищать его и оставляю за собой право в соответствующее время обвинить человека в авантюризме, что я не раз и делал. Все зависит от многих обстоятельств: обстановки, момента, конъюнктуры и от типа авантюры. Иногда авантюризм явление положительное, иногда — вредное. В данный момент я считаю нужным защитить авантюризм, ибо он неизбежно займет свое место. И ничего не поможет, даже если мы будем кричать: «тихо». Тишины, покоя не будет, ибо евреи не умерли, мы живой народ, и сионизм жив, он даже усилился, слава Богу. Поэтому стоит подумать и взвесить, не лучше ли дать ему ход как нормальному явлению в ненормальных условиях.

А теперь поговорим о проблемах репатриации в Палестину. Она запрещена. Как она повлияет на душевную гигиену народа, ведь речь идет о душевном здоровье молодежи. Глаза десятков лучших сынов народа были обращены к репатриации. 2000 человек молодежи были готовы к репатриации, изменить направление в своем образовании, оставить учебные заведения, отказаться от карьеры, связанной с учебой, вступить в конфликт с родителями. Пока была надежда на репатриацию, по крайней мере для двух тысяч молодых людей в год, была жива искра надежды. А что теперь? Никакого утешения; даже если в следующем году выдадут несколько тысяч сертификатов, ясно, что власти Палестины не разрешат большой алии, и 90 процентов из тех, кто соби-

рался принять участие в строительстве страны, не имеют и тени надежды приблизиться к желанной цели (пока у власти находятся нынешние правители).

Какой же выход из этого положения? Выход политический я не стану затрагивать в этой статье. Сейчас меня интересует другая сторона этой проблемы. Представьте, что перед вами сидит молодой человек или девушка, ваш сын или дочь, и спрашивает вас: «Что мне делать? Не всем, а мне лично; должен ли я смириться с этим запретом репатриации со стороны англичан? Склонить голову и сказать: «Хорошо, я выполню приказ, и до тех пор, пока я не получу разрешения, я буду пайнкой, останусь дома и помогу тебе, папа, торговать овощами в лавке. Но существует опасность, папа, что это положение затянется и развитие пойдет по другому пути, не ведущему к Сиону, и поэтому не следует ли искать других путей — авантюрных? Где написано, что в страну можно проникнуть только с разрешением в руках? Разве ты не рассказывал мне о временах, когда вы нарушали границу?»

Будем осторожны, отвечая молодым людям. Объясним им, что в Палестине гораздо труднее перейти границу, чем в бывшей России. В Палестине есть сложные границы: с одной стороны, море, с другой — Суэцкий канал, с третьей и четвертой — враждебное арабское население. Это знает даже спрашивающий молодой человек. Но главная опасность состоит в том, что в результате молодой человек может лишиться последней надежды, его собственной мечты, и предстанет перед альтернативой, упомянутой выше: выбрать другие пути, которые не ведут в Сион. Но не стоит переоценивать надежность обдуманных действий. Я хорошо знаю границы Палестины. Они не легки, но не все, что тяжело, непреодолимо. Я не стану входить в детали, но эта авантюра не хуже других, у нее есть как шансы на провал, так и на успех. Одно ясно: народ, и особенно молодежь, не смеют склонять головы и говорить со вздохом: полиция запретила нам стремиться к избавлению, откажемся же от него и будем сидеть послушно дома. Конечно, мы продолжим борьбу за избавление, и где написано, что доказывает, что во имя избавления нельзя использовать авантюру как средство? Уроки истории говорят об этом. История свидетельствует, что даже неудавшаяся авантюра становится

иногда средством борьбы, особенно если это предприятие не одиночки, а группы людей. Совсем не страшно, если бы англичанам пришлось бы хватать каждое утро молодых евреев, сажать их в тюрьмы и высылать за пределы Палестины, и повторять это раз за разом. Может, это совсем не опасно, если англичане обнаружат вдруг, что у нас есть организация «контрабандистов», переправляющая нелегально евреев в их национальный дом, и вследствие этого возникнет ряд судебных процессов против этих нарушителей. Кто знает, может, эти суды превратятся в международный суд против самой Англии.

Но я больше не молод и не могу дать совет молодежи. Но если бы я был молод, наплевал бы я на их разрешения и запреты. Вы скажете, что это невозможно. Расскажите своей бабушке, а не мне. Трудно? Да. Очень трудно. Но в этом и есть смысл авантюры. Горы высоки для того, чтобы на них взбираться. Если бы я был молод, я бы избрал новый вид пропаганды и обзавелся бы соответствующим символом: свистком, простым копеечным оловянным свистком, который помогал бы мне освистывать все их законы и запреты. Англия потеряла право требовать уважительного отношения к ее законам на земле Израиля. Вся ее деятельность в Палестине представляет нарушение морали; как мы презирали царские законы, так мы отнесемся и к английским властям в стране. У Англии есть все возможности и средства осуществить свою власть, но она потеряла моральное право продолжать свое господство здесь. Прошло время, когда мы были уверены, что должны поддерживать английские власти, оказывая им моральную поддержку, даже когда это давалось нам нелегко.

В последнее время немногие в Палестине готовы принять участие в аванюре, но их число будет расти, как и само предприятие будет разрастаться в силу обстоятельств и его важности. Ибо не мыслимо, что общество, насчитывающее три поколения людей, одержимых национальной идеей, станет покорно кивать головой в знак согласия с деятельностью банды чужестранцев, право властвовать которой в земле Израиля основано на том, что они не выполняют возложенного на них долга. Они сделали нашу жизнь в Палестине невыносимой. Ясно, что в Палестине неизбежно найдутся евреи, которые найдут пути превратить и жизнь англичан в невыносимую, может быть, еще более невыносимую, чем наша.

Число таких людей в начале будет невелико, их ряды займет молодежь, и их назовут авантюристами, одного за другим их заключат в тюрьмы Акко, Иерусалима за неуплату налогов, за вызывающее отношение к полицейским.

Но аресты не такая уж трагедия для сидящих в тюрьме. В одном из журналов «Массуот» я прочел интересное описание ареста членов Бейтара из Рош-Пины, отправленных в тюрьму в Акко за пропаганду бойкота переписи населения. Просто удовольствие читать об этом в наши дни, когда «протест» совершается по указанию свыше. Стучат в дверь и спрашивают: «Вы готовы получить бланк переписи населения?» Им отвечают: «Нет». И тогда следует вопрос: «Не вы ли тот, кто распространяет прокламации против переписи населения?» — «Да, и еще как». О какой силе духа говорит этот короткий рассказ. И после этого их посылают чистить туалеты в тюрьмах; и эти молодые люди надевают праздничные одежды и идут выполнять работу, и каждое пятно на их одеждах клеймит их тюремщиков. Две молодые девушки, Шошана Шиманович и Рая Берман, отказались работать, ибо эту работу могли бы понять как «сотрудничество». Их отправили в тюрьму Бейт-Лехем. Вслушайтесь в звучание названий этих городов: Акко, Бейт-Лехем, связанных с их арестами; даже грязные рабочие не могут уменьшить силу звучания святых слов Иерусалима, горы Скопус. Аресты не трагедия для тех, кто сидит в тюрьме, иногда это трагедия для тех, кто посылает честных людей в тюрьмы.

Англия дошла до того, что господствует на подчиненных ей территориях, сажая в тюрьму честных людей. Каждый патриот Индии стесняется того, что остается дома. «Кто я, — спрашивает он себя, — предатель, не подвергающийся аресту?» А корреспонденты «Таймс» и «Ниар Ист» облизывают пальчики и радуются: «Какие мы сильные». Повремените еще год, слепцы, и увидите, где ваша сила. В наше время это признак не силы, а беспомощности, когда культурный народ пытается удержать власть, только надевая наручники на выдающихся людей культуры подчиненного ей народа. Каждый ребенок в Англии знает, как растет ежедневно влияние Ганди. Каждый день его заключения — победа в битве за его идею.

И то же самое будет на земле Израиля, если мы еще живой народ.

СИОНИЗМ И КОММУНИЗМ

I

Заметка эта представляет собой ответ на частное письмо, содержание которого приблизительно таково: «Я хотел бы задать Вам один прямой вопрос и получить на него такой же ответ и совет, хотя я не могу поручиться, что последую ему. В течение пяти лет я принимал активное участие в деятельности одной молодежной сионистской организации, но в последний год существенно изменились мои взгляды на общество. Я больше не верю в существующий режим и питаю отвращение к социал-демократам. Они напоминают мне сионизм у нас, в котором надеются на эволюцию, занимаются социализмом в миниатюре и, хоть и против желания, предательством. А раз так, коммунизм выглядит намного привлекательней. Но прежде всего я хотел бы видеть свой народ, обосновавшийся и пустивший корни в Израиле, или, по крайней мере, в начале этого процесса; тогда я мог бы посвятить себя борьбе за новый режим. Когда я рассказал об этих своих мыслях товарищам по организации, это только привело к трениям, о которых я не стану рассказывать. Какой совет Вы можете мне дать? Имею ли я право оставаться в сионистской организации с такими взглядами или мне следует оставить ее? Что Вы думаете об этом?»

Вопрос действительно прямой. И он знаменателен для нашего времени. От него нельзя отмахнуться. Тот, кто потерял надежду на осуществление целей сионизма и перестал в душе быть сионистом, не должен совершать лишних усилий для понимания их, а встать и пойти по зову своего сердца. Человек либо родился сионистом, либо нет. Сионизм воплощает гордость и признание права на государственный суверенитет, и эти черты не могут разрешить ему принять положение, при котором еврейская проблема отодвигается с первого места и уступает дорогу другим, как бы велики и значительны в мировом масштабе они не были. Для человека, который так чувствует, даже спасение всего мира неактуально, пока у еврейского народа нет своей страны, как у всех народов; даже если ему скажут, что для достижения сионизма необходимо временно отсрочить спасение мира на целое поколение, на сто лет, он скажет: «Пусть мир подождет,

ибо мы часть его, важная и святая, ждущая спасения». Такие ощущения нельзя внушить человеку. Бывает, что человек считал себя сионистом, особенно после провозглашения Декларации Бальфура, когда сионизм стал модой и казалось, что вот-вот он осуществится, и без особых трудностей. Но вскоре всплыли трудности, он вышел из моды, и человек, считавший себя сионистом, видит, что он ошибся, он может существовать и без спасения Израиля и может удовлетвориться спасением остального мира. Такому человеку следует сказать: если так, иди с миром, и чем скорее, тем лучше. Был период в семидесятые годы, когда было принято покидать лоно еврейства массами. Почти каждый молодой человек, который вступал в общеобразовательную школу, был кандидатом в духовного изгоя; но мы преодолели это явление. И слава Богу, удостоились быть свидетелями первых пионеров БИЛУ, Герцля, Нордау и других. Нам нечего бояться покидающих. Мы бесконечно богаты. Я говорю со всей серьезностью всем сионистским молодежным организациям: открывайте двери всем сомневающимся; каждому: взглядишь в свою душу, может, ты ошибаешься, и в душе твоей сионизм не господствует над другими мировоззрениями. Если это так, дорогой друг, не теряй ни минуты, иди с миром, не поведая, что ты думаешь о нас, — мы обойдемся без тебя.

Но юноша, написавший мне письмо, принадлежит к другому типу людей, и такие юноши типичны для нашего времени. Он в душе не отвергает сионизм, он только хочет совместить его с другим идеалом; он даже говорит о том, что прежде он хочет видеть еврейский народ, обосновавшийся в земле Израиля. Такому человеку надо ответить честно: не может быть прежде и после, а только то, что служит одному идеалу, ибо не только нет места другому идеалу, а возникает необходимость против него, если он мешает первому. И речь идет не о теории. У каждого образованного человека есть разные точки зрения на всевозможные жизненно важные вопросы. Он может быть пацифистом, поклонником эсперанто, приверженцем арабского народа, ратовать за получение им арабской федерации от Марокко до Ирака. Он может восхищаться Англией и поддерживать ее право на сохранение колонии Индии или, наоборот, испытывать ненависть к Англии и мечтать об освобождении

Индии. Он может быть врагом существующего режима и верить, что самый справедливый режим — социализм. Он может даже верить, что для завершения социализма больше подходят коммунистические методы, чем социал-демократические. Многие глубокомыслящие и серьезные люди придерживаются подобных взглядов в разных областях. Но это всего лишь взгляды, не идеалы. Идеал — это особый вид мировоззрения, которому верны; и всякий раз, когда возникает противоречие между идеалом и другими мировоззрениями, служат первому и отбрасывают остальное.

В каждом движении есть внутренние проблемы совести. Особенно это относится к так называемым «революционным» движениям. В принципе они против кровопролития, но они не следуют этому принципу, когда идеал вынуждает их. Гарибальди был одним из первых, кто мечтал о создании Лиги Наций, которая покончит со всеми войнами; но всю свою жизнь он воевал. Я готов поверить, что русские коммунисты против принципа милитаризма, но они создали самую большую армию в мире. Можно привести множество примеров из всех сфер жизни. Но есть одно железное правило: человек не может достигнуть чего-то, не будучи готов принести в жертву другие мировоззрения, когда есть в этом необходимость. Отсюда святая нетерпимость идеала. Идеал не терпит никакого соперничества.

II

Отсюда мы приходим к принципиальной дилемме: можно ли, как надеется мой молодой друг, совместить активную деятельность в пользу сионизма с последовательным служением коммунизму. Если это возможно — нет никаких противоречий, но если нет, тогда...

Давайте посмотрим беспристрастно на действительность, забудем, что пишущий эти строки не только против коммунистических методов, но и против коммунистического режима; более того, забудем об отношении коммунистов к сионистам в странах, где их преследуют. Выразим свое мнение о коммунизме на основе двух его основополагающих принципов.

Отношение к капиталу: финансирование строительства в Палестине исходит на девяносто процентов из кармана людей среднего класса. Все фабрики в Палестине созданы на их

деньги. Деньги на строительство Тель-Авива дал средний класс. И самые старые в стране сельскохозяйственные поселения созданы на деньги мелкой буржуазии и большого капитала, другая группа поселений, более поздняя (Месха, Седжера и другие), на деньги барона Гирша; новые поселения на деньги Керен-га-Есод (Основного фонда). И снова это деньги буржуазии. Факт этот может быть неприятным или нет, но факт налицо. А одним из ведущих принципов коммунизма является классовая борьба против буржуазии, и цель ее — покончить с буржуазией после победы пролетарской революции, реквизируют всю ее собственность, большую и малую. А это означает уничтожить единственный источник капитала для строительства Израиля. Коммунизм в силу своей природы стремится настроить народы Востока против европейских стран. Он видит европейские страны как «империалистические и эксплуататорские» режимы. Совершенно ясно, что коммунисты станут натравлять народы Востока против Европы. И сделать это они могут только под лозунгом национального освобождения. Они говорят им: «Ваши страны принадлежат вам, а не чужим». То же они неизбежно скажут и арабам, особенно арабам Палестины. Ибо в соответствии со стратегическим законом нельзя пренебрегать никакой армией, никаким борющимся движением, нужно бить противника в его слабом месте. Евреи слабее англичан, французов и итальянцев.

И снова я хочу подчеркнуть: я не говорю, что коммунизм злонамерен. Наоборот, я знаком с несколькими русскими коммунистами, которые питают симпатию к сионистам. Но симпатия не может изменить объективного отношения к сионизму. Принципиально коммунизм против сионизма. Коммунизм не может не подкапываться под сионизм и не предоставить арабам возможность превратить Палестину в часть большого арабского государства. Он не может вести себя по-другому. Коммунизм стремится подточить и уничтожить единственный источник строительного фонда — еврейскую буржуазию, ибо основа его — принцип классовой борьбы с буржуазией. И поэтому оба эти движения несовместимы даже теоретически. Тот, кто хочет служить сионизму, не может не бороться против коммунизма. Весь процесс строительства коммунизма, даже если он происходит где-то там, на другом конце планеты, в Мексике или

в Тибете, наносит ущерб строительству Земли Израиля. Каждый провал коммунизма в пользу сионизма. Редко встречаются в жизни два так резко несовместимых движения.

Нет места понятиям «прежде» и «после». Если мы хотим прежде всего создать еврейскому народу государство по обе стороны Иордана, мы не можем оставаться нейтральными. Как человек не может дышать в воде (любит он воду или нет), так сионизм не может существовать в атмосфере коммунизма. Если сионизм занимает в сердце первое место, нет в нем места прокоммунистическим тенденциям, ибо для сионизма коммунизм, как удушающий газ, и только как к таковому можно к нему относиться. Или — или.

У каждого интеллигентного человека можно обнаружить массу всяких взглядов и вер. Поэтому, посиди, подумай и выбери, какую из них ты предпочитаешь, какой хочешь служить, а ко всем остальным отнесись, как советская власть к идее пацифизма: если можно дать ему ход, почему бы и нет, если нет — создает сильную армию; склони голову перед одним идеалом. Человек может жить и без идеала — работкам это не мешает, но с двумя идеалами может мириться только болтун.

Если ты выбрал коммунизм — иди с миром, если еврейское государство на земле Израиля, то твоя симпатия к коммунизму лишена смысла, и ты должен бороться с этим, покончить с этим, как и я. Но я это делаю с удовольствием, а ты с сожалением, вот и все различия между нами. Есть только две возможности. Третьей не дано.

1932

ИДЕЯ БЕЙТАРА

Движение «Бейтар» (Союз имени Йосефа Трумпельдора) возникло в 1923 году в Риге по инициативе местной молодежи. Почти в то же время были созданы отделы Бейтара в других странах. Первый съезд всех руководителей движения собрался в Варшаве в январе 1928 года; первый международный съезд представителей Бейтара произошел в Данциге в июле 1931 года. Сейчас, в 1934 году, движение насчитывает около 40 000 членов из 24 стран.

Некоторые части программы Бейтара тождественны с политическим принципом программы международного союза сионистов-ревизионистов и с основами, принятыми на конференции в Данциге. Но мировоззрение Бейтара находится в процессе формирования. Сама жизнь медленно создает его в ответ на проблемы, ожидающие своего решения. На наших глазах появляется и расцветает новое растение, еще слабое, доселе невиданное, подобно которому мы не найдем в еврейских садах. Еще не ясно, какую оно примет форму, когда созреет, какие даст плоды. Душа Бейтара все еще «тайна» как для его последователей, для массы бейтаровцев и ее вождей, так и для автора этой брошюры. В ней я могу наметить только ее основные линии, намеченные в Данциге. Во второй части я могу привести только свои собственные соображения и надежды: рассказать о том, что я чувствую и предвижу в связи с энтузиазмом Бейтара.

Эта брошюра состоит из двух частей. В первой читатель найдет те моменты, которые нашли свое выражение в принятой программе Бейтара. Во второй части попытка найти решения проблем, поставленных самой жизнью перед бейтаровцем. Если первая часть — официальная программа Бейтара, то вторая — взгляды автора.

1. МИССИЯ БЕЙТАРА

Роль Бейтара проста и нелегка: создать новый тип еврея, в котором нуждается нация для создания еврейского государства в возможно более короткий срок и в наиболее совершенной форме. Иначе говоря: создать «нормального» и «здорового» гражданина. И в этом таится вся сложность, ибо еврейская нация в данное время «ненормальная» и «нездоровая», и вся система отношений в диаспоре противоречит воспитанию нормального и здорового гражданина. За две тысячи лет рассеяния еврейский народ потерял способность направлять все свои стремления на выполнение одной целенаправленной цели, отучился действовать, как одна нация, потерял способность защищать себя с оружием в руках в случае опасности. Он привык больше орать, чем действовать; беспорядок и отсутствие организации, небрежность стали привычными для него в общественной и личной жизни.

В связи с этим воспитание занимает первое место в движении Бейтара, и каждый шаг в этом направлении поднимает его на вершину, хотя достижение совершенства в поведении займет много времени у каждого члена Бейтара. Но все члены Бейтара стремятся достигнуть этих вершин.

2. ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

В основу мировоззрения Бейтара положена идея создания еврейского государства. Но уже в основе этой простой идеи кроется мировоззрение Бейтара. В чем смысл существования каждой нации? Смысл его в том, что каждая нация вносит свой вклад в общую культуру всего человечества, вклад, который характеризуется духовными особенностями каждой нации. Нация не может удовлетвориться только идеями и советами: она должна быть живым примером, осуществить свои идеи и идеалы на деле, выразить их не только в книгах, но и в формах коллективной жизни народа. Но народу необходима собственная «лаборатория», страна, в которой он «хозяин», в которой он может свободно жить коллективной жизнью в соответствии с его мировоззрением, будь оно положительным или отрицательным; такой лабораторией может быть только независимое государство.

В течение многих лет часть евреев считала, что если миссия евреев — распространять свои идеалы в цивилизованном мире, то наилучший способ для выполнения этой миссии — рассеяние среди народов земного шара, ибо, по их мысли, так легче распространять идеи среди других народов и способствовать тому, что народы последуют их советам в своей общественной жизни. Но это грубая ошибка. Нечего давать советы другим народам, мир учится не на советах, а на практических примерах, даже если речь и идет о восприятии новых идей. Англия, например, обогатила мир большой социальной идеей — самоуправлением свободных граждан, то есть парламентарным государством. Но как «учила» Англия другие народы воспринять идею и установить парламентский режим? Не путем рассеяния среди других народов, наоборот, английский народ сам подготовил и создал парламентарный режим в своей стране и, таким образом, дал ми-

ру живой пример, которому мир и последовал. Подобным образом и французы выполнили свою миссию и обогатили мир идеей свободы и равенства только после победы Великой французской революции. Самый лучший путь показать человечеству хороший пример — осуществить его на деле, а не на словах.

Сионисты не отвергают идеи «миссии» еврейского народа, наоборот, мы уверены, что мир еще воспримет от нас многие вещи, еще неизвестные до сих пор, но единственный путь к этому — создание еврейского государства.

3. ЕВРЕЙСКОЕ БОЛЬШИНСТВО В ПАЛЕСТИНЕ

В чем практический смысл понятия «еврейское государство». Когда мы можем сказать, что наша страна перестала быть «Палестиной» и превратилась в Эрец-Исраэль (Земля Израиля)? Только тогда, когда в ней будет больше евреев, чем неевреев. Первое условие для национального государства — национальное большинство.

Долгое время многие евреи, даже сионисты, не соглашались с этой простой истиной. Они считали, что достаточно занять в Палестине важные позиции (поселения, города, школы), и мы сможем жить свободной «национальной жизнью», даже если большинство жителей в ней будут чужими; и это грубая ошибка. История учит нас, что такие «национальные позиции», пусть они будут сильными и важными, не могут быть надежными, пока народ, захвативший их, не составит большинства в той или другой стране. Пример тому немцы, которые создали более чем за 500 лет богатую немецкую культуру в Эстонии и Латвии, но никогда не были там большинством. И в результате, Рига — латвийский город, университет в Дерпте — эстонский. В Малой Азии греческая культура господствовала более 3000 лет, но в конце концов турецкое большинство не только разрушило греческую цивилизацию, но и изгнало всех греков с земли.

Первейшая цель сионизма — создание еврейского большинства на земле Израиля. Но это не окончательная цель. После создания в ней большинства нужно ввести управление на широких демократических началах, и тогда откроется

еще более важная задача: возвращение в Сион, то есть создание таких условий, которые дадут возможность каждому еврею, который не может и не пожелает оставаться в диаспоре, поселиться в еврейском государстве, найти в нем хлеб насущный и самоуважение. Число возвращающихся, вероятно, дойдет до нескольких миллионов, в то время как для создания еврейского большинства нам понадобится миллион или полтора миллиона репатриантов. И после этого перед нами встанет еще одна задача, может быть, самая главная: превращение земли Израиля в государство, возглавляющее весь культурный мир, в страну, обычаи и законы которой послужат примером всем странам мира. «Ибо из Сиона выйдет Тора». «Тора» не только в религиозном смысле слова.

Роль сионизма огромна, и возможности его наше поколение не может предвидеть; но первый шаг в сионизме — создание еврейского большинства, без которого не мыслимы ни сионизм, ни еврейское государство, ни истинная еврейская нация. На земле Израиля по обе стороны реки Иордан.

4. ИВРИТ

Движение Бейтар видит в языке иврит единственный и вечный национальный язык еврейского народа. На земле Израиля он должен превратиться в единственный язык, господствующий во всех сферах еврейской жизни. В странах рассеяния он должен стать языком обучения, начиная с детских садов и кончая средней школой, а затем и в университете, если когда-нибудь мы доживем до еврейского университета в диаспоре. В воспитании каждого еврейского ребенка язык должен стать началом и основой всего. Еврейский ребенок, который не знает иврита, не совсем еврей, даже если он член Бейтара.

Мы относимся с уважением ко всем другим языкам, на которых говорит наш народ, особенно идиш, к их литературе и прессе. Более того, мы ценим народную и национальную роль, которую сыграл идиш (у сефардов — ладино) до сегодняшнего дня в борьбе с ассимиляцией. Но язык национальный — это нечто особое; им не может быть язык, который народ получил от чужой расы и приспособил его для

себя. Нельзя обойти тот важный факт, что величайшие бессмертные создания нашего национального гения были созданы на иврите, а не на арамейском в древние времена или на идише в наше время. Как бы ни была велика роль этих языков, они не могут быть нашим национальным языком. «Национальный язык» — это язык, который родился вместе с народом и сопровождал его в том или другом виде на всем его пути, и язык этот — иврит.

5. МОНИЗМ. ХАД НЕС

И тут мы обращаемся к единому принципу, на котором основано мировоззрение Бейтара: создание еврейского государства с еврейским большинством по обе стороны реки Иордан. Бейтар особенно гордится своим монизмом, который отличает его от всех других юношеских еврейских организаций. Движение Бейтар — это новое поколение юношей, посвятивших свою жизнь единственной идее — построению еврейского государства — и не признающих других идеалов.

Это не значит, что бейтаровцы должны отрицать другие идеи, их значение, величие в преобразовании мира, идеи, которые вдохновляют массы человечества. Наоборот, член Бейтара должен быть человеком открытым, с ясным умом и благородным сердцем, человеком, уважающим другие стремления своего поколения, тем более, что большая часть из них исходит из еврейских источников (Пятикнижие), таких, как, например, пацифизм или борьба за социальные справедливости. И мы надеемся, что настанет время, когда еврейское государство покажет всему человечеству истинный путь к миру и общественной справедливости на земле. Но для этого еврейский народ должен прежде всего создать еврейское государство, а роль эта трудная и сложная, требующая от него сил целого поколения, а может, и не одного. И нынешнее поколение евреев должно посвятить себя этой единой цели; все другие цели, как бы красивы и благородны они не были, могут восприниматься до тех пор, пока они не отвлекают нас от идеи строительства еврейского государства.

Как только одна из идей становится камнем преткновения (даже косвенного) на пути создания еврейского государства, мы должны без всякой жалости отказаться от нее в пользу одного единственного идеала, ибо идей есть много, и мы можем все их признавать, но идеал может быть только один. Все остальные идеи должны отступить перед этим идеалом, и рядом с ним не может существовать никакой другой, ибо два идеала — это абсурд, как два Бога, а поклоняться можно только одному. Все остальное, как бы мы ни симпатизировали ему, всегда имеет второстепенное значение, как только оно угрожает нашему делу.

Это основной критерий, отличающий движение Бейтар от всех других сионистских юношеских движений. Для них характерна тенденция соединять два идеала одновременно, например сионизм и социализм. В результате возникает слияние понятий, которое искажает правильный подход к ним. Как сионисты, они должны приветствовать тот факт, что частный капитал может извлекать доходы в земле Израиля, ибо он привлекает дополнительный капитал и способствует созданию новых предприятий и еврейской иммиграции, но, как социалист, он должен отнестись к идее доходов, как к «эксплуатации». В результате такого слияния понятий они не могут выпутаться из этой ситуации: в области сионизма они не смеют произнести «еврейское государство» или «еврейское большинство», ибо это означает развитие «капиталистов», а без этого не может быть значительной иммиграции рабочих; в области социализма эта молодежь носит с идеей чистого, не сионистского социализма, который напомнит сионистам, что их действия противоречат пролетарским принципам. И поэтому мы видим, что многие из них отказываются от идеи сионизма, ибо «два идеала» невозможны и один исключает другой.

Такое слияние двух идеалов, отрицаемое Бейтаром, можно назвать библейским словом «Шаатнэз», на иврите Хад нес (одно знамя). У Бейтара нет двух душ. Все, что мешает строительству еврейского государства, связано ли оно с личными интересами, групповыми или классовыми, должно безоговорочно отступить перед одним знаменем, самым высоким идеалом — еврейским государством.

6. КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Идея классовой борьбы содержит мысль, что рабочий-еврей должен считать себя вечным врагом капиталиста-еврея, даже если он пользуется своим капиталом для создания новой фабрики или нового цитрусового сада и дает работу только еврейским рабочим. И несмотря на то, что владелец капитала увеличивает таким образом возможность абсорбции и этим приближается создание еврейского большинства, он остается врагом еврейского пролетариата, а пролетарий-еврей должен все время стремиться к единению с пролетариями других народов (в Палестине — это арабы) и бороться с ними плечом к плечу против еврейской буржуазии, без помощи которой не могли бы существовать три четверти еврейского хозяйства.

Такое отношение к действительности — бессмысленный абсурд и, что еще хуже, пустая и опасная ложь. Только в «совершенном», «построенном» обществе могут существовать классы. Когда осуществляется процесс колонизации и общество только формируется, класс — не класс, пролетарий — не пролетарий, а буржуазия — не буржуазия. Все они — «пионеры», участвующие каждый по-своему в общем и очень тяжелом процессе. Они всего лишь пешки на шахматной доске сионизма: один может быть «королем», другой — «ладьей», но все они ведут игру, направляемую лучшим игроком. Они музыканты в одном оркестре, исполняющие концерт под управлением одного дирижера. И главный дирижер — идея еврейского государства.

Никто не станет отрицать факт, что и на земле Израиля интересы рабочего не совпадают с интересами работодателя: первый хочет заработать побольше, второй — заплатить поменьше, как и в Италии или во Франции. Но на земле Израиля рабочий, если он сионист, не может помогать закрытию фабрики, ибо это уменьшит возможности поселения. И наоборот, владелец фабрики, если он сионист, не может согласиться с тяжелыми условиями для рабочего-еврея, ибо фабрика не выполнит свою роль в колонизации. Иначе говоря, в Палестине общий интерес построения сионистского государства выше классовых интересов. Поэтому нет места классовой борьбе, ибо ее тенденция — угроза

забастовок и локаутов. В Палестине все конфликты должны разрешаться национальным арбитражем. Поселенческий период имеет свои социальные законы, отличные от законов других стран.

7. ДИСЦИПЛИНА В ДВИЖЕНИИ БЕЙТАР

Структура Бейтара основана на принципе дисциплины. Цель наша — превратить Бейтар в международную организацию, члены которой будут способны выполнять одновременно во всех странах указания центра. Способность действовать сообща и точно — высшее достижение коллектива свободных людей. На такое единство поступков способны только свободные люди с высоким уровнем культуры. Члены Бейтара присоединяются к движению по своей воле и готовы действовать в гармонии с другими во имя общей цели. Избавление еврейского народа наступит только тогда, когда еврейский народ научится действовать сообща, как одно целое, а для всего мира, когда он научится превращать враждующие между собой части в единую семью мира.

Смысл дисциплины в том, что большинство подчиняется своему лидеру, и нет тут никакой рабской зависимости. Лидером может быть отдельная личность или коллектив, или комитет. Они действуют на демократических началах до тех пор, пока руководство действует в соответствии с желанием большинства, выраженном в желании бейтаровцев выбирать свободно высшее руководство движения — главу Бейтара.

Структура Бейтара и его отношение к дисциплине — удачное и здоровое соединение свободы и сионизма.

8. «ГАДАР» БЕЙТАРА

«Гадар» — ивритское понятие, почти неподдающееся переводу на другие языки. Оно включает с десяток разных понятий: внешнюю красоту, гордость, вежливость, преданность. Но точный перевод этого понятия должен выражаться в действиях члена Бейтара в повседневной жизни — в его поступках, речах, мыслях. Мы еще далеки от достижения Гадара и невозможно достичь его в одном поколении. Но Га-

дар должен стать повседневной целью для каждого из нас; каждый шаг, каждое движение руки, каждое слово, действие, даже идея должны совершаться с упрямством в соответствии с требованиями Гадара.

Гадар важен для всех людей, но особенно для нас, евреев. Жизнь в диаспоре ослабила значительно здоровье и инстинкты нормального народа. Особенно пострадали из-за этого внешние выражения нашей жизни. Как известно, обычный еврей считает излишним заботиться о своей внешности и поведении. Но это не пустяк. Это элемент самоуважения. Как человек должен заботиться о чистоте своего тела из чувства собственного достоинства, даже если он находится на безлюдном острове, так же он должен приучить себя говорить и жестикулировать соответствующе, ибо каждый человек обладает королевским достоинством, и еврей особенно. Если в слове «аристократ» есть какой-то смысл, то он следующий: наши отцы и праотцы в течение поколений принадлежали к культурному слою, были людьми высоких идей и были способны подчинить этим идеям всю свою жизнь. А если это так, то мы, евреи, самый аристократичный народ во всем мире. Даже самая древняя династия в мире насчитывает не более 20—30 поколений культуры в далеком прошлом, а в начале их существования они были полудикими земледельцами и пиратами. Что до евреев, то за ними 70 поколений отцов, которые умели читать и писать, говорили о Боге и об истории, о королевствах, идее справедливости, человеческих проблемах и о будущем. В известном смысле каждый еврей — «принц». И как горько насмеялась над нами диаспора, в которой евреев считали невеждами.

Только невежда может утверждать, что вопрос Гадара личное дело, внутрисемейное. Мы знаем, как отличается отношение к человеку, который выглядит небрежно, малокультурно, от того, вид которого свидетельствует о благородстве, даже если он бедно одет. Если бы евреи поняли это даже в диаспоре, антисемитизм не уменьшился бы, но к ненависти бы присоединилось уважение и наше положение было бы другим. Дисциплина Бейтара — одно из средств воспитания Гадара. Но к этому каждый бейтаровец должен работать над собой, укреплять хорошие навыки. Гадар состоит из тысячи мелочей, все они вместе составляют смысл нашей повседневной жизни. Кушай бесшумно и медленно, не

выставляя локти на стол во время еды, не хлебай громко суп. Поднимаясь ночью по лестнице, не разговаривай, чтобы не разбудить соседей. Уступи на улице дорогу женщине, пожилым, ребенку. Каждому человеку, даже если он груб, ты не груби, ибо эти моменты и другие составляют Гадар Бейтара.

Особую роль играет мораль Гадара. Ты должен быть великодушным, когда это не нарушает твои принципы. Не спорь по пустякам, уступи, но будь тверд в принципиальных вопросах. Каждое твое слово должно вызывать уважение.

Наступит день, когда каждый еврей, который захочет похвалить честность или вежливость, не скажет: «он — истинный джентльмен», а «он — настоящий бейтаровец».

1934

ВЫСШИЙ СИОНИЗМ¹

Семьсот тысяч избирателей государственного сионизма решили организовать преданное идее Сиона еврейство заново, на новой основе. И поэтому собрались здесь представители огромного количества избирателей. Такого количества избирателей не было за всю историю сионистских парламентов. И поэтому мы обязаны вникнуть в суть вещей как следует и понять: почему такое большое количество людей требует новых путей, и каких именно новых путей они требуют?

Мы собрались как раз в момент окончания трех разных периодов. Сто лет гражданскому равноправию; пятьдесят пять лет национальному движению, две трети которых приходятся на долю государственного сионизма; и пятнадцать лет нашего сотрудничества с Британией в силу того, что ей принадлежит мандат на Эрец-Исраэль. Из опыта всех трех периодов мы можем сейчас делать выводы.

Только такой человек, как Макс Нордау, был способен должным образом подвести итог последним результатам эмансипации. Я могу только сказать кратко: этот огромный

¹ Из вступительной речи, произнесенной на Венском конгрессе в сентябре 1935 года, когда была создана Новая Сионистская Организация. (Прим. ред.)

опыт, исключая трагедию еврейской действительности, т. е. законное равноправие и культурную ассимиляцию, опыт этот провалился во всех областях. Безусловно, есть разные степени трагедии; в диаспоре есть места более удобные и менее удобные, но надежды нет уже нигде. И решающий момент заключается, может быть, в том факте, что от прагматичной ассимиляции, от ассимиляции по убеждению не осталось даже жалких остатков. Нам нечего проливать слезы по этому поводу: это была теория, обреченная на провал, бесцельная и вредная, но, по крайней мере, оптимизм и надежда в ней были. Хотя есть еще ассимиляторы, но они перестали уже проповедовать: последняя иллюзия испарилась. И это не временное явление, и причины его большей частью коренятся в злой воле правительств и народа. Кроме, пожалуй, одного случая, о котором я скажу позднее, мы страдаем сегодня не от субъективного антисемитизма индивидуумов, а от «антисемитизма» реальной действительности. Мы будем защищать свои права в любом месте, в большинстве стран, и я надеюсь, что мы преуспеем в этом. Но у прав этих нет смысла, когда уменьшаются и исчезают шансы реально насладиться какими-то ни было правами сегодня в большей степени, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Жизнь в диаспоре не оставляет надежды, что когда-нибудь в обозримом будущем будет в ней место для евреев. И в этом заключается значение столетнего периода (я упомяну два имени, разных по своей ценности, но с одинаково большим символическим содержанием), который начался со смерти Моше Мендельсона и закончился смертью Альфреда Дрейфуса.

И из юбилея национального движения мы извлекаем сегодня определенный и четкий урок: «движение» или «организация» — это понятия устаревшие, миниатюры нации. Не в их возможностях взять на себя гигантскую роль. Ведь это только расширенные «союзы» или «партии», собирающие себе «товарищей» и дающие им членские билеты за наличные деньги. Они не являются инструментами, достаточными для решения огромной проблемы.

Третий период, наиболее короткий, — это господство британского мандата в Эрец-Исраэль. И за этот столь краткий период мы успели накопить опыт. Его главное свойство — отсутствие всякого плана. Между системой управлений

в Эрец-Исраэль и целями мандата нет никакой связи. Земельные законы, таможенная система и система налогов, повседневное управление — все это никак не направлено на нужды еврейского поселения. Решение вопроса восточного Заиордания и вопроса репатриации находится в полном противоречии с интересами евреев. И эта тенденция достигает своей вершины в проекте «Учредительного собрания», скрытую антисионистскую сущность которого не отрицают даже в правительственных кругах.

И все-таки все эти препоны и опасности не встретили серьезного сопротивления со стороны евреев. Нет никакого признака, указывающего на какую-нибудь политическую акцию, даже на акцию оборонительную, и тем более никакого намека на протест. То, что подразумевается под словом политика, — всего лишь дипломатические беседы без свидетелей и без ответной реакции, безрезультатные меморандумы, которых, по всей видимости, никто и не читает. Все это создает впечатление (и именно в той среде, которая симпатизирует евреям), что сионисты в сущности довольны политическим положением в Эрец-Исраэль.

Я подвожу итог. Мы находимся сейчас, по всей видимости, на пороге пропасти, накануне катастрофы мирового гетто, в период, который в еврейской традиции называют «днями прихода мессии» или, по крайней мере, «днями ужасных мук, предшествующих приходу мессии». И перед лицом этой мировой катастрофы еврейство стоит безоружное со всех точек зрения: мелкие цели, карликовые организации, цепь препятствий и политическая ничтожность сионизма.

Все это привело нас сюда, в Вену.

Когда несколько месяцев назад впервые прозвучал призыв к созданию новой, народной основы сионизма, многие сомневались в том, отзовется ли народ на этот призыв, так как именно сейчас все опасности и трудности, существующие в реальной жизни Эрец-Исраэль, спрятались за завесой золотого дождя «просперити». Сегодня мы можем ответить сомневающимся одной лишь цифрой: 700 000¹. Еврейская общественность не дает преходящему блеску ослепить себя.

¹ Более 700 000 человек из 32 стран выбирали делегатов конгресса Новой Сионистской Организации. (Прим. ред.)

Она послала нас сюда с великой миссией: не с целью критики, не с целью соперничества, не для того, чтобы «улучшить положение». И миссия эта — «Альтной»¹! Высший сионизм — равный по своей силе буре в ее апогее, глубине страданий перед приходом мессии.

Не улучшение положения в странах рассеяния, а полное искоренение диаспоры — «исход из Египта» для всех, стремящихся обрести родину, и в завершение должен наступить конец рассеянию. И, может быть, это только самая скромная цель — нормализация еврейского народа. Чтобы был он таким же нормальным, как и многочисленная французская нация, как и малочисленная датская нация: все в своих странах, все свободные.

С одной стороны, цель эта чрезвычайно сложная, но это Цель с большой буквы, объем ее определяется реальностью, и не в наших силах вносить изменения. Создание еврейского государства не является конечной целью: еврейское государство — это только первый шаг в процессе осуществления высшего сионизма. После первого шага наступит очередь второго — возвращение нации в Сион, исход из рассеяния, решение еврейского вопроса. Истинная, конечная цель проявится только на третьем этапе, то, во имя чего, в сущности, существуют великие нации — создание национальной культуры, которая будет излучать свой свет на весь мир, ибо сказано: «Тора выйдет из Сиона».

1935

¹ «Старо-новая», по аналогии с названием книги Т. Герцля «Альтнойланд». (Прим. ред.)

АРАБСКИЙ ВОПРОС

О ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЕ

(Мы и арабы)

Вопреки доброму правилу — начинать статью с существа — приходится начать эту с предисловия, притом еще личного. Автора этих строк считают недругом арабов, сторонником вытеснения и т. д. Это неправда. Эмоциональное мое отношение к арабам — то же, что и ко всем другим народам: учтливое равнодушие. Политическое отношение определяется двумя принципами. Во-первых, вытеснение арабов из Палестины, в какой бы то ни было форме, считаю абсолютно невозможным; в Палестине всегда будут два народа. Во-вторых — горжусь принадлежностью к той группе, которая формулировала Гельсингфорсскую программу. Мы ее формулировали не для евреев только, а для всех народов; и основа ее — равноправие наций. Как и все, я готов присягнуть за нас и за потомков наших, что мы никогда этого равноправия не нарушим и на вытеснение или притеснение не покусимся. *Credo*, как видит читатель, вполне мирное, но совершенно в другой плоскости лежит вопрос о том, можно ли добиться осуществления мирных замыслов мирными путями. Ибо это зависит не от нашего отношения к арабам, а исключительно от отношения арабов к сионизму.

После этого предисловия перейдем к существу.

I

О добровольном примирении между палестинскими арабами и нами не может быть никакой речи, ни теперь, ни в пределах обозримого будущего. Высказываю это убеждение в такой резкой форме не потому, чтобы мне нравилось огорчать добрых людей, а просто потому, что они не огорчат-

ся: все эти добрые люди, за исключением слепорожденных, уже давно сами поняли полную невозможность получить добровольное согласие арабов Палестины на превращение этой самой Палестины из арабской страны в страну с еврейским большинством.

Каждый читатель имеет некоторое общее понятие об истории колонизации других стран. Предлагаю ему вспомнить все известные примеры; и пусть, перебрав весь список, он попытается найти хотя бы один случай, когда колонизация происходила с согласия туземцев. Такого случая не было. Туземцы — все равно, культурные или некультурные — всегда упрямо боролись против колонизаторов — все равно, культурных или некультурных. При этом образ действий колонизатора нисколько не влиял на отношение к нему туземца. Сподвижники Кортеса и Писарро или, допустим, наши предки во дни Иисуса Навина вели себя, как разбойники; но английские и шотландские «отцы-странники», первые настоящие пионеры Северной Америки, были на подбор люди высокого нравственного пафоса, которые не то что краснокожего, но и мухи не хотели обидеть, и искренно верили, что в прерии достаточно места и для белых, и для красных, но туземец с одинаковой свирепостью воевал и против злых, и против добрых колонизаторов. Никакой роли при этом не играл и вопрос о том, много ли в той стране свободной земли. На территории Соединенных Штатов в 1921 году считалось 340 тысяч краснокожих; но и в лучшие времена их было не больше 3/4 миллиона на всем колоссальном пространстве от Лабрадора до Рио Гранде. Не было тогда на свете человека с такой сильной фантазией, чтобы всерьез предвидеть опасность настоящего «вытеснения» туземцев пришельцами. Туземцы боролись не потому, что сознательно и определенно боялись вытеснения, а просто потому, что никакая колонизация, нигде, никогда и ни для какого туземца не может быть приемлема.

Каждый туземный народ, все равно, цивилизованный или дикий, смотрит на свою страну как на свой национальный дом, где он хочет быть и навсегда остаться полным хозяином; не только новых хозяев, но и новых соучастников или партнеров по хозяйству он добровольно не допустит.

Это относится и к арабам. Примирители в нашей среде пытаются уговорить нас, будто арабы — или глупцы, которых, можно обмануть «смягченной» формулировкой наших истинных целей, или продажное племя, которое уступит нам свое первенство в Палестине за культурные и экономические выгоды. Отказываюсь наотрез принять этот взгляд на палестинских арабов. Культурно они отстали от нас на 500 лет, в духовном отношении они не обладают ни нашей выносливостью, ни нашей силой воли; но этим вся внутренняя разница и исчерпывается. Они такие же тонкие психологи, как и мы, и так же точно, как и мы, воспитаны на столетиях хитроумного пилпула: что бы мы ни рассказывали, они так же хорошо понимают глубину нашей души, как мы понимаем глубину их души. И к Палестине они относятся по крайней мере с той же инстинктивной любовью и органической ревностью, с какой ацтеки относились к своей Мексике или сиуксы к своей прерии, фантазия о том, что они добровольно согласятся на осуществление сионизма в обмен на культурные или материальные удобства, которые принесет им еврейский колонизатор, — эта детская фантазия вытекает у наших «арабофилов» из какого-то предвзятого презрения к арабскому народу, из какого-то огульного представления об этой расе, как сброду подкупном, готовом уступить свою родину за хорошую сеть железных дорог. Такое представление ни на чем не основано. Говорят, что отдельные арабы часто подкупны, но отсюда не следует, что палестинское арабство в целом способно продать свой ревнивый патриотизм, которого даже папуасы не продали. Каждый народ борется против колонизаторов, пока есть хоть искра надежды избавиться от колонизационной опасности. Так поступают и так будут поступать и палестинские арабы, пока есть хоть искра надежды.

II

Многие у нас все еще наивно думают, будто произошло какое-то недоразумение, арабы нас не поняли, и только потому они против нас; а вот если бы им можно было растолковать про то, какие у нас скромные намерения, то они протянули бы нам руку. Это ошибка, уже неоднократно доказанная. Напомню один случай из множества. Года три тому назад

г-н Соколов, будучи в Палестине, произнес там большую речь об этом самом недоразумении. Он ясно доказал, как жестоко арабы ошибаются, если думают, будто мы хотим отнять у них собственность или выселить их, или угнетать их; мы даже не хотим еврейского правительства, мы хотим только правительства, представляющего Лигу Наций. На эту речь арабская газета «Кармель» ответила тогда передовицей, смысл которой передаю на память, но точно. Сионисты напрасно волнуются: никакого недоразумения нет. Г-н Соколов говорит правду, но арабы ее и без него прекрасно понимают. Конечно, сионисты теперь мечтают не о выселении арабов, не об угнетении арабов, не о еврейском правительстве; конечно, они в данный момент хотят только одного — чтобы арабы им не мешали иммигрировать. Сионисты уверяют, что они будут иммигрировать лишь в таких количествах, какие допускаются экономической емкостью Палестины. Но арабы и в этом никогда не сомневались: ведь это трюизм, иначе и не мыслимо иммигрировать. Арабский редактор готов даже охотно допустить, что потенциальная емкость Палестины очень велика, т. е., что в стране можно поселить сколько угодно евреев, не вытеснив ни одного араба. «Только этого» сионисты и хотят, и именно этого арабы не хотят. Потому что тогда евреи станут большинством, и тогда судьба арабского меньшинства будет зависеть от доброй воли евреев; а что меньшинством быть неудобно, про то сами евреи очень красноречиво рассказывают. Поэтому никаких недоразумений нет. Евреи хотят только одного — свободы иммиграции; а арабы именно этой еврейской иммиграции не хотят.

Это рассуждение арабского редактора так просто и ясно, что его следовало бы заучить наизусть и положить в основу всех наших дальнейших размышлений по арабскому вопросу. Дело вовсе не в том, какие слова — герцлевские или сэмуэлевские — будем мы говорить в объяснение наших колонизационных усилий. Колонизация сама в себе несет свое объяснение, единственное, неотъемлемое и понятное каждому здоровому еврею и каждому здоровому арабу. Колонизация может иметь только одну цель; для палестинских арабов эта цель неприемлема; все это в природе вещей, и изменить эту природу нельзя.

Многим кажется очень заманчивым следующий план: получить согласие на сионизм не от палестинских арабов, раз это невозможно, но от остального арабского мира, включая Сирию, Месопотамию, Геджас и чуть ли не Египет. Если бы это и было мыслимо, то и это не изменило бы основного положения: в самой Палестине настроение арабов по отношению к нам осталось бы то же самое. Объединение Италии было в свое время куплено той ценой, что, между прочим, Тренто и Триест остались под австрийской властью; но итальянские жители Тренто и Триеста не только не примирились с этим, а, напротив, с утроенной энергией продолжали бороться против Австрии. Если бы даже можно было (в чем сомневаюсь) уговорить арабов Багдада и Мекки, будто для них Палестина — только маленькая несущественная окраина, то и тогда для палестинских арабов Палестина осталась бы не окраиной, а их единственной родиной, центром и опорой их собственного национального существования. Поэтому и тогда колонизацию пришлось бы вести против согласия палестинских арабов, т. е. в тех же условиях, что и теперь.

Но и соглашение с непалестинскими арабами есть тоже фантазия неосуществимая. Для того, чтобы арабские националисты Багдада, Мекки, Дамаска согласились уплатить нам такую серьезную цену, какой был бы для них отказ от сохранения арабского характера Палестины, т. е. страны, которая лежит в самом центре «федерации» и режет ее пополам, мы должны предложить им чрезвычайно крупный эквивалент. Ясно, что есть только две мыслимых формы такого эквивалента: или деньги, или политическая помощь, или то и другое вместе. Но мы не можем им предложить ни того, ни другого. Что касается денег, то смешно даже думать о том, будто мы сможем финансировать Месопотамию или Геджас, когда у нас и на Палестину не хватает. Для ребенка ясно, что эти страны, с их дешевым трудом, найдут капиталы просто на рынке, найдут гораздо легче, чем мы их найдем для Палестины. Всякие разговоры на эту тему о материальной поддержке суть или ребяческий самообман, или недобросовестное легкомыслие. И уже совсем недобросовестно с нашей стороны было бы всерьез говорить о политической поддержке

арабского национализма. Арабский национализм стремится к тому же, к чему стремился, скажем, итальянский до 1870 года: к объединению и государственной независимости. В переводе на простой язык это означает изгнание Англии из Месопотамии и Египта, изгнание Франции из Сирии, а потом, быть может, также из Туниса, Алжира и Марокко. С нашей стороны хотя бы отдаленно помогать этому было бы и самоубийством, и предательством. Мы опираемся на английский мандат; под декларацией Бальфура в Сан-Ремо подписалась Франция. Мы не можем участвовать в политической интриге, цель которой отогнать Англию от Суэцкого канала и Персидского залива, а Францию совершенно уничтожить как колониальную державу. Такую двойную игру не только нельзя играть: о ней даже и думать не полагается. Нас раздавят — и с заслуженным позором, — прежде чем мы успеем шевельнуться в этом направлении.

Вывод: ни палестинским, ни остальным арабам мы никакой компенсации за Палестину предложить не можем. Поэтому добровольное соглашение невысказано. Поэтому люди, которые считают такое соглашение за *conditio sine qua non* сионизма, могут уже теперь сказать: *non*, и отказаться от сионизма. Наша колонизация или должна прекратиться, или должна продолжаться наперекор воле туземного населения. А поэтому она может продолжаться и развиваться только под защитой силы, независимой от местного населения, — железной стены, которую местное население не в силах прошибить.

В этом и заключается вся наша арабская политика: не только «должна заключаться», но и на самом деле заключается, сколько бы мы ни лицемерили. Для чего декларация Бальфура? Для чего мандат? Смысл их для нас в том, что внешняя сила приняла на себя обязательство создать в стране такие условия управы и охраны, при которых местное население, сколько бы оно того ни желало, было бы лишено возможности мешать нашей колонизации административно или физически. И мы все, все без исключения, каждый день понукаем эту внешнюю силу, чтобы она эту свою роль исполняла твердо и без поблажек. В этом отношении между нашими «милитаристами» и нашими «вегетарианцами» никакой существенной разницы нет. Одни предпочитают

железную стену из еврейских штыков, другие из ирландских; третьи, сторонники соглашения с Багдадом, готовы удовлетвориться багдадскими штыками (вкус странный и рискованный); но все мы хлопочем денно и ночью о железной стене. Но при этом мы же сами зачем-то портим свое дело декламацией о соглашении, внушая мандатной державе, будто дело не в железной стене, а в еще новых и новых разговорах. Эта декламация губит наше дело; поэтому дискредитировать ее, показать и ее фантастичность, и ее неискренность — это есть не только удовольствие, но и долг.

IV

Вопрос не исчерпан, я еще вернусь к некоторым его сторонам в следующей статье. Но считаю нужным здесь же вкратце сделать еще два замечания.

Во-первых: на избитый упрек, будто выше изложенная точка зрения неэтична, отвечаю: неправда. Одно из двух: или сионизм морален, или он не морален. Этот вопрос мы должны были для себя решить раньше, чем взяли первый шекель. И решили положительно. А если сионизм морален, т. е. справедлив, то справедливость должна быть проведена в жизнь независимо от чьего бы то ни было согласия или несогласия. И если А, В или С хотят силой помешать осуществлению справедливости, ибо находят ее для себя невыгодной, то нужно им в этом помешать опять-таки силой. Это этика; никакой другой этики нет.

Во-вторых, все это не значит, что с палестинскими арабами немыслимо никакое соглашение. Невозможно только соглашение добровольное. Покуда есть у арабов хоть искра надежды избавиться от нас, они этой надежды не продадут ни за какие сладкие слова и ни за какие питательные бутерброды, именно потому, что они не сброд, а народ, хотя бы и отсталый, но живой. Живой народ идет на уступки в таких огромных, фатальных вопросах только тогда, когда никакой надежды не осталось, когда в железной стене не видно больше ни одной лазейки. Только тогда крайние группы, лозунг которых «ни за что», теряют свое обаяние, и влияние переходит к группам умеренным. Только тогда

придут эти умеренные к нам с предложением взаимных уступок; только тогда станут они с нами честно торговаться по практическим вопросам, таким как гарантия против вытеснения или равноправие, или национальная самобытность; и верю, и надеюсь, что тогда мы сумеем дать им такие гарантии, которые их успокоят, и оба народа смогут жить бок о бок мирно и прилично. Но единственный путь к такому соглашению есть железная стена, т. е. укрепление в Палестине власти, недоступной никаким арабским влияниям, т. е. именно то, против чего арабы борются. Иными словами, для нас единственный путь к соглашению в будущем есть абсолютный отказ от всяких попыток к соглашению в настоящем.

1923

ЭТИКА ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЫ

I

Вернемся к упомянутой уже в прошлой статье Гельсингфорсской программе. Как один из ее авторов, я менее всего, конечно, склонен сомневаться в ее справедливости. Она гарантирует и гражданское равноправие, и национальное самоуправление. Твердо уверен, что каждый беспристрастный судья признает ее идеальной основой для мирного и добрососедского сожительства двух народностей.

Но нет большего безумия, как требовать психологии беспристрастного судьи от тех самых арабов, которые в этом споре — одна из сторон, а не судьи. Прежде всего, если бы они даже и верили в добрососедское сожительство, остается ведь еще первый и главный вопрос — хотят ли они иметь «соседей», хотя бы и добрых, внутри страны, которую они считают своею. Что одноплеменность удобнее многоплеменности — этого ведь и самые сладкогласные из наших заклинателей не решатся отрицать. С какой стати народу, который вполне доволен своим уединением, добровольно пускать к себе добрых соседей в таком серьезном количестве? «Не хочу я ни вашего меду, ни вашего жала» — вот его естественный ответ.

Но и помимо этого основного затруднения требовать именно от арабов веры в Гельсингфорсскую программу — или вообще в какую бы то ни было программу разноплеменной государственности — значит требовать невозможного. Всей теории Шпрингера едва 30 лет от роду. До сих пор ни один народ, даже самый культурный, не согласился честно применить ее на практике. Даже чехи, под руководством самого Масарика — учителя всех автономистов, — не сумели или не пожелали ее осуществить. Что касается арабов, то и интеллигенция их об этой теории никогда не слыхала. Но зато она знает, что меньшинство всегда и всюду страдало: христиане в Турции, мусульмане в Индии, ирландцы под властью англичан, поляки и чехи прежде под властью немцев, немцы теперь под властью чехов и поляков, и так далее без конца. Надо опьянить себя словами до полного дурмана, чтобы после этого требовать от арабов веры в то, что именно евреи способны (или хоть искренно намерены) осуществить план, который другим, гораздо более авторитетным, народам не удался.

Настаиваю на этом не потому, чтобы и нам следовало отказаться от Гельсингфорсской программы как основы будущего *modus vivendi*. Напротив, по крайней мере мы — пишущие эти строки — верим и в нее, и в нашу способность провести ее в жизнь, несмотря на провал всех прецедентов. Но расхваливать ее теперь арабам бесполезно: не поймут, не поверят и не оценят.

II

А если бесполезно, то и вредно. Политическая наивность еврея баснословна и невероятна: он не понимает того простого правила, что никогда нельзя «идти навстречу» тому, кто не хочет идти навстречу тебе.

Был типичный случай, когда один из подчиненных народов старой России весь, как один человек, пошел крестовым походом против евреев под лозунгами бойкота и погрома. В то же время этот самый народ добивался для себя автономии, открыто при этом заявляя, что он намерен использовать автономию для еще большего угнетения евреев. Но, несмотря на это, еврейские публицисты и политики, даже из националистов, считали своим долгом всячески поддерживать

автономные стремления своих врагов; ибо, видите ли, автономия есть вещь святая. Мы вообще, как я писал уже раз на этих столбцах, считаем своим долгом, как только услышим «Марсельезу», застыть навтыжку и кричать ура — хотя бы играл эту мелодию сам Гаман, и хотя бы в шарманке его при этом трещали еврейские кости. Это мы считаем политической моральностью.

Это не мораль, а разврат. Человеческое общежитие построено на взаимности; отнимите взаимность, и право становится ложью. Тот господин, который в эту минуту проходит за моим окном по улице, имеет право на жизнь лишь потому и лишь постольку, поскольку он признает мое право на жизнь; если же он хочет убить меня, то никакого права на жизнь я за ним не признаю. Это относится и к народам. Иначе мир станет звериным бегом взапуски, где погибнет не только слабейший, но именно кротчайший. Мир должен быть миром круговой поруки. Если жить, то всем поровну; и если погибать, то всем поровну; но нет такой этики, по которой жадному полагается есть досыта, а скромному сдохнуть под забором.

Практический вывод из этой этики, которая есть единственная возможная этика человечности, гласит в нашем случае вот что: даже если бы имелись у нас, помимо Гельсингфорсской программы, еще полные карманы всяких других уступок, вплоть до согласия стать участниками какой-то фантастической арабской федерации *od morza do morza*, — то и тогда заговорить о них можно было бы только назавтра после того, как с арабской стороны будет изъявлено согласие на еврейскую Палестину.

Деды наши это понимали. В Талмуде есть поучительный юридический казус. Двое идут по дороге и находят кусок сукна. Один говорит: это я нашел его, он весь принадлежит мне. Второй говорит: неправда, нашел я, сукно мое. Тогда судья разрезает сукно пополам, и каждому из упрямец достается половина. Но вообразите казус, когда только один из них упрямец, а другой, напротив, решил удивить мир джентльменством. Он говорит: мы нашли сукно вместе, я претендую только на половину, вторая половина полагается г-ну Б. Зато другой твердо стоит на своем: нашел я, сукно мое. В таком случае Талмуд рекомендует судье решение мудрое,

но для «джентльмена» грустное. Судья говорит: об одной половине спора нет, г. А сам признает, что она принадлежит г-ну Б. Спор идет только о второй половине — следовательно, разрежем ее пополам. Итого упрямец получает три четверти, а «джентльмен» только четверть. И поделом. Ибо джентльменом быть хорошо, но фофаном быть не следует. Деды наши это понимали, но мы забыли.

Следовало бы нам это помнить особенно потому, что в нашем случае дело с уступками обстоит особенно печально. Объем уступок арабскому национализму, на которые мы можем согласиться, не убивая сионизма, чрезвычайно скромны. Отказаться от стремления к еврейскому большинству мы не можем, допустить арабский надзор за нашей иммиграцией не можем, допустить парламент с арабским большинством не можем и ни в какую арабскую федерацию никогда не пойдем; более того, так как все арабское движение нам пока враждебно, то мы не только не можем его поддерживать, но сердечно радуемся (все, даже арабофильствующие декламаторы) каждому провалу его не только в соседней Иордании или в Сирии, но даже в Марокко. И так оно будет, ибо иначе быть не может, пока железная стена не заставит арабов примириться с сионизмом раз и навсегда.

III

Станем на минуту на точку зрения тех, которым кажется, что это все имморально. Разберемся. Корень зла заключается, конечно, в том, что мы хотим колонизировать страну против воли ее теперешнего населения, т. е., следовательно, колонизировать ее насильно. Все остальные неприятности вытекают из этого корня с автоматической неизбежностью. Что же остается делать?

Простейший выход — поискать другую страну для колонизации. Например, Уганду. Но при ближайшем рассмотрении и тут окажется та же беда. И в Уганде есть туземное население; и оно, конечно, по примеру всех других туземцев в истории будет инстинктивно или сознательно противиться наплыву колонизаторов. Тот факт, что эти туземцы — чернокожие, существа дела не меняет: если колонизировать

страну против воли туземцев immoralно, то ведь мораль должна быть одна и та же для черных и белых. Конечно, есть надежда, что эти чернокожие еще не настолько развиты, чтобы посылать делегации в Лондон; надежда слабая, ибо всюду найдутся добрые друзья белого цвета, которые их научат; но если даже так, если эти туземцы, слава Богу, окажутся беспомощными детьми, то дело еще хуже. Раз колонизация без согласия туземцев подобна грабежу, то ведь преступнее всего грабить беспомощных детей. Следовательно, и Уганда «immoralна». Следовательно, «immoralна» и всякая другая территория, как бы она ни называлась. Необитаемых островов на свете больше нет. В какой оазис ни сунься — всюду сидит уже туземец, сидит с незапамятных времен и не хочет пришлого большинства или даже просто большого наплыва пришельцев.

Следовательно, если есть на свете безземельный народ, для него даже самая мечта о национальном доме есть мечта immoralная. Безземельные должны навсегда остаться безземельными; вся земля на свете уже распределена, и конечно. Так требует этика.

В нашем случае эта этика особенно любопытно «выглядит». Нас на свете, говорят, 15 миллионов; из них половина живет теперь в буквальном смысле жизнью гонимой бездомной собаки. Арабов на свете 38 миллионов; они занимают Марокко, Алжир, Тунис, Триполитанию, Египет, Сирию, Аравию и Месопотамию — пространство (не считая пустынь) величиною с пол-Европы. В среднем на этой огромной территории приходится по 16 арабов на квадратную английскую милю; для сравнения полезно напомнить, что в Сицилии на кв. милю приходится 352 человека, а в Англии 669. Еще полезнее напомнить, что Палестина составляет приблизительно одну двухсотую часть этой территории. Но когда бездомное еврейство требует Палестину себе, это оказывается «immoralным», потому что туземцы находят это для себя неудобным.

Такой этике место у каннибалов, а не в цивилизованном мире. Земля принадлежит не тем, у кого ее слишком много, а тем, у кого ее нет. Отсудить участок у народа-латифундиста для того, чтобы дать очаг народу-скитальцу, есть акт справедливости. Если народ-латифундист этого

не хочет — что вполне естественно, — то его надо заставить. Правда, проводимая в жизнь силой, не перестает быть святой правдой. В этом заключается единственная объективно возможная для нас арабская политика; а о соглашении будет время говорить потом.

1923

КРУГЛЫЙ СТОЛ С АРАБАМИ

Судя по беседе Х.Е. Вейцмана с сотрудником лондонской еврейской газеты «Цейт», д-р Вейцман собирается по случаю поездки своей в Палестину попытаться наладить соглашение с тамошними арабами. А судя по тамошним арабским газетам в передаче ЕТА, арабские руководители, именно муфтии и другие важные у них деятели, заранее отказываются вести какие бы то ни было переговоры с сионистами. Поэтому приходится считать еще недоказанным, что переговоры состоятся. Но одно можно считать доказанным: если и состоялись бы и если бы при этом, как мы все же надеемся, сионистские представители не согласились бы отречься от сионизма, то переговоры ни к чему доброму не могли бы привести.

Мира с арабами желаем мы все. Доказывать кому либо из евреев, что такой мир желателен, значит ломиться в открытую дверь. Вопрос не в нас, а в палестинских арабах.

Мы все не только желаем мира: мы все, все евреи и сионисты всех толков, желаем блага палестинских арабов. Мы не желаем вытеснить ни одного араба ни с левого, ни с правого берега Иордана. Мы желаем, чтобы они росли и в экономическом, и в культурном отношении. Будущий строй еврейской Палестины мы все представляем себе так: большинство населения будет еврейское, но равноправие всех граждан будет не только обеспечено, но и проведено в жизнь; оба языка и все религии будут равноправны, и каждая национальность получит широкие права культурного самоуправления. Но вопрос в том, достаточно ли это для арабов. И даже не «вопрос».

Нелепо закрывать глаза, когда пред нами большие и глубокие психологические факты. У палестинских арабов есть три политических лозунга; формулировать их, конечно, умеют только немногие (руководители, интеллигенция), но масса

в этом с ними согласна. Вот эти лозунги, с необходимыми пояснениями, на основании аутентичных заявлений, сотни раз печатавшихся:

1. Арабы требуют для себя права контролировать еврейскую иммиграцию. Это не значит непременно, что они хотят выгнать из Палестины евреев, уже там поселившихся, или никого больше туда не впускать. Вполне возможно, что они согласились бы даже на продолжение еврейской иммиграции и впредь. Но они требуют, чтобы размеры этой иммиграции определялись ими, арабами, согласно их воле и их интересам; и для того им, главным образом, и нужен парламент и ответственное правительство.

2. Арабы требуют создания большой арабской федерации с единым федеральным парламентом и правительством: вроде Германии до войны или вроде Соед. Штатов. В федерацию должны войти обе половины Палестины, Сирия и Месопотамия: многие мечтают и о Египте; а в будущем войдут в нее постепенно и остальные земли, арабские по расе или по языку. Чтобы понять, что это значит для нас, представим себе такое, сравнительно уже благоприятное положение: что нас в Палестине не 160 тысяч, а почти вдвое больше — 300 000. Тогда мы в Палестине — треть населения. В федерации с Сирией и Месопотамией — только около пяти процентов; с Египтом — полтора процента и т.д.

3. Арабы хотят освободиться от европейского владычества. Это значит, чтобы Англия начисто ушла не только из Палестины, но также из Египта, Судана и Месопотамии; чтобы Франция начисто ушла из Сирии, Туниса, Алжира и Марокко: чтобы Италия ушла из Триполитании и Киренаики. Это свое требование они высказывают, где могут (в том числе в Палестине) совершенно открыто. Я теперь не обсуждаю его по существу: хочу только напомнить, что в глазах огромного большинства французов, итальянцев и даже англичан такая ликвидация их колониальных позиций на Средиземном море и на Среднем Востоке была бы национальной катастрофой. Притом надо еще отметить, что этот третий лозунг неотделим от второго, т.е. федерация немыслима без изгнания Европы.

Если мы хотим мира с арабами, то мы должны быть готовы сделать им уступки в том, что их интересует. Есть, правда, у нас мечтатели, которым кажется, будто палестинских

арабов можно «склонить» при помощи выгод экономического характера; но (уж не касаясь того, откуда мы возьмем эти экономические выгоды для них, когда у нас и для себя не хватает) эта мечта вытекает из бездонного неуважения к арабской душе, для которого у нас никаких оснований нет. Отдельных арабов можно купить, но целую народность никто не уговорит добровольно отказаться от национальных замыслов за «экономические выгоды». Чтобы добиться у арабов сдвига национальной их позиции в нашу пользу, мы должны предложить им наше содействие именно в области их собственных национальных стремлений, т.е. в области вышеуказанных трех лозунгов; иначе и разговаривать не о чем.

Интересно поэтому знать, который из этих арабских лозунгов согласны наши присяжные миролюбцы поддержать.

Первый? То есть согласиться на то, чтобы определение размера еврейской колонизации зависело от воли наших арабских соседей? Или, скажем, заранее сговориться с ними на том, чтобы наша иммиграция никогда не возросла выше известного предела, дабы арабы навсегда остались в Палестине большинством, а мы меньшинством?

Или второй? То есть согласиться не просто на федерацию арабских стран (это их дело, а не наше), но на вступление в эту федерацию Палестины, т.е. на превращение нашего «национального дома» в одно из самых мелких гетто на свете?

Или третий? То есть объявить войну Англии, Франции и Италии, превратить сионистское движение в союз агитаторов против колониальной позиции этих держав, стать в каждой из этих стран врагами государства, а в Европе вообще — соратниками третьего интернационала?

Достаточно поставить эти совершенно логичные вопросы, дабы увидеть, что о соглашении тут не может быть речи. Это печально, но это есть объективный факт.

И именно потому, что невозможность соглашения с палестинскими арабами есть объективный факт, — именно потому оно до сих пор еще не состоялось. Вот уже семь лет и больше, как сионистским движением совершенно беспримесно управляют самые горячие сторонники еврейско-арабского сближения. И экзекутива в Лондоне, и экзекутива в Иерусалиме, и сионистское чиновничество, и заправилы «универси-

тета», и заправила «левых» — все это почти поголовно люди, мечтающие о «сближении». Есть, наконец, специальная партия Брит-Шалом. И огромное большинство этого круга живет в Палестине, бок о бок с арабами. Тем не менее до сих пор они все вместе не решились даже хотя бы *начать* переговоры, хотя бы просто сесть за тот самый «круглый стол». Единственную попытку сделали, кажется, главари Брит-Шалом; но им арабы ответили устами газеты «Фелестин», что и «сионизм» в духе гг. Магнеса и Лурье для них, арабов, неприемлем. Остальные же еврейские миролюбцы и вообще не решились до сих пор на пробу. Почему? Дело ясное: каковы бы ни были их заблуждения, некоторое чутье реальностей у них все же осталось, и они ясно видели, что круглый стол не даст ничего, кроме круглого нуля.

Но есть опасение, что все эти разговоры о круглом столе суть разговоры не только праздные, а еще и вредные. Самое опасное место в недавнем письме г. Макдональда есть то, где он заявляет, что «не может быть полного решения проблемы без еврейско-арабского соглашения». Это значит: если арабы не согласятся на сионизм, Англия умывает руки. Против такого толкования мандатных обязательств — против признания за арабами права «вето» над всеми принятыми Англией обязательствами перед еврейским народом — надо бороться всеми силами; иначе наше дело станет уж действительно безнадежным. Мы должны раз навсегда поставить на вид державе-мандатарии, что в мандате есть оговорки о «гражданских и религиозных правах» арабов, но нет оговорки об их «согласии»; и что обязательства Англии обязательны для Англии независимо от местных настроений. Вместо того (и еще в данный момент, т.е. как бы прямо в ответ на письмо г. Макдональда!) мы как бы отвечаем: «вы правы, сэр, слушаемся» — и сами поднимаем вопрос о соглашении, т.е. опять от имени сионизма нравственно санкционируем такое толкование мандата, которое для сионизма губительно.

Мир в Палестине будет, но будет тогда, когда евреи станут большинством или когда арабы убедятся в неизбежности такого исхода: т.е. именно тогда, когда им станет ясно, что «решение проблемы» *не* зависит от их согласия. Тогда, как народ разумный, *они* возьмут на себя инициативу переговоров;

и тогда, не сомневаюсь, они встретят у сионистов полную готовность обеспечить за ними все права, кроме одного права: кроме права мешать еврейской иммиграции. До тех пор все попытки переговоров о еврейско-арабском политическом соглашении тщетны и вредны.

АРАБСКАЯ ПРОБЛЕМА — БЕЗ ДРАМАТИЗАЦИИ

Превращение земли Израиля (в еврейское государство) может быть осуществлено без лишения крова арабов. Все противоречащие этому заявления неправильны. Территория, занимающая около 100 000 квадратных километров и плотность заселения которой равна плотности Франции (87 жителей на кв. километр), может прокормить 8 миллионов жителей или в соответствии с плотностью населения Швейцарии (104) — более 10 миллионов, или Германии и Италии (140) — 14 миллионов. Сегодня она кормит, если учесть всех ее жителей: арабов, евреев и живущих в Заиорданье, немногим более чем 1,5 миллиона душ. Остается еще свободное место в земле Израиля для абсорбции большей части восточного и центрального европейского гетто — то есть большую часть из 5 миллионов душ, что не приблизится даже к средней плотности Франции. Если арабы не предпочтут по своей воле покинуть страну, у них нет в этом никакой необходимости.

Другое ложное утверждение, что, если арабы станут меньшинством в стране с еврейским большинством, они будут преследуемы и подавлены. Меньше всего имеют право на это утверждение авторы «Белой книги» 1939 года. Если они уверяют нас, что евреи, обреченные оставаться меньшинством на земле Израиля (1:2), не будут подавлены, а, наоборот, будут пользоваться преимуществами «Национального дома для евреев», какое у них основание предполагать, что в обратном положении это означает катастрофу для арабов? Авторы «Белой книги» вели бы себя более логично, если бы предложили арабскому меньшинству те же гарантии, которые они считают достаточными для обеспечения интересов еврейского меньшинства. Абсурдно утверждать, что этническое меньшинство всегда, в любом месте подавлено. Шотландцы,

которые оставили Шотландию, и уэльсцы (валлийцы — прим. ред.), покинувшие Уэльс, разбросаны по всей Англии, и нет никаких признаков, что они ущемлены в своих правах. А что вы думаете о католическом меньшинстве, говорящем на французском, в смешанном районе Онтарио в Канаде, — они там не ущемлены совершенно. В Советской России живут греки, но никто не может отрицать, что это этническое меньшинство не пользуется статусом равенства, насколько это возможно в том политическом климате.

Конечно, ничто не совершенно на этой Земле, и, безусловно, приятнее быть большинством, чем меньшинством, даже при самых лучших условиях, которые можно себе представить; но это не значит, что положение меньшинства всегда трагическое. У каждого большого народа есть осколки, представляющие меньшинство в других странах: англичане в Южной Африке, французы в Канаде, бельгийцы в Швейцарии, немцы во всех уголках мира. Положение их зависит от режима. Если государственный уклад порядочный, меньшинство может существовать, чувствуя себя достаточно удовлетворенным. У мира нет никакого права допускать, что еврейское государство не сможет создать режим, подобный тому, что существует в Англии, Канаде или Швейцарии. В конечном счете, мир почерпнул из еврейских источников, как отнестись к «чужестранцу, стоящему у твоего порога».

Только в одном случае быть меньшинством — трагедия: это случай, когда народ составляет меньшинство всегда и везде, разбросан среди чужих рас и нет у него ни одного собственного уголка на всем земном шаре, ни родины, которая может дать ему укрытие. Но это не относится к арабам. Есть у них четыре арабских государства к востоку от Суэцкого канала и еще пять других к западу от Суэца. Некоторые из них уже достигли независимости, другие еще нет, но во всех — арабское большинство, и каждое из них — национальный дом для арабов.

Было бы праздным развлечением на данном этапе создавать проект будущего еврейского государства. Но, возможно, некоторые люди искренне обеспокоены, что произойдет с правами палестинских арабов, если в стране будет создано еврейское государство. Автор этих строк может дать некоторое представление о том, что евреи намерены делать, когда они

станут большинством и в Палестине будет собственное правительство; может, они успокоятся, когда узнают суть конституции будущего государства Израиль, подготовленную крайним сионистским крылом. Отрывки, которые я ниже приведу, подготовлены ревизионистской исполнительной в 1934 году, так что можно сказать, что в ней можно найти самые худшие перспективы для палестинских арабов. Следующие отрывки приведены из наброска неофициального черновика, и автор не готов защищать все ее аспекты. Но план этот был тщательно подготовлен после изучения множества документов. В нем приведены цитаты из заявления автора перед Палестинской королевской комиссией, в котором автор утверждает, что евреи готовы гарантировать арабскому меньшинству в еврейской Палестине максимум прав, на которые они не претендовали и никогда не получали в других странах.

А. ГРАЖДАНСКОЕ РАВЕНСТВО

1. Принцип равных прав для всех граждан, всех рас, вер, языков и положений будет установлен без каких-либо ограничений во всех сферах общественной жизни, при условии, что не будет нарушено право евреев других стран репатрироваться в Палестину и получить гражданство.

2. В каждом кабинете, в котором еврей будет главой правительства, должность заместителя будет предложена арабу, и наоборот.

3. Евреи и арабы будут пользоваться в пропорциональном соотношении обязанностями и преимуществами государства в парламентских выборах, гражданской и военной службе, в субсидиях и бюджете.

4. Это правило распространяется и на смешанные муниципалитеты и сельские советы.

Б. ЯЗЫКИ

1. Иврит и арабский будут пользоваться равными правами и будут в употреблении в равной мере.

2. Ни один государственный закон, манифест или указ, ни одна монета или денежная единица, марка, публикация

или запись, выпущенная за счет государственных фондов, не будут иметь законную силу, если не будут выпущены на иврите и арабском.

3. Иврит и арабский должны употребляться на равных правах в парламенте, в школах, в любом учреждении или государственном органе.

4. Все государственные учреждения должны отвечать на направленные к ним обращения на том языке, на котором написано обращение, будь-то иврит или арабский.

В. КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ

1. Этнические группы — еврейские и арабские — должны быть признаны автономными политическими единицами, равными перед законом.

2. Государство обязано предоставить им автономию в следующих сферах:

а) религия и личный статус;

б) образование на всех его ступенях, особенно начальное обязательное;

в) государственная поддержка, включая все виды социальной помощи;

г) улаживание обычных судебных дел, связанных с вышеуказанными сферами.

3. Каждая национальная группа выберет свое национальное собрание, которое сможет выпускать указы и накладывать налоги в пределах его автономии, назначить национальную экзекутиву, которая будет отчитываться перед этим собранием.

4. Министр, партийно независимый, будет представлять каждую этническую группу в правительстве.

Г. СВЯТЫЕ МЕСТА

1. Соответствующие части старого города в Иерусалиме будут находиться под покровительством Лиги Наций и пользоваться в одинаковой степени экстерриториальностью, как посольства.

2. Подобный же статус получают и другие святыя места в стране.

3. За исключением военного времени будет разрешен свободный доступ паломникам любой страны.

4. Представитель Лиги Наций, на положении посла, будет представлять интересы соответствующих сторон.

Д. ЗЕМЛЯ

1. Будет создан израильский суд по делам земельных участков, в который войдут судьи, сельскохозяйственные эксперты из обеих этнических групп.

2. Все свободные земли будут реквизированы для образования Государственного земельного запаса.

Посчитают ли арабы эти условия достаточными, чтобы остаться в еврейском государстве — это другой вопрос. Но если они не захотят остаться, автор отказывается видеть трагедию или катастрофу в их готовности эмигрировать. Палестинскую Королевскую комиссию это не испугало. А смелость заразительна. И это дает нам моральное право холодно предвидеть исход 350 000 арабов из одного края Палестины, мы не должны ужасаться, если эта цифра достигнет 900 000. Я не вижу в этом необходимости: это даже нежелательно со многих точек зрения, но, если окажется, что арабы предпочитают эмигрировать, мы можем обсудить это спокойно.

С 1923 года в течение нескольких месяцев 400 000 греков были переселены в Македонию, 350 000 турок в Тракию и Анатолию. Теоретически идея массового перераспределения меньшинств становится все больше популярной и больше не существует табу по этому вопросу. Но существуют этнические различия между Палестиной и другими полиэтническими районами по вопросу иммиграции меньшинств. Во всех других районах трения между группами вызваны амбициями: одна группа хочет доминировать или по крайней мере другая, слабая, опасается этого. Но это всего лишь амбиция, не нужда, здоровый «аппетит», а не «голод».

В Палестине все неудобства, испытываемые местным населением от притока иммигрантов, возникают из трагической необходимости этих иммигрантов найти себе дом. Их иммиграция не связана с амбицией, во многих случаях она совершается вопреки личному желанию остаться в старом доме. Она вызвана подлинным голодом, ностальгией

людей по единственному месту, где может быть их дом. Если арабы предпочтут эмигрировать, сам факт такого выбора доказывает, что у них есть «другое место», где они могут построить новый дом.

Это не имеет ничего общего с военными целями. В Палестине есть достаточно места для миллиона арабов, еще для миллиона их потомков и нескольких миллионов евреев, и для мира, для мира, который будет в избытке, так что он перебросится в Европу.

1940¹

¹ Опубликовано в 1942 г. (Прим. ред.)

БИБЛИЯ И СИОНИЗМ

БЕЛЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Принято думать, будто корни социализма — в Ветхом Завете; но это не совсем так. Ветхий Завет полон, конечно, социального протеста ненависти к общественному порядку, при котором богатому живется широко за счет страданий бедняка. Но социализм — не только протест: социализм есть конкретный план законодательного разрешения социальной проблемы, и именно такой план, какого в Ветхом Завете нет. Напротив: конкретный план социальной революции (вернее, набросок такого плана) имеется в Ветхом Завете, но тот план не только не есть социализм, а есть, по основному своему замыслу, нечто резко противоположное социализму. Библейское средство против социального беспорядка называется «юбилейный год» и изложено в главе 25-й книги Левита. Коренное различие между ним и социализмом есть различие между двумя понятиями: пресечение зла и предупреждение зла.

Социализм есть попытка предупреждения социального зла: проект такого общественного устройства, при котором неравенство в распределении благ станет раз навсегда и автоматически невозможным. Сама социальная проблема, как мы ее теперь понимаем, должна исчезнуть после тщательного проведения социалистического строя. Человечество будет организовано таким образом, что сосредоточение крупного количества благ в руках частного лица станет невыносимым. Все равно, как невыносимо копить воздух, так невыносимо будет тогда копить богатства. Это не обязательно означает, что государство будет платить одну и ту же меру вознаграждения за труд профессора и дровосека, хотя бы потому, что умственная работа требует некоторых условий покоя и комфорта, без которых дровосек может обойтись. Разряды жалованья, как в советской России, могут стать не только временной, но и по-

стоянной чертой социализма. Более того, можно думать, что некоторые исключительные виды духовного труда, зависящие от таланта, будут в те дни оплачиваться вне разряда: удачный роман, например, разоидется в миллион экземпляров, и автор «разбогатеет»; или «разбогатеет» гениальный пианист, объездив полмира с концертами (хотя еще неясно, не вытеснит ли радио и концерт, и книгу). Но все это мелочи. Социальная проблема коренится не в том, что случайный счастливец найдет в море большую жемчужину. Горе начинается с того часа, когда он эту жемчужину обменяет на большой участок земли или на завод с десятками станков и получит возможность покупать труд своих соседей задешево и продавать плоды его дорого. Эту опасность социализм устраняет, раз навсегда изъяв средства массового производства из сферы частного владения.

Библейский проект не имеет ничего общего с этой профилактической системой, исключающей самое зарождение социального неравенства, эксплуатации, хозяйственного соперничества и борьбы. Ветхий Завет хочет сохранить экономическую свободу, но в то же время обставить ее поправками и противоядиями. Некоторые из библейских поправок (как раз наименее радикальные) общественны. Главная из них — отдых субботний, упомянутый еще на скрижалях десяти заповедей. Затем есть закон об окраине поля: при жатве собственник не имеет права подбирать колосья, упавшие близ межи, — это подберут безземельные чужеродцы, вроде нищенки Руфи. Есть еще закон о «десятине» в пользу храма. Из этих рудиментов развилась впоследствии вся сложная нынешняя система социальной охраны, общественной взаимопомощи, обложения богатых в пользу бедных. Ничего общего с социализмом она, конечно, не представляет, хотя многие из входящих в нее законодательных мероприятий проведены были в жизнь под прямым влиянием социалистических партий; все это — лишь поправки к строю экономической свободы; начала свободы они не затрагивают. Но самая радикальная и революционная из намеченных Ветхим Заветом поправок к режиму экономической свободы гораздо менее известна.

Мысль о юбилейном годе изложена в третьей части Пятикнижия приблизительно так: отсчитай семь семилетий, а всего сорок девять лет; на седьмом месяце после этого,

в десятый день того месяца — Судный день — пройдите с трубным звуком по всей вашей земле. «Этот пятидесятный год считайте святым; провозгласите Свободу в стране; годом Юбилея будет вам тот год». Если вынужден был человек продать за долги свою землю и не хватило у него средств выкупить ее, то в год Юбилея земля вернется к нему без выкупа. Так же будет и с домом, кроме домов городских. Так же будет и с братом твоим, который обеднел и продался тебе на службу: обращай с ним не как с рабом, а как с наемником, и то только до юбилейного года, а в год юбилея он опять свободен, он и вся его семья, и они вернутся в свое прежнее имение.

Больше ничего о юбилейном годе в Ветхом завете, кажется, не сказано; тем не менее, тут пред нами изумительно смелый размах реформаторской мысли. Это, в сущности, попытка установить начало обязательности периодических социальных революций. В России ранее народничество мечтало когда-то о «черном переделе», т. е. о насильственном перераспределении всей земли в интересах чернорабочего люда. В наше время такую мысль назвали бы красным переделом. Библия имеет в виду, так сказать, белый передел: узаконенный. Но главное отличие ветхозаветного передела от переделов социалистических в том, что эти — «раз навсегда», а тот — обязательно и периодически повторяем. По плану Библии хозяйственный быт сохраняет и после Юбилея полную свободу дальнейшей перетасовки. Люди будут по-прежнему измышлять, изловчаться, бороться, соперничать; одни будут богатеть, другие обеднеют; жизнь сохранит свой облик ристалища, где возможны поражение и победа, почин и провал, и награда. Эта свобода будет ограничена только двумя поправками. Одна поправка, вернее целая система поправок, действует постоянно и непрерывно: раз в неделю работа запрещена, край поля и виноградника принадлежит бедным, десятая часть дохода взимается в пользу «храма»; в переводе на современный язык это означало бы нормировку рабочего времени и вообще все законы об охране труда, все формы государственного страхования рабочих, все виды социального налога. Вторая поправка, или скорее противоядие против режима экономической свободы — «Юбилей». От времени до времени над человеческим лесом проносится огромный топор и срубает все верхушки, пере-

росшие средний уровень; аннулируются долги, обедневшему возвращается потерянное имущество, подневольный становится самостоятельным; снова устанавливается равновесие; начинайте игру сначала, до нового передела.

Лучше ли это, чем социализм, или хуже — оставим оценку на минуту в стороне; важно пока установить, что это — полная противоположность социализму. Идея повторных социальных переделов есть попытка пресечения зла, а не предупреждения. Напротив, она, очевидно, зиждется на вере в то, что свобода экономического соперничества есть неизблемая основа человеческого быта. Пусть люди борются, теряют и выигрывают. На арене борьбы нужно только снизу подстлать много мягкой травы, чтобы и упавший не слишком больно ушибся: эта «подстилка» есть суббота, край поля, десятина, весь тот переплет приспособлений, при помощи которых государство пытается помешать превращению эксплуатации в кровопийство, бедности — в нищету. А от времени до времени на арене раздается свисток судьи: победители и побежденные возвращаются к исходной черте и выстраиваются в одну ровную шеренгу. Именно потому, что борьба должна продолжаться.

Что лучше, предупреждение или пресечение, — это вопрос старей. Он возникает пред каждой матерью, когда дети еще крошки: что лучше — лечить их, если простудятся, или не выпускать на улицу, чтобы не простудились? Когда подрастут дочери, вопрос принимает новую форму: что лучше — не выпускать их на прогулку со студентами без надзора или рискнуть, что иной роман зайдет слишком далеко и придется принимать чрезвычайные меры? Или в масштабе государственном: что лучше — предварительная цензура или меры против вырождения безцензурности в нецензурность? Воспрещение уличных манифестаций или отряд полиции за углом, на случай, если полетят камни? Вообще говоря, что лучше: прививка против всех болезней или хирургии и аптеки? Говорят, если бы можно было привить человеку иммунитет от всех возможных болезней на свете, человек бы стал кретином. Я не знаю медицины и судить не могу, но...

Будь я царем, я бы перестроил царство по мысли Юбилея, а не по мысли социализма. Конечно, прежде всего пришлось бы найти подходящих мудрецов и поручить им

разработку библейского намека. В той неуклюжей, первобытной ребяческой форме он неприменим к нашему сложному быту; некоторые историки сомневаются даже в том, соблюдался ли действительно юбилейный год и в древние времена Израиля, не остался ли мертвой буквой с самого начала. Но мало ли что в библиях мира сего осталось поныне мертвой буквой? Мечей на сошники мы еще тоже не перековали; но когда-нибудь перекуем. Мертвая буква не есть смертный приговор. Мертвая буква иногда есть признак истинного идеала. Я посадил бы мудрецов за разработку ветхозаветного намека в переводе на язык современности. В наказе моем этой комиссии было бы написано так: благоволите приспособить мысль о повторных и притом узаконенных социальных революциях к условиям нынешнего хозяйственного быта. Имейте при этом в виду, что предложенный в Ветхом Завете пятидесятилетний срок — деталь несущественная. Вы можете предпочесть другие промежутки. Более того: можете вообще устранить хронологический признак, можете заменить его признаком целесообразности. Можете, например, установить, что «Юбилей» наступает тогда, когда за это выскажется некое специально поименованное учреждение, парламент, сенат, верховный совет хозяйственных корпораций или, наконец, плебисцит, большинством простым или квалифицированным, как найдете полезнее. Тогда «переделы» совпадут приблизительно с эпохами глубоких и затяжных кризисов — что, в сущности, и нужно. Главное — утвердите в вашем проекте раз навсегда законность того явления, которое теперь называется социальной революцией; отнимите у этого понятия страшный привкус насилия и крови, нормализуйте его, сделайте его такой же частью конституции, как, скажем, созыв чрезвычайного национального собрания для пересмотра этой конституции — мерой исключительной, мерой особо торжественной, но вполне предусмотренной. Затем благоволите предусмотреть, как отразится введение этого начала на обыденном хозяйственном обороте, особенно же на той его основе, которая называется кредитом. В той же главе Левита вы найдете оговорку, что в промежутках между двумя юбилеями ценность поля, например, исчисляется по количеству годовых урожаев, оставшихся до ближайшего «предела»: этого, конечно, недостаточно, это даже не подойдет при отмене хронологического

признака, но, идя по этой линии, ваша мудрость и ученость поможет вам найти необходимые поправки для сохранения жизнеспособности кредитного начала. Словом, подумайте и устройте; только дайте каждому человеку в нашем царстве возможность жить, производить, торговать, изобретать, стремиться, добиваться без предварительной цензуры — и в то же время знать, что от времени до времени будет Юбилей, и трубный глас по всей стране, и «провозглашение Свободы».

Я, однако, не царь, а напротив — член того сословия, самое имя которого стало бранью: буржуазия. Еще хуже: я не принадлежу и к распространенному в этом сословии крылу кающихся буржуа. Я ничуть не каюсь. По-моему, почти вся культура, которой мы дышим, есть порождение буржуазного строя и его древних прототипов римских, эллинских, израильских, египетских; и я верю, что этот строй одарен беспредельной гибкостью и растяжимостью — что он способен вместить огромные дозы социальных поправок и все же остаться в основе самим собою. Я верю, что общественный распорядок, получивший кличку буржуазного или капиталистического, постепенно выработает систему мер, при которой исчезнет явление бедности, т.е. падение заработка ниже уровня сытости, гигиены и самоуважения; если бы не военные бюджеты, во многих странах это было бы осуществимо и теперь. Более того: если правда, что буржуазный строй — как все живое — вырабатывает попутно яды и потому сам для себя создает неизбежность периодических потрясений, — то я верю, что он способен не только вынести, не пошатнувшись, эти потрясения, но способен и их включить в свою систему: узаконить и упорядочить свои самопересмотры, обеспечить пред собою бесконечные возможности усовершенствования через этапы повторных социальных переворотов, предусмотренных, обдуманых, планомерных — и, между прочим, бескровных. Словом — верю не только в прочность буржуазной системы, но и в то, что система эта объективно содержит в себе семена некоторого социального идеала: идеала в обычном смысле, т. е. видения, о котором стоит мечтать и за которое стоит бороться. То, что в наше время никто еще субъективно не проникся этим видением, ничего не доказывает: было время, когда и пролетариат субъективно не ощущал никакого социалистического идеализма. Римское общество эпохи принципата

несомненно томилось по новым идеалам; но, если бы не Павел, Европа еще пятьсот лет не знала бы христианства. Слово «буржуа» стало бранью, буржуазия сама себя стыдится, извиняется за свое существование; а я все-таки думаю, что придет еще новый Маркс и напишет три тома о ее идеале, и, быть может, озаглавит их не «Капитал», а «Юбилей». И родится он, вероятно, в Москве.

Иногда я задумываюсь вот о чем: у социализма есть энтузиазм и мечтатели, и в этом, быть может, главная сила его. Но в том мировоззрении, символом которого кажется мне мысль о юбилейном годе, заключено видение гораздо более привлекательное для человеческой мечты. Ни один социалист не отрицает, что в мировой коммуне хоть сытно будет житься, но скучно: волновать людей будут только вопросы духовные или научные (я лично думаю, что громадная будущность предвидится в ту пору для крестословицы), но истинная, опьяняющая, возвышающая горечь надрыва и подвига уйдет из жизни навсегда... Впрочем, это, или что-то в этом роде, прекрасно изложил когда-то поэтический обыватель Надсон; и, конечно, нельзя считать с эстетикой, когда речь идет об устранении голода. Но в видение общества, построенного по плану Юбилея, тоже входит устранение голода; зато остается весь авантюризм игры и борьбы, вся романтика прыжка и погони, все обольщение свободы творческого каприза; и, главное, остается то, что социализм поклялся вытравить и без чего, быть может, и жить не стоит, — вечная перспектива переворота, вулканическое начало в общественном быту; поприще, а не пастбище.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

В Библии мы находим не только идею протеста против социальной несправедливости, но и изложение системы, схемы социального уклада. Идеи эти не изложены систематически. Они вклинены в разные тексты, но если собрать их воедино, они составят цельный план. Он не детализирован, но, по-моему, это совершенный, конкретный и мудрый план общественного преобразования. Он содержит три пункта: принцип субботы, принцип «колоска» и идею юбилейного года.

Принцип субботы исходит из той же основы, что и социальные законы нашего времени, охраняющие права и положение рабочего. Кроме закона о субботнем отдыхе, в Библии есть еще несколько законов, защищающих наемного рабочего, говорящих о времени выплаты заработка (каждый вечер), и другие. Все это можно отнести к понятию «суббота». Смысл этого понятия в том, что общество не может предоставить рабочего на милость работодателя, который может вынудить рабочего делать все, что ему вздумается. Библия не признает «свободного договора». Библия не признает знаменитого «закона» экономистов девятнадцатого столетия, закона, который определяет, что единственным критерием для рабочего является мера утомления и голод, которые рабочий способен выдержать и не умереть.

В узком смысле принцип субботы относится только к понятию времени, то есть к количеству работы. В широком смысле, как уже сказано выше, суббота — начало и источник всех тех реформ, которые сумели осуществить в течение многих лет борцы за социальные улучшения в разных сферах защиты прав работающего. Эта идея впервые появилась в Библии, и не только как одно из 613 предписаний образа жизни еврея, но и как один из десяти заветов, как одна из социальных основ жизни человека. Суббота означает, что отношения между работодателем и работником не их личное дело, а дело Господа Бога, они диктуются высшей инстанцией совести человека и должны зависеть не от аппетита той или другой стороны, а от морального и материального уклада общества.

Идея колоска относится к сбору урожая. Нельзя убрать с поля весь урожай, часть его нужно оставить на поле или на винограднике для бедного пришельца, сироты и вдовы. И это не акт благотворительности, это приказ «сделать» нечто вроде налога на класс собственников в пользу неимущих. (Закон, в котором заложена колоссальная идея и начало которого тоже в Библии. Суббота и идея «колоска» не известны ни в римской, ни в греческой конституции.) Вся сфера социальных схем в наши дни, от налогов на доходы до налогов на наследство, исходит из законов «колоска».

Венский еврей Попер Линкиус написал книгу «Долг общего прокорма». Эта книга — попытка вывести из закона «колоска» соответствующие выводы. В соответствии с планом

Линкиуса государство обязано освободить всех своих граждан, богатых и бедных, от трех главных забот: пищи, одежды и жилья. Государство обязано обеспечить каждому человеку пищу, одежду и жилье. План разработан детально, в нем даны точные расчеты количества людей, которые должны будут трудиться для осуществления «Долга обеспечения пропитания для всех», чтобы создать необходимое количество пищи, материалов и домов. Я не специалист в этой области и не знаю, правильны ли его расчеты, но я верю, что суть этого плана, каким утопичным он ни выглядит сейчас, станет когда-нибудь реальной. Общество обеспечит минимальные материальные потребности каждого индивидуума, как оно это делает в духовной сфере: общее начальное образование. Голод и холод, отсутствие крова исчезнут, как исчезли в некоторых культурных странах безграмотные люди, что считалось утопией сто лет тому назад. Я верю со всей серьезностью, что не пройдет и ста лет и это станет фактом. Возможно, даже сейчас, если бы огромные налоги, накладываемые государством на своих граждан, не тратились на пушки и военные корабли, они могли бы служить нуждам населения — как минимум Попера Линкиуса (одно из условий его плана).

Прежде чем «долг общего прокорма» мог быть осуществлен, нужно отменить закон обязательной военной службы. И эта идея ясна в Библии. Я думаю, что и это осуществится через сто лет, и, возможно, дети людей нашего поколения доживут до эпохи без войн.

Но различие между богатыми и бедными останется. Оно всегда будет «стимулом» для человека, всегда будет толкать его к соревнованию, двигать общество, которое стремится к равенству, чтобы неравенство не осталось навсегда и не превратилось бы в несправедливость. Эту проблему пытались решить двумя путями. Один из них — социалистический, согласно которому различие между бедными и богатыми должно исчезнуть в будущем. Это достигалось путем лишения граждан возможности накопления «богатства». Но вместе с этой возможностью исчезала возможность проявить личную инициативу, а общество тем самым лишалось важного стимула творить и проявлять свои способности. Со всем другим решением предлагает Библия.

ДИСПУТ С БОГОМ

Самая главная часть социальной философии Библии — объяснение имени «Израиль», приведенного в 32 главе Бытия, в которой рассказано, как наш праотец Яков сражался со Всемогушим. Всю ночь ангел боролся с Яковом и не смог его победить. Потому ангел благословил его и назвал Израилем¹, ибо он спорил с Богом. Таким образом, смысл имени не был порицанием, а, наоборот, почетным званием. Это подтверждается также тем фактом, что традиция превратила это имя в имя всей нации. О чем это говорит? Какая философия выражена в этом имени?

Ясно одно, это имя учит нас тому, что, согласно Библии, спор со Всевышним не является грехом. Бог, однако, создал мир таковым, как он есть, но человек не может смириться с его несовершенством. Он должен постоянно пытаться исправить его, устранить его недостатки, которые Бог допустил в мироздании. Он оставил в нем множество дефектов, с которыми человек должен бороться и стремиться к усовершенствованию мира. Можно подвести научные обоснования рассказу о борьбе Якова с ангелом до восхода солнца и видеть в этом борьбу Якова со своей совестью в ту ночь. На следующее утро он должен был встретить своего старшего брата Исава, которого он, Яков, обманул. Мрачные мысли одолевают его. Ангел, находящийся в его сердце, спрашивает его: «Яков, Яков! Ты обманул своего брата Исава и тестя, арамейца Лавана. Может быть, вся твоя жизнь всего лишь сплошной длительный обман?» Он говорит или, вернее, думает: «Неужели было бы лучше и справедливее, если бы Исав, этот бессердечный ребенок, получил бы от тебя, Господь мира, все большие секреты, которые ты передал нашему праотцу Аврааму? Или если бы Лаван, этот хитрый купец, которому никогда не снились чудесные сны, остался бы навсегда моим господином, и я, который беседовал и спорил с ангелом, остался бы на всю жизнь бедным и нищим и зависел бы от моего тестя? Тайны, которые ты, Господин Вселенной, открыл моему деду, глубоки и священны. Но мир нуждается в практическом порядке,

¹Израиль (*Исраэль*) — букв. боровшийся с Богом. (*Прим. ред.*)

и я посмел совершить кое-что именно в практической сфере. А теперь, скажи мне, кто прав: ты или я?» И как ответил ему ангел, поместившийся в его сердце: «Я благословляю тебя, бо-рющегося и исправляющего мир».

В связи с этим вспоминается комментарий к главе 28 Книги Бытия. В ней Яков видит в своем сне лестницу, достигшую неба, и ангелы поднимаются по ней и опускаются. Та же идея. Небо может быть достигнуто, и наоборот. Есть постоянная связь между Богом и человеком. Иногда человеческая интуиция доходит до высшего уровня, и человек имеет право изменить мировой порядок. Известно, что идея о возможности и обязанности человека изменить мир представляет главное различие между еврейской и арийской традицией. Римляне и греки верили в «золотой век», который был в далеком прошлом, еврейская вера связана с идеей мессии, вера во всеобщее благоденствие в мире и справедливость, которые наступят только в будущем, после страданий и борьбы многих поколений, а мессией будет человек. Эта идея, в которую вложено понятие «прогресс», была чужда религиозной логике римлян и греков. Согласно их мировоззрению, наоборот, каждое новое поколение отдаляет человечество все больше от «золотого века» и движется от него к серебряному, бронзовому и, наконец, железному. Мы тоже видим начало человечества в раю, но он не похож на золотой век арийской легенды. Латинский поэт передал арийское понимание точным описанием: первое поколение, дети золотого века, придерживалось прямоты и справедливости не в силу закона и не из страха перед наказанием, а по своей доброй воле (Овидий, *Метаморфозы*). В еврейской традиции Адам и Ева, находясь в раю, не знают, что такое добро и зло, но в тот миг, когда они узнали различие между ними и превратились из прекрасных животных в людей, они вынуждены покинуть рай; первое поколение человечества развивалось в диком мире, полном опасностей и бед, мире, который нужно исправить.

Главная основа социальной философии Библии: Бог создал мир, но человек должен содействовать его исправлению. И для этой цели он должен бороться, даже «объявить войну небесам», чтобы искоренить все, что мешает установлению справедливого порядка в мире. Его оружие в этой борьбе: умение различить добро и зло, его дух и его интеллект.

Если мы продолжим углубляться в этом вопросе, то найдем в Библии намеки не только на исправление мира в моральном плане, но и в практическом, почти в техническом. Изворотливость праотца Яакова в отношении овец Лавана — пример тому. Не знаю, возможно ли в действительности повлиять на цвет овцы теми средствами, которые применил Яаков, но не это важно, а сама идея, чисто «израильская». В соответствии с законом, который определил Бог в Бытии, от белых овец рождаются белые овцы, а от черных — черные. Но тут вмешался Яаков в пути природы и изменил ее. В истории белой расы это первая попытка овладеть природой, завоевать ее, диктовать ей, как и что создавать, — начало всему, что на нашем языке сегодня называют рационализацией и организацией процесса производства, даже если это не ведет прямо к началу машиностроения. И разве машина не результат изобретения нашего предка Яакова, выраженный в железе.

В связи с этим интересно разобраться в споре между Каином и Авелем. Современные ученые видят в этом споре древнюю битву между земледельцем и пастухом. Существовала всегда вражда между земледельцем и пастухом. Крупный и мелкий рогатый скот нуждался в земле. Домашний скот топтал злаки, козы грызли кору молодых деревьев. Каин был земледельцем, Абель — пастухом. Отсюда вражда между ними и последовавшее за этим убийство. Все это всем известно. Но интересно отношение Бога к Каину. Сначала Бог принял дары Авеля и отверг дары Каина. В этом старое отношение создателя к «знанию». Человек не должен пробовать плоды дерева познания: ты хочешь быть умным, вспахать мою землю, вынудить природу служить тебе, поэтому я отвергаю твои жертвы. Но вдруг после ужасного преступления Каина, убийства брата, выяснилось, что Творец не хочет уничтожить преступника, он ведет с ним переговоры, оказывает ему защиту от других убийц. Каин уходит от него и продолжает возделывать землю и «строит город», первый город в истории. И разве не выступает тут ясная мысль, что традиция ратует тут за все, что мы называем «техника», «культура» и даже «интенсивная культура», — за право человека овладеть природой,

отказываться от низших форм экономики в пользу высших. Даже если в этом процессе прольется кровь, Бог готов простить грех.

Очень важно запомнить это отношение в еврейской традиции к социальному и финансовому прогрессу в наше время, особенно потому, что в последнее время в мире ощущается горечь по отношению к техническому прогрессу и овладению природой. Тысячи серьезных мыслителей говорят совершенно серьезно о необходимости прекратить «безумную гонку за новыми изобретениями», ибо в противном случае вскоре рабочие будут без работы и умрут от голода. С тех времен, когда более ста лет тому назад в Англии начались восстания ткачей против владельцев фабрик, пытавшихся ввести механизацию, не видел мир такой ненависти к машине, как сейчас. Поэтому не стоит удивляться, если в ближайшем будущем мы увидим организованные движения с лозунгами закрыть большие фабрики и возвратиться к ручному труду. Эти перепуганные существа чувствуют, что мир становится слишком «еврейским» и перешел границу в своем стремлении соревноваться с Создателем Вселенной, ее Творцом. Кризис нашего времени — это кризис не «капитализма», а в первую очередь пролетариата. Машина делает пролетариат все более лишним. Многочисленный класс, хорошо организованный, владеющий политической силой и, кроме того, считающий себя самой важной частью общества, находится в опасности потерять свое социальное и финансовое право на существование; и большая часть его уже потеряла это право. Он страдает от этого положения, но и все общество страдает от этого, и в этом, видно, причина мирового кризиса. И это так, но отсюда не следует, что выход из него — «прекратить открытия». Излишними становятся не часть рабочих, а часть рабочего времени. Было бы ошибкой сказать, что вместо ста рабочих можно удовлетвориться сегодня семьюдесятью пятью. Нужно сделать другой расчет. Вместо того чтобы 100 рабочих работали 8 часов, как раньше, они должны работать 6 часов, и производство останется без изменений. Количество выпускаемой продукции останется без изменений, не изменится и зарплата. Если так поставить вопрос, то пример праотца Якова останется в силе.

Подлинное социальное освобождение не наступит в результате классовой борьбы. Оно наступит в результате интеллекта, гения, технических изобретений и рационализации. Это путь, который делает возможным превратить труд в удовольствие, «оплаченное рабство» в «оплаченный спорт».

1933

ВЕРА

Поколение, к которому я отношусь, — плод ассимиляции евреев в южной области России, в которой не селились евреи старого поколения и нет традиций. Это поколение не было в целом атеистичным. Атеизм — это утверждение, мировоззрение, даже если оно и отрицает, когда провозглашает «Я утверждаю, что Бога нет». Мое поколение вообще ничего не утверждало:

«Может, есть Бог, может, нет, какое это имеет ко мне отношение?» Полное душевное равнодушие, без горечи, без ярости и злости, отношение, как к прошлогоднему снегу.

Это не значит, что это поколение может быть поколением грабителей и преступников. Может быть, даже наше поколение дало еврейскому народу не меньше порядочных людей, чем каждое из предыдущих поколений. Есть люди, для которых музыка или поэзия «не существуют». Они могут быть вполне интеллигентными натурами, но вопрос в том, было ли их развитие полноценным. Может ли такая натура быть цельной, зрелой и совершенной, если она не способна воспринять очарование музыкальных звуков, или та, для которой самая прекрасная поэзия — всего лишь набор рифмованных слов.

Музыка и поэзия — две могучие человеческие эмоции; человек, у которого отсутствует одна из них или обе, человек душевно скудный, обойденный судьбой. Но что такое поэзия и музыка по сравнению с той эмоцией, из которой, может быть, исходят музыка и поэзия? Эта эмоция — томление души человеческой, которое побудило нас еще во времена первого человека наполнить небо и землю, реки и леса тайнами жизни, которое повергло человека на колени перед силой,

которую он никогда не лицеизрел, ввергло человечество в войны, вызвало к жизни палачей и героев, привело к созданию архитектуры, живописи, искусства, скульптуры и философии. Из всех духовных факторов мировой истории вера всегда была самым сильным фактором, особенно в средневековье. И вот ныне, после всего, появилось поколение, для которого вообще «не существует проблемы», вопросы веры — недоразумения, отношение — как к прошлогоднему снегу. И все это несколько странно. Как попытка отрицания океана или Америки, или Австралии, или стратосферы, или знаков Зодиака — никогда не видели и нет жажды или попытки увидеть.

У полноценного, высоко развитого человека не может отсутствовать эта мощная эмоция. Человек будущего — натура цельная, у которой в наличии все эмоции, будет человеком верующим. Не знаю, как будет выражаться его вера, но связь между его душой и бесконечностью будет сопровождать его во всех его поступках.

Нам, евреям, давно бы следовало пересмотреть наше интеллигентское отношение к вере. Даже если оно и честное, оно неадекватное. Иногда оно носит характер сделки: ввиду того что пожертвование в какой-то фонд исходит из карманов ортодоксальных евреев, то поэтому... Я бы скорее одобрил непосредственную борьбу против религии.

Положительное отношение к религии должно выражаться другими путями: в официальных церемониях, на национальных торжествах, конгрессах, съездах, собраниях, например, можно начинать их с богослужения, независимо от того, «верят» ли члены и его участники или нет.

Положительное отношение должно выражаться и в воспитании. Религиозное мировоззрение нельзя навязать, да это и не может быть эффективным ни для детей, ни для Торы. Знание обрядов — это другое дело. И я сомневаюсь, что отсутствие их в наших программах является действительно достоинством всех наших систем воспитания. Будет ли ученик выполнять эти обряды — это его дело, но он должен их знать так же, как он должен знать историю и литературу, ибо это и история, и литература, и, кроме того, часть души народа, сложившееся воодушевление многочисленных деяний многих поколений, познавших горести, надежды, радость.

1935

КОРОЛЕВСКИЕ ДЕТИ

Когда я ищу истоки новой еврейской ментальности, ярче всего выраженной в мировоззрении Бейтара, я прихожу к идее «королевского достоинства» в человеке. В том смысле, поскольку эта идея относится к еврейскому народу, я передал в гимне Бейтара:

Еврей даже в бедности принц,
Будь он рабом иль бродягой,
Он создан был принцем,
Увенчанным короной Давида.
И в свете, и в мраке
Помни о короне,
Символе гениальности.

Когда я писал эти строки, я имел в виду всех людей: и греков, и банту, и северянина, и эскимоса. Ибо все они были созданы по образу Божию, о чем мы узнаем из первой главы Библии. Но Библия не ограничивается этим сообщением, она намекает на то, что люди почти Боги, или дети Бога. Но эти высокие понятия неуместны в нашей дискуссии, и я ограничусь понятием «королевского достоинства». Во всяком случае, привилегия высшего аристократизма дана человеку в соответствии с еврейской традицией с рождением первого человека. Наша еврейская традиция солидаризуется в этом вопросе с принципом человеческого достоинства, выражающего дух Бейтара. Пусть унижен, покорен, подавлен, я король и требую полагающихся мне королевских прав. Суть этого королевского права: я никому не подвластен.

Теперь давайте разберемся по мере возможности, как идея королевского достоинства, которая коренится в нашей древней традиции и в современной ментальности, ведет к логической концепции государства, общества; наметим общий теоретический аспект, а затем перейдем к его практическому применению по отношению к будущему еврейского государства и его социальной системе.

Первый вывод из утверждения «каждый человек — король» — всеобщее равенство: смысл твоего или моего королевского достоинства в том, что никто не может быть выше тебя ни по своему достоинству, ни по своему положению. Второй вывод: свобода личности, ибо король никому не

подчиняется. Евреям присуща естественная ненависть к подчинению, нежелание получать от кого-либо указания. Жалобы на эти черты характера известны и в наши дни, и в древние времена, в Библии евреев называют «жестоким народом». В священных текстах мы находим поразительные нападки на самый принцип государственности, на идею централизованной власти, власти подавления. Ссылки на это мы находим в книге Шмуэля I, глава 5. В ответе посланца племени, пришедшего к Шмуэлю с предложением создать государство во главе с королем: «...И будет у вас суд королевский, который будет управлять вами, ваши сыновья будут бежать перед его колесницами и собирать его урожай, а ваши дочери будут его стряпухами, он ограбит вас и обложит вас налогами, и будете вы его слугами, и придет день, и заплачете вы из-за своего короля, которого избрали себе сегодня». Это, очевидно, первое в истории письменное свидетельство о столкновении стремления к свободе с необходимостью установления власти закона. И что особенно интересно в этом библейском рассказе — сам Бог склонит Шмуэля защитить свободу личности от власти. И сказал Бог Шмуэлю: «Это не тебя не отвергли, а меня они не хотят, чтобы я больше не властвовал над ними».

Так представляется нам в принципе отношение наших праотцов к рабству. Они вынуждены склониться перед необходимостью коллективной защиты перед внешним вторжением и установлением порядка в их среде, что подразумевает образование государства и монархии, но они ненавидели власть и считали, что сам Господь Бог ненавидит ее, и они предпочитают подчинение только Богу, что означало бы, по крайней мере теоретически, подчинение собственной совести.

Самое яркое выражение того, какое значение Библия придает свободе, мы видим в том, какое место в ней отведено пророкам. В наше время пробным камнем демократии является пресса; самое либеральное законодательство может оказаться бессильным, если пресса ограничена; но там, где пресса свободна, есть надежда на ее сохранение, несмотря на все дефекты законодательства. В те древние времена не было прессы — были только пророки, публичные ораторы на торговых площадях, публичные ораторы, но не «пропаган-

дисты». Было бы неправильно видеть в пророках служителей храма, провозглашающих проповеди с амвона, — они были просто гражданами, обращающимися к другим гражданам по вопросам государственным и международным, затрагивающим мировые события и социальные проблемы. Большая часть их речей звучала как оппозиционные выступления в современном смысле слова: они обличали королей, судей, правительство, религиозных деятелей и богачей. Их речи были настолько резкими, что никакой цензор не пропустил бы их, если бы они были нашими современниками, проживающими в одной из стран, в которых существует цензура. В свое время их преследовали власти, богачи, толпа, но их речи были точно записаны и сохранены. Наши священные писания — монументальный памятник святости свободы и революционным речам.

И отсюда два принципиальных критерия, определяющих особенности каждого государственного режима, демократии или диктатуры. Если вы хотите знать, является ли та или другая страна подлинной демократией, не ищите тому доказательств в ее законодательстве. Великобритания, с ее наследственной палатой лордов, как бы отрицает демократию; Франция, половина населения которой составляют женщины, лишает их избирательного права, что еще хуже; в Соединенных Штатах вся исполнительная власть находится в руках президента, и конгресс не может лишить его власти, что могло бы вызвать критику со стороны европейцев, предпочитающих кабинет, который может быть смещен в любой день голосованием в парламенте. Но все это не существенно. Решают два критерия. Первый: или перед вами государство, в котором индивидуум — суверен и его свобода обеспечена законом, который ограничивает только в крайних случаях, или это государство, в котором индивидуум прежде всего вассал, и государство берет на себя право направлять его жизнь и деятельность. Второй: или это государство, в котором каждый гражданин может публично критиковать существующий режим, или это запрещено. Оба эти критерия дают полную возможность различия между демократическим государством и диктатурой, независимо от того, что записано в его конституции.

Эти два критерия дают возможность определить основную и истинную тенденцию нашей древней традиции по отношению к государственной власти. Наша традиция осуждает идею государственной власти, она признает ее в той мере, в какой она является неизбежной и необходимой. Жизнь и деятельность каждого человека — его личное дело, они должны оставаться в известной степени вне сферы вмешательства государства; самое лучшее правило: пока один «король» не нарушает «суверенитет» соседа, нельзя его беспокоить, но если это невозможно, ибо, к сожалению, существует опасность извне, требуются коллективные усилия, приходится смириться с минимальной властью, без которой невозможно обойтись. И это вкратце суть мировоззрения, для которого тоталитарное государство — анафема, его подлинный идеал — нечто похожее на умеренную анархию, но так как это невозможно, то по крайней мере (простите за неуклюжее выражение) на минимилитаристское государство.

1940

ВОСПОМИНАНИЯ

СЛОВО О ПОЛКУ

*История Еврейского легиона по воспоминаниям
его инициатора*

ГЛАВА I

КАК ЗАРОДИЛАСЬ МЫСЛЬ О ЛЕГИОНЕ

В начале декабря 1914 года, на пароходе, шедшем, кажется, из Чивитавеккьи, приехал я в Александрию. Английский чиновник, вертя в руках мой русский паспорт и пытаясь выудить среди тридцати с чем-то нагроможденных виз разрешение на высадку в Египте, в то же время беседовал с офицерами из наших пассажиров и вдруг сказал:

— А на днях сюда привезли на пароходе из Яффы чуть ли не тысячу сионистов — турки их выгнали из Палестины.

Шел уже пятый месяц войны, и уже три месяца и больше, в роли корреспондента «Русских Ведомостей», я скитался по разным углам невеселого тогдашнего света. Редакция мне поручила не столько писать о самой войне, сколько о настроениях в связи с войной. В Швеции надо было выяснить, разделяет ли тамошнее общество новую веру Свен Гедина — будто Россия задумала отобрать у Норвегии не то Нарвик, не то даже Берген, чтобы этим путем приобрести, раз не дают ей Константинополя, незамерзающую гавань на теплом Гольфстриме вместо теплого Босфора; если разделяет, то нет ли опасности, что шведы примкнут к Германии и объявят России войну. В Англии мне поручено было присмотреться, нет ли доли правды в остроте, которая бойко тогда ходила по

ресторациям земли русской и прочих земель, — что британский лев «готов воевать до последней капли русской крови». Во Франции «выяснить» было нечего — французские настроения даже у остряков не вызывали никаких сомнений: там нужно было просто приглядеться — если пустят — к быту фронта; посмотреть Реймс и проверить, действительно ли немцы вконец расстреляли прекрасный собор; а также сообщить, бодро ли держится Париж или уныло. Но на месте оказалось, что «Париж» переведен уже в Бордо: правительственным учреждениям пришлось на время удалиться из угрожаемой столицы; я поехал в Бордо и там в одно мокрое утро я прочел на стене афишу о том, что Турция фактически примкнула к центральным державам и начала военные действия.

Признаюсь: до того утра я себя чувствовал, в Бордо и повсюду, просто наблюдателем, без особенных каких-либо побуждений пламенно желать одной стороне полной победы и полного разгрома другой. Ориентация моя в то время писалась так: мир вничью, и как можно скорее. Турецкий жест в одно короткое утро сделал из меня фанатика войны до конца — сделал эту войну «моею». Еще в 1909-м году, когда я в Константинополе обер-редактировал (это бывает только в молодости) сразу четыре сионистские газеты, а в Высокой Порте пановали младотурки, сложилось у меня незыблемое убеждение: где правит турок, там ни солнцу не светить, ни траве не расти, и вне распада Оттоманской империи нет надежды на восстановление Палестины. Теперь в Бордо, прочитав на стене подмокшую афишу, я сразу сделал единственный логический вывод; и по сей день не понимаю, почему многим из друзей моих понадобилось столько лет, чтобы прийти к такому простому заключению. Дело казалось мне ясно, как дважды два: что будет с евреями России, Польши, Галиции — все это очень важно, но в размахе исторической перспективы все это — вещь временная по сравнению с тем переворотом еврейского бытия, какой принесет нам расчленение Турции.

В том, что Турция, раз она только вмещалась в войну, будет разбита и разрезана в клочья, у меня сомнений не было: опять-таки не понимаю, как могли вообще у кого бы то ни было зародиться на эту тему сомнения. Тут дело шло не

о гаданиях, а просто о холодной арифметике, числовой и житейской. Рад случаю сказать это здесь, так как меня в те годы обвиняли в игре на гадательную ставку. В Турции я прожил долгое время газетным корреспондентом. Я держу очень высокого мнения о газетном ремесле: добросовестный корреспондент знает о стране, откуда пишет, гораздо больше любого посла; по моим наблюдениям — нередко и больше любого местного профессора. Но в данном случае несложная правда о Турции была известна не только профессорам, а даже и послам. Конечно, того, что Германия будет разбита до сдачи на милость, не мог в то время предвидеть и журналист. Но что по всем счетам этой войны платить будет главным образом Турция, — об этом у меня и сомнений не было и быть не могло. Камень и железо могут выдержать пожар — деревянная постройка должна сгореть, и не спасет ее никакое чудо.

В какой точно момент зародилась у меня мысль о еврейском боевом контингенте — там ли, в Бордо, перед афишей, или позже — я теперь не помню. Думаю, однако, что вообще никакого такого момента не было. Где тот человек, какой угодно веры, который может по совести ткнуть пальцем в определенную дату и сказать: тут я уверовал? Каждый рождается уже с микробом своей секты где-то в мозгу, хотя бы этот микроб и не обнаружился до старости, или никогда. Полагаю, что мне вообще всегда было ясно, так сказать, отроду ясно: если приключится когда-нибудь война между Англией и Турцией, хорошо было бы евреям составить свой корпус и принять участие в завоевании Палестины, — хотя до того дня в Бордо я об этом отчетливо никогда не думал. Дело в том, что эта мысль — очень нормальная мысль, которая пришла бы в голову, при таких обстоятельствах, любому нормальному человеку; а я притязаю на чин вполне нормального человека. У нас в еврейском быту чин этот иногда переводится на разговорный язык при помощи речения «гой-ишер коп»; если это верно — тем хуже для нас.

Через несколько дней я телеграфировал редакции в Москву: «Предлагаю посетить мусульманские страны Северной Африки — выяснить эффект провозглашенной султаном священной войны на местное население». Редакция ответила: «Поезжайте».

Начал я с Марокко; но поехал нарочно через Мадрид. Там жил тогда Макс Нордау; не тем будь помянута Франция, но в самом начале войны кому-то в Париже пришла в голову светлая мысль выселить его как «венгерца». Дикое происходили в то время вещи на свете...

Я спросил Нордау:

— Если бы можно было убедить англичан образовать еврейский контингент для участия в операциях на восточном фронте — палестинском — как бы вы к этому отнеслись?

Он отнесся скептически. Мысль правильная, но где найти солдат? Английские, французские, русские евреи служат в местных войсках; в нейтральной части Европы евреев мало; Америка далеко; и притом есть у евреев какое-то нелепосентиментальное отношение к Турции, к «кузену нашему Измаилу». Правда, с каких пор стали турки, племя туранское, родней семиту Измаилу, это ни одному ученому неизвестно, но таково настроение, и Нордау самому пришлось с ним столкнуться после знаменитой его отповеди младотуркам на Гамбургском конгрессе.

— Помню ту вашу речь, — сказал я. — Вы тогда заявили: «Ехать в Туречину, чтобы там ассимилироваться? Это мы можем найти ближе и дешевле». Я тогда приехал в Гамбург из Константинополя и бешено аплодировал.

— А у меня, — ответил он, — конца потом не было неприятностям с некоторыми чувствительными идиотами из нашего окружения: как можно, мол, так резко выразаться о «кузене»?

— Доктор, — сказал я, — но ведь не держать же нам курс на идиотов. Не только турок нам не кузен — и с подлинным Измаилом нет у нас ничего общего. Мы, слава Богу, европейцы: две тысячи лет помогаем мы строить европейскую цивилизацию. Вот еще одно место из другой вашей речи — я запомнил: «Мы идем в Палестину, чтобы раздвинуть моральные границы Европы до самого Евфрата». Худший враг наш в этом деле — турок. Теперь пришел его час. Неужели сидеть нам, сложа руки?

Глубокое слово сказал мне в ответ старый жизнеиспытатель — лишь много позднее довелось и пришлось мне понять, какое глубокое слово. Он покачал мудрой головою и ответил:

— Это, молодой человек, логика; а логика есть искусство греческое, и евреи терпеть его не могут. Еврей судит не по разуму — он судит по катастрофам. Он не купит зонтика «только» потому, что в небе появились облака: он раньше должен промокнуть и схватить воспаление легких — тогда другое дело.

Много прошло времени, пока я постиг всю правду этого замечания; и тогда, между прочим, обнаружилось, что есть на земле еще одно племя с точно таким же отношением к логике, тучам и зонтику — англичане. Только разница та, что у них и легкие крепче, и больше денег на лекарство.

После этой беседы я побывал в Марокко, Алжире, Тунисе, стараясь «обследовать», произвел ли турецкий призыв какое-либо впечатление, есть ли действительная опасность магометанского восстания. Конечно, обращаться за справками к самим мусульманам было бы совершенно бесполезно. Тамошний туземец — великий дипломат (в том «классическом» смысле, о котором еще придется мне говорить по поводу свидания с Делькассэ, а особенно — когда он боится. Я сделал проще — расспросил местных сефардских купцов: они такие же старожилы, но они умнее и откровеннее; и еврей, если только дело не касается его собственных еврейских интересов, вполне способен проявить и проницательность и дальновзоркость. Настроения арабов он знает доподлинно: даже если они ему рассказывают басни, он способен учесть притворство и понять, чего они не договаривают. Почти все эти сефарды — купцы, адвокаты, журналисты от Танжера до Туниса — дали мне один и тот же ответ, и история доказала, что они были правы:

— Призыв к священной войне? Абсурд. О впечатлении смешно и спрашивать. Только у вас, наивных европейцев, еще верят в то, будто на Востоке во имя солидарности ислама можно поднять народные массы и двинуть их на серьезный риск. Турки сами в это не верят: вот уже сто лет, как Европа бьет турок и отнимает у них лучшие земли одну за другой, и за все это время ни одна мусульманская нация пальцем не шевельнула в помощь султану, хоть он именуется халифом правоверных. Немцы, которые так же наивны, как и вся остальная Европа, убедили турок попробовать еще раз. Безнадежно. Ни одна душа тут за турок не заступится.

После этого, завернув «по дороге» в Рим, я поехал в Египет.

В Александрии я нашел очень оживленную сионистскую среду. Пароход, о котором говорил тот офицер, действительно привез больше тысячи беженцев из Яффы. Они рассказывали так: внезапно, ни с того ни с сего, тамошние власти велели арабской полиции хватать и тащить «нежелательных» евреев, чуть ли не по выбору околоточного надзирателя. Полицейские («брат наш Измаил») выполнили задание с большим одушевлением, раздавая направо и налево удары, отбирая у изгоняемых утварь и деньги; а на море, на полдороге от пристани к пароходу, арабские лодочники часто в придачу опускали весла и требовали по фунту за каждого «пассажира», грозя в противном случае просто вывалить их в воду... Я пытался дознаться, за что выселили именно этих евреев, а не других: в их числе были купцы, торговцы, ремесленники, женщины, младенцы, врачи и просто бездельники. Так и не понял, что тут была за система.

Английские власти дали нам бараки и открыли денежный кредит; при канцелярии губернатора был даже устроен особый отдел попечения о беженцах с милым и дружелюбным человеком во главе — звали его мистер Хорнблоуэр. Помню еще одно имя: миссис Бродбент, которая заведовала по поручению Хорнблоуэра крупнейшим из беженских лагерей, в старом загородном дворце Габбари и которую дети называли «белая дама». Я тоже проработал несколько недель в Габбари. Было там до 1200 душ, в том числе около трехсот сефардов. Мы устроили две кухни: одну ашкеназийскую, одну сефардскую. Сначала, по неопытности, кухню сделали общую, но сефарды вскоре учинили чуть ли не подлинный бунт, жалуясь, главным образом, на то, что им дают «суп», а это у них, как выяснилось, считается чуть ли не покушением на отравление порядочного человека. Мы извинились и дали им особую кухню. Помню, что на первый же завтрак они, в знак примирения, пригласили и меня и угостили меня тарелкой какого-то варева, чрезвычайно вкусного, но, по-моему, совершенно похожего на суп... Кроме того, была у нас школа, конечно, с преподаванием на еврейском языке; была библиотека, аптека, вообще целое самоуправление, даже с отрядом стражи, которую мы называли «нотерим». В лагере стоял гам на двенадцати языках — и это не считая еврейского; хорошо, что

почти вся молодежь и половина мужчин знали по-еврейски, иначе, право, не представляю себе, как можно было бы управляться с этим микрокосмосом нашего рассеяния. Тут была бухарская палата, марокканская, грузинская, несколько эспаньольских; и палата учеников Яффской гимназии, которые отказывались принимать хинин, если аптекарь не умел им предложить это лекарство на языке Исаяи. Также помню, что недели через две после высадки те же гимназисты организовали футбольную команду и устроили победоносный матч с александрийскими скаутами.

По утрам приезжали к нам в Габбари большие военные повозки с плечистым австралийским солдатом на козлах и парой громадных австралийских битюгов в упряжи — все это для того, чтобы покатать младшую детвору. Австралийцы научились созывать детей по-еврейски: «*yeladim henna!*» — и в одну минуту повозка наполнялась стрекочущей массой ребятшек.

Иногда приходил к нам один из австралийских офицеров, лейтенант Лазарь Марголин, подолгу стоял, присматривался, переговаривался с беженцами на ломаном идише и, вероятно, не мечтал о том, что через несколько лет быть ему полковником еврейского батальона и что некоторые из этих самых беженцев будут тогда его солдатами.

Сефардская община Александрии честно и широко открыла нам и свое сердце, и свои кошельки. Главный раввин города Рафаэль Делла Пергола, культурный, даже высокообразованный флорентиец (к сожалению, ныне уже покойный), его помощник «Хахам Аврам» Абихзэр, банкир Эдгар Суарес (тоже покойник), видный негодант Жозеф де Пичотто и многие другие — имен уже не помню, хотя следовало бы помянуть, — работали в бюро, собирали деньги, одежду, постельное белье, книги и представляли за беженцев перед властями. Были, конечно, работники и из русских евреев: З. Д. Левонтин, создатель и тогда еще директор нашей банковской сети в Палестине, добился каких-то кредитов и стал выдавать небольшие суммы тем из беженцев, у кого были вклады в Яффском банке; В. Л. Глушкин, в то время директор винных погребов Ришон-ле-Циона, ежедневно объезжал все бараки и следил за порядком; М. А. Марголис, уполномоченный Нобеля на Ближнем Востоке, состоял

казначеем попечительского комитета. Были и нееврейские волонтеры: особенно я помню красавицу-француженку, жену еврейского барона Феликса де Менашэ; всякий раз, когда она привозила в Габбари запас свежего хлеба, я дивился тому, как умно она одета: и просто, и в то же время обдуманно — словно бы имелся у парижских портных специальный покрой именно для такого случая...

Там, в Габбари, и зародился еврейский легион. Два человека сыграли при этом решающую роль: русский консул Петров и Иосиф Владимирович Трумпельдор.

ГЛАВА II

ПЕРВЫЙ ОПЫТ — ZION MULE CORPS

Консул Петров был горячий русский патриот. Как он, помимо того, относился в душе к нашему избранному народу, за это я ручаться не берусь — и вообще сам еще не настолько освободился от пережитков дедовской ксенофобии, чтобы иметь право выслеживать зерна того же недуга в чужой душе. Но патриот он был несомненный, и притом еще сухой и накрахмаленный бюрократ исконного, классического, деревянного образца. Среди нашей молодежи в беженских лагерях оказалось несколько сот русскоподданных. В то время в Египте еще действовали добрые старые «капитуляции», по которым консул имел экстерриториальные права над «своими» подданными. А поэтому консул Петров внезапно предъявил британским властям требование — отправить молодых людей на военную службу в Россию.

Положение получилось неудобное. Отношение наше и нашей молодежи к этому ходу консула Петрова понятно без объяснений. Но британское начальство, согласно капитуляциям, не имело права ему отказать: напротив, обязано было предоставить к его услугам для этой цели все свои полицейские силы.

К английскому губернатору (официально он именовался «советником» при губернаторе-туземце, но правил городом он) отправлена была депутация; а тут я, старый поклонник эспаньольского еврейства — это, по-моему, лучшие евреи

на свете — подметил еще одно их достоинство, которого прежде не знал: как сефард разговаривает с начальством в городе, находящемся на военном положении.

Главным оратором депутации был Эдгар Суарес, банкир обычного банкирского типа, лет пятидесяти пяти, по взглядам — заклятый ассимилятор; с этим губернатором он, должно быть, каждый вечер играл в клубе в покер — но ведь и после этого губернатор оставался губернатором.

Суарес спросил его:

— А вы помните, ваше превосходительство, что творилось в Александрии два года тому назад, когда этот самый консул Петров хотел арестовать русского еврея Р. на том основании, что тот был «политическим преступником» в России?

— Помню, — отозвался губернатор несколько уныло, потому что действительно не забыл еще той громадной демонстрации десяти тысяч эспаньолов на главных улицах Александрии, с этим самым Суаресом во главе толпы.

— А помните, — опять спросил Суарес, — как вам пришлось вызвать пожарную команду с большой кишкою — а мы все-таки не выдали того «преступника»?

— Еще как помню, — ответил губернатор, теперь уже с улыбкой, потому что в конце концов был он все-таки «а спорт» и умел ценить удачную проделку. — Что же мне было делать, когда какой-то босяк перерезал пожарную кишку?

— Позвольте представиться, — ответил Суарес, — я и был тот босяк.

Губернатор рассмеялся.

— Будьте спокойны, — сказал он, — ваших молодых людей мы не выдадим. Конечно, дело очень щекотливое — капитуляции, военное время... но о выдаче не может быть и речи.

После этого визита к губернатору я пошел знакомиться с И. В. Трумпельдором. О том, что он находился среди беженцев, я знал уже раньше, но никогда его не видел. Он жил на частной квартире. На консула Петрова можно было сердиться за что угодно, но одно надо признать: человек он был корректный. Как только до его сведения дошло, что в числе беженцев имеется бывший русский офицер, потерявший руку в Порт-Артуре, он сейчас же послал к нему передать привет и сообщить, что причитавшуюся Трумпельдору пенсию тот может получать ежемесячно в здешнем консульстве. Трумпельдор поэтому ни в чем не нуждался и еще другим помогал.

Я слышал о нем, конечно, еще в России. Хотя следовало бы ожидать, что каждому читателю известна его биография, все-таки, пожалуй, разумнее будет напомнить ее главные черты.

Родился он на Кавказе, в 1880 году. Отец его был военный фельдшер, еще из николаевских солдат. «Ося» не видал гетто ни в отцовском доме, ни, конечно, в окружавшей его детство кавказской обстановке.

В университет он не попал из-за процентной нормы, а потому сдал экзамен на звание зубного врача. Тут подошла русско-японская война, и Трумпельдор очутился в Порт-Артуре. Во время знаменитой осады он был ранен и потерял левую руку выше локтя, но, выйдя из госпиталя, снова добился отправки на передовые позиции. У него было четыре Георгия.

После плена и заключения мира он попал в Петербург, получил недостижимый в то время для еврея чин прапорщика запаса и был принят на юридический факультет. По окончании университета уехал в Палестину и стал простым рабочим где-то в Галилее. Работал с одной рукой прекрасно. Пришла война, и его выселили.

Сослуживец и друг его, покойный Д. Белоцерковский, рассказал мне такой случай из того времени, когда у Трумпельдора еще были обе руки: он уже был «отделенным» (выше этого чина, даже до младшего унтера, нельзя было тогда еврею дослужиться), и взвод его засел в окопах на сопке перед крепостью. Японцы круто наступали; почти все соседние сопки уже были очищены, во взводе Трумпельдора все старшие чины перебиты — кроме прапорщика запаса, который уже давно ушел по начальству за приказом что делать и не вернулся. Солдаты начали ворчать, стали ползти к выходу из траншеи. Трумпельдор стал у выхода с винтовкой и объявил: «Кто тронется с места — застрелю». Так и остались они в окопе, пока не опустела и последняя из соседних русских сопки. Тогда он солдат послал в крепость, но сам остался и полез на разведку: осмотрел профиль той местности и пришел к убеждению, что японцев еще можно прогнать. В это время увидел он на равнине, в стороне от огня, офицера в капитанских погонах морского дивизиона, с подзорной трубкой в руках. Трумпельдор спустился к нему и объяснил: если вызвать свежую роту и поставить ее там, то можно еще отобрать позицию назад.

— Верно, — сказал капитан. — Сбегай, голубчик, вон за тот бугор — там засела моя команда; скажи старшему офицеру, чтобы шли сюда.

Трумпельдор добежал до пригорка, на который сыпались японские снаряды, вскарабкался на вершину — и увидел, что морская команда, не выдержав огня, «отступила»: «только пятки мелькали» — он вернулся к капитану и доложил. Тот глубоко огорчился: сорвал фуражку, ударил себя кулаком по седой голове и застонал:

— Осрамили! Удрали — как жиды!

Трумпельдор подтвердил мне потом этот анекдот, очень весело улыбаясь.

Я застал его дома. Вид у него был северянина, можно было принять и за шотландца или шведа. Рост выше среднего, тонкий; жесткие русые волосы коротко подстрижены, выбрит чисто, губы бледные, со спокойной улыбкой. По-русски говорил он хорошо, хотя в Палестине научился немного «петь». Еврейский язык у него капал медленно, был небогат словами, но точен; на идише он говорил ужасно. Он был хорошо образован, большой начетчик в русской литературе — читал даже вещи, которых никто не читал, Потембю и т. п. — и помнил каждую прочитанную строчку. По сей день не знаю, был ли он из тех, кого у нас в еврейском быту титулуют «умными». Скорее нет. У нас в это понятие входят всякие пряные приправы — подозрительность, скептицизм, хитроумие, умение перекрутить простую вещь навыворот, углубиться до левого уха правой рукой позади затылка. Всего этого я в Трумпельдоре не нашел. Зато был у него ясный и прямой рассудок; был мягкий и тихий юмор, помогавший ему тотчас отличать важную вещь от пустяка. Но и о важных вещах он умел говорить просто — без той ходульности, которая иногда чувствуется в его письмах. Говорил он трезво, спокойно, без сантиментов и пафоса и без крепких слов. В последнем отношении даже русская казарма не повлияла. От него я ни разу не слышал бранного слова, кроме разве одного: «шельма этакий». По-еврейски любимое выражение его было «эн давар» — ничего, не беда, сойдет. Рассказывают, что с этим словом на губах он и умер, пятью годами позже.

С одной рукой своей он управлялся лучше, чем большинство из нас с двумя. Без помощи мылся, брился, одевался; резал свой хлеб и чистил сапоги; в Палестине, потом

в Галлиполи с одной рукой правил конем и стрелял из ружья. В его комнате был совершенно девичий порядок, платье было вычищено; все его обхождение было спокойно и учтиво; и он издавна был вегетарианец, социалист и ненавистник войны — только не из тех миролюбивцев, которые прячут руки в карман и ждут, чтобы другие за них воевали.

В тот день нам долго разговаривать не пришлось: с ним вообще не приходилось долго разговаривать. Не принадлежа к цеху «умников», он именно поэтому умел сразу понять дело до конца и через четверть часа ответить да или нет. Тут он ответил: да.

* * *

Вечером мы — комитет попечения о беженцах — собрались на квартире у М. А. Марголиса; кроме хозяина, были тут иерусалимский врач д-р Вайц, В. Л. Глускин, Г. Н. Городецкий, американский турист Г. Каплан, З. Д. Левонтин, Трумпельдор, агроном Я. Г. Этингер и я. Перечисляю имена так тщательно потому, что, высказавшись то совещание против нашего плана, не о чем, вероятно, было бы теперь писать эту книгу. Но оно высказалось за: пятеро против двух, один воздержался. Протокол с датой 17-го Адара 5675 года хранится у В. Л. Глускина в Тель-Авиве.

* * *

Через неделю мы созвали беженскую молодежь на собрание в барак «Мафруза». Пришло около двухсот человек. За президентским столом сидел раввин Делла Пергола и другие члены беженского комитета, в том числе седой В. Л. Глускин.

Мы представили собранию отчет о положении. Требования консула Петрова англичане, конечно, не выполняют, но и вечно оставаться в бараках на чужом иждивении тоже не годится. С другой стороны, рано или поздно британская армия двинется из Египта на Палестину. Из Яффы ежедневно приходят новые грустные вести: турки запретили еврейские вывески на улицах, выслали доктора Руппина, представителя сионистской организации, несмотря на то, что он немец; арестовали руководящих деятелей еврейского населения и заявляют, что после войны уж и совсем никакой еврейской иммиграции не допустят. И так?..

Документ, который мы в ту весеннюю ночь подписали в этом голом и темном сарае «Мафруза», хранится теперь у В. Л. Глускина и будет некогда передан в национальную библиотеку нашу в Иерусалиме. Это — кусок бумаги обычного ученического формата; на нем резолюция о том, что учреждается еврейский полк, который предложит англичанам свои услуги для операций в Палестине, и около ста подписей. Первым подписался В. Л. Глускин.

— Я стар, — сказал он, вырывая у меня перо, — в солдаты не гожусь, но ответственность за это решение беру на себя.

На следующее утро, приехав в Габбари, я застал посреди двора целый парад. Три группы молодых людей обучались маршировать; инструктора были из их же среды, из бывших русских солдат. В углу девочки вышивали знамя; особый комитет из гимназистов уже шумел на весь лагерь, обсуждая, как перевести какой-то военный термин на язык Библии. Потом приехал Трумпельдор, все три взвода выстроились в колонну и прошли мимо него — или по крайней мере хотели пройти — церемониальным маршем.

Он сочувственно улыбался.

Я сказал ему потихоньку:

— Маршируют они ужасно. Как овцы.

Он ответил:

— Эйн давар.

Через несколько дней мы отправили новую делегацию — в Каир. Прежде всего делегация пошла к министру внутренних дел (официальный чин: «советник при...»). Назывался он тогда мистер Рональд Грэхем; теперь он сэр Рональд и состоит британским послом в Риме. Он оказался точно такой, каким и в книгах изображают шотландцев; сдержанный, неразговорчивый, хорошо прислушивается, но и вопросы задает скупно. Зато вскоре выяснилось, что дело он делает быстро и точно.

Он спросил: «На сколько рекрутов вы рассчитываете?», отметил что-то в записной книжке и сказал коротко: «От меня это не зависит, но постараюсь».

После этого делегация поехала к генералу Максвеллу, который тогда командовал британскими войсками в Египте. Представил нас ему Каттауи-паша, милый старенький сефард, один из виднейших нотаблей всего Египта. В делегации

были Трумпельдор, З.Д. Левонтин, В. А. Глушкин, М.А.Марголис и я. Бедного Трумпельдора мы заставили нацепить все четыре Георгия: два медных и два золотых. Генерал пристально посмотрел на него и коротко спросил:

— Порт-Артур?

Но ответ его на наше предложение разочаровал нас глубоко:

— О наступлении на Палестину я ничего не слышал и сомневаюсь, быть ли вообще такому наступлению. Кроме того, по закону, я не имею права принимать в британскую армию иностранцев. Могу предложить вам только одно: составить из ваших молодых людей отряд для транспорта на мулах и послать его на какой-нибудь другой турецкий фронт. Больше ничего не могу сделать.

В ту ночь, в номере у Глушкина, мы все просидели до утра, обсуждая, что делать.

Нам, штатским, казалось, что предложение генерала Максвелла надо вежливо отклонить. Французское слово «Corps de muletiers», которое он употребил, прозвучало в наших ушах очень уж нелестно, почти презрительно: пристойная ли это комбинация — первый еврейский отряд за всю историю диаспоры, возрождение, Сион... и погонщики мулов? Во-вторых, «другой турецкий фронт». Что нам за дело до «других» фронтов? Неясно было даже, о каком именно фронте он говорил: первое морское покушение на Галлиполи тогда уже кончилось провалом, а о том, что подготавливается второе наступление, на этот раз уже с высадкой солдат на самом полуострове, — об этом еще только шептались. Но одно было ясно: в Палестину их не поведут. Значит, надо отказаться.

Другого мнения был Трумпельдор.

— Рассуждая по-солдатски, — сказал он, — я думаю, что вы преувеличиваете разницу. Окопы или транспорт — большого различия тут нет. И те, и те — солдаты, и без тех, и без других нельзя обойтись; да и опасность часто одна и та же. А я думаю, что вы просто стыдитесь слова «мул». Это уже совсем по-ребячески.

— «Мул», — отозвался кто-то из нас, — ведь это почти осел. Звучит как ругательство, особенно по-еврейски.

— Позвольте, — ответил Трумпельдор, — по еврейски ведь и «лошадь» тоже ругательство — bist a ferd! — но службу в коннице вы бы считали для них честью. По-французски chateau — самое обидное слово; однако, есть и у французов, и у англичан верблюжьих корпуса, и служить в них считается шиком. Все это пустяки.

— Но ведь это и не палестинский фронт?

— И это не так существенно, рассуждая по-солдатски. Чтобы освободить Палестину, надо разбить турок. А где их бить, с юга или с севера, это уж технический вопрос. Каждый фронт ведет к Сиону.

Так мы ничего и не решили. Идя домой с Трумпельдором, я ему сказал:

— Может быть, вы и правы, но я в такой отряд не пойду.

— А я, пожалуй, пойду, — ответил он.

Утром, вернувшись в Александрию, я застал телеграмму из Гenuи. Подпись была: «Рутенберг». Он спрашивал, могу ли я с ним повидаться и где. Его имя и биографию я, конечно, знал; ни разу с ним еще не виделся, но в Риме, еще до моего отъезда в Египет, мне сказал однажды А.В.Амфитеатров:

— Угадайте, кто теперь сильно заинтересовался сионизмом? Петр Моисеевич Рутенберг. Он говорит, что вмешательство Турции в войну открывает перед евреями блестящие возможности, и, по-моему, он теперь носит с важными планами. У него тут, кстати, большие связи в правительственных кругах, и во Франции тоже.

Прочитав телеграмму, я сейчас же разыскал Трумпельдора и заявил ему:

— Иосиф Владимирович, я уезжаю. Если генерал Максвелл переменит свое решение и согласится учредить настоящий боевой полк, я приеду; если нет, поищу других генералов.

* * *

В средних числах апреля, в Бриндизи, я встретился с Рутенбергом — и там же застал телеграмму от Трумпельдора: «Предложение Максвелла принято».

Я пишу не историю, а личные воспоминания. Сам я в Галлиполи не был, и потому не могу ничего рассказать об отряде Трумпельдора. Но одно должен признать: прав был

Трумпельдор, а не я. Эти шестьсот «muletiers» потихоньку открыли новую эру в развитии сионистских возможностей. До тех пор трудно было говорить о сионизме даже с дружелюбно настроенными политическими деятелями: в то жестокое время кому из них было до сельскохозяйственной колонизации или до возрождения еврейской культуры? Все это лежало вне поля зрения. Маленькому отряду в Галлиполи удалось пробить в этой стене первую щель, проникнуть хоть одним пальцем в это заколдованное поле зрения воюющего мира. О еврейском отряде упомянули все европейские газеты; почти все военные корреспонденты, писавшие о Галлиполи, посвятили ему страницу или главу в своих письмах, потом и в книгах. Вообще, в течение всей первой половины военного времени отряд этот оказался единственной манифестацией, напомнившей миру, в особенности английскому военному миру, что сионизм «актуален», что из него еще можно сделать фактор, способный сыграть свою роль даже в грохоте пушек. Для меня же лично, для моей дальнейшей работы по осуществлению замысла о легионе «Zion Mule Corps» сыграл роль ключа, открыл мне двери английского военного министерства, дверь кабинета Делькассэ в Париже, двери министерства иностранных дел в Петербурге.

Но и чисто военная история Галлиполийского отряда тоже представляет собой красивую страницу в нашей книге военной летописи. Очень жалею, что палестинские друзья Трумпельдора чересчур поторопились с выпуском его писем из Галлиполи. В них Трумпельдор обращался к близкому человеку и интимно рассказывал о печалях и заботах лагерной обыденщины, рассказывал с обычной своей любовью к деталям. Лагерная обыденщина всегда полна мелких дрызг. Возьмите любую из романтических кампаний самого Гарибальди: внутренняя жизнь лагеря и там состояла наполовину из кухонной неурядицы, из ссор между поручиком А. и поручиком Б., из мириада мелких разочарований. Не в этом смысл коллективного действия. Смысл и ценность его в том, что с первого и до последнего дня злополучной черчиллевской авантюры эта группа беженской молодежи несла на себе тяжелую и опасную службу под турецким огнем. Трумпельдор и в этом был прав: для транспорта и для траншей — опасность

оказалась одна и та же. Вся занятая англичанами площадь равнялась всего нескольким квадратным верстам; с вершины Ачи-Баба турецкие пушки засыпали картечью все это пространство, от передних окопов до лагеря еврейского транспорта. Под этим огнем им приходилось каждую ночь вести своих мулов, нагруженных амуницией, хлебом и консервами, к передовым траншеям и обратно. Они потеряли убитыми и ранеными пропорционально не меньше, чем остальные полки Галлиполийского корпуса, получили несколько медалей, отслужили свою службу смело, с пользой и честью. Особенно о смелости их писал мне генерал сэра Иан Гамильтон, главнокомандующий галлиполийской экспедицией: «...они работали со своими мулами спокойно под сильным огнем, проявляя при этом еще высшую форму храбрости, чем та, которая нужна солдатам в передовых окопах — потому что тем ведь помогает возбуждение боевой обстановки...»

Командовал ими подполковник Джон Генри Патерсон, одна из замечательных христианских фигур, какие когда-либо попадались на пути нашем за все столетия рассеяния. Я познакомился с ним много позже и буду еще говорить о нем в дальнейших главах. Трумпельдор, за которым англичане признали чин капитана, был сначала вторым по команде, но к концу кампании Патерсон заболел, или был ранен — не помню — и был отослан на излечение в Англию, и тогда командование перешло к Трумпельдору. После ухода англичан из Галлиполи он еще несколько месяцев продержался во главе своего отряда в Александрии: там они бомбардировали начальство петициями, чтобы их не демобилизовали, чтобы дали им возможность остаться вместе и подготовиться к моменту начала операций на палестинском фронте; но петиции не помогли. Zion Mule Corps был учрежден в апреле 1915 года, а 26-го мая 1916 его распустили. Лишь около 120 из его участников снова попали в солдаты, добрались до Лондона — и из этой группы и вокруг нее там возник тот еврейский легион, который впоследствии, со штыками и пулеметами, принял участие в завоевании Палестины и которому принадлежит ряд могил под знаком щита Давидова на горе Елеонской. Прав был Трумпельдор: хоть победили мы в Иорданской долине, но путь через Галлиполи был правильный путь.

ГЛАВА III

ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ

Историю летних месяцев 1915 года хочется рассказать как можно короче: это невеселая повесть о разочарованиях и провалах. Я не очень люблю вспоминать об этом периоде, хотя, с другой стороны, и он меня многому хорошему научил. Прежде всего научил он меня той важной истине, что в общественной жизни, особенно в борьбе за идею, начатое дело часто растет именно провалами. Как-то так выходит, что каждое поражение потом оказывается шагом к победе. Каждое поражение приносит новый десяток сторонников, иногда именно из круга вчерашних врагов. Как-то внезапно врагов этих осеняет откровение, что хоть они боролись против тебя, но в душе надеялись, что ты победишь, — и твое поражение оставляет в их сердце пустоту, с искоркой сожаления...

Эти месяцы были для меня школой терпения: теперь бы я мог написать целую теорию терпения в нескольких томах. Суть ее была бы в том, что после каждого провала надо себя проэкзаменовать и спросить: а ты, может быть, неправ? Если неправ, сходи с трибуны и замолчи. Если же прав, то не верь глазам: провал не провал; «нет» не ответ, пережди час и начинай сначала.

Что я был прав — это мне те месяцы тоже показали наглядно. И на каждом своем шагу, и даже на всем, что пытались делать мои сионистские противники, я видел новые доказательства той истины, что вне мысли о легионе нет никакой возможности втиснуть сионизм в ряд тех проблем, какими способен мир интересоваться в такое исключительное время.

Часто мне тогда вспоминался анекдот, который я слышал от Н.О. Соколова еще задолго до войны. В 1901 году, после Лондонского (IV) конгресса, он поселился на отдых в швейцарском курорте. Там познакомился он с каким-то шотландским лордом и, между прочим, рассказал ему, что был на сионистском конгрессе.

— Oh, yes, — сказал лорд, — сионизм, очень интересно. Если не ошибаюсь, младший брат мой тоже принадлежит к этому движению, или, во всяком случае, к чему-то очень близкому...

Соколов изумился: лорд был завзятый католик, брат его, очевидно, тоже. В чем дело? Он стал расспрашивать и выяснил, что брат лорда — вегетарианец. Для посторонних, в 1901 году, это было «то же самое» движение, или «нечто весьма близкое».

Так оно осталось, для большинства государственных людей Европы, и в 1914—1915 году. В Италии, во Франции, часто в самой Англии повторялось то же впечатление: сионизм сам по себе для них в данный момент не существует; чтобы они его увидели сквозь свои военные очки, надо придать ему «актуальное» острие, иными словами — штык.

* * *

Рутенберга я застал в Бриндизи в маленьком отеле недалеко от гавани. Виделись мы в первый раз. Высокий, широкоплечий, плотно скроенный человек. В каждом движении и в каждом слове — отпечаток большой и угрюмой воли; я подозреваю, что он это знает и не любит забывать, и тщательно следит, чтобы и другие об этом ни на минуту не забыли. Кто знает — может быть, так и надо. В сущности, общественный деятель всегда находится на сцене, и вряд ли ему полагается выступать без грима; я говорю, конечно, не о ложном гриме, а о том, какой действительно соответствует подлинной природе данного работника политической сцены. Но никакой грим не может скрыть того факта, что у человека добродушные глаза и совсем детская улыбка. Я понимаю, почему его служащие и рабочие в Палестине повинуются Рутенбергу, как самодержцу, и любят его как родного.

Десятиминутной беседы оказалось достаточно, чтобы сговориться о главном. Хоть мы и никогда не переписывались, тут обнаружилось, что думали мы одну и ту же думу. И больше того: хотя в печати тогда еще не было ни одного слова ни о легионе вообще, ни об александрийских добровольцах, он почему-то знал наверное, что я работаю для этой цели; и я, хоть А. В. Амфитеатров в Риме не умел мне объяснить, в чем заключались планы Рутенберга, тоже сразу понял из его короткой телеграммы, зачем ему нужно свидание со мною. Странно, откуда берется этот беспроволочный телеграф между людьми, которые, встретясь на улице, не узнали бы друг друга...

В Бриндизи мы с П. М. Рутенбергом пришли к трем выводам:

Первый вывод: создать контингент — дело вполне возможное; человеческий материал найдется — в Англии, во Франции, в нейтральных странах околачиваются сотни и тысячи еврейской молодежи, по большей части российского происхождения, в штатском платье; и хоть Америка далеко, а все-таки есть и Америка.

Второй вывод: лучший партнер для нас, конечно, Англия, в этом отношении александрийские волонтеры наши поступили правильно; но «лучший» не значит «единственный». Италия вся ходуном ходит, порываясь воевать, и скоро сорвется; а Италия и тогда, в то время, когда о Муссолини еще никто не думал, уже успела развить в себе здоровый и широкий аппетит ко всем побережьям Средиземного моря. Еще важнее Франция: для нее Палестина и Сирия — мечта пяти столетий, если не больше. Поэтому надо пробовать всюду: в Лондоне, в Париже, в Риме.

Третий вывод: в Риме будем работать вдвоем; потом мне ехать в Париж и в Лондон, а Рутенбергу — в Америку.

* * *

Попытка наша в Италии кончилась провалом. Несмотря на все народное возбуждение, в конце концов, ни министры, ни депутаты, с которыми познакомил меня Рутенберг или которых я сам частью разыскал по старой дружбе римского моего студенчества, — сами еще не знали, будет ли Италия воевать. И синьор Моска, товарищ министра колоний, и покойный Л. Биссолати, лидер социалистов, но большой сторонник войны, ответили нам одно и то же.

— Если Италия вмешается, тогда ваша мысль — отличная мысль; тогда приезжайте опять, мы обсудим это дело практически. Но теперь...

Париж: снова провал.

Там я нашел горячего друга сионистского дела в лице Гюстава Эрвэ. Старшее поколение читателей еще помнит его биографию. До войны это был заклятый пацифист, много в жизни пострадавший за антипатриотическое свое поведение, и газета его в Париже, на страх буржуям, называлась «La Guerre Sociale». Но с момента, как немцы переступили через

бельгийскую границу, он переименовал свою газету в «Victoire» и стал одним из столпов воюющего отечества. Лично я его считаю, пожалуй, самым даровитым из публицистов радикальной Франции. Правительство, понятно, ухаживало за ним с особой предупредительностью, согласно древней мудрости, выраженной еще в притче о блудном сыне. Он был один из тех немногих, которые сразу поняли ценность сионизма, и самого по себе, и, в частности, для державы, у которой есть притязания на Палестину.

Эрвэ представил меня министру иностранных дел; в то время это был Делькассэ. Делькассэ уже умер, и ничего непочтительного я сказать о нем не хочу, но впечатление свое все-таки передам откровенно. Беседа наша в первый раз открыла мне секрет, который позднейшие наблюдения подтвердили: у счастливых народов с готовыми государствами совсем не нужно быть гением, чтобы оказаться в первом ряду больших политиков. У нас в сионизме это гораздо труднее...

Покойный Делькассэ, кроме того, принадлежал к старой, «классической» школе дипломатии, к той плеяде тайноведов, государственная мудрость которых выразилась некогда в знаменитом слове Талейрана: «Язык есть лучшее средство для сокрытия мысли». Возможно, что это и было очень мудро сто лет тому назад: в наше время это — хитрости весьма младенческое, уже прочно, если не ошибаюсь, вышедшее из моды в серьезном дипломатическом обиходе. Но милая Франция все еще ходит в театр на Расина и верит в классицизм.

Не имею ни малейшего намерения переоценивать свою чрезвычайно скромную роль: но говорю с полным убеждением, что в то утро Делькассэ много проиграл за счет Франции. Не еврейский легион, а гораздо больше. Я пошел к нему не только по собственной инициативе: мой визит был отчасти результатом совещаний с Х. Е. Вейцманом. За несколько дней до того он был в Париже. Тогда он уже начал свои переговоры с государственными деятелями Англии; был уже уверен в их сочувствии — хотя жаловался, что они все еще пока не считают Палестину «актуальной». Но главным препятствием на пути его было то, что англичане опасались задеть или шокировать Францию какими-либо самостоятельными шагами касательно будущности Святой

Земли. В то время еще жива была старинная международная традиция, по которой за Францией признавалось некоторое туманное притязание на Сирию и Палестину. Для сионистской дипломатии важно было знать, есть ли у французского правительства какое-нибудь определенное отношение к нашим требованиям, и особенно — есть ли надежда на сочувственное отношение. Если да — тогда надо будет вести работу на два фронта; если нет — можно будет сосредоточить все усилия в Англии: создать благоприятное отношение к сионизму, а может быть — что еще важнее — попытаться разбудить в Англии аппетит, активный интерес к лозунгу «British Palestine» и, следовательно, к операциям на палестинском фронте.

Вейцману, по многим причинам, неудобно было самому поставить этот вопрос перед французскими властями. Он вернулся в Лондон и там ждал результатов моего свидания с Делькассэ.

Свой вопрос министру я формулировал так:

— Если бы по окончании войны Палестина попала в сферу французского влияния, — можем ли мы, сионисты, надеяться, что французское правительство примет во внимание наши национальные стремления?

Он сразу ответил, даже с некоторым раздражением, как отвечают на вопрос, который вам доставил уже много неприятностей:

— Я не верю в то, чтобы Палестина могла достаться какой-либо одной из великих держав: на это не согласятся другие.

— Понимаю, — ответил я. — Но в таком случае предвидится некая форма совместного управления. Тогда Франция будет, во всяком случае, одним из влиятельных участников такого «кондоминиума». Поэтому позвольте снова поставить вопрос: будет ли тогда французское влияние — влиянием благоприятным для сионизма?

Тут и выступил наружу «классический» дипломат, в словаре которого термины «да» и «нет» вычеркнуты. Совсем как тот анекдотический еврей, он ответил на вопрос вопросом:

— Разве Франция недостаточно доказала свое сочувствие израэлитам? Наша великая революция первая провозгласила равноправие...

— За это, г. министр, мы благодарны искренно, присно и во веки веков, — сказал я, — но я приехал из России и Украины, где шесть миллионов евреев поглощены теперь одной мыслью: что будет с Палестиной?

(Надеюсь, небо мне простит эти шесть миллионов, поглощенные одной мыслью...)

Он с минуту помолчал, а потом спросил, меня тему по той же «классической» прописи:

— Каково теперь положение евреев в России?

— Хуже чем когда-либо, — ответил я коротко и точно, ибо сам к классической школе не принадлежу; а главное — ответ на то, что меня интересовало, я уже получил.

Гюстав Эрвэ, добрая душа, все-таки еще попытался помочь. Он рассказал министру, что в Египте образовался еврейский отряд...

— Слышал, — прервал Делькассэ, — но для Галлиполи.

— Да, но они теперь хотят образовать новый корпус, для Палестины, и они были бы счастливы, если бы этот корпус мог быть включен в состав французской армии...

— То есть, — вставил я, — при условии, если французское правительство сочувствует сионизму.

Делькассэ поднялся, заканчивая беседу скептической нотой:

— Вообще неизвестно, будет ли кампания в Палестине, и когда, и кто ее поведет...

В тот же день я послал в Лондон ответ со следующими двумя выводами: а) Франция уже знает, что аннексировать Палестину ей не дадут; б) правительство сионизмом не интересуется.

В 1925 году, ровно через десять лет после этой беседы, я рассказал о ней французскому сенатору, большому другу сионизма и одному из тех (очень там многочисленных) политических деятелей, которые по сей день горько сожалеют о том, что Палестина досталась не Франции. Он досадливо покачал головой:

— Худшая беда для политика, это — не иметь воображения. Дипломат времен короля Пипина Короткого! Не понять, что и мечта, раз ее мечтают миллионы, уже сама по себе есть великая держава, ничуть не слабее Франции, и Англии, и Германии...

Тем не менее из Парижа я вывез и несколько более от-
радных впечатлений. Там, в беседе с глазу на глаз, чуть ли
не перед зарею, Х.Е. Вейцман формально обещал мне свое
содействие; и наступило время, когда он свое слово честно
сдержал. Также и старый барон Эдмонд Ротшильд, отец
палестинской колонизации, пришел в большое воодушевле-
ние, услышав о создании отряда в Александрии. Он сказал
мне: «Обязательно постарайтесь расширить это начинание;
сделайте из него крупную силу, а тем временем очередь
дойдет и до Палестины». И хоть у меня в мозгу зашевелил-
ся при этом безмолвный вопрос: «Почему я? Почему не
ты? Тебе ведь легче!» — все же я был ему благодарен за
слово ободрения. Сын его Джеймс, тогда еще сержант фран-
цузской армии, лечившийся от раны тут же в отцовском го-
спитале, подробно расспросил меня о плане легиона, напо-
ловину сочувственно, наполовину насмешливо — это в его
натуре; я отвечал ему аккуратно и добросовестно, упорно
не замечая иронии, ибо не столько интересуюсь натурой сво-
их ближних, чтобы реагировать на их психологию, когда
нужна мне отнюдь не их психология, а их деловая помощь.
И позже, в Англии, он действительно часто помогал мне сво-
ими колоссальными связями; а потом и сам вступил в один
из еврейских батальонов и даже руководил набором на-
ших добровольцев в Палестине.

Но самое ценное, что я увез из Парижа, был малый
квадратик твердой бумаги. Шарль Сеньбос, известный ис-
торик, на книгах которого воспиталось наше поколение
в России, редактировал тогда, вместе с П. Пенлевэ, журнал
«*Annales des Nationalites*», в котором отстаивались интере-
сы разных угнетенных народностей. Я пошел к Сеньбосу
спросить, не согласится ли он издать выпуск, целиком посвя-
щенный сионизму. Он согласился — только потом, заня-
тый другими делами, я так и не собрался составить эту кни-
гу. Но Сеньбос дал мне свою визитную карточку и написал
на ней коротенькое письмо к лондонскому приятелю; это
был редактор иностранного отдела «Таймса» по имени Ге-
нри Уикхэм Сид. Много нашел я потом людей, которые по-
мogli мне в моей работе, но из всех талисманов эта запис-
ка оказалась сильнейшим — вероятно потому, что открыла
мне доступ не просто к влиятельному человеку, а к журна-

листу. Я писал уже о том, что держусь очень высокого мнения о своем ремесле и о значении людей, принадлежащих к этому цеху. Может быть, и стыдно признаться, но я всегда считал, что журналисты есть, будут и должны быть правящей кастой всего мира... Но еще много прошло времени, прежде чем удалось мне использовать ту карточку; а пока — Париж был провалом.

* * *

Лондон: опять провал. В военном министерстве мне сказали, что лорд Китченер — тогда не только военный министр, но и военный кумир всей Англии — настроен резко против «экзотических полков» («fancy regiments»), а также против операций на экзотических фронтах. Попытался было я найти доступ к Герберту Сэмюэлу, который был тогда министром почты в кабинете Асквита и с которым сионистские деятели уже вели переговоры. Х. Е. Вейцман хотел даже нас свести, но ему это запретили Н.О. Соколов и покойный Е. В. Членов — а они, оба члены Малого АС сионистской организации, были, так сказать, его начальством. Но Сэмюэл сам прочел в «Jewish Chronicle» подробное письмо из Египта об устройстве там еврейского отряда и при встрече спросил у сионистских лидеров, кто я такой. Д-р Гастер, главный раввин испанско-португальской общины в Лондоне, родственник Сэмюэла и человек пламенного темперамента, ответил: «Просто болтун», а Соколов и Членов промолчали.

Несколько встреч у меня было с младшим англазированным поколением тамошнего сионизма: это были Норман Бентвич, Гарри Сакер, Леон Саймон и разные другие. Их идолом был Ахад га-Ам. К моему плану они отнеслись отрицательно, причем некоторые выразили это вежливо.

* * *

Копенгаген: не только провал, но еще и разрыв — с сионистской организацией.

Летом 1915 г. состоялось там заседание Большого АС. Съехались, несмотря на строгости военного времени, делегаты из Германии, России, Англии, Голландии. Я был тогда в Стокгольме; не состоя членом АС, я не имел права участвовать в съезде. Но Е. В. Членов вызвал меня настойчивой телеграммой;

и в частном заседании, где-то в гостинице, он, вызвав на помощь braveго д-ра Гантке, три часа подряд доказывал мне, что уже одно образование транспортного отряда в Александрии было великим прегрешением, а дальше продолжать легионистскую агитацию — значит убить сионистское дело.

В записной книжке у меня отмечено несколько любопытных штрихов той беседы. Некоторые из них звучат теперь совсем трогательно. Д-р Гантке доказал мне, как дважды два четыре, что победа Германии на всех фронтах обеспечена математически и абсолютно. Он же разъяснил, при помощи наук исторических, статистических и экономических, что Турция никогда не откажется от Палестины: напротив, в ближайшем будущем следует ожидать восстаний в Египте, Алжире и Марокко.

«Господа, — ответил я, — спор наш бесполезен. Вы прибыли из Германии и из больной России, а я видел Англию, французский фронт, Египет, Алжир и Марокко. Все ваши рассуждения — самообман, с первого слова до последнего. Германия не победит, а Турция будет разбита вдребезги. Но к чему спорить? Я вам предлагаю сделку. Объявите, что сионистская организация соблюдает строгий нейтралитет и ничего общего не имеет ни с какими легионистскими планами; а я официально выступаю из сионистской организации и буду вести свою работу в качестве частного лица; вам не буду мешать, и вы мне не мешайте.»

Но они постановили — мешать. Съезд АС в Копенгагене вынес резолюцию, предлагавшую сионистам всех стран активно бороться против пропаганды легионизма. Я внезапно оказался на военном положении, почти один против всей сионистской организации.

Почти, но не совсем один. Никогда не забуду, что в том же Копенгагене, в эти самые дни моего разрыва с партией, я нашел того союзника, чья помощь (и были моменты, когда помощь эта носила характер самопожертвования) одна дала мне возможность выдержать ад последовавших лет: М. И. Гроссман, впоследствии директор Еврейского Телеграфного Агентства в Лондоне и коллега мой по президиуму союза ревизионистов, жил тогда в Копенгагене в качестве корреспондента одной из петербургских газет. Мне еще много придется рассказывать о нашей совместной борьбе.

В заключение — совсем печальная глава: Россия летом 1915 г.

Это было последнее мое свидание со страной, где я родился и вырос. Я провел там три месяца, был в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе. Уже всюду пахло концом. Армия была вытеснена из Галиции; немцы заняли Варшаву, несколько позже — Ригу. Но не в этом сказывался «конец», а в том безучастии, с которым все это принималось. Люди ресторанного образа жизни рассказывали: утром читаешь: «пал Белосток», — а вечером видишь очень веселых офицеров с очень мило одетыми барышнями в «Медведе», «Вилле Родэ», в «Аквариуме», притом всюду сквозь густой палисад запыленных бутылок. Роскошь сверкала такая, какой мы в России до тех пор не видели; и потоком лилась беззаботная, жизнерадостная болтовня Бог знает о чем — главным образом об удачах высокопоставленных каких-то селадонов у дам (и мужчин) великосветского круга; вообще сплошная грязевая ванна из больших имен придворной, денежной, писательской знати. Во дворце распоряжался Распутин, назначая, кому быть губернатором в Томске, кому командовать Южной армией, кому лечить царицу. Во внутренних покоях дворца пряталась от людей одинокая, уже и в то время трагическая семья, о странно мещанском быте и духе которой, вслух и без стеснения, судачила праздная публика рестораций. Из этих пересудов у слушателя получалась тяжелая картина. Маленький, задумчивый, симпатичный и глубоко недобрый эпигон десяти разноплеменных, но в равной степени выродившихся домов; немка-жена с душою, сотканной из прусского чванства и русской, Бог весть откуда взявшейся хлыстовщины; четыре бесцветные дочери, из которых, говорят, могли бы выйти хорошие девушки, если бы не та атмосфера некультурного медвежьего угла, в какой их держали; и хилый мальчик, у которого от малейшего укола уже не створаживалась водянистая кровь. Одинокая семья, от которой давно отвернулась великокняжеская родня ее, но внутри связанная слепой влюбленностью друг в друга и слепая ко всему внешнему миру, глухая перед грохотом надвигавшегося распада, при том еще гордая и довольная своей слепотой и глухотой. В Государственной Думе — с одной стороны, черная сотня всех оттенков, которая

после каждого нового удара на фронте выпячивала грудь и бодро поражала бусурман на карте указательным перстом; с другой, — левые всех сортов, может быть, единственные в Петербурге, у кого действительно сердце болело в те дни, но и они утешали себя жалким утешением слабых, ежедневно повторяя: «Ведь мы вам это предсказывали».

А у евреев, как всегда в такое время, — мешанина из горя и надежды и истерической суетливости. На фронте бушевал ядовитый палач и наушник, русский патриот из поляков Янушкевич, вешая чуть не десятками еврейских «шпионов», выгоняя целые общины из городов и местечек; на каждой станции толпились голодные, ободранные, босоногие беженцы; мелькали образцы прекрасной солидарности: старики раввины, что отказались сесть в повозку и тащились пешком за сотни верст с толпою выселенцев; девушки, ждавшие ночи напролет на вокзале с тюками пищи и одежды, потому что кто-то где-то сказал, будто должен прийти поезд с беженцами, неизвестно откуда, неведомо когда; миллионы крепких старых русских рублей на дело помощи, отданных с тем размахом широкой руки, которым гордилось когда-то русское еврейство. И рядом — миллионные доходы от военного барышничества, миллионное мотовство на жен своих и чужих; и поденное ожидание чего-то, что должно вот-вот произойти — не то землетрясение, не то светопреставление, только очень хорошее; и беспримерно яркая вспышка сионистских, почти мессианских мечтаний; и выкресты, и смешанные браки, и древнееврейская речь в каждом вагоне железной дороги, и повсюду нерешительный шепот, что пора бы взяться за подготовку самообороны...

Я все это видел со стороны. Русские коллеги в редакции московской газеты приняли меня как своего; но в сионистском Петербурге я наткнулся большей частью на замкнутые лица, а с главными вожаками и вообще не встретился. Я был отлучен, после двенадцати лет национальной работы вдруг оказался анафемой и отверженцем. В Одессе, родном моем городе, где еще недавно меня (право, не по заслугам) добрые люди на руках носили, теперь меня по субботам и главным праздникам обзывали предателем и погубителем в проповедях с амвона сионистской синагоги Явне. Кажется, один

только смелый человек нашелся во всем взрослом поколении сионистов: И. А. Тривусь, с которым мы еще в 1903 году вместе организовали одесскую самооборону, первую в России, не побоялся и так-таки средь бела дня пришел повидаться. Он покачал головою и сказал мне:

— Никогда не следует спасать отечество без приглашения.

Не в обиду будь сказано, этот бойкот меня мало трогал; задело меня только одно обстоятельство, совсем уже непристойное. Старая мать моя, вытирая глаза, призналась мне, что к ней подошел на улице один из виднейших воротил русского сионизма, человек хороший, но с прочной репутацией великого моветона, и сказал в упор:

— Повесить надо вашего сына.

Ее это глубоко огорчило. Я спросил ее:

— Посоветуй: что мне дальше делать?

До сих пор, как гордятся люди пергаментом о столбовом дворянстве, я горжусь ее ответом:

— Если ты уверен, что прав, — не сдавайся.

Исключением оказался только Киев. Там меня по-братски приняли именно руководители местного сионизма — Н. С. Сыркин, М. С. Мазор, И. М. Маховер. Первых двух уже нет на свете; многих уже нет из тех, чьи имена упомянуты в моих записках, но об этих двух ушедших особенно больно отметить, что ушли: даже в том, «старом», «первых призывов» русском сионизме мало было таких дарований, как у первого, такой мудрой глубины, как у второго, такой бескорыстной чистоты, как у обоих. Я уж их не видел с той встречи в Киеве. Встретили меня киевляне как родного, созвали заседание, выслушали доклад, одобрили, ободрили, благословили на работу дальше и обещали помогать, чем можно; и сдержали слово. Не раз я в трудный день посылал телеграмму в Киев: «Выручайте!» — и ответ всегда получался через банк. Но, хоть и банально это звучит, а, право, еще дороже деловой помощи было мне в последовавшие годы воспоминание об их дружеской встрече и о слове их на прощанье: «в добрый час».

Профессор Мануйлов, редактор «Русских Ведомостей», был сначала против того, чтобы я снова ехал за границу.

— Оставайтесь работать у нас в Москве, — предложил он, — зачем вам опять на запад?

— Легион, — ответил я.

— Если так, поезжайте с Богом, — сказал он.

И два года подряд, пока большевики не закрыли, помогала мне старая честная газета, гордость русской печати, давая мне возможность жить в Лондоне, содержать свою семью в Петербурге и делать что угодно.

ГЛАВА IV ПРОТИВ ВСЕХ

На обратном пути в Лондоне я опять остановился в Копенгагене, — повидаться с Гроссманом. Ничего мне веселого рассказать он не смог. Сионисты учредили в Копенгагене бюро, и оно повсюду разослало циркуляры со строгим наказом — противодействовать всякой легионистской агитации и бойкотировать ее инициаторов. В результате нашлось уже несколько студенческих групп, кажется, в Швейцарии, которые, сидя дома, приняли героические резолюции против легиона. Новых сторонников не прибывало — кроме одного: где-то в Гааге откликнулся неизвестный молодой человек по имени Яков Ландау. Он проектировал устроить агентство для пропаганды антитурецкой ориентации и легионизма через общую печать и сам уже начал помещать в этом духе заметки в голландских газетах, за что местные сионисты, с г-ном Нехемией Де Лимэ во главе, исключили его из организации. Молодой человек, однако, не испугался и продолжал свое дело, — а в то время голландская печать, именно потому, что была нейтральна, имела довольно широкий круг влияния. Это тот самый Ландау, который теперь стоит во главе Еврейского Телеграфного Агентства в Америке.

Мы с Гроссманом решили основать в Копенгагене журнал. Многие его помнят — он издавался на идише и назывался «Трибуна». За последние годы в разных городах — австрийских, чешских, румынских, польских — я часто встречаю людей, у которых еще по сей день хранятся в книжном шкафу комплекты тех зеленых тетрадок 1915 и 1916 года. Эти люди мне рассказывали, что «Трибуна» была в те годы единственным каналом, через который доходило до сионистов Цент-

ральной Европы слово правды о положении в Палестине, об отношении турок к сионизму, о перспективах сионистского движения в связи с войной. Как удалось Гроссману содержать свой журнал — для меня долго было тайной. Я из Лондона мало чем мог ему помочь. Не мог помочь даже распространением «Трибуны»: мудрый британский цензор со второго номера запретил продажу единственного англофильского органа в Израиле на том основании, что сия газета нападает на погромную деятельность русского правительства. Я люблю англичан, но нет на свете такого путанника, как английский столоначальник, когда попадает к нему в руки что-либо «экзотическое»... Впоследствии, однако, я нашел объяснение гроссманову чуду: он платил типографии из своего собственного корреспондентского жалования.

К середине августа 1915 года я опять приехал в Лондон: осмотрелся вокруг и ясно увидел, что положение было для наших планов самое со всех сторон неблагоприятное.

Во-первых, — политика Китченера. У него была простая теория: все усилия надо сосредоточить исключительно на западном фронте. Восток не имеет никакого значения. Англичане до сих пор, кажется, считают Китченера большим стратегом — хотя еще при жизни его довелось мне слышать и обратное мнение, даже в резкой форме, притом из уст специалистов. Я не специалист, но все же беру на себя смелость и тут повторить то, что писал уже раз по поводу Делькассэ. Далеко не каждый, кто у них считается великим человеком, действительно велик. Китченер был первоклассный солдат, превосходный организатор; но «стратег» — это нечто иное. Стратегией называется умение сразу найти, на пространстве широко разбросанного фронта, слабейший пункт неприятеля. Для этого нужна та особая черта, которую англичане называют «*imagination*» — это не просто «воображение», русское слово не вполне передает специальный оттенок. Этого таланта боги Китченеру не дали. Безупречный артиллерист: точно изучил, где неприятельская крепость, точно высчитал дистанцию, гениально расставил свои батареи, приказал подвезти ровно столько пушек, сколько недостает, плюс еще вдвое больше, — и будет стрелять безошибочно. И для этого тоже нужен ум и талант. Но стратегу

требуется ум иного склада — того склада, что шахматисту... Наступило время — значительно позже — когда даже в военном министерстве поднялся ропот против китченеровской стратегии. Незадолго до его смерти в генеральном штабе, в обеих палатах, в печати уже сложилась сильная оппозиция — «за восточный фронт». «Восточники» настаивали, что слабейший пункт неприятельского кольца лежит за Суэцем, что Турцию можно разбить при сравнительно небольшом усилии и что это и будет для Германии ударом в самое сердце, потому что ведь она всю войну затеяла ради овладения Ближним и Средним Востоком. Ллойд Джордж был одним из убежденнейших сторонников этого течения. Но Китченер не сдавался. Смерть его, как ни была бессмысленна и трагична (броненосец, увозивший его в Россию, наткнулся на мину и пошел ко дну, чуть ли не в виду шотландского берега), была для него своевременной — все равно через несколько месяцев развитие событий заставило бы Ллойд Джорджа потребовать его отставки.

Но осенью 1915 года Китченер еще был у них богом. Самая мысль о наступлении на востоке была глубоко скомпрометирована дарданелльским провалом.

«Контингент для Палестины? — говорили мне все серьезные люди. — Да кто думает о Палестине?»

Во-вторых, — сионисты. Организация наша в Англии была тогда еще гораздо меньше и бледнее, чем даже теперь; но война усилила ее серенький состав двумя первоклассными дирижерами из-за границы — Членовым и Соколовым. Оба были против легиона, и это определило общее отношение к моему плану еще до начала спора. К тому же единственное идейное влияние, какое хоть немного чувствовалось в очень поверхностной атмосфере этого сионистского захолустья, было тоже для моего дела неблагоприятно: в Лондоне жил тогда Ахад га-Ам, и вокруг него образовался кружок поклонников. Некоторые из них и по сей день воюют против идеи еврейского государства и даже еврейского большинства в Палестине.

Исключений было очень мало, именно поэтому мне хочется их перечислить. Джозеф Коуэн и д-р Идер поддержали меня с самого начала до самого конца. Собственно говоря, авторское право на мысль о еврейском контингенте

принадлежит им: они еще с первого месяца войны пробовали начать агитацию за учреждение специального еврейского батальона, правда, не для Палестины. Конечно, из этой агитации ничего не вышло; и, конечно, авторитет их был слишком слаб в качестве противовеса таким именам, как Соколов, Членов и Ахад га-Ам.

Одного союзника нашел я в самом центре еврейской массы, в Уайтчепле: звали его А. Бейлин, писатель он был хороший, но общественного влияния никакого не имел.

Отдельно стоял Х. Е. Вейцман. Еще в Париже он заявил себя сторонником легиона; в Лондоне мы сблизились еще больше. Месяца три мы даже вместе жили в маленькой квартире, в одном из переулков «богемского» Челси, в двух шагах от Темзы. Он в то время еще только переселился из Манчестера, оставив университетскую кафедру для работы в правительственных лабораториях; он трудился над усовершенствованием своего химического открытия, которое потом сыграло крупную роль в удешевлении производства взрывчатых веществ, особенно кордита. Эта же работа, собственно, и свела его с тогдашним министром военного снабжения — Ллойд Джорджем. После восьми, иногда десяти, иногда двенадцати часов в лаборатории он еще как-то находил время каждый вечер шагом дальше двинуть свою политическую работу, вербуя новые связи, привлекая новых и влиятельных помощников. Мы в те месяцы подружились; надеюсь, и теперь не стали врагами — хотя политическая борьба нас далеко разрознила и вряд ли уж когда-либо снова сведет.

Он был сторонником моих планов; но честно признался мне, что не может и не хочет осложнять и затруднять свою собственную политическую задачу открытой поддержкой проекта, который формально осужден сионистским АС и чрезвычайно непопулярен у еврейской массы Лондона.

Однажды он сказал мне характерную для него фразу:

— Я не могу, как вы, работать в атмосфере, где все на меня злятся и все меня терпеть не могут. Это ежедневное трение испортило бы мне жизнь, отняло бы у меня всю охоту трудиться. Вы уж лучше предоставьте мне действовать на свой лад; придет время, когда я найду пути, как вам помочь по-своему.

Время такое пришло, он свое слово сдержал, и я это помню. Но тогда, осенью 1915 года и еще долго после того, его сочувствие ни в чем не могло выразиться и не могло изменить общего тона обстановки, в которой я жил: раздраженная враждебность со всех сторон.

Третьим и худшим из неблагоприятных условий была сама еврейская молодежь. Ист-Энд жил, как всегда, в полное свое удовольствие. Его широкие тротуары, рестораны, чайные, кинематографы, театры каждый вечер наполнялись толпой здоровых, сытых, нарядных молодых людей. Особый остров внутри Англии, отделенный от нее другим и еще более глубоким Ламаншем. Здесь я на первых порах не встретил даже вражды: встретил просто равнодушие. Если можно выразить коллективную душу в одной формуле, для них я бы взял знаменитые слова Столыпина: «Так было, так будет». Палестина? Жили без нее, «значит» — и дальше можно жить. Она давно уже не наша, «значит» — и дальше будет не наша. Еврейского полка нет, «значит» — и не будет. И, хоть и сидим мы спокойно по чайным, пока английская молодежь умирает в окопах, никто нас не трогает; «значит» — и впредь оставят нас в покое. Птичка Божия не знала ни заботы — ни Англии. Их не только нельзя было переубедить, — нельзя было даже смутить их беспечность, заставить их испугаться за собственный завтрашний день: раз сегодня тихо, «значит» — и завтра будет все по-старому. Этот вид импрессионизма, живущего исключительно опытом последней недели, — вообще застарелая болезнь гетто; но ни до того, ни после не довелось мне наблюдать ее в таких дозах.

В этом отношении Уайтчепл был, вероятно, не хуже и не лучше эмигрантских кварталов любого иного города; но в Уайтчеплской атмосфере чувствовалось еще что-то — что-то неприятное, в чем другие эмигрантские гнезда неповинны. Американское гетто, сколько бы у него ни было недостатков, может все же по праву гордиться своим широким сердцем и щедрой рукой; у него есть традиция (или хоть иллюзия) некоторого идеалистического (или хотя бы только сентиментального) отношения к внешнему миру, к обоим полюсам внешнего мира — сердце их болит за ев-

рейский народ, и они гордятся Америкой. Гетто Парижа в еврейском отношении пассивно, но в нем хоть есть подлинная и благодарная привязанность к Франции. Ист-Энд не любит и не ненавидит: у Ист-Энда вообще нет никакого отношения ни к каким внешним коллективам — ни к народам, ни к странам, ни к классам. Может быть, теперь это изменилось, но тогда это было так. Они сами говорили: какую угодно идею привезите в Уайтчепл — скиснет, как молоко в духоте.

Исключения были, даже блестящие, но изволь искать иголку в Синайской пустыне.

Помню хорошее слово, полное меткого и горького юмора, что сказал мне один умный тамошний анархист о душе Уайтчепла. Это было осенью 1916 года, когда Гроссман и Трумпельдор уже прибыли в Лондон и мы вместе пытались на публичных собраниях убедить еврейскую молодежь, что единственный достойный выход из создавшегося положения — легион; и молодежь отвечала нам шумом, бранью и скандалами.

«Мистер Ж., — сказал мне тот анархист после одного особенно бурного митинга, — долго вы еще собираетесь метать горюх об стенку? Ничего вы в наших людях не понимаете. Вы им толкуете, что вот это они должны сделать “как евреи”, а вот это “как англичане”, а вот это “как люди”... Болтовня. Мы не евреи. Мы не англичане. Мы не люди. А кто мы? Портные».

Привожу это горькое слово только потому, что в конце концов Ист-Энд за себя постоял. Солдат он нам дал перво-сортных, смелых и выносливых; даже самая кличка «портной» — «шнейдер» — постепенно потом приобрела во всех наших батальонах оттенок почетного прозвища, стала синонимом настоящего человека, который исполняет что положено, не хныча и не хвастаясь, точно, сурово и спокойно. Где-то в последней глубине уайтчеплской души все-таки нашлось *un je ne sais quoi*, скрытый родничок ответственности, забытое зерно самоуважения, и все это выступило наружу, когда подошла трудная минута испытаний и опасностей. В последнем счете тот анархист оказался неправ — как, вероятно, всегда и всюду неправы критики масс: в последнем счете. Но тогда, в начале, диагноз его подходил, как перчатка: у этой

массы, не знаю по чьей вине (может быть, виноват был жесткий холодок их английского окружения), онемел тот именно нерв, который связывает единицу с суммой, с расой, краем, человечеством — и единственная связь с коллективом, еще кое-как им, быть может, понятная, сводилась к их ремеслу: я купец, ты учитель, мы портные...

Изумительнее всего при этом была их слепота ко всему, что творилось за воображаемой стеной, будто бы отделявшей их от остальной Англии. «Никто нас не трогает»... Но первые шаги мои в Лондоне ясно показали мне все симптомы недалекой бури — именно бури над Ист-Эндом. В каждой комнате военного министерства, в каждой лондонской редакции, от каждой кухни и тетки моей английской квартирной хозяйки в Челси я слышал одну и ту же раздраженную жалобу: наши гибнут по сотне в час — а те молодчики ваши разгуливают с барышнями и играют на бильярде. В печати уже начинали осторожно вентилировать вопрос о принудительном наборе — пока еще не для Уайтчепла, а только для собственных, английских домоседов. Только со сна можно было не разобрать, что скоро, очень скоро дойдет очередь и до безмятежных иностранцев. Но дремать приятно, и того, кто непрошенный пытается будить, люди терпеть не могут.

Таков был главный резервуар человеческого материала, на котором зиждились мои планы; и я был почти одинок; и сионисты меня отлучили от церкви; а Китченер говорит, что в Палестину идти не стоит и что никаких экзотических батальонов он не хочет...

Я не слеп. Все это я видел ясно, взвесил, проверил и подсчитал. Не скажу, чтобы итог мне дался без сомнений и колебаний. Напротив, много было сомнений и много минут уныния. Но итог все-таки получился твердый, и вот он, по пунктам.

Лорд Китченер ошибается: Англии придется воевать на Палестинском фронте.

Лорд Китченер еще в одном ошибся: еврейский легион не экзотика, а неизбежность и необходимость для самой Англии. Правительство будет вынуждено его создать, потому что общественное мнение Англии заставит его мобилизовать Ист-Энд, — а еврейский контингент для Палестины есть единственная форма, в которой можно провести эту мобилизацию без мирового скандала.

Сионисты ошибаются. Легион и для них необходим — и еще придет время, когда они будут стоять на улицах Уайтчепла и рукоплескать его церемониальному маршу.

Уайтчепл тоже ошибается: его «тронут», и скоро. Единственный выход для его молодежи называется легион. Служить они пойдут — и еще спасибо скажут, что им хоть дана будет возможность биться за еврейское дело.

«Все ошибаются, ты один прав?» Не сомневаюсь, что у читателя сама собою напрашивается эта насмешливая фраза. На это принято отвечать извинительными оговорками на тему о том, что я, мол, вполне уважаю общественное мнение, считаюсь с ним, рад был идти на уступки... Все это не нужно, и все это неправда. Этак ни во что на свете верить нельзя, если только раз допустить сомнение, что, быть может, прав не ты, а твои противники. Так дело не делается. Правда на свете одна, и она вся у тебя; если ты в этом не уверен — сиди дома; а если уверен — не оглядывайся, и выйдет по-твоему.

ГЛАВА V

КАК ДЕЛАЕТСЯ ПОЛИТИКА

Долго и скучно было бы рассказывать все, что случилось за два года с моего второго приезда в Лондон до того дня в июле 1917 года, когда в официальной газете, наконец, появился приказ об учреждении «еврейского полка». Я запишу лишь несколько эпизодов: одни — в качестве этапов, определяющих характер всего пути, а другие — ради тех фигур, с которыми они познакомят читателя, так как иные из этих фигур сыграли потом заметную роль в нашем мире. Есть у меня тут и другой умысел: в этой серии эпизодов содержится ответ на «ядовитый» вопрос, который так часто теперь слышится в сионистских собраниях. «Разве мыслимо, — вопрошают скептики, — заставить начальство сделать то, чего оно не хочет? И чем? Угрозами? Будете стучать кулаком по столу? Накричите на них?» Конечно, нет; все это гораздо проще. Если начальство не хочет, — не надо ни стучать, ни кричать, надо оставаться спокойным и вежливым,

искать новых союзников и от времени до времени возобновлять свое домогательство: пока не окажется, что вы не только «заставили» начальство, но оно и само тому радо.

* * *

В зимний вечер, в самый разгар лондонской слякоти с полудождем и полуснегом на улице, кто-то стучится в мою дверь. Входит молодой человек, очень бедно одетый, и протягивает мне измятый, грязный клочок бумаги. Я узнаю почерк приятеля, который застрял в Яффе. Он пишет: «податель — Гарри Фирст. Можешь ему верить». Гарри Фирст говорит:

— Я прямо из Палестины. Тамошние рабочие мне поручили сказать вам, что они за ваш план и чтобы вы не дали себя запугать никакими страхами за судьбу палестинских колоний. Это — первое. А второе: я к вашим услугам. Я говорю на идиш и по-английски; член рабочей партии и знаю Уайтчепл. Чем могу служить?

— Поселитесь в Ист-Энде и займитесь тамошной молодежью, — говорю я.

Он встает и уходит.

И с тех пор два года подряд Гарри Фирст вел нашу агитацию в Ист-Энде, в мастерских, в чайных, в комитете своей партии, на собраниях. Одного за другим находил он отдельных сторонников, знакомил меня с ними, а потом шел дальше работать. Он стал одной из популярных фигур Уайтчепла: его и любили и терпеть не могли. За что терпеть не могли — понятно; а любили за то, что и противникам импонировало его спокойное, учтивое упрямство и его благородная бедность. Потом он поступил в легион тихо и по-хорошему отслужить свои два года в Палестине, не добивался никаких послаблений и повышений; а после демобилизации исчез, не напоминая о себе, не требуя ничьей благодарности, и я не знаю, где он и что с ним. Может быть, кто-нибудь покажет ему эти строки: шалом, Гарри Фирст, один из тех «безыменных солдат», которые делают историю, — а честь оставляют именитым.

* * *

Есть в Лондоне короткая, широкая улица Уайтхолл: в ней сосредоточено управление королевством и половиной земного шара. В нее впадает и переулок, именуемый

Даунинг-стрит: здесь дворец и канцелярия премьера, министерство иностранных дел, министерство колоний. Здесь, кроме того, с первых месяцев войны учрежден был особый департамент пропаганды; но я об этом не знал.

Однажды адмиралтейство пригласило иностранных корреспондентов съездить в Розайт (военная гавань в Шотландии) — посмотреть британский флот. Сопровождал нас, между прочим, английский журналист Мастерман. Мы разговорились; об александрийском отряде он что-то слышал, и я рассказал ему о своих замыслах. Он заметил:

— Меня теперь все на свете занимает с точки зрения пропаганды. Ваш проект — великолепный материал для пропаганды. Хотите повидаться с лордом Ньютоном?

— Кто это?

— Министр пропаганды. Вы мне дайте материал, я составлю докладную записку для лорда Ньютона, и он вас вызовет.

Не скоро дела делаются в Англии; но через несколько месяцев я, побрившись старательнее обыкновенного, взобрался на верхушку омнибуса и поехал в Уайтхолл на свидание с лордом Ньютоном.

— Мысль, пожалуй, и хорошая, — сказал он, выслушав меня, — и, конечно, я слышал о еврейском батальоне в Галлиполи; но — при чем тут мой департамент?

— Один вопрос: дорожите ли вы отношением еврейства нейтральных стран?

— Да, — сказал он с некоторым колебанием, — только должен, к сожалению, признаться, что мы этим отношением недовольны. Мне еженедельно представляют выдержки из еврейской печати в Америке... ничего не понимаю. Разве наша это вина, что русский режим — как бы это сказать — носит на себе отпечаток некоторой отсталости?

— Лорд Ньютон, дело совсем не в том, чья вина. Суть дела в факте. Вот основной факт: победа союзников, вероятно, укрепит этот самый русский режим лет еще на двадцать. Устранить этот факт Англия не может, с этим я согласен. Англия может только создать ему противовес.

— Как?

— Есть на свете одна только вещь, которую евреи любят еще больше, чем они ненавидят русский режим: эта вещь — Палестина. Только ради большой любви может масса закрыть глаза на большую ненависть: другого пути нет.

— Что же вы предлагаете? Издать манифест от имени английского правительства с выражением благоволения к сионизму?

— Это было бы желательно в высшей степени; но я думаю, что американские евреи сказали бы на это: очень приятно, только ведь манифест — бумага, а где факты? Видите ли, вся эта война началась с того, что пущено было в ход ядовитое слово — «клочок бумаги». Слово это получило огромную и нездоровую популярность, и никто больше манифестам не верит. Тем более, что русский режим состоит не из манифестов, а из фактов. Поэтому и противовес должен состоять не из одной бумаги.

— Какие тут возможны факты? Нельзя же отдать Палестину, когда она еще не завоевана... И вообще — вы, конечно, понимаете, я весь этот вопрос обсуждаю пока только в теории...

— Единственным логическим фактом было бы учреждение еврейского контингента, предназначенного для участия в завоевании Палестины.

— Позвольте, ведь никто еще не знает, пойдем ли мы на Палестину; в военном министерстве считают, что не пойдем.

— Военный контингент ведь не то, что древо пророка Ионы, — ответил я. (С англичанами можно говорить цитатами из Ветхого Завета: они его знают.) — За одну ночь его не вырастишь. Если полк понадобится только через год — значит, надо начинать сегодня. А тем временем переменится и мнение военного министерства. Мы ведь знаем, что далеко не все авторитеты согласны с лордом Китченером...

— «Не разглашайте на стогах Гага», — ответил он тоже ветхозаветной цитатой. — Во всяком случае, я все это еще обдумую, переговорю с коллегами...

* * *

...Мистер Джозеф Кинг, депутат либеральной партии, сделал запрос в палате общин: известно ли министру такому-то, что «русский журналист» такой-то ведет в Уайтчепле пропаганду с целью создания еврейского военного контингента, и имеет ли оный журналист на то от правительства какие-либо полномочия?

Я ему написал: «Сэр, прежде, чем нападать на человека, надо бы вам его выслушать».

Мы встретились в либеральном клубе, который тогда, в середине 1916 года, еще не был реквизирован правительством. Войдя в вестибюль, я увидел, что м-р Кинг разговаривал с невысоким господином вида худощавого, но не великобританского: желтоватое, почти изможденное лицо, несколько желчное. Барышня с историко-филологическим образованием сказала бы: «напоминает Торквемаду»; барышня с образованием литературным сказала бы: «нечто мефистофельское». М-р Кинг, увидя меня, кивнул головой и показал на кресло; его собеседник нервно дернул бороденкой и посмотрел в сторону. Потом они простились, тот ушел, а м-р Кинг повел меня в угол к дивану.

— Ист-эндские друзья мои, — сказал он, — горько жаловались мне на вас. Говорят они вот что: и без того идет уже, в печати и просто на улице, травля иностранцев в штатской одежде, — а тут еще вы подливаете масло в огонь.

— М-р Кинг, скажите правду: а если я исчезну — «травля» прекратится?

— К сожалению, вряд ли. Я и сам не могу не видеть, что массам трудно это переварить: как же так, здоровая молодежь, выросла с нами, и тем не менее...

— Хорошо. Теперь допустим, м-р Кинг, что мой план никуда не годится и что я к вам лично обращаюсь с просьбой: будьте добры, дайте совет. Где выход? Не служить до конца? Глядеть, сложа руки, как нарастает в Англии расовая ненависть в самой отравленной форме — ненависть людей, которых посылают на смерть, против людей, которым дозволено жить?

— Должен признаться, — сказал он, — что я отчасти это все уже излагал моим ист-эндским приятелям. Я им говорил, что лучше всего было бы, если бы значительное количество иностранных евреев сразу пошло волонтерами в армию, наравне с нашей молодежью...

— Позвольте не согласиться. Ваше требование, м-р Кинг, совершенно несправедливо,

— Почему несправедливо?

— Потому что нет решительно никаких оснований требовать от них службы «наравне с вашей молодежью». Ваша молодежь — англичане; если Англия победит — их народ

спасен. Наши — другое дело: если Англия победит, то шесть миллионов их братьев останутся в том же самом аду, что и теперь. Не может быть речи об одинаковой жертве там, где нет одинаковой надежды.

— Мгм. Ну — а вы что предлагаете?

— Компромисс. По справедливости Англия может требовать от иностранного еврея только двух вещей. Во-первых, принять участие в защите самой территории Англии, т. е. этого острова, где он пользуется гостеприимством: по-вашему — «home defence». Во-вторых, биться за освобождение Палестины, потому что это «дом» его племени: по-нашему — «heim». «Home and Heim»: в этом заключается моя военная программа для ваших ист-эндских друзей.

Он подумал и вдруг сказал:

— Вы мечтатель.

Зал, где мы с ним сидели, был весь увешан портретами покойников, бывших когда-то членами этого самого либерального клуба. Я указал на них:

— Все мечтатели.

— Я подумую, — сказал он мне в заключение, — и переговорю с товарищами-депутатами. Вот не знаю только, стоит ли говорить об этом с моими уайтчеплскими друзьями?

— Это зависит, — ответил я, — от того, кто они такие.

— Одного, самого, пожалуй, важного, вы уже видели: это — тот худощавый джентльмен, с которым я давеча беседовал в приемной. Сам он не еврей, и ему военная служба не грозит — он уже давно в «опасном» возрасте, а это теперь самый безопасный возраст. Но он очень интересуется этим вопросом. Он русский эмигрант, по имени мистер Чичерин. Хотите с ним познакомиться?

— Нет, — сказал я.

— Замечательно, — отозвался м-р Кинг, — я задал ему тот же самый вопрос о вас, и он дал мне тот же самый ответ. Очень странно, до чего россияне иногда друг друга терпеть не могут. Мне минутами казалось, что, если бы мистер Чичерин имел на то власть, он бы с удовольствием посадил вас за решетку, а теперь мне кажется, что чувство это взаимное.

— Вполне, — подтвердил я от всего сердца.

Правда, я тогда мало знал о будущем советском комиссаре по иностранным делам — он, кажется, не принадлежал к кругу эмигрантских знаменитостей; во всяком случае, среди моих знакомых, если и упоминали о нем, то с прибавкой: «знаете, — племянник того Чичерина Бориса». Но то небольшое, что я о нем знал, мне не нравилось: мистер Чичерин был одним из подстрекателей уайтчеплской агитации против всякой формы участия в войне. А насчет решетки — потом оказалось, что м-р Кинг и вправду напорочил; только не мне.

* * *

...Письмо с лондонским штемпелем на марке:

«Прибыл из Галлиполи — эвакуирован как раненый. Нахожусь в доме для выздоравливающих, улица Довер-стрит, номер такой-то. — Подписано: Дж. Г. Патерсон».

Полковника Патерсона я еще тогда (летом 1916-го года) лично не видел: он явился к нашим добровольцам в Александрии уже после того, как я уехал из Египта в Бриндизи на свидание с Рутенбергом. Но слышал я о Патерсоне много. Протестант, но ирландец по происхождению. По профессии был он прежде инженером. В 1896 году его послали строить мост на реке Тсаво или Саво, где-то в Африке, недалеко от «нашей» Уганды. С этой постройки и пошла его слава: именно «слава» — есть особый круг людей, в котором Патерсон считается крупной знаменитостью. Это англо-американский круг охотников за «крупной дичью». Патерсон признанный и бесспорный авторитет среди охотников за львами. На реке Саво были у него только чернокожие рабочие, несколько сот, из племени суахили; он был там единственный белый и единственный человек, умеющий обращаться с ружьем. Случилось так, что в округе появилась шайка львов, из самого неприятного сорта — таких называют у охотников «людоедами», потому что они, раз отведав человеческого мяса, потом уже пренебрегают всяким другим лакомством. Ночь за ночью эти львы устраивали набеги на рабочий лагерь, спокойно выбирали жертву и уносили ее в гущу экваториального леса. Патерсону пришлось вмешаться: с великим трепетом, как он рассказывает в своей книге «Людоеды на р. Саво», но с серьезным успехом. До сих пор в его домике, в мирном Букингемшире, хранятся те трофеи: восемь темно-рыжих

львиных шкур и длинная рукопись — поэма на языке суахили, преподнесенная ему благодарными рабочими. На моем экземпляре его книги «Людоеды» изображено: «26-е издание». Есть англичане, которые, когда уезжают в далекое путешествие, берут с собой в дорогу только два томика: Библию и «Людоедов на р. Саво». Через эту книгу Патерсон подружился с другим знаменитым охотником за львами — Теодором Рузвельтом и несколько раз был его гостем в Америке.

Вскоре после этого случая на р. Саво разразилась англо-бурская война. Патерсон поступил подпоручиком в британскую кавалерию, проделал всю затяжную войну и вышел в отставку с чином подполковника. После этого он жил в Индии, объездил полсвета, пережил несколько бурных эпизодов, о которых по сей день ходят по лондонским клубам легенды, создавая Патерсону друзей и врагов, — жил жизнью, которая в передаче звучала бы, как роман, и притом не из нашего прозаического столетия. «Букканер» — называет его бывший его приятель генерал Алленби: так звали двести лет тому назад и больше тех удальцов, что сломали власть Испании на островах Карибского моря и помогли — может быть, против собственной воли — превращению Атлантического океана в английское озеро. А в конце этой красочной карьеры стал он предводителем Zion Mule Corps в Галлиполи, потом командиром одного из еврейских батальонов в Палестине, и не услышал за то пока «спасибо» ни от евреев, ни от христиан. Но он говорит, что не жалеет.

Я разыскал его в том санатории для выздоравливающих. Высокий, тонкий, стройный человек с умными и веселыми глазами: воплощение того, что англичане полуворчливо, полувосхищенно называют «ирландским charm-ом», но без единой капли другого отличительного признака ирландской психологии: уныния, рефлексии, болезненной охоты углубляться в самого себя — всего, что мешает ирландцам жить по-настоящему, не в меньшей мере мешает, чем русским. У Патерсона этой самоотравы нет. Зато есть у него изумительное знание Ветхого Завета. Гидеон и Самсон для него — живые образы, приятели, чуть ли не члены его же кавалерийского клуба на Пиккадилли. К счастью для нас, они до сих пор заслоняют в его глазах подлинное нынешнее еврейское обличье...

— Что слышно в Галлиполи?

— Провал.

— А наши еврейские солдаты?

— Великолепны. Первый сорт.

— Трумпельдор?

— Храбрейший человек, какого я в жизни видел. Он теперь командир нашего отряда.

(По письмам из Галлиполи я знаю, что далеко не гладко и не легко наладились у него отношения с нашими солдатами и со святым упрямым Трумпельдором; но ирландский темперамент не замечает мелочей. «Великолепные солдаты!»)

— А что слышно здесь? — спрашивает он.

— Лорд Китченер не хочет — ни кампании в Палестине, ни еврейского корпуса.

— Жизнь сильнее лорда Китченера.

— А вы мне поможете?

— Едем.

И он везет меня в Вестминстер. В огромном вестибюле между флигелями обеих палат он пишет что-то на зеленой карточке и отдает служителю. Через пять минут со стороны палаты общин появляется человек невысокого роста, в хаки, с красной фуражкой генерального штаба на голове. Говорит он спокойно, коротко, несколько сухо; впечатление очень толкового человека: говорит только о том, что знает, и всегда знает, чего хочет, — а хочет он, может быть, и таких вещей, для которых наступит время только через много, много лет. Пока англичане, у которых великая слабость к долговязым типам, и сегодня еще говорят о нем: «до премьера ему не хватает только нескольких дюймов». Правда, он ростом еще ниже Ллойд Джорджа; но я не поручусь, что эта помеха окажется действительной до конца. В конце концов, через несколько дюймов не так трудно перешагнуть. Тогда он был простым «эм-пи», то есть членом палаты общин; теперь он министр колоний британской империи.

— Капитан Эмери, — представляет Патерсон. — Он уже знает о наших проектах; но расскажите ему подробности.

Я рассказываю подробности.

...Через полгода Эмери становится одной из главных фигур в знаменитом «секретариате» Ллойд Джорджа («детский сад», острят о нем политики старшего поколения, сокрушаясь о молодости членов этой всемогущей динамо-машины).

Мистер Кинг, автор парламентского запроса о причинах и пружинах моей агитации, давно — еще с того завтрака в национально-либеральном клубе — переложил гнев на милость и свел меня с целым рядом депутатов: либералов, унионистов, трудовиков, ирландцев. А в министерстве пропаганды, после беседы с лордом Ньютоном, все растет толстая папка с докладами, письмами, газетными вырезками, озаглавленная: «Еврейский легион», с пометкой: «Важно».

* * *

Новая фигура появилась на арене спора о Уайтчепле и воинской повинности: Герберт Сэмюэл.

Газетная травля против иностранных евреев усиливалась с каждым днем; богачи из ассимиляторского круга, во главе с майором Лайонелом Ротшильдом, обнародовали воззвание к населению Ист-Энда. Там сказано было все, что в таких случаях полагается: Англия вам оказала гостеприимство, исполните свой долг и пр. Первым подписался под воззванием лорд Суэтлинг: мне объяснили, что это страшно важная фигура — смущенно признаюсь, что я до того дня и не подозревал о его существовании. Воззвание не дало армии ни одного рекрута.

В этот момент и нашел нужным выступить на арену Герберт Сэмюэл, в то время уже министр внутренних дел: он издал официальное сообщение, где было сказано, что, если русскоподданные евреи в такой-то срок не запишутся добровольно в британские войска, их вышлют обратно в Россию.

Странный это недочет у г. Сэмюэла, при всем его уме: он органический доктринер, он видит вещи не глазами, а через какое-то свое собственное представление о них; видит не того реального человека, которого Бог создал, но сам конструирует человека абстрактно, притом не иначе, как по образу и подобию своему, т.е. Герберта Сэмюэла. Нарисовав пред собою такой образ, он и предъявляет ему свои требования и преподносит ему свои доводы — с успехом, который легко представить себе заранее. Позже, когда он стал верховным комиссаром Палестины, эта черта его причинила немало вреда и нам, и арабам, и доброму имени Англии. То же самое произошло и тогда в Лондоне, летом 1916 года. Он себе «представлял», что Уайтчепл, прочитав его угрозу, кинется поголо-

вно записываться в солдаты; в то же время он «представлял» себе, что на нееврейские круги Англии такой жест министра-еврея окажет прекрасное действие и ослабит травлю. Результат оказался как раз обратным, притом с обеих сторон. В английском обществе его угроза произвела впечатление тяжелое и неприятное; в палате лордов один из наиболее уважаемых либеральных ее членов, если не ошибаюсь, лорд Пармор, возмущенно заявил: «Будь я евреем, я бы раньше дал отрубить себе правую руку, чем выдал бы хоть одного из моих братьев по крови в руки вешателей и погромщиков».

А Уайтчепл просто взял да не испугался. Опять-таки армия не получила ни одного рекрута. В интересах справедливости должен отметить: Лайонел Ротшильд признался мне впоследствии, что гениальная мысль об угрозе была подсказана министру им. Но ведь дело не в том, кто первый выдумал нелепую затею, а в том, кто взялся проводить ее в жизнь.

К тому времени с помощью Гарри Фирста уже образовался вокруг меня небольшой кружок уайтчеплских сторонников. Мы посоветовались и пришли к выводу, что конфузный инцидент с Сэмюэлом можно и нужно использовать в интересах нашей агитации.

В Лондоне было тогда человек шесть корреспондентов передовой русской печати. Встречались мы между собою редко, но поддерживали добрые отношения. Я по телефону немного прозондировал почву, с двумя из них повидался лично — и в результате через несколько дней у меня в Челси созвано было совещание русских корреспондентов; были тут и евреи, и христиане. Решили от общего имени отправить военному министру лорду Дарби телеграмму с указанием на то, что угроза Герберта Сэмюэла, втянув, так сказать, Россию во внутренний британский вопрос, создала для нас чрезвычайно щекотливое положение, а потому мы просим у министра свидания.

Лорд Дарби поступил как человек осторожный и практический: кто заварил кашу, пусть и расхлебывает. Он передал нашу телеграмму министру внутренних дел, и ответ мы получили от г. Сэмюэла: приглашение на беседу с ним.

Прием состоялся в одной из боковых зал палаты общин. Сэмюэл придавал этому свиданию совсем торжественный характер: явился со свитой из четырех секретарей, сам сел во

главе стола, секретари за ним, мы, журналисты, по обе стороны стола; каждый говорящий, включая и самого Сэмюэла, говорил стоя. В то время русская печать еще была силой — по крайней мере, за границей...

От нашего имени доложено было министру вот что: его угроза по адресу уайтчеплских евреев, которых передовое общественное мнение России склонно рассматривать как эмигрантов политических, грозит подорвать весь смысл нашей работы. Газеты, здесь представленные (насколько помню, это были «Русские Ведомости», «Русское Слово», «Речь», «Современное Слово», «Биржевые Ведомости» и «Киевская Мысль») обслуживают, приблизительно, три четверти всей читающей публики в России. Передовое общество у нас дорожит нынешним сближением между Англией и Россией не только в интересах войны, но, главным образом, потому, что надеется на доброе влияние английского либерализма на политические условия России; и мы, лондонские корреспонденты, всегда стараемся подчеркивать именно эту надежду. Но последний жест министра внутренних дел произведет в России как раз обратное впечатление — там скажут, что политическое влияние идет, по-видимому, из Петербурга в Лондон, а не наоборот. А это очень вредно для единодушия в России, и мы считаем своим долгом обратить внимание правительства на эту опасность.

— Джентльмены, — ответил Сэмюэл, — я понимаю вашу точку зрения. Но и вы должны понять наше положение. Коренное население глубоко возмущено равнодушным отношением иммигрантов к нашей национальной беде. Это может привести к взрыву антисемитских настроений. Выход из этого положения надо найти во что бы то ни стало — так, как оно есть, оно оставаться не может. Что же делать?

И он обратился ко мне (я до тех пор молчал). О моей агитации он знал еще с того дня, когда д-р Гастер объяснил ему, что я просто болтун; но мы еще ни разу до того не встречались. Он спросил:

— Ваше мнение, например?

— Сэр, — ответил я, — здесь я нахожусь в качестве члена группы русских журналистов и не имею права высказывать свои личные мнения. Но в одном мы уверены все: угрозы не создают волонтеров. Для вербовки добровольцев надо

опираться на лучшие и высшие чувства массы, а не на страх. Когда вы вербуете англичан, вы взываете к их английскому патриотизму. Попробуйте сделать то же самое с Уайтчеплом. Только при этом надо будет помнить, что английского патриотизма они еще в себе не выработали, русского никогда не имели — скорее напротив. Значит, надо попытаться установить, в чем заключается их собственный и естественный патриотизм. Это все.

— А если бы мы нашли такой путь, кто бы взял на себя вербовку?

Я ничего не мог ответить. Предложить свои услуги тут же, в собрании, я не имел права — далеко не все из моих коллег были сторонниками моих планов. Сэмюэл тоже не предложил мне взять дело на себя. Так и разошлись мы, строго говоря, ни с чем. Тем не менее эта беседа имела два серьезных последствия. Во-первых, угроза ссылки в Россию сошла со сцены, и больше о ней не упоминали. Во-вторых, беседа убедила и самого Сэмюэла, и через него весь кабинет в той простой истине, на которой я и строил с самого начала свою веру в успех: что нет разрешения для «ист-эндского вопроса» вне попытки апеллировать к собственному патриотизму бездомного еврея.

* * *

Еще одно неожиданное наблюдение сделал я за эти месяцы — настолько важное, что и теперь оно мне часто полезно: я поразился, насколько ничтожно политическое влияние еврей-ассимилятора, хотя бы знатного и богатого, в делах еврейской *Weltpolitik*. Совершенно инстинктивно, его собственное правительство считается в этих вопросах только с евреем националистического толка, хотя бы сам по себе он был еще никому неизвестным приезжим. Х. Е. Вейцман доказал это блестяще; и мой собственный опыт подтвердил мне ту же истину.

Когда я поселился в Лондоне, со всех сторон мне говорили: «Без содействия здешних нотаблей правительство и говорить с вами не станет. Прежде всего заручитесь согласием нотаблей». Я послушно попытался. Они не только не дали своего согласия — напротив, они открыто предупредили меня, что будут мешать. Тогда мне пришлось самому пойти стучаться в двери правительственных учреждений — и оказалось, что успех или неуспех меньше всего зависел от настроения «нотаблей».

За все время моих переговоров не помню ни одного случая, когда бы некто власть имущий спросил меня: а как смотрит на это сэр Айзек такой-то? Я это объясняю, конечно, не тем, чтобы нотабли все были плохи, а мы, приезжие националисты, хороши. Объяснение гораздо проще. Ассимилятору нечего «предъявить»: он раз навсегда отождествил себя с местным населением; его лояльность раз навсегда обеспечена — и совершенно понятно, что в серьезные минуты правительство смотрит на него, как на очень почтенное, но совершенно бесплатное приложение к британской или французской нации. В ином положении находится националист: еврейские симпатии, которые он предлагает завербовать, не есть бесплатное приложение. Правительство может ими дорожить или нет, это его дело; но получить эти симпатии можно только на определенных условиях. Поэтому ассимилятору ласково улыбаются, а с националистом ведут переговоры.

Двери же канцелярий Уайтхолла открыл мне, как я уже писал, тот самый всеми остряками в Израиле осмеянный «ослиный батальон» из Александрии. Министерство иностранных дел в Петербурге написало о нем графу Бенкендорфу, русскому послу в Лондоне; из русского посольства посылались о нем рапорты в Форейн-Оффис; старший советник посольства, К.Д. Набоков, впоследствии заместитель посла (ныне покойный), устраивал мне свидания с британскими министрами, с американским послом мистером Пейджем, с французским послом Р. Камбоном — и все это только потому, что Трумпельдор и 600 погонщиков мулов провели восемь месяцев под огнем в Галлиполи.

А в министерстве иностранных дел, во главе департамента Востока, т.е. именно того отдела, в котором сосредоточивались все вопросы о Палестине, стоял уже в то время тот заслуженный друг сионистского дела, которому и Х. Е. Вейцман, и основатели легиона так многим обязаны: сэр Рональд Грэхем, ныне британский посол в Риме. Но и для Грэхема первой школой сионизма был тот момент, когда он еще назывался просто м-р Грэхем, был «советником» при министерстве внутренних дел в Египте и когда к нему явилась скромная делегация хлопотать об устройстве особого отряда из палестинских беженцев в Александрии.

ГЛАВА VI

МЕЖДУ КАЗАРМОЙ И КАБИНЕТОМ МИНИСТРА

К осени 1916 года было уже ясно, что Ист-Энду придется пойти служить, если только еврейское общество хочет избежать скандала, который навеки похоронит доброе имя еврейства в Англии. Для англичан уже введена была конскрипция. Десятки молодых людей из Уайтчепла, мне совсем незнакомых, приходили ко мне в Челси и спрашивали:

— Что делать? Есть ли хоть какая-нибудь надежда, что правительство согласится образовать полк для Палестины?

Но правительство все еще не соглашалось. Китченера уже не было (он погиб 5-го июня 1916 года), но дух его все еще господствовал в военном министерстве, и в генеральном штабе все еще преобладали противники наступления на востоке.

Опять я устроил совещание с немногими друзьями нашего дела. Мы решили, что теперь настало время для новой, совсем уже гласной, попытки поставить и правительство, и общественное мнение лицом к лицу с совершившимся массовым фактом. План наш сводился к тому, чтобы собрать тысячу или больше подписей под заявлением следующего содержания:

«Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю: если будет учрежден еврейский полк, предназначенный исключительно для двух целей, а именно: 1) охрана самой Англии, 2) операции на палестинском фронте, — я обязуюсь добровольно вступить в такой полк».

Лозунгом нашей кампании решено было сделать два слова: «Home and Heim». Если наберется достаточно подписей, мы подадим правительству соответствующую петицию. Вся работа должна быть проведена на частные средства (их предоставил нам Джозеф Коуэн). Я телеграфировал в Копенгаген М.И. Гроссману: «приезжайте». Он ответил: «еду». Но еще за день до его приезда мы выпустили первый номер ежедневной газеты на идише, не только под его редакцией, но даже с передовицей за его подписью (я сам ее сочинил, но Бейлин, прекрасный стилист на этом языке, тщательно выправил мой слог, чтобы не посрамить пуриста Гроссмана). Газета называлась «Наша Трибуна». Главными сотрудниками были Бейлин, Пинский и Кайзер — первые двое уже обладали некоторой известностью как писатели на обоих еврейских языках,

а третий, хотя почти новичок, оказался очень остроумным фельетонистом. Техническую сторону кампании взяли на себя Гарри Фирст и молодой инженер из России И. Я. Аршавский: он как-то пришел в одно из наших собраний просто послушать и тут же обратился в нашу веру, и с того дня отдал в наше распоряжение не только свои недюжинные организаторские способности, но и свои широкие плечи и плотные мускулы. И то и другое понадобилось... С ними работало еще до десяти человек молодежи.

Гроссман приехал, а через несколько дней неожиданно прибыл и Трумпельдор. Все его старания добиться на месте, в Александрии, второго издания Zion Mule Corps ни к чему не привели: отряд был демобилизован.

Через два дня после того, как на улицах Ист-Энда, Сохо, Стэмфорд-Хилла и других отрезков лондонского гетто появилось наше воззвание, Герберт Сэмюэл вызвал меня к себе в министерство внутренних дел.

— Мы все вам очень признательны за эту инициативу, — сказал он. — Может ли министерство в чем-нибудь вам помочь?

— Только в одном, — ответил я, — дайте нам официальное заявление, что если мы соберем тысячу подписей, правительство санкционирует учреждение полка для «Home and Heim.» Если вы это сделаете, я ручаюсь за успех. Если не сделаете — не скрою своих опасений: недоброжелатели скажут, что вся наша затея — подвох, что мы просто хотим выловить для правительства имена еврейских волонтеров, а тут их и схватят, разошлют по английским батальонам и отправят на бойню во Фландрию. Это, конечно, сильно помешает нашей работе.

— Такого заявления дать я вам не могу, — возразил Сэмюэл. — Это не от меня зависит; на это нужно решение всего кабинета. И вы знаете, что еврейское общество — особенно сионисты — настроены резко против этого проекта.

— Столь же резко настроены мои друзья и я против мысли о том, чтобы молодежь Ист-Энда пошла на службу в чужие полки воевать за чужое дело.

Он развел руками, помолчал и спросил:

— Не могу ли я быть вам полезным в какой-нибудь другой форме?

Я поблагодарил и отказался. Искренно признаюсь, что я потом горько жалел об этом гордом, но непрактичном ответе. Слишком сильна оказалась во мне старая закваска российского радикализма, привычка смотреть на «начальство», как на нечто нечистое, от чего порядочному человеку не подобает принимать какую бы то ни было помощь. Я забыл, что в Англии такое отношение к власти неуместно и нелепо. Одну форму помощи я должен был от него принять и даже потребовать: обеспечение порядка на наших публичных митингах.

Ровно месяц продолжалась наша кампания: полный провал. Мы собрали всего около трехсот подписей — и жизнь Ист-Энда в эти недели превратилась в непрерывный скандал. Правда, на первом митинге нашем было тихо: у противников еще было подозрение, что где-то за кулисами мы припрятали полицию, как это делалось при вербовке в английской среде. Но ко второму собранию они уже открыли всю глубину и всю наивность нашего благородства — и принесли с собою не только свистки, но и запасы картошки, — в качестве метательных снарядов. Как всегда, скандалисты были в сущности небольшою группой — говорят, всего человек тридцать, но они хорошо организовались. Мы их встречали повсюду, от Майл-Энда на востоке до Ноттинг-Хилла на западе. Тридцать крикунов — огромная сила, когда противная сторона полицию вызвать не хочет, а сама заняться избиением (количественно мы бы могли уже и тогда провести эту операцию с полным успехом) не решается, чтобы не подорвать морального престижа своей пропаганды. Мы созывали все новые и новые собрания, издавали свою газету («сам» г. Чичерин признал в какой-то корреспонденции, которая была напечатана в Париже, что в литературном отношении газета редактировалась хорошо), но результат в сущности обнаружился уже с первой недели: провал.

Из всех воспоминаний моей жизни этот месяц, вероятно, самое тяжелое — хочется даже сказать: отвратительное. Но справедливость требует признать, что во всем этом меньше всего, может быть, виновата была сама подлинная уайтчеплская масса. Она в подавляющем большинстве искренно хотела нас выслушать. Все, кто посерьезнее, и старые и молодые, уже тогда понимали, что создалось положение, из которого нужно найти выход положительный, что отыгаться

вничью тут уже невысказано. Но как могли они верить в то, что путь, предлагавшийся нами, есть путь возможный? Со многих сторон, особенно же со стороны официально-сионистской (жалею, что приходится это сказать, но должен), им нашептывали на ухо, что мы только дурачим и себя и публику, что правительство никогда ни за что не согласится на особый полк и что вся затея — как я и предупреждал Сэмюэла — кончится подвохом. Со стороны правительства план наш явно не имел никакой поддержки. Ясно, что на такой почве подозрительности и сомнений уже не трудно было шайке хулиганов создать настроение паники, запугивать каждого, кто пытался серьезно вдуматься в наши проекты, что он предатель, что он помогает заманить своих братьев «не в Палестину, а в Верден».

Надо и то признать, однако, что у этого маленького хора оказался первоклассный дирижер: рука, незримо для нас размахивавшая палочкой, принадлежала тому самому приятелю м-ра Кинга, м-ру Чичерину.

Продержавшись четыре недели, мы решили прекратить кампанию и закрыть газету. Гроссман уехал обратно в Копенгаген. А я дал себе святой зарок: в следующий раз (ибо мы еще увидимся) кампания наша будет проведена в образцовом порядке, во сколько бы это ни обошлось разбитых голов, — и м-р Чичерин будет тогда сидеть спокойно и не вмешиваться в наши дела.

* * *

И ровно через месяц после этого, кажется, величайшего изо всех моих провалов, вдруг сам собою выстроился тот краеугольный камень, на котором суждено было впоследствии укрепиться еврейскому легиону.

Трумпельдор, поселившийся неподалеку от меня в Челси, пришел ко мне однажды утром и показал записку: «Мы вчера приехали, находимся в казармах по такой-то улице. Нас 120 человек. Приходите. Нисель Розенберг».

— Кто такой Нисель Розенберг?

— А вы его не помните из Габбари? Он был там один из лучших работников, а у меня в отряде — один из лучших сержантов.

Эти сто двадцать бывших солдат александрийского отряда опять записались в армию. Из Александрии их доставили в Лондон. Ехали они с приключениями, где-то близ Крита

напоролись на мину и спаслись вплавь, но доехали. Когда мы к ним пришли, оказалось, что у них одна главная забота: определяют ли их всех в один и тот же батальон или разбросают по разным лагерям. Непосредственное начальство в той казарме, сразу невзлюбившее экзотическую компанию, напустило их предсказанием, что несомненно разбросают.

— Надо взять за бока Патерсона, чтобы он взял за бока Эмери, — сказал Трумпельдор.

Патерсон к тому времени командовал базой ирландского полка в Портобелло-Барракс, в Дублине; капитан Эмери имел уже свой кабинет в секретариате у Ллойд Джорджа. Обоих «взяли за бока», и через два дня получилось сообщение, что все александрийцы, за исключением тех, которые при медицинской проверке окажутся негодными для строевой службы, будут скопом отправлены в 20-й Лондонский батальон, лагерная база которого находится под Винчестером; и больше того — там из них будет образована особая рота.

Эмери сказал, как всегда глядя в пол и скупно цедя слова и как всегда к делу:

— Это, пожалуй, и есть то ядро, которого нам не доставало. Теперь надо только уметь использовать этот факт. Настроение в пользу вашего плана имеется и в правительстве, и в обществе. Смотрите, чтобы ядро оказалось прочным. Все, пожалуй, зависит от этого.

Он был прав: настроение к тому времени уже явно клонило в сторону нашего проекта. Уже несколько месяцев шла канцелярская переписка о еврейском легионе между военным министерством, министерством иностранных дел, секретариатом Ллойд Джорджа, русским посольством; и почти всю переписку эту вели убежденные друзья нашего дела: капитан Эмери, сэр Рональд Грэхем, К. Д. Набоков. М-р Кинг, из Савла ставший Павлом, свел меня с редакцией одного из важнейших либеральных органов Англии — «The Nation.» Там помещено было пространное мое письмо с обоснованием, почему как раз радикальные круги британского общества должны, в интересах либеральной традиции, поддержать идею легиона. Х. Е. Вейцман познакомил меня с Ч. П. Скоттом, редактором газеты «Manchester Guardian». Эта газета, как известно, занимает в Англии то же

положение, какое принадлежало в русской печати «Русским Ведомостям»; а сам м-р Скотт, старик с обликом патриарха и глазами юноши, считался тогда — если не ошибаюсь, считается и по сей день — самой выдающейся фигурой в журнальном мире страны. Ллойд Джордж признавал его своим учителем, и потому передовицы манчестерской газеты имели в то время особенный вес. Одна из этих передовиц была посвящена плану легиона.

Но еще важнее была для нас поддержка «Таймса». Лорд Нортклиф был в то время в апогее своей власти: слово «Таймса» считалось окончательным приговором. Но главным редактором всемогущей газеты был тот самый Генри Уикхем Сид, к которому Сеньбос в Париже дал мне когда-то рекомендательную карточку. Я предъявил эту карточку и познакомился с г. Сидом еще весной того года. Сид кто-то называл умнейшим из англичан. Поскольку я встречался с англичанами, думаю, что это похоже на правду. Это человек исключительно широкой культуры; половину своей жизни он провел в разных странах Европы.

Однажды я пришел к нему и сказал:

— Теперь настал момент для выстрела из большой пушки: нужна статья в «Таймсе».

— Напишите письмо в редакцию, — ответил он, — а я дам передовицу.

Когда появился этот номер газеты, в ресторане подошел ко мне один из самых свирепых наших ругателей, кисло улыбнулся и сказал:

— Ваше дело в шляпе: «Таймс» высказался...

Эмери был прав: все теперь зависело от маленькой «экзотической» роты в 20-м Лондонском батальоне. Это корень; если он уцелеет — вырастет дерево; если сгниет — пропало.

Я поехал в Винчестер. Местность Хэзлей-Даун, где находился лагерь, была в четырех милях от города. Лагерем командовал подполковник Эштон Паунол (теперь он консервативный член палаты общины), учтивый, мягкий, несколько застенчивый джентльмен в пенсне. Я спросил его:

— Примете меня рядовым — с тем, чтобы я попал в вашу пятую роту? («Е» Company — так они назывались официально.)

— Милости просим, — сказал он и пригласил меня к завтраку в офицерской столовой. Потом я об этом жалел: очень неприятно было стоять навтыжку перед молодыми людьми, с которыми я месяц тому назад обменивался анекдотами за кружкой пива.

* * *

Трумпельдор в то время хлопотал о зачислении в армию — конечно, в офицерском чине, хотя бы подпоручиком; отказ еще не получен, и оба мы были вновь полны надежд.

После поездки в Винчестер мы зашли к Эмери рассказать про «пятую роту». Он выслушал, помолчал, посмотрел в пол и сказал:

— Мне кажется, что теперь полезно было бы подать премьеру обстоятельную докладную записку о вашем плане с указанием, что в Винчестере имеется ядро. Если хотите, можете подать через меня.

Мы отсидели три вечера за составлением записки; Эмери просмотрел ее, указал нужные поправки, и накануне моего превращения в солдата, пока еще я был свободным гражданином из-за границы (кажется, 21-го января 1917 года), мы с Трумпельдором подписали этот документ, которому суждено было вскоре очутиться на столе тайных заседаний военного кабинета.

Еще одну рукопись успел я сдать по назначению накануне того, как лишился права высказывать печатно свои мысли на военные темы: это была книга «Турция и война», которую я написал для издательства Фишер Унвин. В ней развивались три основные мысли: первая — Турция должна быть разделена, в этом весь смысл войны и главное средство против будущих войн; вторая — Палестина должна войти в сферу британского влияния; третья — главный фронт войны есть фронт восточный.

Прямо от издателя я поехал в рекрутское бюро, принес присягу и получил «королевский шиллинг» — точнее, два шиллинга и шесть пенсов — в счет моего солдатского жалования.

* * *

Я упомянул имя Г. У. Стида — его заслуги перед сионизмом дают ему право на более подробное знакомство читателя. Не только в истории легиона, но и в истории Декларации

Бальфура он сыграл исключительно важную роль. За месяц перед 2-м ноября 1917 г., когда ассимиляторы — кажется, все с тем же неугомонным лордом Суэтлингом опять во главе — делали ряд последних усилий, чтобы предостеречь правительство от сионистского шага, Сид ответил им уничтожающей передовой статьей, и это их и прикончило. «Таймс» высказался...

Еще молодым человеком, лет 30 назад, Сид был корреспондентом того же «Таймса» в Вене. Там он и познакомился с Герцлем, и скоро они стали друзьями. Он понял и Герцля, и сионизм, как редко понимают христиане: внутреннюю, тонченно-эстетическую и этическую сторону движения, отвратительность самоотречения: все это ему было так же ясно, как и реальная тоска о государственной самобытности. И, конечно, как бывает с каждым неевреем, который «слишком» вглядывается в еврейскую душу, многие из соплеменников наших считали и считают его «антисемитом». Признаюсь, я никогда не понимал этой привычки нашей — усматривать Гамана нечестивого в каждом арийце, который позволит себе рассказать еврейский анекдот, причем его анекдот еще похож на ласку в сравнении с тем, что мы сами о себе рассказываем. Сид говорил о евреях так точно, как говорил бы о них сионист; называл ассимиляцию подделкой; верил в силу еврейского народа (в его книге «Монархия Габсбургов» глава о народностях старой Австрии начинается фразой: «важнейшая из них — еврейская национальность»); о Герцле он умел говорить с трогательной и почтительной серьезностью. Свою дружбу он доказал реальными и важными услугами в самый ответственный момент нашей новой истории. Говорят, в последнее время он напечатал в своем журнале (теперь он давно ушел из «Таймса» и редактирует ежемесячную «Review of Reviews») несколько весьма критических статей о евреях. Возможно; я не читал; но охотно ему разрешаю. Сид заслужил право говорить с нами, как ему угодно.

* * *

О казарменных моих переживаниях подробно рассказывать не стоит: служил рядовым, как все рядовые, только без той молодости и ловкости, что полагаются рядовому. В первые дни, пока у меня еще ломило предплечья от антифосной прививки, подметал полы в нашем бараке и мыл

столы в столовой у сержантов. Сержант Блитштейн из нашей роты сказал мне: «Отлично вымыли. Сержанты даже хотят просить полковника, чтобы вас вообще назначили на эту должность при нашей столовой». Этот Блитштейн, русский еврей, Бог ведь как попавший на полицейскую службу в Александрии, охранял когда-то порядок у нас при беженском бараке в Габбари; большой остряк и вообще славный малый, из породы добродушных и циничных толстяков. Однако на ту должность меня не назначили, а наоборот — скоро перевели в команду для подготовки унтеров, конечно, не за мои таланты, а исключительно по любезности полковника.

Зато интересны были мои товарищи по «пятой роте». В начале этих записок я рассказывал о Габбари и о пестроте тамошнего состава. Здесь было меньше народу, но не меньше разнообразия. Большинство, конечно, уроженцы России, в том числе три или четыре субботника чисто русской крови, — по-еврейски «геры», как полагается, белокурые и синеглазые, притом с очень чистым произношением по-древнееврейски — по-русски зато уже говорили с акцентом. Один из них, Матвеев, добрался до Палестины всего за несколько дней до войны: пришел пешком из Астрахани в Иерусалим прямо через Месопотамию; в субботние вечера он очень серьезно напивался, совсем по-волжскому, и тогда ложился в углу на свою койку и в голос читал псалмы Давидовы в оригинале из старого молитвенника. Еще там было семь грузинских евреев, все с очень длинными именами, кончавшимися на «швили». Забавно было слышать, как английские сержанты ломали себе над ними языки по утрам во время переклички: «Паникомошиашвили!» — «Есть!» Это были семеро молодцов как на подбор, высокие, стройные, с правильными чертами лица, и первые силачи на весь батальон. Я их очень полюбил за спокойную повадку, за скромность, за уважение к самим себе, к соседу, к человеку постарше. Один из них непременно хотел отнять у меня веник, когда меня назначали мести. Другой, Сепиашвили, впоследствии первый в нашем легионе получил медаль за храбрость. Кроме того, были среди нас египетские уроженцы, с которыми можно было мне сговориться только по-итальянски или по-французски. Два дагестанских еврея и один крымчак поверяли друг другу свои

тайны по-татарски. А был там один, по имени Девикалогло, настоящий православный грек, неведомо как попавший к нам, и с ним я уже никак не мог сговориться: если бы сложить нас обоих вместе, то знали мы вдвоем десять языков — только все разные.

Не все они остались с нами до конца. О доброй половине я вообще не знаю, что привело их в казарму. Может быть, консул заставил, или голод, или страсть к приключениям, или вообще шальная атмосфера военного времени, когда шагаешь и не отдаешь себе отчета, куда. К Палестине у этой части, во всяком случае, никакого касательства не было. От них мы скоро избавились: раздали их в рабочие батальоны, в обоз, некоторых просто отпустили на свободу, других вернули в Александрию. К началу весны осталось всего человек 60, зато настоящих. Это не значит, чтобы с ними не было у нас забот. Забот было много, особенно много стало с того момента, когда из России пришли вести о первой революции, а у нас тут все еще не было еврейского легиона. Помню утро, когда 20 человек вдруг отказались выйти на учение и предъявили ультиматум — а на военном языке это значит бунт. Два дня бился я с ними, изоощряя все свои дипломатические способности; если бы не бесконечный такт полковника Паунола, дело бы кончилось катастрофой, военным судом и, может быть, распадом всего моего «ядра». Полковник понял положение и пошел на уступки, вероятно, совершенно беспрецедентные в истории английской армии. С его разрешения забастовщики наши выбрали делегата, и я повез его в Лондон к К.Д. Набокову: граф Бенкендорф тогда уже умер, и Набоков был исполняющим должность посла. Понял положение и он: принял моего делегата с обворожительной любезностью, уверил его, что, насколько известно посольству, образование легиона предстоит в ближайшем времени, а что касается до свободной России, то она требует от этих граждан своих одного — довести до конца героическую борьбу за идеал, которую они так блестяще начали в Галлиполи.

А все-таки, несмотря на это приключение и на много других загвоздок, эти были «настоящие». 60 человек никак не могли считаться ротой, и нас разжаловали в простой чин взвода. Но этот «шестнадцатый взвод» действительно сыграл

роль ядра. Не только в том смысле, что вокруг него и создавался весь легион, но и в том смысле, что в самом легионе они потом играли роль ветеранов, позвоночного столба и железной скрепы.

* * *

Из казармы я продолжал переписку с Эмери и Грэхемом. Докладная записка наша с Трумпельдором была подана премьеру, ее уже обсуждали в заседании военного кабинета; и кабинет предложил военному министру «обсудить детали плана с авторами докладной записки».

Это было незадолго до нашей Пасхи. Я находился в отпуску в Лондоне, жил там на старой своей квартире в Челси, и туда мне раз доставили от руки написанное письмо генерала Вудворда, бывшего тогда директором организационного отдела при военном министерстве. Генерал просил меня пожаловать в министерство сегодня же в 2 часа на свидание с министром лордом Дарби. По первому слову письма — «сэр» — и по всему его содержанию я понял одно: ни генералу, ни министру неведомо, что «сэр» этот состоит теперь рядовым одного из пехотных батальонов британской армии. Мы устроили с Трумпельдором военный совет. Как тут быть? Увидев на мне солдатскую фуражку, не испугаются ли министр и генерал такой беспримерной неслыханности, как политическое совещание между главой военного министерства и рядовым пехотинцем? Я готов был просить Трумпельдора заменить меня, но он не доверял своему английскому красноречию. В конце концов мы решили ехать вдвоем. Ровно в два часа, у дверей кабинета директора организации в военном министерстве, я передал ординарцу генерала Вудворда наши визитные карточки. Нас сейчас же пригласили войти. Я собрался с духом, выпятил грудь, маршем вступил в кабинет, как полагается, с фуражкой на голове, вытянулся, отдал честь и представил Трумпельдора и себя.

Должен сделать генералу комплимент: хотя лицо его выразило совершенно гомерическую степень изумления, на словах этого он не показал. Он сказал:

«Oh yes... я доложу министру», — и вышел, не глядя на нас. Зато у министра он просидел больше пяти минут. Трумпельдор подмигнул и пробормотал:

— У них тоже военный совет.

Наконец вышел из того кабинета секретарь и пригласил нас в кабинет. Тут уже я, слава Богу, мог снять фуражку: лорд Дарби — штатский, стоять навытяжку необязательно.

Министр оказался высоким, широким барином, в теле, классического, хотя в жизни теперь очень редкого, джонбулевского типа, с полнокровным лицом; говорил он с акцентом, который в Англии называют помещичьим, т.е. произносил окончание «ng» просто как «n» — *speakin', writin'*. У простонародия это считается недостатком, но для лорда это, говорят, шик. Впрочем, очень милый, веселый и приветливый господин.

Мы уселись; генерал сидел в углу и молчал.

— Премьер-министр поручил мне, — сказал лорд Дарби, — расспросить вас о подробностях вашего плана еврейской боевой единицы.

Я рассказал: слава Богу, знал эту премудрость уже наизусть и со сна мог бы ее изложить без запинки.

— *I see*, — ответил министр. — Теперь другой вопрос. Считаете ли вы, что создание такого контингента послужит серьезным толчком к большому притоку волонтеров?

Ответил ему Трумпельдор с настоящей солдатской точностью:

— Если это просто будет полк из евреев — пожалуй. Если это будет полк для Палестины — тогда очень. А если вместе с этим появится правительственная декларация в пользу сионизма — тогда чрезвычайно.

Лорд Дарби мило улыбнулся и сказал:

— Я — только военный министр.

Трумпельдор мило улыбнулся и сказал:

— Я только отвечаю на ваш вопрос.

— *I see*. Теперь третий вопрос: я слышал, что в 20-м Лондонском батальоне есть группа солдат-сионистов, из бывших чинов *Zion Mule Corps*.

— Так точно, 16-й взвод, — сказал я, — там я и служу; а капитан Трумпельдор командовал ими в Галлиполи.

Министр и генерал переглянулись и тут только присмотрелись к солдатскому обличию Трумпельдора и к его неподвижной левой руке; потом Дарби слегка наклонил голову в знак молчаливого признания, а генерал еще больше выпрямился на своем стуле в углу.

— Что же, по-вашему, полезнее, — продолжал министр, — сделать из этого взвода группу инструкторов для будущего еврейского полка или послать их в распоряжение сэра Арчибальда Маррэя в качестве проводников для предстоящих операций на юге Палестины?

(В то время английские войска уже перешли Синайскую пустыню; генерал Маррэй (Murrey), тогдашний главнокомандующий египетской армией, стоял недалеко от Газы.)

Трумпельдор сказал:

— Насколько я знаю своих бывших солдат, в проводники они вряд ли годятся. Генерал Маррэй легко найдет гораздо лучших знатоков страны. А для роли инструкторов они вполне подходят.

— Но ведь в Галлиполи они служили в транспорте, — вмешался генерал, — а полк предполагается пехотный.

— Полковник Паунол, — сказал я, — очень доволен их успехами в строю, в службе и в штыковом бою; а кроме того, все вместе они говорят на четырнадцати языках, и это понадобится.

— В жизни не предполагал, — рассмеялся министр, — что есть на свете целых четырнадцать языков.

Рассмеялся и Трумпельдор. Мне при генерале смеяться не полагалось, и я доложил очень серьезно:

— Так точно, милорд, есть — а чтобы сговориться с евреями, и этого недостаточно.

— Ладно, — сказал министр. — Очень вам благодарен, господа. Относительно имени нового полка, полковой кокарды и всего прочего сговорится с вами генерал Геддес, директор отдела вербовки. Он вас вызовет.

Мы откланялись и ушли.

На следующее утро, когда я, вернувшись в лагерь, рассказал об этом свидании полковнику Паунолу, он отметил тут неслыханное нарушение всех традиций британского военного министерства. Он высказал готовность дать руку на отсечение, что с тех пор, как существует английская армия, еще никогда не бывало такого происшествия с рядовым.

Но не хотят бессмертные боги, чтобы возгордился человек, даже после побитого рекорда. Мне об этом в то же утро очень нелюбезно напомнила действительность. Помню, солдаты ушли на учение, а я остался в бараке, потому что за мной

числился еще день отпуска. Как раз накануне, в мое отсутствие, получились первые экземпляры той самой книги моей «Турция и война», где, как дважды два четыре, было доказано, как и почему надо Турцию разделить и кому что достанется; страшно мне понравился красный коленкоровый переплет, и я даже погладил его, словно мать головку первого ребенка, и размечтался чрезвычайно оптимистически о судьбе этого детища, о влиянии, которое книга обязательно окажет на военных специалистов, посрамив окончательно «западную» школу Китченера и утвердив победу «восточной» школы Ллойд Джорджа... Вдруг в барак влетел, в предшествии запыхавшегося сержанта, юный рыжий подпоручик: дежурный офицер на утренней ревизии. Я встал. Он орлиным оком окинул окна, почему-то закрытые, нахмурился и сказал:

— Эй вы там, рядовой в очках, — открыть!

— Которое, сэр? — спросил я.

— Все, болван этакий (you bloody fool), — изрек он и проследовал дальше.

ГЛАВА VII

ПОБЕДА

Капитан Эмери был неутомим: раза два в неделю, не реже, приходил за мною вестовой на плац-парад учебной команды с распоряжением ехать в город. В батальоне это мне создало репутацию не то комической фигуры, не то просто недоразумения. Английские сержанты постепенно перестали принимать меня всерьез в качестве солдата. Когда я, грозно рыча по приказу, налетал на соломенный мешок, изображавший немца, и попадал ему штыком вместо сердца в желудок, сержант говорил: «Для Уайтхолла — недурно».

В конце концов, произвели меня в чин, который я и перевести не умею: по-английски *unpaid Lance-Sergeant*, т.е. вроде сержанта, но не совсем, и с жалованием не сержантским, а всего лишь капральским. Добрый знакомый мой, заведовавший винной лавкой общества Кармел в Лондоне, прислал мне десять бутылок палестинского вина, и я «поставил» их сержантам в первый мой вечер в их столовой — той

самой столовой, где когда-то мыл столы с таким успехом. К сожалению, преемник мой по этой гигиенической должности далеко не стоял на той же высоте.

* * *

Из более важных свиданий и встреч того времени отмечу здесь только одно.

Генерал Смэтс, премьер Южной Африки, приехал тогда в Лондон участвовать в заседаниях военного кабинета. Он играл в то время большую роль; конечно, не столько ради реального веса той военной помощи, какую могла оказать Англии небольшая колония, сколько из-за самой его личности. Как и генерал Бота, за двадцать лет до того Смэтс был одним из опаснейших противников Англии на полях бурской войны. Поэтому теперешний его британский патриотизм имел нравственную ценность манифестации во славу государственного строя Британской империи. К тому же и сам он — человек высокообразованный, воспитанник университетов Голландии, Гейдельберга, Кембриджа, интересный писатель и мыслитель. Он сионист того же типа, что Бальфур или Роберт Сесил: искренно считает, что Декларация Бальфура есть, быть может, лучшее из всех достижений мировой войны. Его приезд дал окончательный перевес в военном кабинете сторонникам сионизма над противниками (во главе противников стоял, конечно, еврей, покойный Эдвин Монтегью). Смэтсу было тогда на вид не более сорока лет, хотя он был, конечно, старше. Производил он впечатление хорошо воспитанного, в обращении простого интеллигента — не английского, а континентального типа; по-английски говорил с акцентом, особенно с гортанным голландским «р».

Он расспросил меня обо всех подробностях плана. Несколько фраз его сохранились у меня в письмах, которые я посылал домой в Петербург. Одна о легионе:

— Это одна из самых красивых мыслей, с какими довелось мне сталкиваться в жизни: чтобы евреи сами бились за землю Израиля.

Две другие о России, о которой к концу беседы он много расспрашивал. В то время уже было известно, что и армия, и государственный порядок быстро идут к распаду.

— Россия, может быть, и падет, и немцы думают, будто это им поможет; но Самсон больше врагов погубил в час своей смерти, чем за целую жизнь.

— Керенский — святой человек. Но он адвокат: он думает, будто мир есть судебная палата, где побеждает тот, у кого лучшие аргументы. Вот он и аргументирует; а его противники копят динамит.

* * *

По распоряжению военного министра вызвал меня к себе директор отдела вербовки ген. Геддес (впоследствии британский посол в Вашингтоне). Мы вместе выработали, что полк будет называться коротко и ясно: The Jewish Regiment. Форма будет обычная, только вместо фуражки — колониальная шляпа, вроде как у бойскаутов. Кокарда — семисвечник («менора») с еврейской надписью «кадима» — это значит и «вперед», и «на восток».

— А кого вы бы хотели командиром? — спросил генерал. — Есть у вас в виду кандидат-еврей?

Трудный вопрос. В кармане у меня лежало письмо Патерсона из Дублина. «...По моему глубокому убеждению, вам нужен полковник еврей. Я был бы счастлив опять вести в огонь еврейских солдат; но и справедливость, и интересы нашего дела требуют, чтобы честь эта досталась еврею».

Правильно — только где такого найти? В ассимиляторском окружении майора Лайонела Ротшильда можно было найти человека с подходящим чином — но уж очень я разборчив в применении титула «еврей». Изо всей этой компании один только офицер отнесся к нашему делу сразу «по-еврейски» — звали его майор Шенфильд, и он, насколько мог, был нам полезен в первое время моей работы. Джеймс Ротшильд тогда уже перешел из французской армии в канадскую, но он еще был поручик. Л. М. Марголин, тот австралийский поручик, о котором я упоминал в рассказе о Габбари и о котором часто с тех пор думал, был уже, правда, майором, но он стоял где-то во Фландрии со своими австралийцами и не согласился бы уйти с фронта. О полковнике Ф. Сэмюэле я тогда еще не слышал. Но, при всем уважении к упомянутым именам, я и теперь думаю, как думал тогда, что историческую честь эту честно заслужил другой: тот, кто не постыдился

стать во главе еврейских «погонщиков» и сумел сделать из них боевую единицу, при упоминании которой военный министр наклоняет голову; тот, кто и в госпитале думал о нас и продолжал нам помогать, составляя книгу, которая потом много нашумела, — «С сионистами в Галлиполи»; тот, который поверил в нас с первого момента, когда еще все над нами смеялись.

Я сказал:

— Есть один только кандидат: хоть он не еврей, но полковником нашим должен быть он, и надеюсь, он будет еще нашим генералом: Патерсон...

* * *

Трумпельдора в то время уже не было в Англии. Долго он добивался зачисления в тот же 20-й батальон, где служили его галлиполийцы, готов был идти хоть подпоручиком, согласился бы, верно, пойти даже унтером, но об этом не могло быть речи с одной рукою, а офицерского чина военные бюрократы дать ему не хотели. Главный довод был тот, что по английской конституции иностранец не может быть офицером; в александрийском отряде, по их словам, было другое дело: то не регулярная армия; а в регулярной — нельзя. Трумпельдор выслушал приговор, улыбнулся, сказал сначала: «Не хотят, шельмы этакие», — а потом прибавил: «Эн давар», — и решил уехать в Россию.

— Что вы там делать будете? — спросил я.

Оказалось, у него были два грандиозных проекта. Во-первых, он считал несомненным, что правительство Керенского, с Савинковым в качестве военного министра, согласится на создание еврейской армии — не просто полка, а настоящей армии в 100 000 или больше, и притом из другого сорта молодежи... И эта армия должна будет пойти на кавказский фронт и оттуда, может быть, прорваться через Армению и Месопотамию до самого Заиорданья.

— А во-вторых?

Никогда не забуду его ответа, даже обстановки не забуду. Мне он дал свой ответ в скупо освещенной комнате, где-то на задворках Челси, но еврейский народ получил тот ответ на горах и в долинах Палестины, и народ его тоже никогда не забудет. Первому плану его помешал развал России;

второй он осуществил. Слов его я не записал — незачем: я их и так запомнил. В той каморке, летом 1916-го года, он развил передо мною простой и величественный замысел «халуцианства».

— Халуц — значит «авангард», — сказал я. — В каком смысле авангард? Рабочие?

— Нет, это гораздо шире. Конечно, нужны и рабочие, но это не то. Нам понадобятся люди, готовые служить «за все». Все, чего потребует Палестина. У рабочего есть свои рабочие интересы, у солдата свой *esprit de corps*; у доктора, инженера и всяких прочих — свои навыки, что ли. Но нам нужно создать поколение, у которого не было бы ни интересов, ни привычек. Просто кусок железа. Гибкого, но железа. Металл, из которого можно выковать все, что только понадобится для национальной машины. Не хватает колеса? Я — колесо. Гвоздя, винта, блока? Берите меня. Надо рыть землю? Рою. Надо стрелять, идти в солдаты? Иду. Полиция? Врачи? Юристы? Учителя? Водоносы? Пожалуйста, я за все. У меня нет лица, нет психологии, нет чувств, даже нет имени: я — чистая идея служения, готов на все, ни с чем не связан; знаю только один императив: строить.

— Таких людей нет, — сказал я.

— Будут.

Опять я ошибся, а он был прав. Первый из таких людей сидел предо мною. Он сам был такой: юрист, солдат, батрак на ферме. Даже в Тель-Хай он забрел искать полевой работы, нашел смерть от ружейной пули, сказал «эн давар» и умер бессмертным.

* * *

Полковник Паунол вскоре после моего свидания с лордом Дарби получил распоряжение образовать из нашего взвода особую команду инструкторов. Руководителями команды были назначены сержант-мажор Ричард Кармел и я. Дик Кармел (мы его уже застали в 20-м батальоне, и, услышав, что устраивается еврейская рота, он попросился к нам) был юноша совершенно английского воспитания, родом откуда-то из Уэльса, где совсем нет евреев: на идише он едва знал несколько слов и умел коверкать какие-то молитвы. Но в наших «boys» он сразу влюбился, а понемногу стал

и сторонником нашего плана. Притом он был бесспорно одним из лучших и наиболее «хватких» («smart») инструкторов, каких я вообще встречал за все время в армии.

Я очень люблю воспоминания того лета. По утрам мы со всей командой уходили в зеленые холмы Хэмпшира. Иностранцы слышали о лондонских туманах и не знают, что Англия, пожалуй, самая очаровательная страна в Европе, изумительно богатая речками, рощами, маленькими мягкими холмами, селами, похожими на пейзаж с открытки, — и в особенности зеленая, такая изумрудно-зеленая, как никакой другой край на свете. Хэмпширские «Downs» вокруг Винчестера, где находился наш лагерь, — кусок тихого рая. Там мы проводили целые дни и там доканчивали унтерское обучение моих товарищей. Я правду сказал лорду Дарби — это были первоклассные солдаты, во всем батальоне говорили об их стрельбе и штыковой работе. Осталось только научить их искусству командования. Кармел заставлял их поодиночке вылезать на холм и оттуда подавать команду так, чтобы на соседнем холме было слышно. Мы им читали элементарные лекции по теории военного дела. Дали понятие о тактике, стратегии, фортификации. Они чертили топографические наброски, сами устраивали потешные маневры. Я думаю, что в общем они получили не только унтер-офицерскую подготовку, но отчасти и кадетскую. Маленькая «комиссия» из гебраистов тем временем выработала командную терминологию по-древнееврейски: впоследствии ею пользовались в нашем 3-м (палестинском) батальоне, а еще позже, в черные дни, — в иерусалимской самообороне. Это были милые, толковые, смелые юноши. Многие из них живут теперь в Палестине; для других благодарный еврейский народ не нашел места на исторической родине; двух из них я встретил в Нью-Йорке; а некоторые спят под знаком Щита Давидова на горе Елеонской.

* * *

В Уайтчепле уже знали, что «идет легион». На собрании сионистского комитета даже Н.О. Соколов сдал позицию и заявил по адресу младших товарищей: «Надевайте хаки, чтобы потом иметь право носить бело-голубые одежды». Сотни две учеников Гарри Фирста с нетерпением ждали момента, когда

откроется запись; остальная молодежь собиралась по чайным и шумела за и против. В то же время разнесся слух, что правительство ведет переговоры с Петербургом о введении конскрипции для иностранцев.

Это была правда. В Ист-Энде ворчали, что это все «происки легионистов». Евреи не верят просто в историю, в безличную силу, которая сама создает факты, хотим ли мы их или нет: евреи всегда доискиваются, кто «виноват». Конскрипция была неизбежна, даже если бы «легионисты» пытались этому помешать. Но я должен здесь сказать открыто охотно, что ни за что на свете не стал бы мешать. Напротив.

Однажды я получил от К.Д. Набокова телеграмму: «Если можно, берите отпуск и приезжайте, дело срочное».

В посольстве на Чешам-сквере он показал мне телеграмму русского министра иностранных дел Терещенко: министр запрашивал мнение посла о конскрипции для русско-подданных в Англии. Английское правительство на этом настаивало: как настроено общественное мнение, в частности еврейское?

Я сказал:

— У англичан, без различия вероисповедания, нет об этом двух мнений, есть одно: конскрипция. Среди эмигрантов-евреев два мнения. Одно — это мнение Ист-Энда: нет. Другое — мнение моих друзей и мое: да.

— Почему?

— Во-первых, я человек континентальный, считаю английскую систему добровольного набора вообще одной из величайших здешних нелепостей и сочувствую конскрипции вообще. Покуда есть на свете войны, до тех пор участие в войне есть обязанность, а не спорт для любителей. Во-вторых, на третий год такой страшной войны даже Гарибальди не удалось бы набрать много добровольцев. Энтузиазм потух. Сами коренные англичане теперь добровольно не идут, пришлось их брать принудительно. Смешно ожидать, чтобы Уайтчепл в 1916-м году вдруг проявил боевое настроение, которое даже средний англичанин потерял уже в 1915-м году; и глупо и несправедливо было бы ставить в минус Уайтчеплу то, что такого аппетита он теперь не испытывает и не проявляет. Тем не менее, Уайтчеплу поставят это в минус, и провал добровольного набора — теперь со-

вершенно неизбежный — вызвал бы в английских массах беспремерный взрыв расовой ненависти. Этого допустить нельзя. Конскрипция!

Он кивнул головой:

— Я и сам так думал — вот проект моей ответной депеши: то же самое.

Я и по сей день держусь того же мнения. И война, и военная служба — болезнь; верю, что когда-нибудь человечество от них излечится. Но до тех пор нельзя мириться с системой, при которой все бремя падает как раз на лучших патриотов, а равнодушные сидят дома. И неправда, будто волонтерская армия более «героична». Французские солдаты при Вердене были не «волонтеры». Гарибальди когда-то сказал: «Со второго дня службы не остается никакой разницы между добровольцем и рекрутом по набору». Это верно.

В наших батальонах были те и другие. Даже из «лондонского» состава можно было насчитать несколько сот, записавшихся до призыва. Палестинские волонтеры, аргентинцы, турецкие военнопленные — в общем, больше трети всего легиона — тем даже пришлось долго воевать с начальством, особенно с генеральным штабом Алленби, пока их приняли на службу. Но в самом процессе службы разницы никакой не было. Я уже писал об этом: «шнейдер», кличка уайтчеплских конскриптов, стала у нас, в конце концов, почетным званием, синонимом хорошего солдата; и уайтчеплская молодежь это честно заслужила.

...В августе 1917 года одно за другим появились два официальных сообщения: конскрипция для русских граждан в Англии и учреждение еврейского полка. Нам дали три комнаты в департаменте вербовки. Явившись обозреть наши владения, я нашел, что этот «аннекс» военного министерства помещается в здании либерального клуба, где когда-то назначил мне свидание м-р Кинг, уже давно, оказывается, реквизированном. Я поехал в лагерь под Винчестером, попрощался с полковником Паунолом, поблагодарил его за терпение, такт и помощь, взял с собою трех галлиполийцев из нашего «шестнадцатого взвода» и переселился в Лондон. Там я узнал от генерала Геддеса, что полковник Патерсон уже получил распоряжение сдать свой дублинский батальон новому командиру и что дня через три он будет в Лондоне и станет во главе еврейского контингента.

Еще до приезда генерал Геддес устроил совещание офицеров, заведовавших разными отделами его департамента, о том, как организовать набор. Совещание решило: несмотря на конскрипцию, развить энергичную пропаганду, чтобы разъяснить еврейскому обществу и моральное, и национально-еврейское значение легиона.

К концу совещания один из офицеров заметил:

— Нужно, однако, считаться с тем, что будет сильная контрагитация. Это та же шайка, что в прошлом году сорвала вашу первую кампанию, сержант Ж. Я получил донесения: они уже готовятся, снуют по углам и распускают вздорные слухи.

Я знал об этом: мои уайтчеплские друзья тоже успели представить свои доклады. Те же типы, что и год назад, может быть, еще и в усиленном составе, снова ходят по кофейням и уговаривают еврейскую молодежь «начихать на конскрипцию». Им, мол, известно, что правительство Керенского уже раскаивается в своей согласии, а совет рабочих депутатов скоро заставит его и совсем отказаться от договора. И лучшее средство ускорить этот поворот назад — скандалы и повальный отказ от явки на службу. Но уж если кто согласен идти в солдаты, то куда угодно, лишь бы не в еврейский полк: еврейский полк — ловушка; его пошлют не в Палестину, а в худшее пекло всего союзного фронта — Фландрию — и там бросят на убой. Сам Ллойд Джордж будто бы сказал: «Еврейями мы заткнем все газовые щели»; и лорд Дарби сказал то-то; и кто-то третий еще что-то, и так без конца.

Но у того офицера оказались еще более подробные сведения:

— Слыхали ли вы, сержант, о некоем мистере Чичерине? Он не еврей, но, как мне доносят, он и есть главный, хотя закулисный коновод всей этой контрагитации.

Роль мистера Чичерина была мне, как сказано, уже давно знакома. Главным коноводом я бы его не назвал: он тогда уже больше интересовался чисто российскими делами. Но в свободные часы, в те минуты досуга, когда можно уделить мимоходом каплю рассеянного внимания вещам побочным и несущественным, он, действительно, развлекался подливанием керосина в еврейский огонь. В частности, от него шли все заверения о том, что «совет рабочих депутатов не

допустит». И почему бы нет? Чем он рисковал? Ни ему, ни его племени за нашу разбитую посуду платить не придется. Сион или голус, дружба наша с Англией или вражда с каждым англичанином — он тут ничего не выиграет и не проиграет. Отчего не позабавиться?

Я сказал:

— О м-ре Чичерине я слышал; но друзья мои и я того мнения, что теперь вся эта группа уже не опасна. Мы будем печатать воззвания, будем созывать митинги — рассудок и логика победят. А о срыве собраний, как в прошлом году, теперь не может быть речи: на то есть у меня галлиполийцы из «шестнадцатого взвода».

— Гм... — ответил офицер, — я бы взглянул на это дело суше и практичнее. Особенно этот м-р Ч., неожиданный печальник за евреев, по-моему, лишняя фигура, совершенно неподходящая к пейзажу...

... Теперь наши митинги шли в полном порядке. Сержант Эфраим Блитштейн, старый мой знакомый (в Александрии, зимой 1914 г. он заведовал порядком в бараках палестинских беженцев), приводил на каждое собрание по десятку наших галлиполийцев. Тут были и грузинские евреи с именами, кончающимися на «швили», и плотные хлопцы с Молдаванки и Подола, и футболисты из яффской гимназии, и приволжские геры. Они сидели в углу и не вмешивались — но все их видели, и порядок соблюдался благоговейно. Выступали у нас и приятели г. Чичерина, держали пламенные речи против сионизма, милитаризма, капитализма; наши им возражали; все по очереди, прилично, благолепно, как у людей. Полная свобода слова — и никакой возможности скандалить. Жаль, что год тому назад не было у меня «шестнадцатого взвода» — может быть, вся история Палестины сложилась бы иначе...

А г. Чичерина так и сглазил тогда — конечно, без умысла сглазить — добрейший м-р Кинг в той беседе нашей в либеральном клубе. Сбылось его предсказание. Тот офицер остался, очевидно, при своем взгляде, сухом и практичном, и м-р Чичерин попал за решетку. Кажется, впрочем, не в тюрьму, а только в концентрационный лагерь, точно не знаю, забыл расспросить. Во всяком случае, к утешению поклонников его, если есть такие среди читателей, могу их заверить, что там ему жилось лучше, чем живет теперь его подданным на Соловках...

ГЛАВА VIII

ЗИГЗАГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУДРОСТИ

Тут, к сожалению, надо рассказать эпизод, который сам по себе того не стоит: это — попытка ассимиляторов умертвить легион еще до рождения. Строго говоря, достаточно было бы просто сообщить, что попытка не удалась, и этим удовлетвориться. Случай этот, однако, интересен тем, что характеризует он не только наших англосаксов моисеева закона, но отчасти и английскую правительственную машину, а ее у нас еще слишком мало знают. У нас все еще держится легенда, будто британская администрация всегда работает по строго обдуманному плану. В действительности ничего подобного нет. Часто, слишком часто дело обстоит как раз наоборот, и получается точная копия той безалаберщины, которую немцы называют *russische Wirtschaft*¹. В одной комнате канцелярии постановляют так, в соседней — иначе, и каждая комната вершит по-своему, пока не столкнутся. Когда столкнутся — тогда дело кончается благополучным компромиссом, потому что народ они рассудительный, без праздного упрямства и очень способный: всякая другая нация при этой манере управления не вылезала бы из катастроф. Вот любопытная иллюстрация: в 1922 году, когда вагабиты начали войну против короля Хуссейна геджазского, во время прений в палате общин совершенно официально обнаружилось, что лондонское правительство поддерживало деньгами и оружием короля Хуссейна, а в то же время правительство британской Индии давало деньги и оружие ваххабитам, — и никто раньше этого «совпадения» не заметил. Таковы они в больших делах, таковы и в малых; так вышло и с этим ходом ассимилированных лондонских нотаблей.

Патерсон часто старался привлечь их всех к делу помощи, чтобы полк мог принести еврейству честь, а не конфуз. Тотчас по приезде в Лондон он созвал собрание, на которое пришли главные вожаки из неприятельского лагеря с Лайонелом Ротшильдом и Эдмундом Себаг-Монтефиоре во главе; из друзей наших были д-р Вейцман, майор Эмери (он

¹ Русское хозяйство.

уже повысился в чине) и еще один офицер, имени которого мы тогда не расслышали. Пришел и лорд Ротшильд — потом он стал теплым другом легиона, председателем комитета попечения о наших солдатах, но в то время еще колебался. Патерсон подробно описал это собрание в своей второй книге: «With the Judaeans in the Palestine campaign»¹.

Большинство собравшихся готово было признать, что, как бы там ни относиться к самой идее, раз легион стал фактом — нужно дело поддержать. Капитан Редклиф Саламан, военный врач, потомок одной из старейших англо-еврейских семей, сказал: «Сионисты поступили по-колумбовски, поставили яйцо торчком; перед нами совершившийся факт, и теперь у нас одна задача: стараться, чтобы полк принес еврейству честь». В этом же смысле высказался лорд Ротшильд. Зато Лайонел Ротшильд и Себаг-Монтефиоре заявили, что они не так покладисты и еще собираются повоевать. Эту «войну» они начали сейчас же после собрания: пошли к генералу Геддесу и пожаловались, что «Патерсон и его иностранный сержант тут же в вашем департаменте разводят сионистскую пропаганду».

И генерал Геддес испугался. В двух шагах от его департамента, в том же Уайтхолле, в доме №10 по Даунинг-стрит, сам премьер с помощью Бальфура подготавливал уже тогда военный кабинет к принятию декларации 2-го ноября 1917-го года; тот же Геддес сам со мной уговаривался о кокардах с менорой и надписью «кадима», о бело-голубых нашивках со значком Щита Давидова, о палестинском фронте; но традиция бессистемности оказалась сильнее всех этих фактов, и Геддес испугался, вызвал к себе Патерсона и прочел ему нотацию...

Одно недоразумение произошло на том собрании; оно имело потом грустные последствия. Я упомянул, что среди офицеров был один, имени которого мы не расслышали. После собрания Патерсон показал мне клочок бумаги с надписью карандашом: «Если хотите, я пойду с вами. Н.П.».

— Кто этот Н. П.? — спросил он. — Это мне передали после речи Монтефиоре, но я был так зол, что не заметил кто.

¹ «С Первым полком Иудеи в войне за Палестину».

Я тоже не знал; и среди забот последовавших дней мы оба забыли об этой мелочи.

А несколько недель спустя мы прочли, что на палестинском фронте погиб капитан Ниль Примроз, сын лорда Розбери. Смерть его произвела огромное впечатление и на евреев, потому что главная ветвь семьи Примроз наполовину евреи по крови — дети и внуки Ганны Ротшильд, дочери первого лорда Ротшильда, вышедшей замуж за тогдашнего лорда Розбери. Говорят, все Примрозы очень гордятся этой ветхозаветной примесью; Ниль Примроз, оказалось, специально хлопотал об отправке на палестинский фронт.

Эмери встретил Патерсона в военном министерстве.

— Помните Нилья Примроза? — спросил он полковника. — Я тогда, по его просьбе, привел его на собрание с вашими противниками. Он очень интересовался вашим делом...

Если бы не нелепый случай, он был бы с нами в полку и, может быть, еще поныне жив.

* * *

Ассимиляторы формально объявили войну. Они отправили к военному министру целое посольство, с лордом Суэтлингом, Лайонелом Ротшильдом и присными. Цель у них была совершенно ясная, и дело шло не только о легионе. Они уже знали, что правительство собирается обнародовать какую-то декларацию в смысле поддержки сионизма; всеми силами они старались этому помешать и логически рассудили, что еврейский корпус на палестинском фронте, с их точки зрения, еще гораздо опаснее, чем простая декларация на бумаге. Они потребовали от военного министра, чтобы вообще еврейский полк был раскассирован; иностранных евреев, конечно, следует забрить, но распределить по общим батальонам и послать туда, куда посылают большинство солдат, а никак не в Палестину.

— Вот что я могу для вас сделать, — сказал лорд Дарби. — Распределить их по другим батальонам не могу, это дело решенное, но решение о том, чтобы их полк назывался «еврейским», мы пересмотрим. Он будет носить одно из обычных полковых имен. Будет во всех отношениях рассматриваться как обыкновенный британский полк, и пошлют его туда, куда решат послать.

Через полчаса нам эту новость сообщили в бюро. Еще через час мы ответили контрмобилизацией.

Патерсон, рискуя военным судом, отправил резкое письмо генерал-адъютанту (в Англии это высший военный шеф военного министерства, главное лицо после министра). Патерсон заявил в этом письме, что в ответе Дарби еврейским плутократам видит измену, нарушение слова и обман еврейских рекрутов (у него тогда уже было несколько сот солдат в новом нашем лагере близ Портсмута); что все это — стыд и позор для доброго имени Англии, и поэтому он просит освободить его от командования.

Х. Е. Вейцман и майор Эмери отправились к лорду Мильнеру, в то время члену военного кабинета, и высказали ему горькую жалобу на уступчивость военного министра. Мильнер, сам глубоко возмущенный, в тот же день устроил себе свидание с Дарби и получил согласие этого добрейшего государственного деятеля на то, чтобы через неделю представилась ему «контрдепутация», которая предъявит обратные требования и которой он, лорд Дарби, тоже предложит компромисс.

А я вспомнил свое старое кредо: правящая каста мира се-го — журналисты. Я поехал в редакцию «Таймса» к м-ру Стиду. Что я ему сказал, не помню; но его ответ у меня записан в подлинной форме, коротко и ясно:

— Завтра «Таймс» скажет военному министерству, чтобы оно не валяло дурака (not to play the fool).

— Но Патерсон не хочет оставаться, — сказал я, — я без него не могу работать.

— «Таймс» посоветует ему остаться.

На следующее утро в «Таймсе» появилась его передовица. Мне говорили, что такой головомойки военное министерство не получало за все время войны. «Таймс» высмеивал бюрократию, готовую считаться с дюжиной тузов, за которыми, кроме их собственной гостиной, никого нет, и ради них пренебрегать идеализмом многомиллионной массы, симпатии которой кое-что значат в мировом учете. Если нужна уступка, переименуйте имя: вместо «еврейского» назовите полк «маккавейским»; но еврейский характер полка и его специальное назначение должны быть сохранены. «И мы надеемся, что полк. Патерсон, негодование которого мы вполне понимаем, изменит свое решение и возьмет назад свою отставку».

После этого выступления газеты-громовержца все остальное уже было сравнительно легко. Лорд Дарби принял вторую делегацию и сказал им, что за полком сохранен будет еврейский характер и что нет никаких причин опасаться отправки его не на тот фронт, какой предполагался с самого начала; и вообще все будет в порядке. Но в одном отношении правы, по его мнению, джентльмены из первой депутации: звание «еврейский полк» есть почетный титул, и вряд ли уместно сразу давать его контингенту, который еще не успел показать себя на поле битвы. Титул этот нужно прежде заслужить; он, министр, обещает, что немедленно после того, как еврейские солдаты с честью проявят себя на фронте, полк получит и еврейское имя, и еврейскую кокарду. Покамест же решено дать им другое имя, тоже почетное — тридцать восьмой батальон королевских стрелков (Royal Fusiliers).

Это обещание он сдержал. После занятия Заиорданья мы официально получили название «Judaean Regiment» и менору с надписью «кадима». Но и до того, еще тут же, в Лондоне, нам разрешили прибить над воротами нашего центрального депо на Чинис-стрит (дом, куда отправляли рекрутов до посылки в Портсмут) вывеску с древнееврейской надписью:

«Гдуд ламед-хэт ле-Каллаэ га-Мелех»¹. В печати и даже в официальной переписке нас по-прежнему называли «Jewish Regiment»². На фронте офицеры и солдаты наши носили на левом рукаве значок Щита Давидова: в одном батальоне красный, в другом — синий, в третьем — фиолетовый. Был у нас и «падре» — так в английской армии величают полковое духовенство — раввин Фальк, горячий молодой мизрахист и смелый человек под огнем. А злосчастному полковнику Патерсону пришлось изучить все тонкости ритуального убоя: он вел переговоры с военным министерством и с портсмутскими мясниками о кашерном мясе, о передних и задних четвертях, и жилах, и сухожилиях... дальше перечислять не решаюсь, так как я этих правил не знаю; но он знает.

¹ «38-й батальон королевских стрелков».

² «Еврейский полк».

Для меня лично ассимиляторское посольство имело серьезные последствия. Кто-то из членов делегации оказал мне, по-видимому, честь особо протестовать против моей преднаборной пропаганды.

Дело в том, что сотрудники мои изготовили брошюру на идише об идее и задачах легиона. Так как закон о конскрипции давал каждому рекруту выбор — служить здесь или ехать на службу в новую свободную Россию, — то в брошюре было несколько страниц о том, что служба на русском фронте тоже не забава.

Брошюра была отпечатана за счет департамента. Департамент выдал мне список тридцати пяти тысяч адресов иностранцев призывного возраста в Англии и Шотландии. (Кстати, еще одна иллюстрация безалаберности: в этом списке людей, не пошедших на службу, я нашел свое имя и адрес...) Кроме того, департамент дал мне 35 000 конвертов со штемпелем «ОНМС» («на службе Его Величества») и десять хромых солдат для писания адресов.

На утро после приема ассимиляторской делегации у лорда Дарби я получил по телефону распоряжение явиться сейчас же в кабинет генерал-адъютанта. По совпадению, это оказался тот же кабинет, где принимал нас с Трумпельдором генерал Вудворт. Опять я вошел церемониально, выпятив грудь и с шапкой на голове. Там уже был Патерсон, тоже в шапке; за столом сидел сам генерал-адъютант, сэр Невилл Мэкриди, тоже в шапке. Все это имело очень официальный вид и пахло неприятностями.

— Знаком ли вам этот текст? — спросил генерал и протянул ко мне толстую английскую рукопись. Я просмотрел начало.

— Первые строки, сэр, — сказал я, — похожи на брошюру на идише, которую мы разослали иностранцам, подлежащим воинской повинности; перевод скверный, сэр.

— А я слышал, что русское посольство глубоко возмущено, — заявил он, — брошюра полна резких выпадов против русской армии.

— Значит, сэр, перевод не только скверный, а хуже. В оригинале таких выпадов нет. А посла Набокова я видел и вчера, и третьего дня, говорил с ним как раз о моей

пропаганде, и он даже не заикнулся об этой брошюре. Не угодно ли вам, сэр, вызвать его сейчас же? Телефон: Виктория, номер такой-то.

Он начал сердиться.

— Кто вам, сержант, разрешил рассылать эту брошюру в официальных конвертах?

Мне следовало бы разинуть рот от изумления; помню, что от этого я воздержался, но боюсь, что глаза вытарашил. Что ответить на такой вопрос? Департамент, ему самому подчиненный, выдает мне список адресов, который считается государственной тайной, печатает за свой счет мою брошюру, дает мне 35 000 официальных конвертов, дает мне взвод переписчиков — и после всего этого он, хозяин военного министерства, спрашивает у меня, и. д. сержанта на капральском жаловании, кто это разрешил. Это уже не «руssiше виртшафт», а совсем чепуха какая-то. Неужели может у них любой унтер, да еще приезжий, рассестись в любой комнате из дворцов Уайтхолла и распорядиться, приказывать, запрещать, может быть, даже отдать приказ, чтобы кончили войну? Счастье для них, что я «милитарист»...

Но сэр Невилл Мекриди оказался все-таки умницей, не лишенным чувства юмора: так как я не имел права расхохотаться ему в лицо, то расхохотался он сам и обратился к Патерсону:

— Отправьте сержанта Ж. в лагерь в Портсмут, а то он и совсем тут у нас все переделает по-своему. Надеюсь, что солдат из него выйдет менее неудобный, чем получился пропагандист.

Я отдал честь и вышел, а в коридоре остался ждать Патерсона. Через десять минут вышел и он.

— Сэр, — спросил я формально, — когда прикажете ехать в Портсмут?

— Ничего подобного, — ответил этот ирландец, который видал в жизни львов-людоедов и потому простых генералов не боится, — у себя в батальоне я хозяин, и мне вас там не нужно. Оставайтесь в Лондоне и продолжайте в том же духе. Едем в депо, я вам подпишу приказ о командировке в Лондон.

Из депо я поехал к Набокову.

— Константин Дмитриевич, правда ли, что посольство возмущено этой брошюрой?

— В жизни не видал и не слышал, — ответил он, перелистывая брошюру, конечно, слева направо и удивляясь, где же начало.

— Может быть, знает Е.А. Саблин, секретарь посольства?

Он вызвал секретаря: тот же ответ. К.Д. Набоков тут же подписал формальное заявление, что брошюра никому в посольстве не известна, секретарь приложил к ней посольскую печать; особой ленточкой они пришили это свидетельство к моей брошюре и даже ленточку припечатали сургучом. Я отвез этот пакет к майору Эмери, а он переслал его генерал-адъютанту, с препроводительным письмом, которого я не читал, но догадываюсь.

«Мекриди» не английское имя; подозреваю, что сэра Невилл тоже ирландец; во всяком случае, он к этому инциденту отнесся, как добрый малый, т.е. «забыл». О том, что я остался в Лондоне, устраивая интервью с журналистами и произнося речи, он знал и писал об этом Патерсону, но очевидно ничего против этого не имел. Он остался добрым другом легиона; а резкое письмо Патерсона об отставке он сунул в карман и ответил полковнику: «Не волнуйтесь, все будет all right»...

* * *

Та же компания и дальше старалась нам мешать. Генерал-адъютант разрешил евреям из других полков переводиться в наш батальон. Многие из них очень этого хотели, да и нам желательно было «подкрахмалить» своих новичков примесью опытных солдат. Вдруг оказалось, что полковые равнины на французском фронте откуда-то получили совет или приказ объяснять в своих проповедях, что стыдно английскому еврею служить в нашем батальоне. Меня уверяли, что инициатором был сам «реверенд» Майкл Адлер, главный раввин при армии и прямой начальник всех батальонных «падре». Не знаю, так ли это. Бог с ним. Но мы ждали, что к нам переведутся тысячи, а перевелось всего несколько сот.

* * *

Приятно все-таки вспомнить, что нашлись у нас и друзья. Образовался комитет попечения о наших солдатах под председательством лорда Ротшильда; в нем главную роль играли

жены руководящих лондонских сионистов. Организовали его г-жа В.И. Вейцман и м-с Патерсон; остальных перечислить не могу, но всем спасибо. Это была совсем не шуточная работа: приходилось проводить в депо не только дни, но и ночи, когда привозили новую партию рекрутов и надо было их кормить и поить. Начальником депо был сначала майор Нольс, друг Патерсона, а после него еврей — майор Шенфильд, тот самый единственный еврейский офицер в Лондоне, который с самого начала отнесся к нам по-человечески.

Но лучше всего было то, что мне удалось разыскать Л.М. Марголина. Его привезли раненого в один из лондонских госпиталей, и я к нему туда поехал. Я давно и много слышал о нем и от брата его в Петербурге, М.М. Марголина, главного секретаря редакции обеих ефроновских энциклопедий, общей и еврейской, а еще больше — из легенд, которые мне еще за девять лет до того рассказали о нем в Палестине. Семья переселилась туда еще в первые годы колонизации, когда Элизер Марголин был ребенком. Поселились они в колонии Реховот. Мальчик выдвинулся и как колонист, и как удалец: «Сидит на коне, как бедуин, и стреляет, как англичанин», — говорили о нем окрестные арабы. После кризиса 90-х годов он уехал в Австралию, долго там скитался, кажется, и пахал, и копал, пока не осел где-то в городе и занялся деловыми делами. В то же время он записался в австралийскую территориальную милицию. Когда началась война, он уже был у них поручиком. Несколько месяцев он провел в Египте, потом попал во Францию и там в траншеях дослужился до майорского чина и должности помощника батальонного командира. Крупный, широкоплечий человек, молчаливый, солдат с головы до ног, у себя в батальоне и царь, и отец, и брат для своих boys; притом изумительный хозяин и организатор.

— Идем к нам, Лазарь Маркович.

— Боюсь. Евреев боюсь: с ними нужно разговаривать...

Но он к нам пришел. Генерал-адъютант помог уладить формальные трудности с переводом из австралийской армии в английскую (это, кстати, связано было со значительным понижением жалованья), и Марголин с чином подполковника стал начальником нашего второго батальона, на официальном языке — 39-го.

О том, как жили наши солдаты в лагере близ Портсмута, сам я ничего рассказать не могу. Я только раз там был и чувствовал себя как чужой. Полковник Патерсон познакомил меня со своими офицерами, но ему пришлось это сделать у себя в комнате, так как в офицерскую столовую он не имел права меня пригласить. В сержантской столовой я нашел старых друзей: Ричард Кармел был в чине батальонного сержанта-мажора, и многие из моих приятелей по «16-му взводу» уже носили сержантские нашивки. Но все остальные меня стеснялись, и я их.

Поздно ночью, помню, я стоял один посреди большого двора, освещенного месяцем и снегом, и осматривался кругом со странным чувством. Низенькие бараки со всех сторон, в каждом по сотне молодых людей — ведь это и есть тот самый еврейский легион, мечта, так дорого доставшаяся; и в конце концов я тут чужой, ничего не строю и не направляю. Совсем вроде сказки: дворец Аладдину построили незримые духи. Кто такой Аладдин? Никто, ничто; случай подарил ему старую заржавленную лампу, он хотел ее почистить, стал тереть тряпкой, вдруг явились духи и построили ему дворец; но теперь дворец готов; он стоит и будет стоять, и никому больше не нужен Аладдин с его лампой. Я задумался и даже расфилософствовался. Может быть, все мы Аладдины; каждый замысел есть волшебная лампа, одаренная силой вызывать зиждительных духов; надо только иметь терпение тереть и скрести ржавчину, пока — пока ты не станешь лишним. Может быть, в том и заключается настоящая победа, что победитель становится лишним.

С той ночи я стал лишним и очень рад, что дальше можно будет писать этот рассказ, не так часто употребляя слово «я». Не моя вина, что повесть о родовых муках легиона пестрела до сих пор этим неприятным местоимением через каждые пять строк или чаще; но, слава Богу, конец. На публичных митингах, особенно в Америке, меня иногда представляли публике как того самого господина, который «шел во главе легиона». Прошу отметить, что сего никогда не было и быть не могло. «Легион» состоял из 10 тысяч человек, из них 5 тысяч были фактически в Палестине; они составили три батальона, и во главе каждого из батальонов стоял полковник с большим

военным опытом. В одном из этих батальонов среди двадцати с чем-то лейтенантов был поручиком и я и командовал взводом в 50 или 60 человек; да и то по особой милости. За два дня до отъезда батальона в Палестину меня произвели в офицеры с каким-то очень сложным обходом английской конституции. Я уже писал, что по конституции воспрещено давать фактические права офицеру-иностранцу. «Есть только два исключения, — дразнил меня Патерсон, — кайзер Вильгельм и вы; и его уже выкинули». Не знаю, правда ли это; но точно-точно как кайзер Вильгельм ничего не значил в британской армии, так я ничего не значил в легионе. Ничего против этого не имею; так и должно было быть; когда был с полком, я старался играть роль поручика прилично, все равно как прежде старался хорошо мыть столы в сержантской столовой под Винчестером: и я люблю оба воспоминания.

* * *

2-го февраля 1918 года первый еврейский батальон с привинченными штыками промаршировал по главным улицам Лондона, включая Уайтчепл. Солдат наших специально привезли из Портсмута и приняли с большими почестями. Ночевали они в Тоузере, среди монументов шести столетий английской истории; самое право идти через Сити со штыками на дулах было привилегией — Сити сотни лет воевало за то, чтобы королевские солдаты не смели в нем показываться с привинченными штыками. На крыльце Меншон Хауза, среди пышной свиты, стоял в своих средневековых одеждах лорд-мэр и принимал салют еврейского батальона. Комично: рядом с ним я вдруг увидел майора Р., одного из злейших противников наших, члена той ассимиляторской делегации; он стоял весьма гордо и победоносно, явно греясь на солнышке нашего успеха, раз не удалось ему помешать.

Из Сити батальон направился в Уайтчепл. Там ждал нас тот самый генерал-адъютант сэр Невилл Мекриди со своим штабом, и десятки тысяч народу на улицах, в окнах, на крышах. Бело-голубые флаги висели над каждой лавчонкой; женщины плакали на улицах от радости; старые бородачи кивали сивыми бородами и бормотали молитву «благословен давший дожить нам до сего дня»; Патерсон ехал верхом, улыбаясь и раскланиваясь, с розою в руке, которую бросила

ему барышня с балкона, а он подхватил на лету; а солдаты, те самые портные, плечо к плечу, штыки в параллельном наклоне, как на чертеже, каждый шаг — словно один громовой удар, гордые, пьяные от гимнов и массового крика и от сознания мессианской роли, которой не было примера с тех пор, как Бар-Кохба в Бетаре бросился на острие своего меча, не зная, найдутся ли ему преемники...

Молодцы были эти портные из Уайтчепла и Сохо, Манчестера и Лидса. Хорошие, настоящие «портные». Подобрали на улице обрывки разорванной народной чести и сшили из них знамя, цельное, прекрасное и вечное.

На следующее утро мы выехали из Саутгемптона во Францию — Египет — Палестину.

ГЛАВА IX

ЛАГЕРЬ И ШТАБ-КВАРТИРА

Десять дней подряд в вагонах, ползком через Францию и Италию; но это были не трудные дни. У солдат наших должно было получиться впечатление, что и Франция, и Италия нарочно устроены и распланированы для удобства британской армии. На каждой узловой станции, от Шербурга до Таранто, имелся английский «Ар-Ти-О» (начальник военных поездов), и он, очевидно, и был настоящим хозяином железной дороги; во всяком случае, так нам это казалось. На каждые вторые сутки мы попадали в этапный лагерь с английским управлением, врачами, сестрами, прислугой; каждый этап был похож на городок из бараков и палаток, со столовыми, аптекой, больницей, концертной эстрадой и даже «калабушем» — так наши солдаты, под влиянием александрийцев, привыкших к египетской терминологии, называли кутузку. У нас в батальоне образовался прекрасный оркестр с труппой из настоящих кафешантанских актеров — никто не подозревал до тех пор, сколь многим сцена мюзик-холла обязана Уайтчеплу. Этапные власти очень хвалили наши концерты; я могу только отметить, что в их репертуаре не было ни одной еврейской песни кроме Атиквы, которую полковник заставлял исполнять стоя к концу каждого концерта.

Солдаты были очень весело настроены. Особенно помню один вечер, когда мы медленно ехали вдоль французской Ривьеры мимо Ниццы и Монако, уже в полном блеске тамошней весны. Ист-Энд, видимо, и не подозревал, что бывает на свете такая красота. Изю всех окон длинного поезда неслись радостные крики.

Из 30 офицеров две трети были евреи, переведшиеся из других полков. Большинство из них мало слышали до тех пор о сионизме; в офицерской столовой после ужина завязывались иногда споры, напоминавшие добрую старую «дискуссию» в Минске или Кишиневе. Нация ли евреи? Что такое национальность? Можно ли быть сионистом и английским патриотом? Пробовали и меня втянуть в прения, но я уже давно забыл, как «доказываются» такие теоремы. Честь эту я охотно предоставил более молодым «рекрутам» сионизма.

Горас Сэмюэл, статьи и рассказы которого печатались в толстых журналах (теперь он видный адвокат в Иерусалиме), прижав к стене долгоносого капитана Гарриса, главу полковых ассимиляторов, доказывал ему со своим ленивым оксфордским акцентом, что национальность есть «внутреннее настроение»; если тот не поддавался, Сэмюэл призывал на помощь адъютанта Ледли, типичного замороженного инглишмена, ставил их рядом и призывал мир во свидетели, что нельзя эти два экземпляра принять за сынов одной народности.

«Падре» Фальк, пламенный мизрахист, смело отстреливался от целого батальона лейтенантов, заседавших на него со всякими безбожными новшествами, например, что сионистское исповедание ничуть не связано с предпочтением кашерного мяса. Он стоял, как скала, на своем:

— Совсем и не в мясе тут дело, а в принципе: еврей вообще должен бороться против всех своих appetitов, ограничивать и дисциплинировать себя на каждом шагу.

Капитан Дэвис, батальонный врач, заменивший у нас перед самым отъездом Редклифа Саламана, который был прикомандирован к батальону Марголина и остался пока в Лондоне, со смехом пожаловался:

— Понимаете, вдруг получаю приказ: изволь вспомнить, что ты еврей и ступай в крестonosцы, если можно так выразиться. Я теперь, значит, вроде как бы «сионист по набору».

И он тут же в поезде написал весьма вдохновенный «марш еврейского легиона», в стихах с рифмами, с энтузиазмом и национализмом и всем прочим, что полагается. Вышло недурно; новое подтверждение теории, что на второй день исчезает разница между конскриптом и добровольцем.

Лучший сионист изо всех был сам полковник. Его аргументы назывались: Эгуд, Гелеон, Девора и Варак, царь Давид, Армагеддон, луна в долине Айялонской... Падре пытался даже доказать, что Патерсон не просто сионист, но мизрахист. Правда то, что Патерсону удалось приладить наши отдыхи в этапных лагерях к субботам. По утрам батальон созывали тогда на парадное богослужение, в присутствии всех офицеров и солдат; посреди парада на высокой палке развевался бело-голубой флаг, падре читал Тору из настоящего свитка (подарок портсмутской общины), а после его проповеди тот самый хор, что выступал с таким успехом в полковых концертах, исполнял Атикву и английский гимн. Проповедовал он горячо, наивно и содержательно. Это был молодой человек очень начитанный в своей отрасли; ссылался на борьбу саддукеев с фарисеями, уважал ессеев, бранил эллинистов, хвалил зелотов, полемизировал с Вельгаузенем... очень приличный молодой человек был наш падре; теперь он раввинствует, кажется, в Австралии, в Сиднее, и я сердечно поздравляю его общину.

В Таранто, где нам пришлось целую неделю ждать конвоя японских миноносцев для переезда в Александрию, Патерсон пошел с падре в город к столяру и заказал маленький походный ковчег для свитка из какого-то очень дорогого дерева. С большим церемониалом на ближайшем субботнем параде уложил в него наш свиток, и полковник сказал солдатам совершенно серьезно:

— Теперь вам нечего бояться немецких подводных лодок, раз у нас на пароходе будет такой талисман.

Транспорт нам дали великолепный, и в Александрию мы доехали без приключений и без непогоды.

* * *

Александрийская община встретила нас как родных. Снова увидел я старых друзей из времен Габбари: главного раввина Делла Пергола, барона и баронессу Менаше,

Суареса, Пичотто. «Zion Mule Corps был наш сын, а этот полк — наш внук», — говорили они. Они устроили в нашу честь торжественное богослужение в главной синагоге, с губернатором, генералами, консулами и мусульманскими нотаблями.

То же повторилось в Каире. Генерал Алленби уже тогда был со своей штаб-квартирой в Палестине, недалеко от колонии Беэр-Яаков; но верховный комиссар Египта, сэр Реджинальд Уиндхем, пропустил батальон пред собою церемониальным маршем, стоя у ворот дворца навывтяжку с рукой под козырек, когда оркестр играл Аतिकву... Еще далеки были те настроения, что развились у английских властей через год или полтора, когда генерал Мони, военный администратор Палестины, в 1919 году, в Иерусалиме, в присутствии всех еврейских и английских и арабских нотаблей, отказался встать при звуках еврейского гимна.

Нам дали лагерь в местности Хельмия, недалеко от Каира; там мы и закончили обучение солдат. Было страшно жарко, работать можно было только до 9-ти утра и с 5 часов вечера. И почти еженедельно устраивался где-нибудь «бал» — то в городе в нашу честь, то у нас в лагере в честь каирской общины.

* * *

Кроме обычных обязанностей взводного мне досталась еще одна работа: все солдатские письма подлежали до отправки просмотру офицером. Я был единственный офицер, способный прочесть письмо еврейскими буквами. Заодно мне уж подсовывали вообще все письма, написанные не по-английски. Тут я в первый раз открыл тот факт, что у нас в 1 батальоне оказалось несколько литвинов — не «литваков», а настоящих литвинов-католиков. Они работали в угольных копях где-то неподалеку от Глазго; когда пришлось идти служить, они попросились к нам. Я, конечно, ни слова не знал по-литовски, за исключением того, что Германия по-ихнему «Вокетия», а поляк называется «лянкас». Но если бы я отказался «цензурировать» их письма, то вообще лишил бы их возможности переписываться, ибо остальные офицеры в Египте, вероятно, даже и этих двух слов по-литовски не знали. Словом, я решил поставить на карту судьбу войны и победу союзников и стал подписывать «О.К.» на литовских пись-

мах. Одно я в них понял: изо всех наших солдат литвины были почти единственные, которые пытались описывать нашу дорогу, упоминали географические названия, говорили о специальных задачах полка, вообще единственные, которые интересовались вопросами «посторонними», вне круга личных дел: сужу об этом потому, что в их письмах были такие слова, как Ницца, Италия, «Эгиптас», даже «Иерозалимас», даже «сионизмас».

В еврейских письмах этого почти не было. «Дорога приятная». «Теснота в вагонах». «Слава Богу, море спокойное». А дальше следует самое главное: как дети? Прорезались ли уже зубки у Ханелэ? Прошла ли корь у Джо? Не тоскуй, дорогая. Провела ли ты уже газ на кухне? — Бесконечная нежность к своему дому — не к стране, не к городу, не к улице, а только к одной квартире... Мне вспоминалось талмудическое речение: «Дом его есть его жена». Кто знает: может быть, это и лучше патриотизма; может быть, это есть основа патриотизма. Может быть, если этим людям дать настоящий «дом», такой, где квартира, и улица, и город, и страна сплетены в одно целое, взаимно обусловленное как ступени одной и той же лестницы, где сломай одну — посыплются другие, то и получится психология zelotov Бар-Кохбы?

Часто мне почти совестно было так глубоко заглядывать в человеческие души. Зато я установил для себя правило — вынимать каждое письмо из конверта и вкладывать обратно, не глядя на адрес. Это было тем корректнее, что в этих письмах часто была крепкая брань по адресу самого цензора...

* * *

Мы ждали гостей. Почти накануне нашего отъезда из Англии пришла телеграмма из Нью-Йорка, подписанная: Брайнин, Бен-Цви, Бен-Гурион. В ней кратко сообщалось об открытии в Америке широкой вербовки солдат для нашего полка. Греческое правительство тоже сообщило, что разрешит набор добровольцев в Салониках. Из Буэнос-Айреса пришла телеграмма: «Британское согласие получено. Владимир Герман». В Египте тоже открылось рекрутское бюро.

Но самая отрадная весть получилась из Палестины. Как только поезд наш подошел к Каирскому вокзалу, ко мне подбежал молодой человек в хаки, правда, без кокарды.

— Зовут меня так-то, — представился он. — Специально прислан из Тель-Авива приветствовать легион от имени палестинских волонтеров. — И он мне впервые рассказал о большом движении в оккупированной части Палестины: в Иерусалиме, Тель-Авиве с Яффой, в колониях Иудеи; передал слухи, что и в северной части Палестины, тогда еще занятой турками, молодежь сильно возбуждена; несколько человек даже пробрались через турецкие линии и пришли в пограничную Петах-Тикву с вопросом, где легион?

Однажды утром Патерсон мне сказал:

— Уложите свой дорожный мешок — я получил пропуск для себя и для вас в Палестину.

Всю ночь в поезде оба мы не спали. Не потому, чтобы взволнован был я — взволнован был полковник. Нашему брату, перекаати-полю, без почвы и традиций трудно представить себе, что значило для его протестантской души «переживать» такие имена, как Синайская пустыня, Газа, Иудея. Еще в детстве он по воскресеньям тихо сидел у огня, когда отец читал благоговейно притихшей семье очередную главу из английской Библии. Суэцкий канал? Для меня это тоже грандиозная вещь — в смысле инженерного достижения. Но для Патерсона это было личное воспоминание, кусок его собственного детства, отголосок первой из первых волшебных сказок, которым он научился еще задолго до того, как услышал об ирландских горных духах и ведьмах и прекрасной королеве Дейдрэ, погубившей столько богатырей; для него это было расступившееся Черное море, Моисей-пророк с длинной бородой и рогатыми лучами на лбу, фараоновы колесницы в волнах, столпы огня и дыма.

Луна, заря, солнце — а кругом все то же, пустыня с редкими кочками зелени. Потом несколько больше зелени: это Газа. Серая, запыленная, запущенная арабская трущоба в моих глазах; но для моего полковника это — город могучего Самсона и веселых филистимлян.

Потом опять пустыня; и вдруг — новый мир, зеленая роща эвкалиптов, бесконечные ряды виноградников, чистые белые домики вдали с красными крышами — другой мир, мираж Европы. Я слышу, полковник спрашивает у солдата-кондуктора: «Это как называется?»

— Дойран, — отвечает солдат.

Так я в первый раз столкнулся с тем отношением к еврейской работе, которое в штабе Алленби стало законом. «Дойран»? Ведь это наша колония Реховот; «Дойран» называется крохотная арабская деревушка, которую среди песков даже отличить трудно. Но так постановил Алленби: Петах-Тиква называется Муле-бис, Беэр-Яаков — Бир-Салем. Единственное исключение — Ришон так и остался «Ришон»: тамошнее вино у англичан было очень популярно, и вышло бы не дипломатично и обидно для трезвенника-пророка окрестить мусульманским именем бутылку коньяку.

В Беэр-Яакове мы сошли. Недалеко от колонии, вокруг двух довольно крупных домиков, принадлежавших немецкому поселенцу, раскинулся городок из палаток и бараков — «Джи-Эйч-Кью», штаб-квартира генерала Алленби. Тут мы с полковником расстались: он пошел на свидание к верховному главнокомандующему, я уехал на грузовике в Тель-Авив. Вечером того же дня мы снова встретились в одной из столовых при ставке главнокомандующего и рассказали друг другу свои впечатления. Мои были отрадные; его — совсем напротив. Дело в том, что я был в доме у бедной невесты, которая ждала к себе возлюбленного и еще верила, что и он в нее влюблен; но Патерсон побывал в чертогах у богатых родителей жениха...

В Яффе и Тель-Авиве я застал и большую подавленность, и великое воодушевление... Теперь говорят в обратном порядке: Тель-Авив и Яффа; но тогда в еврейском пригороде было всего тысячи три жителей; это был даже не пригород, а просто гимназия с несколькими десятками чистеньких домиков вокруг, европейский поселок для интеллигенции. Недалеко от города повстречался мне мальчик лет десяти; я его посадил в свой грузовик, а он зато обещал показать мне дорогу к старым друзьям моим И.А.Берлину и (ныне покойному) Б.Б.Яффе. По пути мальчик рассказал мне все новости: едет на английских судах еврейская армия, сорок тысяч человек, во главе ее стоит генерал Джеймс Ротшильд, сын барона Эдмонда из Парижа. Не хотелось его огорчать: я промолчал. Другьям в Тель-Авиве пришлось, конечно, рассказать, сколько нас, и, хотя их ожидания были много скромнее, чем у того мальчика, я не мог не заметить разочарования.

Но молодежи тамошней было не до нашего полка и его размеров: они полны были собою, своим собственным «Гитнадвут» (волонтерское движение). Во главе дела стоял М. Смелянский, человек уже лет за сорок, недурной беллетрист и один из видных садовладельцев колонии Реховот. За ним послали, и он скоро прибыл с группой реховотских рабочих: все волонтеры. В Яффе и Тель-Авиве почти все добровольцы были тоже из рабочих; меньшинство составляли воспитанники гимназии, но и они примыкали духовно к рабочему крылу. Теперь это все видные люди в рабочей организации Палестины. Был там Б. Кацнельсон, ныне редактор газеты «Давар»; был Явнеэли, вывезший когда-то из южной Аравии первую большую группу евреев-йеменитов; был Дов Гоз, теперь глава рабочего строительного общества Солел-Бонэ... чуть ли не вся нынешняя аристократия партии Ахдут-ха-Авода (тогда еще называвшейся Поалей-Цион) стояла во главе военного добровольчества. Зато противниками «Гитнадвут» были главари второй рабочей партии, га-Поэль га-цаир; но и у них нашелся еретик, по имени Свердлов, совратил в «милитаризм» довольно большую группу и вместе с нею записался в «полк».

«Записаны» они были пока только в своих собственных списках: начальство их не желало. Еще в январе они подали в штаб петицию за сотнями подписей, но ответа не получили. Они, однако, были убеждены, что теперь, когда прибыл уже и наш батальон, они своего добьются.

— Сколько вас?

— Тысячи полторы. Треть — девушки: они думают об особом отряде при красном кресте, а некоторые, впрочем, рвутся и в амазонки...

На большом дворе девичьей школы в Яффе созвали «парад». Инструктором их был Гоз, еще недавно офицер турецкой армии. С первого взгляда было ясно, что материал это первоклассный, все тонкие, ловкие, напряженные, хоть и со впалыми щеками от долгой турецкой голодовки.

В этом и заключались мои добрые вести, привезенные полковнику. Его рассказ зато звучал гораздо печальнее.

Генерал Алленби отнесся к нам очень холодно — и к лондонскому батальону, и к местным добровольцам. Он от Китченера унаследовал отвращение к «экзотическим» контингентам. Что именно сказал он Патерсону, я до сих пор точно

не знаю: полковник, видно, не хотел меня огорчать подробной передачей, и в книге его тоже нет подробностей этой беседы. На одно только Патерсон очень напирал: не столько враждебен Алленби, сколько начальник его штаба, некий генерал Луис Больс. Это был тот самый Больс, который, спустя два года, уже будучи верховным администратором Палестины, допустил первый трехдневный погром в Иерусалиме и отдал под суд самооборону.

Долго, уныло и молча, шагали мы оба по пыльной дорожке между пыльными кактусами. Теперь, оглядываясь назад, я вижу пророческий характер этого эпизода, нечто вроде введения ко всему периоду военного управления Палестиной, а может быть и гражданского. С одной стороны — воодушевление, надежды, готовность на все жертвы, нетерпение бороться и творить; с другой — холодные, скептические глаза со взором чужим и подозрительным, со враждебным «отталкиванием» по отношению ко всему необычному, небанальному, невчерашнему, ко всему, что пахнет «экзотикой», например сионизм.

Но душа Патерсона, как решето не держит воды, не держит уныния. Он вдруг рассмеялся и сказал:

— Пустяки. Мы с вами и похуже видали, а справились. Я уверен, что главнокомандующий передумает.

Патерсон оказался прав, даже слишком прав. Не раз, а десять раз еще «передумал» генерал Алленби и касательно легиона, и касательно всей сионистской проблемы. Через несколько недель он разрешил набор палестинских добровольцев; потом опять затянул дело на долгие месяцы; потом пришел в восторг и обещал образовать «еврейскую бригаду» с Патерсоном в качестве генерала во главе; потом не сдержал и этого слова, хотя сам его написал черным по белому.

Удивительная это вещь, но совсем не редкая: именно люди с репутацией «железной воли» часто на самом деле тряпичнее былинки под ветром. Алленби, конечно, большой солдат. Но за что его приписали к большим государственным деятелям, это для меня по сей день загадка. Никто так не напортил Англии в Египте, как он потом за годы своего обер-комиссарства; о Палестине под его управлением и говорить не хочется. Я думаю, что в качестве исполнителя он, действительно, крупная сила; но это именно «исполнитель» чужих советов,

а не направляющая рука. Хороший автомобиль, на котором кто угодно — если вкрадчив и удачлив — может ехать куда угодно. Я таких людей много знаю, в разных углах быта, и всегда их боюсь. Это опасная комбинация — человек, к которому прилипла репутация упорства и непреклонности («вол вассанский», прозвали его лъстецы из библейских начетчиков при штабе), между тем как сам он в сущности почти никогда не знает, в чем ему упорствовать и непреклонничать, и вынужден запрашивать об этом у советчиков. Опасно здесь то, что такой человек уже невольно дорожит своей «железной» легендой, а потому принимает только те советы, которые дают ему случай лишний раз проявить «железные качества». Тут раздолье именно таким советчикам, что умеют нашептывать против всего «сентиментального», «мягкотелого», против «идеологии», как выразился бы Наполеон. Сам по себе Алленби, вероятно, не враг ни евреям, ни сионизму — вообще вряд ли есть у него свой взгляд на такие проблемы; и теперь, когда он не у дел и советчики перестали вокруг него увиваться, он, говорят, очень сочувственно к нам относится; но в те годы эта черта его помогла отравить и штаб, и армию, и всю правительственную машину таким озлобленным юдофобством, какого я и в старой России не помню.

ГЛАВА X

ПРАЗДНИК ЕВРЕЙСКОЙ ПАЛЕСТИНЫ

Как только мы вернулись в Хельмию, полковник Патерсон учредил специальную «команду вербовщиков»; в нее вошли унтер-офицеры и солдаты, знавшие по-еврейски: во главе он поставил лейтенанта Липси и приказал ему: «Через месяц вы должны говорить по-ихнему, как сам пророк Исая». Липси происходил из религиозной семьи в Глазго и молитвы знал наизусть. Наш падре утверждал, что этого совершенно достаточно, что он берется доказать кому угодно всю важность службы в легионе при помощи тех исключительно слов, какие имеются в молитве «восемнадцати благословений». Тем не менее Липси пришлось заучить еще, по крайней мере, ту терминологию строевой команды, которую выработал наш «16-й взвод» во время прогулок в окрестностях Винчестера. Прав-

да, согласия штаба на набор в Палестине пока еще не было, но Патерсон считал, что будет. По его мнению, «если Господь Саваоф, Бог Воинств, даже фельдмаршала Китченера не послушался, то уж он и простого генерала не послушается».

Незадолго перед Пасхой прибыл второй наш батальон, официально «39-й», с полковником Марголиным во главе; половина его состава были американцы. Еще через неделю прибыла «сионистская комиссия» с Х.Е. Вейцманом во главе; капитан Ормсби-Гор состоял при ней в качестве *officier de liaison* между комиссией и ставкой. К составу комиссии принадлежал также Джеймс Ротшильд, уже в чине майора, и в то же время он числился офицером в батальоне Марголина. Все это заставило советников генерала Алленби, наконец, догадаться, что лондонское правительство действительно заупрямилось и настаивает не только на сионизме, но притом еще на легионе.

Тем не менее, «Гитнадвут» еще надолго осталось движением опальным и потому «опасным». Нашлись добрые друзья из окружения ставки, которые дружески советовали сионистской комиссии держаться подальше от этого шума. У нас, как известно, советы такого рода всегда охотно принимаются. Чем больше в совете робости, тем больше мы в нем видим государственной мудрости, хотя бы мы при этом рисковали повредить важному и полезному делу.

Был такой день, когда я действительно боялся, не повредит ли государственная осторожность моих милых друзей из палестинской комиссии всему делу «Гитнадвут». Смелянский созвал у себя в Реховоте массовый съезд всех волонтеров. Собралось до тысячи человек, из Яффы, из колоний, даже из Иерусалима, по большей части пешком, потому что на проезд по железной дороге нужно было разрешение, а извозчик дорого стоил. Говорю «извозчик», так как автомобилей в Святой земле, кроме военных, еще не было; первый «штатский» автомобиль привезла с собой сионистская комиссия, и старожилы качали головой, не одобряя такой роскоши. А пешком из Иерусалима значило два дня пути по апрельской жаре.

Комитет волонтеров пригласил на съезд всю сионистскую комиссию — никто не явился. Я, признаюсь, растерялся. Патерсон, конечно, не побоялся бы приехать, несмотря на то, что Реховот — в двух шагах от штаб-квартиры сердитого

генерала Больша; но Патерсон был в Египте. В полной растерянности я бросился во встречный автомобиль и уехал в ставку, прямо к генералу Клейтону, тому самому, который впоследствии был статс-секретарем во время комиссарства Герберта Сэмюэла. Я попросил его послать в Реховот какого-нибудь офицера чином повыше или хотя написать ободрительное письмо.

Он развел руками беспомощно:

— Не могу. Скажите им устно, что они молодцы и что я надеюсь...

С этим слабым утешением мне и пришлось поехать в Реховот.

Но там оказалось, что съезду никаких внешних ободрений и не нужно: в них самих достаточно было электричества. С громовыми овациями самим себе они снова подтвердили свою волю биться за Палестину. Было даже внесено предложение: тут же выстроиться в колонну и отправиться в Беэр-Яаков на личные переговоры с Алленби. Едва мне удалось их отговорить: это с моей стороны было весьма мудро и осторожно, и по сегодняшний день я об этом жалею; уверен теперь, что поход на ставку увенчался бы успехом и ускорил бы начало набора на несколько месяцев.

Тем не менее съезд и без того «передался» в штаб-квартиру. Перед самым зданием, где происходило сборище, стояла палатка офицера осведомительной службы; это был капитан, имени которого я так и не узнал. После собрания он меня вызвал к себе в палатку.

— Что это такое?

— Еврейские волонтеры. Генерал Клейтон передал мне для них приветствие.

— Странные люди, — сказал он, — рвутся в армию... здорово живешь, когда их никто не тащит. И еще на четвертый год войны, когда всем нам она давно надоела. Сколько их? Целый час они тут маршировали мимо моей палатки. Тысячи две или больше?

— Ммм... — ответил я «осторожно», — не успел сосчитать; но много.

— Приличные молодые люди, — сказал он, — и маршируют в ногу. Придется послать доклад.

Так и «дошли» они до ставки, хотя только на бумаге.

В конце концов набор был объявлен, и даже противники признавали, что такого подъема Палестина не знала ни до того, ни после. Но мне его почти не удалось видеть. В начале июня мой батальон уже был на фронте, в горах Ефремовых, на полдороге между Иерусалимом и древним Шхемом, который арабы называют Наблус. Меня оттуда вызвали на два-три дня в Иерусалим, произносить какие-то речи, явно никому не нужные; и там я увидел малый уголок этого, действительно, незабываемого зрелища. Там ко мне приходили старые и молодые матери, сефардки и ашкеназийки, жаловаться, что медицинская комиссия «осрамила», т. е. забракowała их сыновей. Лейтмотив этих жалоб звучал так: «Стыдно глаза на улице показать». Больной еврей, по виду родной дед Мафусаила, пришел протестовать, что ему не дали одурачить доктора: он сказал, что ему 40 лет — «но врач оказался антисемитом». С аналогичными жалобами приходили мальчики явно пятнадцатилетние. Скептики шептали мне на ухо, что многих гонит нужда; может быть, — но они все помнили битву под Газой и знали, на что идут. А мне говорили, что иерусалимская картина еще была ничто в сравнении с тем «коллективным помешательством», которое охватило в те дни Яффу и колонии, особенно рабочую молодежь.

Майор Ротшильд, заведовавший вербовкой, предложил мне на обратном пути сделать крюк и заехать в Яффу. Там я снова увидел своих друзей из Реховота, но теперь они глядели победителями. Тут были: Смелянский с молодежью из колоний, Гоз и Кацнельсон с чуть ли не полным составом партии Поалей-Цион, Свердлов с еретиками из второй рабочей партии, Явнеэли со своими йеменитами, был тут молодой Бейлис, сын героя знаменитого процесса; был юный Узиэль, сын раввина сефардской общины, с эффектной группой сефардской молодежи. Вперемежку с ними бродили по Яффе члены нашей команды вербовщиков, еще более старые друзья, прошедшие с нами самые горькие дни одиночества и разочарований: инженер Аршавский с нашивками капрала, Гарри Фирст в одежде рядового; и, наконец, самые «старые» изо всех, товарищи мои по Габбари и Трумпельдора по Галлиполи: сержант Нисель Розенберг, волжские «геры», грузинские «швили»... Все они собрались во

дворе женской школы. Вокруг была вся Яффа с Тель-Авивом, стар и млад, все разодетые в свои убогие праздничные наряды, девушки с цветами в волосах, многие с флажками; офицеры английские, офицеры итальянские из отряда, стоявшего в Тель-Авиве, и зрители-арабы, очевидно в таком же хорошем настроении, как и мы.

Перед этими столпами «Гитнадвут» я произнес нравоучительную проповедь, которая, может быть, оказалась не столь ненужной, как иерусалимские речи:

— Друзья, учить вас храбрости незачем. Но не это главное. В жизни солдата страшнее всего не опасность, а две другие стороны армейской жизни: скука и грубость. С опасностью встречаешься раз в месяц; но в промежутке между двумя атаками нужно несколько недель просидеть в траншеях или в тылу, проделывая нудные, надоевшие поденные работы, в которых нет ни соли ни перцу, и при этом сержант, хотя бы из вашей собственной среды, будет еще обзывать вас *bloody fools* или эквивалентом этого титула по-еврейски. Научитесь и это выносить. Лучший солдат не тот, кто лучше стреляет — лучший тот, кто больше в силах вынести... Более того: когда английский унтер ругается, не считайте его хамом. Англичане сегодня наши партнеры в войне, в деле, которое они называют «игра». Для нас это не игра, у нас философия жизни другая, но и в их философии есть своя красота. В игре человек всегда и честнее, и терпеливее, чем в жизни. Купец может обсчитать покупателя и глазом не моргнет — но за картами он счел бы позором передернуть, ибо если не в жизни, то хоть в игре хочется человеку прожить час без страха и упрека. Помните, в детстве мы играли «на щелчок по носу»: кто проиграл, принимал покорно свой щелчок — но попробовал бы тот же мальчик щелкнуть вас по носу в действительной жизни! Так смотрит на жизнь англичанин: все в ней игра, а война в особенности. Капрал ругается? Да ведь это просто щелчок по носу, это в правилах игры, сердиться не полагается. Грязно в траншее? Это просто плохая карта попала в игре, потерпи до следующей раздачи. Пуля, граната, рана и смерть — все это части игры. Вообще я в их философию мало верю, но для войны она хороша. Играйте по правилам, не считая ни щелчков, ни битых карт...

Перед отъездом я встретил в Тель-Авиве Х.Е. Вейцмана. Он был наполовину в восторге, а наполовину зол:

— Вы начисто подмели всю страну, — говорил он Джеймсу Ротшильду, — откуда брать нам теперь рабочих, учителей, служащих?

Потом, однако, перед отъездом волонтеров в лагерь на учение, он им на торжественном параде передал еврейское знамя и произнес, глубоко взволнованный, слова красивые и трогательные: поблагодарил их от всего народа за грандиозную манифестацию, которая поможет укрепить наши права на Палестину, и пожелал им успеха и победы.

Я этого уже не видел и не слышал, только прочел в письме в наших траншеях на горе Ефремовой.

* * *

Одна часть волонтерского движения осталась исключенной из общей радости: девушки. Говорить с англичанами об «амазонках» было бы, конечно, совсем напрасно, да и сами они всерьез об этом не думали; но на образование «Красного Шита Давидова» они надеялись крепко.

Добились мы и этого, но уже много позже, и в очень малых размерах. Маленькая группа сестер была в конце концов принята на военно-медицинскую службу; должен признать, что отбор девушек, имевших нужную подготовку, происходил в моем присутствии, и только эти немногие и оказались подготовленными. Тем не менее группа получила официальное звание «Red Magen-David» и особый значок; и служили они в том госпитале, куда главным образом и попадали наши солдаты после перемирия. Госпиталь находился на железнодорожной станции Била, у самой египетской границы, а в получасе езды оттуда была Рафа, где почти всегда стоял какой-либо из трех еврейских батальонов.

Сестры они были хорошие; но не этим одним я считаю себя вправе похвастаться. В нашем народе еще застряло, к сожалению, несколько восточных предрассудков, и потому я немного боюсь, что иной из читателей найдет неуместным эпизод, который я сейчас расскажу. Я, однако, его расскажу, так как твердо считаю «Восток» — в духовном или бытовом смысле — самым обидным из бранных слов и думаю, что еврей — древнейший из европейцев. А одно из отличий европейской культуры — умение гордиться привлекательностью своих

женщин. Помню, что во время первых съездов Лиги наций в Женеве вся печать говорила об умном трюке англичан: их делегация привезла с собою в Женеву, как на подбор, всех очень милостивых машинисток. В самой Англии красивых девушек совсем не так много: тут был именно подбор, и совершенно правильно, ибо это и есть кусок национальной гордости.

Эпизод произошел в упомянутой Рафе. Неподалеку от нашего лагеря во время перемирия устроены были скачки: там рядом с нами стояла кавалерия «Анзаков» (инициалы австралийских и новозеландских войск). Наш батальон был приглашен, и Патерсон привез с собою двух из наших сестер, которые были в тот день свободны от дежурства. Анзаки, со своей стороны, пригласили своих дам, все из того же госпиталя: большинство из них были очень элегантны в своем форменном платье, много было недурных собою, и почти все, кажется, «из хорошего общества». Но в перерыве между началом и концом скачек именно вокруг наших двух сестер собралась самая большая толпа: тут был и начальник Анзаков генерал Чейтор, и его штаб с полковниками, майорами и капитанами, человек двадцать, если не больше. наших офицеров они совсем оттеснили (за исключением Патерсона, который считает, что ирландца от молодых дам нельзя оттеснить), и почти все время перерыва шла там перестрелка остроумия, смеха и комплиментов. Я был очень рад — издали, потому что и меня оттеснили.

* * *

Но уж это все было в дни перемирия, а пока речь идет о последних месяцах войны. Весело тогда было в Палестине, весело, несмотря ни на что.

Еврейское население только что пережило несколько страшных лет. До войны в Иерусалиме насчитывалось 60 тысяч евреев: теперь осталось около двадцати двух тысяч; уехать удалось лишь немногим, остальные вымерли от голода и болезней. До сих пор (говорю о весне 1918 г.) нищета в Иерусалиме чувствовалась на каждом шагу. Дети подбегали на улице и просили: «Не давайте мне денег, купите мне хлеба»... В прежние времена только у Стены Плача можно было встретить еврейских нищих, и то стариков; даже «халукан-

цы», жившие заграничной милостыней, держали своих мальчиков с утра до ночи в школе, а девочек дома. Но теперь дети были на улице — и, говорят, не только за подаванием...

Но и другая, еще горшая трагедия пронеслась, едва за год до того, над палестинскими евреями. Они ее называли «риггуль» — по-еврейски это значит шпионаж. Сильный, даровитый и большой человек — большой и в талантах, и в пороках — вывязал, под самым носом у Джамал-паши и его турецкого и немецкого штаба, тайную сеть для помощи английской разведке. Он устроил правильную связь между своим центром в Палестине и ставкой Алленби в Каире; несколько раз агенты его перебирались туда и обратно в подводных лодках англичан. Англичане считают, что эта организация им значительно помогла; но евреи по сей день говорят о ней с ужасом и отвращением. Кто прав и неправ, не наше дело. Среди лиц, замешанных в это дело, бесспорно были фигуры значительного размаха, готовые рисковать чем угодно, вплоть до последней жертвы; еще найдется когда-нибудь поэт и зарисует эти образы, их грехи и героизм, их легкомыслие и отвагу. Но еврейское население дорого за все это заплатило.

От Рушука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликаая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи...

Сарру Ааронсон два дня пытали турки в колонии Зихрон-Яков, били бамбуками по пяткам, клали горячие яйца под мышки; на третий день она улучила миг и застрелилась, не назвав ни одного имени. Трех ее товарищей повесили на площади в Дамаске. Другим выламывали пальцы, выворачивали руки. Страшное было время.

И вдруг, 2-го ноября 1917-го года, прогремел под Газой первый пушечный выстрел нового наступления, и в несколько недель освободился весь юг и вся Иудея, от Иерихона до Петах-Тиквы и Яффы. И тогда евреям рассказали, что в тот самый день 2-го ноября раздался и в Лондоне другой выстрел, направленный против древней твердыни Изгнания, — Декларация Бальфура; и что «еврейская армия», о которой у них давно шептались, уже в пути, идет освободить Самарию, Галилею, Заиорданье — времена мессианские настали!

Жителю многолюдных городов трудно будет понять, как воспринял это крохотный народ еврейской Палестины. Всего их было тысяч пятьдесят. Когда вдруг повеет великий дух над малой общиной, получают иногда последствия, недалекие от чуда; в этом, может быть, разгадка тайны Афин и того непостижимого столетия, которое породило и Перикла, и Сократа, и Софокла — в городишке с тридцатью тысячами свободных граждан. Я, конечно, не приравниваю ни талантов, ни значения; но по сумме чистого идеализма Палестина в те дни могла поспорить с каким угодно примером. В конце концов, там сосредоточился отбор из двух эпох сионистского движения, до Герцля и после Герцля; там по улицам часто проходили скромные, мешковато одетые люди, именами которых, когда они умрут, потомство назовет эти самые улицы. Они пережили насмешку, равнодушие, сто неудач, пытку и голод — и теперь у них на глазах совершались первые шаги осуществления древнейшего из пророчеств. Может быть, я преувеличиваю; но мне кажется, что история мало знает других страниц, где бы так тесно переплелись, и в такой неслыханной мере, такая древняя древность, такое величие воспоминаний, такая глубина падения и горя, такой полет надежды. Может быть, то же было в Греции, сто лет назад, во время освобождения; а может быть, и там было не так.

Притом сильно чувствовалось, в конце концов, захолустье, где каждый каждого знает, и всякая мелочь кажется событием; но это, право, не вредило торжественности общего настроения. Мне это, по крайней мере, было мило. Вся «знать» Иерусалима и Тель-Авива и колоний волновалась о том, удастся ли уютно расселить членов «сионистской комиссии». На автомобиль этой комиссии приходили смотреть из Экрона, Гедеры и Артуфа, за десятки верст.

Потом прибыла из Нью-Йорка первая партия «Гадасы» с д-ром И.М. Рубиновым во главе, около тридцати врачей и сестер и пуды всяких лекарств и целый парк автомобилей, и подо всем ясный намек на те миллионы и миллиарды, которые вот-вот поплывут из этой Америки на строение Еврейского Государства...

Точно так же преувеличивали они и «опасности». Девушки ходят гулять с австралийскими солдатами: не грозит ли это порчей нравов? Несколько предприимчивых бедняков откры-

ли лавчонки и продают англичанам «кекс»: что ж это такое, неужели Палестина становится страной рестораторов? Не хотим второй Швейцарии! В обиходе появилось слово «ол-райт»: берегите национальный язык — идет ассимиляция!

Право, все это не портило впечатления красивой, наивной радости. Я недолго с ними прожил, больше все налетами, по пути из Египта в штаб или с фронта в Каир; но никогда в жизни еще не доводилось мне так надышаться воздухом чистого детского счастья.

...Это все было весною. А в октябре, когда мы вернулись из Заиорданья, после победы союзников на всех фронтах, уже все было по-иному.

ГЛАВА XI

ПЕРВЫЙ ФРОНТ

Собственно воинская история наших батальонов распадается на три части: лето на шхемском фронте, наступление в Иорданской долине, перемирие.

Первый период прошел относительно спокойно. После тяжелых боев последней зимы, когда турки были вытеснены из южной Палестины, обе стороны порешили отдохнуть. Турки в особенности отказались от всякой инициативы: стычки, какие были, происходили всегда по почину англичан, и то редко.

Большинство из молодых моих читателей, вероятно, сами были на фронте; но, может быть, обстановка горной войны им не так знакома. Фронт наш лежал, как уже сказано, на полдороге по прямой линии между Иерусалимом и Наблусом, он же по-нашему Шхем. Когда едешь автомобилем из Иерусалима в Шхем, проезжаешь сначала мимо деревни Эль-Бирз: это — древняя Беэрот-Биньямин (Самуила II, гл. 4-я, 2 и дальше). После того, глубоко в долине, лежит село Айн-Синия: во второй книге Второзакония (гл. 13-я, 29) она называется Иешана. За Иешаной надо было свернуть с шоссе налево и выехать в узкую долину, которую арабы называют Вади-эд-Джиб. Здесь, между двумя безлюдными арабскими

деревнями, и находились наши линии. Деревни назывались: слева — Абуэйн, а справа — Джильджилия; вторая, кажется, и есть тот «Галгал разноплеменный», о котором упоминается где-то в книге Судей.

Представьте себе длинный горный хребет высотой приблизительно в 2500 футов, тянущийся с запада на восток. С севера лежит глубокая, тоже продольная долина, а по ту сторону долины — вторая параллельная цепь гор, еще выше первой. Наш лагерь был на первом хребте, турецкий — на втором; от верхушки до верхушки версты три. Оба лагеря, конечно, не на вершинах, а футов на сто ниже, на том склоне, которого противник не видит. Днем на вершину запрещено выходить; часовые сидели в замаскированных каменных землянках, называвшихся «О-Пип» (Observation Posts). По ночам мы занимали траншеи на открытом склоне горы; траншеи были неглубокие, собственно не траншеи, а брустверы, которые у нас называли индостанским словом «сангар». Кроме того, каждую ночь высылался в долину патруль на случай неприятельской атаки.

Это было спокойное время, как будто нарочно для того, чтобы постепенно ввести свежих солдат в боевую атмосферу. По утрам турки приветствовали нас получасовой бомбардировкой; но почему-то стреляли всегда в сторону, в одинокую скалу, совершенно лысую, где не только человека, но и коршуна никто не видал; и у них на три бомбы одна не взрывалась. Помню только три или четыре раза, когда они палили в наши позиции, в том числе один раз ночью; но вреда это нам не причинило. Холмы в той местности падают не откосо, а террасами, вроде лестницы; каждая терраса — шириною в два-три метра, и склон над ней подымается отвесно, высотой с двухэтажный дом. Наши палатки стояли вплотную у самого отвеса, так что снаряды, летя по траектории, пролетали почти всегда мимо. Должно быть, и наш огонь им мало вредил.

Вообще операции на палестинском фронте относятся к категории «малой войны». Из новомодной военной чертовщины мы мало что испытали. Изредка любовались поединком в воздухе, когда два аэроплана вертелись друг против друга вокруг незримого центра, словно две каретки или лошадки на карусели, треща пулеметами и усыпая небо клочь-

ями белой ваты. Газовых атак у нас не было. Опасных предприятий было только два: идти ночью с патрулем или отсидеть неделю в деревне Абуэйн.

Патруль состоял из лейтенанта с двенадцатью солдатами. Тяжелые армейские сапоги надо было завернуть в толстые тряпки, чтобы не стучали, тряпками надо было закутать голые колени — летом мы носили трусики, а колючая флора той местности изумительно богата. За два часа до выхода лейтенанту вручали запечатанный конверт с подробным описанием маршрута. Иногда он сводился к прогулке по долине, но иногда вел и вверх по противной горе, подчас всего на двести футов ниже того места, где у нас на карте красным обозначены были часовые посты противника. Это была служба нелегкая. Прежде всего приходилось карабкаться в темноте вниз, тысячу футов и больше по утесам и сквозь колючие заросли, с ружьем в руке, и притом без шума. Добрый час уходил на это. После того надо было пробраться в долине версты на две вправо и столько же влево, прячась под деревьями и перешептываясь с сержантом, что это за пятно — турок или кактус. Потом наступало самое трудное: карабкаться на турецкую гору, отыскивая путь при помощи компаса или при посредстве «признаков», сообщенных осведомительным бюро в следующей форме: «направо от расколотого фигового дерева» или «в десяти шагах налево от второй лужи». Но вот мы, наконец, добрались до «камня в пятнадцать футов высотой, который с севера похож на голову гиппопотама» (кто его видел, гиппопотама, да еще так близко, чтобы узнать его профиль в темную ночь?). Тут вы отдыхаете и раздаете солдатам по кусочку шоколада. Потом назад, еще два часа ползком или карабкаясь, причем уже все устали. Это, пожалуй, самая неприятная часть патрульного дела. Вы в ста метрах от турецких траншей — а ничего не поделаешь, из-под усталых ног сыплются камни. Вдруг раздастся выстрел, и что-то шлепается о скалы недалеко от вашего последнего солдата (идти приказано гуськом; устав требует, чтобы офицер шел посередине, но шик требует, чтобы он шел впереди). Вы «кричите» шепотом: ложись! Патруль ложится. Едва в трехстах шагах подальше, вверх по склону горы, вспыхивает искорка, подымается вверх и там становится красной ракетой и заливает светом всю вашу

часть долины, заросли, сухое русло зимнего ручья, скалы, провалы — очень эффектно, если бы было до того; но отличить людей от кактусов при этом освещении трудно: сверху раздается еще несколько выстрелов, но стреляют они мимо. Тут за нас начинают заступаться: из Абуэйна, из Джильджилии, из всех «сангаров» на нашем склоне подымается ружейный, иногда пулеметный концерт (они знают, где мы, и в нашу часть долины не стреляют). Иногда в этот домашний спор вмешивается и начальство, английская артиллерия. С жутким гулом альпийского поезда в темную ночь, когда путнику из долины виден только светящийся хвост его, едет величественно наперерез по небу над вашими головами огневая комета и разрывается на турецкой горе, потом другая — и хоть вы догадываетесь, что это все по расписанию, но солдатам говорите, что это все для нас. Грохот продолжается полчаса; потом становится тихо, вы ползете дальше и добираетесь до лагеря, где ждут вас с огромным кипящим чайником сладкого чаю.

Второе опасное место был Абуэйн. Село это принадлежало к нашим линиям только потому, что не принадлежало к турецким. Но на самом деле находилось оно в ничьей полосе — «No Man's Land». Если спуститься с нашей вершины в сторону турок, вы наткнетесь, футах в трехстах ниже, на выступ той же горы вроде огромной террасы или, вернее, громадного стола, и на этом столе арабы выстроили деревню, около полусотни хат. Абуэйн значит по-арабски «два отца»; может быть, два патриарха, — насколько знаю, деревня эта не упомянута ни в Библии, ни в Талмуде. Но это была, очевидно, не бедная деревня, судя даже по развалинам, которые от нее остались. Каждую неделю ее занимал другой взвод и оставался там семь дней. Днем сообщение между этим взводом и остальным батальоном было возможно только по телефону, по которому из десяти слов едва доходило до вас одно. Через эту тонкую нить цивилизации мы заказывали из Абуэйна в батальон все, что нужно было: спички, табак, хинин, бинты, амуницию, почтовую бумагу; и по ночам приходила с горы партия солдат с шестью белыми осликами и привозила ваш заказ (т.е. в той форме, в какой понял его батальонный телефонист) и цинковый ящик с дезинфицированной водой.

У меня дома осталось несколько писем моих из Абуэйна; привожу отрывки:

«...Вероятно, у каждого бывают в детстве те же две мечты. Первая — стать хоть на неделю царем или по крайней мере губернатором. Вторая — не смею сказать пожить в гареме, но хоть посмотреть изнутри на подлинный гарем. У меня сбылись обе мечты. На целую неделю я назначен самодержцем этой деревни, могу повелеть и запретить, что мне угодно, могу даже разрушить все село (только на восьмой день за это поташат на военный суд); а живу я в самом настоящем гареме, где окна забиты ажурными деревянными ставнями. Несколько портит мою радость то обстоятельство, что в гареме нет ни одной из его законных обитательниц, а во всей моей сатрапии ни одного штатского подданного — все население состоит из солдат моего взвода; тем не менее приятно отметить, что и мечты иногда сбываются».

«...По-настоящему живем мы тут только ночью. Едва стемнеет, мы расставляем стражу в трех пунктах, с которых видны разные части долины; при этом четверть часа приходится читать нотацию горячему капралу Саломону, начальнику поста № 2, что если он опять услышит шум внизу, то не надо сразу палить из пулемета, а надо раньше выяснить, не есть ли это наш собственный патруль на пути домой. После этого начинается, как выражаются интеллигенты из наших солдат, «строительство Палестины». Полковник распорядился починить проволочные ограждения, поврежденные турецкими снарядами, а также подвести на аршин выше каменный забор, за которым днем прячутся наши солдаты, когда идут из казармы, т.е. из других комнат моего гарема, в обсервационный пункт. Я созываю тех из солдат, что свободны от стражи и от малярии, и вместе мы всю ночь напролет «строим Палестину» в арабской деревне».

«...Ура! Мы победили малярию. Когда я в прошлый раз писал, что в моем царстве нет населения, я имел в виду только население двуногое. Зато осталось шестиногое: в миллиардах! В жизни я не воображал, что на свете есть столько комаров. Еще до захода солнца мы обвязываем тряпками голые колени, а в лицо, руки и шею втираем какую-то мазь; но комарам именно эта мазь, по-видимому, и нравится, и они работают с таким энтузиазмом, что руки устают чесаться.

Результат: на второе же утро два случая малярии. Я устроил военный совет со своим сержантом (он живет тоже в моем гареме), и мы решили и эту часть населения эвакуировать. Мы по телефону «заказали» в батальоне две жестянки керосину, а капрала Стукалина (это — один из лучших наших «героев») и капрала Израэля (он только что вернулся, отсидев две недели за избиение военного полицейского в пивной) отправили обыскать деревню и найти комариные гнезда, т.е. стоячую воду. При всем уважении к нашим «портным», которых я все больше начинаю ценить, такое ответственное дело я все же не решился поручить никому другому, как только бывшим галлиполийцам. К вечеру они вернулись, запыленные и замурзанные до самых глаз (обыск они делали ползком), и доставили три адреса: одна лужа, один колодезь и одна разрушенная баня. Ночью пришли милые белые ослики и принесли жестянки: слава Богу, телефон на этот раз не подвел. С великим церемониалом мы щедро полили все три неприятельские позиции керосином, а колодезь еще в придачу завалили камнями, причем неприятель ответил такой контратакой, что я еще весь испуган, а ведь уже прошло три дня. Зато сегодня к вечеру у нас комаров осталось не больше одного взвода, да и те летают поодиночке, уныло, почти без песен и не проявляют аппетита не только к нашей крови, но даже к той мази».

«...А портных наших я ценю с каждым днем все больше. Вот один эпизод. Колонисты Ришона прислали нам гостинцев: виноград, фиги, штрудель с миндалем — я подозреваю, что было и вино, но ирландский элемент на верхах батальона, должно быть, решил, что это было бы нездорово для жителей «ничьей полосы»... Около второго часа пополудни, когда взвод выпался, сержант роздал им эту роскошь. Живем мы все в одном доме: я с сержантом в верхнем этаже, солдаты — внизу в трех больших комнатах, выходящих на двор. Туркам видна только наша крыша, так что солдаты день проводят во дворе. Играют обычно в карты: хочу надеяться, что не на деньги, — это запрещено. На этот раз они тоже расселись по углам двора, с виноградом, штруделем и засаленными колодами, как вдруг турки начали пушечную симфонию. Хоть это редко случается днем, но мы привыкли; да и стреляют они всегда куда-то вбок. Я продолжал читать, солдаты играли и беседовали — но через пять минут вошел ко мне сержант и сказал:

— Сэр, это звучит как-то иначе — боюсь, они нашупывают нас.

В самом деле, следующий снаряд разорвался почти в самой деревне. Я высунулся в окно и закричал солдатам: «По комнатам — живо!» Они послушались, хотя совсем не «живо» — очень уж душно в этих арабских пещерах.

Мы ждем. Через каждые пять минут — снаряд, то справа от деревни, то слева. «Наводчики у них неважные», — говорит сержант; он все еще стоит у окна. Вдруг он улыбается и делает мне знак. Я подхожу, выглядываю во двор: четверо из наших лондонцев опять сидят под открытым небом, едят штрудель и тасуют карты; они только выбрали угол, где из моего окна их не сразу заметишь, и говорили шепотом. Один поднял голову и сказал на идише: «офицер». И как раз в эту секунду разрывается граната, теперь уже явно у нас в деревне, не дальше ста шагов от нас. Трое из них поднимают головы, но не трогаются с места; но четвертый даже не оглядывается, бьет с размаху какую-то карту и говорит тем специальным тоном, которым «приговаривают» увлеченные игроки: «*Nob ich ihm in dr'erd*».

Это могло относиться и к «офицеру», но я предпочитаю думать, что относилось к снаряду.

Я их, конечно, опять разогнал».

ГЛАВА XII

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СОДОМА И ГОМОРРЫ

В середине августа 1918 года, после двухнедельного отдыха в горах Самарии, нас отправили на иорданский фронт. Там мы провели около пяти недель, а потом началось наступление — еще две недели похода и огня. Огонь был двух родов: боевой, не Бог весть какой свирепый, и солнечный, совершенно невыносимый в этой местности, самой раскаленной дыре на всем Средиземном побережье.

Нижняя часть Иорданской долины, близ Иерихона и Мертвого моря, считается, если не ошибаюсь, наиболее глубоким местом на мировой суше: около 400 метров ниже уровня океана. Вообще климат Палестины — «подтропический», вроде южной Италии; в горах, особенно в Иерусалиме

и Цфате, зимою даже холодно; иерусалимский снег 1920-го года лежал такими сугробами, каких я и в Петербурге не видел. Но климат низовья иорданской долины — даже не тропический, а экваториальный. В те самые снежные дни Иерусалима в Иерихоне цвели розы — а от Иерусалима до Иерихона всего час на автомобиле.

Летом это седьмой круг ада; описывать его незачем, достаточно сослаться на Данте. «Вся площадь была сплошной песок, сухой и густой; и на него медленно падали пушистые хлопья огня, словно снег в Альпах в безветренный день; и от них загорался песок, точно трут от кремневой искры». Гениальный предтеча репортерского цеха пытался в этой обстановке интервьюировать одного из тамошних обитателей, но не добился от упряма никакого ответа, кроме ругательств по адресу Юпитера. Я того нечестивца понимаю. С конца июля до конца сентября даже бедуины уходят из этой части Иорданского провала: как раз те месяцы, которые нам пришлось провести на соленой речке Меллахе, верстах в пятнадцати от Мертвого моря, если угодно, в двух шагах от Содома и Гоморры.

Хороша вся эта область, но худшее место в ней — наша Меллаха. Это узкая ложбина, около пятнадцати верст в длину, приблизительно с севера на юг. Почти нигде ни кустика; почва белесая, горько-соленая на вкус; может быть, тут когда-нибудь откроются великие богатства для химика. Посредине течет соленый ручей: два шага в ширину — мало, но вполне достаточно для того, чтобы отравить всю ложбину самой ядовитой малярией.

Кто охоч до красоты трагической, красоты разрушения и вечной смерти, тому есть тут чем налюбоваться досыта. Те же серовато-белые холмы со всех сторон; состава почвы я не знаю, но при виде их невольно приходят в голову аптекарские слова: хлор, шелок, селитра; или еще вспоминается жена библейского Лота и нерукотворный памятник ее где-то по ту сторону Мертвого моря. Если взобраться на эти холмы и обернуться на юго-запад, разворачивается сцена первозданных катастроф земной коры: яростно-исковерканные, словно палачом выкрученные утесы — и желтая оголтелая степь без травы, где гонятся друг за дружкой поминутные смерчи из песка и пыли, вышиною с пол-Эйфелевой башни.

Тут и стояли наши палатки по склонам справа и слева от соленого ручья. Времяпрепровождение наше тоже описано в той же самой песне у Данте: «Я увидел большие стада обнаженных теней; одни навзничь лежали на земле, другие сидели скорчившись, третьи беспрерывно слонялись». А каждый вечер с севера ложбины к югу брели вереницы верблюдов, десять, пятнадцать, иногда двадцать; верблюды ступали мягкой, высокомерной походкой, покачивая каждый по две койки с обеих сторон: это везли на врачебный пункт наших товарищей, заболевших малярией. Батальон наш пришел в Меллаху в составе 800 человек, к началу наступления осталось около 500, но после победы вернулись на отдых полтораста, и из 30 офицеров половина: убитых и раненых было мало (вообще последняя победа на этом фронте обошлась в смысле человеческих жизней дешево) — косила только малярия; человек сорок из ее жертв так и не поднялись, и теперь они спят на военном кладбище в Иерусалиме, на горе Елеонской, под знаком шестиконечной звезды.

Турецкие пушки досаждали нам не реже двух раз в неделю, но вреда не причиняли. В середине сентября к нам присоединились две роты «американцев» под командой полковника Марголина: они стояли к западу от нас, на речке Ауджа, и там их ежедневно — но тоже безуспешно — тревожила большая австрийская пушка с хребтов Гил'ада за Иорданом, которую англичане ласково называли Джерико-Джэн — Анюта иерихонская. Зато тяжела была здесь ночная работа патрулей.

Иорданская долина в этом месте представляет углубление двухэтажное. Представьте себе улицу, по сторонам ее — высокие стены, а посередине — продольную канаву такой же глубины. «Улица» — это и есть самая долина, в Библии именуемая Киккар, шириною верст в двадцать от подошвы Иудейских гор до гор Гил'адских. «Улица», конечно, сама загромождена холмами и провалами, подобно нашей Меллахе. Но, чтобы добраться к Иордану, надо еще спуститься в «канаву» глубиной в сто или больше метров — там вторая долина, густо заросшая чем хотите, от пальмы до чертополоха, и в этом тайнике и течет сама речка. Турки еще занимали не только оба берега реки, но и все подходы к «канаве».

Каждую ночь мы высылали по два патруля в усиленном составе. Кроме обычной разведки тут у них была и особая задача, о которой речь будет идти дальше. Ради этой задачи приходилось забредать очень далеко, часто по вязким солончакам, иногда сквозь колючие заросли. В течение первой же недели мы потеряли несколько человек убитыми и зато получили две солдатские медали — одна из них досталась бывшему галлиполийцу Сепиашвили. Но вообще не проходило почти ни одной ночи без треска турецких пулеметов, нащупывавших нашу разведку, а наши «форты» (по ночам мы сидели в двенадцати игрушечных крепостях вдоль восточного хребта над Меллахой) отвечали тоже из пулеметов, и продолжалось это час, два и больше. Лазутчики возвращались замученные, ложились спать, а потом скоро всходило солнце и начиналась жара...

* * *

Наша линия в Иорданской долине составляла «шарнир» всего британского фронта. Если провести на карте горизонтальную линию, начав ее у самого моря чуть повыше Петах-Тиквы, и почти до самого Иордана, а тут резко, под прямым углом, повести линию вниз, — это и будет британский фронт сентября 1918 года; и «угол» занимали мы. Это, по-военному, считается пост и опасный, и ответственный. Для противника он соблазнителен — тут при атаке нет угрозы бокового, «анфиладного» огня с обеих сторон; а если неприятель прорвется, окажется в тылу сразу у двух наших позиций.

Еще серьезнее было то, что мы тут сидели почти совсем без артиллерийского прикрытия. План общего наступления был выработан так, чтобы главный удар подготовить близ Яффы. Это фронт длиной около 15 миль, и туда в сентябре стянули 35 тысяч пехоты и 400 пушек. На весь остальной фронт, 45 миль в длину, осталось всего 22 000 пехоты и 140 орудий; из них на нашу позицию приходилось не то десять, не то восемь. Притом — цитирую по Британской Энциклопедии — «были приняты искусные меры, чтобы симулировать концентрацию войск в Иорданской долине, между тем как на самом деле там оставлено было только легкое прикрытие в виде конной дивизии Анзаков и двух-трех батальонов пехоты». Алленби это сам подтверждает в своем отчете 31 октября

1918 года: «Дабы не дать неприятелю заметить убыль наших сил в Иорданской долине, я приказал генерал-майору Чейтору (начальник Анзаков, командовавший всеми войсками на Иордане) предпринять ряд демонстраций с целью внушить неприятелю уверенность, будто подготавливается наступление к востоку от Иордана». Этим и объяснялась усиленная работа ночных патрулей.

Исход доказал, что план этот был хорош; но, пока что и кавалерия Анзаков, и мы оставлены были на Божью волю; а у турок, говорили, было в этом месте до семидесяти пушек, и они, действительно, ждали грозы именно тут. Если бы они вздумали предупредить Алленби и ударить в нашу сторону, вышло бы весело. Старшие офицеры у нас часто и озабоченно об этом шептались. Даже полковник, хоть и улыбаясь, сердито ворчал:

— Худшее время года, самый опасный пункт на всем фронте, и пулеметы вместо пушек! Лестное доверие к еврейским батальонам...

Однажды меня послали в Иерихон; по дороге лежал лагерь наших «американцев». Марголин что-то подписывал пред своей палаткой; я остановил лошадь, рассказал ему все «новости» Меллахи, передал и разговоры о скудости артиллерии и спросил, что он об этом думает. Он ответил:

— «Думаю»? Штаб пускай «думает», а мы будем дело делать.

Впоследствии довелось мне беседовать об этом с *comandante* Леви-Бьянкини; он был крупный офицер итальянского фронта, откомандированный своим правительством в состав «сионистской комиссии»; чрезвычайно интересный человек, на редкость умный и образованный; кончил он трагически — его убили бедуины, но о нем я расскажу в другой книжке, если удастся ее написать, — в книге о кровавой Пасхе 1920 года и о крепости в Акко. Он сказал:

— При всем уважении и к генералу Алленби, и к еврейским батальонам, признаюсь, на его месте я бы не доверил угловой позиции солдатам с трехмесячным опытом на фронте. Неужели он о вас такого высокого мнения?

Может быть, в то время генерал Алленби и в самом деле был о нас хорошего мнения. Прошлую службу нашу на сихемском фронте очень хвалили; наши патрули забирались

далеко и приносили ценные сведения о расположении турецкого фронта; за одну из этих экспедиций лейтенант Абрахамс, начальник нашей разведки, получил даже благодарность из штаба; даже процент заболеваний малярией (конечно, до прихода на Меллаху) был у нас меньше обычного — подтверждение той теории, что евреи, несмотря ни на что, все еще здоровое племя с упрямой кровью; а может и отголосок другого нашего качества — у нас не было пьяных!

Много зато было у нас — пленных. Говорят, никакой другой батальон не «притягивал» такого количества турецких перебежчиков. В чем дело, не знаю. Было у нас предание, будто во время одной из патрульных перестрелок капрал Израэль из Александрии вдруг закричал во все горло по-турецки: «Приходите к нам сдаваться — накормим!» и будто отсюда пошел у голодных турок говор о том, что в нашем батальоне пленным дают «по жестянке булли-биф на каждого» и даже говорят с ними по-ихнему. Возможно: одно и несомненно — турки давно недоедали. В одну ночь в конце августа к нам пришло 13 дезертиров, в том числе пять унтеров.

Пожалуй, генерал Алленби действительно был о нас тогда высокого мнения. После шхемского фронта он написал полковнику письмо, что решил устроить еврейскую бригаду и назначить его, Патерсона, бригадным генералом. А потом передумал.

ГЛАВА XIII ЗА ИОРДАНОМ

На яффском фронте наступление началось в ночь с 18-го на 19-е сентября, в половине пятого перед рассветом. Предварительная бомбардировка продолжалась всего четверть часа; турки сразу дрогнули, и к семи часам утра английская кавалерия уже неслась, не встречая препятствий, на север.

Ночью с 20-го на 21-е наши патрули донесли, что контакт с неприятелем слабеет, и часть турецких траншей уже опустела.

Генерал Чейтор протелефонировал Патерсону задание — захватить Умм-эш-Шерт, единственную в том месте переправу через Иордан. Это оказалось не так просто. Первая группа, высланная в этом направлении, вернулась с потерями: капитан Джулиан, ирландец и старый друг Патерсона, был ранен, и солдаты его насилиу унесли из огня; лейтенант Кросс, еврей, был ранен и взят в плен; и одного рядового убили.

После этого ночью была отправлена вторая группа; случилось так, что это был мой взвод и экспедицией командовал я. В качестве натуры глубоко штатской, я, конечно, очень ценю эту страницу своей биографии; но рассказать о ней нечего, подвигов никаких не потребовалось. Вышли мы в полночь, и продолжалась операция часа три или четыре. В одном пункте спуска, помнится, я дал сигнал своему ротному Барнсу, засевшему сверху в утесах, открыть огонь из пулеметов по какой-то заросли, возбудившей мое подозрение, — но я не уверен, что и это было необходимо. Один пулемет был у нас с собою, и на рассвете мы его водрузили на берегу Иордана, и переправа была занята, и в отчете Алленби это дело записано: «22 сентября 38-й батальон Royal Fusiliers захватил брод Умм-эш-Шерт на Иордане».

Иордан в этом месте несется с той именно быстротой, которая придает ему такую ценность в глазах гидроэлектрической техники: с точки зрения техники военной это ничуть не достоинство — переплыть его нельзя даже верхом. Оттого генерал Чейтор так и добивался захвата переправы.

Через три часа после того как мы ее заняли, прибыли конные Анзаки и перешли вброд на ту сторону реки. Так началось завоевание Заиорданья: ключ к его порогу добыл еврейский легион — а потом Заиорданье было объявлено закрытым для еврейской колонизации.

Тем временем полубатальон Марголина опередил нас на пути к селению Горанийя, близ Иерихона, где англичане уже навели понтонный мост для пехоты. Оттуда наши «американцы» прошли в Гил'ад и заняли Эс-Сальт, а мой батальон, чуть ли не ежечасно тая от малярии, потянулся за ними с опозданием на полдня пути.

Мучительный это был поход. Я не на свое впечатление ссылаюсь — у меня военный опыт почти любительский. Но полковник Патерсон проделал в свое время англо-бурскую войну в похожей обстановке, когда вся компания

состояла еще из таких переходов, а не из окопной скуки; видал виды. На второй день он проехал мимо меня, остановил коня, нагнулся и сказал шепотом:

— В жизни так еще не приходилось мне мучить солдат.

Труден был уже и самый путь по равнине, от моста к подножию Моавитских гор. Турки, отступая, подожгли сухие заросли; тяжелый черный дым в безветренной жаре лежал на земле пластами; чтобы не кормить друг друга пылью, мы шли взводами на большом расстоянии один от другого и часто из-за дыма теряли связь и сбивались не туда. Фляжки опустели на втором привале — что не выпили, то высохло, сквозь войлок и никель. Но потом начался подъем, и было это как раз в полдень или около; крутой подъем, от 14 до 25 градусов, и солдаты шли с пудовым своим вьюком на спине: запасные сапоги, одеяло, фуфайки, носки, бритва, посуда, мазь для пуговиц, чтоб блестели... Роскошь британской экипировки — отличная вещь на ночлеге, но не в пути. Офицеры помогали, чем могли, каждый из нас тащил по две и по три винтовки, даже «падре» — наш батальонный раввин, вопреки уставу тоже нагрузил себя орудиями смертоубийства; но все это была капля в море. Чуть ли не поминутно «выпадал» кто-нибудь из рядовых: бросался в тень под скалою — да и тени собственно не было — и оставался там, зажмурил глаза, разинув рот и хрипло дыша во всеуслышание. Я сначала приписывал это невыносимости наших солдат, но скоро успокоился: на шестом километре «выпал» английский фельдфебель и два английских сержанта, плечистые малые, которых нам прислали недавно из штаба на пополнение убыли от малярии.

Теперь мы шли уже красивыми местами. Тут когда-то бродила по горам с подругами дочь судьи Иеффая, оплакивая свое девичество перед смертью. Внизу под извилистой дорогой бежала звонкая речка, по-арабски Вади-Нимрин, а в Библии — Воды Тигровые. Но вместо тигров берега ее были усеяны конскими трупами. Зачем турки, убегая, перебили столько своих лошадей, до сих пор не знаю.

Оставили они на дороге не только лошадей. Мы полюбовались на Джерико-Джэн: страшная «Анюта» лежала наискось поперек потока; волны хлестали ей в дуло, и она их весело выплевывала назад. На дороге кучами валялись снаряды, а еще больше было ружейных патронов, в аккумулятивных «бан-

дольерах» из серого холста. Были раньше, верно, и винтовки, но уже исчезли. У иного поворота передний взвод еще видел целый холмик амуниции, а задний уже ничего не находил; зато по утесам над дорогой карабкались, уходя в горы, маленькие ослики бедуинов.

Одного из бедуинов я поймал за делом. Кража патронов была строго запрещена; в сущности, я имел право поступить с ним совсем жестоко — но недаром трунили надо мною товарищи в офицерской столовой: «Какой вы солдат? Просто переодетый фельетонист». Я... я велел отнять у него добычу и дать ему по шее и отобрал у него осла, и мы посадили на осла усталого нашего «падре». Потом на ближайшем привале осла формально усыновили, дав ему батальонное имя. Дело в том, что у нас числилось шестьдесят четыре солдата по фамилии Коган, и имена их начинались со всех букв английского алфавита, от «а» до «зет». Не было только на букву «икс». Осла называли Коган Икс...

* * *

...На полдороге к Эс-Сальту нас остановили, повернули и велели идти назад в долину. У англичан это тоже бывает, и часто: ступай вверх, потом вниз, а для чего — неизвестно. Они, в таких случаях, усмехаясь, цитируют знаменитую строку из Теннисона, из стихотворения о том, как под Севастополем погибло у них ни за что ни про что шестьсот отборных из конной гвардии; строка очень простая — *someone has blundered* — «кто-то напутал». «Самая английская строка во всей нашей поэзии», — говорит Патерсон (впрочем, он ирландец).

В местности Тель-Нимрин, на низовьях той же горной речки, нам велели ждать немецких пленнх. Мы разбили лагерь и переночевали, а на рассвете привели нам партию оборванцев: девятьсот турок и двести немцев вперемешку с австрийцами и мадьярами.

В жизни их не забуду. Обносились, отощали, обросли до того, что по одежде и по лицу уже трудно было отличить пруссака от османлы. Отличали они себя сами: немцы держались отдельно и блюли порядок. Прежде всего надо было пленнх напоить: немцы сами выстроились очередью, подходили один за другим, получали порцию и говорили «данке». Но с турками едва не вышла трагедия.

Речную воду запрещено было пить из-за обилия лошадиной падали. Из штаба ежедневно рассылали по всей долине цинковые ящики с очищенной водою. Три ящика мы отдали туркам; сержант с помощниками выдавал им по кружке на человека, а двенадцать солдат с винтовками охраняли порядок.

Моя палатка была ближе других к пригорку, на котором это происходило. Я дремал и вдруг проснулся от какого-то гула и визга; в то же время вбежал ко мне денщик, рослый малый из-под Кутаиса, по имени Цвениашвили, закричал: «Драка!», схватил свою винтовку и помчался на пригорок. Я выглянул и увидел серую свалку, пыль и над пылью взмахивающие и опускающиеся приклады. Бьют пленных?! Очень уж это было непохоже на наших солдат. За последние недели до наступления именно к нам каждую ночь приползали турки сдаваться: даже на их стороне прошла слава, что в еврейском батальоне с пленными обращаются ласково.

Я тоже побежал на пригорок; закричал солдатам: «Стоп!», но сам себя не расслышал из-за воя тысячи голосов; и то, что солдаты работали прикладами, оказалось мелочью — главное сражение шло у самих турок. Передние, у ящиков с водою, били, царапали, душили друг друга, некоторые, сплетясь, катались по земле; остальные напирали, проталкивались локтями, пинками, головами; все кричали по-своему и их было около тысячи. Сержант сказал:

— Так они с самого начала, сэр. За двадцать минут и полсотни напоить не удалось. Ничего не могу поделать.

Подошел полковник, присмотрелся и велел солдатам дать залп в воздух: озверелая толпа притихла.

— Гоните их гуртом на реку, — сказал полковник, — иначе они перегрызут друг друга насмерть.

Их подлинно «погнажи» к речке — другого слова не подберешь, да и другого средства не было; там они рассыпались вдоль берега, полегли ничком и «лакали» — опять нет другого слова.

Я пошел к немцам. Они сидели молча, все глядели в другую сторону с выражением «не наше дело, мы не такие». Я спросил по-немецки, нет ли среди них раненых; один встал и доложил:

— Какие были, остались — в пустыне. Но почти все турки.

Не разберешь, интеллигентные лица у людей или нет, сквозь маску пыли и пота и небритых щек; но на некоторых еще уцелели пенсне — признак, по крайней мере, аттестата зрелости.

Тот, что докладывал, спросил:

— А что нового? Кончена война?

Я рассказал; постарался сделать это деликатно, так как новости были все для них неприятные. Все, кто сидел поближе, повернулись ко мне. Тот опять спросил:

— Значит, Германия все еще воюет?

— Воюет, — сказал я.

Мой собеседник повернулся к другому и проговорил:

— Er ist ein Tolpel!

(Я не обиделся: было слишком ясно, что местоимение «он» относится не ко мне.)

Второй подтвердил:

— Er ist es immer gewesen vom Anfang an².

Никто не возразил, даже не шевельнулся. «Ого, — подумал я, — двести готовых республиканцев? Скоро... только вряд ли прочно». Но остальное, что я от них узнал, было еще тяжелее слушать — три дня в горах и в пустыне, без капли воды и без сухаря. Бедуины, вчера лебезившие, сегодня рвущие у отсталого часы из кармана, колечко с пальца, иногда сапоги с ног. И малярия; люди, лежащие на землю, с одной мольбой: уходите, дайте спокойно умереть.

Я пошел к палаткам; под маслиной стоял полковник Патерсон и мой ротный командир, юноша лет двадцати двух.

— Барнс, — спрашивал полковник, — сколько осталось человек в вашей роте?

— Здоровых, сэр? Восемнадцать.

— Так вы нынче ночью отведете эту партию в Иерихон.

Стемнело, и мы их повели: тысячу сто человек, турок и немцев, за шестнадцать верст, по безлюдным солончакам и обгорелым зарослям, под охраной восемнадцати солдат, почти все портные из Уайтчепла, с двумя офицерами и «падре»: он тоже решил непременно пойти. Я шел сзади в черной, сырой и жаркой темноте и думал о том, что, собственно

¹ — Он болван!

² — Он был им всегда, с самого начала.

говоря, они голыми руками могли бы нас передушить; но они послушно плетутся как полагается, по четверо в ряд, немцы даже стараются идти в ногу, а наши солдаты, привинтив штыки к заряженным винтовкам, шагают справа и слева, «цепью», в которой звено звена не только не видит, но и оклик не сразу услышит.

«Падре», верхом на Коган Иксе, то уезжает вперед, то возвращается: надзирает, чтобы пленных не обижали или чтобы они сами не обижали друг друга.

Так мы тащимся без конца, старушечьим шагом, снова наперерез той же Богом отверженной долины. Все молчат, кроме тех, у кого ломит голову от малярии. Но таких десятки. Немцы (их выстроили сзади) сдержанно стонут, но турки хнычут в голос, как маленькие дети, или как те шакалы, что невидимо бегут за нами в стороне, оплакивая горемычную землю.

«Падре» спешился и идет со мною за колонной. Вдруг мы слышим, далеко впереди, крик, свист, потом выстрел. Я оставляю в арьергарде «падре» и сам бегу на беспорядок. У края дороги две фигуры (а колонна плетется дальше): на земле стонущий турок, а над ним солдат, уроженец Александрии, из галлиполийских «ветеранов» Трумпельдора, сердито кричит на лежащего по-турецки.

— Кто стрелял?

Галлиполиец объясняет: турок не хочет идти дальше, горячка замучила, хочет умереть в степи. Он уж пугал его бедуинами и волками, но не помогло; тогда он выпалил в небо и сказал: «Вот так я тебя застрелю, если не пойдешь», — и тоже не помогло.

— Отберите двух турок покрепче, — говорю я, — пусть они его тащат.

В темноте я угадываю, что он на меня смотрит с презрением, как на несмышленища; и он докладывает кратко и деловито:

— Они его в темноте выкинут.

Колонна плетется, и теперь уже идут мимо немцы. Я отбираю четырех, спрашиваю их имена, притворяюсь, будто записал их в книжечку; солдат отдает им свое одеяло, и я им приказываю тащить турка до Иерихона. А дотащили до Иерихона или нет — не знаю.

Возвращаюсь назад, и опять мы бредем и молчим. Около версты, потом опять выстрел, уже много дальше впереди. Я пожимаю плечами. «Падре» заносит ногу, хочет сесть на осла; я грубо дергаю его за ногу и говорю:

— Не суйтесь. Это впереди, там Барнс, пусть он и разбирается.

«Падре» шепчет дрожащим голосом:

— А если... если пристрелят?

Немец, идущий перед нами, видно, понимает по-английски: он громко говорит своему соседу:

— Одно средство: пристрелить. Не оставлять же их тут, на голодную смерть, а шакалы еще уши отгрызут.

«Падре» затихает и всматривается вправо и влево. Много там разберешь в темноте, где камень, где куст, где что другое.

Ташимся, ташимся, и все думаем одно и то же. Неделю тому назад эти люди были здесь ужасом и красой земли. И ведь только случайно мы их ведем, а не наоборот. Много я передумал в ту ночь. Видел я Реймский собор под обстрелом и дуэль аэропланов в воздухе, и gueules cassees и немецкие налеты на Лондон — солдаты с фронта божились, что это хуже Ипра: в Ипре хоть не было в этом грохоте женского и детского плача. Все это страшно, но калечить людей и губить города умеет и природа. Одного не умеет природа: унижить, опозорить целый народ. Это горше всего; и это монополия человека. Живал я и в Берлине, и в Вене, и в Константинополе, видел эти самые обломки образа и подобия Господня, как они работали, как они смеялись, как гуляли со своими барышнями по Пратеру и курили наргиле в переулках Галаты. Часто теперь, когда обзовут меня публично милитаристом, я вспоминаю ту ночь, и дорогу, и долину Иордана, в тени той самой горы Нево, где когда-то умер пророк Моисей от Божьего поцелуя; вспоминаю и не отвечаю, не стоит.

Грозная это вещь — жизнь нации; тяжело тащиться пустыней; не можешь? ложись, помирай. Человечество — тоже полк, только без доброго «падре», и никто тебя не понесет до Иерихона. Бреди, пока бредется, жестокий к себе и к соседу; или ложись и пропадай, вместе со своей надеждой.

ГЛАВА XIV

ПОЧЕМУ БЫЛО СПОКОЙНО В ПАЛЕСТИНЕ

Важнейшим периодом нашей службы, конечно, был третий — во время перемирия. Так оно и должно было быть, по самому смыслу этого плана о легионе. Когда мы его задумывали в 1915 году, нам, конечно, рисовались не полтора и не три батальона, а корпус в тысяч двадцать или тридцать; но и тогда нам было ясно, что для завоевания Палестины одного этого корпуса не хватит, а понадобится на это сто или двести тысяч солдат. Значит, в лучшем случае еврейский легион мог бы быть только четвертой или пятой частью той боевой армии, которая завоюет Палестину. Но для оккупации Палестины после завоевания таких огромных сил не нужно; если бы у нас было двадцать или даже около пятнадцати тысяч, мы могли бы оказаться главной частью гарнизона именно в тот период затяжных и сложных переговоров, когда определяется судьба каждой из завоеванных областей.

На деле все это сложилось гораздо скромнее; тем не менее, в первый год оккупации (1919) еврейский контингент составлял очень видную часть британских сил, охранявших порядок в Палестине. Сам легион вырос. В наступлении 1918 года приняли участие только полтора батальона, приблизительно 1300 человек — остальные еще обучались в Египте; но к началу 1919 нас было три батальона, 5000 солдат. Напротив, общее количество войск, конечно, уменьшилось: часть ушла занять Сирию и Анатолию, часть понадобилась в Египте, а вскоре началась демобилизация. Точных цифр я не помню, но вряд ли ошибусь в таком расчете: если взять среднюю цифру за 1919 год, то мы составляли от 15 до 20% всего гарнизона; если же считать только «белые» войска, т.е. без индусских полков, мы были, вероятно, третью. Этот «цветной» подсчет я привожу не в утешение себе или читателю, а потому, что он важен объективно. Нас, евреев, интересовала не окраска индусских войск, а тот факт, что среди них было много мусульман; в случае арабских выступлений против сионизма эти «цветные» войска были бы неудобны. Но и англичане, что бы они там ни рассказывали в книжках для иностранцев, сами не считают индусские войска безусловно

надежными; оттого в индусских полках все настоящие офицеры, вплоть до подпоручика — англичане; индусам они дают офицерские погоны и титулы «джемадар» и «суба-дар», но никакой власти. Говорят, теперь это изменилось — не знаю, не следил; говорю о 1919 годе.

В течение этого года был момент, точнее два месяца, когда пропорция еще больше изменилась в нашу пользу. В марте разыгрались серьезные беспорядки в Египте. Из Палестины срочно была вызвана туда значительная часть «белых» войск. Кроме «цветных», остались, кажется, только один английский батальон в Иерусалиме и наши пять тысяч.

Это были опасные два месяца. Арабский мирок Палестины прожил их в большом возбуждении. Ежедневно по всей стране прокатывались самые фантастические, но зажигательные слухи о событиях в Египте: англичан разбили, кирская цитадель в руках у националистов, Алленби убит, даже Араби-паша, герой Телль-эль-Кебира, воскрес из мертвых и т.д. Ежедневно по базарам и кофейням ходили какие-то новые люди; десятки агитаторов проникли в Палестину с юга, неизвестно за чей счет, и почти открыто (в деревнях и совсем открыто) призывали народ избавиться и от англичан, и от евреев. Окружные губернаторы и другие чиновники, с которыми часто приходилось тогда встречаться (я был одно время членом «сионистской комиссии») не скрывали своей тревоги; в офицерских столовых говорили, что индусские солдаты получают из Индии письма с жалобами на унижение халифата, на порабощение Константинополя, и смотрят неласково.

Стерегли Палестину в те месяцы мы. Кроме одного Иерусалима (далее расскажу о том, как нас в Иерусалим не пускали), все главные центры и все артерии страны охранялись еврейскими солдатами. В Яффе стояли наши «американцы», в Хайфе — палестинцы; все посты вдоль железных дорог, от Романи в пустыне до Рафы на границе Египта с Палестиной, от Рафы через Газу до Яффы, от Яффы через Луд до Хайфы и дальше до Тивериадского озера, были заняты нашими.

И опасные два месяца прошли спокойно. Вообще спокойно прошел весь 1919 год. Когда в стране тихо, военному поведствователю не о чем рассказывать.

Есть у сионистов популярный спор: правда ли, что наличие еврейских солдат «раздражает» арабов? Я тут пишу не публицистику, потому коснусь только того, что сам видел. На вопросы такого рода надо отвечать честно; но и ставить их надо честно. Покуда арабы не хотят еврейской колонизации, их, конечно, «раздражает» все, в чем проявляется наше влияние: иммиграция, еврейский обер-комиссар, торжественное открытие университета и т.п.; в том числе, бесспорно, и еврейские солдаты. Если так ставить вопрос, то надо отказаться вообще от сионизма. Честной постановкой проблемы я считаю такую: примесь «раздражающего» зелья имеется в любом лекарстве — но что перевешивает, польза или вред? На это жизнь ответила так: в 1919 году в Палестине было 5000 еврейских солдат, арабы их видели на каждом шагу — и год прошел спокойно, даже несмотря на египетский пример. А к весне 1920 года почти весь легион был демобилизован, от 5000 солдат осталось всего четыреста — и тогда в Тель-Хай убили Трумпельдора с восемью товарищами, а в Иерусалиме разыгралась кровавая Пасха.

Несколько замечаний хочу сделать на тему, близкую к этому спору, но обратную: не об отношении арабов к нашим солдатам, а об отношении наших солдат к арабам. Ясно, что гарнизону в такой стране важно обладать не только силой, но и тактом. Причем сила — если дойдет до такой печальной необходимости — проявляется в действиях коллективных, что сравнительно легче; но такт есть качество личное, которое каждый отдельный солдат должен выказать в своем обращении с отдельными людьми. Это, конечно, не всякому дано. Тут нужно одно из двух: или большая тонкость дипломатического чутья, или умение держаться в стороне и вообще подальше от местных людей.

Грубых нарушений такта со стороны наших солдат не было. Можно это доказать официально. Летом 1919 года арабский комитет отдал тайный приказ — «сыпать» жалобами на еврейских солдат. Жалобы, действительно, стали одно время «сыпаться», и военно-полицейские власти производили расследования, во всяком случае — без особого пристра-

ствия к нам. Почти все жалобы оказались дутыми, и вскоре прекратились. Если же сравнивать наше отношение к «туземцу» с поведением остальных «белых» войск, то полагалась бы нам или монтионовская, или нобелевская премия. Австралийцы сожгли целую деревню Сурафенд — позволив, однако, уйти оттуда женщинам, старикам и детям — за то, что накануне там пристрелили одного из их товарищей. У нас не только ничего подобного не могло произойти, но и вообще серьезных столкновений не было. Но перебранки и драки бывали; и любопытно — кто из наших солдат в них участвовал.

Прежде всего надо выделить две категории, с которыми ничего подобного не случалось никогда. Первая — это интеллигенция палестинского батальона: учителя, рабочие, колонисты, абитуриенты гимназии и т.д. — добрых три четверти всего палестинского набора. Их отношение к арабам было вежливое и приветливое без запанибратства и трений вызвать не могло. Вторая — наши «лондонцы», те самые «портные» из 38-го батальона. Они просто держались в стороне и ничего общего с арабами не имели. Свои воинские обязанности они выполняли точно и аккуратно писали письма домой; ничем остальным не интересовались: ни Палестиной, ни сионизмом, уж меньше всего «туземцами». Когда пьяный араб кричал им на улице бранное слово, они просто не замечали ни его, ни его крика.

Не так гладко было зато с «американцами». Это были почти все сионисты, даже пылкие сионисты с интересом ко всему, что касается сионизма. Присматривались они и к арабам скорее даже с симпатией, чем напротив, но — присматривались, и потому каждое арабское ругательство у них истолковывалось как покушение на национальную честь, а шальной, неизвестно откуда брякнувший и ничего не задевший выстрел — и того хуже.

Но больше всего недоразумений бывало у второй части палестинских добровольцев — у той, которая сама выросла в «восточной» обстановке. Против арабов эти молодые люди ничего не имели, напротив — чувствовали себя с ними, как дома, совсем по-приятельски и арабским языком владели в совершенстве. Отсюда и все горе. Начиналось с того, что солдат в отпуску встретил знакомого, поздоровались, обнялись, пошли в кофейню, выпили, сыграли партию; при этом

сначала подтрунивали друг над дружкой — что бывает и у самых близких друзей — потом поругались, а в конце подрались.

Я об этом упоминаю на тот случай, если читателю доведется услышать сахарные разговоры, что для примирения евреев с арабами желательно было бы устроить «сближение», встречи, изучать арабский язык и т.д. Опять-таки, я тут не занимаюсь публицистикой, а просто рассказываю, что видел: видел совсем обратное. Чем больше точек соприкосновения, тем, иногда, больше неприятностей. Аналогичные наблюдения делались, в течение последних ста лет, также и в Германии, Польше, России и т.д. Словом, рекомендую осторожность.

...Но о том периоде нашей службы, который я считаю самым важным, рассказать все-таки нечего — именно потому, что служили хорошо и порядок в стране охраняли образцово.

ГЛАВА XV НАШИ ОФИЦЕРЫ

Надо описать наших солдат и офицеров; но половины их я вообще не видел. Как уже сказано, из десяти тысяч рекрутов наших только 5000 попали в Палестину; остальные, проведя несколько месяцев в Плимуте под командой полковника Миллера (еврей; но и его я не видел), были там же демобилизованы.

В Палестине было у нас три батальона. Сначала они назывались официально: 38-й, 39-й, 40-й Royal Fusiliers. Вскоре после занятия Умм-эш-Шерта мы получили согласно давнему обещанию лорда Дарби новый титул: Judaeae Regiment. Должен прибавить, что казенные эти имена, и старое и новое, остались только на бумаге: англичане нас с самого начала называли Jewish Regiment, евреи диаспоры — «легион», а евреи в Палестине — просто «гдуд», т. е «полк».

В 38-м батальоне преобладали солдаты из Англии, меньшинство составляли американцы. В 39-м — наоборот. 40-й состоял почти целиком из палестинцев. Потом, когда демобилизация съела остальные два батальона, палестинцам досталось звание «1-го Judaeans».

38-м командовал Патерсон, 39-м Марголин. У палестинцев был сначала полковником Ф. Сэмюэл, потом М. Скот (христианин), а после роспуска первых двух батальонов — тот же Марголин.

О Патерсоне я уже говорил подробно; хочу прибавить только одно. Со странной неблагодарностью отнеслись к нему оба народа, англичане и евреи. Он, вероятно, единственный в Англии пример офицера, который и начал, и кончил эту войну в том же чине подполковника, не получив ни повышения, ни ордена, хотя и его галлиполийский отряд, и его батальон в Палестине оба удостоились отзывать в приказах по армии («mentioned in dispatches»). Алленби, письменно обещавший слить наши батальоны в бригаду и назначить его бригадным генералом, потом передумал. В ставке его ненавидели за то, что он упрямо заступался за своих солдат и посылал протесты против антисемитского духа, царившего в этой части армии: это, вероятно, и есть причина, почему Алленби не представил его к награде, а заодно уж и остальных наших полковников не представил. Отблагодарить его мог бы сэр Герберт Сэмюэл, когда был верховным комиссаром Палестины и раздавал губернаторские должности, — но не пожелал.

О еврейской благодарности и говорить нечего; вернее, многое можно было бы сказать, но неприятно. Часто я думаю о том, что родовое имя наше — Израиль Непомнящий.

Но Патерсон остался, как был, другом еврейского народа и другом сионизма. Одно время он работал в Америке для Керен га-Есода; где побывал, там все его помнят и любят. Видаемся мы редко; но, когда встречаемся, в Лондоне или в Париже, и я ему, как брату (такой он и есть), поверяю свои разочарования и заботы, он улыбается все той же ирландской улыбкой, как улыбался тогда после нашей стычки с генерал-адъютантом или как улыбался в Иорданской долине после особенно тяжелого дня: улыбкой, сводящей на нет и генералов, и малярию, и вражьи пушки; улыбкой человека, верующего только во всемогущество сильных упрямцев. Он подымает стакан и произносит свой любимый тост:

— Here is to trouble!

Не знаю, как перевести trouble. Беспорядок? Неприятности? «История»? Ближе всего подошло бы еврейское «цорес». Патерсон пьет за все то, что нарушает мутно-серую гладь обыденщины. Он верит, что trouble есть эссенция жизни, главная пружина прогресса.

И о Марголине я уже говорил. По темпераменту ему бы, собственно, быть англичанином вместо Патерсона. Порция его красноречия — десять слов в сутки; его мысли — мысли человека, прожившего жизнь вдали от больших городов, в Палестине времен первых пионеров, в зарослях австралийского «буша» — at the back of beyond («по ту сторону той стороны»), как выражаются у них в Австралии: медленные, высокие, односложные и глубокие мысли, проникнутые метким чутьем действительности. «Батько», называли его американские солдаты, хотя часто сердились за его «педантизм». Он и в самом деле, как «добрый отец семейства», по римскому праву любил доходить до последней мелочи солдатского быта. Лагерь его считался образцовым — туда посылали адъютантов из английских и индусских батальонов учиться порядку и дисциплине. В дисциплину он верил свято и, хотя молча, но явно не одобрял бунтарства Патерсона, воевавшего против антисемитов штаб-квартиры. Но это было не из робости перед штаб-квартирой. В апреле 1920-го года, когда иерусалимскую самооборону везли под конвоем «на каторгу», он прибыл в Луд со всеми своими солдатами пожать «каторжникам» руку; а еще через год, в мае 1921 года, когда Сэмюэл еще носился с мыслью о смешанной милиции и назначил Марголина начальником еврейской половины, он в самый разгар яффского погрома, не спрашивая позволения, привел своих солдат с винтовками в Тель-Авив. За это прегрешение пришлось ему выйти в отставку; и теперь снова живет он в Австралии и тоскует по Палестине, где когда-то пахал землю в Реховоте, воевал в Иорданской долине, правил Эс-Сальтом в земле Гил'адской...

Полковник Фредрик Сэмюэл принадлежит к давнооседлой англо-еврейской семье давноассимилированного круга; но в этом кругу нашлось одно личное влияние, не его одного, а многих сблизившее с национальной душой еврейства. Это была Нина Дэвис, жена капитана Рэдклифа Саламана, военного врача, о котором я вскользь упоминал. К сожалению, теперь уже и Нина Дэвис, как и многие другие, покой-

ница. Как Саламан и Сэмюэл (они между собой в родстве), Нина Дэвис тоже была родом из семьи, давным-давно осевшей в Англии; но отец ее, сам человек замечательный, дал ей глубокое гебраистское воспитание. Ее перу принадлежит ряд книг на английском языке для еврейских детей и много изящных переводов из Галеви, обоих Ибн-Эзра, Габироля. Но важнее этого дарования было в ней то, что англичане называют «личным магнетизмом». Она была, вероятно, из того разряда натур, откуда вышли царицы французских салонов конца прошлого столетия; хоть у нее не было «салона» (Саламаны жили в имении далеко от Лондона), это была та же форма влияния. Чисто туземный круг английского сионизма очень невелик, но лучшая часть его — те, кого привлекла к национальному движению Нина Дэвис. Один из них — полковник Сэмюэл. Он служил на французском фронте, командовал хорошим батальоном, ожидал с уверенностью близкого производства в бригадные генералы. Капитан Саламан написал ему, что нам нужны еврейские офицеры для легиона: он распрощался со своим полком — не малая и не легкая жертва для командира на четвертом году кампании — и перевелся к нам, отлично зная, что это связано с отказом от генеральского чина, так как первым кандидатом в бригадные был, понятно, Патерсон.

В Палестине он командовал батальоном тамошних волонтеров. Близок я с ним не был, не все в его действиях тогда одобрял, но и тогда признавал его такт и его умную гибкость. Все, чем жили его солдаты, было ему глубоко чуждо. Сам он по психологии — англичанин, привыкший к порядкам прочно сложившегося быта, где (в гражданской ли жизни или в армии) чин есть чин, сословие есть сословие и каждому разряду отведено свое место. Тут он вдруг очутился в среде таких «рядовых», как Бен-Цви, Бен-Гурион, Б.Кацнельсон — рядовых, которые сами в известном смысле командовали массаами значительно более многочисленными, чем один батальон. В своем лагере он наткнулся на «общественное мнение», с которым не считаться значило бы разложить всю нравственную спайку этой своеобразной гарибальдийской тысячи. Одно время я опасался, что ему не удастся найти ту гамму отношений, которая могла бы примирить общественность и солдатчину. Он ее, однако, нашел. Критики его,

усмехаясь, ворчали, что он — первый и пока единственный — ввел в английской армии русский институт «совета». Это, конечно, преувеличено; да и вообще спорно, русский ли это институт. По-моему, английский: в армии Кромвеля были солдатские комитеты, с которыми совещались начальники по всем делам военного быта.

После Сэмюэла одно время командовал палестинцами полковник М.Ф. Скот. У него была система другая: зная, что он среди своих солдат чужой, он и не пытался влиять на их внутреннюю жизнь, а просто отмежевал для себя скромную задачу: оберегать их от недоброго трения с окружающей, в то время уже явно враждебной армейской атмосферой. За один эпизод этой охраны весь еврейский народ ему обязан, по-моему, благодарностью. В конце лета 1919 года, когда палестинский батальон стоял в Рафе, он внезапно получил приказ: отправить 80 человек в Египет, в распоряжение тамошнего командования. Это было явно «против уговора»: палестинские добровольцы пошли в солдаты воевать за Палестину и охранять Палестину, а не усмирять египетских националистов. Батальон устроил сходку и заявил, что не допустит отправки в Египет. По букве устава, полковнику следовало вызвать военную полицию, арестовать и тех 80 солдат, и их «укрывателей», а в случае отпора (что произошло бы неизбежно) — открыть пальбу. Если бы он это сделал, в Палестине разыгралась бы очень серьезная трагедия. Скот поступил иначе, с изумительным тактом и еще более изумительной смелостью, сам рискуя военным судом. Он написал в ставку, что солдаты его считают приказ об отправке в Египет не только незаконным, но видят в нем и попытку поссорить евреев с арабами; что 80 солдат, назначенные к отправке, ни в чем не виноваты, так как остальные (а их больше тысячи) грозят удержать их силой; остается, значит, арестовать весь батальон, а это значило бы отдать под суд всю лучшую молодежь еврейской Палестины. Он даже не побоялся прибавить к этому рапорту совет: «снесите с Лондоном, прежде чем принимать крутые меры, и доложите Лондону и мое мнение, а также и следующий отчет; во всем остальном — дисциплина в батальоне образцовая, чистота, порядок, служба безупречны». И каждый день, чуть не две недели подряд, он продолжал докладывать:

полный порядок во всем — а отпустить товарищей в Египет не хотят. Штаб вынужден был все эти доклады препроводить в военное министерство; оттуда, конечно, получился приказ — оставить еврейские батальоны в покое и вообще всю нелепую историю замазать.

Теперь полковник Скот живет в маленьком предместье Лондона и оттуда ездит на службу, в банк или в контору где-то в Сити. Раза два состоялись у нас в Лондоне обеды бывших легионеров: он на них приезжает, скромно сидит, куда посадят, речей не произносит, только соседям говорит вполголоса:

— Это была мне большая милость Господня, что довелось мне служить с солдатами народа Израильского в земле Израиля.

В его домике, в Соут-Кройдоне, каждый вечер он, жена его и двое детей молятся Богу по своим христианским обрядам; между прочим, молятся каждый вечер и о том, чтобы Господь восстановил Израиль в стране его и чтобы это было началом искупления для всего человечества.

Как-то на сионистском конгрессе я повторил одну его фразу; стоит и здесь ее записать: «Англии выпала на долю великая честь: мы вырвали из Библии страницу, на которой начертано самое древнее из пророчеств, и на Божьем векселе выставили жиром¹ английского народа. От такой подписи нация не может отречься».

* * *

Прежде чем перейти к главному — к солдатам, еще несколько слов об остальных офицерах. Только в батальоне Патерсона две трети офицеров были евреи; в остальных преобладали офицеры-христиане. В том сильно англо-изированном кругу, к которому по рождению и воспитанию принадлежали офицеры-евреи военного времени, агитация ассимиляторов, очевидно, оказала свое полное действие. Покуда еще оставался в Лондоне Р. Саламан, его личное влияние давало нам известный приток еврейской молодежи в эполетах; после его отъезда на фронт с батальоном Марголина, приходили к нам только те, кого самих «тянуло», а таких было немного.

¹ Жиро — вид безналичных расчетов.

Но были и такие. Гарольд Рубин бросил для нас один из самых блестящих гвардейских полков — Coldstream Guards. Эдвин Сэмюэл (сын сэра Герберта), по прозвищу «Неби», перевелся в палестинский батальон из канцелярии при штабе Алленби. «Неби» остался в Палестине и после войны, по-видимому, уже навсегда. Остались и другие: Горас Сэмюэл, ныне крупный адвокат в Иерусалиме; Джэкобс, один из секретарей сионистской экзекутивы; Израэль Джаффе, родом из Белфаста, до недавнего времени помощник начальника городской полиции в Тель-Авиве; и еще два или три. Из тех, что вернулись в Англию, некоторые остались — или сделались — активными сионистами (если не переоценивать значения слова «активность»). Но большинство просто пришли и ушли; служили в легионе честно и с достоинством, но не поддались ни блеску национальной идеи, ни горькой красоте палестинской природы.

Приглядываясь к ним, я окончательно укрепился в одном застарелом своем предрассудке. Мне давно казалось, что сионисты — это особая «раса»: особый прирожденный склад души, а может быть, и особый какой-то состав крови. Нельзя «обратить» человека в сионизм; и все толки о том, будто контакт с Палестиной может «сделать» кого-либо сионистом, тоже выдумка. Если это и случается, то только с теми, у кого и раньше была в душе капля сионистского яду, только прежде незамеченная. Это — тот самый яд, чья примесь, у других народов, при других условиях, создает ушкуйников, пограничников, авантюристов: людей, которым отроду не по сердцу взбираться по готовым ступенькам, а хочется и лестницу выстроить самим. Этой черты ни привить, ни подделать нельзя. Будет время, когда весь еврейский мир «признает» сионизм и даже будет его «поддерживать»; но и тогда сионисты будут в еврейском народе малым меньшинством.

Среди христиан-офицеров было несколько теплых друзей сионизма; из них у палестинских волонтеров был особенно популярен майор Хопкин, валлиец. Но большинство было точь-в-точь, как большинство евреев: служили честно, корректно и нейтрально. Много ли было среди них «тайных юдофобов» — право, не знаю: я уже признавался где-то в одной из предыдущих глав, что невысказанные

чувства ближнего меня мало интересуют. Один из них, впрочем, ненавидел нас совершенно открыто, но и его я бы не назвал с уверенностью антисемитом. Звали его майор Смоллей; он был вторым по команде в батальоне Марголина, и американцы наши много от него терпели; а однажды его упрямство и бестактность довели и до очень серьезных неприятностей — до военного суда над полусотней солдат, но об этом я расскажу после. Однако этого же Смоллея я видел и при других обстоятельствах, и там он держал себя с честью, даже по-рыцарски, хотя опять дело шло о евреях. Если бы тот же Смоллей был чиновником при военном министерстве в Лондоне, был бы он для нас, пожалуй, добрым помощником. Но ему пришлось жить среди нас ежедневно, а это безнаказанно дается только отборным людям, «лингвистам духа», если есть такое слово. Остановился я на майоре Смоллей потому, что загадка его — загадка общая для большей части английских чиновников в Палестине. Трудный мы народ; нелегко нам с соседями, нелегко и соседям с нами.

ГЛАВА XVI

НАШИ СОЛДАТЫ

Солдатскую массу нашу надо разделить на три главные группы: «англичане», палестинцы и американцы.

Об «англичанах» мало что осталось досказать. О том, что презрительная кличка «портные» стала у нас постепенно почетным титулом, я уже говорил. Уайтчепл дал нам, бесспорно, хороший материал, ничем не хуже других солдат британской армии. Иногда мне даже импонировала непреклонная суровость их настроения. Без увлечения, без энтузиазма к чему бы то ни было на земле, кроме своего личного «дома» с женой и детьми, равнодушные и к Палестине, обиженные на всех и все за то, что их посмели потревожить и послали на край света отвоевывать страну, до которой им дела нет, — они точно и аккуратно справляли свою службу от аза до ижицы, от чистки пуговиц до настоящего героизма. В наших батальонах бывали тяжелые

моменты, приступы массового нетерпения, которые иногда грозили привести все наше дело к гибели, но никогда в этом не участвовали «портные». Для них все — опасность, жара, грубость, беспредельная скука перемирия, спанье на камнях, ночная стража на горе, малярия, рана, пустая фляжка, где не осталось ни капли воды, — все это были для них составные элементы «подряда», который, хочешь не хочешь, пришлось на себя взять, а потому, раз уж «подрядился», надо выполнить, как полагается.

Коллективной жизни я у них не заметил: ни общих идейных интересов, ни собраний, ни даже кружковых сближений. Жили они группками, по произволу случая — кого капрал с кем поселит в одной палатке. Раз оказались соседями, значит, надо друг другу помогать, играть вместе в карты, вместе ворчать на полковые порядки и вместе вспоминать о доме, не тоскуя о вчерашних соседях. Тосковать разрешается только по «дому».

Войну они ненавидели как дикое безумие пьяного необрезанного мира, безумие, которому нет и не может быть никакого нравственного оправдания. Добровольцев, особенно палестинских, они искренно считали идиотами. А с другой стороны — такой факт. После брест-литовского мира кто-то в штабе Алленби додумался до простого способа, как избавиться от нашего легиона: ведь эти солдаты — «русские». Патерсон внезапно получил приказ созвать батальон и объявить, что каждый, кто захочет, может перевестись в нестроевые роты. Откликнулись всего два человека. Почему только два? Не знаю. Как не знаю, почему они же оказались первыми боксерами на всю британскую армию в Палестине, побив, одного за другим, чемпионов всех других полков, так что на заключительном состязании в Каире между «Англией» и «Австралией» Англию представлял наш рядовой Бурак.

Палестина их не интересовала. Однажды, во время перемирия, было объявлено по полку, что можно записываться в групповые поездки по стране. Никто из них не записался, а на другой день полковник получил письмо без подписи: «Этого нам не нужно. Мы сюда не приехали смотреть на пейзажи — мы приехали служить, служили прилично и вас, сэр, ни разу не посрамили; а теперь очередь за вами, похлопочите, чтобы нас скорее отправили домой».

Но, мечтая о «доме», они делали свое дело и не топали ногами, и оттого, должно быть, их и демобилизовали много позже, чем американцев. Итог: первыми приехали, уехали последними; чужими пришли и чужими ушли; а между началом и концом была Иорданская долина. Странная психология, мне мало симпатичная; но не могу ей отказать в цельности.

* * *

Я сказал «уехали последними» — конечно, последними из тех, которые приехали. Самый последний остаток еврейского полка, продержавшийся на посту до лета 1921 года, состоял из палестинцев.

Об этих волонтерах Х.Е. Вейцман сказал однажды генералу Алленби: «Лучших солдат и у Гарибальди не было», — и правильно сказал. По крайней мере, три четверти «Гитнадвута» представляли редкий человеческий отбор. Смелость их была того калибра, какому научил нас Тель-Хай, где стояло пятьдесят человек против тысячи: не просто бесстрашие, но и прямая тоска по жертве. Притом, в значительной части, молодежь высококультурная и в смысле духа и в смысле внешнего обряда — вежливая, с рыцарскими понятиями о чести, товариществе, долге. Многие из них знали страну как свою ладонь; многие говорили по-арабски, как арабы; некоторые хорошо знали по-турецки; добрая половина умела обращаться с конем и с ружьем. Всякий другой главнокомандующий ухватился бы за таких людей двумя руками. Алленби — или его штаб — на полгода оттянул их прием на службу, а потом старался держать их подальше.

Обучали их в Египте, в местности Тель-эль-Кебир; даже того, чтобы их оттуда перевезли в Палестину, пришлось особо добиваться. Сделала это г-жа Грозовская (сын ее, Аммигуд, был одним из главарей добровольческого движения): собрала депутацию из дам, у которых были в полку сыновья, и добилась свидания с Алленби. Они ему сказали: «По стране носятся разные беспокойные слухи, а молодежи нашей с нами нет; нам жутко». Через две недели 40-й батальон привезли в Сурафенд, недалеко от Луда.

Внутренняя жизнь их была очень богата: другого такого интеллигентского батальона, вероятно, во всей армии не было. У них была библиотека тысяч в пять томов — совершенно,

кажется, беспримерная вещь для новорожденного и притом временного лагеря. Из своего лагеря они управляли рабочим движением в стране, дирижировали настроениями интеллигенции, посылали делегатов на съезды Ваад-Змани (так назывался предшественник теперешнего «сейма» — Ваад-Леумми). Капрал из почтового отделения сказал мне однажды: «Случаются дни, когда десять рядовых из 40-го батальона получают больше писем, чем вся ставка целиком!» Когда у «сионистской комиссии» возникал какой-либо серьезный вопрос — план большой колонизации в районе Негева, с которым одно время много носились, или разработка проекта палестинской конституции для представления Лиге наций, — на совещание вызывались делегаты «гду-да». При этом они умудрялись нести военную службу аккуратно и точно, как я уже рассказал, даже в самых парадоксальных условиях.

Лично мне больше всего нравилась группа бывших яффских гимназистов первого и второго выпуска. Эту гимназию много у нас бранили: и за якобы «критическое» отношение к Библии, и за совместное воспитание мальчиков и девочек, и просто педагогически. Во всем этом мне не разобраться; знаю только то, что на большинстве ее воспитанников того периода лежал общий нравственный отпечаток, и хороший, с высокою меркой требований к самим себе в смысле долга, товарищества, рыцарства, мужества, даже манер, и с великою готовностью к жертве за страну и идею.

Их я и знал ближе; о других группах судил скорее издали. Было много сефардов; лучшая в них черта — здоровая непосредственность в отношении ко всему, до чего ашкеназскому еврею приходится «додумываться». Палестина, еврейская армия, еврейское государство — для них это все не проблемы, а вещи данные и бесспорные, как нос или рука. Они, по-моему, единственное племя среди евреев, сохранившее коренной, мужицкий здравый смысл — «конское чутье», как выражаются англичане, тот инстинкт, который помогает лошади ночью в горах найти дорогу, если только всадник перестанет дергать за уздечку. Было около сотни турецких военнопленных, уроженцы Балкан и Анатолии. С точки зрения Уайтчепла, они были еще непонятнее палестинских добровольцев. Жилось им сытно и уютно за колючей оградой в Си-

ди-Бишр близ Александрии; англичане долго не хотели брать на службу людей, которым, если попадутся в плен туркам, грозила виселица; но они посылали просьбу за просьбой и добились своего. Были йемениты, может быть, от природы наиболее одаренная ветвь еврейского корня, с задатками большого коллективного таланта к музыке, мышлению и гешефту; физически — почти особая раса, происхождение которой остается загадкой глубочайшей старины и которая пронесла свою верность сквозь строй гонений, еще и в счастливой Аравии не закончившихся. Отцы их прибыли в Палестину босыми оборванцами, каждый с двумя ящиками богатства — в одном рухлядь, в другом священные книги. Сыновья — многие из них — не ели на службе мяса, так как о той кашерной пище, которую завел Патерсон в Плимуте, на фронте не могло быть речи.

Как носители идеи легиона палестинские волонтеры последними покинули утопающий корабль. Ядро их, человек 400, зубами и ногтями боролись против демобилизации, на которой настаивала штаб-квартира. Эта борьба им и в нравственном смысле далась нелегко. Уже давно заговорили кругом о новой строительной работе, слово «квуца» стало лозунгом всей молодежи — а им, лучшим из этой молодежи, приходилось стеречь железнодорожную станцию в Хайфе или пустые военные склады на границе Синайской пустыни. С огромными усилиями удалось им раз или два продлить срок своей службы еще и еще на три месяца; потом они записались в еврейский отряд «смешанной милиции», которую хотел устроить Герберт Сэмюэл. Яффский погром положил конец и «милиции», и их военной службе.

* * *

Сложную задачу представляли наши американцы. По количеству они были самой значительной группой нашего состава; по интеллигентности, образованию, по личной отваге, проявленной в Иорданской долине, они тоже стояли на доброй высоте; в смысле физическом, по здоровью и мускулам, были, пожалуй, у нас первыми. Но психологически — очень трудно было их «уместить» в нашей обстановке. Виной тому были не еврейские их качества, а американские.

Очень несродны между собою духовный мир англичанина и духовный мир еврея; но эта разница — ничто в сравнении с той пропастью, которая отделяет англичанина от американца. Я жила среди русских, итальянцев, немцев, венцев, французов и турок: в жизни еще не видел двух народов, так диаметрально непохожих друг на друга, как эти две ветви англосаксонского ствола. Они сами это знают; один британский публицист, как раз тот, который больше всех работает для сближения обоих народов, заметил однажды: «Слава небу, что мы с ними не соседи, а не то бы мир впервые увидел, что такое настоящая национальная ненависть!» Но мы, посторонние, этого не подозреваем: слышим ту же речь, те же фамилии и воображаем, что это братья по духу. Братья по духу?! Даже у нас, в крошечном «театре миниатюр» 38-го батальона, легко было проследить, что это за «братство». Наши «Transatlantiques» были, конечно, только наполовину американцы; но и налета американизма оказалось достаточно, чтобы сделать для них совершенно невыносимой обволакивавшую нас английскую атмосферу. Выходцам из России, сефардам, йеменитам гораздо легче далось приспособление к британским порядкам, чем этой молодежи, всего десять или пятнадцать лет подышавшей воздухом Америки.

В чем тут различие — об этом пришлось бы написать целую книгу, и напишу ее не я: не мое дело. Для моей цели достаточно указать на одну противоположность: в «темпе». Американец думает быстро и отчетливо, говорит да или нет, и если «да» — действует так, чтобы вышло «да». Англичанин на это способен только в критические моменты большой опасности. В обычное, более или менее нормальное время он гораздо больше сродни испанцу с его любимым словечком «маньяна», или арабу с его «букра» — оба слова значат «завтра!» Не толкайтесь, куда вы торопитесь? Отложим на неделю, на месяц, на год — поближе ко второму пришествию. Притом американец — человек цели: если берется за дело, он прежде всего знает, какой ему нужен последний итог, и каждый сегодняшней шаг он приспособляет к этой конечной задаче. Англичанину само понятие «конечной цели» не по сердцу, и он открыто гордится своим пренебрежением к будущему. Снег и пламя легче примирить, чем эту психологию

воспитанников Итона и Вестминстера с душою чикагского «толкача». Не берусь судить, что лучше: тоже не мое дело. Но под венец такая пара не годится.

На подмостках нашего «театра миниатюр» эта противоположность отразилась быстро, ярко и резко. Американские легионеры, высадившись в Александрии, сразу поставили вопрос о «цели»: где тут фронт? Англичанин ответил: повремените, поучитесь. Они возразили: да ведь у вас самих три-четыре месяца обучения считаются достаточными! Англичанин отозвался: поживем — увидим... Так и случилось, что большинство из них в наступлении не участвовало, т.е. пропустило цель, ради которой они туда и прибыли.

Тогда возникла новая «цель»: раз у нас мир, значит — надо «строить Палестину». Большинство из американцев были хорошие сионисты. Дайте нам лопату! Но кабальеро в британской форме отвечает: «маньяна».

Я, конечно, далек от того, чтобы обвинять одну только сторону. Было бы гораздо лучше, если бы американские и канадские мои товарищи стиснули зубы и, терпя скуку и разочарование, остались на посту. Далеко не все они так поступили. Видя, что пальба кончена, а строительная лопата еще далеко в тумане, многие из них решили: значит, не к чему чистить бесполезные винтовки, и начали громко, иногда очень громко, требовать демобилизации.

Летом 1919 г. состоялся в Петах-Тикве съезд представителей палестинских и американских легионеров вместе с делегатами от рабочих. (Если не ошибаюсь, это был тот именно съезд, на котором основана была «Ахдут га-авода», ныне главная рабочая партия Палестины.) Я был на том съезде; ясно предупредил их, что именно теперь наступает важнейшая роль легиона: по всей стране ведется беспрецедентная погромная агитация, тем более опасная, что она косвенно опирается на известные настроения и в высших и в низших слоях оккупационного аппарата. Справедливо или нет, наши противники уверены, что ни британские ни индусские войска пальцем не шевельнут в защиту еврейского населения: их пароль: «эддоуле маана» — правительство с нами! Правда это или ложь, неважно: они в это верят; и единственная сила, которой они боятся, это еврейские батальоны. Как же можно говорить о демобилизации?

Не помогло. Опять-таки и тут нельзя винить одну сторону. Если бы легионеры поверили в опасность, они бы остались под ружьем, в этом я убежден. Но среди старших вожаков палестинского общества нашлись успокоители, они сказали солдатам, что я выдумываю или преувеличиваю, что сам я в стране новичок, а они, успокоители, знают арабов, и ни о каком погроме речи быть не может... Для американцев все это не могло не звучать убедительно: понятно, местным людям виднее.

Словом, много было у нас с американцами осложнений. Подробно рассказывать незачем; но в итоге — многие из тех, что прибыли последними, отбыли первыми. Через два месяца после съезда в Петах-Тикве из трех батальонов осталось два, а потом и всего один — палестинцев, которые держались до конца, подавая прошение за прошением, чтобы их не демобилизовали, оставили под ружьем. Но и они быстро таяли. Весной 1919-го года у нас было 5000 солдат; к весне 1920-го осталось едва четыреста — и тогда разыгралась кровавая Пасха в Иерусалиме...

ГЛАВА XVII

КАСТА ГЛАВНОГО ШТАБА

Иерусалимский погром был, в значительной мере, неизбежным последствием всей политики главного штаба. До погрома политика эта ярче всего проявлялась в отношении властей к еврейскому легиону; но это — деталь. Просто оказался под рукою проект, который легче было толкать и дразнить, чем гражданское население. Но пинки, сыпавшиеся на легион, предназначались не ему, а всей еврейской Палестине, и больше того — сионизму.

Как и почему штаб генерала Алленби дошел до жизни такой, это — особая тема. Я займусь ею подробно, если действительно соберусь написать продолжение этой книжки, рассказ о самообороне 1920-го года. Здесь, однако, совсем обойти ее не могу.

Я уже говорил, что ни Алленби, ни даже Больша (в его управление произошел погром) я бы не назвал антисемитами. Вообще думаю, что настоящим антисемитом в этой ставке

был только один человек — полковник Вивиан Гэбриэль; но его убрали, кажется, по настоянию Брандейса, еще до Пасхи 1920 г. Остальные вдохновители ставки — совсем не враги наши: ни знаменитый Лоренс, ни Ричмонд, ни Фильби, ни даже Сторрс. Некоторые из них одно время даже сочувствовали сионизму — издали. Что же сделало их и им подобных вдохновителями юдофобской агитации, а одного из них — генерала Луи Больса — даже хуже того, уменьшенным Плевее?

Чтобы это понять, надо, мне кажется, опять вернуться к той черте английской психологии, о которой я вскользь говорил в последней главе. Средний англичанин из так называемой правящей касты органически не любит чересчур широких проектов, особенно таких, которые отзываются сентиментальностью и романтикой. Не вся Англия такова, даже не большинство Англии — я говорю о правящей касте. И тут есть исключения, холодные мечтатели вроде Бальфура, Эмери, Грэхема, Ормсби-Гора, Стида, горячие мечтатели вроде Веджвуда, Кенворти — я бы мог наполнить страницу списком, и он был бы очень неполон. Но «каста» в целом, те сто тысяч душ, которые так запутанно связаны между собою происхождением, хотя бы отдаленным, от бесчисленных лордов и сэров, от их родичей или от их свояков, которые воспитываются в средневековых «public schools» Итона, Гарроу, Винчестера, а после того не просто в Оксфорде или Кэмбридже, но непременно в одном из древнейших там колледжей вроде «Баллиоль» или «Корпус Кристи», основанных восемь или девять веков тому назад, которые даже на английском языке говорят по-своему (или воображают, что это все еще так) — эта каста, вернее, особая нация внутри нации, искренно гордится непроницаемостью своего духовного провинциализма. Если можно сравнить несравнимое, они похожи на гетто наших дедов: другие обычаи, но та же мания избранничества, то же неприятие остального мира, то же презрение ко всякому новому шороху. К счастью, давно уже прошло время, когда эта «правлящая» каста одна правила государством: другие сословия порядком уже оттеснили ее, особенно на парламентской арене. Но она еще правит душами, определяет нравственную моду всей страны и все еще очень сильна в высшем чиновничестве. Всего сильнее она, конечно, в армии, особенно чем выше. Китченер, с его отвращением ко всему,

что отдавало привкусом «фантазии» — «fancy», очень был для них типичен. Но, конечно, фантастический полк — это еще пустяк по сравнению с таким чудовищем фантазии, как возрождение еврейского государства.

После этого нетрудно себе представить раздражение этого военного кружка — касты над кастами — когда в самый разгар войны им вдруг заявили: извольте насаждать сионизм; мы посылаем вам еврейские батальоны; посылаем сионистскую комиссию. Ставка возмутилась. Как можно сделать такой шаг, не спрося у нас? И как можно осложнять нашу военную задачу «политикой», да еще такую политикой, которая очень не по вкусу арабам? Разве не вы нам велели привлечь арабские сердца? Чего бы вам не дожидаться конца войны? Все это вопросы, которым трудно отказать в известной резонности.

Но это все было только полбеды. Вторая половина, пожалуй, не менее важна. Я назвал несколько имен: Лоренс, Фильби, Ричмонд — можно было бы назвать еще несколько, ибо и у «касты» есть свои фантазеры. Но они облюбовали такую «мечту», которая легко и уютно укладывается в самые застарелые британские традиции. Не «fancy», не дикое новшество, а вполне законное порождение вчерашнего дня — «Пан-Арабия». Англия вот уже 40 лет хозяйничает в Египте, имеет интересы в Месопотамии, владеет несколькими точками на всех побережьях Аравийского полуострова; выработался огромный опыт, как управлять арабами. Остальное просто: теперь надо их освободить, потом объединить, потом дать им королей — этаких живописных шейхов в зеленых и белых чалмах, которые за столом сидят с ногами на кресле... Такая мечта — другое дело; пожалуйста.

До войны почти вся высшая бюрократия в Египте принадлежала, прямо или косвенно, к этой школе. Во время войны они переоделись в хаки, окружили штаб-квартиру и определили ее идеологию. Конечно, Великая Аравия; но притом обязательно «живописная», с верблюдами, караванами, белыми бурнусами, зелеными чалмами и женщинами под чадрой и за решеткой. Вся декорацию «Востока» надо свято сохранить; было бы ужасно, если бы эту красоту нарушило прозаическое дыхание цивилизации... Возможно, что в этом культе старого хлама была подсознательная примесь эгоизма —

мысль о том, что покуда король сидит за обеденным столом, скрестив ноги, ему нужны английские советчики не только за обеденным, но кстати уж, и за письменным столом. А может быть и нет: я вполне допускаю и бескорыстие этой любви к допотопному. Один из ее представителей, Стивен Грэхем, писал когда-то в том же духе о России, уж, конечно, не мечтая править ею через английских советников, а просто так, из чистого восторга пред самодержавием и ссылкой в Сибирь. После первого переворота 1917 года он откровенно заявил: «Сердце мое безутешно: я так надеялся, что Россия надолго еще останется музеем средневековья...»

Для этой школы Декларация Бальфура была ударом ножа в самое сердце — или в спину. Евреев они хорошо знали: богатых — по гостиниой леди Н.Н., бедных — по Уайтчеплу; ни те ни другие не «живописны». Если бы шла речь о поселении в Палестине хасидов с длинными пейсами, право, Лоренс и Ричмонд гораздо легче бы с этим примирились — они ведь не юдофобы. Но ясно было, что речь идет о евреях новомодных, у которых на ногах штаны, на голове — котелок или каскетка, а под каскеткой — новаторские замыслы. Пропала вся декорация: в Иерусалиме будет трамвай (Сторрс, впрочем, поклялся, что трамвай пройдет через его бездыханный труп) вместо верблюда, под пальмой будет красная черепичная крыша и по мощеным тротуарам колоний будут гулять девицы с молодыми людьми, как в Англии — с нами крестная сила!

Я не шучу: это правда, и очень серьезная. Она причинила нам немало горя, и это еще не конец.

* * *

Были и другие факторы, менее (гораздо менее) идеологического свойства, но об этом, может быть, в другой раз и по другому поводу. Тогда уж придется рассказать и с том, как разгул антисемитизма, с весны 1919 года охвативший верхи оккупационной армии, ударил, между прочим, и даже главным образом — по легионерам. Здесь, однако, в повести бывшего солдата о делах солдатских, именно об этой солдатской стороне скверного дела как-то не хочется говорить. Может быть, это неуместная сентиментальность, но я тридцать месяцев носил английскую форму и горжусь ею, и не хочется мне выносить на улицу мелкий сор из одного

уголка большой и красивой избы. Я могу критиковать, могу даже высмеять Алленби-политика, но Алленби-солдат — это для меня другой человек, большой полководец, «лорд от Мегиддо в долине Ездrelонской», завоеватель Иерусалима и Газы, Галилеи и Заиорданья. Да простят ему боги и люди тех советчиков, которыми он себя окружил, и тот яд, которым они отравили одну часть хорошей и благородной семьи — британской армии. Как-никак, это была и моя семья; лучше промолчать о деталях.

Итог: в июле я подал Патерсону рапорт о том, что образ действий военного начальства вызывает глубокое раздражение среди наших солдат и что все это грозит кончиться неприятными осложнениями. В то же время я написал личное письмо Алленби, приблизительно того же содержания, и просил у него свидания.

Через две недели после этого произошли у наших американцев два «бунта»: один в Рафе, на границе Египта, где стояла тогда рота 38-го батальона, второй в Сурафенде, в батальоне Марголина (сам Марголин был тогда в отпуску, замещал его майор Смоллей, о котором я писал в предыдущей главе). В Рафе около 50 человек объявили «забастовку», требуя демобилизации; в Сурафенде около 40 обозных, обидевшись за товарища, который попал под арест за какую-то мелочь, в знак протеста явились на утренний «парад» без уздечек и когда капитан скомандовал «направо» (или «налево», не помню), не исполнили команды: по букве закона и это составляет «бунт». Это было вообще нервное время; в английских и австралийских батальонах ежемесячно происходили бесчинства гораздо более серьезные — вероятно, всегда так бывает во время демобилизации после долгой напряженной войны; а у наших солдат ведь еще были особые причины для нервности. Тем не менее я их не оправдывал тогда и не оправдываю теперь; но защищать их на суде пришлось мне, и притом одному. Месяц тянулись оба процесса. Английская военносудебная процедура — образец процессуальной корректности: судьи обязаны соблюдать массу обрядовых самоограничений, которых и юрист не упомнит, а офицеров-юристов в Палестине, по-видимому, не нашлось, или они были заняты другими делами. «Ловить» неопытных полковников и майоров на технических нарушениях процедуры было очень легко. Я сделал все

что мог: на третий день суда над солдатами из Рафы (это было в Кантаре, на берегу Суэцкого канала) добился роспуска всего судейского состава; на второй день второго процесса, в Сурафенде, добился того же. Но после этого были назначены новые судьи, а из Каира к ним в подмогу прислали военного юриста капитана Брэмстона, молодого человека из «касты», с оксфордским выговором, и действительно знавшего все секреты толстой красной книги военных законов. Во втором издании суд в Кантаре продолжался неделю, суд в Сурафенде — четыре дня. Около трети удалось выгородить, остальных засудили. Все это были, в сущности, хорошие, честные юноши. Один из них, капрал Левинский из Канады, пожертвовал собою и спас шестерых товарищей: заявил, что он, как начальствующее лицо, сам велел им «забастовать»; их оправдали, а его посадили на семь лет. Остальных приговорили на сроки от трех до шести лет.

Осталось одно: отправить на имя короля прошение о помиловании, изложив в нем все, что было на душе, все то, о чем в этом рассказе не рассказано. Такие прошения подаются через главнокомандующего: я направил мое в ставку, а копии послал Эмери, Грэхему, Стиду, Смутсу... Через полгода солдат освободили, освободили бы, конечно, и без моего прошения, как всегда бывает в конце войны; но в одном месте моя жалоба королю произвела свое впечатление — в штабе. Там жестоко обиделись еще за «разгон» двух составов военного суда; а эта бумага, по-видимому, окончательно закрепила симпатии... В апреле 1920 года, когда человек десять из моих бывших подзащитных, только что выпущенные из военной тюрьмы, ехали из Египта в Палестину, они в Кантаре пришли, понуря головы, к проволочной ограде арестного лагеря, где еще недавно сидели они во время суда, а теперь сидела иерусалимская самооборона. Я помню их дрожащие голоса: «Сэр, легче бы нам было ослепнуть, чем видеть вас здесь...»

* * *

Не хотелось бы оставить впечатление, будто все окружение штаба состояло из недоброжелателей. Напротив: тот человек, например, который впоследствии нанес «касте» самый тяжелый удар и, пожалуй, больше всего помог ликвидации ее

власти над Палестиной, сам был один из старших офицеров оккупационного управления — полковник Мейнерцхаген, политический секретарь при генерале Больсе. После иерусалимского погрома он сказал в лицо и Больсу, и Алленби, что вина падает на военную администрацию; в этом смысле телеграфировал он и министру, и его телеграмма, говорят, решила судьбу военного режима.

С другой стороны, несправедливо было бы думать, будто недоброжелатели все были только христиане да арабы. Без услужливого еврея такие вещи не делаются. Еще и ныне шмыгает по гостиним еврейского Лондона один из представителей этой разновидности нашего многоликого племени, который в те дни носил капитанскую форму и состоял при штабе. «Что он там делает?» — спросил я как-то у английского офицера из ставки. Тот объяснил: «Рассказывает генералу Алленби анекдоты».

Один из этих «анекдотов» мне потом довелось видеть черным на белом, и сюжетом был я сам.

Это было так: через неделю после того, как я отправил свое письмо Алленби с просьбой о свидании, этот капитан разыскал меня в Тель-Авиве, на квартире И. Е. Вейцмана (брата Х. Е.), и сказал:

— Генерал Алленби получил ваше письмо. Он ничего не имеет против того, чтобы с вами повидаться; но он поручил мне предварительно выяснить, в чем дело. Можете говорить со мною совершенно нараспашку, как свой со своим.

Я и тогда не был о нем большого мнения, особенно после аттестации того английского офицера; но мало ли кого мог Алленби выбрать своим поверенным? Я ему рассказал свои наблюдения над палестинской атмосферой.

Потом, много позже, мне показали его отчет об этой беседе. О моих «наблюдениях» в отчете не было ни слова, зато много обо мне лично, в сочных черных тонах. Одна подробность любопытна: я у него оказался «большевиком» — что называется, честь неожиданная.

* * *

Вскоре после процессов пришло распоряжение о моей демобилизации. Я поехал в Кантару, получил отставку «с сохранением чина» и вернулся в Тель-Авив штатским. На этом

кончаются мои полковые воспоминания; о дальнейшей судьбе наших батальонов я уже рассказал; остается еще одна, последняя глава, нечто вроде надгробной речи отца над могилою сына — речи отца, который не верит могиле и твердо считает, что «сын» еще не навеки похоронен.

ГЛАВА XVIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это, конечно, не «история» легиона. Для истории нет у меня материалов. Движение это проявилось в нескольких странах, в каждой по-своему: в Палестине, в Америке, в Канаде, в Аргентине, в Египте; в России Трумпельдору едва не удалось создать настоящую еврейскую армию. Да и сам полк наш жил очень сложной жизнью, из которой мне знаком только малый уголок. Я не был ни в Галлиполи с Трумпельдором, ни в Плимуте с Патерсоном, ни в Эс-Сальте с Марголиным. Из трех наших батальонов я знал хорошо только свой, а как раз остальные два, особенно палестинский, представляли гораздо больше интереса для наблюдателя.

Здесь я передал только личные воспоминания; несомненно, со всеми недостатками этого рода литературы: субъективные оценки, неточности и слишком много местоимений «я». За все это прошу извинения, совершенно не пытаюсь оправдываться.

В одном только буду настаивать на оправдании. Правду ли я написал? Да. Всю ли правду? Нет, и нарочно нет. Не всякий «факт» есть «правда» в основном значении слова. Каждое крупное явление имеет свое «лицо»: что подходит к общему характеру этого типа, то правда; что не подходит, то случайность, царапина, волдырь. Может быть, в ученых сочинениях важно записывать и это; там, может быть, уместно отметить, что во время штурма Бастилии поймали на площади вора, который тут же таскал кошельки. Это, говорят, факт, — но разве это «правда» о 1 июля?

Сознаюсь, перечитывая эту рукопись, сам я раза два над собой посмеялся: очень уже гладко и сладко это все у тебя изложено. За исключением горемычной «ставки»

чуть ли не все милые, славные, храбрые, охотно помогают, сдерживают обещания... Неужели забыл ты все камни, подножки, обманы? Я их не забыл: память — машина автономная, и притом мелочная. Если зажмурить глаза, вспоминаются то смешные, то нехорошие образы, и в штатском платье, и в военном. Но искать «правду» надо не с зажмуренными, а с открытыми глазами; тогда видишь главное, а главное и есть «все».

Нет, я написал всю правду. И пятьсот «погонщиков», и пять тысяч «королевских стрелков» — ими всеми вправе спокойно гордиться еврейский народ, всеми: из Уайтчепла, из Тель-Авива, из Нью-Йорка, из Монреаля, из Буэнос-Айреса, из Александрии. Они прибыли из четырех стран света, а один — Марголин — из пятой; и они честно и прочно отслужили свою службу за еврейское дело.

И так же смело может гордиться еврейский народ теми друзьями, что пришли к нам из среды чужого народа. Есть в их ряду люди с громкими именами, есть и малоизвестные: но все это красивые души, широкие сердца; каждое из этих имен, звонких или скромных, есть добрый знак для будущего, эхо старинного слова о том, что не сирота на земле Израиль; эхо герцлевой «правды» о том, что *die Welt ist keine Rauberwelt — die Welt ist eine Richterwelt*¹.

* * *

О значении легионизма и легиона, о роли, какую оба сыграли в нашей народной истории за годы войны, я говорил уже на разных страницах этой книги; попытаюсь резюмировать. Понятно, я не предьявляю никаких притязаний на объективность моей оценки. Спор о «легионе» еще не закончился — по-моему, настоящий разгар его еще впереди; воздух еще полон и партийных, и личных раздражений. Противники нового легиона, естественно, склонны недооценивать первый легион, и наоборот. Вполне возможно, что я «наоборот». Но и мой подход к этому вопросу не следует понимать слишком уж упрощенно в духе классической гречневой каши. Если человек судит только субъективно, он

¹ Мир является не миром разбойников, а миром судей.

прежде всего скажет: победил! Я этого не говорю. Далеко мне было до победы, и не раз я думал об этом в долине Иордана. Не о пяти тысячах мечтал я в то дождливое утро перед афишей в Бордо. Я своего не добился. Но те пять тысяч — они добились: еврейский легион, такой, каков он был, действительно сыграл историческую и определяющую роль в судьбе сионизма. И так же спокойно и твердо, как уверен я в том, что завтра взойдет солнце и будет утро, и день, и вечер, так же уверен я в том, что оценка истории совпадет с моей оценкой.

Чисто военное значение легиона было не больше и не меньше того, какое могут иметь три батальона в большой войне. Британская армия могла бы освободить Палестину и без нас. Но она освободила Палестину с нами; и в ответственный момент она поручила нам ответственную роль на опасном, исключительно тяжелом посту. Это не много и не мало; это то, что есть. В одном из храмов Лондона хранится общее знамя старого корпуса «королевских стрелков», чью кокарду мы носили во время наступления; на этом знамени вышиты ряд славных имен: Крым, Индия, Судан, Южная Африка. Благодаря нам к этому ряду прибавилось имя Палестины. Это имя было нашито на знамени в торжественной и величавой церемонии, и славный полк, одна из гордостей британской армии, гордится нашей службой. Солдат Патерсон тоже, солдат Марголин тоже. Я тоже.

О том, что за роль сыграл наш легион в охране Палестины в трудные месяцы после военных содроганий, я уже писал; и эту правду пусть затвердит на память еврейская молодежь родины и рассеяния. Пока стояли в Палестине пять тысяч еврейских солдат, даже когда, в самую опасную минуту, они остались почти одни на весь край, в Палестине было тихо. Когда они ушли, в Палестине трижды пролилась еврейская кровь.

Нравственное значение легиона ясно для каждого, кто умеет честно мыслить. Злая вещь война; но признание своего права на Палестину мы получили ценою войны — значит, ценою человеческих жертв. Сегодня никто не может бросить нам в лицо упрек: где вы были? отчего не пришли тогда с требованием — дайте нам как евреям положить свою душу за Палестину? Сегодня есть у нас ответ: «пять тысяч; и было бы много больше, если бы ваши начальники не тормозили нашего

дела два с половиной года подряд». Этому нравственному моменту нет цены; это и хотел выразить премьер Южной Африки Сметс, герой двух народов, один из последних рыцарей на земле и сам глубокий миролюбец, когда сказал: «Дать евреям биться за землю Израила — это одна из прекраснейших мыслей, какие слышал я за всю свою жизнь».

* * *

Но главную свою роль сыграли эти пять тысяч и то движение, которое их породило, в области политической: роль историческую и решающую. Изодня в день, два года и больше, я следил за работой тех немногих тружеников, имена которых навеки связаны с Декларацией Бальфура: они сами знают, как высоко я ставлю их достижение и их заслугу. Больше того: я знаю, что вся сумма всех усилий во имя Палестины, произведенных ими и нами и другими за четыре года войны, есть только малая доля того массового и длительного подвига, который накопила упрямая работа трех поколений сионизма. Декларацией Бальфура мы обязаны и Герцлю, и Ротшильду, и Пинскеру; в еще большей, верно, мере, первым пионерам — «билуйцам» и всем преемникам их, колонистам, рабочим, учителям, от Метуллы на севере до Рухамы на юге. Я уж не говорю о том, что еще важнее: о книге, святой для всего мира, и научившей весь мир связывать еврейский народ с Иерусалимом. Девяносто девять шагов к цели были сделаны задолго до выстрела в Сараеве: только сотый, последний был ступлен за годы войны. Но этот последний шаг был большой шаг; и неправо забывать, что это был шаг коллективный, и, помяная несомненную заслугу отдельных единиц, затенять заслугу пяти тысяч. Я считаю обе заслуги равными. Свет не жюри, Декларация Бальфура не приз; даже на бумаге не дают родины Ивану, Сидору или Петру. Обещать родину можно только в ответ на соборный голос массы — в ответ на движение. В чем, где, когда могла в те одичалые годы проявиться сионистская мечта, как «движение», как манифестация массовых воль? Организация была разбита, парализована, загнана в тень или прямо в подполье; но и без того, по самой природе своей, культурной и колонизационной, сионизм лежал безнадежно вне тесного, резко отграниченного кругозо-

ра воюющих народов и их правителей. Только одна форма сионизма в состоянии была проникнуть в это узкое поле зрения, прорваться в очередь, заставить министров, послов и репортеров внести нашу мечту о земле в список забот текущего — кровью текущего — дня.

Еврейский народ ничем не отблагодарил своих солдат; они меня тоже не уполномочили хлопотать о его благодарности — обойдутся. Но в их душе живет то спокойное сознание, которое я высказал здесь; и придет время, когда дети наши будут заучивать имена их полковников вместе с азбукой. А рядовым, каждому из пятисот и каждому из пяти тысяч, я хочу сказать на прощанье то, что сказал когда-то своим товарищам «портным», уходя навсегда из последнего лагеря нашего под Ришоном:

— Ты вернешься к своим, далеко за море; и там когда-нибудь, просматривая газету, прочтешь добрые вести о свободной жизни еврейской в свободной еврейской стране — о станках и кафедрах, о пашнях и театрах, может быть, о депутатах и министрах. И задумаешься, и газета выскользнет из рук; и ты вспомнишь Иорданскую долину, и пустыню за Рафой, и Ефремовы горы над Абуэйном. Встрепенись тогда и встань, подойди к зеркалу и гордо взгляни себе в лицо, вытянись на-вытяжку и отдай честь: это — твоя работа.

ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ¹

Повесть моя написана кратко, и в определенном смысле, отрывочно. Происходит это, прежде всего, оттого, что я никогда не пытался (за исключением одного-двух случаев) изобразить в ней знаменитых людей, с которыми свела меня судьба, даже и в том случае, если они сыграли видную роль в жизни поколения и нации; и этим я, понятно, снизил ценность и занимательность сего сочинения, ибо ценная сторона всякой автобиографии не в автопортрете, а в портрете другого, но что поделаешь? Отпущенное мне время не позволяет воскресить все, что столь живо еще в моей памяти, да и не судья я людям, ни живым, ни уже умершим. Но разве сумеешь изобразить существо из плоти и крови, удержавшись вовсе от оценки или суждения?

Однако и летопись моих дней я развернул здесь только наполовину, показав жизнь писателя и общественного деятеля, но не жизнь частного человека. Две эти сферы жизни разделены во мне очень высокой перегородкой: по мере возможности, я всегда избегал их смешения. В частной жизни были и есть у меня друзья и враги, дорогие связи, невосполнимые потери и незабываемые воспоминания — все это ни разу не сказалось и никогда не скажется на моей публичной деятельности. И хотя на весах моей внутренней жизни эта половина перевешивает все остальные впечатления, и хотя роман моей личной жизни более глубок, многоактен и содержателен, чем роман публичной деятельности, — здесь вы не найдете его.

МОЕ РОДОСЛОВИЕ

Мать моя родилась в Бердичеве более ста лет тому назад. Отец ее, реб Меир Зак, был торговцем. Насколько мне известно, в моей родословной не было раввинов или каких-либо

¹ Впервые на русском языке «Повесть моих дней» вышла в свет в 1985 г. в издательстве «Библиотека-Алия».

священнослужителей ни с той, ни с другой стороны. Единственным утешением мне может служить то, что моя жена как-никак ведет свое происхождение от Дубенского маггида. Хотя я не слышал подробностей о детских годах моей матери, из того немногого, что она иногда нам рассказывала, у меня сложилось представление, что члены ее семьи принадлежали к городской верхушке.

Память моя сохранила несколько эпизодов из ее рассказов, в особенности великолепие субботы и пасхальный вечер в доме ее отца. Я побывал в Бердичеве в начале этого столетия и даже тогда застал еще на железнодорожной станции православных грузчиков, которые изъяснялись на гораздо более чистом идише, чем я сам, а в говоре их звучал настоящий еврейский распев. Даже и тогда это все еще был самый еврейский город из всех городов Украины, и таким, с еще большей определенностью, был он в дни маминого детства. Дедушка был несомненно человеком просвещенным и прогрессивным и, может статься, даже вольнодумцем, по мнению окружающих, ибо он послал маму в обновленный *хедер* учиться немецкому языку и западным манерам. Этим манерам обучались с помощью куплетов. Например, если тебя представляли важной даме, следовало сказать:

Bonjour, madame charmante,
Un tekef a Kusch in die Hand¹.

Мама говорила по-немецки, хотя и с ошибками, и по ее выражениям было заметно, что она учила литературный язык, и любимыми писателями ее юности были Шиллер и еще один автор, ныне забытый в самой Германии, — Цшокке. Русский язык она стала учить только после замужества, видно, из необходимости общаться с прислугой, и, хотя с сестрой и со мной она говорила всю жизнь только на этом языке, она производила решительные разрушения в русской грамматике. Она понимала также древнееврейский язык,

¹ Добрый день, очаровательная дама (франц.), — и тут же поцелуй в руку (идиш).

язык Пятикнижия и молитвы, и была большим знатоком и немалым педантом во всем, что касалось религиозных установлений и обрядов.

Однажды я спросил маму: «Мы хасиды?» — и она ответила не без раздражения: «А ты что думал — миснагдим?» С тех пор и поныне я себя причисляю к потомственным хасидам. Еще одну решающую вещь узнал я из ее кратких ответов. Было мне тогда лет семь или меньше, и я спросил ее: «А у нас, евреев, тоже будет свое государство?» Она ответила: «Конечно будет, дурачок!» Я не задавал больше этого вопроса, хватило с меня ее ответа.

Кроме сестры Тамары, был у меня еще брат Мирон, или «Митя», первенец в семье. Его я совершенно не помню, потому что он отошел в иной мир, когда я был еще младенцем.

Пока жив был отец, мы не знали нужды, но он умер, когда мне было шесть лет, и мы остались без всяких средств к существованию. Мы едва сводили концы с концами, пока не подросла сестра и не начала, с шестнадцатилетнего возраста, давать уроки; этим она спасла нас от нищеты. Мои воспоминания — воспоминания о лишениях. Жили мы в мансарде, и родители моих богатых товарищей, с которыми я играл во дворе, не позволяли им посещать меня, чтобы к ним не пристал дух бедности, и мама, со своей стороны, тоже не разрешала мне преступать порога их дома.

Вообще мама слыла гением. После смерти отца, когда она вернулась в Одессу с двумя сиротами, был созван семейный совет в доме ее брата Абрама Зака, чтобы обсудить, что делать с нами, и один из сыновей дяди, процветающий адвокат, высказал такое мнение: «Достаточно у нас образованных, пошли девочку учиться на швейку, а парня научи столярному ремеслу». Совет, быть может, был и не плох, да еще не проникла в те дни идея *Umschichtung*¹ в сердца среднего класса, — и с тех пор ни мы не появлялись в доме этого советчика, ни он у нас, и если бы я встретил на улице его жену и сыновей, — а они были самыми близкими нашими родственниками, — то не узнал бы их. Лет двадцать спустя попытался этот племянник заговорить с мамой во дворе синагоги, просил прощения и объяснял,

¹ Букв. переход в другое сословие; здесь «пролетаризация».

что она не поняла его. Мама отвечала: «Я не сержусь, всего доброго». И прошествовала в женское отделение синагоги.

Я не из поклонников Яфета (также как не из поклонников Сима...), но есть черта в характере северных народов, которую я разделяю: поклонение женщине. Я убежден: каждая, даже самая обычная женщина — ангел, и это правило не знает исключения. Если женщина не проявила этого качества, то потому только, что не представился случай, но придет день — и вы увидите. С тремя женщинами свела меня жизнь, и у всех трех нашел я это качество, что же касается первой из них — мамы, — то я не помню ни одного дня в жизни, чтобы она не была вынуждена биться, хлопотать, преодолевать трудности.

Я почти ничего не знаю о нашей жизни до болезни отца — одни обрывки, но это фрагменты эпопеи; не в смысле необычности событий, напротив, это глава, похожая на тысячи глав из истории тысяч женщин, чья жизнь — повседневный подвиг. Она родилась в богатстве, жила в богатстве, еще вчера был у нее дом полная чаша, муж — повелитель, царь и вождь в своем кругу, а она царица его, и в момент все рухнуло: положение, капитал, будущее, и на ее плечах больной старик, одряхлевший за одну ночь и уже приговоренный к смерти. Она собрала всех нас, привезла в Берлин, созвала лучших врачей. Те обследовали отца, покачали лысынами, пошептали друг другу какие-то латинские слова и затем изрекли на непонятном немецком языке: продолжим лечение...

Мать покинула нас на два месяца, вернулась в Одессу, продала или заложила мебель и драгоценности и вернулась бороться за жизнь отца. В течение двух лет профессора пытались обмануть себя, что рак — это не рак, наконец, признали, что надежды нет. Мать не отступила: в России тоже есть знаменитые хирурги, как знать? Повезла нас в Киев, повезла нас в Харьков, из Харькова нас едва не выслали, потому что отец перестал делать взносы в купеческую гильдию, и мы лишились права жительства в этом городе. Мама добилась приема у губернатора и получила отсрочку от высылки, пока не будет оперирован отец. Но ничего не помогло. Не знаю почему, но оттуда мы поехали в Александровск, небольшой городок на Днепре: может быть, отец хотел умереть в родных местах, на берегах реки, свидетельницы дней его молодости и его прошлого величия.

После смерти отца мы вернулись в Одессу. Помнятся мне маленькие комнаты и свежие булки, которые мама дает каждое утро сестре и мне, а сама ест только то, что осталось со вчера. Но совет дядиного сына был отвергнут без оговорок: и сестру, и меня она послала в гимназию.

Отца я совершенно не помню, вернее, помню очень смутно, но слышал о нем рассказы и даже легенды. В те годы закладывалось и подымалось торговое богатство Одессы, стольного града хлебной Украины, и отец, по-видимому, был одним из лучших создателей этого богатства. Заправляло на хлебном рынке «Русское общество пароходства и торговли», РОПИТ, а оно числило отца среди главных своих агентов. Говорили, что он был главным скупщиком зерна на всей территории правобережной Украины, области, которая кормила Европу в те годы. Стоило бы написать пространный роман (но такая опасность не грозит, ибо не найду я для этого досуга) о поездках отца на пароходах РОПИТ'а по Днепру, от Херсона до уступов, перегораживающих русло реки, которые называются «пороги» по-русски и «гирло» (устье) по-украински, в сопровождении многочисленной свиты помощников, специалистов по определению качества зерна, учетчиков и просто людей без пользы и без профессии, которых в Одессе звали странным именем «лапTOT»; может быть, его можно ближе всего передать только словом «бездельник». Отец, видимо, был человеком очень ценным в глазах правления, ибо спустя много лет после его смерти я привык видеть в нашей мансарде одного из директоров РОПИТ'а, который являлся с визитом к маме всякий раз, когда заезжал в Одессу. Даже имя его я случайно запомнил — Пчельников. Он выпивал стакан чаю и не уставал расточать похвалы отцу.

Евреи звали отца Ионой, русские — Евгением. Он родился в Никополе, городе на берегу Днепра. Отец его держал семь почтовых станций на одном из главных трактов, ибо тогда железная дорога не дошла еще до этого края. Станции имели смешанное назначение: постоялого двора, харчевни, почты и конюшни для почтовых лошадей. Один из моих друзей нашел имя дедушки в списке первых подписчиков на первую газету на древнееврейском языке, которая выходила в России, «Гамелиц», если я не заблуждаюсь.

Адмирал Чихачев, директор компании РОПИТ, однажды сказал отцу: «Имя тебе Евгений, и ты гений». Может быть, он преувеличивал, а может быть, и был прав, но во всякое свое посещение Приднепровья я слышал от многих то же самое. Однажды в Александровске собрался вокруг меня десяток стариков, ветеранов торговли зерном, и до полуночи пытались они растолковать мне, в чем состояли чары, которыми обладал мой отец. Я не понял их, но у меня осталось огромное впечатление от переплетения связей, отношений, сетей, нитей влияния, которые связывают Аргентину с Украиной, Черное море с тремя океанами, Валплац в Вене, резиденцию министра иностранных дел Австро-Венгрии, с Капа Ровиной, где собирались зерноторговцы в Одессе. Одно уразумел я: они говорили мне, что отец совершал свои расчеты в уме «до осьмушки копейки» (я не унаследовал этого дара, для меня даже таблица умножения китайская грамота). И еще одно: много раз предупреждали его, что помощники обворовывают его. Он неизменно отвечал: «Тот, кто ворует у меня, беднее меня, и, может быть, он прав». Именно эта философия и передалась мне по наследству.

Способности отцу достались, как видно, от его матери, о которой я тоже слышал немало легенд, но здесь не место рассказывать их. Духовное наследие со стороны деда было другого рода: преувеличенная нервозность, граничащая с истерией, симптомы которой я обнаружил у многих представителей моей родни. Один из них, мой младший дядя по отцовской линии, из странной породы обаятельных прохвостов, гениальный лжец, лжец милостью Божьей, обладатель единственных в своем роде музыкальных способностей — он умел щелкать соловьем, и половина населения Никополя собиралась у окна его дома, чтобы послушать его трели, — на старости лет спятил с ума и подписывал свои письма ко мне «Иисус II». Но отец любил его больше, чем многих других братьев, и однажды дал ему ответственное поручение — надзирать за отгрузкой зерна за границу, а сам уехал на две недели. Вернувшись, он застал полное расстройство в делах и мрачные лица в конторе РОПИТ'а. Через несколько дней после этого открытия он почувствовал подозрительную боль внутри, врачи поставили диагноз — рак, и послали его в Германию. Мы провели там два года, останавливаясь в Берлине

зимой и в Эмсе на Рейне летом. В Берлине я ходил в немецкий детский сад, а в Эмсе видел однажды старого кайзера Вильгельма, который приподнял шляпу в ответ на мой поклон: тогда еще в мире существовала вежливость, даже и в этой части света. Отец не выздоровел.

Одним из трех факторов, которые наложили печать свободы на мое детство, была Одесса. Я не видел города с такой легкой атмосферой и говорю это не как старик, думающий, что на небосклоне потухло солнце, потому что оно не греет ему, как прежде. Лучшие годы юности я провел в Риме, жил в молодые лета и в Вене и мог мерять духовный «климат» одинаковым масштабом: нет другой Одессы — разумеется, Одессы того времени — по мягкой веселости и легкому плутовству, витающим в воздухе, без всякого намека на душевное смятение, без тени нравственной трагедии. Я не скажу, Боже упаси, что обнаружил в этой атмосфере избыток глубины и благородства, но ведь ее ласкающая легкость именно и состояла в отсутствии какой бы то ни было традиции. Из ничего, из нуля возник этот город за сто лет до моего рождения, на десяти языках болтали его жители, и ни одним из них не владели в совершенстве. Среди моих многочисленных знакомых был только один, чей отец тоже родился в Одессе: поистине, нет благородства без традиции и без трагедии. Город эфемерный, как клещевина пророка Ионы, и все, что произрастает в нем, — материальное, нравственное, общественное — тоже Ионова клещевина, переходящий случай, острота, авантюра. Правда, конечно, дело почтенное, но и ложь не преступление, ибо ведь и у собеседника есть кипучее, гибкое, мгновенно вспыхивающее воображение. Добавьте еще ненасытное любопытство к тому, что принесет восходящий рассвет, всякая весть о нем — великое событие, толпа бурлит, руки взмываются ввысь, стены биржи и столики кафе сотрясаются от буйства криков. Поцелуй тоже дешевы, более чем дешевы — даром (и однако эти девушки, сколько мне помнится, все впоследствии вышли замуж и все до одной стали напористыми матронами).

На ребенка, воспитывающегося в такой среде, она может оказать дурное или хорошее влияние, это зависит не от среды, а от самого ребенка. Один впитает подлость (Полонский, русский поэт, написал роман из жизни Одессы и назвал его «Дешевый город»), а другой, напротив, усвоит буйство, аван-

тюризм, любопытство, неиссякаемую бодрость — так что каждое утро чудо — снисходительную улыбку, которую равно откликнется на поражение и на удачу. Странно: как раз в книгах английского поэта, воспитанного самой строгой традицией в мире, всю свою жизнь отстаивавшего эту традицию, нашел я отголосок этой психологии. Киплинг написал (я не помню дословно): «Победа или беда: умеи отнестись равно хладнокровно и к той и к другой, ибо и то и другое — обман». На старости лет он обобщил опыт своей жизни, обратившись к Создателю: «Боже! Я обозрел всю землю Твою и не увидел на ней ничего обыденного: все, что я увидел, — чудо». Быть может, я тоже представитель этого второго рода.

ОТРОЧЕСТВО

В моей метрике значитсч: «Девятого дня месяца октября 1880 года родился сын у никопольского мещанина Евгения Жаботинского и его супруги Евы, которая нарекла его именем Владимир». Здесь три ошибки: отца звали Ионой, сыном Цви, мать — Хавой, дочерью Меира, а родился я 5 октября, (18 по новому стилю), по расчету моей матери в неделю, когда в синагогах читают раздел Торы «Ваейра» («И явился») из кн. Бытие. До своего семнадцатого года я жил в Одессе, дома и на улице мы разговаривали только по-русски, мама пользовалась идишем только в беседах с моими престарелыми тетушками; сестра и я научились понимать этот язык, но ни разу нам не пришло на ум обратиться к маме или к кому-нибудь другому на идише. Сестра научила меня читать по-русски, было мне восемь лет, когда один из наших соседей вызвался обучать нас обоих древнееврейскому языку, и этот добрый человек был Иегошуа Равницкий. В течение нескольких лет, пока мы не сменили квартиру, я брал у него уроки, и я протестую против басни, будто я не знал слов «Берешит бара элогим...»¹, до того как вступил в лагерь сионистской деятельности. Мама никогда не допустила бы

¹ «В начале сотворил Бог...» — первые слова Торы (*иврит*).

этого! После появился у меня другой учитель, имя которого я забыл. Он готовил меня к бар-мицве. Читали мы с ним и стихи Иегуды Лейба Гордона. Один из сыновей дяди, который квартировал у нас в течение года, обучал меня французскому языку, а у сестры, изучавшей в гимназии английский, я взял несколько уроков этого языка.

Помимо уроков древнееврейского, в ту пору у меня не было никакого внутреннего соприкосновения с еврейством. После смерти отца я до конца года ходил три раза в день в небольшую синагогу ювелиров, что была неподалеку от нашего дома, но не участвовал ни в каких других молитвах, кроме кадиша. Дома строго соблюдался кашрут, мама зажигала свечи вечером в пятницу и молилась утром и вечером, и сестра тоже выучила благодарственную молитву и «Шма», но все эти обряды не проникли в наши сердца. В библиотеке еврейских служащих торговых предприятий, куда я бегал каждый день, чтобы сменить том, «проглоченный» мною накануне, было много еврейских книг. Я их не читал. Раз или два попробовал и не нашел в них никакого движения, только печаль и уныние: «неинтересно». «Убеждений» у меня в эти дни и позднее, возможно, до двадцатилетнего возраста и далее, не было ни в том, что касается еврейства, ни по какому-либо социальному или политическому вопросу. Если бы меня тогда спросил христианский юноша, как я отношусь к евреям, я ответил бы, что я «люблю», но на вопрос еврея я дал бы другой и более полный ответ. Разумеется, я знал, что в конце концов у нас будет «государство» и что я тоже перееду туда жить, ведь это известно и маме, и всем тетушкам, и Равницкому, но это было не «убеждение», а такая же естественная вещь, как, например, помыть руки утром и съесть тарелку супа в обед.

Я ошибся: одно «убеждение» выработалось у меня еще на заре детства, и по сей день оно определяет все мои отношения к обществу. Правда, некоторые люди утверждают, что это не убеждение, а мания. Поистине, я помешался на идее «равенства». Тогда эта моя склонность выражалась в гневных протестах против всякого, кто осмеливался обратиться ко мне на «ты», а не на «вы» — то есть против всего совершеннолетнего человечества. Этой мании я остался верен по сей день: на всех языках, на которых имеется это различие,

даже к трехлетнему ребенку я не обращусь иначе, чем на «вы», и если бы я даже захотел поступить иначе, то не смог бы. Я ненавижу всей душой, и это органическая ненависть, которая берет верх над всяким аргументом, над рассудком и над самим бытием, любое представление, которое намекает на «неравноценность» людей. Возможно, это не демократизм, а нечто противоположное ему: я верю, что каждый человек — царь, и если бы я мог, то создал бы новое общественное учение, учение о «панбасилевсе».

Когда мне исполнилось семь лет, мама послала меня в частную школу, учрежденную двумя еврейскими девицами, госпожой Лев и госпожой Зусман. В ней было два класса, одна девица была учительницей по общеобразовательным предметам в первом классе, а другая — во втором. Мальчики и девочки учились вместе: очень редкая вещь в те дни. Я бегло описал эту школу в рассказе «Белка», также как историю моей отвергнутой любви, вспыхнувшей в соседстве с женской купальней: правда священна. Добавлю только, что я не помню, чтобы мы учили что-нибудь «еврейское» — историю еврейского народа, например, или молитвы, — и то обстоятельство, что именно этого я не помню, характерно для моей «национальной» индифферентности, о которой я упоминал ранее.

Четыре раза держал я экзамен для поступления в гимназию, в реальное училище, в коммерческое училище — и проваливался. С 1888 года был введен закон, согласно которому в государственные учебные заведения принимался один еврей на девять христиан, и поэтому возросла конкуренция между экзаменующимися Моисеева закона. Поступить удавалось лишь настоящим вундеркиндам или тем, чьи родители давали солидный куш учителям, а я был гол с обоих боков. Наконец, не знаю каким чудом, меня приняли в подготовительный класс второй прогимназии, курс обучения которой я завершил в возрасте 14 с половиной лет и перешел в пятый класс Ришельевской гимназии. Два этих учебных заведения я ненавидел, как и все гимназисты: до сих пор, услышав от своих маленьких друзей, что они любят свою школу, я только диву даюсь. Отпетым и закоренелым лентяем был я все годы своей учебы, ненавидимым большинством учителей, и не было счета скандалам и конфликтам, которые возникали у меня с чиновниками от российской педагогики.

Из этой цепи происшествий упомяну одно: меня прогнали с выпускного экзамена в прогимназии. Я передал соседу шпаргалку с переводом латинского отрывка, учитель перехватил ее, и нас обоих отослали домой, и только после каникул нам разрешили экзаменоваться снова. Я не знаю другого примера такого наказания за столь мелкое преступление, но между мной и учителями существовала взаимная ненависть.

Должен, однако, признать, что я почти не чувствовал антисемитского духа в этих государственных учебных заведениях: может быть, потому, что вообще русское общественное мнение — правое и левое — было погружено в спячку весь этот период, вплоть до последних лет XIX века, недаром называют его в России «безвременьем», то есть периодом безликости. Ни со стороны наших учителей, ни со стороны наших однокашников, мы, еврейские ученики, не испытывали гонения, и, что всего страннее, несмотря на это, мы всегда держались особняком от своих христианских товарищей. Нас было десять в классе: сидели мы вместе, и если встречались в частном доме, чтобы играть, читать или просто болтать — все это было только в своем кругу. Лишь у некоторых из нас были друзья из русского лагеря. Меня, например, связывала верная дружба со Всеволодом Лебединцевым, отличным юношей, чье имя будет еще упомянуто в этом повествовании. Много раз я ходил к нему в гости, и он навещал меня, но ни разу не пришло мне на ум ввести его в наш обособленный круг, и он не ввел меня в свой круг, — хотя мне и неизвестно, был ли у него «круг». Еще более странно, что и в нашем еврейском «кругу» не веяло еврейским духом: если мы читали вместе, то иностранную литературу, предметом наших споров были Ницше и вопросы морали, морали вообще или морали половой, а не судьба еврейства и не положение евреев в России, которое тяготело над всеми нами.

Кроме отрывочного знания латыни и греческого (и это я ценю по сей день), всему, чему я выучился в детские годы, я выучился не в школе. Разумеется, я много читал, без руководства и наблюдения, но по воле случая я мог выбирать. Прежде всего, от времени отцовского величия нам остался книжный шкаф, в котором я нашел все сочинения Шекспира в русском

переводе, Пушкина и Лермонтова. Этим трех авторов я знал от доски до доски еще до того, как мне исполнилось четырнадцать лет, и еще и поныне не без труда нахожу я стихотворение Пушкина, которое не было бы мне знакомо и которого я не знал бы до конца. Но остальную русскую литературу я и тогда не очень жаловал (быть может, кроме поэзии), да и теперь она чужда моему духу. Я не склонен углубляться в бездны души, сердце мое вожделеет действия, моими любимцами в детстве были приключенческие писатели, которыми зачитывались мои сверстники, и я сожалею, что новое поколение молодежи, как я слышал, отошло от них: от Майн Рида, Брет Гарта, Вальтера Скотта и им подобных. Этот выбор, банальный и здоровый, спас меня от преждевременной духовной зрелости, болезни молодежи, которая появилась в позднейший период. Когда же я исчерпал все богатства той библиотеки, и в ней не осталось ни одной не прочитанной мною приключенческой книги, и я был вынужден перейти к «серьезной» литературе, я предпочитал таких иностранных авторов, как Диккенс и Золя, Шпильгаген и Джордж Элиот гениям русского романа — из страха перед психологией. И все же, следует признать, что наиболее сильное впечатление произвела на меня русская книга — «Обрыв» Гончарова: этот роман обозначил духовную границу между моим детством и юностью, сам не знаю почему. С другой стороны, четыре творения из сокровищницы мировой поэзии, которые я любил больше всего (и люблю поныне), служат решительным доказательством поверхностной простоты моего вкуса: «Сирано» Ростана, «Сага о Фригьофе» Тегнера, «Конрад Валенрод» Мицкевича (мой польский одноклассник в прогимназии научил меня своему языку) и больше всего — «Ворон» Эдгара По. Будь я богат, я бы сделал себе подарок: эти четыре вещи, переплетенные вместе, каждая из них на языке оригинала, памятники культа великолепного жеста и прекрасного слова, которого я не встречал в жизни.

Не подумайте, упаси Боже, что в эти годы я был домоседом. По вечерам я читал, но всякий свободный час до наступления сумерек я проводил в городском парке (парк в Одессе по своему размеру занимает изрядную часть самого города) или на берегу моря. Порою я отправлялся поутру в гимназию — но вот улыбается солнышко, распустилась сирень... и я бросал ранец в бакалее, что была около

нашего дома, и бежал в порт ловить раков на огромных камнях мола, которые называются «массивами». В парке с компанией таких же бездельников я играл в «казаков и разбойников» и возвращался домой, гордясь царапинами и сныками на лице и на теле, полученными от соприкосновения с палкой, мячом или камнем. Однажды я и еще двое товарищей заплыли так далеко, что встревожился смотритель пляжей и погнался за нами на лодке с багром в руках. Несколько лунных ночей мы провели на арендованной шаланде (возможно, без ведома самого рыбака), которая заплыла за маяк. Мы сочиняли русские морские песни или нашептывали нежные признания девушкам.

Было мне 15 лет, и я учился первый год в гимназии Ришелье, когда один из еврейских учеников пригласил меня к себе домой и представил своим сестрам. Одна из сестер играла на рояле, когда я вошел в комнату; впоследствии она призналась мне, что странное явление — негритянский профиль под буйной шевелюрой — заставило ее расхохотаться за моей спиной. И все же в тот первый вечер я снискал ее благосклонность, когда назвал ее — первый из всех ее знакомых — «мадемуазель». Было ей десять лет и звали ее «Аней», Иоанной Гальпериной, и это моя жена.

И ремесло свое я избрал тоже в детстве: начал писать еще в десятилетнем возрасте. Стихи, разумеется. «Печатал» я их в рукописном журнале, который издавали два молодых человека, ученики не моей школы (один из них, если я не ошибаюсь, теперь посланник советов в Мексике); позднее, в шестом классе, мы в нашей школе тоже основали тайную газету, и ее мы уже распространяли на гектографе, а я был одним из ее редакторов. «Тайную!» Ибо это было запрещено согласно российским законам вообще и гимназическим правилам в частности; однако в нашей газете не было даже намек на «политику», не из страха, а из того равнодушия к ней, которое я описал ранее, и тем не менее газета наша называлась «Правдой», и главный редактор, христианский юноша, чьи родители были выходцами из Черногории, влюбился в том году сразу в двух девиц. Одну из них звали Лидой, а другую Леной; в конце концов верх взяла первая, и он избрал псевдоним Лидин, которым подписывал свои статьи; если бы победу одержала Лена, то он подписывался бы Лениным!

Я перевел на русский язык «Песнь песней» и «В пучине морской» И. Л. Гордона и послал их в «Восход» — не напечатали. Перевел «Ворона» Эдгара Аллана По и послал в «Северный вестник», русский ежемесячный журнал в Петербурге, — не напечатали. Написал роман, название и содержание которого я не помню, и послал его русскому писателю Короленко, и он из вежливости ответил мне, то есть посоветовал «продолжать». Не сосчитать всех рукописей, что я посылал редакторам и получал назад — или не получал — в возрасте между 13 и 16 годами. Я уже отчаялся в своей будущности, уже страшился, что мне написано на роду быть адвокатом или инженером. Однажды я случайно развернул ежедневную одесскую газету и нашел в ней статью под названием «Педагогическое замечание». Моя статья! Довожу до сведения грядущих поколений дату — 22 августа 1897 года — и содержание: острая критика системы выставления отметок в школах, ибо такая практика может вселить зависть в сердца слабых учеников.

В эти дни в Одессе жил Александр Федоров, известный русский поэт. Он увидел перевод «Ворона», пригласил меня к себе, ободрил меня и представил редактору газеты «Одесский листок». Я спросил последнего: «Стали бы вы публиковать мои корреспонденции из-за границы?» И получил ответ: «Возможно. При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей».

У него были корреспонденты во всех европейских столицах, за исключением Берна и Рима. Мама просила: «Только не в Рим! Поезжай с Богом, раз ты уж решил оставить гимназию, но на худой конец в Берн, там среди студентов есть дети наших знакомых».

Кстати, среди прочих волшебных сказок, которыми незаслуженно разукрасили летопись моей жизни, слышал я и такую, будто меня «исключили» из гимназии. Боюсь, что если бы я не оставил тогда ее, в конце концов меня бы действительно выгнали, но случайно я ушел из нее по своей доброй воле еще до этого неотвратимого события.

Ибо мне атмосфера гимназии опротивела, и я решил оставить ее при первой же возможности, даже не закончив курса. Жестоко боролся я за это решение с членами своей семьи, родственниками и знакомыми. Молодой читатель не поймет,

что значила «гимназия» в глазах еврейского общества сорок лет тому назад: аттестат зрелости — университет — право жительства вне «черты», — короче говоря, человеческая, а не собачья жизнь. А я уже ученик седьмого класса, еще полтора года, и я смогу надеть синюю фуражку и черную тужурку студента. Что за безумие пожертвовать такими возможностями и разрушить их, и, прежде всего, Бога ради, почему?

Хоть убейте меня, я не знал почему. Потому. И, быть может, нет объяснения тайнам хотения, которое более точно выражало бы их, чем «потому».

Де Монзи, известный французский политик и друг сионизма, однажды сказал мне: «Я понимаю в сионизме все, кроме постановки вопроса о языке». И он привел мне с большой аналитической силой и превосходной логикой множество убедительных аргументов против древнееврейского языка, который разрушает всякую связь между мировой культурой и «народом, который создал эту культуру». Я искал удовлетворительный ответ, не нашел и ответил: «И все-таки древнееврейский язык. Почему? Потому». Де Монзи воздел руки горе и сказал: «Теперь я понял. Вы правы. Страсть, не поддающаяся объяснению, выше всяких объяснений».

Не следовало бы вспоминать об упорном характере народа, собираясь всего лишь поведать о подростке, улизнувшем из школы. Но это был не единственный случай в моей жизни, когда я покорялся необъяснимому «потому», и я не раскаиваюсь.

Был у меня в Одессе дядя, старший брат матери, дядя Абрам, состоятельный коммерсант, знаток древнееврейского языка и бритый маскил, человек умный и многоопытный. Он — единственный из всех родственников — ни разу не спросил меня «почему?», но в канун моего отъезда, когда я зашел проститься с ним, сказал мне вещь очень разумную и полезную:

— Я слышал, что ты хочешь стать писателем и ради этого избрал странный путь. Это не мое дело. Но вот что ты должен помнить: если ты преуспеешь, все согласно станут уверять, что ты умница, а если не повезет, скажут: «невежда, и мы всегда знали, что он просто дурак».

Весной 1898 года я оставил гимназию и отправился в Швейцарию, и этим завершился период моей юности и созревания. Было мне 17 лет, был я не очень «симпатичный», ибо склонялся к парадоксам и позе и имел преувеличенное мнение о себе, и не было у меня плана или линии в жизни, одна лишь жажда жить.

БЕРН И РИМ

Я проехал через Подолию и Галицию, третьим классом, разумеется. Поезд полз, словно черепаха, останавливаясь во всех местечках. На всех станциях, днем и ночью, в вагон входили евреи; на перегонах между Раздельной и Веной количество слышанного на языке идиш было больше, чем за все прошлые годы моей жизни. Не все я понимал, но впечатление было сильным и горестным. В поезде я впервые соприкоснулся с гетто, своими глазами увидел его ветхость и упадок, услышал его рабский юмор, который довольствовался вышучиванием ненавистного врага вместо бунта... Теперь, состарившись, я научился различать под покровом этого пресмыкательства и насмешки достаточную степень гордости и смелости; тогда я не знал этого, тогда я склонял голову и молча вопрошал себя: и это наш народ?

В Бернском университете (который размещался в том же здании, что и главное полицейское управление) я записался на отделение права. Признаюсь, к своему стыду: я не помню имен своих профессоров, кроме имени еврея Рейхсберга, да будет земля ему пухом, из уст которого я впервые услышал об учении Карла Маркса. Гораздо больше заинтересовала меня жизнь «русской колонии». Было в ней около трех сотен душ, в большинстве своем евреев и евреек, и я был самым молодым из них. Сначала я несколько выделялся, потому что решил быть вегетарианцем и не столовался в их общественной столовой. Но мои попытки самому готовить себе окончились неудачей: поныне помню я «какао» собственного производства — плотные коричневые комья, плавающие на поверхности молока, которое чаще всего перекипало и сбегало на пол, прежде чем я успевал снять кастрюли со спиртовки.

После двух недель такого режима, в продолжение которых я был голоден, словно целая волчья стая зимой, я отчаялся в своей вегетарианской вере и обратился в постоянного посетителя столовой колонии.

Я не стану описывать жизнь колонии, это уже делали неоднократно. Описано уже и то пьянящее и завораживающее впечатление от перехода из царства гробового молчания, каким была Россия сорок лет тому назад, к этому шумному бурлению. Все слова, запрещенные в России, превратились здесь в обыкновенные слова вроде «здравствуйте», «спасибо» или «пожалуйста». Революционная литература, о которой еще какой-нибудь месяц назад мы говорили только шепотом и намеками между собой в Одессе, здесь вся была в книжном шкафу, доступном каждому. Свобода — это свобода говорить и спорить, но не действовать. Мы жили под сенью Альп, а видели во сне Волгу. Мы уподоблялись шутихе, рассыпающей свои искры с невероятной скоростью, поскольку она вертится в воздухе, не связана ни с каким двигателем и ничто ее не сдерживает.

Дважды в неделю собирались сходки в колонии, на которых, как правило, велись споры между фракциями Ленина и Плеханова или между «эсдеками» и «эсерами» (люди моего поколения помнят, в чем заключалось различие между ними, остальным нет смысла и объяснять). Иногда устраивались «вечера», пели русские песни, но Житловский — не помню, учился ли он в Бернском университете или его на какое-то время занесло к нам, — требовал неизменно, чтобы пели также песни на идише. Однажды колонию посетил Нахман Сыркин и много говорил о слиянии сионизма и социализма. Он не нашел большого числа приверженцев, потому что среди нас было еще мало сионистов. Но мне хорошо запомнилась эта беседа, ибо я тоже выступил с речью, впервые в моей жизни, и при том с «сионистской» речью. Я говорил по-русски примерно так: не знаю, социалист ли я, ибо я еще не познакомился как следует с этим учением, но то, что я сионист, — несомненно. Ибо еврейский народ — очень скверный народ, соседи ненавидят его — и поделом, изгнание его ожидается, Варфоломеевская ночь, и его единственное спасение в безостаточном переселении в Палестину. Председатель собрания — молодой Лихтенштейн (годы спустя он стал почтен-

ным деятелем в Палестине и там умер несколько лет тому назад), перевел мою речь на немецкий язык с энергической лаконичностью: «Оратор не социалист, потому что он не знает, что такое социализм, но он законченный антисемит и советует нам укрыться в Палестину, иначе всех нас вырежут». Видно, впечатления от поездки через Галицию проникли в самую глубь моей души! После окончания собрания ко мне подошел Хаим Раппопорт (один из нынешних руководителей коммунистических лидеров во Франции) и сказал, улыбаясь во весь рот: «Я не предполагал, что в среде русской молодежи сохранился еще такой зоологический юдофоб!» «Но я не русский!» — воскликнул я. Он не хотел поверить мне.

В это же лето я начал свою литературно-сионистскую деятельность, избрав на сей раз более подходящую форму: в петербургском ежемесячном журнале «Восход» я напечатал стихотворение «Город мира». Боюсь, я позабыл, чему учил меня Равницкий и что слово «עיר» («город») начинается с буквы «ע», и думал в простоте душевной, что «ירושלים» следует переводить как «город мира». Теперь я, разумеется, знаю, что это противоречит и правописанию, и действительности.

Осенью я переехал учиться в Рим и оставался там три года подряд. Если есть у меня духовное отечество, то это Италия, а не Россия. В Риме не было никакой русской колонии. Со дня прибытия в Италию я ассимилировался среди итальянской молодежи и жил ее жизнью до самого отъезда. Все свои позиции по вопросам нации, государства и общества я выработал под итальянским влиянием. В Италии научился я любить архитектуру, скульптуру и живопись, а также литургическое пение, над которым в те времена потешались приверженцы Вагнера и теперь потешаются приверженцы Стравинского и Дебюсси. В университете моими учителями были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, и веру в справедливость социалистического строя, которую они вселили в мое сердце, я сохранил как «нечто само собой разумеющееся», пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России. Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джусти обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение. В театре уже сошли со

сцены Сальвини, Росси, Аделаида Ристори; Д' Аннунцио писал лучшие свои пьесы для Элеоноры Дузе, Эрмети Нобели возродил классическую трагедию от Шекспира до Альфиери, Эрмети Цакони предоставил права гражданства в душе южной публики горькому колдовству Ибсена, Толстого и Гауптмана; и место на деревянной скамье на галерке в театре стоило от 40 грошей до лиры, не считая четырех часов стояния в «хвосте» до открытия дверей. В большинстве музеев я чувствовал себя как дома; не осталось ни одного заброшенного уголка в переулках предместий Богго и по ту сторону Тибра, который не был бы знаком мне, и почти в каждом из этих предместий мне довелось снимать квартиру — здесь месяца, там два, потому что неизменно после опыта первой недели хозяйки, жены торговцев или чиновников, вечно на сносях, протестовали против непрерывной сутолоки в моей комнате, визитов, песен, звона бокалов, криков спора и перебранок и наконец всегда предлагали мне подыскать себе другое место, чтобы разбить там свой шатер.

Славной страной была Италия тех дней, на пороге XX столетия. Если бы от меня потребовали найти слово, которое передает в полной мере общую основу всех потоков политической мысли, взаимоборствовавших в итальянском обществе, я избрал бы тот устаревший термин, над которым уже тогда смеялись и который теперь стал сущей мерзостью и табу в глазах молодежи в Италии и во всем мире: «либерализм». Это понятие широкое, расплывчатое благодаря своей широте: мечта о порядке и справедливости без насилия, всечеловеческое видение, сотканное из сострадания, терпимости, веры в то, что человек по природе своей добр и справедлив. Тогда еще не ощущалось в воздухе ни малейшего намека на тот культ «дисциплины», который нашел свое выражение в фашизме. Если сохранились в моей памяти симптомы, предвещавшие уже тогда приближение какой-то перемены в умах, то еще не Муссолини предвещали они, а Маринетти, литературное и философское течение, присвоившее себе (а это тоже произошло не тогда, а несколько лет спустя) титул «футуризма», течение, историческое назначение которого, возможно, состояло в том, чтобы послужить прологом для движения Муссолини. Среди моих товарищей студентов я уже знал нескольких, которые с горечью и гневом протестовали против

иностранного туриста, упорствовавшего в своем восприятии Италии как «музея», хранилища остатков прошлого великолепия, относившегося к новому итальянцу как если бы он был лишь элементом пейзажа: элементом, радующим глаз, если это лаццарони, одетый в лохмотья и играющий на мандолине, элементом излишним и мешающим, если он пытается строить фабрики, которые портят впечатление от живописного вида древних руин. Из уст этих избранных я уже слышал: «Придет день, и мы пошлем ко всем чертям этих туристов. Новая жизнь, фабричные трубы — вот истинная Италия; может быть, лучше сжечь все картины от Боттичелли до Леонардо, разбить все скульптуры и на месте Колизея построить колбасную фабрику». Слово раннее эхо учения Маринетти слышится в этих идеях: аэропланы прекраснее трелей неаполитанского романса, будущее лучше прошлого; Италия — страна фабрик, страна машин и электричества, она никак не выпас для прогулок мирового безделья, которое ищет в ней эстетическую забаву; новый итальянец — любитель порядка, организатор, педант в ведении бухгалтерских книг, строитель и завоеватель, упорный и жестокий — таково было предвестье фашизма. Но в те дни даже Маринетти еще не знали. По долгу журналиста (я перешел в газету «Одесские новости», и она осталась моей постоянной газетой почти до самой мировой войны) и по внутренней склонности я всматривался с особой пристальностью в жизнь Монтечитторио, то есть здания, в котором помещалась палата депутатов Италии. Его лицо мало чем отличалось от лица большинства парламентов той наивной эпохи: «правое» правительство и «левая» оппозиция. Но как умеренны были и «правые» и «левые» по сравнению с сегодняшним экстремизмом с обеих сторон! Во главе «левых» стояла, разумеется, фракция социалистов, и к ней примыкал духовно и я, хотя ни разу ни в Италии, ни в России я формально не вступал в партию. Ее конечную цель — национализацию орудий производства — я считал тогда естественным и желательным последствием развития общества; я верил также в то, что «рабочий класс» — знаменосец всех неимущих, независимо от того, наемные ли они рабочие, лавочники или адвокаты без клиентуры. Еще не обозначилось со всей резкостью и точностью эгоистическое содержание «классового сознания», которое

только после победы Ленина в России раскрылось в полной мере. Антонио Лабриола, главный глашатай марксистской доктрины в Италии, проповедовал ее не только с университетской кафедры: ежевечерне встречался он со своими студентами в кафе «Эранио» на улице Корсо (теперь она называется Корсо Умберто). Я тоже был в числе этих студентов. Он беседовал с нами о событиях в Италии и за границей, о Трансваальской войне, о «боксерском» восстании в Китае, о прошлом и о будущем. Он относился к нам как наставник и советчик: однажды он велел мне сопровождать его ночью и по дороге выговаривал за то, что за день до этого видел меня в компании нескольких юношей, подозреваемых в склонности к анархизму.

Энрико Ферри я лично не знал, но он оказал еще большее влияние на мой ум, чем Лабриола. Официально его курс в университете назывался «Уголовное право», то есть был посвящен учению о преступлении и наказании, но его лекции отличались поистине энциклопедической широтой, охватывая ближнее и дальнее, явное и тайное, общество, душу, наследственное право, материю и дух, переустройство общества, литературу, искусство и музыку. Также благодаря своему ораторскому искусству он властвовал над нами: он считался, если я не заблуждаюсь, одним из десяти лучших ораторов в Европе своего поколения, собратом Жореса по гениальности в этой области, — но Жореса мне не довелось слышать.

И странное дело: не было проблемы, которой мы не занимались бы в кружке Лабриолы или в своем студенческом кругу — от положения негров в Америке до поэзии декадентов, кроме единственного вопроса, которого мы никогда не касались — еврейского вопроса. Помню, однажды вечером, в ходе спора о тех же декадентах, Лабриола подверг резкой критике книгу Макса Нордау «Вырождение» и припомнил при случае несколько других грехов автора, но и на сей раз обошел молчанием его самый большой грех — сионизм. Не умышленно — забыл, и все мы забыли, забыл и я. Не было тогда в Италии не только **антисемитизма**, но и вообще не было никакого выработанного **отношения** к евреям, как не было установившегося **отношения** к бородачам. Впоследствии (по прошествии многих лет) я узнал, что в числе наиболее близких мне членов

этого кружка было два или три еврея; тогда, однако, в годы моего учения в Риме, мне не пришло на ум спросить их, кто они, так же как они не спросили меня об этом.

Возможно, я допустил неточность, когда сказал: «Забыл и я». Возвращаясь всякий раз из Одессы в Рим после каникул, я еще трижды проезжал не только Галицию, но и часть прежней Венгрии между Мункачем и Кашау (теперь их называют Мукачево и Кошице в Чехословакии) — области с плотным еврейским населением, и то же впечатление, что вызывало у меня тогда чтение истории итальянского Возрождения, возникло в моей душе, скорее неосознанное, подспудное, но, быть может, и более сильное. Не забыл, возможно, уже тогда дал я обет в душе, что после лет учения отдамся сионистской работе, ведь я подмечал все то, что относилось к идее еврейского государства. Но этот «обет» был пассивным обетом: я не думал о нем, не интересовался даже конгрессами, которые собирались из года в год в Базеле, и после единственного «туристского» посещения римского гетто (и это тоже только благодаря историческому палаццо семейства Беатриче Ченчи) больше не посещал его. Признаюсь со стыдом в еще большем преступлении: как-то раз, находясь в веселой компании девушек и юношей, в ходе их беседы (полупочтительной, полунасмешливой) об обычаях католической церкви одна из девушек, сидевшая возле меня, спросила: «А вы, господин, православный?» Я ответил утвердительно. Не знаю сам, почему я так ответил: нет сомнения, что я не упал бы в их глазах ни на волос, если бы сказал правду, — но, возможно, я опасался, что потеряю в их мнении, если признаюсь перед этими свободными людьми в том, что я раб.

...Однако все это лишь одна сторона моих римских воспоминаний, и не самая существенная. Главным в этот мой римский период была **жизнь**, жизнь молодого, здорового и легкомысленного существа, живущего, как и все остальные итальянцы вокруг. Я настолько ассимилировался в этой среде, что не выделялся из нее. Это был единственный период во всей моей жизни, когда я действительно жил в другом народе, одной жизнью с гражданами этой страны. С русскими в России я почти совсем не «жил». А теперь, вот уже более десяти лет я обитаю в Париже среди эмигрантов — словно оказался на заброшенном острове в обществе спасшихся

после кораблекрушения, как будто кроме нас никого здесь нет, так что мало-помалу я забываю французский язык... Итальянский по сей день для меня мой язык, возможно, даже в большей степени, чем русский, хоть я теперь и запинаясь и подыскиваю забытые слова в разговоре. Тогда, в дни моей молодости, я говорил по-итальянски, как итальянец, жители Рима принимали меня за уроженца Милана, а сицилианцы за римлянина, но не за чужеземца. Между моими и их мыслями, реакциями, выражениями радости и гнева и повседневными привычками не было никакого различия. Нет недостатка в людях, которые назовут такой образ жизни пустой тратой времени и сил, но я не сожалею. Действительно ли «промотал» свою молодость тот, кто умел и выпить и погулять, познал легкие суетные удовольствия и сумасбродства, отдал молодости то, что ей причиталось, и только пройдя этот коридор, ступил на порог зрелости со всеми ее заботами? Я видел жизнь русской колонии в Берне, видел впоследствии жизнь своего поколения в России, которая готовилась к трем революциям, и читал слова Бялика, приговор и горестный, и уничтожающий: «Душу мою сжег ее собственный пламень». Души своей я не сжег, во всяком случае, даже если я и обжигался иногда, то это был не внутренний сухой огонь, но огонь действительности, ожог от контакта с людьми и вещами вне меня самого. Так лучше, и я не раскаиваюсь.

Я повествовал о фрагментах из этой жизни (разумеется, сильно приукрашивая их) на страницах «Новостей». Когда не было другой темы или цензор решал «зарезать» мою статью, я писал «Итальянский рассказ». Большинство этих рассказов невозможно спасти от могилы, да и не имеет смысла — для читателя; но я, если речь идет обо мне, быть может, получил бы все-таки удовольствие от беглого обозрения глав моей юношеской глупости. Не изобразил ли я в них коммуны, которую мы основали с компанией таких же сумасбродов, как я сам? Не рассказал ли я о деле Пренады, невесты моего друга Уго, которую мы выкупили из публичного дома и вывели оттуда в торжественной процессии с мандолинами и факелами? А спор, который вспыхнул между мною и Уго, тем самым другом моим Уго, и как я послал двух «секундантов», чтобы вызвать его на дуэль от моего имени, и как уже было назначено утро для нашей встречи на вилле Борджиа, и куп-

лены пистолеты, и особый совет наших товарищей-студентов провел несколько ночей за «Рыцарским кодексом» (Il Codice Cavalleresco), пока они не отыскиали в нем параграф, согласно которому не было основания для поединка в таком случае (а вот в чем заключался сам случай, я уже забыл)? Или появление мое в официальном качестве свата, в черном фраке и желтых перчатках, когда я уселся перед синьорой Эмилией, прачкой и женой извозчика, и от имени своего товарища Гофридо просил «руки» ее старшей дочери Дианы?

Я много писал. Дважды в неделю мои письма печатались в «Новостях» под псевдонимом «Альталена» (признаться, я избрал этот псевдоним по смехотворной случайности: тогда я еще не слишком хорошо знал итальянский и полагал, что это слово переводится как «рычаг», лишь впоследствии я выяснил, что оно означает «качели»). Некоторое время спустя мои статьи стали печататься в петербургском «Северном курьере», либеральной газете, издаваемой князем Баратинским; некоторые вещи я печатал по-итальянски в социалистическом «Аванти», а одну довольно большую статью опубликовал в римском ежемесячнике, название которого не помню, — о «литературе настроения» в России, о Чехове и его направлении, я и Горького причислил к этому разряду. В то время мы знали Горького только по коротким рассказам, казавшимся отголоском учения Ницше, которое облекалось в русское одеяние. Он прославлял людей воли и действия, казнил презрением рабов «рефлексии», выколачивавших и глушивших всякое смелое начинание. Читателям ежемесячника я представил Чехова и Горького в виде двух противоположных концов одной и той же логической цепи: один выражал уныние, тоску, жажду перемен, и да здравствует перемена, строить или разрушать — все равно; а другой отвечал: отдайтесь на произвол судьбы, живите в полную силу, и будь что будет! Я упоминаю о содержании этой статьи здесь потому, что впоследствии нашел эти противоположные концы одной цепи и в поэзии Бялика: первую — в «Далекой звезде», вторую — в «Мертвецах пустыни».

Весной 1899 года я поехал в Одессу держать экзамен на аттестат зрелости со своими однокашниками, но провалился по очень важному предмету — по древнегреческому языку. Я вернулся в Рим и продолжил свои занятия там — вне университета больше, чем в нем. Летом 1901 года я снова

приехал в Одессу, намереваясь затем вернуться в Италию и закончить курс обучения на юридическом факультете. К своему великому удивлению, однако, я обнаружил, что за это время я «приобрел имя» как писатель, и господин Хейфец, редактор «Новостей», предложил мне писать ежедневный фельетон с немалым месячным окладом в 120 рублей. Я не устоял перед этим искушением, отказался от диплома, от карьеры адвоката и от любимой Италии и остался в Одессе, начав новую главу в истории моей молодости.

ЖУРНАЛИСТ

Эта новая глава длилась два года, и она — последний этап на моем пути к сионистской деятельности.

Я застал другую Россию. Вместо «уныния и тоски» — нервическое беспокойство, всеобщее ожидание чего-то, весеннее настроение. За время моего пребывания за границей произошли важные события: революционные партии вышли из подполья, убили пару министров, там и сям вспыхивали волнения среди рабочих и крестьян, все студенчество было охвачено брожением. Нелегко объяснить молодому читателю общественную и политическую функцию, которую выполнял университет в эти дни. Назначение этого учреждения в качестве школы было совершенно забыто: университет превратился в фронт борьбы за освобождение. Если бы нас спросили: «Кто всанет во главе тогда, когда придет день?» — мы бы ответили в один голос: «Конечно, совет выборных студентов». Так оно в Одессе и было: когда разразилась первая русская революция 1905 года, рабочие-электрики обратились к студенческому совету и потребовали, чтобы тот дал приказ: тушить фонари на улице или нет?

В правительственных кругах уже замечались признаки смятения. Ослабла узда: вопреки предварительной цензуре (всякая строка без исключения, даже хроника и объявления, подлежали цензурной проверке перед печатаньем), в каждой газете появлялись крамольные статьи; опасные слова «конституция» и «социализм» произносились вслух на публичных лекциях. Я застал в Одессе «Литературно-художественный

клуб»: раз в неделю, по четвергам, мы собирались, чтобы обсудить новую книгу или пьесу, которую ставил в те дни городской театр, но во всех речах и докладах звучали намеки на «освобождение», и в спорах по поводу «Потонувшего колокола» Гауптмана сталкивались (каким образом — не знаю) принципы Маркса и «Народной воли». Всеволод Лебединцев, тот самый мой русский друг, которого я упоминал на первых страницах, делил свое время и энтузиазм между тремя устремлениями: он изучал астрономию в университете; проводил свои вечера в итальянской опере и ухаживал за молодой певицей Армандой Делли-Абатти; а сверх того был активным членом партии эсеров. На мой вопрос, как все это совмещается в одной душе, он ответил: «Как ты не понимаешь, что все это одно и то же». Теперь мне этого не понять, но тогда это было мне понятно.

В таком же ключе писал и я сам. Несколько лет тому назад я случайно наткнулся на отрывки из статей тогдашнего «Альталены». Чепуха и болтовня, по моему отстоявшемуся и установившемуся мнению, теперешнему мнению. Но тогда, как видно, в этой болтовне таился некий глубинный намек, связывавший ее с основным вопросом эпохи. В этом меня убеждало не столько возрастание числа адептов и почитателей, сколько — и, быть может, даже в большей степени — гнев врагов. Враги объявились у меня с самого начала моей деятельности в качестве фельетониста, и не только из лагеря консерваторов, напротив, из таких же прогрессистов, как я сам, и к тому же из наших братьев, сынов Израиля. Такие люди были и в редакции «Новостей», и несчастный редактор Хейфец немало претерпел из-за моей статьи «Скрывают тенденцию газеты». С той же ненавистью я столкнулся и в Литературном клубе. Меня пригласили прочесть доклад, и я избрал тему: «Судьба литературной критики». Я попытался доказать, что эта профессия — профессия прославленная и важная в истории русской словесности, целью которой всегда было обнаружение **идеи** или **направления**, которые скрываются за художественным образом, уже выполнила свое назначение и отжила свой век, ибо «есть периоды мысли и есть периоды действия, и наш век — век действия». К моему вящему удивлению, мой доклад был принят с гневом со всех сторон, оратор за оратором поносил и бранил меня,

и когда, наконец, подошла моя очередь выступить с ответным словом, председатель, человек спокойный и вежливый, один из уважаемых членов греческой общины, объявил, что не предоставит мне слова, ибо «аплодисменты, раздавшиеся после последних речей, служат удовлетворительным завершением этого диспута». Я не думаю, что в этом проявилась некая смутная склонность к антисемитизму: еврейские докладчики в большом числе выступали с той же кафедры, и ко всем к ним публика относилась с любовью или равнодушием; среди моих хулителей были и евреи, и христиане, и единственный, кто защищал меня, был как раз христианин. Не антисемитизм, а другая причина, причина, которая была связана, как видно, со мной, — некое особое качество или свойство, вызывавшее раздражение. После этого первого опыта я несколько раз убеждался в одном: то, что прощалось другому, не прощалось мне. Даже от друга я слышал: «Ты обостряешь противоречия». Возможно, в продолжение этого рассказа мне еще представится случай указать на эту неудобную особенность, которая часто запутывала и затрудняла мою общественную деятельность. И все же я наслаждался жизнью в эти годы. Ощущение «популярности», от которой теперь я хотел бы бежать на край света, сладостно и приятно юноше в двадцать один год. **Журналист** — это было важное звание в русской провинции тех лет. Приятно пройти (бесплатно) в городской театр, один из лучших в стране, и приятно, что капельдинер, одетый в ливрею эпохи Мари-Антуанетты, кланяется тебе и провожает к креслу в пятом ряду, в начале которого прибита табличка с гравированной надписью: «г-н Альгалена». Редактор Хейфец умел подбирать способных молодых людей: под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, автор рассказов о жизни босняков в одесском порту и голытьбы из нищих предместьев, и Корней Чуковский, который ныне считается крупнейшим писателем красной России. Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но поверьте мне, они пели нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан на землю, ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранить спокойствие духа, а я в знак равнодушия

выпячивал свою нижнюю губу, хотя и знал, что в этом не было надобности — она и без того была достаточно выпяченной от природы...

Этой осенью 1901 года городской театр поставил мою первую пьесу «Кровь». Кто поверит теперь, что в дни своей молодости я сочинил пацифистскую пьесу, против войн вообще и против Англии в частности? Я писал ее еще в Риме: тему, связанную с бурской войной, я взял из рукописи одного из своих друзей (он — Гофридо в моем рассказе «Диана»), но изменил сюжет, ввел новые лица и т. д. и т. п.: три действия в стихах! Звезды нашей городской труппы с Анной Пасхаловой во главе играли в пьесе, но театр был пуст: может быть, пришли три сотни человек, может быть, меньше, и половина из них были мои приятели или знакомые. Они аплодировали, разумеется, и вызывали меня на сцену в конце спектакля. Я вышел кланяться, в черном и длинном рединготе, который я заказал специально к этому дню, наткнулся на подъемный канат и несомненно упал бы навзничь, если бы меня не удержала за руку госпожа Пасхалова. Я не спал всю ночь, встал, едва занялась заря, и побежал купить газеты, все газеты, даже «Полицейские ведомости», и проглотил рецензии, и они не отравили моей радости. Но только дважды, не больше, играли мою пьесу в Одессе... Год спустя, на той же сцене поставили мою вторую пьесу, тоже в стихах, но в одном действии, и в ней тоже играла Пасхалова (мы стали с ней друзьями, после того как она спасла меня от позора перед занавесом). На сей раз рецензенты не сжалились надо мной и приготовили, словно заранее сговорившись друг с другом, одни и те же остроты по поводу названия пьесы «Ладно». Они писали: «Неладно», «Нескладно».

Хотя я не помню, — и слава Богу, что не помню, — о чем я писал изо дня в день все эти два года, я уверен, что мои статьи не обнаруживали никакой постоянной политической линии. Учение Лабриолы и Ферри? Я не отрекся от него в глубине души, но просто не прибежал к нему и не интересовался им. Может быть, только одну идею я подчеркивал и на страницах газет, и в своих выступлениях с трибуны «Литературного клуба» (ибо, несмотря на обиду, я не прекратил посещать его): идею «индивидуализма», той «панбасилеи», о которой я уже упоминал несколькими страницами ранее и на которой,

если бы Творец благословил меня достаточным умом и знанием, чтобы формулировать новую философскую систему, я основал бы и построил все свое учение: в начале сотворил Господь Индивидуума; каждый индивидуум — царь, равный своему ближнему; ближний твой — в свою очередь — тоже «царь», и уж лучше пусть личность прегрешит против общества, чем общество против личности; ради блага индивидуумов создано общество, а не наоборот; и грядущий конец истории, пришествие Мессии — это рай индивидуумов, царство сияющей анархии, игра взаимоборствующих человеческих сил, не стесненных законом и границами, и у общества нет иного назначения, кроме как помочь павшему, утешить его, поднять его и дать ему возможность снова вернуться к этой игре борений. Если вслед за этими томами, первый из которых ныне предлагается еврейскому читателю, появятся мои стихи «Нозла» и «Шафлох» в прекрасном переводе Райхмана и они поразят читателя своим полным отрицанием обязанностей личности в отношении нации и общества, — то должен признаться, что такова моя вера по сей день.

Мне могут указать на противоречие между таким взглядом на вещи и содержанием моей национальной пропаганды: один из моих друзей, который читал эту рукопись, напомнил мне, что слышал от меня и другой припев: «В начале сотворил Бог нацию». Здесь нет противоречия. Разве второй куплет не сформулирован против тех, кто утверждает, что «в начале» сотворено «человечество»: я верю всем своим существом, что в состязании между понятиями **нация** стоит впереди **человечества**, так же как индивидуум стоит перед нацией. И если подчинит некий индивидуум всю свою жизнь служению нации, то и это не противоречие в моих глазах: такова его воля, а не долг. В небольшой пьесе «Ладно», которая была поставлена на одесской сцене в 1901 году, я посвятил длинный монолог этой идее. Быть может, и его г-н Райхман переведет, и он появится в одном из следующих томов тоже. Но вот вкратце его содержание: ты рожден свободным, свободным от долга по отношению к высокому и к низменному; не приноси жертв, ибо не из семени жертвы произрастет благословенный плод. Воле своей воздвигни алтарь, воля — твой единственный водитель, куда она поведет тебя — туда иди, куда бы ни вел твой

путь, на небеса или в преисподнюю, и чем бы ни оказался: подвигом или грехом, празднеством или мытарством, или даже бременем служения народу: ибо и это бремя возложил ты на себя не как покорный раб, по приказу, а как свободный человек и как властитель, который осуществляет свою волю. Кто знает, хоть я и состарился и уже не жду перемен в беге своей жизни, но, возможно, еще до конца повести моей жизни мне выпадет вписать в нее также главу, которая выпятит и воплотит эту мою главную веру.

Большинство читателей «Новостей» читали охотно мои статьи, но ни один из них не относился серьезно к ним и к их тенденции, и я знал это. Однажды — и это была, кажется, единственная из всех статей этого периода, которую стоило бы спасти от погребения, — я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому «клоунами». Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, **анонима** в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы **клоуны** в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: «Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту». Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?

К моему сионизму тоже относились как к чему-то несерьезному. Действительно, я не присоединился тогда еще ни к одной организации, не знал никого из сионистов в городе, но несколько раз посвятил один или два абзаца этой теме. В почетном петербургском ежемесячнике появилась статья некоего Бикермана, написанная в стиле, который величали в то время «научным». Он разносил сионизм в пух и прах, доказывал, что еврейскому народу выпала счастливая и завидная судьба. Я написал пространный ответ, с аргументами, к которым и ныне мне нечего прибавить; на другой день я встретился с одним из своих знакомых, Равницким, тоже несомненным почитателем Сиона. Он сказал мне: «Что это за новую забаву вы нашли себе?»

Жил я дома у мамы с сестрой. У них произошли большие перемены за время моего пребывания в Италии: сестра вышла замуж за врача, уроженца Александровска-на-Днепре. Это река и город отца. Я побывал там. Половина его жителей еще помнила «Иону», маму приняли как вдовствующую царицу, и вечерами за чайным столиком на веранде нам рассказывали легенды о подвигах отца, о былом величии Днепра и об украинской торговле зерном. Полтора года спустя — я был тогда в Риме — умер зять, и в доме остались две вдовы и четырехмесячный младенец (теперь он инженер электрической компании в Хайфе). Сестра совладала с горем, открыла женскую школу и начала развивать ее мало-помалу в гимназию. Всегда в их квартирах была комната, которую они называли «моей», и при каждом моем возвращении в Одессу требовалось только постелить простыни на мою кровать.

Однажды посреди ночи — это было в начале 1902 года — сестра разбудила меня и прошептала «полиция». Вошел офицер в голубом жандармском мундире. В течение часа он рылся в моих книгах и бумагах, нашел какую-то «запрещенную» брошюру и пачку моих статей, которые напечатали в итальянской газете, издававшейся в Милане, и предложил следовать за ним: «Я получил приказ доставить вас в Крепость». Я поцеловал маму и сестру. Они не плакали и не жаловались, мама только сказала мне тихо: «Да благословит тебя Господь», и мы уехали. Крепость находится далеко за городом, за горой Чумкой, позади христианского и еврейского кладбищ. Дорогу я скоротал за любезной беседой с околоточным надзирателем, и он сказал мне: «Читал я, сударь, ваши статьи; весьма недурственно».

Одесская крепостная тюрьма помещается в великолепном здании. Мне, слава Богу, есть с чем сравнить ее, и ни разу не была посрамлена моя патриотическая гордость. Она построена крест-накрест, в четыре этажа, внутренние перекрытия все из цемента и железа. Тогда еще не было в ней электрического освещения, и в камере, куда меня поместили, я нашел маленькую газовую горелку. Я лег и уснул как мертвый. Утром меня разбудили крики со всех сторон, то есть крики действительно раздавались со всех сторон, но разбудил меня один и тот же монотонный речитатив, ко-

торый повторялся без перерыва и без остановки: «Новый сосед — номер 52 — подойдите к окну — не бойтесь — мы все друзья — все политические. Новый сосед — номер 52...» Не сразу я понял, к кому обращается кричащий, но в конце концов вспомнил, что на двери моей камеры я видел номер 52. Окно было высоко, но, подставив стул, я взобрался на широкий подоконник и представился соседям через железную решетку. Мне дали кличку «Лавров», по имени одного из основоположников русского социалистического движения. «Желябовым» прозвали предыдущего обитателя моей камеры, который был уже в Сибири, и по традиции я должен был унаследовать это имя, но я отказался от этой опасной чести (настоящий Желябов был одним из убийц императора Александра II). Я узнал также клички своих соседей: «Гэд», «Мирабо», «Гарибальди», «Лабори» (в честь адвоката Дрейфуса), моего верхнего соседа прозвали «Саламандра», нижнего «Селезень», а один парень с верхнего этажа был «Господом Богом». Через сутки я уже знал наперечет истории большинства заключенных и их общественные обязанности в тюрьме. Половину из них посадили месяцем раньше за демонстрацию с красным флагом на Дерибасовской: «Гарибальди», столяр с Молдаванки, не зная и был смертельно избит во дворе полиции, о чем он рассказывал с очень веселым смехом. Некоторые были ветеранами движения, в частности «Мирабо», душа общества, неизменный председатель всех «собраний», верховный арбитр в спорах и высший духовный судья, выносивший решение по любому спорному вопросу марксистского учения, — это был Абрам Гинзбург, инженер из Литвы; года два тому назад его имя попало мне на глаза в газетах красной России — ему был вынесен очень суровый приговор за «вредительство» на одном из процессов, характерных для советского режима. Горе государству пролетариата, если такие люди у него во «вредителях»: был он достойный человек в полном смысле слова, образованный марксист, революционер без страха и упрека, прирожденный вождь. Лица его я не видел ни разу, но изо дня в день, семь недель подряд, я слышал его голос, когда он вел, расположившись на подоконнике, наше самоуправление, спокойно и корректно, тактично и уверенно.

Я написал — председатель всех «собраний», и поистине, такой свободы слова мы не знали даже в Литературном клубе. Каждый вечер, когда стихал шум в крыле воров, которое было в другой стороне корпуса «крепости» (ибо эти простодушные люди засыпали с закатом солнца), мы проводили лекции с дискуссиями. «Мирабо» читал лекцию о великой французской революции, другой ветеран по прозвищу «Зейде» («дедушка» на идише) излагал нам историю Бунда; меня тоже пригласили прочесть лекции по вопросам моей профессии — о декадентах, о возрождении Италии (из уважения к «Гарибальди») и, разумеется, об «индивидуализме» (эту лекцию меня, однако, не попросили повторить). Для рабочих, попавших в это общество, тюрьма превратилась в школу революции. Проводились и демонстрации: Первого мая. Те, у кого были деньги, покупали в тюремном ларьке какой-то особый сорт табака. Табак был форменная отравка, но продавался он в красных бумажных пачках. Красную оберточную бумагу распределяли между всеми обитателями политического отделения. Вечером мы залепливали ею стекла наших ламп, а лампы выставляли в окнах; и гуляющие, которые ехали конкой к «Фонтану» или к «Аркадии», видели издалека красное освещение и аплодировали; возможно, они не аплодировали, возможно, также ничего не видели, ибо первого мая еще нет дачников. Но если уж выбирать между «действительностью» и легендой, то лучше верить в легенду.

Меня вызвали на допрос: в канцелярии тюрьмы я застал жандармского генерала и помощника гражданского прокурора, молодого человека, которого я несколько раз видел в Литературном клубе. Я спросил: «Запрещенная книга, которую вы нашли у меня, — это памятная записка министра Витте «Земство и самодержавие». Что в ней преступного?»

Мне ответили, что книга печаталась в Женеве. Это было очень скверно. Но в ней имелось также предисловие на четырех страницах, написанное Плехановым, и это было еще хуже. Помимо того, у меня нашли итальянские статьи, и они-то были подписаны моим именем.

— Разве запрещается печатать статьи в Милане?

— Разрешается, более того — разрешается писать в них что угодно, если они не содержат ложных сведений, поро-

чащих государство. Поэтому-то мы послали ваши статьи, сударь, официальному переводчику, который определит, не опорочили ли вы наше государство...

Семь недель провел я в этой тюрьме, и это одно из самых приятных и дорогих мне воспоминаний. Я полюбил своих соседей, хотя и не видел их лиц. Я поднаторел в «телефоне». Веревку с грузом на конце вращают за решеткой и в определенный момент отпускают, чтобы она полетела в сторону соседа, чья камера справа, слева или вверху и который должен поймать ее. Таким способом можно передать ему книгу, записку или красную бумагу. (В воровском отделении это устройство называлось «леха доди», ибо усилилось еврейское национальное влияние на этот особый народ и на его *lingua franca*.) Полюбил я и воров, особенно юношу, который приносил мне борщ и мясо со словами: шампанское! И даже начальника тюрьмы я полюбил, жандармов и стражников: они были вежливы и очень предупредительны с нами, то ли благодаря приказу свыше, то ли вследствие сложного положения в стране, ибо кто знает, не бросят ли их завтра в тюрьму и не наденет ли этот самый «Мирабо» голубой мундир?

Но через несколько месяцев после моего освобождения этой идиллии пришел конец. Однажды ночью стражники напали на моих друзей, избивая их кулаками и дубинками, а начальник «крепости» был уволен от службы без пенсии. Он встретил меня однажды на улице и спросил, не найду ли я ему другой должности.

Я вышел на свободу, потому что официальный переводчик не нашел в моих статьях «посягательств на достоинство государства», но тяжелого преступления — брошюры министра Витте — с меня не сняли и мне запретили выезд из Одессы до суда. Я и не выезжал, кроме одного раза: в октябре того же года подошла моя очередь явиться для отбывания воинской повинности в Никополь, город, где родился мой отец. Прибыл туда я ночью, а уже на заре пришли жандармы, чтобы посмотреть, что в чемодане у одесского революционера. На призывном пункте я набрал очень большое число очков (ибо отбирали новобранцев по жребию) и вернулся домой счастливый и в полной уверенности, что до скончания своего века я не надену солдатской шинели.

Начало моей сионистской деятельности связано с двумя явлениями: с итальянской оперой и с идеей самообороны.

Всегда у нас в Одессе в зимний сезон гостила итальянская опера. В ту зиму царила Арманда Делли-Абатти, подруга моего приятеля Лебединцева, и он пропадал в театре каждый вечер. Однажды во время антракта я встретил его в буфете в обществе эlegantного господина с черными усиками и западными манерами, которого я и прежде видел несколько раз, всегда на одном и том же месте, во втором ряду партера. Лебединцев представил нас друг другу: господин оказался специальным корреспондентом миланской газеты по вопросам музыки и пения.

Впоследствии я встретился с ним в доме госпожи Делли-Абатти. Там мы говорили по-французски и, выйдя на улицу с ним, я продолжал беседовать на том же языке.

— Мы можем говорить по-русски, — сказал он мне, — я такой же одессит, как и вы, хотя и родился в Литве.

Я и прежде знал, что он еврей — «синьор Зальцман». Уяснив это обстоятельство, я представляю теперь его по имени: Соломон Давидович. Он не утаил, что сотрудничество с итальянской газетой для него всего лишь хобби, а главное его занятие — торговля, как и у всех евреев, и он поведал мне, что он — сионист.

Мы встретились еще несколько раз в театре, он показал мне свои статьи в итальянской газете, но ни о чем другом не говорили.

Между тем приближались дни Пасхи, Пасхи 1903 года. От некоторых знакомых я слышал странные тревожные речи, что в городе и во всей округе, во всей губернии витает опасность еврейских погромов: ничего подобного не происходило более двадцати лет. Один утверждал, что слухи — пустая болтовня и вздор, полиция не допустит; другой шептал, что полиция как раз и собирается организовать погром, третий советовал направить делегацию уважаемых еврейских граждан для переговоров с городским головой. Странные вещи, непривычные нам.

Я засел за стол и написал десяток писем десятку еврейских деятелей, большую часть которых я не знал. Я предлагал наладить самооборону.

Я не получил ответа, но прошла неделя, и ко мне заглянул друг детства, студент, у которого были контакты со всеми «движениями». Он сказал мне:

— Имярек показал мне твое письмо, совершенно конфиденциально, разумеется. Зачем было писать? Прежде всего, именно те, к кому ты обратился, не осмелятся и не сдвинутся с места. И, во-вторых, и это главное, — здесь уже есть группа самообороны, пойдем и увидишь.

Мы поехали на Молдаванку, и там в просторной и пустой комнате, похожей на торговую контору, я увидел нескольких молодых людей, одним из них был Исраэль Тривус, мой друг с того дня и в отдаленном будущем также мой коллега по правлению движения ревизионистов. Имена других я запомнил, а жаль — это была, насколько мне известно, первая попытка организовать еврейскую самооборону в России. Еще до того как разразился погром в Кишиневе, мы поработали на славу: собрали деньги, до 500 рублей, если мне не изменяет память, — огромная сумма в наших глазах; Ройхвергер, владелец оружейного магазина, подарил нам двадцать револьверов, а остальные продал по дешевке, большей частью «в кредит», без надежды на оплату. Оружейный склад был в той же конторе: револьверы, ломы, кухонные ножи, ножи для убоя скота. В конторе круглосуточно дежурили двое; юноша за юношей, каждый с «запиской», с подписью одного из членов «комитета», приходят и получают то, что им причитается. Во второй комнате конторы мы поместили гектограф и на нем размножали листовки на русском языке и на идише; их содержание было очень простым: две статьи из уголовного кодекса, в которых написано ясно, что убивший в целях самообороны освобождается от наказания, и несколько слов ободрения к еврейской молодежи, чтобы она не давала резать евреев, как скот.

Вначале я удивлялся долготерпению полиции. Невозможно, чтобы она не обратила внимания на наши действия. После непродолжительного расследования эта тайна раскрылась мне, когда мне представили владельца этой конторы и объяснили — шепотом и за его спиной — его специальную функцию. Это был молчаливый и вежливый молодой человек с шелковистой бородкой, и сам он как бы символизировал разновидность, известную под именем «шелковый молодой человек».

Имя его уже пользовалось известностью в левых кругах, и дурной известностью: Генрик Шаевич. Я, однако, еще не слышал его имени и не знал всего того, что было связано с ним. Теперь мне рассказали, что Шаевич — посланец и агент известного петербургского жандарма, офицера Зубатова, автора нового метода воздействия на рабочее движение. В соответствии с законом и традицией, забастовки рабочих считались в России государственным преступлением. Зубатов сказал: «Почему? Разве таким путем вы не делаете рабочих врагами государства? Напротив: экономическую забастовку мы разрешим и позволим, и даже организацию рабочих не распустим, но лишь с тем условием, что они не будут вмешиваться в вопросы политики». Начальство согласилось с ним. Он подыскал посланцев — в большинстве своем, видимо, наивных людей, действительно уверовавших, что эта система в будущем облегчит положение рабочих, — и они уже начали свою пропаганду в Петербурге, Москве, Вильне, Минске, Сормове и на донецких шахтах. Самым значительным из этих посланцев был Гапон. Он был священником и создал сильное движение в Петербурге. А Генрика Шаевича послали в Одессу. Не думаю, что в числе заданий, которые поручил ему Зубатов, значилась еврейская самооборона, и нет сомнения, что, занимаясь этим, Шаевич рисковал своим официальным положением. Но местное начальство боялось задеть агента Зубатова; возможно, они писали докладные записки в Петербург и не получали ответа. Мне безразлично, был ли этот Шаевич честным и заблуждающимся человеком или шпионил и предавал сознательно: на мой взгляд, с того дня, когда он предоставил нам такое надежное убежище, чтобы вооружить евреев, он искупил все свои грехи...

Пришла наша Пасха, пришла и христианская Пасха, а с ней и погром, — но не у нас в Одессе, а в Кишиневе.

Странное дело: я не помню впечатления, которое произвело на меня это событие, исходная точка целой эпохи нашей жизни в качестве народа; возможно, вообще никакого впечатления оно не произвело на меня. Сионистом я стал еще до того, до того я уже думал об обороне, как и о еврейской трусости, которая проявилась в Кишиневе; никакого «открытия» мы не сделали, ни я, ни один еврей и ни один христианин. Меня никогда не оставляет чувство: из событий нам нечему учиться, в них нет никакой неожиданности для меня, слов-

но я и прежде знал, что так оно будет и да будет так... Редакцию «Новостей» наводнил поток пожертвований в пользу пострадавших от Кишиневского погрома: деньги, одежда — и мне направляли их, чтобы распределять в городе бедствия. Я навестил места резни, говорил с очевидцами, в больнице видел еврея, помнится, ремесленника, которому за несколько лет до того кто-то случайно выколол левый глаз; с тех пор он жил в одном из предместий среди христиан, занимался своим ремеслом, любил беседовать и играть с соседями, и в тот же день пришли эти соседи и вырвали у него и правый глаз.

Там впервые познакомился я с деятелями русского сионизма. Коган-Бернштейн был кишиневским жителем, Усышкин приехал туда из Екатеринослава, Зеэв Темкин из Елисаветграда, Сапир из Одессы. Я увидел там и Бялика, и мне сказали, кто он, — к своему великому стыду, я этого не знал прежде.

Когда я вернулся в Одессу, ко мне пришел тот самый си-
ньюр Зальцман и сказал:

— Пришел я к вам от имени своей сионистской организации, она называется «Эрец-Исраэль». Мы решили предложить вам отправиться на сионистский конгресс в качестве нашего делегата.

— Но ведь я совершенный профан во всех вопросах движения.

— Научитесь.

Я согласился. Пригласили меня на заседание союза «домовладельцев», людей среднего и пожилого возраста, — я не нашел ни одной молодой физиономии во всем обществе, помимо самого Зальцмана. Они просили меня, как это водится, предложить свою программу. Да простит мне Всемилостивейший Господь всю чушь, что я нагородил перед ними; как видно, не было границ милосердию членов этой организации, и они не прогнали меня. Напротив, они обращались ко мне с вопросами, и один из этих вопросов я еще помню: как я отношусь к программе Эль-Ариша, за нее или против нее я буду голосовать, если попаду на конгресс? (Зальцман успел объяснить мне за несколько дней до собрания, что нам предлагают заселить эту область в Египте, которая граничит с Палестиной, и что туда послана делегация сионистов обследовать эти места). Помню я и свой ответ, который был чистым экспромптом:

— Мое голосование будет зависеть от отношения массы, которая соберется на конгрессе. Если я увижу, что от этого нет опасности раскола в сионистской организации, поддерживаю эту программу. Если же я увижу, что этот вопрос раздробит движение как знак того, что нет сионизма вне Сиона, — тогда я проголосую против Эль-Ариша.

Меня выбрали, и я отправился в Базель на шестой конгресс, и с этого началась новая глава в моей жизни.

КОНГРЕСС

О моих похождениях на конгрессе можно было бы написать очень веселую комедию. Прежде всего, у меня еще не было права участвовать в нем, ибо мне не хватало почти полутора лет до требуемого возраста, и я не помню, кто были те добрые лжесвидетели, которые присягнули, что мне 24 года. Было у меня детское выражение лица, и служащий, раздававший билеты, отказался впустить меня, пока я не представлю свидетелей. После этого я слонялся в одиночестве по коридорам казино. Ни одного человека я не знал, кроме тех великих мужей, которых я видел в Кишиневе, а они были членами исполнительного комитета, занятыми на внутренних заседаниях. Меня представили худому и высокому молодому человеку с черной бородкой клинышком и блестящей лысиной. Его звали доктором Вейцманом, и мне сказали, что он стоит во главе «оппозиции»: я тотчас же почувствовал, что мое место тоже в оппозиции, хотя и не знал еще почему. Итак, увидев этого молодого человека, который сидел с группой товарищей за столиком в кафе и вел шумную беседу, я подошел к нему и спросил: «Я не помешаю?» Вейцман ответил: «Помешаете», — и я удалился.

Я попытался подняться на трибуну конгресса, чтобы высказаться по одному животрепещущему вопросу. Несколько месяцев до того Герцль беседовал с министром внутренних дел Плеве, тем самым Плеве, которого мы считали вдохновителем Кишиневского погрома. В сионистской общине России разгорелся жаркий спор: позволительно или не позволительно вести переговоры с таким человеком. Со временем

стороны пришли к соглашению не касаться этого опасного вопроса с трибуны конгресса, и я тоже знал об этом и все же решил, что на меня этот запрет не распространяется, потому что мой опыт, опыт русского журналиста, который умеет писать на «скользкую» тему, не раздражая цензуры, поможет мне и здесь обойти этот риф. Моя очередь подошла, когда регламент ораторов был ограничен 15 минутами, но и этой четверти часа не предоставили мне, чтобы закончить мое витийствование. Я решил доказать, что нельзя смешивать два понятия: этики и тактики, и немедленно в углу оппозиции почувствовали, куда клонит никому не известный юноша с черной шевелюрой, который говорит на отточенном русском языке, словно декламируя стих на экзамене в гимназии, — и они стали шуметь и кричать: «Довольно! Не нужно!» В президиуме поднялся переполох, сам Герцль, который был занят в соседней комнате, услышал шум, взмошел торопливо на сцену и обратился за разъяснением к одному из делегатов: «В чем дело? Что он говорит?» Случайно этим делегатом оказался доктор Вейцман, и он ответил коротко и ясно: «Quatsch»¹. Тогда Герцль подошел к кафедре сзади и промолвил: «Ihre Zeit ist um»², — это были первые и последние слова, которые я удостоился услышать из его уст, — и доктор Фридман, один из трех ближайших сподвижников вождя, истолковал эти слова в духе своей родины — Пруссии: «Gehen Sie herunter, sonst werden Sie heruntergeschleppt»³. Я сошел, не закончив своей защитительной речи, которую отверг человек, на защиту которого я встал.

Я понял, что моя роль на этом конгрессе — молчать и наблюдать, и так и поступил. Я нашел здесь множество объектов для наблюдения. Шестой конгресс — последний конгресс при жизни Герцля и, быть может, первый конгресс зрелого сионизма. Экзамен на аттестат зрелости проходил под известным девизом: Уганда. Я был в числе меньшинства конгресса, которое голосовало против Уганды, и вместе с остальными сказавшими «нет» вышел из зала. И про себя я удивился движущей

¹ Вздор (нем.).

² Ваше время истекло (нем.).

³ Сойдите, иначе вас стащат (нем.).

силе, сокрытой в глубинах моей души, которая побудила меня голосовать против, вопреки тому, что я говорил перед своими избирателями. Никакой романтической любви к Палестине у меня тогда не было, и я не уверен, что она есть у меня теперь, я не мог знать, существует ли опасность раскола движения, — народа я не знал, посланцев его видел здесь впервые и ни с одним из них еще не успел сойтись. И подавляющее большинство их, в том числе многие из тех, кто, как и я, прибыли из России, голосовали «за». Никто не уговаривал меня голосовать так, а не иначе. Герцль произвел на меня колоссальное впечатление — это не преувеличение, другого слова я не могу подобрать, кроме как «колоссальное», а я вообще-то нелегко поклоняюсь личности. Из всех встреч жизни я не помню человека, который бы «произвел на меня впечатление» ни до, ни после Герцля. Только здесь я почувствовал, что стою перед истинным избранником судьбы, пророком и вождем милостью Божьей, что полезно даже заблуждаться и ошибаться, следуя за ним, и по сей день чудится мне, что я слышу его звонкий голос, когда он клянется перед нами: «Если я забуду тебя, о Иерусалим...» Я верил его клятве, все мы верили, но голосовал я против него, и я не знаю почему. Потому что — **потому**, которое имеет большую силу, чем тысяча аргументов.

И странное дело: я почувствовал, что после этого голосования конгресс вознесся на высоту, несравнимую с уровнем его начала. Вопреки расколу и слезам досады, сообщалось ему какое-то внутреннее единство, более глубокое — голосовавшие **против** сблизилась с голосовавшими за духовной близостью, которой не было прежде. Возможно, научились больше, чем прежде, чтить друг друга или движение; да и все движение, кажется мне, поднялось выше в день, когда посланцы народа оплакали свою первую политическую победу. Я уверен, что и Чемберлен (автор угандийского проекта), и Бальфур, и еще несколько политиков в Англии и в других странах только в тот день поняли, что такое сионизм, так же, как многие ветераны.

Из Базеля я поехал в Рим: теперь я всматривался в него новыми глазами, искал и находил евреев среди товарищей, с которыми расстался два года назад. Несколько раз

я побывал в историческом гетто, не ради палаццо Ченчи, как прежде, но чтобы познакомиться с еврейской беднотой, которая, вопреки гражданскому равенству и отсутствию антисемитизма, все еще не оставила еврейского квартала, упоминаемого еще в одной из речей Цицерона и в сатирах Ювенала. Особенно я сблизился с бродячими торговцами старой одеждой, ибо в Италии сосредоточивается в еврейских руках это «наше национальное ремесло». У старьевщиков был национальный союз под звучным названием «Negozianti di generi usati», и они пригласили меня на торжественное открытие их ежегодного съезда. В редакции «Трибуны», которая была для Италии в те дни чем-то вроде «Таймса», я беседовал со знаменитым публицистом, печатавшим свои передовые статьи под псевдонимом «Италик». Все они: студент, бродячий торговец, журналист — классические образцы полной и утонченной ассимиляции, предел растворения в чужой среде, который даже в Германии, Франции и Англии был еще недосягаем. Однако уже после первых бесед я услышал из их уст то же слово «гой» и в их сердцах нашел то же семя тревоги или страха, то же внутреннее беспокойство, словно они чувствовали в воздухе опасность, которой я ни ранее, ни тогда не ощущал, опасность, которой на самом деле не было и не будет. Но главное ведь не действительность, а чувство: они чувствовали.

Я многое узнал в ходе этой поездки и в Базеле, и в Риме. Прежде всего, я узнал, что совершенно незнаком с наукой моей новой деятельности. Я вернулся в Одессу, разыскал Равницкого, который учил меня древнееврейскому языку в детстве, и попросил его продолжить наши занятия. С его помощью я познакомился с сочинениями Ахад га-Ама и Бялика. Теперь, если я не заблуждаюсь, начали уже и читатели «Новостей» принимать всерьез мою сионистскую веру: уже известный нам Зальцман издал тонкой брошюровкой сборник моих статей под общим названием «Противникам Сиона» и распространял его в Вильне, Петербурге, Саратове. Общество приняло меня.

Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя и фуражку рулевого сионистского корабля; но скорее у меня не было никакого твердого плана — я очень сомневаюсь вообще в том, что мне отпущена способность, или хотя бы желание, заранее определять свой путь. Но за меня решила судьба, явившись ко мне в лице гороподобного русского хама, отправлявшего должность пристава в центральном околотке Одессы. Звали его Панасюк.

Не только в городском театре, но и в остальных одесских театрах у меня было постоянное место в первых рядах партера. В тот вечер, незадолго до христианского Нового года, Панасюк не узнал меня, когда я поднялся со своего кресла во время антракта в Русском театре. Он остановил меня у выхода и заревел как бык: «Почему ты пролез вперед?» У меня было лицо подростка, и одет я был по-цыгански (то, что теперь называют за границей в стиле богемы) — согласно полицейской мерке место мое, как видно, было среди студентов на галерке, а не здесь, внизу, среди городской знати. Я оскорбился и ответил ему. Вокруг нас собралась толпа. Жандармский генерал Бессонов, начальник охранного отделения, которого я встречал некогда в тюрьме, привлеченный криками, подошел и обратился ко мне с наставлениями. Я и здесь не полез за словом в карман. По прошествии нескольких дней я получил повестку: явиться к градоначальнику графу Шувалову.

Я одел свой парадный костюм, как это было заведено в те времена, — тот самый черный редингот, достававший мне до щиколоток, который я заказал в честь премьеры своей пьесы, и стоячий воротничок, врезавшийся мне в уши, и отправился в крытой пролетке во дворец градоначальника. Перед отъездом я сунул свой паспорт в один карман, а в другой положил весь капитал, оказавшийся в наличии дома, около 30 рублей, и, подъехав к дворцу, велел извозчику ждать меня. Аудиенция была назначена на 11 часов, а в полдень из Одессы отходил прямой поезд на север. Я собрал дома также свой чемодан и вручил его одному из своих друзей, чтобы он принес его к этому поезду.

Беседа моя с правителем города была очень краткой. «Он всегда рычит, — сказал Шувалов, показав на Панасюка, который стоял перед нами, вытянувшись в струнку. — Говоря со мной, он тоже рычит. Мы уведомим вас еще сегодня о том, какое наказание мы наложим на вас».

Я вышел, вскочил в пролетку и помчался на вокзал. Купил билет до Петербурга. Друг не поспел с чемоданом к отходу поезда, и я отправился в двухдневную поездку без мыла и зубной щетки. Легко понять, какое впечатление производил на пассажиров молодой человек в рединготе на скамье третьего класса.

В Петербурге я знал только двух человек: один из них — мой дальний родич, сверстник, студент зубоврачебной школы; а второго я ни разу не видел, но за месяц до этого он обратился ко мне с письмом, в котором сообщал, что собирается основать ежемесячный сионистский журнал на русском языке и приглашал меня послать ему статью. Звали его Николай Сорин. С одной станции я послал телеграмму своему родственнику: он встречал меня на вокзале в Петербурге, привел в свою комнату, помыл, побрил, дал мне ночную рубашку и прочие спальные принадлежности — все, кроме ночлега, ибо хотя у меня и был паспорт, но в нем значилось — еврей, а такие люди не пользовались правом жительства в столице, и дворник был агентом полиции, как все дворники на святой Руси, и очень строго выполнял свои обязанности. Я спал весь день, а ночь мы провели — мой несчастный и верный родич не хотел отпускать меня — в театре, а потом в шумном ресторане, а после того как тот закрыли — на островах и на песчаной отмели, вдающейся в Финский залив, которая называлась Стрелкой. Удовольствие вместе с нанятым до утра крытым экипажем стоило нам всех имевшихся у нас двоих наличных денег.

Утром я поехал к Сорину — молодому адвокату, который говорил по-русски, как коренной петербуржец. Его жена, красивая золотоволосая дама, была родом из Ковно, а воспитание получила в Париже. Приняли они меня, словно я был их другом с детства: Сорин призвал одного еврея, специалиста по этим делам, и тот разрешил вопрос моего ночлега, устроив меня в заброшенной гостинице, которая платила постоянную дань полиции, чтобы та не проверяла

паспортов у сынов Израиля, нашедших прибежище под ее сенью. Чуть ли не с того же дня мы начали готовить первый выпуск нашего ежемесячника. Журнал назывался «Еврейская жизнь» — и только за одно название и за разрешение издавать его Сорин заплатил 7000 рублей. Деньги он получил в качестве беспроцентной ссуды, надеясь вернуть эту сумму по мере поступления взносов от подписчиков. Этот ежемесячник, который впоследствии превратился в еженедельник, несколько раз закрывался правительством, несколько раз менял свое название и переезжал из Петербурга в Москву, оттуда в Берлин и из Берлина в Париж. Теперь это «Рассвет», и Сорин все еще самый деятельный из его редакторов.

Еще один человек, тоже журналист, писал мне из Петербурга до того, как я выехал из Одессы: Алексей Суворин, сын известного издателя «Нового времени», твердыни русского антисемитизма. Алексей Суворин не пошел по стопам своего родителя, основал радикальное обозрение «Русь» и думал сделать его средоточием молодых сил; меня он тоже приглашал сотрудничать, издаюла или на месте его издания, как мне будет угодно. Я вошел в его контору и представился: Альталена. Явился по вашему приглашению, сударь. Он назначил мне жалованье, о существовании которого я даже не подозревал: 400 рублей в месяц за две статьи в неделю (половину из них он, правда, не печатал, но жалованье платил с педантичной точностью). Так решились бытовые вопросы на этом этапе моей новой жизни, и я беззаботно отдался сердцем и душой воздвижению сионистского алтаря, над чем я тружусь поныне и, видно, буду трудиться до конца своих дней. На счастье или на погибель свою? На благо сионизму или во вред ему? Я, во всяком случае, не раскаиваюсь.

В конце месяца, за несколько дней до выпуска ежемесячника, я не только дневал, но и ночевал на квартире Сорина, в которой помещалась также наша редакция. Это был первый опыт учреждения официального органа сионистского движения. Во всех еврейских общинах подписывались на журнал, в редакции царило приподнятое настроение, в частности потому, что все ее сотрудники, за исключением главного редактора М. М. Марголина, были моими сверстниками или даже моложе меня. Марголин-

ну было 40 лет, и он был известен в российском сионистском движении благодаря своей книге «Основные течения в истории еврейского народа», книге краткой и содержательной, из которой я многому научился и которую полезно было бы перевести и распространять даже теперь. Был он человеком образованным, ответственным секретарем двух больших энциклопедий, русской и еврейской, которые выходили тогда в издательстве Эфрона. Младшего брата его Элизера, переселившегося еще в детстве в Эрец-Исраэль, я узнал впоследствии в дни мировой войны: это полковник Марголин, командир одного из батальонов еврейского легиона.

Остальные столпы нашего ежемесячника — пятеро студентов: Соломон Гепштейн, Александр Гольдштейн, Арье Бабков (он тоже был моим учителем древнееврейского языка), Арнольд Зейденман, Макс Соловейчик и инженер Моисей Цейтлин, который оставил доходную должность в Баку и переехал со своей семьей в Петербург — «просто так», чтобы работать с нами. Из «выдающихся людей поколения» был в нашей редакции также доктор И. Бруцкус, врач, общественный деятель и журналист, человек с именем и **почитаемый** в общине. Я выделил слово «почитаемый», ибо такое отношение к сионистам со стороны просвещенного общества было редким в Петербурге в те времена. Тогда еще была в большом ходу известная поговорка: «У человека два сына: один умный, а другой сионист». Среди прочих функций наш журнал выполнял и такую: он искоренял эту традицию, в особенности начиная со второго года своего существования, когда мы добавили к нему еженедельник и для руководства им прибыл из Москвы Абрам Идельсон, в чьем лице наша группа обрела духовного руководителя. Я уверен, что не преувеличу, если скажу: слова «**талант**» недостаточно, чтобы определить масштаб дарования Идельсона: этот человек стоял на пороге гениальности. «Мозг, полный кислоты, разъедающей камни», — сказал мне о нем однажды Грузенберг, и это справедливо, но это лишь одна сторона. «Жгучая кислота» его мозга прожигала оболочки явлений, добираясь до самой сердцевины, он умел выжимать волшебный сок из жизни. Проклятие его судьбы, бедность, тяготевшая над ним, как над большинством людей нашего круга, или, может быть, отчасти принижение себя, проистекавшее

из того же источника, что и «кислота», помешали ему обобщить свои мысли в форме ученого труда. Из его уст я слышал такой стон: «Кто возьмет и запрет меня в тюрьму на пару лет, чтобы я мог написать «Werk»...¹ Но для нас, молодежи, его общество и без того служило университетом.

Помимо корреспондентов, к центральным фигурам «шайки» (так называли нас в Петербурге, используя для этого польское слово «halastra», принадлежал Израиль Розов. Тогда встречались изредка такие дома, то там, то здесь в местах еврейского рассеяния, которые не по договоренности или соглашению, а по своему значению служили сборными пунктами сионистского движения. И написать хронику этих домов значило бы написать всю историю сионизма того периода. Такими были дом Исаака Гольденберга в Вильне, Бецалеля Яффе в Гродно, Гиллеля Златопольского в Киве, дом Ахад га-Ама в Одессе. Таким был и дом Израиля Розова в Петербурге.

КОЧЕВНИК

Семь лет я был связан с «халястрой». Не все это время провел я в Петербурге. Вел я кочевую жизнь. Была в Вильне гостиница, хозяин которой сказал мне однажды: «Это уже пятьдесят пятый раз, что господин останавливается у нас».

В Вильне раскрылся мне новый еврейский мир, мир, о существовании которого я знал лишь из встреч с «экстернами», когда вернулся из Италии в Одессу для сдачи экзаменов, да еще из кратковременного соприкосновения с обитателями тюрьмы. Литва — особый университет для такого человека, как я, который прежде не дышал воздухом традиционной еврейской культуры и даже не думал, что есть такой воздух где-либо на свете. Уже минул век **Иерусалима Литовского** в прежнем понимании, но и то, что осталось от него, слепило своим светом и пьянило меня. Я увидел суверенную еврейскую вселенную, которая движется в согласии со своим собственным внутренним законом, словно связи ее

¹ «Труд» (нем.).

с Россией только государственные, но никак не нравственные. «Биржа» дюжины ее собственных партий находилась на углу каждой улицы; идишь оказался громадной силой, приводящей в движение мысль и культуру, а не «жаргоном», как в Одессе и Петербурге; древнееврейский язык становился живым языком в присутствии дочери Исаака Гольденберга; стихи Бялика, Черниховского, Кагана и Шнеура одушевляли еврейскую молодежь, и я, поклонник поэзии на четырех иностранных языках, свыкшийся уже с мыслью, что сочинение стихов в наши дни пало до уровня пустой забавы, был поколеблен в убеждении, что оно хоть и может подчас потешить твое эстетическое чувство, но никогда не повлияет на толпу!

Я уже писал о том, что дом Исаака Гольденберга был сборным пунктом и штабом сионистов Вильны, да и не только Вильны. Несть числа общим совещаниям от различных губерний черты, которые собирались в этом доме. И программа национальных прав для евреев России, известная как «Гельсингфорсская программа», не в Гельсингфорсе формулировалась, но в Ландварове, возле Вильны, на даче Гольденбергов; и большинство сионистских деятелей, которых я знаю, из своего и предыдущего поколения, я встретил в этом доме, и свое сионистское образование я продолжил в этом доме.

Не стоит описывать географические подробности моих скитаний между 1904 и 1908 годами; прежде всего, я их не помню, и, во-вторых, немало нас тогда было, постояльцев железных дорог: Литва, Воынь, Подолия, Киев. В Киеве я принимал участие в собраниях «Сторонников Сиона», которые планировали отмену вопроса Уганды на седьмом конгрессе; вместе с Розовым я изъездил все Нижнее Поволжье, от Нижнего Новгорода до Астрахани, и оттуда спустился в Баку; я и в Одессе пробыл несколько месяцев — видно, то государственное преступление, которое обратило меня в беглеца, забылось.

Отмечу здесь также две мои краткие отсидки в тюрьме: одну в Херсоне, после сионистского собрания, проведенного без разрешения, и вторую — в Одессе, в конце 1904 года; эта последняя пришлась на известную в историю первой русской революции полосу митингов. Такой митинг был устроен в Одессе, и я тоже выступил на нем с речью. Помнится мне, что я завершил ее любезным мне итальянским выражением: «Баста!» На сей

раз оно относилось к царскому режиму. Раз в два года я ездил на конгрессы, но не было у меня на них никакой особой роли, и потому не о чем и рассказывать.

Я продолжал сотрудничать в русской прессе, но без чрезмерного успеха. Алексей Суворин, редактор «Руси», большинство моих статей хоронил в ящиках своего стола: «Не отвечает направлению газеты». Я подумал: может быть, и в самом деле его направление — это не мое направление, в конце концов разве не рос этот Суворин под сенью божественной благодати своего родителя, юдофоба и консерватора? Я отправился к нему и сказал: «Алексей Алексеевич, я решил расстаться с вами». После этого я вошел в редакцию другой петербургской газеты, которая тогда только открылась, — в редакцию «Нашей жизни». Несколькими месяцами прежде, будучи в Одессе, я получил приглашение от ее главного редактора, прогрессивного профессора. Но он поступал со мной так же, как Суворин: жалованье платил, а большинство статей хоронил: «не отвечали направлению». И здесь невозможно было уж ворчать на «направление» или подозревать чистоту его радикальных риз: здесь педантично и бескомпромиссно соблюдали радикализм, как раввины надзирают за кошерностью птицы. После ареста в Одессе (из-за речи с «баста») я писал, что «весь город смеялся над глупостью полицейских». Мою статью зарезали: «ибо в таком случае следует “протестовать”, а не “смеяться”». Наконец, меня прорвало: «Зачем вы пригласили меня?» Госпожа Екатерина Кускова, один из столпов редакции, ответила мне, не мудрствуя лукаво: «У вас отличный слог, мы думали, что вы согласитесь облечь в этот слог мысли, которые мы предложим вам». Я вскочил в пролетку, поехал в «Русь» и спросил у Суворина: «Вы примете меня назад? Сударь, менее всего почитаю я себя граммофоном». Он ответил: «С удовольствием». Как бы то ни было, он был личностью и умел уважать другую личность: он не мешал мне (факт беспрецедентный в «общей» печати, который подрывал все нравственные устои российского либерализма) писать: «мы, евреи...»

Кстати, я не знаю, кто распространил слух, будто я принадлежал в свое время к «первой шеренге» авторов **общей** печати в России. Это преувеличение, одна из «легенд». В Одессе и на юге я был популярен, среди евреев по большей части, но Петербурга я не «завоевал». Если я не ошибаюсь, более сильное впечатление производили мои письма из Лондона

в годы войны, которые печатались в московской газете «Русские ведомости», но от этой славы я уже не успел вкушать, потому что не вернулся в Россию, да и газета эта была разгромлена и ее читателей уже нет в живых.

В ГРОЗАХ РОССИЙСКОЙ «ВЕСНЫ»

Тем временем был убит Плеве, рабочие в Петербурге, которых священник Гапон обещал отвлечь от «политики», провели 9 января шествие к Зимнему дворцу, чтобы потребовать дарования конституции, и несколько десятков было убито братьями-солдатами. Уже всем было ясно, что эта победа окажется решающим поражением существующего режима.

В моей деятельности этих лет наметились три основные линии: полемика с ассимиляторами и еще более жестокая полемика с Бундом, пропаганда самообороны и борьба за национальное равноправие евреев России.

«Чистого» ассимиляторства я уже не застал в Петербурге. Лагерь, который отвергал сионизм и группировался вокруг Винавера-Слиозберга и их еженедельника «Восход», уже уразумел в эти дни, что Россия — не Франция и не Германия и что нет в ней места **руссакам Моисеева закона**. По распоряжению самого правительства были обнародованы результаты переписи народонаселения за 1897 год; смотрите, черным по белому написано, что в государстве имеется более ста народностей, и самая многочисленная из них русская — даже не составляет большинства, еврейский же народ занимает четвертое место в списке. Хотя сами ассимиляторы и признавали, что в России имеется еврейская народность, они не поняли еще, чего следовало именно требовать для нее в национальном плане, и довольствовались устаревшим лозунгом гражданского равноправия.

Платформа Бунда, разумеется, была более сложной и более путаной. Там уже вырабатывалось признание национального обособления, вплоть до лозунга «культурной автономии». Обосновывали это требование ссылками, с одной стороны, на работы австрийского автора Рудольфа Шпрингера, а с другой стороны, учением Дубнова. И следует отметить, что Бунд в эти дни пользовался решающим влиянием во всех слоях народа и не было «прогрессивного» обывателя,

который не произнес бы речи или не написал бы статьи по текущим вопросам, не осыпав комплиментами могучее еврейское пролетарское движение. В тени этого бундо-дуба, но с трудом, чуть ли не украдкой, прорастали первые побеги левого сионизма, и мы, «халястра», далекие от всякого классового мировоззрения, мы оберегали их цветение против нападков Бунда... Неважно, что я писал и что я говорил, но когда минул год после моего переезда на север, уже ненавидели меня в кругах «Восхода» (мы их называли «национал-ассимиляторами»), и еще сильнее в кругах Бунда, чье дерзновенное историческое назначение заключалось в том, что он служил мостом, по которому массы рабочих переходили от чистого марксизма к чистому сионизму.

Самооборона. После одесского опыта я немного работал в этой области в качестве организатора, хотя и принимал участие в какой-то конференции, которая собралась в Одессе, если я не ошибаюсь; но я слышал, что в духовном отношении этому движению помогли листовки и брошюры, которые распространялись тайно, в особенности «Сказание о погроме» Бялика в моем переводе и с моим предисловием.

В лето 1905 года я посетил Варшаву — кажется, впервые. С детских лет я любил Польшу, что, разумеется, неудивительно, ибо такое отношение к Польше было общей традицией тех лет и поддерживалось любым прогрессивным обществом — как в России, так и во всем мире. Стихи Мицкевича я заучивал наизусть. Однажды в Одессу попала варшавская театральная труппа, и мою статью, посвященную ее представлениям, перевели и напечатали в польской газете, крайнем органе националистического движения. В некоторых городах и местечках, на севере, на юге и на востоке, я уже выступал с речами и лекциями, но ни разу не пришло мне в голову выступить в польском городе, ибо я тогда еще не умел говорить на идише, а что до публичной лекции на языке «москалей», то в глазах польского общества это выглядело бы как оскорбление. Я посетил Варшаву только, чтобы посоветоваться с сионистской молодежью, которая группировалась вокруг еженедельника «Глос жидовски»¹, и договориться с ними о времени и месте созыва конференции «Национальная автономия в галуте».

¹«Еврейский голос» (польск.)

Эту группу варшавской молодежи мы считали украшением нового поколения сионистов галута, и справедливо считали. Особая глубина и утонченность, свойственные возвышенным душам, чувствовались во всем их существе, в подходе ко всем проблемам национального бытия, в духе их откликов на всякое решающее событие: то ли из-за их близости к Западу, то ли из-за особой атмосферы, насыщенной трагизмом и романтикой Польши. И в человеческом плане такие духовные явления, как Ян Киршрот и Ноах Давидсон, редки в нашем мире теперь, как и тогда.

Там в Варшаве до нас дошла весть о белостокском погроме, первом серьезном погроме за пределами Украины, в городе, где половину населения составляли фабричные рабочие... Вместе с молодым Гартгласом мы вскочили на поезд и поехали в город резни. До конца своих дней не забуду я этой поездки. Вагон был полон евреями, но когда мы приблизились к Гродненской губернии, они стали исчезать один за другим, и немногие поляки избегали смотреть на нас с Гартгласом и переговаривались шепотом. Одна дама пыталась все-таки выразить свое сожаление о судьбе красивого юноши Гартгласа и умоляла его сойти с поезда. Он отклонил ее советы с ласковой варшавской любезностью и объяснил мне тихо психологическую тайну ее сострадания:

— На самом деле ей безразлично, убьют ли еще одного или нет, но она мне сказала, что она едет в Гродно, а это за Белостоком, и она решила, что если убьют еврея на ее глазах, то это неприятно.

Возможно, он был прав, потому что она внезапно встала, собрала свои саквояжи и перешла в другой вагон.

С приближением к станции Белосток мы подошли к окну: на привокзальной площади было полно сброда, они толпились около забора вдоль железнодорожного полотна и смотрели на поезд. Увидев нас, они стали показывать на нас пальцами, подзадоривать друг друга, кричать. В этот момент — поезд еще не остановился — в вагон вошел пожилой носильщик и сказал:

— Ради Бога, если есть здесь евреи, пусть не выходят, а едут дальше.

— Еще не кончилось? — спросили мы.

— Какое там «кончилось». В самом разгаре...

Разумеется, мы послушались. Поезд простоял на станции около десяти минут. Не помню, о чем я думал, но хорошо помню, что мы с Гартглассом не решались посмотреть друг другу в глаза.

Мы поехали в Гродно, и там, не знаю почему, решили навестить известную польскую писательницу Элизу Ожешко, друга евреев и вообще властительницу дум того гуманного столетия, семья которого погибла с закатом XIX века. В ее гостиной на стене висел польский флаг с белым орлом посредине. Нас встретила седовласая дама, великолепная и благородная, в ее манерах чувствовался настрой той старинной куртуазности, который также исчез с этим поколением. Она прочла мое имя на одной из визитных карточек, которые мы послали ей, и сказала мне по-польски:

— Я видела последний номер «Глос жидовски». Пан выражает против предоставления самоуправления Польше?

— Это зависит от одного обстоятельства, пани — отвечал я. — Я готов всем сердцем солидаризоваться с восстановлением Польши «от моря до моря», государства, в пределах которого будет проживать большая часть евреев России и Австрии, если польское общество согласится с нашим равноправием в двух аспектах: гражданском и национальном. Но ныне среди варшавской общественности преобладает совсем другая тенденция. Господин Дмовский заявил открыто, что его фракция использует автономию, чтобы, прежде всего, погубить евреев. Полагает ли пани, что и при таких условиях мы должны поддерживать приход его к власти?

Она не дала мне прямого ответа. Она вообще не «полемизировала» с нами, ибо это было противно традиционным законам гостеприимства, принятым у таких властителей дум. И все же впоследствии в ходе естественно завязавшейся беседы она заметила с тихой печалью:

— Всю свою жизнь я пыталась трудиться ради взаимопонимания и добрососедских отношений между вашим народом и моим. Видно, напрасно трудилась...

Гельсингфорсская программа, ее история и принципы. Немногие заинтересуются ею сегодня, и все же в развитии сионистского мировоззрения нашего поколения она означала душевный и духовный перелом. Мы начали с отрицания галута, то есть с того, что галут не следует исправлять, что нет

лекарства против него, кроме исхода из него. И вот жизнь привела нас к необходимости улучшения галута, улучшения методического и всестороннего, каким явилось бы достижение не только гражданского равноправия, но и равноправия национального. Выставив такое требование, обязаны были мы, именно мы, сионисты, сделать для него вдвойне больше всякой другой еврейской партии, ибо сильнее у нас национальный аппетит. Наши противники смеялись над нами и язвили, что мы впали в противоречие и отрицаем сионистский принцип: если национальное возрождение возможно и в галуте, то к чему Сион? Это возражение обязывало нас найти разумную возможность воздвигнуть национальные замки в изгнании с тем, чтобы их оставить, без срама и без сожаления, на другой день после их воздвижения. Появилось несколько философских систем, обосновывавших такую возможность. Одна из левых партий, которую я упоминал, — «Возрождение», или «Серп» — небольшая, но отборная группа молодой сионистской интеллигенции — предложила доктрину, согласно которой сионизм представлял собой не разрыв или скачок в истории нашего народа, а лишь высшую, конечную ступень лестницы возрождения. Сионизм осуществляется посредством накопления сил и завоевания позиций, через создание еврейской нации в галуте, еврейской нации, освобожденной и чтимой, как и остальные народы, пока мы рассеяны среди этих народов, и затем лишь из стремления к национальному усовершенствованию, а не из желания уйти от юдофобства он построит отдельное государство, подобно тому, как миллионер, обладающий уже сотней домов во всех столицах мира, вдруг строит для себя виллу на острове посреди океана. Бер Борохов, духовный вождь «Поалей Цион», еще один сионист, стоявший «на пороге гениальности», сформулировал другое учение: «нормализации галута». Галут — это беда и проказа; все попытки исправить его не более чем иллюзия и самообман, но и у проказы, как и у всякой болезни, есть две формы: форма хроническая, спокойная и форма обостренная, инфекционная. Галут с отсутствием прав, галут с погромами — это галут острый, инфекционный; галут спокойный — это галут, как на Западе, галут сытый, тучный, галут с почестями, и все же это — галут, в котором в конце концов тоже вспыхнет восстание при всем сознании его ценности! И наша

миссия в России заключается лишь в «нормализации» галута с полным сознанием того, что это не решение проблемы. Еврейство России подобно страннику, который торопится к своей цели, идя долгой и изнурительной дорогой, его томит жажда, и лицо его покрыто пылью, но вот он нашел родник, напился, помылся — и продолжил свой путь дальше.

Я, человек маленький, тоже решил потягаться с этими великими мира сего и сочинил третью теорию. Что такое национальная автономия в галуте? Это не что иное, как организация всего народа с помощью официально предоставленных возможностей вместо частичной организации народа в форме такого ограниченного объединения, как сионистская организация. И что сделает народ, когда сорганизуется? То, чего покойный Герцль хотел добиться посредством ограниченной организации: он осуществит возвращение в Сион. Национальные права в изгнании — это не что иное как «организация Исхода» и т. д. и т. п.

На первых порах мы пытались заронить семя этой идеи, идеи борьбы за предоставление евреям России национальных прав, в общеврейскую почву. С начала 1905 года мы начали проникать в Петербурге в беспартийные круги: мы провели собрание врачей, адвокатов, собрание торговцев, ремесленников и т. п. и всем предложили девиз: «гражданское и национальное полноправие» (слово «полноправие» вместо обычного «равноправия» почиталось очень дерзким нововведением). В конце концов мы созвали совещание делегатов, избранных от каждого из этих кругов, и там была принята какая-то программа, деталей которой я не помню. Центр по развертыванию всего этого движения находился в нашей редакции. Приглашения мы печатали на поломанном ротапринте. Но хотя мы были лишь сионистами и в своем большинстве людьми молодыми, без постоянной поддержки в обществе, на наш призыв откликнулись многие видные представители общины. Фракция Винавера и Слиозберга, разумеется, не примкнула к нам. Они созвали отдельную конференцию в Ковно и там основали другую организацию. Но в конце концов две эти организации слились и стали называться длинным именем «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России», и я был выбран в его центральный комитет. Люди моего поколе-

ния, несомненно, еще помнят взрывы хохота, которыми везде встречали это предусмотрительное «достижение» вместо «борьбы». Прозвали нас «ди дергрейхер», **достиженцы**.

Летом я отправился на седьмой конгресс, первый конгресс без Герцля, и после этого совершил пешую прогулку по Швейцарии с небольшой группой друзей, девушек и юношей. Как был бы я рад, да и читатель семикратно выиграл бы от этого, если бы вместо автобиографии деятеля мне довелось рассказать ему об этом переходе, конечным пунктом которого явилась Венеция, куда мы прибыли без гроша во всех наших многочисленных карманах. Здесь, в этой моей книге, я ограничусь лишь тем, что установлю связь между путешествием и общим предметом, упомянув о двух фактах. Первый: на берегу Луганского озера я купил итальянскую газету и в ней прочел об унижительном конце войны на Дальнем Востоке, о признании японской победы и о новом стимуле для освободительного движения в России. Второй: в середине октября, в Монпелье, на юге Франции, до меня дошла весть о даровании конституции и Государственной думы и на другой день — о шквале ударов, обрушившихся на евреев, — наш выкуп и расплата за день радости всей России.

Я вернулся в Петербург, там сионисты провели публичное собрание в зале, называемом «Соляной городок», выступил на нем с речью и я. В первый и последний раз я видел такое: на собрание, посвященное еврейской беде, еврейской проблеме, пришли и неевреи, и в немалом количестве. Но за несколько дней до этого появилась листовка, подписанная от имени двух рабочих партий, эсдеков и эсэров. Содержание листовки — энергичное обвинение правительства в надувательстве народа: оно обещало освобождение, а вместо освобождения сделало то-то и то-то; я уже не помню, какие грехи вспоминались в этом протесте, но резня евреев в ста городах (или больше ста?) совершенно не упоминалась в ней. Когда подошла моя очередь говорить, я сказал им: «Нас пытались утешить тем, что среди наших убийц не было рабочих. Мол, русский пролетариат защищает равенство и дружбу народов. Может быть. Может быть, не пролетариат громил нас. Пролетариат поступил хуже: он забыл о нас. Это — настоящий погром!» Хвала им вдвойне: они не только пришли слушать нас, но и слушали, молчали и опускали головы.

Вскоре началась предвыборная борьба: рабочие партии бойкотировали выборы, ибо не было введено всеобщее избирательное право, но и без них в нашем лагере было достаточно волнений. И в черте оседлости и вне черты не были выставлены еврейские кандидаты. Однажды ночью мы сидели в редакционной комнате, мы, члены «халястры», и решили: потребовать от всех кандидатов обещание, что если они будут выбраны, то присоединятся к еврейской фракции. Винавер со своей группой противился изо всех сил нашему требованию, но его мы тоже заставили подписать обязательство, что он подчинится, если съезд «Союза для достижения...», который будет созван после выборов, решит большинством голосов создать фракцию. Были выбраны 12 евреев, в том числе пять сионистов, и в Петербурге был созван съезд. Хотя я не был еще в числе делегатов и кандидатов (я еще не достиг тогда требуемого 25-летнего возраста), мои товарищи сионисты почтили меня ответственным заданием: сделать доклад перед съездом о насущной потребности в отдельной фракции. Со своей стороны группа Винавера назначила своим главным докладчиком Острогорского, делегата от Ковно, эрудита, политика, известного и за границей, автора классической книги о партиях Северной Америки. Никогда, ни до этого дня, ни после, я не испытывал такого страха, готовясь к публичному выступлению: что возражу я, полный профан, на научные доводы знатока и специалиста? Острогорский выступал после меня. Я слушал и не верил своим ушам: так ли должен говорить эрудит, учитель учителей, величайший хранитель тайн большой политики, по вопросу, от разрешения которого зависят (или мы верили, что зависят...) судьбы шести миллионов? Даже в первые дни моей молодости, в легких фельетонах для «Новостей», не выходило из-под моего стрекочущего пера такого несусветного вздора, как его доклад. Тогда узнал я впервые, и впоследствии этот опыт имел неоднократно подтверждение: нет еще еврейской политики, наше положение и наши нужды не имеют еще прецедента, мое поколение — поколение зачинателей, и нам создавать государствоведение Израиля, от алеф до тав, и то же относится к сионизму, в особенности к сионизму.

Съезд большинством голосов принял наши требования, но вопреки своим письменным обязательствам наши противники не подчинились его решению. Еврейские делегаты разделились на две фракции — шестеро против шестерых (делегат Френкель, антисионист, примкнул к пятерым сионистам). В конце концов вмешались посредники и нашли какой-то компромисс, я уже забыл его детали, но я вышел из комитета «достиженцев», и ночью после окончания съезда в редакционной комнате снова собралась «халястра» — сделать выводы из этого опыта. И мы решили: в будущем борьбу за права в галуте сионисты тоже будут вести отдельно, под своим сионистским знаменем.

От этого съезда «дергрейхерс» в моей памяти осталась речь ныне покойного доктора Даниэля Пасманика: одна из лучших и самых глубоких речей, какую мне довелось слышать за всю свою жизнь. Вообще, я всегда считал его человеком необычайного ораторского дарования. Он немного заикался, но и этим своим дефектом умел пользоваться для усиления впечатления: он так управлял своим голосом, что задержки в речи наступали именно перед центральным и решающим словом, чтобы с тем большей силой выделить его. И вот он сказал на заключительном заседании: «Мы достигли компромисса, и это покамест тоже хорошо, ибо мы еще слабы, слабее одних и слабее других, и зажаты между двумя лагерями: но мир этот только преддверье войны. Здесь вставали один за другим выдающиеся ораторы и воспевали мир, и их слова напоминали мне сладкозвучную музыку Доницетти и Беллини. Но время такой музыки истекло: музыка нового поколения — это музыка Вагнера, а она основывается на диссонансе... Есть грубая глиняная посуда, которая если и разобьется, то беда не велика, склеют черепки — и забудется трещина. Но есть старинный греческий кувшин, тонкое и изысканное произведение художника, и если в нем появится трещина — ее не заделаешь. Мы, евреи, — старинный сосуд, дорогой и редкостный, и дефект в нем невозможно исправить».

Пасманик был членом центрального комитета сионистов России, местопребыванием которого была тогда Вильна (вместе с Исааком Гольденбергом и его покойным братом Борисом, Львом Яффе и доктором Иосифом Лурией, редактировавшим официальный еженедельный журнал).

Для меня судьба этого человека — загадка: хотел бы я понять, почему подчас пролегал пропасть между истинной величистой личностью и тем впечатлением, которое она производит на окружающих, и пропасть эта образуется без всякой видимой причины. По сей день слышу я рассказы о том, что «этот ханжа» покрыл голову ермолкой, поднимаясь на трибуну, чтобы выступить перед собранием Мизрахи. Случайно я оказался очевидцем аналогичного эпизода на шестом конгрессе, и я помню слова, которые он сказал тогда: «Если от меня требуют, чтобы этим я выразил чувство моего уважения к вашему собранию, — я надену ермолку; но если вы увидите в этом выражение моего отношения к вере, то лучше я расстанусь с вами». Собравшиеся ответили ему в один голос: «Нет, нет, мы не требуем этого от вас». И тогда он покрыл свою голову, не как ханжа, а как благовоспитанный человек, и я бы поступил так же, как он.

Столь же несправедлива и фальсифицирована легенда о его склонности менять убеждения как по легкомыслию, так и ища рукоплесканий толпы. Даже в Гельсингфорсе он был среди немногих, кто выразил глубокое сомнение в правильности нового курса: он противился, в частности и в особенности, вере в «меньшинства» — в мечту, что установится нечто вроде союза между нами и украинцами, латышами, литовцами, татарами и пр. и пр., союза, направленного против господствующей нации; он утверждал, что все они ненавидят евреев, и господствующая нация, и меньшинства, но лучше все же господствующая нация. Известно, что этой своей веры он держался до дня смерти, отошел ради нее от сионистской ответственности и умер в холодном и горьком одиночестве.

Дефект «верхоглядства», возможно, и был присущ ему, но это не вина его, а беда. Всю свою жизнь он много читал и учился; кроме Бера Борохова и Абрама Идельсона, я не знал другого такого библиофила, как он, в том поколении сионистов. Но способность «популяризатора» — самая редкостная способность: лишь немногим дано раскрыть тайны науки перед аудиторией совершенных профанов, излагать их таким образом, чтобы, с одной стороны, быть понятным, а с другой, не измельчить и не опозлить науку. В этом он не преуспел, потому-то вообще я не отнесу его — в качестве писателя — к выдающимся дарованиям, но нет сомнения, что он обогатил

теорию сионизма несколькими мыслями, получившими в нем права гражданства, и был в числе первых, кто научил нас различать экономические и социальные аспекты галута.

Летом 1906 года мы собрались на совещание, которое я упомянул ранее, на даче Исаака Гольденберга. В Ландварове, около Вильны. «Конференцией сионистских журналистов» мы назвали его. Наша «халястра» из Петербурга, группа «Глос жидовски» из Варшавы, редакторы «Еврейской мысли», учрежденной незадолго до этого в Одессе. Там, меж высокоствольных сосен старинного парка, в поместье польского графа Тышкевича, на берегу прелестного пруда, в котором мы купались в перерывах между заседаниями, три дня и три ночи мы редактировали программу, получившую впоследствии название «Гельсингфорсской». Там же на третий день нас настигла злая весть: император распустил первую Думу, и через несколько месяцев должны были состояться выборы в новую Думу.

В октябре мне исполнилось 25 лет. В Воляни, в заброшенном городе около Ровны (высокомерное название этого местечка — Александрия!) я «купил» одноэтажный домик о трех окошках и тем самым приобрел право избирать и быть избранным. Я объездил города губернии, иногда поездом, но в большинстве случаев в бричке. На этот раз положение было более запутанным, чем в первые выборы, ибо изменились позиции левых партий и Бунд тоже принял участие в кампании и выставил своих кандидатов. В одну ноябрьскую ночь я созвал представителей сионистских организаций губернии в Мирополе, тоже небольшом городке, и они утвердили программу, составленную в Ландварове, и выбрали меня своим кандидатом. На рассвете я отправился на север — в Гельсингфорс, на шестую конференцию сионистов России.

Не без приключений я добрался до Гельсингфорса. На пути я остановился в Петербурге, побывал на последнем совещании в редакции. Посреди нашего заседания в комнату вошел наш русский слуга Архип (неизменный слуга Идельсона, преданный ему собачьей преданностью, которая могла жить только в сердце мужика Ярославской губернии. Даже выговор своего барина он усвоил со временем и говорил по-русски с еврейским акцентом) и прошептал: «Полиция!» Почему неожиданно нагрянула полиция — не знаю. Остальных это

не коснулось, но у меня не было права жительства в Петербурге, и меня арестовали. До полуночи просидел я в околотке и уже отчаялся, что вернусь на наше совещание. В конце концов меня спас адвокат Слиозберг: он пришел в полицию и поручился, что я не революционер. «Ладно, — сказал мне пристав, — мы выпустим вас на свободу, но на вашем паспорте поставим красную печать». Это означало: этот еврей высылается из Петербурга и должен покинуть столицу в течение 24 часов».

«С какого вокзала выслать вас? — спросил меня полицейский. — Николаевский в сторону черты оседлости». «С Финляндского», — ответил я, и сердце мое замерло, как бы он не отказал, ибо в Финляндии у меня тоже не было права жительства. Он посмотрел на меня, посмотрел на паспорт, подумал, поколебался, широко зевнул и, наконец, сказал: «Ладно, сделаем вам Финляндию». Я отправился на вокзал в сопровождении городского, славного парня, который рассказал мне по дороге о мужицких бедах: нет земли, вся земля в руках дворян! Я дал ему рубль серебром, и он стоял навтыжку, пока не тронулся поезд, и прощался со мной на военный лад, приложив руку к козырьку.

Вершина моей сионистской молодости — Гельсингфорсская конференция, и я уверен, что то же самое скажут многие из ее участников, также как представители поколения, предшествующего моему. Ибо молодость была не только в нас, она была в воздухе, молодость всей страны, молодость всей Европы. Не часто повторяются эпохи в истории человечества, эпохи, в которые дрожь нетерпения пронзает народы, словно юношу, ожидающего прихода возлюбленной. Такой была Европа до 1848 года, такой предстала она перед нами в начале XX столетия, лживого столетия, обманувшего столь много наших надежд. Тот, кто скажет, что мы тогда были наивны, неопытны, верили в то, что прогресса можно достигнуть легкой и дешевой ценой, одним молниеносным прыжком из тьмы в свет, — тот заблуждается. Разве не были мы на другой день после праздника свидетелями очередного убийства, и в частности тогда, именно в ту зиму? Разве не знали, что все силы реакции уже строятся снова в несметное и грозное войско? Но вопреки всему еще жила в наших сердцах глубокая и тайная вера, основа и чудо девят-

надцатого века, — вера в принципы закона, в священные па-роли — свобода, братство и справедливость. И вопреки все-му мы были уверены, что настал день их восхождения и что в недалеком будущем перед ними падут все преграды. И я, которого только что унизили произвольным арестом, я тоже не видел никакого противоречия между этим оскорбитель-ным опытом и дерзновенными требованиями, которые я должен был провозгласить на другой день в своем докладе на конференции: в России нет господствующей нации, все ее народы — **меньшинства**; русские, поляки, татары — мы все равны перед законом, автономию — всем.

Я не сравниваю Гельсингфорсскую конференцию с все-мирными сионистскими конгрессами: кроме шестого кон-гресса (первого на моем счету), я не любил их, неприкаянным чужаком слонялся я на них, и по сей день для меня нравствен-ная пытка — одна мысль, что когда-нибудь я буду вынужден принять в них снова участие... Конференции ревизионистов и слеты Бейтара я очень люблю, но все же нет сионистского воспоминания более милого моему сердцу, чем воспомина-ние о Гельсингфорсской конференции. Причина этого, веро-ятно, в том, что пафос ревизионистов и бейтарцев смешан с горечью, ибо наша борьба теперь — борьба с нашими бра-тьями-сионистами, и все, что обновляется на наших съез-дах, — суровый приговор тому, что дорого им. Тогда, в Гель-сингфорсе, плечом к плечу, рука в руку стояли мы, все ветви сионистского движения России, этого центра мирового сио-низма, и все, что мы провозглашали, провозглашалось от имени всех нас. Мы верили, что творим новый сионизм, син-тез исконной любви к Сиону и политической мечты Герцля (ибо и принцип «практической работы», и «завоевания пози-ций в Эрец-Исраэль» был провозглашен в Гельсингфорсе); и, с другой стороны, синтез крепостей, что мы воздвигнем сво-ему народу в изгнании, и великой твердыни, которую мы за-воюем к западу и востоку от Иордана. Исаак Гринбаум, гла-ва делегации из Польши, мы называли их «коло» и считали украшением конференции, ибо еще были среди них Ноах Да-видсон и Ян Киршрот, два великолепных человека, подобных которым нелегко найти сейчас среди нас. Гринбаум резюми-ровал наши устремления в следующих словах: «Мы пришли сюда, чтобы вознести нашу сионистскую идею от воззрения

катастрофического к воззрению эволюционному и подвести под наше национальное возрождение базу мирового прогресса». Боюсь, что юный читатель не поймет этой терминологии, я должен был бы объяснить ее, но нет смысла, ведь те дни прошли и прошли безвозвратно, и слова утратили свою ценность и значение, но мы понимали их и верили в них.

Один из весьма и весьма немногих, я все еще верю и теперь в программу Гельсингфорса; вопреки всему верю, что забрезжит рассвет, рассеются смерчи хаоса в странах, посланцы которых собрались тридцать лет назад в столице Финляндии, и что порядок, который укрепится в них, навеки будет тем порядком, о котором мы мечтали в Гельсингфорсе.

Моя совесть заставляет меня сделать здесь отчаянно дерзкое признание: в глубине своего сердца я считаю себя «редактором» Гельсингфорсской программы. Я отчетливо сознаю, что все направления мысли придал этой программе не я, а Идельсон; знаю я и то, что все детали, все без исключения, выработались и выкристаллизовались в беседах членов нашей «халястры», а также в тесном общении с участниками варшавской группы, упомянутой ранее, и с одесской группой, с которой у нас тоже была постоянная связь: с Израилем Тривусом, Нахумом Шимкиным, Шаломом Шварцем, Хаимом Гринбергом. И все-таки, если я не обуздаю своего порыва, не сдержусь и заполню список доказательств, что именно я, я и никто другой собственноручно сподобился сформулировать ее... но лучше, если я преодолею свой порыв, ибо нет сомнения, что все еще живет и здравствует тот другой или двое или четверо других, у которого (которых) имеется та же уверенность в глубине сердца и, может быть, тот же перечень доводов, и, может быть, то же право.

Об искусстве политики судят так же, как и об искусстве архитектора; пример — здание университета, которое я видел несколько дней назад в одном из городов Соединенных Штатов. Это башня в пятьдесят этажей, прекрасная, как сон на заре, как поток дней, который рвется из бездны в поднебесье, — и во всем городе я не нашел ни одного человека, который бы помнил имя строителя. Даже кельнер из ресторана, юноша, от которого ничего не могло скраться (он и был тем, кто посоветовал мне посмотреть новый университет), он тоже не знал имени архитектора и с большой мудростью сказал:

— Это неважно, сударь. Архитектор сделал эскиз, пришли и исправили; пришли подрядчики и испортили, пришли болваны из муниципалитета и разрушили все, что можно было разрушить, но результат остается, и это главное. Кто построил? Америка построила.

ВЫБОРЫ, СВАДЬБА, ВЕНА

Из Гельсингфорса я отправился снова на Волынь. Фракция «национал-ассимиляторов» объявила нам войну, запрещено выставлять напоказ сионистское знамя в русской Думе, ибо наши прогрессивные союзники могли покинуть нас и заявить: «Если вы сионисты, то почему вы требуете гражданских прав в России?» Я поехал в Петербург, «мобилизовал» там своего доброго приятеля Ш. Полякова-Литовцева (был он старым сионистом и единственным из всех известных мне с той поры и поныне журналистов, который умел брать интервью и верно воспроизводил содержание и дух слов своего собеседника). Он посетил руководителей партий освобождения — Милюкова, Ковалевского, Керенского и пр. и пр., и все они клялись ему, что будут защищать права евреев, независимо от того, будут ли выбраны в черте оседлости сионисты, ассимиляторы или раввины. Я опубликовал эти беседы в «Руси», поехал в Ровно и т. д. и т. п.

В итоге меня не выбрали в Думу. Еврейские «выборщики» (выборы были двухступенчатыми) избрали своими кандидатами еврея Ратнера и украинца Максима Славинского. Это был тот самый Славинский, который через пятнадцать лет был назначен министром в правительстве Петлюры и с которым я подписал известное соглашение, то соглашение, из-за которого меня кляли на всех перекрестках еврейской улицы и которое я готов подписать вторично. Но и эти двое не были выбраны. На Волыни избрали «черных»¹, как и в остальных западных губерниях, и черта еврейской оседлости обогатила вторую Думу многочисленным воинством заклятых

¹ То есть представителей ультраортодоксального еврейства (от цвета кипы).

ненавистников Израиля. Из всех еврейских кандидатов избрали только трех. Но и вторая Дума просуществовала недолго, ее тоже распустили, и в конце года я снова предстал перед избирателями, на сей раз в своем родном городе Одессе, и снова не был выбран.

Но не этим памятна мне та осень, октябрь 1907 года. За несколько дней до выборов я кликнул извозчика и отправился в синагогу, вместе с мамой и сестрой. На пороге синагоги я встретил Аню, тоже в сопровождении ее матери и сестер. Аню, ту самую девочку, которую я назвал «мадемуазель», когда ей было десять лет, и этим полонил ее сердце, как было рассказано ранее в воспоминаниях о моем детстве. В синагоге нас ожидал казенный раввин, миньян и хупа. Я сказал Ане: «Вот ты и посвящена мне», и в сердце своем я дал обет «Я посвящен тебе», и из синагоги я поспешил на собрание избирателей.

Должен заметить здесь, что по всей строгости еврейского закона не было никакой необходимости в этой свадьбе. За семь лет до этого дня однажды вечером я был в доме Ани. Это была дружеская вечеринка, и кроме нее и меня в ней участвовали Анин брат Илья Гальперин и еще трое студентов — Илья Эпштейн, Александр Поляков и Моисей Гинсберг — все друзья, о которых я мог бы многое рассказать, если бы мне довелось описать «вторую сторону» своей жизни, которую я решил похоронить. В тот день я получил гонорар в «Новостях» и в моем кармане еще осталась золотая монета. Я вручил ее Ане и сказал в присутствии всех: «Теперь ты посвящена мне этой монетой согласно вере Моисея и Израиля»... Господин Гинсберг-старший, отец моего товарища Миши, фанатичный еврей из истинно верующих, покачал головой и предостерег Аню, с полной серьезностью, что она должна будет потребовать от меня развод, если она соберется вступить в более солидный брак...

На другой день после голосования я сидел в конторе Усышкина около телефона: каждый час нас извещали о результатах подсчета голосов. Уже прежде полудня стало ясно, что меня не избрали. Не помню, сожалел ли я, но запомнилось, что меня преследовали другие думы. С детских лет и поныне я подвержен периодам «чистки», по-иностранно-

му — «ревизии». Тяну я, тяну цепь своей жизни без претензий и получаю от этого по большей части удовольствие в течение двух или трех лет, и вдруг как гром среди ясного неба раскрывается мне великая внутренняя тайна, что не могу я ничего выносить, и что все мне опротивело, и что не мой это путь. И на этот раз уже давно начался в моей душе бунт, бунт против себя — я не видел определенной линии в своей жизни, красной линии собственного желания и воли; как щепку на волнах, кидает меня в разные стороны внешний случай, меня вели, а не я вел, теперь я растворился в сионистской толпе, как ранее, в годы «легких» фельетонов — в ряду либералов, клоунов пера, которых нанимают на потеху читателя-бездельника, как до того, в Риме, я растворился среди итальянской молодежи, любителей вина с виноградников Фраскати и Гротаферрати в обществе молодой швейки. А меня, меня, меня нет? И вот еще что: я даю и не получаю. Грубый невежда и наглец, я проповедовал учение людям, учение, которого я еще не знаю, ибо с того дня как оставил университет, я ничему не учился, а только учил, только учил. Каждому журналисту знаком этот голод, голод мозга, который он выпрастывает изо дня в день, изливая свое содержимое перед читателем, и нет у него времени заполнить пустоту... «Баста!»

Моя жена паковала вещи для поездки во Францию — она изучала агрономию в Нанси. Я сказал ей: «Я провожу тебя до Берлина, там мы расстанемся, и я поеду в Вену. Я хочу учиться».

Около года прожил я в Вене. Не встречался ни с одной живой душой, не ходил на сионистские собрания, за исключением одного или двух раз. Я пожирал книги. Австрия в те времена была живой школой для изучения «национального вопроса». Дни и ночи я проводил в библиотеке университета и в библиотеке Рейхсрата. Я научился читать по-чешски и по-хорватски (теперь, разумеется, забыл), познакомился с историей русинов и словаков — вплоть до хроники 4000 ретороманов в кантоне Гризон в Швейцарии, до обрядов армянской церкви (есть в Вене монастырь махитаристов, и в нем тоже библиотека), вплоть до жизни цыган, что в Венгрии и Румынии. Из каждой книги или брошюры

я делал выписки: делал я их по-древнееврейски, чтобы усовершенствоваться в нашем языке, которого я тоже не знал как следует: кстати, с тех пор я привык к написанию еврейских слов латинскими буквами, так что и поныне оно мне легче и удобнее, чем ассирийская клинопись.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Тем временем разразилась революция в Турции, и одна петербургская газета предложила мне отправиться в Константинополь. Я поехал. Младотурки жаждали рекламы: несть числа министрам, которые приняли меня и заявляли в один голос, что их страна отныне и вовеки веков — Эдем и что отныне нет различия между турком и греком или армянином, все «оттоманы», одна нация с одним языком. «Разве есть, эфенди, такой язык — турецкий?» «Нет турецкого языка, господин, есть оттоманский язык!» То же говорили мне и в Салониках, там видел я Джавида-бея, мусульманина еврейского происхождения, члена секты сабатианцев, и Энвера-пашу, молодого и интеллигентного офицера, прекрасного, как дамский парикмахер. И в вопросе въезда евреев — одно и то же мнение у всех: «Почему нет? Будем очень рады, если они рассеются по всем углам государства, и в особенности если поселятся в Македонии, а также если возьмут на себя обязательство говорить по-оттомански».

И в Константинополе, и в Салониках я нашел сионистов: еще до революции было учреждено в Константинополе отделение Лондонского сионистского банка, но под нейтральным названием; Виктор Якобсон был назначен его директором. Я выступил с речью по-итальянски о возрождении Израиля и Сиона и на другой день увидел в газете на испанском языке «Эль темпо»: «Синьор Ж. произнес речь, проникнутую истинным оттоманским патриотизмом» (*Vibranti di patrio-tismo ottomani*). Моего терпения достало до Салоник, но после беседы с Энвером-пашой и Джавидом мое терпение лопнуло. Меня пригласили выступить перед учениками Альянса, этой цитадели ассимиляторов, которые вчера еще считали себя французами, а теперь не знали, что им делать и среди ко-

го ассимилироваться. Я сказал им, чтобы они не торопились. Привел им в качестве примера Австрию: там немцам не удалось германизировать славян, несмотря на весь их огромный перевес более высокой культуры и высокий уровень и процветание экономики, и я намекнул, что здесь, в Турции, культурное и экономическое преимущество не за господствующей нацией, а за греками, армянами и арабами. Я покинул обновленную Турцию, и в сердце моем царил полная уверенность в отношении двух вещей: во-первых, что этот обновленный режим — режим слепоты и безумия, и, во-вторых, что распад его будет благом для всех народов Турции, начиная с самих турок, и, возможно, и для нас.

Из Салоник я отплыл в Палестину. Нет надобности в книге, напечатанной в Тель-Авиве, изображать еврейский ишув, каким он был в 1909 году. Напомню лишь об отдельных деталях, которые, возможно, забыты и отчасти, быть может, удивят благодаря огромной разнице между прошлым и настоящим. В Яффе я гостил в доме Дизенгофа, моего друга по Одессе; его жена ходила каждое утро к колонке и с веселой улыбкой на благородном лице качала воду своими нежными руками. Ее муж пригласил меня пройтись по пустырям севернее Яффы и сказал мне: «Этот участок мы купили, здесь мы построим еврейский пригород, если Богу будет угодно, и в центре поселка воздвигнем здание гимназии, если, конечно, найдется кто-либо, кто даст деньги». В колониях я застал небольшие бригады рабочих; приняли они меня по-братски, попросили рассказать им, что делается на свете, и когда я поведал им на своем жалком древнееврейском языке о происходящем в Турции, со всех сторон раздались возгласы: «Что с того? Это неважно. Главное — почему нет алии из России?» Я отправился в Галилею: от колонии к колонии меня сопровождали бригады рабочих, ищущих работу, в большинстве своем они были с берданкой на плече и с патронташем за поясом. В дороге мы время от времени встречали еврейского стражника, который ехал верхом на коне, тоже с ружьем в руках. «А что, если вы натолкнетесь на жандарма?» Он скажет мне: «Здравствуй, хаваджа»¹. В Мессе, у подножья горы Табор, я вошел в дом учителя, парня

¹ Хаваджа (араб.) — господин, обращение к немусульманину.

стройного, как кедр, и широкого в плечах, и он рассказал мне: «Позавчера ехал я верхом в Седжеру, встретил по дороге араба, тоже верхом на коне. Он остановил своего коня и попросил меня прикурить от сигарки, которую я держал во рту; есть такой обычай у разбойников в нашей округе: он намеревался неожиданно обхватить меня сзади, и тогда пиши пропало. Я вытащил свой револьвер, сунул свою сигарку в дуло и поднес ему: прикуривай!» Он рассказал мне также, что всего лишь за неделю до того окончилась «война» в их округе: воевали два бедуинских племени, месяца два тянулось дело, были раненые и убитые, и никто и бровью не повел. В Твери я попытался заговорить по-древнееврейски с сыном хозяина постоялого двора, молодым человеком 24 лет, учеником ашкеназской ешивы, он отвечал мне на идише. «Разве ты не знаешь священного языка?» Он опустил голову и объяснил: «Мой раби говорит, кто говорит по-древнееврейски? Отступники говорят на древнееврейском языке». И с вершины Табора я видел дикую пустошь — Изреельскую долину.

Вернувшись из Палестины, я задержался в Одессе, чтобы побеседовать с Усышкиным, а затем в Вильне — местонахождении центрального комитета сионистов России. Мы решили собрать деньги и предложить их Давиду Вольфсону, президенту Всемирной сионистской организации, для основания газеты в Константинополе.

Весной 1909 года я снова очутился в Петербурге, еще исполненный прежней жадой учиться — неважно, чему учиться, лишь бы погружать глаза в печатную страницу, которую сочинил не я. Арнольд Зайденман, мой коллега по редакции «Рассвета» (я не помню, как называлась наша газета в то время, отныне и впредь я буду называть ее «Рассветом»), дал мне хороший совет: если ты этого так желаешь, то почему бы тебе не получить аттестат зрелости? Было мне 27 лет, возраст немного поздний для приобретения таких документов, но все же я согласился, и трудно описать удовольствие, которое я получил от азов позабытой науки, от латинской грамматики, и даже от русской грамматики (а «Ворон» Эдгара Аллена По в моем переводе был уже за несколько лет до того напечатан в «Чтеце-декламаторе...»), от русской истории в патриотическом изложении Иловайского, от теоремы, которую в Одесской гимназии называли

«пифагоровы штаны». Единственным экзаменом, на котором я почти провалился, было сочинение по русской словесности: я получил балл, которым не похващаешься, и один из экзаменуемых, репортер в народной газете, страстно захотел распространить эту сенсацию в своей газете и только с большим трудом удержался от исполнения этого намерения. Но аттестат зрелости я получил.

После этого меня снова отозвали в Константинополь: там я застал Вольфсона, мы посоветовались, выработали программу действий, и я остался в турецкой столице обер-редакторствовать вместе с Вольфсоном не над одной газетой, а над целой прессой:

а) над общим французским обозрением под названием «Младотурок»;

б) над сионистским еженедельником, тоже на французском языке; под названием «Л'орор» («Заря»);

в) над «Эль худео», еженедельником на испанском языке;

г) по истечении некоторого времени к ним добавился «Гамевассер», еженедельник на древнееврейском языке.

Я сомневаюсь, чтобы капитал, который мы собрали для их издания в России, насчитывал в целом 20 000 франков, хотя франк в эти годы и котировался высоко, особенно в Турции.

Разумеется, я не мог «редактировать» этот бумажный потоп. Я выполнял ту же функцию, которую сегодня в стране советов выполняют политкомиссары. Истинным редактором обозрения был настоящий турок Джалаль Бури-бей, молодой человек, учившийся в Бельгии, сын высокопоставленного чиновника, правителя округа в Азии или что-то в этом роде. Испанский журнал редактировал Давид Эльканава, или вернее, ему незачем было «редактировать» его, ибо он собственноручно писал его от первой строки до последней. И собственноручно также наклеивал марки, вел бухгалтерские книги, равно как находил сам подписчиков и объявления. Был он юноша старательный и восторженный, верный сионист и вообще милый человек. А Люсьен Шуто, редактор французской «Зари», — тот вообще был журналист милостью Божьей, удачное сочетание ясного реалистического ума с быстротой реакции и эластичностью богатого и отточенного языка.

Финансовой стороной этого сложного дела ведал Гохберг, представитель переходного периода от «Хибат Цион» к политическому сионизму. Он провел двадцать лет в Эрец-Исраэль и в Сирии, знал Восток и его обычаи, был знаком с деятелями прежнего режима: вскоре я убедился в том, что это тоже очень важно, не менее важно, чем знать руководителей нового режима. Юридическим и политическим советником был у нас Исаак Нофех, который за несколько лет до этого приехал в Константинополь изучать турецкое судопроизводство.

Среди евреев наша работа процветала. Если есть переселение душ и если, прежде чем моя душа народится во второй раз, будет мне дозволено свыше избрать себе народ и племя по своей воле, я отвечу: «all right», Израиль, но на этот раз — сефардский. Я влюбился в сефардов, и, возможно, именно в те качества, над которыми смеются их ашкеназские братья: их «поверхностность» я семикратно предпочитаю нашей беспредметной глубине, их инерция милее мне нашей склонности преследовать каждую переменчивую химеру; поколения философской и политической спячки спасли их душевную свежесть; а что касается культурного богатства, — я сомневаюсь в том, что человека к порогу западной цивилизации (ибо не иначе: цивилизация и Запад — одно и то же) приблизит фунт французского и итальянского образования или тонна русской мистики. В Салониках, в Александрии, в Каире вы найдете еврейскую интеллигенцию того же уровня, что в Варшаве и в Риге; а в Италии — на голову выше той, что в Париже или в Вене. Лишь один крупный недостаток я согласен признать за ними: в сфере сионистской деятельности (хотя среди них национальная идея больше распространена, чем среди нас) еще нет у них аппетита завоевания, нет **амбиций**, но и они пробудятся в свое время.

В еврейской среде наша пропаганда была успешной в обеих общинах: и в ашкеназской, и в сефардской. Но не добился я успеха, например, у Назим-бея, генерального секретаря партии младотурков, отца и истинного инициатора революции, возможно, послужившего решающим человеческим фактором, который помог ускорить крушение Оттоманской империи. Это был человек непритязательный и бедный, как средневековый подвижник, холодный и застывший в своем фанатизме, как Торквемада, слепой и глухой к действитель-

ности, как чурбан. Снова тот же напев: несть эллина, несть армянина, все мы оттоманы. И мы будем рады приезду евреев — в Македонию. Та же песня у всех министров, депутатов парламента, журналистов. В общем, не в моей привычке считаться с первым отказом, исходящим от непреклонных, а также со вторым и с третьим отказом: может, они переменят свое убеждение, подождем и увидим. Но здесь я сразу почувствовал, что никакой опыт не поможет, никакое давление: здесь отказ органический, обязательный, общая ассимиляция — условие условий для существования абсурда, величаемого их империей, и нет другой надежды для сионизма, кроме как разбить вдребезги сам абсурд.

Я ненавидал Константинополь и свою работу, работу впустую. Зимой я поехал в Гамбург, на девятый конгресс, я очень наслаждался передышкой, великолепием Европы, стремясь забыть на какое-то время опостылевший мне Восток, но на конгрессе, как и прежде, у меня не было никакого другого дела, кроме как голосовать, по большей части вместе с остальными делегатами из России. Я вернулся в Константинополь с сердцем, снова полным тем же беспокойством неудовлетворенности и бунта против себя, которые погнали меня в Вену. Якобсон заболел еще до нашего выезда в Гамбург и после конгресса остался лечиться в Европе, и в Константинополе Гохберг показал мне бухгалтерские книги — очень немного осталось в нашей кассе от денег, собранных в России. Я написал в Кельн, где жил Вольфсон, в Одессу, в Вильну: все ответили мне просьбой дать совет — что делать? Все же мы продолжали свою работу с энергией и решительностью.

И летом 1910 года разразился между мной и Вольфсоном очень тяжелый конфликт. Сионистское руководство в те времена состояло из тройки: Вольфсона, президента, и его заместителей — Якобуса Когена из Гааги и Боденгеймера из Кельна. За год до этого Якобус Коген посетил Палестину, написал книгу о своих путевых впечатлениях и выпустил ее тремя великолепными изданиями: голландским, немецким и французским. Я получил книгу в Константинополе и оторопел: простосердечно и громогласно Якобус Коген требовал в ней государственной автономии и еврейского самоуправления для Палестины, а также создания еврейской армии для поддержания порядка, и все это без

промедления, тотчас же, в наши дни. Ревизионист до дарования ревизионистской Торы! Ирония судьбы и более чем ирония — комедия, что именно я, я и не кто другой, был поражен этими идеями. Однако, клянусь жизнью, меня поразили не идеи, а анархия, царившая в нашем правлении. Здесь, в Константинополе, всего годом ранее, мы вместе с президентом и с Якобсоном установили рамки нашей программы. Мы требовали алии и языка, и только алии и языка. Но даже намеком не упомянули мы такие опасные вещи, как автономия — запретное слово, которое в ушах младотурок являлось пределом «трефного» и верхом мерзости; и мы решили не отклоняться ни на волос от этой тактической линии, ни вправо, ни влево, пока не изгонят нас из Турции и не закроют все наши газеты. И тут выступает заместитель этого президента и заявляет совершенно недвусмысленно, что представители сионистской организации в Константинополе — обманщики. Мил мне государственный сионизм, с дней моего детства я не знал другого сионизма, но логика мне милей. Я не только поразился, но и рассердился и написал подробное письмо Вольфсону с настоятельной просьбой приостановить распространение книги.

И все же через несколько дней после отправления этого письма нам стало известно, что Якобус Коген послал свою книгу в дар нескольким высокопоставленным туркам, депутатам парламента и редакторам патриотических газет, и вскоре одна из этих газет объявила, что в недалеком будущем она начнет печатать «эту интересную книгу, излагающую официально и подробно требования сионистов» — день за днем и отрывок за отрывком в ясном и точном переводе.

В нашей сионистской общине поднялся переполох. Мы собрались на совещание: нас было человек двадцать, вся сионистская элита столицы, редакторы всех наших газет (разумеется, за исключением Джалаля Нури-бея), журналисты, главы организаций, руководители «Макаби», учителя и многие, многие другие, также раввин ашкеназской общины со старым сионистом доктором Маркусом. Было единогласно принято решение немедленно послать телеграмму Вольфсону. Вот суть телеграммы: чтобы не разрушить всю нашу работу, мы требуем отставку Якобуса Когена и публичного запрещения его книги от имени правления. И я подписался.

Нет смысла рассказывать подробности обмена телеграммами и письмами, последовавшего за этим ультиматумом, да я и не помню их. Достаточно отметить, что с обеих сторон прозвучали слова гнева и осуждения, и, разумеется, Якобус Коген не «ушел в отставку», зато ушел я. Но не сразу: тем временем (об этом я говорил с Вольфсоном еще до конфликта), я решил отправиться в Россию для пополнения нашей пустой кассы: я поехал, денег я не собрал, ибо и сионисты в России тоже отчаялись в перспективах нашей турецкой пропаганды («как об стену горох» — так резюмировал положение Ш. Розенбаум, член расширенного Исполнительного комитета сионистской организации в центральном виленском совете); и тогда я ушел в отставку. Но следует упомянуть, что до моего отъезда из Константинополя Гохберг — тот самый Гохберг, что «был сведущим в условиях Ориента» — посетил редактора, намеревающегося печатать книгу на страницах своей газеты, и перевод не появился.

Я люблю и почитаю Якобуса Когена, и если у него есть душевная потребность в утешении, я утешу его: напечатай он даже свое сочинение на чистом турецком языке и расклей его на стенах мечети Айя-София, оно бы не повредило. Нельзя повредить там, где ничего нельзя достигнуть. И я навеки обязан ему благодарностью за то, что он помог мне освободиться от бесполезной обузы, хотя я и очень сожалел, что расстаюсь со своими друзьями-сионистами в Константинополе.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

С середины лета 1910 года и до начала мировой войны я оставался в России. В глубине души я сомневаюсь, прав ли я, дав этой главе название «На перепутье»: возможно, с точки зрения ее практического содержания, больше подошло бы для этого фрагмента в качестве достойного заголовка «Конец жизни в России». Именно в этот период я выполнял работы, которых мне нечего стыдиться и как писателю, и как общественному деятелю (одинокому деятелю в большинстве случаев). И, однако, каждый день в эти годы росло в моем

сердце то ненасытное желание, которое некогда погнало меня в Вену, и я чувствовал, что теперь и Вена не спасет меня и что я не удовлетворюсь одним учением. Все мое существо томилось по чему-то, чего еще нет. Я не люблю воспоминания об этих четырех годах, и я сокращу описание их в этой книге.

Мы поселились в Одессе и оставались там два года, и здесь в декабре 1910 года родился мой сын, которого мы называли Эри-Тодрос.

В 1912 году я поехал в Ярославль, губернский город, расположенный к северу от Москвы, где имелась старинная школа правоведения: я экзаменовался и получил университетский диплом, то есть право жительства вне «черты», а еще точнее, право жительства в Петербурге, без того чтобы изводить горы рублей на взятки дворникам и полицейским чинам, как прежде.

После возвращения из Константинополя я окончил перевод стихов Бялика. Были мы тогда соседями по даче, около Одессы, и он помогал мне в переводе — объяснял места оригинала, которые мне не удавалось понять. Мы сблизились в эти недели: не знаю, изменился ли его характер впоследствии, так как с тех пор мы почти не видались, но в то лето я очень любил его за его чрезмерную скромность. Я показал ему свой перевод на древнееврейский язык «Ворона» Эдгара По, он предложил мне сделать несколько исправлений и в заключение сказал: «Но звучание искупает все». Как видно, было что искупать... Я послал перевод стихов Бялика в различные издательства в Петербурге: все они отказали, кроме одного, которое предложило мне 400 рублей за отказ от всех прав, независимо от того, появится ли книга в одном или во многих изданиях. Ибо я должен быть доволен уже тем, — объясняли они мне в своем письме, — что найдутся покупатели на такую книгу. В это время приехал из Петербурга Зальцман (он уже давно был приглашен туда вести хозяйство «Рассвета»), прочел письмо и сказал мне: «Я издам книгу». Свое обещание он выполнил и выпустил семь изданий в 35 000 экземплярах. Некоторые утверждают, что число читателей Бялика на русском языке превышало число тех, кто читали его на древнееврейском. Если это правда, — то благодаря Бялику, не мне: почти ни одна из моих книг не удостоилась переиздания.

Я снова стал писать статьи в «Новостях» раз в неделю и по большей части на еврейскую тему. Не было конца ссорам с остальными членами редакции из-за этого «шовинизма», но редактор газеты Хейфец стоял на своем и защищал меня. Большинство статей напечатаны в «Новостях» между 1910 и 1912 годами, и я считаю этот период вершиной своей публицистической карьеры.

К этому же периоду относятся наши нападки на «Общество по распространению просвещения», твердыню руссификации в Одессе. Эту борьбу начал Ахад га-Ам еще за несколько лет до того, но тем временем он переехал в Англию, и «успокоилась земля». Теперь мы возобновили бой: но о нем мне тоже нечего рассказать. Собрания, речи, статьи, выборы, поражения, и каждое поражение — огромный шаг, приближающий к победе. Но победа пришла уже после моего отъезда из Одессы. Вспомню только один факт, факт незначительный и анекдотический; он вспоминается мне, потому что из него я узнал, что в горячке спора твой противник слышит не твой голос и не твои слова читает, а внимает лишь своему голосу и понимает только то, что желает понять. Нашим паролем в войне были слова «две пятых», то есть две пятых программы еврейской школы следует отвести на изучение еврейских предметов. Я написал статью под тем же названием: «Две пятых!» На другой день мне ответил лидер ассимиляторов в своей газете: он процитировал мою статью, процитировал название в подробном толковании и резюмировал: «Итак, сионисты требуют, чтобы **больше половины** учебного времени отводилось на изучение языка и еврейской истории».

В 1911 году разгорелся тот жестокий спор между мной и варшавскими газетами, которого до сих пор не простили мне в кругах «эндэции», и я тоже не простил им, однако, новая Польша — это теперь государство Пилсудского, а не «эндэции», и я надеюсь и молю Бога, чтобы не попали снова бразды правления над этим панским народом в такие руки, которые тогда, в дни Дмовского, изменили традиции панства, и довольно... больше я ничего не скажу.

Но главное в моей сионистской деятельности в эти годы заключалось в пропаганде древнееврейского языка в качестве языка преподавания в школах диаспоры. Молодой читатель не поверит, если я скажу, что **бороться** за эту идею я должен

был не с ассимиляторами, Боже упаси, а с такими же сионистами, как я сам, но это чистая правда; чепухой, болтовней, «фельетоном» обзывали они это мое требование. В пятидесяти городах и местечках я произносил одну и ту же речь о «Языке еврейской культуры», наизусть затвердил ее, каждое слово, и хотя я не ценитель повторения, но эта речь единственная, которой я буду гордиться до конца своих дней. И в каждом городе слушали ее сионисты и аплодировали, но после окончания ее подходили ко мне и говорили тоном, каким серьезный человек говорит с расшалившимся ребенком: химера...

В 1911 году собрался десятый сионистский конгресс: я отказался быть делегатом и не поехал в Базель, в первый раз с тех пор как я примкнул к движению. Подробностей своих аргументов я уже не помню, помню только главное, «общее» имя ему — чувство «чуждости». Уже давно, уже несколько лет как слабели и расшатывались мои связи с «халястрой» «Рассвета» и с центральным комитетом сионистов России: я сердился на них за то, что нет у них «линии», что они не умеют или не хотят «вести» движение и что сами эти слова — «линия», «вести» — они обращали в шутку, в дружескую шутку, правда. Но дружба — не отступные за ликвидацию, а что касается сионистов Запада, то с ними вообще не было у меня никакой связи и контакта. Я не поехал, вопреки мольбам со всех сторон, и характерно для того сердечного отношения, которое тогда еще объединяло всех нас, что конференция сионистов России послала мне телеграмму, в которой говорилось: «Твой дух с нами». Жаль, что по прошествии двух лет я поехал на Венский конгресс, последний предвоенный конгресс: если бы не это, возможно, из Вены мне тоже послали бы дружественную телеграмму, а не оборвали бы последние нити, которые еще связывали меня с этим наивным сионизмом.

В 1912 году истек срок третьей Думы, и сионисты Одессы снова выставили мою кандидатуру. Я запросил пощады: написал в центральный комитет (который за это время переехал из Вильны в Петербург), ибо не было в этом смысла: какую пользу мог принести один еврейский депутат или двое, или даже трое, какую пользу могли принести они рядом со стаей диких зверей, вроде той, что мы видели в предыдущей Думе и что, несомненно, сподобимся увидеть в новой Думе? Но центр ре-

шил иначе, и я подчинился. Когда прошел месяц, решили те же самые сионисты снять мою кандидатуру в пользу Слиозберга, ибо они пришли к выводу, что в первой «курии», к которой он был приписан, имелись большие шансы на избрание еврея, чем во второй «курии», то есть в моей. Я не согласился с их мнением, но подчинился, и в обеих куриях прошли антисемиты. После этого я переехал на жительство в Петербург и оставался там до войны.

Летом 1913 года я отправился на Венский конгресс, одиннадцатый по счету, и там, на конференции сионистов России, предложил резолюцию: древнееврейский язык — единственный язык обучения во всякой еврейской национальной школе в России. За месяц до конференции с одобрения правительства был внесен законопроект о «государственном совете» («верхней палате» в законодательном собрании, «нижней палатой» которого является Дума); суть этого закона — предоставление учредителям частной школы права самим выбирать язык преподавания в ней. Невероятно, необъяснимо, но я встретил раздражение и насмешку на сионистской конференции. Возможно, причина во мне, и вина моя в том моем странном свойстве раздражать людей, о котором я писал ранее. Их раздражала не только сущность моего предложения — они не верили фактам, которые я рассказал им: новый законопроект, проект, который был обнародован во всех газетах от имени официального агентства, — его почитали они тоже выдумкой. Они не смогли, разумеется, отклонить такое предложение на сионистском собрании. Приняли его со смехом и с выкриками: «Это закон, который сможет быть проведен в жизнь только в мессианские времена». И я ушел с того собрания, как пасынок, что выходит из ворот дома, который он всегда называл «своим», и вот вдруг ему говорят: «Ты чужак».

Был в Израиле пророк, у которого родился сын, и он дал ему имя «Ло-Амми» — «Не мой народ». Не хочу преувеличивать, но если бы в эти дни у меня родился второй сын, я назвал бы его «Иври-Ани» — «Я еврей, говорящий на древнееврейском». Но странную отчужденность я чувствовал до глубины своего существа, и снова, теперь в силу июльской грозы, поднялся в моей душе «бунт» против моей жизни, против моего пути, против всего моего прошлого и настоящего. Тогда, в первый раз, я ясно понял:

есть дикие создания, которые живут в доме братьев, дети одной матери, дети одного отца, но нет им верного и постоянного приюта, такая душа — либо построят ей кушу, шатер, каморку или хотя бы стойло, которые будут всецело принадлежать ей, либо она будет обречена странствовать по духовной чужбине, словно одинокий скиталец, от одного постоянного двора к другому. Сионизм? Это мой воздох — сионизм, мне нечем дышать без него, но и этот сионизм — не мой.

Если бы потребовали тогда от меня определить одним словом, какой сионизм «мой», возможно, я только с трудом нашел бы подходящее слово. Но пустословие утверждать, что неспособность сформулировать мысль равнозначна неспособности ясно мыслить. Мне был вполне ясен основной порок русского сионизма в эти годы (западным сионизмом я не интересовался, и он не стоил того, чтобы им интересоваться): он не творил конкретных дел. Действительно, уже началась вторая алия в Эрец-Исраэль, алия рабочих под девизом еврейского труда в колониях, и я видел их в Стране, но я вернулся из Константинополя в уверенности, что предварительным условием серьезного предприятия является изгнание турок. Все-таки, там, в Стране, много ли — мало ли, но **строят** что-то, здесь же, в России, словно нет у нас другой заботы, кроме сочинения формулировок, «Stellungnahme», относительно всякой важной проблемы, и не более того. Струве, редактор известного ежемесячника «Русская мысль», пригласил меня написать для него статью о национальном еврейском движении. Помнится, я подчеркнул в ней эту странную болезнь: обилие размышлений и отсутствие действий. Тогда вышла в свет важная книга под редакцией ныне покойного Кастильянского — описание различных национальных движений народов России, и я указал в своей статье на характерный факт: в главе об эстонском движении содержатся данные о количестве созданных школ, в главе о евреях (написанной Дубновым) содержатся восемь программ восьми партий. Может быть, я действительно легкомысленный человек, но в моих глазах нет толку в программе, если она не претворяется в дела немедленно, неважно, в успешные или нет. Дело, которое не удалось, — тоже шаг вперед. Помнится, в эти годы собралась конференция

любителей нашего языка в Киеве, по приглашению Гиллеля Златопольского, который уже тогда начал свою агитацию за распространение древнееврейской речи: я не смог принять в ней участия, но послал письменное предложение: «Не принимайте никаких новых решений, кроме одного: учредить школы!» Усышкин, которому я вручил свое письмо, впоследствии сказал мне, что именно это предложение и не зачитали перед аудиторией: «Это не практическое предложение». В сфере местной политики я требовал союза между меньшинствами, переговоров с украинцами и литовцами; я сделал кое-какие практические шаги в этом направлении, у меня было много друзей в среде украинской общественности, потому что я поддерживал их движение на страницах «Новостей», но остальные сионистские деятели относились к этим моим затеям с ленивой и нескрываемой насмешкой. Что касается моего отношения к общесионистской политике, то я давно уже чувствовал, что пришло время возобновить герцлевскую традицию: я начал писать статью по-немецки под названием «Zurück zum Charter»¹, кроме того, начал писать статью по-еврейски под названием «Сидим сложа руки». Но ни ту, ни другую я не окончил из-за гнетущего чувства, что не стоит, не для кого.

На Венском конгрессе было принято предложение Вейцмана об основании Еврейского университета в Иерусалиме, и я согласился войти в комитет, созданный для этой цели. Но вскоре выяснилось, что «университет» — это предлог, ибо доктор Вейцман хотел создать только «исследовательский институт», в котором работали бы ученые и стремились бы получить Нобелевскую премию, а не школу, в которой обучали бы студентов. Я направил протест в центр сионистской организации в Берлине, и я все еще помню один абзац из него: «Мне также ясно, что еще не в наших силах создать хороший университет; неважно, начнем с плохого университета — увидите, он будет иметь национальное и просветительное значение, равное дюжине хваленых исследовательских институтов». Я отправился в Бельгию, чтобы ознакомиться с вопросом о бюджете двух частных университетов: Лувенского и Брюссельского, затем поехал в Падую,

¹ «Обратно к хартеру» (нем.).

где также имелся знаменитый университет с ограниченным бюджетом, и на обратном пути задержался в Берлине — в связи с заседанием нашего комитета. Там я потребовал отклонения программы «института» и установления принципа: высшая школа для студентов. Только один из членов комитета поддержал мое требование: Идельсон. Большинство голосов был утвержден план Вейцмана. И снова — то же самое: вместо решающего и революционного национального дела — игра.

Это было в начале лета 1914 года, за две недели до выстрела в Сараеве. Странное воспоминание: в том же городе Лувене я интересовался вопросом анатомического театра — ведь я не знал, что в Бельгии тоже трудно получить трупы для препарирования, а у нас в Палестине этот вопрос еще более сложный. Ван Гухустен, знаменитый невролог, который заведовал кафедрой анатомии, чуть ли не плакал передо мной, рассказывая о препятствиях, стоящих на его пути: «Нет трупов! Община, муниципалитет и церкви — все противятся передаче трупов для препарирования. Если бы я описал вам все уловки, настоящие кражи, к которым я вынужден прибегать, чтобы и у нас в будущем появилось поколение врачей, знающих свое дело, вы подумали бы, что я рассказываю вам средневековые небылицы...» Это тот самый Лувен, который по прошествии двух месяцев был потоплен в крови германской резни.

Здесь кончается первый круг повести моих дней, ибо нить прервалась сама собой, завершился период, которому нет продолжения: если я захочу жить, то должен родиться заново, а мне уже тридцать четыре года, давно минула моя юность и половина среднего возраста, и ту и другую я пустил по ветру. Не знаю, что бы я стал делать, если бы не перевернулся весь мир и не направил меня на пути, о коих я не думал: может быть, переселился бы в Страну, может быть, бежал бы в Рим, может быть, создал бы партию. Но в это лето грянула мировая война.

ГЛОССАРИЙ

ААРОНСОНЫ Аарон, Александр и Сара — члены подпольной антитурецкой организации в *Палестине* во время 1-й мировой войны.

АВИЦЕБРОН — см. **ИБН ГАБИРОЛ**.

АЗЕФ Евно Фишелевич (1869, Лысков Гродненской губ. — 1918, Берлин) — руководитель боевой организации *эсеров*, разоблаченный как платный агент охраны.

АККО — приморский город в *Галилее*; в период британского мандата здесь, в крепости ал-Джазар, отбывали заключение В. Жаботинский, Моше Даян и другие политзаключенные.

АЛИЯ (ивр. «восхождение») — репатриация, возвращение евреев в *Эрец-Исраэль*, а также отдельные волны этого процесса (первая алия — 1882—1903 гг., вторая — 1904—1914 гг., третья — 1919—1923 гг.; четвертая — 1924—1928 гг.; пятая — 1929—1939 гг.).

АЛЛЕНБИ Эдуард Генри Хайнман (1861—1936) — английский полководец; освободил *Палестину* от турецкого владычества (1917—1918).

АЛЬЯНС (*Alliance Israelite Universelle*) — Всемирный еврейский союз, международная организация, созданная во Франции в 1860 г.

АМОС — библейский пророк (VIII в. до н. э.).

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович (1862—1938) — популярный русский писатель и публицист.

АНТАНТА — тройственный блок Великобритании, Франции и России; во время 1-й мировой войны объединял более 20 государств, воевавших против германской коалиции.

АНТИСЕМИТ — приверженец антисемитизма, идеологии и политического движения, направленного на борьбу с еврейством.

АРМИЯ СПАСЕНИЯ — религиозно-филантропическая организация, созданная в Англии в 1865 г.

АССИМИЛЯТОРЫ — сторонники национальной ассимиляции, т.е. полного растворения в другом народе.

АТИКВА (ивр. «надежда») — гимн сионистского движения, ставший государственным гимном Израиля.

АХАД ГА-АМ (Гинцберг Ушер Исаевич; ивр. «один из народа»; 1856, Сквиря Киевской губ. — 1927, Тель-Авив) — отец «духовного сионизма»; считал, что переселение большинства евреев в *Эрец-Исраэль* может привести к утрате национальной и культурной самобытности. Массовому возвращению на историческую родину должна предшествовать длительная и кропотливая воспитательная работа образованного меньшинства.

АХДУТ ГА-АВОДА — сионистская социалистическая рабочая партия Палестины; основана в 1919 г.

АШ Шалом (Шолом; 1880, Кутно Варшавской губ. — 1957, Лондон) — еврейский писатель и драматург, писал на *идише*.

АШКЕНАЗЫ — евреи Центральной и Восточной Европы, а также их потомки, проживающие сегодня в разных странах.

БАЗЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА — программа сионистской организации, принятая на 1-м Сионистском конгрессе (1897).

БАЛЬФУР Артур Джеймс (1848—1930) — британский политик, министр иностранных дел, автор *Декларации Бальфура*.

БЕДУИНЫ — скотоводческие племена, кочующие по пустыням Ближнего Востока и Северной Африки.

БЕЙЛИС Менахем-Мендель (1874, Киев — 1934, Нью-Йорк) — см. **ДЕЛО БЕЙЛИСА**.

БЕЙТ-ЛЕХЕМ (ивр. «дом хлеба») — Вифлеем.

БЕЛАЯ КНИГА — отчет о политической деятельности британского правительства, представленный парламенту.

БЕН-ЦВИ (Шимшелевич) Ицхак (1884, Полтава — 1963, Тель-Авив) — один из основоположников социалистического направления в сионизме; второй президент Государства Израиль.

БЕН-ЯХИД (ивр.) — единственный сын.

БЕРДИЧЕВ — город на Украине, один из центров *хасидизма*; в литературе и фольклоре нередко выступает как символ еврейского города *черты оседлости*.

БЕРЕШИТ БАРА ЭЛОГИМ... (ивр. «В начале сотворил Бог...») — первые слова Священного Писания.

БИЛУ — организация, созданная после погромов 1881 г. и призвавшая еврейскую молодежь переселяться в *Эрец-Исраэль*; аббревиатура библейских слов: *Бейт Яаков лху венелха* (Дом Яакова, вставайте и пойдём!).

БОГРОВ Дмитрий Григорьевич (Мордехай Гершкович; 1888, Киев — 1911, там же) — член боевой организации *эсеров*, смертельно ранивший П.А. Столыпина.

БОРОХОВ Бер (Дов; 1881, Золотоноша Полтавской губ. — 1917, Киев) — публицист, лингвист, литературовед; идеолог и лидер социалистического *сионизма*; сторонник синтеза классовой борьбы и национализма.

БРАНДЕС Георг (Моррис Коген; 1842, Копенгаген — 1927, там же) — датский писатель и литературный критик. Родился в ассимилированной еврейской семье; после опубликования *Декларации Бальфура* признал реальность программы *сионизма*.

БРИТ-ШАЛОМ (ивр. «союз мира») — общество налаживания дружественных отношений между арабами и евреями *Палестины* (1925 — середина 30-х гг.); подвергалось резкой критике большинства сионистских партий, в особенности *ревизионистов*.

БУБЕР Мартин (1878, Вена — 1965, Иерусалим) — религиозный мыслитель, теоретик *сионизма*, автор работ, посвященных философскому осмыслению *хасидизма*; в книге «Я и Ты» (1923) рассматривает отношения между Богом и человеком. До прихода к власти нацистов преподавал еврейскую религию и этику во Франкфуртском университете. С 1938 г. профессор кафедры социальной философии Еврейского университета в Иерусалиме.

БУЛЛИ-БИФ (англ.) — мясные консервы.

БУНД — Всеобщий еврейский союз рабочих Литвы, Польши и России (1897), примкнувший к социал-демократической рабочей партии России (РСДРП). После октябрьского переворота сторонники Бунда раскололись на левых и правых: правые эмигрировали, чтобы продолжить деятельность в Польше и США, левые слились с компартией, но затем были репрессированы.

БЯЛИК Хаим Нахман (1873, Рады Волинской губ. — 1934, Вена) — поэт, один из основоположников современной ивритской литературы.

ВАХХАБИТЫ — последователи агрессивно-фундаменталистского течения в исламе.

ВЕЙЦМАН Хаим (1874, Мотоль Гродненской губ. — 1952, Реховот, Израиль) — ученый-химик, лидер сионизма, первый президент Государства Израиль.

ВИЛЬНА (Вильно, Вильнюс) — крупнейший центр еврейской культуры до 2-й мировой войны.

ВИНАВЕР Максим Моисеевич (1863, Варшава — 1926, Ментон Сен-Бернар, Франция) — общественный деятель, юрист, писатель; один из основателей и руководителей партии *кадетов*, депутат 1-й Государственной думы (1906). Редактировал журналы «Восход», «Еврейская старина». В 1917 г. эмигрировал во Францию, где основал журнал «Еврейская трибуна».

ВОЛЬФСОН Давид (1856, Добряны Ковенской губ. — 1914, Хомбург, Германия) — преемник *Герцля* на посту президента ВСО.

«ВОСХОД» — еврейский журнал на русском языке (Петербург, 1881—1906), выступавший за полное равноправие евреев России.

ВСО — Всемирная Сионистская организация; создана на 1-м Сионистском конгрессе в Базеле (1897), тогда же был учрежден высший орган ВСО — Сионистский конгресс; в период между конгрессами руководство осуществляли Большой и Малый исполнительные комитеты (*Actions Committee* — АС).

ГАЛАХА — нормативная часть иудаизма, регламентирующая все стороны еврейской жизни.

ГАЛЕВИ Иегуда (1080, Толедо, Испания — 1142, Иерусалим) — поэт, философ, автор лирических стихов, элегий на тему возвращения в Сион и трактата «Сефер га-кузари» (Книга хазара).

ГАЛИЛЕЯ — северная часть *Эрец-Исраэль*.

ГАЛУТ (ивр. «изгнание») — вынужденное пребывание еврейского народа вне *Эрец-Исраэль*.

ГАМАН — персонаж Книги Эсфирь; злейший враг евреев.

«ГАМЕЛИЦ» — одна из первых газет на иврите (Одесса, 1860—1871, Петербург, 1871—1904).

ГАНДИ Мохандас Кармчанд (1869—1948) — индийский политический деятель, призывал бороться за национальную независимость, не применяя насилия.

ГА-ПОЭЛЬ ГА-МИЗРАХИ — религиозно-сионистское рабочее движение в *Эрец-Исраэль*.

ГА-ПОЭЛЬ ГА-ЦАИР (Молодой рабочий) — сионистская рабочая партия в *Эрец-Исраэль*.

ГАРУН аль-Рашид (763—809) — багдадский халиф, герой сказок «Тысяча и одна ночь».

ГАСКАЛА (ивр. «просвещение») — еврейское просветительское движение, возникшее во второй половине XVIII в.

«ГАШИЛОАХ» — литературный, научный и общественно-экономический ежемесячник на иврите (1896—1926), созданный по инициативе *Ахад га-Ама*, который стал его первым редактором.

ГВИР (ивр.) — богач, господин.

ГЕБРАИСТ — специалист в области древнееврейского языка и литературы.

ГЕЙНЕ Генрих (Хаим; 1797, Дюссельдорф — 1856, Париж) — немецкий поэт, прозаик, публицист.

ГЕЛЬСИНГФОРС — шведское название города Хельсинки.

ГЕЛЬСИНГФОРССКАЯ ПРОГРАММА — совокупность резолюций 3-й Всероссийской конференции сионистов (Гельсингфорс, 1906), определившей план сионистской деятельности после революции 1905 г.

ГЕР (ивр. «пришелец, жилец») — нееврей, принявший иудаизм.

ГЕРЦЛЬ Теодор (Биньямин Зезв; 1860, Будапешт — 1904, Эдлах, Австрия) — основоположник современного сионизма, провозвестник еврейского государства.

ГЕТТО — квартал, предназначенный для изолированного проживания евреев.

ГЕШЕФТ (ид.) — сделка.

ГОЙ (ивр. «народ») — нееврей, иноверец.

ГОЙИШЕР КОП (ид.) — буквально: нееврейская голова.

ГОЛУС — см. ГАЛУТ.

ГОРДОН Иегуда Лейб (Лев Осипович; 1830, Вильна — 1892, Петербург) — поэт, прозаик, публицист. Страстный поборник еврейского просвещения; писал преимущественно на иврите, а также на русском и на идише.

ГРОССМАН Меир (1888, Темрюк Кубанской обл. — 1964, Тель-Авив) — сионистский деятель, журналист; ближайший помощник В.Жаботинского (1925—1933); с 1934 г. жил в *Палестине*. Был членом исполкома Еврейского агентства, содействовал появлению периодических изданий для евреев СССР («Вестник Израиля», 1959—1962; «Шалом», 1963—1967).

ДАМОВСКИЙ Роман — активный антисемит, возглавлял движение за экономический бойкот евреев Польши (1912).

ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА — официальное заявление о том, что правительство Великобритании «относится благосклонно к восстановлению еврейского национального очага в *Палестине* и приложит все усилия к облегчению достижения этой цели». (Из письма тогдашнего министра иностранных дел А.Бальфура лорду Лайонелу Ротшильду, 2.XI.1917.)

ДЕЛО БЕЙЛИСА — киевский еврей Менахем-Мендель Бейлис был арестован в 1911 г. по обвинению в ритуальном убийстве мальчика-христианина Андрея Ющинского. Спустя два с лишним года суд присяжных признал, что Бейлис не виновен.

ДЕЛЬКАССЭ Теофиль (1852—1923) — французский государственный деятель, министр иностранных дел; один из создателей *Антанты*.

ДЕСЯТИНА — десятая часть урожая и скота, отчислявшаяся на храмовые нужды.

ДЖАМАЛЬ-ПАША Ахмад — лидер *младотурков*, в годы 1-й мировой войны осуществил депортацию евреев Яффы и Тель-Авива.

ДЖОЙНТ (*American Jewish Joint Distribution Committee*) — Американский объединенный еврейский комитет по распределению фондов, благотворительная организация, созданная в 1914 г.

ДИЗЕНГОФ Меер Яковлевич (1861, Акимовичи Бессарабской губ. — 1936, Тель-Авив) — вместе с В.Жаботинским

в 1903 г. был инициатором *самообороны*; в 1909 г. стал одним из основателей еврейского пригорода Яффы, из которого вырос Тель-Авив; с 1921 г. — первый мэр Тель-Авива.

ДИЗРАЭЛИ Бенджамин (лорд Биконсфилд; 1804, Лондон — 1881, там же) — английский государственный деятель и писатель; лидер парламентской оппозиции, министр финансов и премьер-министр. Подчеркивал свое еврейское происхождение, утверждая, что евреи — духовная элита общества.

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК — см. ИВРИТ.

ДРЕЙФУС Альфред (1859—1935) — французский офицер-еврей, несправедливо приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Германии (впоследствии оправдан). Дело Дрейфуса послужило одним из важнейших факторов, приведших *Т.Герцля* к идее сионизма.

ДУБНОВ Семен Маркович (Шимон Меерович; 1860, Мстиславль Могилевской губ. — 1941) — историк, публицист и общественный деятель, автор «Всемирной истории еврейского народа». В противоположность сионистам и *ассимиляторам* выдвигал идею автономизма — самоуправления еврейских общин в странах диаспоры. Погиб в Рижском *гетто*.

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД (*Керен каемет ле-исраэль*) — фонд сионистского движения для приобретения и освоения земли в *Эрец-Исраэль*; основан в 1901 г.

ЕРМОЛКА — см. КИПА.

ЕССЕИ — еврейская секта конца эпохи Второго храма (2 в. до н. э. — конец 1 в. н. э.).

ЕТА — Еврейское Телеграфное Агентство (с 1919 по 1922 находилось в Лондоне, затем в Нью-Йорке).

ЖАРГОН — здесь: язык идиш.

ЗАИОРДАНЬЕ — восточная часть исторической *Эрец-Исраэль* (от Иорданской впадины до Сирийско-Аравийской пустыни).

ЗЕЛОТЫ — евреи, которые не могли смириться с властью Рима, считая, что только Бог является истинным Господином народа и Страны Израиля.

ЗОМБАРТ Вернер (1864—1941) — немецкий экономист, историк и социолог; испытал влияние идей К. Маркса, позднее стал противником марксизма.

ИБН ГАБИРОЛ Шломо бен Иегуда (Авицеброн; 1021, Малага — 1055, Валенсия) — еврейский поэт и философ средневековой Испании.

ИБН ЭЗРА Авраам (1089, Тудела, Испания — 1164, ?) — поэт, грамматик, философ и комментатор Библии, врач, астроном.

ИБН ЭЗРА Моше бен Яаков (1055, Гранада — 1135, ?) — еврейский философ и один из талантливейших стихотворцев средневековой Испании.

ИВРИТ — язык, на котором евреи говорили и писали с XII в. до н.э.; в наши дни — государственный язык Израиля.

ИВРИТ БЕ-ИВРИТ (ивр. «иврит на иврите») — метод обучения ивриту, не прибегая к помощи других языков.

ИДЕЛЬСОН Авраам (1865, Векшня Ковенской губ. — 1921, Берлин) — сионистский деятель, публицист, считавший, что еврейский социализм может достичь своей цели только в еврейском государстве.

ИДИШ — язык *ашкеназов*, на котором до 2-й мировой войны говорили около 11 миллионов евреев Центральной и Восточной Европы (включая СССР), США, Канады, Латинской Америки и Южной Африки.

ИЗГОЕВ Александр Соломонович (Ланде Арон; 1872, Вильна — 1935, Хаапсалу, Эстония) — политический деятель, публицист, член ЦК партии *кадетов*; в 1922 г. был выслан из России.

ИОЛЛОС Григорий Борисович (1859, Одесса — 1907, Москва) — публицист и общественный деятель, депутат 1-й Государственной думы (от партии *кадетов* и Союза для достижения полноправия евреев в России); был убит черносотенцами.

ИОФФЕ Элизер Липа (1882, Хотинский уезд Бессарабской губ. — 1942, Нагалал) — активист халуцианского движения; с 1910 г. в *Палестине*; инициатор создания нового типа поселений «мошав овдим», сочетающих начала частного и кооперативного хозяйства.

ИСХОД — евреев из Египта, описанный в Библии; в новое время ассоциируется с еврейским переселением в подмандатную *Палестину* и с репатриацией в Израиль миллиона евреев СССР.

ИУДЕЯ — историко-географическая область *Эрец-Исраэль* с центром в Иерусалиме.

ИШУВ (ивр. «население, заселение, населенное место») — еврейское население *Палестины* до создания Государства Израиль.

КАБЦАН (ивр.) — нищий, попрошайка.

КАДЕТЫ — конституционно-демократическая партия России (1905—1917), выступавшая, в частности, за отмену правовых ограничений еврейского населения.

КАДИШ (арам. «святой») — поминальная молитва, для совершения которой требуется *миньян*.

КАЗЕННЫЙ РАВВИН — в царской России: утвержденное властями выборное лицо, которому поручено представлять общину в официальных учреждениях и регистрировать акты гражданского состояния.

КАПИТУЛЯЦИИ — в *Османской империи*: право европейских поселенцев на отдельную юрисдикцию и освобождение от налогов.

КАУТСКИЙ Карл (1854—1938) — лидер и теоретик германской социал-демократии и 2-го Интернационала. В годы 1-й мировой войны порвал с марксизмом.

КАЦНЕЛЬСОН Берл (1887, Бобруйск — 1944, Иерусалим) — лидер рабочего движения в *сионизме*.

КЕРЕН ГАЕСОД (ивр. «основной фонд») — главный финансовый орган ВСО и Еврейского агентства, осуществляет финансирование деятельности, связанной с репатриацией и заселением *Эрец-Исраэль*. Существует на добровольные пожертвования еврейской диаспоры.

КИБУЦ (от ивр. *квуца* «группа») — поселение типа коммуны.

КИПА (ивр. «купол») — ермолка; вязаная или матерчатая шапочка — традиционный головной убор еврея.

КИРЕНАИКА — историческая область в Ливии.

КИТЧЕНЕР Горацио Герберт (1850—1916) — фельдмаршал, военный министр Великобритании в 1914—1916 гг.

КЛАУЗНЕР Иосиф Гдалия (1874, Олькеники Виленской губ. — 1958, Тель-Авив) — историк, лингвист, литературовед, один из инициаторов возрождения национальной культуры на иврите.

КОВНО (КОВНА) — Каунас.

КОЛОНИСТЫ — еврейские поселенцы, занимавшиеся освоением *Эрец-Исраэль*.

КОНСКРИПЦИЯ — форма воинской повинности, при которой допускается замена и выкуп призываемых.

КОШЕР (ивр. *кашер* «пригодный, подходящий») — ритуально пригодная к употреблению еда, одежда или предметы культа.

ЛАДИНО — еврейско-испанский язык *сефардов*.

ЛАНДВАРОВА (Лентварис) — *местечко* под Вильной.

ЛАПСЕРДАК — долгополый сюртук, одежда польских евреев.

ЛЕВАНДА Лев Осипович (Иегуда Лейб; 1835, Минск — 1888, Петербург) — русско-еврейский писатель и публицист.

ЛЕХА ДОДИ (ивр. «Иди, мой возлюбленный») — субботняя молитва.

ЛИГА НАЦИЙ — всемирная организация государств, существовавшая в период между двумя мировыми войнами.

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ Дэвид (1863—1945) — британский политик, премьер-министр (1916—1922).

МАГЕН ДАВИД (ивр. «Щит Давида») — эмблема еврейства, шестиконечная звезда, образованная двумя треугольниками.

МАГЕН ДАВИД АДОМ (ивр. «Красный Щит Давида») — еврейское общество медицинской помощи, аналогичное обществу Красного креста.

МАГИД (ивр. «рассказывающий») — проповедник.

МАГНЕС Иегуда Лейб (1887, Сан-Франциско — 1948, Нью-Йорк) — еврейский деятель в США и подмандатной Палестине; первый президент Еврейского университета в Иерусалиме.

МАКАБИ (ивр. «молот») — 1) прозвище Иегуды *Хасмоня*, который освободил Иерусалим и очистил оскверненный язычниками Храм; 2) международная организация еврейских спортсменов.

МАКДОНАЛЬД Джеймс Рамсей (1866—1937) — лидер лейбористской партии; премьер-министр Англии (1924 и 1929—1931)

МАККАВЕИ — см. ХАСМОНЕИ.

МАНДАТ — право на управление *Палестиной*, полученное Англией после распада *Османской империи*.

МАРГОЛИН Лазарь (Элизер) Маркович (1874, Белгород Курской губ. — 1944, Сидней, Австралия) — участник 1-й мировой войны, в 1919—1920 гг. был командиром Еврейского легиона.

МАСКИЛИМ (ивр. «просвещенные») — приверженцы *Гаскалы*.

МЕНДЕЛЬСОН Моше (Мозес, 1729, Дессау — 1786, Берлин) — еврейско-немецкий философ, духовный вождь *Гаскалы*.

МЕСОПОТАМИЯ — Двуречье, область в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат.

МЕССИЯ (ивр. *машиах* «помазанник») — посланный Богом спаситель мира.

МЕСТЕЧКО — см. ШТЕТА.

МИЗРАХИ — религиозно-сионистское движение; создано в 1902 г., в 1956 г. вошло в партию «Мафдал».

МИНЬЯН (ивр. «количество») — кворум, необходимый для проведения коллективной молитвы (не менее десяти мужчин старше 13 лет).

МИСНАГДИМ (ивр. *митнагдим* «оппоненты») — противники *хасидизма*.

МИСРАД (ивр.) — контора, учреждение.

МЛАДОТУРКИ — партия, управлявшая Турцией в 1908—1918 гг.

МОИСЕЙ (Моше; XIII в. до н.э.) — великий вождь и пророк, возглавивший *Исход* из Египта.

МОРГЕНТАУ Генри (1856, Манхейм, Германия — 1946, Нью-Йорк) — американский еврей, политический деятель, который, будучи послом США в Турции (1913—1916), доставлял еврейскому населению *Палестины* продовольствие и медикаменты.

МУФТИЙ — у мусульман: духовное лицо, имеющее право выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

НАБОКОВ Константин Дмитриевич (1872—1927) — первый секретарь русского посольства в Лондоне (до 1920), какое-то время заменял посла; дядя писателя В.В. Набокова; автор книги «Испытания дипломата» (Стокгольм, 1923).

НАДСОН Семен Яковлевич (1862—1887) — русский поэт; дед по отцу был крещеный еврей, мать — дворянка.

НАГАЛАЛЬ — поселение в Изреельской долине, основанное в 1921 г.

НОРДАУ Макс (Симха Меир [Симон Максимилиан] Зюдфельд; 1849, Будапешт — 1923, Париж) — философ, писатель, публицист; один из основателей ВСО, автор проекта *Базельской программы*.

ОБЩЕСТВО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ (ОПЕ) — культурно-просветительная организация, созданная в начале 60-х гг. XIX в.; закрыта в 1929 г.

ОЛИМ (ивр. «восходящие») — новые репатрианты.

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ (1299—1922) — государственное образование, сложившееся в результате турецких завоеваний в Азии, Европе и Африке; распалась после поражения Турции в 1-й мировой войне.

ОТ АЛЕФ ДО ТАВ (ивр.) — т. е. от первой до последней буквы, досконально.

ОТТОМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ — см. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ.

ПАЛЕСТИНОФИЛ (греч. «любящий *Палестину*») — см. ХОВЕВЕЙ ЦИОН.

ПАЛЕСТИНА — наименование, которое римляне дали Стране Израиля после подавления восстания Бар-Кохбы (135 г.).

ПАСФИЛД — министр колоний Англии; издал *Белую книгу*, рекомендовавшую сократить сионистскую активность в *Палестине* (1930).

ПЕЙСЫ (ивр. *неот* «концы») — пряди волос, согласно религиозной традиции, свисающие с висков или заложенные за уши.

ПЕРВЫЙ СИОНИСТСКИЙ КОНГРЕСС — на нем была создана ВСО (Базель, 1897).

ПЕРЕЦ Ицхак Лейбуш (Замостье, Польша — 1915, Варшава) — основоположник литературы на *идише*; писал и на *иврите*.

ПИЛПУЛ — метод интеллектуально изолированного толкования *Торы*.

ПИНСКЕР Леон (Лев Семенович, Иегуда Лейб; 1921, Томашполь, Волынская губ. — 1891, Одесса) — лидер *Ховевей Цион*; автор брошюры «Автоэмансипация» (1882), видел единственное решение еврейской проблемы в обретении собственной территории. Сформулировал идею палестинофильского движения как возвращение евреев к земле и создание своего сельского хозяйства в *Эрец-Исраэль*.

ПИОНЕР — см. ХАЛУЦ.

ПЛАН УГАНДЫ — проект создания автономной еврейской колонии на территории британского протектората Уганда (1903).

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846—1904) — директор департамента полиции, с 1902 г. министр внутренних дел и шеф жандармов; пытался подавить революционное движение в России при помощи погромов. Обещал *Т.Герцлю* содействовать созданию сионистской организации в России, рассчитывая, что сионизм отвлечет евреев от революционной деятельности. Убит *эсером* Сазоновым.

ПОАЛЕЙ ЦИОН (ивр. «трудящиеся Сиона») — общественно-политическое движение, сочетавшее идеологию сионизма с социалистическими идеями.

ПРОРОК (ивр. *нави*) — человек, избранный Всевышним для передачи людям Его воли.

ПРОСПЕРИТИ (англ.) — процветание, преуспевание.

ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО — см. ТОРА.

РАВВИН (ивр. *рав* «большой, великий») — звание, дающее право преподавать в религиозной школе, входить в состав религиозного суда, быть духовным и административным руководителем религиозной общины, совершать обряды, регистрировать рождение, браки и смерть еврея.

РАВНИЦКИЙ Иегошуа Хоне (1859, Одесса — 1944, Тель-Авив) — писатель, журналист, редактор, издатель; писал на *идише* и *иврите*. В соавторстве с *Х.Н. Бяликом* издал сборник

«Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей» (1922). В 1921 г. переселился в *Палестину*.

«РАССВЕТ» — печатный орган *ревизионистов* (1922—1935).

РЕВЕРЕНД (англ.) — преподобный.

РЕВИЗИОНИСТЫ — в сионизме: политическое течение, основанное в начале 1920-х гг. В.Жаботинским, требовавшим пересмотра тогдашнего курса ВСО.

РЕНАН Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский историк, автор «Истории происхождения христианства», «Истории еврейского народа» и др. Считал, что, дав человечеству религию, из которой развилось христианство, евреи исчерпали свою роль в истории мировой цивилизации.

РЕПАТРИАЦИЯ — см. АЛИЯ.

РЕФОРМИЗМ — в иудаизме: движение за либерализацию религиозных законов и обрядов, возникшее в Германии (2-е десятилетие XIX в.); в наши дни распространено главным образом в США.

РИТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС — судебное дело, основанное на ложном обвинении евреев в убийстве иноверцев для использования их крови в ритуальных целях.

РИШОН ЛЕ-ЦИОН (ивр. «первый к Сиону») — город в районе нынешнего Тель-Авива; основан группой *халуцим* из России (1882).

РОТШИЛЬД Лайонел Уолтер, лорд (1868—1937) — представитель английского дома Ротшильдов; именно ему как самому авторитетному еврею Англии была адресована *Декларация Бальфура*.

РОТШИЛЬД Эдмон Джеймс де, барон (Авраам Биньямин; 1845, Париж — 1934, там же) — финансовый магнат, покровитель поселенческого движения в *Палестине*; его сын, барон Джеймс де Ротшильд (1878—1957), представлял позицию отца в контактах, связанных с подготовкой *Декларации Бальфура*.

РОШ-ПИНА — город в Верхней *Галилее*.

РУТЕНБЕРГ Петр (Пинхус) Моисеевич (1876, Ромны Полтавской губ. — 1942, Иерусалим) — инженер—гидротехник, член боевой организации *эсеров*. После революции

1905 г. эмигрировал в Германию, затем в Италию, где примкнул к сионистскому движению. В 1917 г. вернулся в Россию, участвовал в создании сионистских организаций, сотрудничал с правительством А. Керенского. С 1919 г. в *Палестине*. Во время арабских беспорядков 1920 г. вместе с В. Жаботинским организовал еврейскую *самооборону* в Иерусалиме; в 1921 г. возглавлял тельавивский отряд Хаганы. В 1923 г. учредил Палестинскую электрическую компанию; построил первую в *Эрец-Исраэль* гидроэлектростанцию (1932).

САДУКЕИ — религиозно-политическое течение в Иудее (II—I вв. до н. э.); в отличие от *фарисеев* отрицали загробное существование и воскресение из мертвых.

САМАРИЯ (ивр. *шомрон*) — историческая область *Эрец-Исраэль*, расположенная между Изреельской долиной и Иудеями.

САМООБОРОНА (еврейская) — деятельность еврейского населения, направленная на предотвращение и пресечение погромов и других насильственных акций.

САМСОН (*Шимшон*) — богатырь, описанный в Книге Судей.

СЕДЕР (ивр. — букв. «порядок, устав») — установленный в древности церемониал пасхальной трапезы.

СЕДЖЕРА — селение в Нижней *Галилее*.

СЕРТИФИКАТ — документ, дававший еврею право на въезд в подмандатную *Палестину*.

СЕФАРДЫ — 1) потомки евреев, когда-то живших на Пиренейском полуострове; 2) евреи неашкеназского происхождения.

СИМ (*Шем*; ивр. «имя») — старший сын Ноя, родоначальник семитских народов.

СИНАГОГА — (греч. *синагоге* «собрание», ивр. *бейт-кнесет* «дом собрания») — религиозный центр еврейской общины.

СИОНИЗМ — национально-освободительное движение, исходящее из неразрывной связи евреев *галута* с *Эрец-Исраэль*. После создания еврейского государства сионизм стремится к собиранию на исторической родине евреев, рассеянных по разным странам.

СИОНИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — см. ВСО.

СКВАТТЕР (англ.) — поселенец на незанятой или государственной земле.

СКОПУС (ивр. *гар га-Цофим* «Дозорная гора») — возвышенность в Иерусалиме.

СЛИОЗБЕРГ Генрих Борисович (1863, мест. Мир, Минская губ. — 1937, Париж) — общественный деятель, юрист; выступал в судах по искам жертв погромов, участвовал в защите *Бейлиса*. В 1920 г. эмигрировал во Францию.

СОКОЛОВ Нахум (1859, Вышегород Плоцкой губ. — 1936, Лондон) — один из основоположников периодической печати на иврите, президент ВСО; в годы 1-й мировой войны работал над составлением документа, послужившего основой для *Декларации Бальфура*.

СОЛЕЛ БОНЕ — служба общественных работ израильских профсоюзов, позже преобразованная в строительную компанию.

СОЛОМОН (Шломо; 967—928 до н.э.) — царь, сын Давида, правивший объединенным царством Израиля и Иудеи, строитель Иерусалимского Храма.

СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ — см. ЭСЕРЫ.

СПИНОЗА Бенедикт (Барух; 1632, Амстердам — 1666, Гаага) — еврейский философ; за критическое отношение к Торе был отлучен от общины.

СТЕНА ПЛАЧА (ивр. *котэл маарави* «Западная стена») — остаток стены, окружавшей Храмовую гору; самая почитаемая иудейская святыня.

СУББОТА (ивр. *шабат*) — день отдыха, установленный Богом, который, согласно Торе, творил мир шесть дней, а на седьмой отдыхал.

СУББОТНИКИ — секта иудействующих, возникшая среди русских крестьян на рубеже XVII—XVIII вв.

СЫРКИН Нахман (1868, Могилев — 1924, Нью-Йорк) — первый идеолог и лидер социалистического сионизма.

СЭМЮЭЛ Герберт (1870, Ливерпуль — 1963, Нью-Эстенд, Англия) — британский политик; родился в еврейской семье. Активный сторонник создания еврейского национального очага в *Эрец-Исраэль*; будучи первым Верховным комиссаром *Палестины* (1920—1925), заложил основы граж-

данской администрации и способствовал развитию *ишува*; одновременно старался умиротворить арабов.

ТАЛМУД (ивр. «учение») — монументальный свод священных еврейских текстов, второй по значимости после *Торы*.

ТЛААТ-ПАША Мохмад — один из лидеров младотурков, ответственный за резню армянского населения во время 1-й мировой войны.

ТОРА (ивр. «учение, наставление») — первые пять книг Священного писания, Пятикнижие Моисеево; расширительно — правила иудаизма.

ТРЕФА (ивр. «мясо растерзанного животного») — по законам *кашрута*, продукт, не пригодный для пищи.

ТРИПОЛИТАНИЯ — историческая область Ливии, вошла в состав Османской империи (до 1911).

ТРУДОВИКИ — думская фракция крестьян и народнической интеллигенции (1906—1917).

ТРУМПЕЛЬДОР Иосиф (Йосеф; 1880, Пятигорск — 1920, Тель-Хай) — герой русско-японской войны, полный Георгиевский кавалер, в 1912 г. переселился в *Эрец-Исраэль*. В 1915 г. был выслан в Египет, где совместно с В.Жаботинским создал воинскую часть, сформированную в основном из русских евреев, которые были высланы из *Палестины* (см. «Слово о полку»). После Февральской революции вернулся в Россию, где создавал еврейские части *самообороны*; в 1919 г. возглавил движение «Гехалуц» и вернулся в *Эрец-Исраэль*. В 1920 г. погиб, отражая арабский налет на селение Тель-Хай.

УСЫШКИН Авраам Менахем-Мендл (1863, Дубровна Могилевской губ. — 1941, Иерусалим) — политический деятель; совместно с И.Членовым организовал московский кружок *палестинофилов* (1881), с 1885 г. секретарь движения «*Ховевей Цион*», на 2-м сионистском конгрессе избран в Исполнительный комитет ВСО; в 1903 г. выступил против *плана Уганды*. С 1919 г. в *Эрец-Исраэль*; был председателем Еврейского национального фонда, участвовал в создании Еврейского университета в Иерусалиме; в 1935 г. избран председателем Исполкома ВСО.

ФАЛАНСТЕРЫ — придуманные Шарлем Фурье утопические жилища для людей, занятых как земледелием, так

и промышленным трудом, что должно ликвидировать противоречия между городом и деревней.

ФАРИСЕИ (ивр. *фарисим* «отделившиеся») — представители религиозно-общественного течения (II в. до н. э. — II в. н. э.), учение которых исходило из положений *Торы*.

ФЕЛЛАХИ — крестьяне арабских стран.

ФИЛАКТЕРИИ (ивр. *тфилин*) — кожаные коробочки с рукописным фрагментом *Торы*; во время молитвы специальными ремешками прикрепляются к левой руке и лбу.

ФИЛИСТИМЛЯНЕ (ивр. *плиштим* «вторгшиеся») — народ, населявший южную часть Средиземноморского побережья *Эрец-Исраэль* в XII—VIII вв. до н. э.

ФОРЕЙН ОФФИС (англ. *Foreign Office*) — министерство иностранных дел Великобритании.

ХАВАДЖА (араб.) — господин, обращение к немусульманину.

ХАЛИФАТ — государство, образовавшееся в результате арабских завоеваний VII—IX вв.

ХАЛУКА (ивр. «деление, распределение») — система материальной поддержки общинами диаспоры малоимущих евреев *Эрец-Исраэль*.

ХАЛУЦ (ивр. «пионер, передовой») — активный участник еврейского заселения и освоения *Эрец-Исраэль*.

ХАНААН — библейское название *Эрец-Исраэль*.

ХАСИД (ивр. «благочестивый») — последователь *хасидизма*.

ХАСИДИЗМ — религиозное направление в иудаизме, возникшее в XVIII в.; его последователи придают большое значение молитвенному экстазу, пению, совместным трапезам.

ХАСМОНЕИ (Маккавеи) — семья священнослужителей, позднее династия царей; в 167 г. до н. э. Хасмонеи возглавили народное восстание против греко-сирийского владычества и восстановили независимое Иудейское царство.

ХИБАТ ЦИОН (ивр. «любовь к Сиону») — движение, возникшее в начале 1880-х гг., предтеча *сионизма*.

ХОВЕВЕЙ ЦИОН — *палестинофилы*, сторонники движения *Хибат Цион*.

ХОЗ Дов (1894, Орша, Белоруссия — 1940, Эрец-Исраэль) — лидер рабочего движения в *Палестине*; в 1906 г. вместе с родителями приехал в *Эрец-Исраэль*; служил в турецкой армии, после опубликования *Декларации Бальфура* вступил в Еврейский легион. Один из создателей *Ахдут га-Авода* и Всеобщей федерации трудящихся (Гистадрут), председатель *Поалей Цион* и заместитель мэра Тель-Авива; погиб в автокатастрофе.

ЦОРЕС — неприятности (ид.).

ЧАРТЕР (англ. «грамота, хартия») — здесь: официально утвержденное право евреев на заселение *Палестины*.

ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ — в царской России: районы, разрешенные для постоянного проживания евреев.

ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, историк, сторонник конституционной монархии в России.

ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич (1872—1936) — советский государственный деятель, нарком иностранных дел (1918—1930).

ЧЛЕНОВ Иехиэль (Ефим Владимирович; 1863, Кременчуг Полтавской губ. — 1918, Лондон) — один из сионистских лидеров России в 1900-х гг.; был противником создания еврейских частей в английской армии.

ШЕЙХ — представитель высшего духовенства, богослов, правовед; предводитель мусульманской секты; у кочевников Аравии — глава рода, племени.

ШЕКЕЛЬ — здесь: членский взнос в кассу сионистского движения.

ШНЕЙДЕР — портной (ид.).

ШТЕТЛ (ид. «городок») — еврейское местечко.

ЩИТ ДАВИДА — см. МАГЕН ДАВИД.

ЭДЕМ (ивр. *ган-эден* «Сад Эдемский» — райский сад, где до изгнания из рая жили Адам и Ева.

ЭЙН ДАВАР (ивр.) — ничего, обойдется.

ЭКЗЕКУТИВА (лат. *exsecutio* «исполнение») — исполнительный орган.

ЭМАНСИПАЦИЯ — здесь: уравнение евреев в правах с окружающим населением.

ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ (ивр. «Страна Израиля») — историческая родина еврейского народа, земля, заповеданная Аврааму и его потомкам; в христианской традиции — Святая Земля, Земля обетованная.

ЭСДЕКИ — социал-демократы.

ЭСЕРЫ — социалисты-революционеры, крупнейшая революционная партия России (1901—1923), провозгласившая главным тактическим средством индивидуальный террор.

ЭФЕНДИ — господин (турецк.)

ЮДОФОБ — см. АНТИСЕМИТ.

ЮЖАКОВ Сергей Николаевич (1849—1910) — русский публицист и экономист; либеральный народник.

ЮЩИНСКИЙ Андрей — см. ДЕЛО БЕЙЛИСА.

ЯВНЕЭЛИ Шмуэль (Варшавский; 1884, Казанка Херсонской губ. — 1961, Тель-Авив) — профсоюзный деятель, публицист, автор работ по истории сионистского рабочего движения.

НЕКОТОРЫЕ ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, НЕ ПЕРЕВЕДЕННЫЕ АВТОРОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

- a sport (англ.) — *здесь*: славный малый
à la longue (франц.) — на длительный срок, надолго
all right (англ.) — ладно, хорошо
«Annales des Nationalites» (франц.) — «Летопись национальностей»
asinus (лат.) — осел
au hazard (франц.) — на всякий случай
aus der Not eine Tugend (нем.) — вынужденная добродетель
(*букв.*: aus der Not — из нужды; eine Tugend — добродетель)
bist a ferd! (ид.) — *ругательн.*: конь (как русское осел)
boys (англ.) — парни, ребята
«British Palestine» (англ.) — «Британская Палестина»
buona sera (итал.) — добрый вечер
chateau (франц.) — верблюды
charm (англ.) — обаяние, шарм
conditio sine qua non (лат.) — неперемное условие
«Corps de muletiers» (франц.) — корпус погонщиков мулов
Credo (лат.) — вера, убеждения, кредо
Cuius regio, ejus religio (лат.) — чья страна, того и религия
Damit Punktum (нем.) — на этом точка
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan — der Mohr kann gehen (нем.) — мавр сделал свое дело — мавр может уйти.
distingué (франц.) — благородный
«Downs» (англ.) — гряда холмов
esprit de corps (франц.) — корпоративный интерес
«Esprit juif» (франц.) — «Еврейская мысль»
gueules cassees (франц.) — искаженные лица
heim (ид.) — родина
Hintersassen der Nation (нем.) — *здесь*: ошметки нации
Hob ich ihm in dr'erd (ид.) — плевал я на него!
«Home and Heim» (англ., ид.) — «Дом и родина»

home defence (англ.) — защита дома

I see (англ.) — *здесь*: понимаю

il faudrait les inventer (франц.) — их следовало бы придумать

in's Blaue (нем.) — в небо, в воздух (*в значении* «впустую»)

Jeannette, Nine,

Жаннетта, Нина,

Alice, Aline,

Алиса, Алина,

Léda, Julie —

Леда, Юлия —

Et j'en oublie... (франц.) и уж не помню, кто еще...

«Jewish Chronicle» (англ.) — «Еврейская хроника»

Jewish Regiment (англ.) — еврейский полк

«Judaeen Regiment» (англ.) — «иудейский полк»

«1-ro Judaeans» — первого иудейского

Judenbub (нем.) — еврейчик

Judennoth — *видимо*, Judennot (нем.) — еврейские беды

«judenrein!» (нем.) — без евреев!

«La Guerre Sociale» (франц.) — «Социальная война»

lingua franca (лат.) — *здесь*: смешанный язык, жаргон

modus vivendi (лат.) — образ жизни, условия существования

mussar Elohim (ивр.) — Божья кара

nation in the making (англ.) — формирующаяся нация

Nationalitätenstaat (нем.) — многонациональное государство

«Negotianti di generi usati» (итал.) — «Негоцианты подержанных вещей»

«Neue Freie Presse» (нем.) — «Новая Свободная Пресса»

«No Man's Land» (англ.) — ничья земля

Observation Posts (англ.) — наблюдательные посты

od morza do morza (польск.) — от моря до моря

officier de liaison (франц.) — офицер по связи

public schools (англ.) — общеобразовательные школы

qui s'excuse s'accuse (франц.) — кто оправдывается, тот себя и уличает

Red Magen-David (англ.) — Красный Щит Давида

romanesko (итал.) — римское народное наречие

Royal Fusiliers (англ.) — королевские стрелки

russische Wirtschaft (нем.) — русское хозяйство

Schutzjuden (нем.) — евреи, взятые под защиту

sich ausleben (нем.) — проявить себя полностью

sine ira et studio (лат.) — без гнева и пристрастия

«Stellungnahme» (нем.) — точка зрения, позиция

«Taufzettel» (нем.) — свидетельство о крещении, метрика
«Transatlantiques» (франц.) — «заокеанские»
un je ne sais quoi (франц.) — что-то такое
ursus judaeophagus intellectualis (лат.) — медведь-юдофоб
интеллектуальный
«Victoire» (франц.) — «Победа»
Weltpolitik (нем.) — мировая политика
«yeladim henna!» (ивр.) — дети, сюда!
Zion Mule Corps (англ.) — *ирон*: корпус мулов сионских

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир (Зеэв) Жаботинский. *Иосиф НЕДАВА** 3

ЕВРЕИ И РОССИЯ

О национальном воспитании	18
В траурные дни	32
Еврейская крамола	37
Ваш Новый год	45
О «евреях и русской литературе»	50
Четыре статьи о «Чириковском инциденте»	56
Наше бытовое явление	77
Фальсификация школы	87
О языках и прочем	96
Урок юбилея Шевченко	105
Четыре сына	113
Вместо апологии	121
Странное явление	128
На ложном пути	132
Еврейская революция	144
Антисемитизм в Советской России	151
Черная сотня	154

СИОНИЗМ И КОММУНИЗМ

Критика сионизма	161
Активизм. <i>Пер. Д. Таубин и Т. Груз**</i>	186
Сионизм и моральное право. <i>Пер. Д. Таубин и Т. Груз**</i>	198
«Легион». <i>Пер. Д. Таубин и Т. Груз**</i>	205
«Шаатнез запрещен еврею...» <i>Пер. Д. Таубин и Т. Груз**</i>	211
Класс. <i>Пер. Д. Таубин и Т. Груз**</i>	215
«Левые»	220
Враг рабочих	225

* © «Библиотека-Алия», перевод, 1985

**© «Gesharim» and Misdar Z. Zhabotinsky, перевод, 1985

«Восток»	232
Об авантюризме. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	239
Сионизм и коммунизм. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	244
Идея Бейтара. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	248
Высший сионизм. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	258
АРАБСКИЙ ВОПРОС	
О железной стене	262
Этика железной стены	269
Круглый стол с арабами	274
Арабская проблема — без драматизации. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	278
БИБЛИЯ И СИОНИЗМ	
Белый передел	284
Социальный щит. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	290
Диспут с Богом. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	293
Вера. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	297
Королевские дети. Пер. Д. Таубин и Т. Груз*	299
ВОСПОМИНАНИЯ	
Слово о полку	303
Повесть моих дней. Пер. Н. Бартман**	454
Глоссарий	535
Некоторые иноязычные слова и выражения, не переведенные автором на русский язык	555

* © «Gesharim» and Misdar Z. Zhabotinsky, перевод, 1985

**© «Библиотека-Алия», перевод, 1985

Научно-популярное издание

Сто лет сионизма

Жаботинский (Зеэв) Владимир

О ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЕ

Речи, статьи, воспоминания

Редактор-составитель Феликс Дектор

Художник	<i>М. Драко</i>
Художественный и технический редактор	<i>Г. Емец</i>
Корректор	<i>М. Ходыко</i>
Компьютерная верстка	<i>Т. Прищепова</i>

Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.07.2004.
Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура Палатил. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,4. Тираж 3000 экз. Зак. 1753.

ООО «МЕТ». ЛИ № 02330/0056902 от 01.04.2004 г.
220029, Минск, ул. Киселева, 20.

Отдел реализации: 284-81-42, 284-49-06, 288-22-07.

E-mail: met @ tut.by

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати»,
220013, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 79.